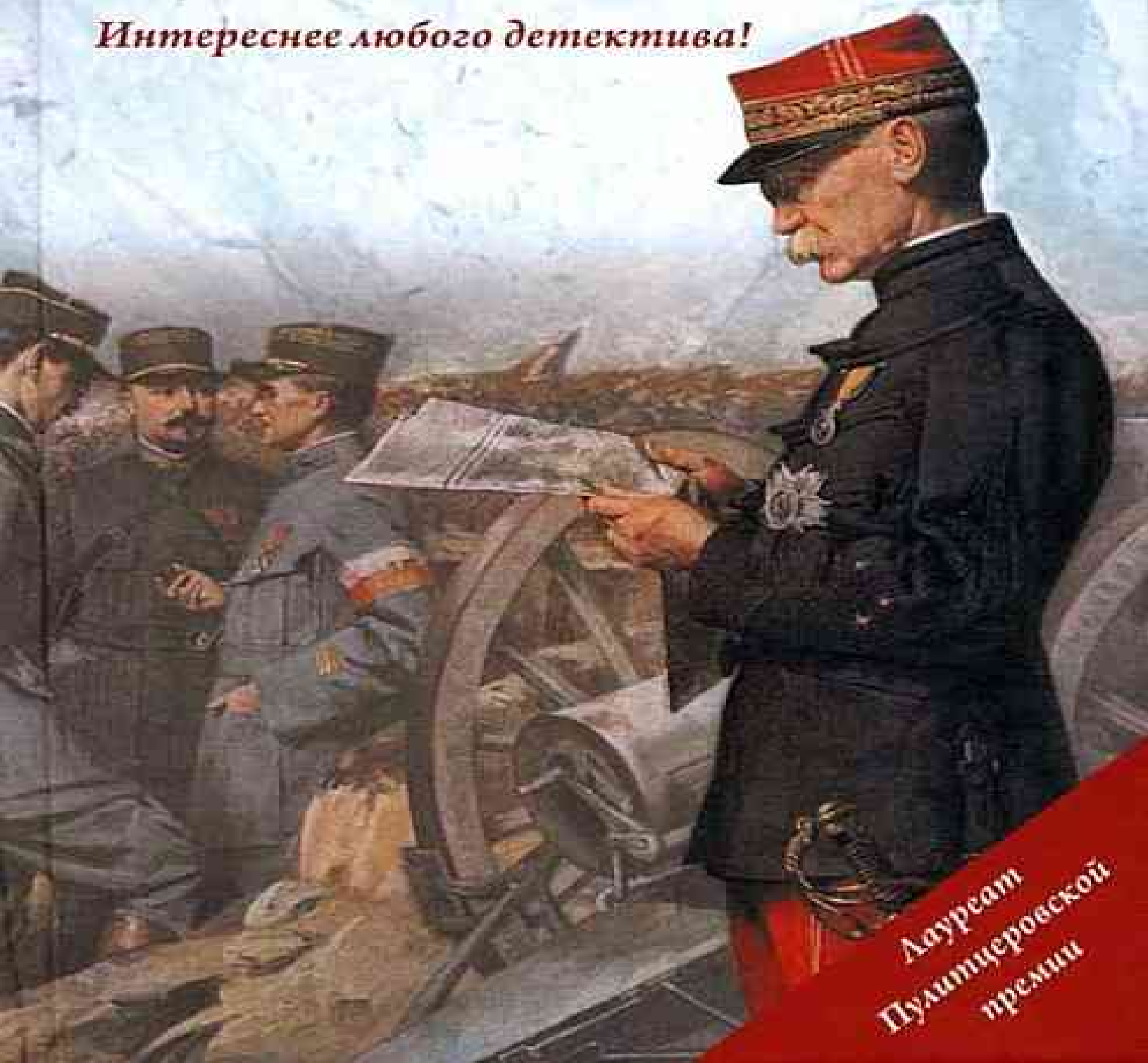


■ Барбара Такман ■

# АВГУСТОВСКИЕ ПУШКИ

*Интереснее любого детектива!*



Лауреат  
Пулитцеровской  
премии

## Annotation

«Августовские пушки» – одна из самых значительных исторических работ XX века. Она удостоена Пулитцеровской премии, выдержала множество переизданий и переведена на все ведущие языки мира, а президент Джон Кеннеди рекомендовал её к обязательному прочтению своему окружению во время Карибского кризиса. Он видел в книге Барбары Такман яркое описание лавинообразного процесса сползания к войне в условиях острого международного кризиса и опасался, что в неустойчивом мире, обладающем ядерным оружием, сходная ситуация может привести к ещё более катастрофическим последствиям. ...Неумолимая логика событий постепенно затягивает не желающие, в сущности, воевать державы в кровавый водоворот. Но почему проваливаются все многочисленные попытки предотвратить начинающуюся катастрофу?

- [Предисловие к изданию 1988 года](#)
- [От автора](#)
- [Глава 1](#)
- [Планы](#)
  - [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)
  - [Глава 4](#)
  - [Глава 5](#)
- [Начало](#)
  - [Начало](#)
  - [Глава 6](#)
  - [Глава 7](#)
  - [Глава 8](#)
  - [Глава 9](#)
- [Битва](#)
  - [Глава 10](#)
  - [Глава 11](#)
  - [Глава 12](#)
  - [Глава 13](#)

- [Глава 14](#)
- [Глава 15](#)
- [Глава 16](#)
- [Глава 17](#)
- [Глава 18](#)
- [Глава 19](#)
- [Глава 20](#)
- [Глава 21](#)
- [Глава 22](#)
- [Послесловие](#)
- [Необходимое примечание](#)
- [notes](#)
  - [\[1\]](#)
  - [\[2\]](#)
  - [\[3\]](#)
  - [\[4\]](#)
  - [\[5\]](#)
  - [\[6\]](#)
  - [\[7\]](#)

---

## Барбара Такман. Августовские пушки

*Человеческое сердце – вот источник всего, что имеет отношение к войне.*

*Мориц Саксонский. Теория военного искусства (1732)*

*Жуткие «если бы» накапливаются...*

*Уинстон Черчилль. Мировой кризис. Т. 1.  
Гл. XI*

## Предисловие к изданию 1988 года

Эта книга обязана своим появлением на свет двум предыдущим текстам, написанным мною и посвящённым, так или иначе, Первой мировой войне. Первый текст, под названием «Библия и меч», рассказывал о предыстории «декларации Бальфура», принятой в 1917 году в преддверии вступления британцев в Иерусалим в ходе войны с турками на Ближнем Востоке. Поскольку Иерусалим является священным центром иудео-христианской религии, а также священным городом для мусульман (в то время, к слову, ему не придавали такого значения как сегодня), вступление британских частей в этот город сочли событием, которое требовало неких символических жестов и определённого «этического обоснования». Официальное заявление, признающее Палестину исторической родиной населения этой области, было опубликовано именно с этой целью, а вовсе не стало отражением «ярого филосемитизма» британского правительства. Впрочем, нельзя отрицать и влияние других факторов – в частности, пронизанности британской культуры библейскими мотивами, прежде всего мотивами Ветхого Завета, а ещё, если воспользоваться цитатой из «Манчестер гардиан», «насушной логики боевых действий на берегах Суэцкого канала». Иными словами – Библии и меча.

Вторая из книг, предшествовавших «Пушкам», называлась «Телеграмма Циммермана» и была посвящена предложению министра иностранных дел Германии в те годы, Артура Циммермана, побудить Мексику и Японию к заключению союза и нападению на Соединённые Штаты; причём Мексике сулили возврат утраченных территорий – штатов Аризона, Нью-Мексико и Техас. Суть предложения Циммермана сводилась к тому, чтобы занять США делами на Американском континенте и тем самым воспрепятствовать их вступлению в войну в Европе. Результат оказался обратным желаемому: телеграмма президенту Мексики была перехвачена и расшифрована англичанами и предоставлена в распоряжение правительства США. Волна возмущения в американском обществе значительно ускорила вступление Соединённых Штатов Америки в войну.

Я всегда полагала, штудирюя исторические источники, что 1914 год был тем самым мгновением, когда «пробили часы», той датой, которая завершила девятнадцатое столетие и начала отсчёт нашего века, «грозного двадцатого», как обронил Черчилль. В поисках темы для книги я вдруг поняла, что 14-й год походит как нельзя лучше. Оставалось лишь наметить рамки и сообразить, с чего начинать. И тут, когда я ощупью искала правильный подход к материалу, произошло маленькое чудо – мой агент позвонил с вопросом: «Хотите пообщаться с издателем, который хочет выпустить книгу о 1914 году?» Я была поражена до глубины души таким совпадением, но нашла в себе силы промямлить: «Да, конечно»; при этом меня несколько задело, что кому-то ещё пришла в голову та же идея, что и мне самой.

Издателем оказался англичанин Сесил Скотт из «Макмиллан», ныне уже покойный, и при встрече он поведал мне, что хочет получить текст с правдивой историей битвы при Монсе (Mons) 1914 года, первой иностранной операции Британского Экспедиционного Корпуса (БЭК); эта битва имела важнейшее значение и вдобавок обросла легендами о сверхъестественном вмешательстве в людские дела. После встречи с мистером Скоттом я отправилась кататься на лыжах в Вермонт – и прихватила с собой чемодан книг.

Домой я возвратилась с желанием написать книгу о прорыве «Гёбена», немецкого крейсера, который, ускользнув от погони англичан в Средиземном море, достиг Константинополя и вовлёк Турцию и всю Османскую империю в войну, определив ход истории Ближнего Востока на десятилетия вперёд. «Гёбен» представлялся мне естественным выбором, поскольку он был частью нашей семейной истории, к которой я приобщилась в возрасте двух лет. Моя семья вместе со мной пересекала Средиземное море, направляясь в Константинополь, где мой дед состоял послом США при Османской Порте. В кругу нашей семьи часто вспоминали, как пассажиры с палубы видели клубы дыма, как один корабль насккивал на два других и как «Гёбен» прибавил ход и скрылся; по прибытии в Константинополь мы оказались первыми, кто поставил чиновников и дипломатов в известность об этом морском бое. Моя мать вспоминала и о продолжительном допросе, которому её подверг посол Германии, не позволяя сойти на берег и обнять отца; с её слов я составила своё первое впечатление о немецкой манере общения.

Почти тридцать лет спустя, вернувшись с лыжного уикенда в Вермонте, я сообщила мистеру Скотту, что вот история из 1914 года, о которой я хотела бы написать. Он не согласился. Ему по-прежнему не давал покоя Монс. Как экспедиционный корпус сумел отбросить немцев? И вправду ли над полем боя появился ангел? И откуда вообще взялась легенда об ангелах Монса, столь популярная впоследствии на Западном фронте? Честно говоря, меня саму «Гёбен» интересовал куда больше, чем ангелы Монса, но важнее всего было то, что нашёлся издатель, готовый опубликовать книгу о 1914 годе.

Война в целом казалась темой слишком грандиозной и для меня неподъёмной. Но мистер Скотт настаивал, что я вполне способна к ней подступить, и когда я составила перечень событий первого месяца войны, в который включила всё, в том числе «Гёбен» и битву при Монсе, чтобы потрогать нас обоим, – стало понятно, что проект действительно осуществим.

Увязнув среди всех этих армейских корпусов с римскими цифрами вместо имён собственных и левых и правых флангов, я вскоре ощутила, что мне следовало бы поучиться в академии генерального штаба лет десять как минимум, прежде чем браться за подобную книгу, в особенности когда попыталась объяснить, как отступавшие французы сумели в самом начале войны вернуть себе Эльзас. Как-то я выкрутилась, освоив технику маневрирования, которой учится любой автор исторических исследований: слегка «затушевать» факты, если ты не в силах осознать картину во всей полноте. Гиббон поступал точно так же, выстраивая свои певучие и протяжённые предложения, которые, если проанализировать их по отдельности, зачастую малоосмысленны – зато обладают надлежащей структурой. Я не Гиббон, разумеется, но я познала ценность углубления в неведомое без возвращения к предыдущим исследованиям, где уже всё известно и знакомо – и исходный материал, и лица, и обстоятельства. Конечно, последнее изрядно облегчает работу, но лишает новизны и восторга открытия, а ведь именно по этой причине я взялась за новую тему для новой книги. Возможно, критики со мной не согласятся, но лично меня это радует. Так как меня почти не знала широкая публика, «Августовские пушки», будучи опубликованными, удостоились не критического разгрома, а удивительно тёплого приёма. Клифтон Фейдимен так отозвался о

«Пушках» в бюллетене «Книга месяца»: «С громкими словами надо быть осторожнее; тем не менее есть шанс, что „Августовские пушки“ могут со временем стать исторической классикой. Работе присущи едва ли не фукидидовские добродетели: глубина, краткость, масштабность. Посвящённая краткому периоду непосредственно до и сразу после начала Первой мировой войны, эта книга, как и „История“ Фукидида, выходит за свои пределы и за заявленные рамки повествования. В своей жёсткой, „скульптурной“ стилистике эта книга фиксирует те моменты, которые породили наше нынешнее время. Она оценивает наши страхи в долгосрочной перспективе, утверждая, что если большинство мужчин, женщин и детей в мире в скором времени окажутся распылёнными на атомы, произойдёт это, как ни поразительно, вследствие артиллерийской канонады в августе 1914 года. Быть может, я упрощаю, но именно таков авторский посыл, преподносимый без истерик и оттого ещё более жуткий. Книга утверждает, что тупик „страшного августа“ определил весь дальнейший ход войны и условия мира, сформировал проблемы межвоенного периода и привёл в итоге к новой войне».

Далее Фейдимен перечислил основных действующих лиц повествования и заметил, что «одним из талантов настоящего историка является способность проецировать человеческие мысли и чувства, а не только рассказывать о событиях». Он выделил основные символические фигуры в моём представлении – кайзер, король Альберт, генералы Жоффр и Фош, среди прочих, упомянул о том, как я обрисовала их, размышляя, что мною двигало и удалось ли мне справиться с поставленной задачей. Меня настолько тронула похвала Фейдимена, не говоря уже о сравнении с Фукидидом, что я даже расплакалась, чего раньше никогда не случалось. Идеальное понимание, каковое, возможно, случается лишь однажды в жизни.

Полагаю, в предисловии к юбилейному изданию следует оценить, сохранила ли книга своё значение сегодня. Думаю, да. В ней нет глав, абзацев и фраз, которые мне хотелось бы переписать.

Самая известная часть книги – её первая глава с описанием похорон Эдуарда VII, а вот заключительный абзац послесловия выражает самую суть работы, точнее, значение Великой войны для истории человечества. Может быть, самонадеянно с моей стороны так

говорить, но я считаю, что этот абзац ничуть не хуже любого другого резюме событий Первой мировой войны, что я знаю.

К похвалам Фейдимена неожиданно добавилось поразительное предсказание «Паблишерз уикли», этой библии книжной торговли. «Августовские пушки», утверждалось в еженедельнике, «просто обязаны стать бестселлером в разделе новой публицистики этой зимой». Увлёкшись восхвалениями, еженедельник, в довольно эксцентричной стилистике, заключил, что эта книга «заразит американских читателей новым энтузиазмом в отношении тех поистине электризирующих моментов, какими до сих пор пренебрегали любители истории...» Не думаю, что слово «энтузиазм» применимо к трагедии Великой войны, сама я точно бы его не употребила, как не стала бы и рассуждать об «электризирующих моментах» или говорить о пренебрежении историей Первой мировой, учитывая длинный список посвящённых ей работ в Нью-йоркской публичной библиотеке. Но в целом читать эту рецензию было приятно. Особенно если вспомнить, сколь часто в процессе работы меня посещала депрессия и я писала мистеру Скотту: «Да кто будет это читать?» А он отвечал: «Двое – вы и я». Это несколько не обнадеживало, и тем удивительнее оказались положительные отзывы на книгу. Как выяснилось, еженедельник ничуть не преувеличил. «Пушки» расходились, как горячие пирожки, и мои дети, которым я передала роялти и иностранные права, до сих пор получают чеки с известными суммами. Да, если разделить эти суммы на тридцать лет, они, возможно, и не столь велики, но приятно сознавать, что и двадцать шесть лет спустя книга находит новых читателей.

Я счастлива, что нынешнее издание представляет мою книгу новому поколению, и надеюсь, что и в своём зрелом возрасте она не утратила шарм – то есть, будет по-прежнему интересна.

*Барбара Такман*



## От автора

Эта книга многим обязана прежде всего мистеру Сесилу Скотту из издательства «Макмиллан», чьи советы и знание предмета оказались поистине неоценимыми и чью поддержку я ощущала на всём протяжении работы над текстом. Мне также посчастливилось сотрудничать с мистером Деннигом Миллером, стараниями которого удалось прояснить много тёмных мест и сделать эту книгу значительно лучше, чем она могла бы быть. Я безмерно признательна ему за помощь.

Я хотела поблагодарить «ресурсообильную» Нью-йоркскую публичную библиотеку и одновременно выразить надежду, что когда-нибудь и в моём родном городе найдут возможность предоставить учёным доступ к богатейшим хранилищам местной библиотеки. Я также благодарю библиотеку Нью-йоркского общества за неизменное радушие её персонала и за тишину и уют её залов; миссис Агнес Ф. Петерсон из Гуверовской библиотеки в Стэнфорде за редкие экземпляры книг и за изыскания по моей просьбе; мисс Р.Э.Б. Кум из Имперского военного музея в Лондоне за подбор иллюстраций; сотрудников Парижской библиотеки современных документов за предоставление оригиналов приказов и донесений; мистера Генри Сакса из Артиллерийской ассоциации за технические консультации и пополнение моих слабых познаний в немецком языке.

Читателям я должна пояснить, что отсутствие в книге упоминаний о ситуации в Австро-Венгрии и Сербии, а также на русско-австрийском и сербско-австрийском фронтах продиктовано не совсем субъективными соображениями. Балканы – извечная проблема и совершенно отдельная история войны, так что мне показалось, что без них логика изложения не пострадает, а книга не увеличится в объёме до невообразимых размеров.

Долго изучая военные мемуары, я надеялась обойтись в своей книге без римских цифр в обозначениях подразделений, но сложившаяся практика оказалась сильнее моих благих намерений. Я ничего не могу поделать с римскими цифрами, которые, такое ощущение, неразрывно связаны с армейскими частями; зато я могу

предложить читателю полезное правило левого и правого речных берегов (когда смотришь вниз по течению): даже когда армии разворачиваются и отступают, они сохраняют те же «координаты», что и при наступлении, то есть «лево» и «право» остаются для них теми же самыми.

Источники цитат и описаний указаны в библиографии. Я старалась по возможности избегать спонтанной атрибуции и стиля «он должен был так подумать»: «Глядя, как исчезает вдали побережье Франции, Наполеон, должно быть, вспоминал былые дни...» Все погодные условия, мысли и чувства, размышления общего и частного свойства на страницах этой книги имеют документальное подтверждение.

# Глава 1

## Похороны

Столь величественным было зрелище в майское утро 1910 года, когда девять монархов ехали вместе за похоронным поездом короля Англии Эдуарда VII, что по толпе, притихшей в ожидании и одетой в траур, прокатился гул восхищения. В алом и голубом, зелёном и пурпурном, по трое в ряд монархи миновали дворцовые ворота – в шлемах с перьями, с золотыми аксельбантами, малиновыми лентами, в усыпанных бриллиантами орденах, сверкавших на солнце. За ними двигались пятеро прямых наследников, сорок императорских или королевских высочеств, семь королей – четыре вдовствующие и три правящие, – а также множество специальных послов из некоронованных стран. Вместе они представляли семьдесят наций на самом большом и, очевидно, последнем в своём роде собрании королевской знати и чинов, когда-либо съезжавшихся в одно место. Колокола на часовой башне парламента приглушённо пробили девять утра, когда кортеж покинул дворец. Однако часы истории указывали на закат, и солнце старого мира опускалось в угасающем зареве великолепия, которому предстояло исчезнуть навсегда.

В центре первого ряда ехал новый король Георг V, слева от него находился герцог Коннахт, единственный из оставшихся в живых братьев покойного короля, а справа – человек, которому, как писала «Таймс», «принадлежит первое место среди прибывших из-за границы плакальчиков, даже в моменты наиболее напряжённых отношений эта персона всегда пользовалась у нас популярностью», – Вильгельм II, император Германии. Верхом на сером коне, одетый в алую форму английского фельдмаршала, он держал в руках маршальский жезл. Лицо кайзера со знаменитыми закрученными вверх усами было «мрачным, почти жестоким». О том, какие чувства волновали эту легковозбудимую, впечатлительную натуру, можно узнать из его писем: «Я горд назвать это место своим домом, быть членом этой королевской семьи», – писал он в Германию, проведя ночь в Виндзорском замке, в бывших апартаментах своей матери. Сентиментальность и грусть, вызванные печальными событиями,

боролись с гордыней, проистекавшей из чувства превосходства над собравшимися монархами, и жгучей радостью по поводу исчезновения его дяди с европейского горизонта. Он приехал хоронить Эдуарда – проклятие своей жизни, главного творца, как считал Вильгельм, политики изоляции Германии. Эдуард, брат матери Вильгельма, которого он сам не мог ничем ни запугать, ни поразить, своей дородной фигурой заслонял Германии солнце. «Это – сам Сатана. Трудно представить, какой он Сатана!»

Эти слова, произнесённые кайзером перед тремьями гостями на обеде в Берлине в 1907 году, явились результатом одного из путешествий Эдуарда по Европе, предпринятого ради осуществления дьявольской идеи изоляции Германии. Он неспроста пробыл неделю в Париже, без всяких видимых причин посетил короля Испании (только что женившегося на его племяннице) и завершил свою поездку визитом к королю Италии с явным намерением соблазнить его на выход из Тройственного союза с Германией и Австрией. Кайзер, владеец наиболее несдержанного языка в Европе, в порыве неистовства высказал тогда одно из тех замечаний, которые периодически, в течение двадцати лет его правления, вызывали у дипломатов нервные потрясения.

Теперь, к счастью, «Окружатель» был мёртв, и его место занял Георг, который, как сказал кайзер Теодору Рузвельту за несколько дней до похорон, был «очень хорошим мальчиком» (сорока пяти лет, на шесть лет моложе кайзера). «Он настоящий англичанин и ненавидит всех иностранцев, против чего я не возражаю, если, конечно, он не будет ненавидеть немцев больше, чем других». Сейчас Вильгельм уверенно ехал рядом с Георгом, отдавая честь знамёнам Первого королевского драгунского полка, где значился почётным полковником. Когда-то он распространял свои фотографии в форме этого полка с загадочной надписью над факсимиле: «Я жду своего времени». Сегодня это время пришло – он могущественнее всех в Европе.

За ним ехали два брата овдовевшей королевы Александры – король Дании Фредерик и король Греции Георг, и ещё её племянник, король Норвегии Хакон. Затем следовали три короля, которые в будущем лишатся своих тронов, – Альфонс, король Испании, Мануэль, король Португалии, и Фердинанд, король Болгарии, в шёлковом тюрбане, раздражавший своих монарших собратьев тем, что именовал

себя кесарем и хранил в своём гардеробе полное облачение византийского императора, приобретённое у театрального костюмера, в уповании на тот день, когда ему, может быть, удастся собрать все византийские владения под свой скипетр.

Ослеплённые зрелищем этих «красиво восседавших принцев», по выражению «Таймс», немногие обратили внимание на девятого короля, единственного из всех, кому суждено было стать действительно великим человеком. Несмотря на высокий рост и отличные навыки верховой езды, Альберт, король Бельгии, не любивший помпезных монархических церемоний, выглядел в этой компании смущённым и рассеянным. Тогда ему было тридцать пять лет, и на троне он провёл немногим более года. Позже, когда Альберт стал известен миру как символ героизма и трагедии, у него был почти такой же рассеянный взгляд, как будто он мысленно находился в другом месте.

Будущая причина трагедии – высокий, осанистый, затянутый в корсет, в каске с качающимися на ней зелёными перьями, – эрцгерцог Австрии Франц-Фердинанд, наследник престарелого императора Франца-Иосифа, ехал справа от Альберта, а слева от него находился ещё один отпрыск, который никогда не займёт трона, – принц Юсуф, наследник турецкого султана. После королей ехали королевские высочества: принц Фусими, брат императора Японии, великий князь Михаил, брат русского царя, герцог Аоста в светло-голубом мундире и с зелёными перьями на каске, брат короля Италии, принц Карл, брат короля Швеции, супруг правящей королевы Голландии принц Генрих, а также кронпринцы Сербии, Румынии и Черногории. Последний, кронпринц Данило, «обаятельный, необычайно красивый молодой человек с восхитительными манерами», напоминал возлюбленного Весёлой вдовы не только именем. Он прибыл накануне вечером, к раздражению британских государственных деятелей, в сопровождении «очаровательной молодой особы необыкновенной красоты», и представил её как фрейлину своей жены, приехавшую в Лондон, чтобы сделать кое-какие покупки.

Далее ехал целый полк мелких представителей германской королевской фамилии: великие герцоги Мекленбург-Шверина, Мекленбург-Стрелица, Шлезвиг-Гольштейна, Вальдек-Пирмонта, Кобурга, Саксен-Кобурга и Гота, Саксонии, Гессена, Вюртемберга,

Бадена, Баварии. Кронпринцу Рупрехту из Баварии вскоре предстояло повести германскую армию в бой. С ними же находились принц Сиам, принц Персии, пять принцев бывшего французского Орлеанского королевского дома, брат хедива Египта в феске с золотой кисточкой, принц Цзя-дао из Китая в расшитом светло-голубом наряде (его старинной династии оставалось править не более двух лет), а также брат кайзера, принц Прусский Генрих, представлявший германский флот, главнокомандующим которого он являлся. Среди всего этого величия можно было увидеть и трёх одетых в штатское господ: Гастон-Карлина из Швейцарии, Пишона, министра иностранных дел Франции, и экс-президента Теодора Рузвельта, специального посланника Соединённых Штатов.

Эдуарда, ставшего причиной этого беспрецедентного собрания власть имущих, часто называли «Дядей Европы» – это прозвище, если иметь в виду правящие дома Европы, следовало бы понимать в буквальном смысле. Он приходился дядей не только кайзеру Вильгельму, но также – по линии сестры своей жены, вдовствующей русской императрицы Марии, – и царю Николаю II. Сама русская царица приходилась ему племянницей. Дочь Эдуарда, Мод, правила в Норвегии, другая племянница, Ена, была королевой Испании, а третьей племяннице, Марии, вскоре предстояло стать королевой Румынии. Датская ветвь его жены, помимо того, что владела тронном Дании, находилась в родстве по материнской линии с русским царём, а также снабдила королями Грецию и Норвегию. Другие родственники, отпрыски девяти сыновей и дочерей королевы Виктории, были в избытке раскиданы по всем королевским дворам Европы.

И всё же не только семейные чувства или даже печаль и потрясение, вызванные смертью Эдуарда, – как известно, он проболел всего один день и умер на следующий – послужили причиной неожиданного потока соболезнований по случаю его кончины. Это было действительно признание великих заслуг Эдуарда как короля, оказавшего неоценимую услугу своей стране. За девять коротких лет его правления Англия отошла от блестящей изоляции, вынужденная согласиться на «взаимопонимание» и заверения в преданности (но не на союзы – Англия не любит определённости) с двумя своими старыми врагами – Францией и Россией, и с одной многообещающей державой – Японией. Изменение сил проявилось во всём мире и

повлияло на отношения каждой страны с другими. Хотя Эдуард не выступал в качестве инициатора и не влиял на политику своей страны, его личная дипломатия способствовала этим изменениям.

Ещё ребёнком, находясь вместе с родителями с официальным визитом во Франции, он заявил Наполеону III: «У вас прекрасная страна, и я хотел бы быть вашим сыном». Это предпочтение всему французскому в противовес – или, скорее, в знак протеста – против пристрастия матери ко всему немецкому продолжалось и после её смерти и было воплощено в реальные дела. Когда Англия, с растущим беспокойством наблюдавшая за вызовом, который сулила программа усиления германского флота, решила забыть старые счёты с Францией, таланты Эдуарда – *Roi Charmeur*, «короля-очарователя», – помогли ей плавно обойти все острые углы. В 1903 году он направился в Париж, несмотря на предупреждения о том, что официальный государственный визит встретит холодный приём. Встречавшая его толпа была мрачной и тихой, лишь изредка раздавались насмешливые возгласы: «*Vivent les Boers!* Да здравствуют буры!» и «*Vive Fashoda!* Да здравствует Фашода!» Но король не обратил на выкрики никакого внимания. «Французы нас не любят», – пробормотал кто-то из адъютантов. «А почему они должны нас любить?» – парировал Эдуард, продолжая кланяться и улыбаться из открытого экипажа.

Четыре дня он постоянно был на публике, присутствовал на параде в Венсенне, побывал на скачках в Лоншане, на торжественном представлении в Опере, на государственном банкете в Елисейском дворце, завтракал на Кэ-д'Орсе, сумел преобразить холодок в улыбки, когда в театре, смешавшись в антракте с толпой зрителей в фойе, высказал галантные комплименты на французском одной знаменитой актрисе. Повсюду он выступал с изящными и полными такта речами о дружбе и о своём восхищении французами, об их «славных традициях» и «прекрасном городе», к которому он, по собственному признанию, привязан «многими счастливыми воспоминаниями». Он говорил о своём «искреннем удовольствии» от этого визита, о своей вере в то, что все старые разногласия, «к счастью, преодолены и забыты», что общее процветание Франции и Англии взаимосвязано, что укрепление дружбы является его «постоянной заботой». Когда Эдуард уезжал, толпа кричала: «*Vive notre roi!* Да здравствует наш король!» Бельгийский дипломат сообщал: «Редко можно наблюдать

столь резкое изменение общего настроения, какое произошло здесь. Он завоевал сердца всех французов». Германский посол считал этот визит «весьма странным» и высказал мысль, что англо-французское сближение, *rapprochement*, явилось результатом общей нелюбви к Германии. В тот же год, после упорной работы министров, преодолевших немало спорных вопросов, это «сближение» превратилось в Entente, англо-французскую Антанту, договор о которой был подписан в апреле 1904 года.

Германия могла бы иметь свою Антанту с Англией, если бы её руководители, подозрительно относившиеся к английским намерениям, сами не отвергли заигрывания министра колоний Джозефа Чемберлена – сначала в 1899-м, а затем в 1901 году. Ни находившийся в тени Гольштейн, ни направлявший из-за кулис германскую политику элегантный и эрудированный канцлер, князь Бюлов (Bülow), ни даже сам кайзер не знали точно, в чём именно они подозревают Англию, однако были уверены в её вероломстве. Кайзер всегда стремился заключить соглашение с Англией, но так, чтобы англичане даже не догадались о его желании подписать подобный договор. Однажды, под влиянием всего английского и родственных чувств во время похорон королевы Виктории, он позволил себе признаться Эдуарду: «Даже мышь не посмеет пошевелиться в Европе без нашего согласия». Так он представлял будущий англо-германский альянс. Но едва англичане выказали признаки готовности, кайзер и его министры стали действовать уклончиво, заподозрив какую-то хитрость. Опасаясь, что англичане будут иметь преимущества за столом переговоров, немцы предпочли вообще уйти от этого вопроса и положиться на постоянно растущий флот, дабы запугать англичан и заставить тех согласиться на германские условия.

Бисмарк советовал Германии опираться в основном на сухопутные силы, но его последователи, ни поодиночке, ни вместе взятые, не были Бисмарками. Он неуклонно добивался достижения ясно видимых целей, они же стремились к более широким горизонтам, не имея чёткой идеи в отношении того, чего именно хотят. Гольштейн был Макиавелли без политики и действовал, исходя из одного принципа: подозревать всех и каждого. Бюлов не имел принципов, он был так скользок, жаловался его коллега адмирал Тирпиц, что по сравнению с ним угорь казался пиявкой. Резкий, непостоянный, легко



увлекающийся кайзер каждый час ставил разные цели, относясь к дипломатии как к упражнению в вечном движении.

Никто из них не верил, что Англия когда-нибудь придёт к соглашению с Францией, и все предупреждения на сей счёт, в том числе наиболее обоснованное – от посла в Лондоне барона Эккардштейна, Гольштейн отметал как «наивные». На обеде в Мальборо-Хаусе в 1902 году Эккардштейн видел, как Поль Камбон, французский посол, уединился в бильярдной комнате с Джозефом Чемберленом. Там в течение двадцати восьми минут они вели «оживлённый разговор», из которого послу Германии удалось подслушать только два слова – «Египет» и «Марокко» (в мемуарах барона не говорится, была ли дверь открыта или он слушал через замочную скважину). Позднее барона пригласили в кабинет к королю, где Эдуард предложил ему сигару «1888 Уппман» и сообщил, что Англия собирается достичь урегулирования с Францией по спорным колониальным вопросам.

Когда Антанта стала фактом, гнев Вильгельма был страшен. Но ещё более досадным и мучительным для кайзера был триумфальный визит Эдуарда в Париж. «Reise-Kaiser», «путешествующий кайзер», – так прозвали Вильгельма из-за частых поездок – получал необыкновенное удовольствие от церемониальных въездов в столицы других стран. Больше всего ему хотелось вступить триумфатором в недостижимый Париж. Он побывал везде, даже в Иерусалиме, где ради кайзера расширили Яффские ворота, чтобы он смог проехать через них верхом на коне. Но Париж, центр всего прекрасного и всего желанного, всего того, чем не был Берлин, оставался для него закрытым. Ему хотелось услышать приветствия парижан, хотелось, чтобы через плечо ему легла красная лента ордена Почётного легиона. Он дважды извещал французов о своём императорском желании, но никакого приглашения не последовало. Он мог войти в Эльзас и выступать с речами, возвеличивающими победу 1870 года, мог командовать парадом в лотарингском Меце, но – и в этом, может быть, и заключается печальная участь королей – кайзер дожил до восьмидесяти двух лет и умер, так и не увидев Парижа.

Зависть к древним нациям пожирала его. Он жаловался Теодору Рузвельту, что английская знать во время поездок на континент никогда не заезжала в Берлин, но всегда отправлялась в Париж. Кайзер

считал, что его недооценивают. «За все долгие годы моего правления, – сказал он как-то королю Италии, – мои коллеги, монархи Европы, не обращали внимания на то, что я говорил. Но скоро, когда мой великий флот подкрепит мои слова, они станут проявлять к нам больше уважения». Те же чувства испытывала и вся нация, страдавшая, как и её император, от нестерпимой потребности признания. Изобилуя энергией и честолюбием, сознавая свою силу, впитав идеи Ницше и Трейчке, эта нация считала себя наделённой правом господствовать и в то же время обманутой, потому что остальной мир отказывался признавать это право. «Мы должны, – писал рупор германского милитаризма Фридрих фон Бернарди, – обеспечить германской нации и германскому духу на всём земном шаре то высокое уважение, которое они заслуживают... и которого они были лишены до сих пор». Он откровенно признавал лишь один способ достижения этой цели; и все Бернарди помельче, начиная с кайзера, стремились к этому уважению с помощью угроз и демонстраций силы. Они потрясали «железным кулаком», требовали своего «места под солнцем», славили добродетели меча в хвалебных песнях о «крови и железе» и «сверкающей броне». В Германии перефразировали принцип Рузвельта в международных делах – «говори тихо, но держи наготове большую дубинку» на тевтонский манер: «Кричи громче и грози большой пушкой». Когда эта пушка была готова, когда кайзер приказал своим войскам, отправлявшимся на подавление боксёрского восстания в Китай, вести себя как гунны Аттилы (выбор гуннов в качестве германского прототипа был его собственным), когда пангерманские общества и военно-морские лиги непрерывно множились, другие нации ответили альянсами, после чего Германия завопила: «Einkreisung! Окружение!» Рефрен «Deutschland ganzlich einzukreisen – Германия полностью окружена» назойливо повторялся более десятилетия.

Зарубежные визиты Эдуарда продолжались – Рим, Вена, Лиссабон, Мадрид – и посещал он не только королевские семьи. Каждый год он проходил курс лечения в Мариенбаде, где мог обмениваться мнениями с «Тигром Франции» Клемансо, своим ровесником, который занимал пост премьера в течение четырёх лет за время правления Эдуарда. У короля были две страсти в жизни – строгая одежда и пёстрая компания. Он пренебрёг первой и стал

восхищаться Клемансо. «Тигр» разделял мнение Наполеона о том, что Пруссия «вылупилась из пушечного ядра», и считал, что ядро летит во французскую сторону. Он работал, планировал, маневрировал под влиянием главной идеи: «В стремлении к господству Германия... считает своей основной политической задачей уничтожение Франции». Клемансо сказал Эдуарду, что, если наступит такое время, когда Франции понадобится помощь, морской мощи Англии будет недостаточно, напомнив, что Наполеон был разбит при Ватерлоо, а не у Трафальгара.

В 1908 году Эдуард, к неудовольствию своих подданных, нанёс официальный визит русскому царю, встретившись с ним на борту императорской яхты в Ревеле. Английские империалисты рассматривали Россию как старого врага времён Крыма, а что касается последних лет, то как угрозу, нависшую над Индией. Либералы же и лейбористы считали Россию страной кнута, погромов и массовых казней революционеров 1905 года, а царя – как заявил Рамсей Макдональд – «обыкновенным убийцей». Неприязнь была взаимной. России не нравился союз Англии с Японией. Она также ненавидела Англию за то, что та воспрепятствовала её историческим посягательствам на Константинополь и Дарданеллы. Николай II слил два своих излюбленных предрассудка в одной фразе: «Англичанин – это жид».

Однако старые разногласия были не такими сильными, как новая реальность, и, следуя настояниям французов, жаждавших, чтобы их два союзника пришли к согласию, Англия и Россия в 1907 году подписали конвенцию. Считалось, что личная дружба между монархами рассеет оставшееся недоверие, и Эдуард отправился в Ревель. Он вёл долгие переговоры с русским министром иностранных дел Извольским и танцевал с царицей вальс из «Весёлой вдовы» с таким успехом, что даже заставил её рассмеяться – первый человек, который смог добиться подобного результата с тех пор, как эта несчастная женщина надела корону Романовых. Это был вовсе не пустяк, как могло показаться на первый взгляд, потому что царь, о котором вряд ли можно было сказать, что он правит Россией в прямом смысле этого слова, был деспотом-автократом, а им, в свою очередь, правила жена, женщина с сильной волей, хотя и слабым умом. Красивая, истеричная и болезненно подозрительная, она ненавидела

всех, кроме своих близких и нескольких фанатичных или безумных шарлатанов, которые утешали её отчаявшуюся душу. Царь, не наделённый умом и недостаточно образованный, по мнению кайзера, был способен лишь на то, «чтобы жить в деревне и выращивать репу».

Кайзер считал, что царь входит в его собственную сферу влияния, и пытался при помощи хитроумных уловок оторвать его от альянса с Францией, возникшего в результате собственной глупости Вильгельма. Завет Бисмарка «дружить с Россией» и «договор перестраховки», воплощавший этот завет, были забыты Вильгельмом, что явилось первой и самой худшей ошибкой его правления. Александр III, рослый, суровый русский царь тех времён, в 1892 году быстро изменил направление политики и вступил в альянс с республиканской Францией, пойдя даже на то, чтобы встать «смирно» при исполнении «Марсельезы». Кроме того, к Вильгельму он относился с пренебрежением, считая его *«un garçon mal élevé»* («плохо воспитанным»), и постоянно оказывал ему чрезвычайно холодный приём. После того как Николай унаследовал трон, Вильгельм старался исправить свою ошибку, направляя молодому царю пространные письма (на английском языке), в которых давал советы, сообщал слухи и сплетни и распространялся на политические темы. Он обращался к нему «дражайший Ники», а подписывался «любящий тебя друг Вилли». «Безбожная республика, запятнанная кровью монархов, не может быть подходящей компанией для тебя, – говорил он царю. – Ники, поверь моему слову, Бог проклял этот народ навеки». Истинные интересы Ники, убеждал его Вилли, заключаются в *Drei-Kaiser Bund*, Союзе трёх императоров – России, Австрии и Германии. И всё же, помня насмешки старого царя, он не мог отказать себе в снисходительном тоне по отношению к его сыну. Он обычно похлопывал Николая по плечу и говорил: «Мой тебе совет – побольше речей и побольше парадов, речей и парадов». Он предложил направить немецкие части для защиты Николая от его мятежных подданных, чем привёл в бешенство царицу, ненависть которой к Вильгельму росла с каждым его визитом.

После того как кайзеру не удалось в силу определённых причин разъединить Россию и Францию, он выработал хитроумный договор, который предусматривал взаимопомощь России и Германии в случае военного нападения. После подписания договора царь должен был

пригласить французов присоединиться к этому документу. После поражения России в войне с Японией (кайзер сделал всё, чтобы вовлечь Россию в эту войну) и последовавших за ней революционных выступлений, когда режим оказался в своей наинизшей точке, кайзер пригласил царя на тайную встречу без министров в Бьёрке, на Финском заливе. Вильгельм прекрасно понимал, что Россия не может заключить такой договор, не поступив вероломно по отношению к Франции, но полагал, что подписей монархов будет достаточно, чтобы преодолеть подобное затруднение. Николай подписал договор.

Вильгельм пришёл в восторг. Он исправил фатальную ошибку, обеспечил тылы Германии и разорвал окружение. «Слёзы радости стояли в моих глазах», – писал кайзер Бюлову, уверенный, что дедушка (Вильгельм I, который, умирая, бормотал слова о войне на два фронта) с гордостью взирает на него с небес. Он считал договор мастерским ходом немецкой дипломатии, что соответствовало бы действительности, если бы не упущение в заголовке. Когда царь привёз этот договор домой, поражённые министры указали, что, взяв обязательство выступить на стороне Германии в случае возможной войны, Россия отказывается от своего союза с Францией – деталь, «несомненно, ускользнувшая от внимания Вашего величества в потоке красноречия императора Вильгельма». Договор в Бьёрке, не прожив и дня, прекратил своё существование.

Теперь дружбу с русским царём пытался завести в Ревеле Эдуард. Прочитав доклад германского посла об этой встрече, из которого следовало, что Эдуард действительно хочет мира, кайзер гневно написал на полях: «Ложь. Он хочет войны. Но хочет, чтобы начал её я, а он бы избежал ответственности».

Год закончился неверным шагом кайзера, таившим в себе опасность взрыва. Он дал интервью газете «Дейли телеграф», высказав ряд идей в отношении того, кто с кем должен воевать. Публикация привела в замешательство не только соседей, но и соотечественников. Общественное неодобрение было таким явным, что кайзер даже слёг, проболел три недели и в течение некоторого времени воздерживался от высказываний.

После этого случая никаких сенсационных известий не было. Последние два года первого десятилетия, когда Европа как бы наслаждалась благодатным солнечным днём истории, были самыми

спокойными и тихими. Тысяча девятьсот десятый был годом мира и процветания. Второй этап Марокканских кризисов и Балканских войн ещё не наступил. Была опубликована новая книга Нормана Энджелла «Великая иллюзия», в которой доказывалось, что война невозможна. С помощью внушительных примеров и неоспоримых аргументов Энджелл утверждал, что при существующей финансовой и экономической взаимозависимости наций победитель будет страдать в одинаковой степени с жертвой – поэтому война невыгодна, и ни одна страна не проявит такой глупости, чтобы её начать. Переведённая почти сразу на одиннадцать языков, «Великая иллюзия» превратилась в культ. В университетах, в Манчестере, Глазго и других промышленных городах появилось более сорока групп приверженцев, пропагандировавших её догмы. Самым верным учеником Энджелла был человек, оказывавший большое влияние на военную политику, близкий друг короля и его советник виконт Эшер, председатель Военного комитета, созданного для проведения реорганизации британской армии после шока, вызванного неудачами в англо-бурской войне. Лорд Эшер выступал с лекциями о «Великой иллюзии» в Кембридже и Сорбонне, утверждая, что «новые экономические факторы ясно доказывают всю бессмысленность агрессивных войн». Война XX века будет иметь колоссальные масштабы, заявлял он, и её неизбежные последствия в виде коммерческого краха, финансовой катастрофы и страданий людей настолько пропитают всё идеями сдерживания, что сделают войну немыслимой. Он заявил в речи перед офицерами Клуба объединённых вооружённых сил в присутствии начальника генерального штаба сэра Джона Френча, председательствовавшего на собрании, что ввиду взаимного переплетения интересов наций война с каждым днём становится более трудной и невозможной.

Германия, считал лорд Эшер, «принимает доктрину Нормана Энджелла так же, как и Великобритания». Как отнеслись кайзер и кронпринц к идеям «Великой иллюзии», экземпляры которой Эшер послал им, осталось неизвестным. Нет доказательств того, что Эшер направил эту книгу генералу фон Бернарди, который в 1910 году был занят написанием другой книги – «Германия и следующая война», опубликованной годом позже. Ей суждено было получить такое же влияние, как и книге Энджелла, но с противоположной точки зрения.

Названия трёх её глав – «Право вести войну», «Долг вести войну», «Мировая держава или падение» – выражают основные тезисы книги.

Кавалерийский офицер, которому исполнился двадцать один год, Бернарди в 1870 году стал первым немцем, проехавшим через Триумфальную арку после взятия немцами Парижа. С тех пор флаги и слава интересовали его меньше, чем теория, философия и наука войны в применении к «Исторической миссии Германии» (так называлась одна из глав его книги). Он служил начальником отдела военной истории генерального штаба, был представителем интеллектуальной элиты этого серьёзного и ревностно трудящегося учреждения, а также автором классического труда по кавалерии до того, как посвятил свою жизнь изучению идей Клаузевица, Трейчке и Дарвина, отразив их в книге, сделавшей его имя синонимом бога войны Марса.

«Война, – утверждал Бернарди, – есть биологическая потребность, это выполнение в среде человечества естественного закона, на котором покоятся все остальные законы природы, а именно законы борьбы за существование». Нации, говорил он, должны прогрессировать или загнивать, «не может быть стояния на одном месте», и потому Германия должна выбрать «между мировым господством или падением». Среди прочих наций Германия «в социально-политических аспектах стоит во главе культурного прогресса», но «зажата в узких, неестественных границах». Она не сможет достичь «своих великих моральных целей» без увеличения политической силы, расширения сфер влияния и новых территорий. Это увеличение мощи, «соответствующее нашему значению» и «которое мы вправе требовать», является политической необходимостью и «первой, самой главной обязанностью государства». Бернарди выделял курсивом слова: «*Мы должны сражаться* за то, чего сейчас хотим достигнуть», и без обиняков переходил к выводу: «Завоевание, таким образом, становится законом необходимости».

После доказательства этой «необходимости» (любимое слово германских военных мыслителей) Бернарди переходит к методу. Поскольку обязанность вести войну признана, вторая обязанность состоит в том, чтобы вести её успешно. Для достижения успеха государство должно начать войну в «наиболее благоприятный момент», имея «признанное право обеспечить высокую привилегию

инициативы». Наступательная война становится, таким образом, другой необходимостью, а отсюда второй неизбежный вывод: «На нас лежит обязанность, действуя в наступлении, нанести первый удар». Бернарди не разделял беспокойства кайзера о «презрении и ненависти», которые вызывает агрессор. Он также не пытался скрыть направление удара. «Немыслимо, – писал он, – чтобы Германия и Франция смогли когда-либо договориться в отношении своих затруднений. Францию необходимо сокрушить совершенно, с тем чтобы она не смогла больше перейти нам дорогу», «она должна быть уничтожена раз и навсегда как великая держава».

Король Эдуард не дожил до появления работ Бернарди. В январе 1910 года он направил кайзеру своё ежегодное поздравление по случаю дня рождения и подарок – трость, после чего уехал в Мариенбад и Биарриц. Через несколько месяцев он умер.

«Мы потеряли опору нашей внешней политики», – сказал Извольский, услышав о его кончине. Это было преувеличением, потому что Эдуард являлся лишь инструментом, а не создателем новых союзов. Во Франции смерть короля вызвала «глубокие чувства» и «искреннюю скорбь», писала газета «Фигаро». В Париже, по её словам, так же глубоко ощущали потерю «своего друга», как и в Лондоне. Фонарные столбы и витрины магазинов на Рю-де-ля-Пэ были одеты в такой же чёрный траур, как и на Пиккадилли, извозчики цепляли креповые ленты к ручкам хлыстов. Задрапированные в траур портреты покойного короля появлялись даже в провинциальных городах, что происходило обычно лишь при смерти выдающихся граждан Франции. В Токио в знак признания союза между Англией и Японией на домах были вывешены перекрещённые флаги обеих стран, древки которых были убраны чёрным. В Германии, каковы ни были её чувства, соблюдали строгие правила последних почестей. Всем офицерам армии и флота было приказано носить траур в течение восьми дней, а корабли флота в своих территориальных водах почтили память короля орудийным салютом и приспустили флаги на мачтах. Члены рейхстага поднялись с мест, когда президент зачитывал послание о соболезновании, а кайзер лично нанёс английскому послу визит, продолжавшийся полтора часа.

Члены королевской семьи в Лондоне на следующей неделе были всецело поглощены встречами знати, прибывавшей на вокзал



Виктория. Кайзер приплыл на своей яхте «Гогенцоллерн» в сопровождении четырёх английских эсминцев. Яхта бросила якорь в устье Темзы, и кайзер приехал поездом на вокзал Виктория, как обычный представитель королевской фамилии. На платформе был развёрнут пурпурный ковёр, а там, где должен был остановиться вагон, соорудили ступеньки, тоже покрытые ковром того же цвета. Поезд прибыл ровно в полдень, из вагона появилась хорошо известная фигура германского императора, который расцеловал встречавшего его короля Георга в обе щёки. После завтрака они вместе отправились в Вестминстер-холл, где покоилось тело Эдуарда. Гроза, разразившаяся накануне вечером, и пронизывающий дождь, ливший на следующее утро, не смутили подданных Эдуарда, терпеливо ждавших входа в зал в притихшей очереди. В тот день, в четверг 19 мая, она растянулась на пять миль. В тот день Земля должна была пройти сквозь хвост кометы Галлея, чьё появление на небосклоне возродило толки о предвестнице бед – разве не она ознаменовала вторжение норманнов? Журналы в своих литературных отделах цитировали шекспировского «Юлия Цезаря»:

В день смерти нищих не горят кометы,  
Лишь смерть царей огнём вещает небо.

Посередине обширного зала в мрачном величии стоял гроб, на нём лежали корона, держава и скипетр. По четырём углам замерли в карауле четыре офицера; каждый представлял различные полки империи. Они стояли в традиционной траурной позе с преклонёнными головами, их руки в белых перчатках были скрещены на эфесах мечей. Кайзер взирал на обряд отдания почестей умершему императору с профессиональным интересом. Ритуал произвёл на него сильное впечатление, и многие годы спустя он в деталях помнил это зрелище во всём его «великолепном средневековом убранстве». Он видел, как солнечные лучи пробивались сквозь узкие готические окна, зажигая драгоценные камни на короне, наблюдал, как менялся караул у гроба, как четверо часовых промаршировали с мечами, которые они сначала взяли наизготовку, а затем, встав на свои места, опустили клинками вниз. Караул, который они сменили, как бы медленно заскользил и

исчез через какой-то невидимый выход в тени. Возложив на гроб венок из багряных и белых цветов, кайзер вместе с королём Георгом в молчаливой молитве опустился на колени. Встав, он сжал руку своего двоюродного брата в мужественном и сочувственном пожатии. Этот жест, о котором широко сообщалось, вызвал многочисленные благожелательные комментарии.

Публичное поведение кайзера было безупречным. В душе же он не мог отказаться от благоприятной возможности завести новые интриги. За обедом, данным королём в тот вечер в Букингемском дворце, он, отведя в сторону французского министра иностранных дел Пишона, предложил, чтобы Франция в случае конфликта, когда Англия и Германия будут противостоять друг другу, поддержала Германию. Учитывая повод и место встречи, этот блистательный ход императорской мысли вызвал такой же переполох, как и тот, о котором сэр Эдуард Грей, многострадальный английский министр иностранных дел, однажды заметил с завистью: «Другие монархи ведут себя много *тише*». Кайзер позднее отрицал, что сказал тогда что-либо из ряда вон выходящее: он обсуждал лишь Марокко и «некоторые другие политические вопросы». Пишон же только осторожно высказал мысль, что язык «кайзера был дружественным и мирным».

На следующее утро во время процессии, где он, как ни удивительно, не выступал с речью, поведение Вильгельма было примерным. Он крепко держал повод своей лошади, отстав на голову от коня короля Георга. Конан Дойл, бывший специальным корреспондентом во время этого события, писал, что «Вильгельм выглядел настолько благородно, что Англия не будет той доброй старой Англией, если сегодня снова не раскроет ему объятия». Когда процессия достигла Вестминстерского дворца, Вильгельм первым спешился и рванулся к карете королевы Александры с такой проворностью, что успел к ней раньше королевских слуг. Но королева собиралась выйти с другой стороны. Ловко обежав карету, опять впереди слуг, он оказался первым у двери, подал руку вдове и поцеловал её «с любовью убитого горем племянника». К счастью, в этот момент король Георг подоспел на помощь своей матери и стал сопровождать её сам; он знал – мать ненавидит кайзера, как по личным причинам, так и из-за Шлезвиг-Гольштейна. Несмотря на то, что, когда Германия захватила эти владения у Дании, Вильгельму было всего

восемь лет, Александра не забыла и не простила этого ни ему, ни его стране. Когда её сына произвели в почётные полковники одного прусского полка – в то время он находился с визитом в Берлине, – она написала ему: «Итак, Джорджи, мой мальчик, ты стал настоящим, живым, грязным немецким солдатом, в островерхой каске и синей шинели!!! Да, не думала я, что доживу до такого! Но ничего... тебе просто не повезло, это не твоя ошибка».

Под приглушённый рокот барабанов и стоны волюнок дюжина матросов в синих форменках и соломенных шляпах вынесли гроб, завёрнутый в королевский штандарт. Ярko сверкнули на солнце сабли кавалеристов, замерших по команде «смирно». По пронзительному сигналу четырёх свистков матросы поставили гроб на артиллерийский лафет, задрапированный в пурпурное, красное и белое. Кортёж двинулся между замершими шеренгами гренадеров, они, как красные стены, обрамляли одетые в траур толпы людей. Никогда ещё Лондон не был так переполнен народом – и никогда он не был таким тихим. Рядом и позади орудийного лафета, который тянули лошади Королевского артиллерийского полка, шли шестьдесят три адъютанта его покойного величества, все в чине полковников или капитанов первого ранга, все со званиями пэров; среди них было пять герцогов, четыре маркиза и тринадцать графов. Три фельдмаршала Англии – лорд Китченер, лорд Робертс и сэр Ивлин Вуд – ехали вместе. За ними двигались шесть адмиралов флота, а после них – одиноко – большой друг Эдуарда, порывистый и эксцентричный сэр Джон Фишер, со странным неанглийским лицом китайского мандарина, в прошлом первый морской лорд империи. Подразделения всех знаменитых полков – «колдстримцы», «горцы Гордона», дворцовой кавалерии и боевой кавалерии, Конной гвардии и улан, Королевских фузилеров, франтоватых гусар и драгун, немецких, русских, австрийских и других иностранных кавалерийских частей, почётным полковником которых был Эдуард, а также адмиралы германского флота – все они, по неодобрительным высказываниям некоторых наблюдателей, представляли чересчур грандиозный военный спектакль на похоронах человека, которого называли «Миротворцем».

Его лошадь, ведомая двумя грумами, с пустым седлом и перевёрнутыми сапогами в стремянах, придавала всей картине оттенок простой человеческой скорби, как и ведомый на поводке королевский

терьер Цезарь. Далее шла гордость Англии: герольды в расшитых гербами средневековых плащах, королевский телохранитель – носитель серебряного жезла, лорды-камергеры с белыми булавами – знаком их должности, конюшие, шотландские лучники, судьи в париках и чёрных мантиях, возглавляемые лордом-главным судьёй в алом, епископы в пурпурных мантиях, йомены-гвардейцы в чёрных бархатных шляпах и гофрированных воротниках елизаветинских времён, эскорт трубачей, а за ними следовал строй королей; потом в застеклённой карете ехали овдовевшая королева и её сестра, вдовствующая русская императрица, а также другие королевы, дамы и восточные монархи – в двенадцати разнообразных экипажах.

Длинная процессия двигалась через Уайтхолл, Мэлл, Пиккадилли и Парк в направлении вокзала Паддингтон, откуда поездом тело усопшего должны были отправить в Виндзор для похорон. Оркестр Королевской конной гвардии исполнял «Марш смерти» из «Саула». Люди чувствовали завершённость в медленной поступи процессии и торжественной музыке. После похорон лорд Эшер записал в своём дневнике: «Никогда ещё не чувствовалось такой опустошённости. Казалось, все бакены, обозначающие фарватер нашей жизни, сметены волной».

# Планы

## Глава 2

### «Пусть крайний справа коснётся рукавом пролива...»

Граф Альфред фон Шлиффен, начальник германского генерального штаба с 1891 по 1906 год, был, как и все немецкие офицеры, воспитан на правиле Клаузевица: «Сердце Франции находится между Брюсселем и Парижем». Это была обескураживающая аксиома, поскольку указываемый ею путь был перекрыт нейтралитетом Бельгии, который сама Германия наряду с другими четырьмя великими державами гарантировала навечно. Полагая, что война предрешена и что Германия должна вступить в неё при условиях, в наибольшей степени обеспечивающих ей успех, Шлиффен решил помешать бельгийскому нейтралитету встать на пути Германии. Из двух типов прусских офицеров – с бычьей шеей и осиной талией – он принадлежал ко второму. С моноклем на аскетически-худом лице, высокомерно-холодный и сдержанный, он с таким фанатизмом отдавался своей профессии, что когда его адъютант в конце продолжавшейся всю ночь поездки штаба по Восточной Пруссии обратил его внимание на красоту реки Прегель, сверкавшей под лучами восходящего солнца, то генерал, бросив на реку короткий и внимательный взгляд, ответил: «Незначительное препятствие». Таковым, как он решил, является и нейтралитет Бельгии.

Нейтральная и независимая Бельгия была плодом творения Англии или, вернее, самого способного министра иностранных дел Англии лорда Пальмерстона. Побережье Бельгии было границей Англии, на полях Бельгии Веллингтон разгромил самую страшную угрозу для Англии со времён Непобедимой армады.

Впоследствии Англия решила превратить этот участок открытой, легкопроходимой территории в нейтральную зону и после поражения Наполеона, в рамках договорённостей, достигнутых на Венском конгрессе, вместе с другими державами согласилась передать её Королевству Нидерланды. Недовольные союзом с протестантской страной, охваченные лихорадкой национализма XIX века, бельгийцы в 1830 году подняли восстание, вызвав международный конфликт.

Голландцы сражались за возвращение своей провинции; также вмешались французы, стремившиеся вновь присоединить то, что когда-то им принадлежало. Самодержавные государства – Россия, Пруссия и Австрия, – преисполненные решимости удержать Европу в тисках Венских соглашений, готовы были стрелять при первых же признаках бунта, где бы он ни вспыхнул.

Лорд Пальмерстон обошёл своими манёврами всех. Он знал, что подчинённая провинция всегда будет вечным искушением для того или иного соседа и что только независимое государство, полное решимости сохранить свою целостность, может служить в качестве зоны безопасности. После девяти лет нервов, ловкости, неотступного движения к своей цели, при необходимости используя как рычаг давления английский флот, он обыграл всех соперников и добился заключения международного договора, давшего Бельгии статус «независимого и нейтрального навечно государства». Договор был подписан в 1839 году Англией, Францией, Россией, Пруссией и Австро-Венгрией.

С 1892 года, когда Франция и Россия вступили в военный союз, стало ясно, что четыре подписавших Бельгийский договор страны будут автоматически втянуты – двое против двух – в войну, которую Шлиффен должен был спланировать. Европа являла собой груды мечей, уложенных вместе так же ненадёжно, как и брошенные кучкой бирюльки, – нельзя вытащить ни одну из фигурок, не задев другие. По условиям австро-германского союза Германия обязана была поддержать Австро-Венгрию в случае любого конфликта с Россией. Согласно договору между Россией и Францией оба его участника обязывались выступить против Германии, если кто-нибудь из них окажется втянутым в «оборонительную войну» с ней. Эти обстоятельства делали неизбежным тот факт, что в ходе любой войны, которую пришлось бы вести Германии, она вынуждена будет сражаться на два фронта – против Франции и России.

Какую роль будет играть Англия, оставалось неясным: она могла остаться нейтральной, могла при определённом условии выступить против Германии. Не было секретом, что таким условием могла стать Бельгия. Во время франко-прусской войны 1870 года, когда Германия ещё нетвёрдо стояла на ногах, Бисмарк, получив намёк от Англии, был рад вновь заявить о незыблемости нейтралитета Бельгии. Гладстон

добился подписания обеими воюющими сторонами соглашения с Англией, в соответствии с которым в случае нарушения нейтралитета Бельгии Англия будет сотрудничать с другой стороной с целью защиты Бельгии, хотя и не примет участия в общих военных операциях. Несмотря на то, что формула Гладстона была не совсем практичной, у немцев не было оснований считать её мотивы менее действенными в 1914-м, чем в 1870 году. Тем не менее Шлиффен решил в случае войны напасть на Францию через Бельгию.

Основанием ему служила «военная необходимость». В войне на два фронта, как он писал, «Германия должна бросить всё против *одного* врага, самого сильного, самого мощного, самого опасного, и таким врагом может быть только Франция». Законченный Шлиффеном план на 1906 год – год, когда он ушёл в отставку, – предусматривал, что за шесть недель семь восьмых всех вооружённых сил Германии сокрушат Францию, в то время как одна восьмая их будет удерживать восточную границу против русских до тех пор, пока основные силы армии не будут переброшены для борьбы со вторым врагом. Он выбрал Францию первой потому, что Россия могла сорвать быструю победу, просто отступив в свои необозримые пространства, втянув Германию в бесконечную кампанию, как когда-то Наполеона. Франция же была под рукой, кроме того, она могла провести быструю мобилизацию. И германским, и французским армиям для завершения полной мобилизации требовалось две недели, и таким образом генеральное наступление могло начаться на пятнадцатый день. России же – в соответствии с германскими расчётами – из-за огромных расстояний, многочисленности населения и слабого железнодорожного сообщения для подготовки генерального наступления понадобится шесть недель, а к этому времени Франция уже будет разбита.

С риском потери Восточной Пруссии, этого сердца юнкерства и Гогенцоллернов, которую защищало всего лишь девять дивизий, смириться было трудно, но Фридрих Великий говорил: «Лучше потерять провинцию, чем допустить разделение войск, необходимых для победы», и ничто так не утешает военные умы, как принципы великого, хотя и мёртвого полководца. Только превосходящими силами на Западе удастся добиться быстрой победы над Францией. Только стратегией охвата, используя Бельгию как проходную дорогу, германские армии могли бы, по мнению Шлиффена, успешно



атаковать Францию. С чисто военной точки зрения его доводы выглядели безупречными.

Германская армия, насчитывавшая полтора миллиона человек, была теперь в шесть раз больше, чем в 1870 году, и для маневрирования ей было необходимо пространство. Французские крепости и укрепления, построенные вдоль границ с Эльзасом и Лотарингией после 1870 года, не позволяли немцам осуществить фронтальную атаку через общую границу. Затяжная осада не давала благоприятных возможностей, до тех пор пока французские коммуникации оставались открытыми, и результатом стало бы вытягивание противника в битву на уничтожение. Только путём обхода можно было нанести удар по французам с тыла и разгромить их. Но французские оборонительные линии упирались своими краями в нейтральные территории – Швейцарию и Бельгию. Если ограничиваться только территорией Франции, то громадной германской армии не хватало пространства для обхода французских армий. Немцам удалось осуществить это в 1870 году, когда обе армии были небольшими, однако теперь дело шло о переброске миллионной армии для флангового обхода армии той же численности. Главную роль играли пространство, дороги и железнодорожные магистрали. Всё это имелось на равнинах Фландрии. В Бельгии было достаточно места для проведения обходов флангов, являвшихся составной частью формулы успеха Шлиффена. И удар через Бельгию позволял избежать фронтального наступления, каковое, по убеждению Шлиффена, могло привести только к катастрофическому поражению.

Клаузевиц, оракул германской военной науки, предписывал добиваться быстрой победы в результате «решающей битвы» как первой цели наступательной войны. Оккупация территории противника и установление контроля над его ресурсами считалось второстепенной задачей. Важнейшее значение придавалось скорейшему достижению заранее обозначенных целей. Время ставилось превыше всего. Всё, что задерживало кампанию, Клаузевиц решительно осуждал. «Постепенное уничтожение» противника, или война на истощение, было для него сущей преисподней. Писал он во времена Ватерлоо, и с тех пор его труды почитались библией стратегии.

Для достижения решительной победы Шлиффен избрал стратегию времён битвы при Каннах, заимствовав её у Ганнибала. Полководец, зачаровавший Шлиффена, был давным-давно мёртв. Минуло две тысячи лет со времени классического двойного охвата, применённого Ганнибалом против римлян при Каннах. Полевые орудия и пулемёты сменили лук, стрелы и пращу, но, как писал Шлиффен: «Принципы стратегии остались неизменными. Вражеский фронт не является главной целью. Самое важное – сокрушить фланги противника... и завершить уничтожение ударом ему в тыл». При Шлиффене охват стал фетишем, а фронтальный удар – анафемой германского генерального штаба.

Первый план Шлиффена, предусматривавший нарушение границ Бельгии, был составлен в 1899 году и предполагал прорыв через угол Бельгии восточнее Мааса. Расширяясь с каждым последующим годом, к 1905 году этот план включал огромный обходной манёвр правым крылом немецкой армии, в ходе которого германские войска должны пересечь Бельгию, через Льеж к Брюсселю, а затем повернуть на юг и, воспользовавшись преимуществами открытого ландшафта Фландрии, наступать на Францию. Всё зависело от быстроты и решительности действий против Франции, и даже длинный обходной путь через Фландрию требовал меньше времени, чем ведение осадных боёв вдоль укреплённой линии на границе.

Шлиффен не имел достаточно дивизий, чтобы осуществить двойной охват Франции, как при Каннах. Вместо этого он решил положиться на мощное правое крыло, которое бы прошло через всю территорию Бельгии по обоим берегам Мааса и прочесало бы эту страну подобно гигантским граблям. Затем войска должны были пересечь франко-бельгийскую границу по всей её протяжённости и через долину Уазы обрушиться на Париж. Основная масса немецких сил оказалась бы между столицей и французскими армиями, которым во время их вынужденного отхода для борьбы с нависшей угрозой была бы навязана решающая битва на уничтожение вдали от их укреплённых районов. Существенным моментом в плане было намеренное ослабление левого крыла немецких армий на фронте Эльзас-Лотарингия, чтобы завлечь французов в «мешок» между Мецем и Вогезами. Предполагалось, что французы, в стремлении освободить свои потерянные в прошлом провинции, атакуют именно

тут. Тем самым французское наступление лишь поспособствует успеху немецкого плана, так как немецкое левое крыло сможет удерживать их в «мешке» до победы основных сил в тылу французских армий. Кроме того, в своих замыслах Шлиффен всегда втайне лелеял надежду на то, что по мере развёртывания битвы удастся организовать контрнаступление левого крыла и осуществить настоящее двойное окружение – «колоссальные Канны» его мечты. Но, решительно усиливая своё правое крыло, он не поддался этому искушению. Однако заманчивые перспективы левого крыла не давали покоя его преемникам.

Таким образом немцы намеревались обойтись с Бельгией. Решающая битва диктовала охват, а охват требовал бельгийской территории. Германский генеральный штаб называл это военной необходимостью; кайзер и канцлер с этим согласились – более или менее единодушно. Предпринять ли этот шаг, насколько он приемлем из-за возможной неблагоприятной реакции мирового общественного мнения, особенно нейтральных стран, – подобные вопросы не имели никакого значения. Необходимо принимать во внимание только один-единственный критерий – триумф германского оружия. После 1870 года немцы усвоили урок, сводившийся к тому, что сила оружия и война были единственным источником германского величия. В своей книге «Вооружённая нация» фельдмаршал фон дер Гольц поучал: «Мы завоевали наше положение благодаря остроте нашего меча, а не остроте ума». Принять решение о нарушении нейтралитета Бельгии оказалось делом нетрудным.

Греки верили: характер – это судьба. Многие столетия немецкой философии обусловили принятие рокового решения, в котором были заложены семена самоуничтожения, ожидавшие своего часа. Она говорила устами Шлиффена, но создали её Фихте, считавший, что германский народ избран Провидением, дабы занять высшее место в истории Вселенной; Гегель, полагавший, что немцы ведут остальной мир к славным вершинам принудительной *Kultur*; Ницше, утверждавший, что сверхчеловек стоит выше обычного контроля; Трейчке, согласно которому усиление мощи является высшим моральным долгом государства, всего германского народа, называвшего своего временного правителя «всевышним». Основой же плана Шлиффена были не идеи Клаузевица и не битва при Каннах, а

громадный эгоизм, вскормивший немецкий народ и сформировавший нацию, для которой питательной средой являлась «безрассудная иллюзия воли, полагающая себя абсолютной».

Цель – решающая битва – была рождена победами над Австрией и Францией в 1866 и 1870 годах. Мёртвые битвы, как и мёртвые полководцы, держат военные умы своей мёртвой хваткой, и немцы в не меньшей степени, чем другие народы, готовились к последней войне. Они поставили всё на карту решающей битвы в образе Ганнибала, однако даже призрак Ганнибала мог бы напомнить Шлиффену о том, что хотя при Каннах и победил Карфаген, войну выиграл Рим.

Старый фельдмаршал Мольтке в 1890 году предсказывал, что следующая война может продлиться семь лет – или даже тридцать, – потому что ресурсы современного государства настолько огромны, что после одного военного поражения оно не признает себя побеждённым и борьбы не прекратит. У его племянника и тезки, который после Шлиффена занял пост начальника генерального штаба, также бывали времена, когда он не менее ясно понимал истинное положение. В 1906 году в один из моментов еретического неверия в Клаузевица он заявил кайзеру: «Это будет национальная война, которая закончится не решающей битвой, а только после длительной изматывающей борьбы со страной, которая не будет побеждена до тех пор, пока не будут сломлены её национальные силы, и эта война в высшей степени истощит наш народ, даже если мы и окажемся победителями». Однако следовать логике своих предсказаний противно человеческой натуре, а тем более – натуре генерального штаба. Аморфная, без определённых границ, концепция затяжной войны не могла быть так научно разработана и распланирована, как ортодоксальное, предсказуемое и простое решение в виде решающей битвы и короткой войны. Молодой Мольтке уже был начальником генерального штаба, когда выступил со своим предсказанием, но ни он сам, ни его штаб, ни штаб любой другой страны не предпринимали попыток хотя бы наметить ориентиры длительной войны. Помимо двух Мольтке, один из которых был уже мёртв, а у второго не доставало целеустремлённости, кое-кто из военных стратегов в других странах не исключал возможность затяжной войны, однако все предпочитали верить, так же как банкиры и промышленники, что в силу общего расстройствa экономической жизни европейская война не может продолжаться более трёх-четырёх

месяцев. Характерной чертой 1914 года – как и любой эпохи – являлась общая предрасположенность, причём отмеченная во всех странах, не готовиться к худшей альтернативе, не предпринимать шагов, соответствующих тому, что, как они подозревали, было неприятной, но правдой.

Шлиффен, принявший стратегию «решающей битвы», поставил на эту карту судьбу Германии. Он полагал, что Франция нарушит нейтралитет Бельгии, как только развёртывание германских войск на бельгийской границе ясно укажет на принятую стратегию, и поэтому, согласно его плану, Германия должна сделать это первой и побыстрее. «Бельгийский нейтралитет будет нарушен той или другой стороной, – гласил его тезис. – Тот, кто войдёт в эту страну первым, оккупирует Брюссель и потребует военной компенсации в размере 1000 миллионов франков, одержит верх».

Контрибуция, которая позволяет вести войну за счёт противника, а не за свой собственный, была вторичной задачей, поставленной Клаузевицем. Третью задачу он видел в завоевании общественного мнения, которое осуществляется «путём крупных побед и завладением вражеской столицы» и помогает положить конец сопротивлению. Клаузевиц знал, как материальные успехи способны завоёвывать общественное мнение; но он забыл, как к его потере может привести моральная неудача, что также является одним из рисков войны.

Об этом риске всегда помнили французы, что заставило их прийти к выводам, противоположным тем, которых ожидал Шлиффен. Бельгия также была для них путём для нападения через Арденны, если не через Фландрию, однако французский план кампании запрещал использовать бельгийскую территорию до тех пор, пока границы Бельгии первыми не нарушат немцы. Для французов логика вопроса была ясна: Бельгия – это дорога, открытая в обоих направлениях; кто использует её первым – Германия или Франция, – зависело от того, какая из этих стран больше стремилась к войне. Как заметил один французский генерал: «Тот, кто больше всего хочет войны, не может не желать нарушения нейтралитета Бельгии».

Шлиффен и его штаб считали, что воевать Бельгия не будет и не прибавит свои шесть дивизий к французской армии. Когда канцлер Бюлов, обсуждавший эту проблему со Шлиффеном в 1904 году, напомнил собеседнику о предупреждении Бисмарка, что допускать

добавления сил ещё одной страны к силам противника Германии – противоречить «простому здравому смыслу», Шлиффен несколько раз поправил монокль в глазу, что было его привычкой, и сказал: «Конечно. Мы не стали глупее с тех пор». Бельгия не станет сопротивляться силой оружия, она удовлетворится протестами, заявил он.

Уверенность Германии объяснялась несколько самонадеянными расчётами на хорошо известную алчность Леопольда II, короля Бельгии во времена Шлиффена. Высокий и осанистый, с чёрной бородой лопатой, он был окружён ореолом порока, составленного из любовниц, денег, жестокостей в Конго и различных скандалов. По мнению австрийского императора Франца-Иосифа, Леопольд был «исключительно плохим человеком». Мало найдётся людей, о которых можно так сказать, утверждал император, однако король Бельгии был именно таким. Поскольку Леопольд, в довершение к прочим своим порокам, был жаден, то, как предполагал кайзер, жадность возобладает над здравым смыслом, и поэтому он составил хитроумный план с целью заманить Леопольда в союз, пообещав ему французскую территорию. Когда кайзера захватывал какой-либо проект, то он пытался немедленно осуществить его, и обычно неудача ввергала германского императора в состояние изумления и огорчения. В 1904 году он пригласил Леопольда посетить Берлин. Кайзер говорил с королём Бельгии «самым добрейшим языком в мире» о его гордых праотцах, графах Бургундских, и предложил воссоздать для него древнее герцогство Бургундия из Артуа, французской Фландрии и французских Арденн. Леопольд смотрел на него «широко раскрыв рот» и попытался свести всё к шутке, напомнив кайзеру, что со времён XV века многое изменилось. Во всяком случае, сказал Леопольд, его министры и парламент никогда не станут рассматривать такое предложение.

Так говорить не следовало, потому что кайзер пришёл в одно из своих состояний гнева и отчитал короля за то, что к парламенту и министрам он питает большее уважение, чем к персту Божьему (который кайзер иногда путал со своей персоной). «Я сказал ему, – сообщил Вильгельм канцлеру фон Бюлову, – что не позволю играть с собой. Тот, кто в случае европейской войны будет не со мной, тот будет против меня». Кайзер заявил, что он – солдат школы Наполеона и

Фридриха Великого, которые начинали свои войны с предупреждения врагам: «Поэтому я, если Бельгия не встанет на мою сторону, должен буду руководствоваться исключительно стратегическими соображениями».

Подобное намерение, явившееся первой ясно выраженной угрозой разорвать договор, привело Леопольда II в замешательство. Он ехал на вокзал в каске, надетой задом наперёд, и выглядел, по словам сопровождавшего его адъютанта, так, «как будто бы пережил какое-то потрясение».

Хотя замысел кайзера провалился, все почему-то считали, что Леопольд готов обменять нейтралитет Бельгии на кошелёк в два миллиона фунтов стерлингов. Когда после войны один французский офицер разведки узнал о таком «ценнике» от немецкого офицера и выразил удивление подобной щедростью, то получил ответ: «За это должны были заплатить французы». Даже после того как в 1909 году Леопольда на престоле сменил его племянник король Альберт, человек совершенно других качеств, преемники Шлиффена продолжали думать, что сопротивление Бельгии явится лишь простой формальностью. Например, в 1911 году один германский дипломат предположил, что оно может принять форму «выстраивания бельгийской армии вдоль дорог, по которым пойдут германские войска».

Для захвата дорог в Бельгии Шлиффен выделил тридцать четыре дивизии, которым заодно поручалось разделаться с шестью бельгийскими дивизиями, если те всё же решат оказать сопротивление, хотя подобное и казалось немцам маловероятным. Немцы были весьма обеспокоены, как бы этого не случилось, поскольку сопротивление означало бы разрушение железных дорог и мостов и, как следствие, нарушение разработанного графика, которого ревностно придерживался германский генеральный штаб. С другой стороны, уступчивость Бельгии дала бы возможность не связывать немецкие дивизии осадой крепостей на её территории и, кроме того, позволила бы приглушить общественное недовольство по отношению к этим действиям Германии. Чтобы убедить Бельгию отказаться от бессмысленного сопротивления, Шлиффен предложил накануне вторжения поставить перед нею ультиматум с требованием сдать «все крепости, железные дороги и армию», пригрозив в противном случае

подвергнуть бельгийские укрепленные города бомбардировке. При необходимости тяжёлая артиллерия была готова превратить угрозу в реальность. Тяжёлые орудия, писал Шлиффен в 1912 году, в любом случае потребуются в ходе дальнейшей кампании: «Крупный промышленный город Лилль, например, представляет собой замечательную цель для артиллерийской бомбардировки».

Шлиффен хотел, чтобы его правое крыло вышло на западе к Лиллю, и тогда обход французов будет полностью завершён. «Когда вы направитесь во Францию, пусть крайний справа коснётся рукавом пролива Ла-Манш», – говорил он. Более того, принимая во внимание британскую воинственность, он стремился широким прорывом заодно с французами разделаться и с английским экспедиционным корпусом. Шлиффен куда выше оценивал потенциал английского флота, способного организовать блокаду, чем возможности английской армии, и поэтому был полон решимости добиться быстрой победы над английскими и французскими сухопутными войсками и решить исход войны как можно раньше – до того, как на экономическом положении Германии отрицательно скажется враждебность Англии. Чтобы достичь поставленной цели, все силы должны быть брошены на усиление правого крыла. Его надо сделать помощнее и превосходящим противника по численности, потому что плотность войск на милю определяла фронт наступления.

При использовании только действующей армии Шлиффену не хватило бы дивизий, чтобы одновременно сдерживать прорыв русских на восточных рубежах и достигнуть численного превосходства над Францией для достижения быстрой победы. Решение было простым, если даже не революционным. Он решил использовать на фронтовых позициях части резервистов. В соответствии с существовавшей военной доктриной для сражений годились лишь самые молодые мужчины, недавно обученные и дисциплинированные муштровкой в казармах. Резервисты же, завершившие срок обязательной военной службы и вернувшиеся к гражданской жизни, считались слабыми и непригодными для использования на линии фронта. За исключением людей моложе двадцати шести лет, которые направлялись в действующие части, резервисты формировались в отдельные дивизии, предназначенные для выполнения оккупационных задач и для тыловой службы. Шлиффен изменил это положение. Он добавил примерно



двадцать резервных дивизий (их число менялось в зависимости от года составления плана) к пятидесяти или более маршевым дивизиям действующей армии. С увеличением численности войск давно лелеемый им охват стал реально возможным.

Уйдя в 1906 году в отставку, Шлиффен в последние годы жизни по-прежнему продолжал писать о Каннах, вносил улучшения в свой план и составлял служебные записки и директивы, которыми должны были руководствоваться его преемники. Умер он в 1913 году, в возрасте 80 лет, напоследок пробормотав: «Должно начаться сражение. Пусть только правый фланг будет сильным».

Пришедший ему на смену меланхоличный генерал Мольтке был в своём роде пессимистом, которому не доставало готовности Шлиффена сконцентрировать все силы для одного манёвра. Если девизом Шлиффена было «Быть смелым, быть смелым», то Мольтке – «Но не слишком смелым». Его беспокоила и слабость левого крыла, противостоящего французам, и слабость войск, оставленных для защиты Восточной Пруссии от русских. Он даже спорил со своим штабом о целесообразности ведения с Францией оборонительной войны, однако отверг эту идею, потому что в этом случае исключалась бы всякая возможность «ведения боевых действий на территории противника». Генеральный штаб счёл вторжение в Бельгию «полностью оправданным и необходимым», поскольку война явится борьбой за «оборону и существование Германии». План Шлиффена получил поддержку, а Мольтке утешил себя мыслью, которая, судя по его заявлению в 1913 году, сводилась к следующему: «Мы должны отбросить все банальности об ответственности агрессора... Только успех оправдывает войну». Однако, чтобы обезопасить себя повсюду, он стал – вразрез с предсмертной просьбой Шлиффена – каждый год брать силы у правого крыла и укреплять ими левое.

Левое крыло Мольтке рассчитывал составить из 8 корпусов, общей численностью около 320 000 человек, и оно должно было удерживать фронт в Эльзасе и Лотарингии южнее Меца. Перед германским центром, состоящим из 11 корпусов и насчитывающим около 400 000 человек, ставилась задача вторгнуться во Францию через Люксембург и Арденны. Правое крыло из 16 корпусов численностью в 700 000 солдат должно было наступать через Бельгию, смять знаменитые ключевые крепости Льежа и Намюра,

прикрывающие долину Мааса (Мёзы), быстро форсировать реку, выходя на равнинную местность и прямые дороги на другом берегу. Был заранее расписан каждый день такого марша. Предполагалось, что бельгийцы не окажут сопротивления, но если они всё же станут сражаться, то мощь германского наступления, по мнению немецких штабистов, быстро заставит их сдаться. Графиком предусматривалось, что дороги через Льеж будут открыты на двенадцатый день после мобилизации. Брюссель падёт на девятнадцатый, французская граница будет пересечена на двадцать второй, на линию Тионвиль – Сен-Кантен войска выйдут на тридцать первый, Париж и решительная победа будут достигнуты на тридцать девятый.

План кампании был составлен тщательно и всеобъемлюще, точь-в-точь как чертёж линейного корабля, и не допускал ни малейших отклонений. Учтя предупреждение Клаузевица о том, что военные планы, в которых нет места для непредвиденного, могут привести к катастрофе, немцы с бесконечным усердием попытались предусмотреть любые случайности. Штабные офицеры, прошедшие подготовку на манёврах и в военных училищах, призваны были находить верное решение для любых сложившихся обстоятельств, и они, как ожидалось, должны были справиться с неожиданностями. На случай подобных неожиданностей – изменчивых, насмешливых и таящих в себе гибель – были приняты все меры предосторожности, за исключением одной – гибкости.

В то время как план максимального усилия против Франции принимал окончательные формы, опасения Мольтке в отношении России постепенно уменьшались, тем более что генеральный штаб, основываясь на тщательном подсчёте протяжённости русских железнодорожных линий, пришёл к убеждению, что Россия не будет «готова» к войне раньше 1916 года. Ещё больше это мнение генерального штаба укрепили донесения шпионов о том, что русские поговаривают «о неких событиях, которые могут начаться в 1916 году».

В 1914 году два события способствовали достижению Германией высшей степени готовности. В апреле Англия начала морские переговоры с русскими, а в июне сама Германия завершила расширение Кильского канала, что открыло её новым дредноутам прямой проход из Северного моря в Балтику. Узнав об англо-русских

переговорах, Мольтке заявил во время визита к своему австрийскому коллеге Конраду фон Хётцендорфу в мае, что, начиная с этого времени, «любая отсрочка будет уменьшать наши шансы на успех». Двумя неделями позже, 1 июня, он сказал барону Эккардштейну: «Мы готовы, и теперь чем скорее, тем лучше для нас».

## Глава 3

### Тень Седана

Однажды в 1913 году в военное министерство к генералу де Кастельно, заместителю начальника французского генерального штаба, прибыл генерал Леба, военный губернатор Лилля, с возражениями против решения генштаба отказаться от Лилля как от крепости. Расположенный в 10 милях от бельгийской границы и в 40 милях от побережья пролива Ла-Манш, Лилль находился рядом с тем путём, которым двигалась бы вторгнувшаяся армия, если бы она наступала через Фландрию. В ответ на просьбу генерала Леба об обороне Лилля генерал де Кастельно расстелил карту и измерил линейкой расстояние от германской границы до Лилля через Бельгию. Для решительного наступления нормальная плотность войск составляет пять-шесть солдат на метр. Как указал де Кастельно, если немцы растянутся на запад до Лилля, то у них окажется по два солдата на метр.

«Мы разрежем их пополам!» – воскликнул он. Германская действующая армия, далее объяснил он, может располагать на Западном фронте двадцатью пятью корпусами, общей численностью около миллиона человек. «Вот, убедитесь сами, – сказал де Кастельно, вручая Леба линейку. – Если они дойдут до Лилля, – повторил он с сардоническим удовлетворением, – что же, тем лучше для нас».

Французская стратегия не игнорировала угрозы охвата правым крылом немецких армий. Напротив, французский генеральный штаб считал, что чем сильнее немцы укрепят своё правое крыло, тем больше они ослабят свой центр и левое крыло, где французская армия планировала свой прорыв. Французская стратегия повернулась спиной к бельгийской границе, а лицом – к Рейну. Пока немцы будут совершать длинный обходной манёвр, чтобы напасть на французский фланг, Франция ударит в двух направлениях, смяв германский центр и левое крыло по обе стороны германской укреплённой линии у Меца, и победой в этом районе отрежет правое крыло немцев от базы, тем самым его обезвредив. Это был смелый план, родившийся на почве возрождения Франции после унижения под Седаном.

По условиям мирных соглашений, продиктованных Германией в Версале в 1871 году, Франция перенесла ампутацию, контрибуцию и оккупацию. Навязанные условия предусматривали даже триумфальный марш немецкой армии по Елисейским полям. Победители промаршировали по безмолвной и безлюдной, убранной в траур улице. Когда французский парламент ратифицировал условия мира, депутаты от Эльзаса и Лотарингии, в слезах покидавшие зал заседаний в Бордо, возмущённо заявляли: «Мы провозглашаем право эльзасцев и лотарингцев всегда быть частью французской нации. Мы клянёмся сами, от имени наших избирателей, от имени наших детей и детей их детей, что навсегда останемся французами и будем всеми средствами отстаивать это право, невзирая на узурпатора».

Аннексии – против неё возражал даже Бисмарк, утверждая, что она станет ахиллесовой пятой новой Германской империи, – требовали старший Мольтке и его генеральный штаб. Они настаивали на ней и убеждали императора, что пограничные провинции у Меца, Страсбурга и по отрогам Вогезов необходимо отрезать, чтобы навечно поставить Францию географически в положение обороняющегося. Вдобавок они наложили тяжелейшую контрибуцию в пять миллиардов франков, стремясь закабалить страну на целое поколение, а до окончания выплаты этой контрибуции во Франции должна была находиться оккупационная армия. Одним колоссальным усилием французы собрали и выплатили всю сумму в три года, и с этого началось их возрождение.

Память о Седане постоянной чёрной тенью преследовала сознание французов. Гамбетта дал совет: «N'en parlez jamais; pensez-y toujours» («Не говорите об этом никогда, но думайте постоянно»). Более сорока лет мысль «Опять» оставалась единственным основополагающим фактором французской политики. В течение первых нескольких лет после 1870 года инстинкты и военная слабость диктовали крепостную стратегию. Франция отгородила себя системой укрепленных лагерей, соединённых фортами. Две линии укреплений, Бельфор – Эпиналь и Туль – Верден, защищали восточную границу, а одна, Мобёж – Валансьенн – Лилль, охраняла западную половину бельгийской границы; оставленные между ними промежутки предназначались для того, чтобы вторгнувшиеся вражеские войска двигались в нужном для обороняющихся направлении.

За своими стенами, как провозгласил в одной из своих наиболее страстных речей Виктор Гюго, «Франция будет проникнута только одной мыслью: прийти в себя, обрести душевное равновесие, стряхнуть кошмар отчаяния, собраться с силами; возвращать семена священного гнева в душах детей, которым предстоит стать взрослыми; отливать пушки и воспитывать граждан; создать армию, неотделимую от народа; призвать науку на помощь войне; изучить тактику пруссаков, подобно тому как Рим изучал тактику карфагенян; укрепиться, стать твёрже, возродиться, снова сделаться великой Францией, Францией Девяносто второго года, Францией, вооружённой идеей, и Францией, вооружённой мечом. А затем, в один прекрасный день, она внезапно распрямится!.. Это будет грозное зрелище; все увидят, как одним рывком она вернёт себе Лотарингию, вернёт Эльзас!»

Вновь вернулось процветание, росла империя, в обществе не утихали экономические и идейные раздоры, страна бурлила – роялизм, буланжизм, клерикализм, забастовки и кульминация всего – опустошительное «дело Дрейфуса», но по-прежнему, не угасая, пылал священный гнев, особенно в армии. Единственным, что удерживало воедино все элементы армии, будь то крайние консерваторы или республиканцы, иезуиты или масоны, был *mystique d'Alsace*, мистический Эльзас. Взоры всех приковывала к себе голубоватая полоска Вогезов. Пехотный капитан признавался в 1912 году, что взял себе за обычай водить солдат своей роты, по двое-трое, в тайные дозоры через тёмный сосновый лес на горные вершины, откуда открывался вид на Кольмар: «Когда мы возвращались из этих тайных экспедиций и наши колонны перестраивались, то все переполненные нахлынувшими чувствами и онемевшие от них».

Первоначально Эльзас, не немецкий и не французский, постоянно переходил из рук в руки до тех пор, пока Людовик XIV не подтвердил прав на него Франции Вестфальским договором 1648 года. После аннексии в 1870 году Германией Эльзаса и части Лотарингии Бисмарк посоветовал предоставить их жителям как можно большую автономию и поощрять их партикуляризм, ибо, говаривал он, чем больше они будут считать себя эльзасцами, тем меньше – французами. Его преемники не понимали этой необходимости. Они не принимали во внимание желания своих новых подданных, не делали попыток

завоевать их на свою сторону, управляли этими провинциями как Рейхсляндом, или «Имперской территорией», посредством германских чиновников – практически так же, как африканскими колониями. Они преуспели в одном: им удалось озлобить и оттолкнуть от себя население, пока в 1911 году ему не была дарована конституция. Но уже было слишком поздно. Германское правление было подорвано в 1913 году в результате событий в Цаберне; столкновения начались с обмена оскорблениями между горожанами и немецким гарнизоном, а затем германский офицер ударил саблей калеку-сапожника. Инцидент в неприкрытом виде явил мировой общественности политику германских властей в Рейхслянде, вызвал взрыв антигерманских настроений во всём мире и одновременно триумф милитаризма в Берлине, где офицер из Цаберна стал героем, удостоившись поздравлений от кронпринца.

Год 1870-й не означал для Германии окончательного урегулирования. Германский день в Европе, заря которого, как полагали, занялась с провозглашением Германской империи в Зеркальном зале Версаля, в полную силу так и не засиял. Франция не была сокрушена; в действительности Французская империя расширялась в Северной Африке и Индокитае; и мир искусства, красоты и стиля, как и раньше, преклонялся перед Парижем. Немцев одолевала зависть к побеждённой ими стране. «Живёт, как бог во Франции», – гласила немецкая поговорка. Вместе с тем они считали французскую культуру декадентской, а саму страну – ослабленной демократией. «Невозможно, чтобы эффективно сражалась страна, в которой за 43 года сменилось 42 военных министра», – заявил ведущий историк Германии профессор Ганс Дельбрюк. Уверовав в собственное превосходство по духу, силе, энергии, трудолюбию и национальной добродетельности, немцы были убеждены, что по праву заслуживают господства в Европе. Работа, начатая под Седаном, должна быть завершена.

Живя под тенью этого незаконченного дела, Франция, оживая духом и телом, начала с раздражением относиться к тому, что постоянно приходится быть начеку, и стала уставать от вечных поучений своих руководителей о самообороне. С начала нового века её дух восстал против тридцатилетнего пребывания в обороне и вытекающего отсюда признания собственной неполноценности.

Франция понимала, что физически она уступает Германии. У неё было меньше населения, рождаемость оставалась низкой. Ей необходимо было оружие, которого не имела Германия, чтобы с его помощью обрести веру в себя. Представление о Франции, «вооружённой идеей и мечом», отвечало этому требованию. Выраженная Бергсоном, эта идея носила название *élan vital* – «жизненный порыв». Вера в силу этого всепобеждающего порыва убедила Францию, что человеческому духу вовсе не нужно склоняться перед заранее предсказанными силами эволюции, которые Шопенгауэр и Гегель провозгласили непобедимыми. Дух Франции уравнивает этот фактор. Воля к победе, её *élan*, даст возможность Франции победить врага. Гений Франции заключается в её духе, духе *la gloire* – духе славы 1792 года, в несравненной «Марсельезе», героической кавалерийской атаке генерала Маргерита под Седаном, когда даже Вильгельм I, наблюдавший за ходом сражения, не мог удержаться от восклицания: «*Oh, les braves gens!* О эти храбрые ребята!»

Вера в страсть Франции, в *furor Gallicae*, возродила во французском поколении послевоенных лет уверенность в судьбе своей страны. Именно эта сила разворачивала её знамёна, звучала в её горнах, вооружала солдат, и именно она призвана была вести Францию к победе, если бы «опять» пробили её час.

Переведённый на язык военных терминов, *élan vital* Бергсона превратился в наступательную военную доктрину. По мере того как оборонительная стратегия уступала место наступательной, всё внимание постепенно перемещалось от бельгийской границы на восток, откуда можно было осуществить наступление французской армии с целью прорыва к Рейну. Для немцев кружной путь через Фландрию вёл к Парижу, для французов же этот вариант был бесполезен. В Берлин они могли попасть лишь самым коротким путём. Чем больше французский генеральный штаб склонялся к мысли о наступлении, тем больше сил концентрировалось у исходного рубежа атаки и тем меньше их оставалось для защиты бельгийской границы.

Колыбелью наступательной доктрины была Ecole Supérieure de Guerre – Высшая военная школа, средоточие интеллектуальной элиты армии. Начальник школы, генерал Фердинанд Фош, был основоположником французской военной теории того времени. Ум Фоша, как и его сердце, имел два клапана – через один патриотический



дух вливался в его стратегию, через другой – здравый смысл. С одной стороны, Фош проповедовал *mystique* воли, что выражалось в его знаменитых афоризмах: «Воля к борьбе есть первое условие победы», или более сжато: «*Victoire c'est la volonté*» – «Победа – это воля», или также: «Выигранная битва – это та битва, в которой вы не признаёте себя побеждёнными».

Практически это вылилось в знаменитый приказ при Марне о наступлении, когда ситуация диктовала отступление. Офицеры тех времён помнят, как он призывал: «В атаку, в атаку!» Ожесточённо, непрерывно жестикулируя, он был весь в движении, будто заряженный электрическим током. Почему, спрашивали его впоследствии, он начал наступление на Марне, когда с технической точки зрения он был разбит? «Почему? Я не знаю. Потому что я верил в своих людей, потому что у меня была воля. И тогда... Бог был с нами».

Будучи глубоким знатоком Клаузевица, Фош, в противоположность немецким последователям Клаузевица, не верил, что разработанный заранее график сражения обязательно принесёт успех. Напротив, он даже учил, что необходимо быть готовым постоянно приспосабливаться и импровизировать, чтобы справиться с любыми обстоятельствами. «Правила, – говаривал он, – хороши для подготовки, но в час опасности в них немного пользы... Нужно учиться думать». Думать – значит предоставить место свободе инициативы, чтобы нечто неуловимое взяло верх над материальным, чтобы воля подчинила себе обстоятельства.

Но Фош предупреждал, что было бы «ребячеством» думать, будто один лишь моральный дух может победить. В довоенных лекциях и своих книгах «*Les Principes de la Guerre*» («О принципах войны») и «*La Conduite de la Guerre*» («О ведении войны») он после полётов в сферы метафизики неожиданно спускался к более приземлённым вопросам тактики, рассуждая о выдвижении авангардов, о необходимости *sûreté*, или охранения, об элементах огневой мощи, о требованиях дисциплины и субординации. Реалистическая часть учения Фоша подытоживалась в ещё одном его афоризме, ставшем известным во время войны: «*De quoi s'agit-il?*» («В чём суть проблемы?»)

Несмотря на красноречие Фоша в вопросах тактики, именно его «таинство воли» пленило умы его сторонников. Однажды в 1908 году,

когда Клемансо рассматривал вопрос о назначении Фоша, в ту пору преподавателя Высшей военной школы, на пост её начальника, он направил одного частного агента с заданием послушать, что говорит Фош на лекциях. Агент в замешательстве доносил: «Этот офицер преподаёт метафизику настолько непонятно, будто хочет превратить своих учеников в идиотов». Хотя Клемансо всё же назначил Фоша на этот пост, донесение в некотором смысле отражало правду. Принципы Фоша стали ловушкой для Франции не потому, что были запутанны и непонятны, а в силу их особой привлекательности. Их подхватил с особым энтузиазмом полковник Гранмезон, «пылкий и блестящий офицер», который был начальником Третьего бюро, или оперативного управления. В 1911 году он выступил в Военной академии с двумя лекциями, имевшими далеко идущие последствия.

Полковник Гранмезон ухватил лишь «верхи», а не основание теории Фоша. Возвеличивая исключительно *élan*, волю к победе, без учёта *sûreté*, обороны, он выдвинул военную философию, которая наэлектризовала его слушателей. Он размахивал перед их возбуждённым взором «идеями, вооружённой мечом», которая указывала им, каким образом Франция способна победить. Сущность этой философии сводилась к *offensive à outrance* – наступлению до предела. Только таким образом можно прийти к решающей битве Клаузевица, которая, «использованная до конца, является главным актом войны» и которую, «раз начав, необходимо довести до конца без колебаний, с предельным использованием всех человеческих возможностей». Захват инициативы является абсолютно необходимым. Заранее разработанные мероприятия, основанные на догматических суждениях о том, как будет действовать противник, являются преждевременными. Свобода действий достигается только путём навязывания своей воли противнику. «Все приказы командования должны вдохновляться решимостью захватить и удержать инициативу». Оборона отвергнута, забыта, сброшена со счётов; единственным оправданием для обороны может служить лишь «экономия сил на некоторых участках с дальнейшим подключением их к наступлению».

Выдвинутые принципы оказали глубокое влияние на генеральный штаб, на их основе подготовивший в течение последующих двух лет Полевой устав и новый план кампании, названный «План-17», который

был утверждён в мае 1913 года. Через несколько месяцев после прочитанных Гранмезоном лекций президент республики Фальер провозгласил: «Только наступление соответствует темпераменту французского солдата... Мы полны решимости выступить против противника без колебаний».

Новый Полевой устав, введённый правительством в октябре 1913 года в качестве основного руководства к обучению и действиям французской армии, начинался громогласным и высокопарным заявлением: «Французская армия, возвращаясь к своей традиции, не признаёт никакого иного закона, кроме закона наступления». За этим следовало восемь заповедей, составленных из таких звонких фраз, как «решающая битва», «наступление без колебаний», «неистовость и упорство», «сломить волю противника», «безжалостное и неустанное преследование». Со всем жаром верующего-ортодокса, искореняющего ересь, устав клеймил оборонительную концепцию, напрочь от неё отказываясь. «Только наступление, — возвещал он, — приводит к положительным результатам». Седьмая заповедь, выделенная авторами курсивом, утверждала: «Как ничто другое, битвы являются борьбой моральных принципов. Поражение неизбежно, как только исчезает воля к победе. Успех приходит не к тому, кто меньше пострадал, а к тому, чья воля твёрже и чей моральный дух крепче».

Нигде в этих восьми заповедях не упоминалось о боевой технике, об огневой мощи или о том, что Фош называл «*sûreté*» — защита или оборона. Идея этого устава была увековечена в знаменитом словце, ставшем ходовым среди французского офицерского корпуса, — *le cran* — смелость, отвага, или, проще, «не трусить». Под этим девизом французская армия и отправилась на войну в 1914 году — так юность штурмует горную вершину с призывом «Давай выше!».

В годы, когда претерпевала изменения французская военная философия, география Франции оставалась прежней. Положение границ Франции было таким же, как и в 1870 году, когда они были установлены по воле Германии. Территориальные требования Германии, как объяснил Вильгельм I императрице Евгении, заявившей протест, «не имеют другой цели, кроме как избавиться от плацдарма, с которого французские армии смогут в будущем напасть на нас». Немцы сами выдвинули вперёд исходные рубежи, откуда Германия могла атаковать Францию. В то время как французская история и

развитие после начала нового века требовали наступательной стратегии, география страны по-прежнему диктовала стратегию оборонительную.

В 1911 году, тогда же, когда полковник Гранмезон читал свои лекции, была предпринята последняя попытка привязать Францию к стратегии обороны. В Высшем военном совете на обороне настаивал не кто иной, как генерал Мишель – в случае войны он, как заместитель председателя совета, становился главнокомандующим вооружёнными силами, и был самым высокопоставленным офицером в армии. В докладе, точно отражавшем мышление Шлиффена, он дал оценку возможного направления наступления немцев, а также изложил рекомендации для его отражения. Он утверждал, что ввиду сильно пересечённой местности и мощных укреплений французской оборонительной линии на границе с Германией немцы не могут надеяться выиграть быструю решающую битву в Лотарингии. Марш через Люксембург и узкий угол бельгийской территории восточнее реки Маас также не давал им достаточного пространства для проведения своего излюбленного плана охвата. Только воспользовавшись преимуществом «всей территории Бельгии», убеждал Мишель, немцы смогли бы провести то «немедленное, грубое и решительное наступление» против Франции, которое им необходимо было осуществить до того, как в игру смогут вступить её союзники. Он отмечал давнее желание немцев овладеть крупным бельгийским портом Антверпен, захват которого мог стать ещё одной причиной для нападения через Фландрию. Мишель предложил, чтобы противопоставить немцам на линии Верден – Намюр – Антверпен французскую армию численностью в миллион человек, левое крыло которой – как и правое крыло Шлиффена – должно было «коснуться рукавом» Ла-Манша.

План генерала Мишеля был не только оборонительным по своему характеру; он также включал в себя предложение, являвшееся анафемой для его коллег-офицеров. Чтобы противостоять многочисленной немецкой армии, которая, по его мнению, двинется через Бельгию, генерал Мишель собирался удвоить численность передовых частей французских войск, прикрепив к каждому полку действительной службы полк резервистов. Предложи он причислить

певицу и актрису Мистенгетт к «бессмертным» Французской академии, и то вряд ли вызвал бы больше шума и гневных возражений.

«Les reserves c'est zero! Резервисты – это ноль!» – такова была классическая догма французского офицерского корпуса. Мужчины, в возрасте от 23 до 34 лет и прошедшие обязательную военную подготовку в соответствии с законом о всеобщей воинской повинности, зачислялись в резерв. При мобилизации наиболее молодые возрастные категории дополняли регулярные воинские части до штатов военного времени; остальные сводились в резервные полки, бригады и дивизии в соответствии с географическим расположением их округов. Эти части предназначались только для тыловой службы или в качестве крепостных гарнизонов, так как считалось, что ввиду отсутствия в них подготовленного офицерского и сержантского состава их нельзя присоединять к боевым полкам. Презрение регулярной армии к резервистам, которое разделяли и поддерживали правые партии, усугублялось отрицательным отношением к принципу «вооружённая нация». Смешать резервы с дивизиями действительной службы означало бы снизить наступательную мощь армии. При защите страны, полагали они, можно положиться только на действующую армию.

Левые партии, наоборот, помня генерала Буланже верхом на коне, ассоциировали армию с государственным переворотом и были убеждены, что принцип «вооружённой нации» является единственной гарантией республики. Они утверждали, что несколько месяцев подготовки сделают любого гражданина пригодным для войны, и решительно сопротивлялись увеличению срока действительной службы до трёх лет. Этой реформы армия потребовала в 1913 году не только в качестве ответа росту численности германских вооружённых сил, но и потому, что чем больше людей проходит военную подготовку в данный момент, тем в меньшей степени можно брать в расчёт резервные части. После острых споров, серьёзно взбудораживших страну, закон о трехлетней военной службе был всё-таки принят в августе 1913 года.

На пренебрежительном отношении к резервистам сказывалась и новая доктрина наступательной войны, которая, как думали, могла быть успешно реализована только с помощью солдат действительной службы. Чтобы нанести внезапный победоносный удар в ходе *attaque*

*brusquée*, стремительного натиска, символом которого была штыковая атака, требовался *élan*, порыв, а как можно рассчитывать на *élan* у людей, привыкших к гражданской жизни и обременённых семейными заботами. Резервисты, смешанные с солдатами действительной службы, дадут «армию, находящуюся в упадке», у которой не может быть воли к победе.

Как было известно, подобные чувства испытывали и за Рейном. Лозунг кайзера «Ни одного отца семейства на фронте» получил широкую поддержку. В среде французского генерального штаба считалось непреложной истиной, что немцы не станут смешивать действующие части с резервными, что, в свою очередь, породило убеждённость, что численность имеющихся у Германии войск не позволит ей выполнить сразу две задачи: бросить мощное правое крыло в массированное наступление через Бельгию западнее от Мааса и в то же время сосредоточить достаточное количество войск в центре и на левом фланге для отражения французского прорыва к Рейну.

Когда генерал Мишель представил свой план, военный министр Мессими отнёсся к нему как к «*comme une insanité*», «чему-то безумному». Как председатель Верховного военного совета он не только пытался не допустить принятия этого плана, но даже провёл консультации с другими членами совета о целесообразности отстранения Мишеля.

Мессими, цветущий, энергичный и громогласный, почти неистовый человек, с толстой шеей, круглой головой и блестящими за очками глазами крестьянина, в прошлом был профессиональным военным. В 1899 году он, тридцатилетний капитан альпийских стрелков, подал в отставку в знак протеста против отказа в пересмотре дела Дрейфуса. В то горячее время весь офицерский корпус придерживался позиции, что сама возможность признать невиновность Дрейфуса после вынесения ему приговора нанесёт удар по престижу армии и идее её непогрешимости. Мессими, который не смог поставить верность армии выше принципов правосудия, решил посвятить себя политической карьере, задавшись целью «примирить армию с народом». Он принёс в военное министерство страсть к улучшениям. Обнаружив, что «большое число генералов не только не способно вести войска за собой, но даже следовать за ними», он прибег к уловке Теодора Рузвельта, отдав приказ: все генералы

должны участвовать в манёврах верхом на коне. Когда зазвучали протесты и угрозы, что такой-то и такой-то вынужден будет подать в отставку, Мессими отвечал, что именно этого и добивается. Военным министром он был назначен 30 июня 1911 года, после того, как на этом посту за четыре месяца сменилось четыре министра, и на следующий же день столкнулся с проблемой «прыжка» германской канонерской лодки «Пантера» в Агадир, что предшествовало второму Марокканскому кризису. Ожидая мобилизации в любой момент, Мессими обнаружил, что генерал Мишель – который в случае войны должен был быть назначен главнокомандующим – проявляет «колебания, нерешительность и подавлен тем грузом обязанностей, который мог свалиться на него в любую минуту». По мнению Мессими, Мишель, занимая этот пост, представлял «национальную опасность». «Безумное» предложение Мишеля являлось удобным поводом избавиться от него.

Мишель, однако, отказался уйти, не представив сначала свой план на рассмотрение совета, в состав которого входили видные генералы Франции: Галлиени, прославившийся в колониях; По, однорукий ветеран 1870 года; Жоффри, молчаливый инженер; Дюбай, образец галантности, носивший своё кепи набекрень с «*chic exquis*», изысканным шиком Второй империи. Всем им предстояло занять активные командные посты в 1914 году, а двое из них стали маршалами Франции. План Мишеля никто из них не поддержал. Один из офицеров военного министерства, присутствовавший на этом заседании, сказал: «Нет смысла обсуждать это предложение. Генерал Мишель не в своём уме».

Представлял ли этот вердикт мнение всех присутствовавших или нет – позднее Мишель утверждал, что генерал Дюбай вообще-то поначалу соглашался с ним, – но Мессими, не скрывавший своей враждебности к Мишелю, повёл совет за собой. Судьбе оказалось угодно, чтобы у Мессими был сильный характер, а у Мишеля – нет. Быть правым и оказаться поверженным – такое не прощается людям, занимающим ответственные посты, и Мишель должным образом поплатился за свою проницательность. Освобождённый от своего поста, он был назначен военным губернатором Парижа, и в критический час грядущего испытания он и в самом деле проявил «колебания и нерешительность».

Военный министр Мессими, решительно выкорчевавший ересь Мишеля об обороне, делал всё от него зависящее, чтобы оснастить армию для ведения наступательных боёв, однако, в свою очередь, потерпел поражение в осуществлении своего заветного проекта – реформирования французской военной формы. Англичане одели своих солдат в хаки после англо-бурской войны, и синий цвет прусского мундира немцы собирались сменить на защитный серый. Однако в 1912 году французские солдаты всё ещё продолжали носить те же голубые шинели, красные кепи и красные рейтузы, как и в 1830 году, когда дальность ружейного огня не превышала двухсот шагов и когда армии, сходящиеся на близкие дистанции, не испытывали необходимости в маскировке. Посетив балканский театр военных действий в 1912 году, Мессими сразу увидел те преимущества, которые давала болгарам их единообразная однотонная форма, и по возвращении во Францию решил сделать французского солдата не таким заметным. Его проект, предусматривавший ввести для мундиров серо-голубой или серо-зелёный цвет, вызвал настоящую бурю протестов. Армия с таким же гордым упрямством не желала отказываться от красных рейтуз, как и принимать на вооружение тяжёлые орудия. Вновь возникло чувство, что на кону стоит престиж армии. Одеть французского солдата в какой-то грязный позорный цвет, заявляли защитники армии, означало бы пойти навстречу самым сокровенным надеждам сторонников Дрейфуса и масонов. Запретить «всё красочное, всё, что оживляет вид солдата, – писала „Эко де Пари“, – значит выступить как против французского духа, так и военной службы». Мессими указывал, что эти понятия вряд ли можно считать синонимичными, однако его оппоненты оказались непробиваемыми. Во время слушания в парламенте бывший военный министр Этъен говорил от имени Франции.

— Отменить красные рейтузы? – восклицал он. – Никогда! Les pantalon rouge c'est la France! Красные рейтузы – это Франция!

«Эта глупая и слепая привязанность к самому заметному из всех цветов, – писал впоследствии Мессими, – будет иметь жестокие последствия».

Тем временем, пока Франция ещё переживала Агадирский кризис, он должен был назначить вместо Мишеля нового главнокомандующего на случай чрезвычайных обстоятельств. Мессими собирался придать



ещё больший вес этому посту, совместив его с постом начальника генерального штаба, одновременно ликвидировав пост начальника штаба при военном министре, который тогда занимал генерал Дюбай. Преемник Мишеля сконцентрировал бы в своих руках все бразды правления.

Сначала Мессими остановил свой выбор на известном генерале Галлиени, но тот, сурово блеснув стёклами пенсне, отказался от назначения, мотивировав свой отказ тем, что он принимал участие в смещении генерала Мишеля и поэтому, заняв его место, будет чувствовать угрызения совести. Более того, в 64 года он собирался уйти в отставку, до которой ему оставалось два года, и Галлиени также считал, что назначение представителя колониальных войск вызовет недовольство в военной среде метрополии. «Une question de bouton. Вопрос мундира», – сказал он, постучав пальцем по своим знакам различия. Генерал По, следующий за ним по служебной иерархии, поставил условием право назначать по своему выбору генералов на высшие командные должности. Подобное требование, исходящее от человека, известного своими реакционными взглядами, угрожало разжечь едва затихшую вражду между стоящей на крайних правых позициях армией и республикански настроенной нацией. Уважая честность По, правительство отвергло это условие. Тогда Мессими посоветовался с Галлиени, и тот рекомендовал своего бывшего подчинённого, с которым служил на Мадагаскаре, «хладнокровного и методичного работника с гибким и точным умом». И предложение занять вакантный пост было сделано Жозефу Жаку Сезару Жоффру, который в прошлом возглавлял Инженерный корпус, а ныне был начальником службы тыла и которому на тот момент было пятьдесят девять лет.

В мешковатом мундире, массивный и с брюшком, с мясистым лицом, украшенным тяжёлыми, почти белыми усами и под стать им мохнатыми бровями, с чистой, как у юноши, кожей, со спокойными голубыми глазами и прямым безмятежным взглядом, Жоффр походил на Санта-Клауса и производил впечатление благочестия и наивности – два качества, которые не были главными чертами его характера. Он не был выходцем из благородной семьи, не был выпускником Сен-Сира (Жоффр закончил менее аристократичную, но более научную Ecole Polytechnique, Политехническую школу); не проходил курс обучения в

Высшей военной школе. Как офицер Инженерного корпуса, Жоффр занимался такими неромантическими делами, как строительство укреплений и железных дорог, и принадлежал к роду войск, откуда, как считали, не поднимались на высшие командные посты. Родом из Французских Пиренеев, он был старшим среди одиннадцати детей мелкого буржуа, фабриканта винных бочек. Его военная карьера отличалась незаметными достижениями и исполнительностью на всех постах, которые он занимал: командир роты на Формозе и в Индокитае, майор в Судане и Тимбукту, штабной офицер в железнодорожном отделе военного министерства, преподаватель в артиллерийском училище. С 1900 до 1905 года Жоффр служил под началом Галлиени на Мадагаскаре, где отвечал за фортификационные сооружения; в 1905 году он стал дивизионным генералом, в 1908 году – корпусным и, наконец, с 1910 года – начальник службы тыла и член Военного совета.

Он не имел ни клерикальных, ни монархических, ни каких-либо иных, внушающих обеспокоенность связей, а во время дела Дрейфуса находился за границей. Его репутация хорошего республиканца была такой же безукоризненной, как и его тщательно наманикюренные руки; вид у генерала был солидный и в высшей степени флегматичный. Выдающейся чертой Жоффра была крайняя молчаливость, которая у кого-то другого могла бы показаться признаком низкой самооценки, однако он, нося её как ореол вокруг своего тучного, спокойного тела, внушал лишь уверенность. До отставки ему оставалось ещё пять лет.

Жоффр знал об одном своём недостатке: он не имел должной подготовки к утончённым приёмам штабной работы. Однажды в жаркий июльский день, когда двери в военном министерстве на улице Сен-Доминик были распахнуты настежь, офицеры, выглянувшие из своих кабинетов, видели, как генерал По, взяв Жоффра за пуговицу мундира, говорил: «Не отказывайтесь, *cher ami!* Мы дадим вам Кастельно. Он знает всё про штабную работу, и всё уладится само собой».

Выпускник Сен-Сира и Высшей военной школы, Кастельно был, как и д'Артаньян, родом из Гаскони, где, как говорят, живут люди с горячим сердцем и холодной головой. Он страдал от своих семейных связей с маркизом, от сближения с иезуитами, вдобавок он был

католиком и таким ревностным, что во время войны даже получил прозвище «*le capucin botté*» – «монах в сапогах». Однако Кастельно имел большой опыт работы в генеральном штабе. Жоффр предпочёл бы Фоша, но он знал, что Мессими испытывает к тому необъяснимую неприязнь. Жоффр – что было у него в обыкновении – выслушал советы По и ничего по этому поводу не сказал, но сразу им последовал.

«Э-э, – промолвил с сожалением Мессими, когда Жоффр попросил назначить Кастельно своим заместителем. – Вы накликаете целую бурю протестов левых партий и наживёте себе немало врагов». Тем не менее, после одобрения президента и с согласия премьер-министра, хотя последний при этом и «состроил мину», оба назначения были утверждены одновременно. Один знакомый Жоффра, генерал, преследовавший какие-то личные цели, предупредил нового начальника генерального штаба, что Кастельно может «подсидеть» его. «Избавиться от меня! У Кастельно это не пройдёт, – ответил невозмутимо Жоффр. – Мне он нужен на шесть месяцев, а потом я отправлю его командовать корпусом». Последующие события подтвердили, что Кастельно оказался для него неоценимым помощником, а когда началась война, Жоффр назначил его командующим не корпусом, а армией.

Исключительная уверенность Жоффра в себе проявилась в следующем году, когда его адъютант, майор Александр, решил узнать его мнение о том, скоро ли начнётся война.

— Разумеется, скоро, – ответил Жоффр. – Я всегда так считал. Она придёт. Я буду сражаться и одержу победу. Я всегда выполнял все задачи, за какие брался, – как, например, в Судане. И снова будет так.

— В таком случае вас ждёт маршальский жезл, – предположил адъютант, испытав в душе трепет при этой мысли.

— Да, – согласился с подобной перспективой Жоффр, хладнокровно и лаконично.

Под руководством этой невозмутимой фигуры генеральный штаб с 1911 года взялся за задачу пересмотра Полевого устава, переподготовки войск и составления нового плана кампании, который должен был заменить устаревший теперь «План-16». Фош – направляющий ум штаба – оставил Высшую военную школу, был повышен, затем переведён в действующую армию и, наконец, получил

назначение в Нанси, где, по его выражению, граница 1870-го «как шрам перерезала грудь страны». Здесь он командовал охранявшим границу XX корпусом, который ему суждено было вскоре прославить. Однако у него были во французской армии сторонники и ученики, составлявшие окружение Жоффра. Фош также оставил после себя стратегический план, который лёг в основу «Плана-17». Завершённый в апреле 1913 года, «План-17» без обсуждений и возражений в мае того же года был принят вместе с Полевым уставом Верховным военным советом. Следующие восемь месяцев прошли в реорганизации армии на основе этого плана и в подготовке инструкций и приказов для мобилизации, для транспортных и тыловых служб, а также в подготовке районов и графиков развёртывания и концентрации войск. К февралю 1914 года план был готов для рассылки командованию и всем генералам всех пяти армий, на которые тогда были разделены французские войска, причём каждый исполнитель получал лишь ту часть плана, которая непосредственно его касалась.

Основную идею этого плана Фош выразил следующим образом: «Мы должны попасть в Берлин, пройдя через Майнц», то есть форсировать Рейн у Майнца, расположенного в 130 милях северо-восточнее Нанси. Однако эта цель была сформулирована лишь как идея. В противовес плану Шлиффена ясно выраженной общей директивы и точного графика операций «План-17» не содержал. Это был не оперативный план, а план развёртывания войск с указанием возможных направлений наступления для каждой армии в зависимости от обстоятельств, но без конкретной цели. По сути это был план ответных действий, план отражения немецкого наступления, направления которого французы не могли с твёрдой уверенностью предсказать заранее, и поэтому он должен был давать возможность, как выразился Жоффр, «для изменений апостериори и альтернативных решений». Но, какие бы возможные изменения ни допускались, главной и неизменной задачей плана было: «Наступление!»

Короткая общая директива из пяти предложений, помеченная грифом «секретно», стала единственным документом, с которым были ознакомлены все генералы. Этот план не подлежал обсуждению, от генералов требовалось только его исполнение. Однако обсуждать в плане практически было нечего. Как и Полевой устав, документ открывался выпреченным выражением: «При любых обстоятельствах

главнокомандующему надлежит выступить всеми объединёнными силами, чтобы атаковать германские армии». Далее в директиве лишь сообщалось, что французские войска предпримут два крупных наступления – слева и справа от немецкого укрепленного района Мец – Тионвиль. Части справа, то есть южнее Меца, начнут атаку прямо на восток через старую границу с Лотарингией, в то время как второстепенная операция в Эльзасе предназначалась для того, чтобы вывести французский правый фланг к Рейну. Наступление левее (или севернее) Меца будет идти на север или, в случае нарушения врагом нейтралитета Бельгии, на северо-восток через Люксембург и бельгийские Арденны. Однако последний манёвр мог осуществляться «лишь по приказу главнокомандующего». Главная цель, хотя об этом нигде и не говорилось, заключалась в прорыве к Рейну с одновременной изоляцией и окружением вторгшегося правого крыла немецких армий.

Для этой задачи «Планом-17» предусматривалось развёртывание пяти французских армий от Бельфора в Эльзасе до Ирсона с перекрытием примерно трети протяжённости франко-бельгийской границы. Остававшиеся две трети бельгийской границы от Ирсона до моря оказывались незащищёнными. Именно на этом участке генерал Мишель и намеревался оборонять Францию. Жоффр обнаружил план Мишеля в сейфе, когда занял кабинет своего предшественника. Центр тяжести французских сил по плану Мишеля переносился на крайний левый участок фронта, который Жоффр оставил оголённым. Это был чисто оборонительный план; он не предусматривал возможности для захвата территории или инициативы; он был, как охарактеризовал его Жоффр после тщательного изучения, «глупостью».

Во множестве получая собранные Вторым бюро, или военной разведкой, сведения, которые указывали на возможный охват сильным правым крылом немецких армий, французский генеральный штаб, тем не менее, считал, что аргументы против такого манёвра являются более вескими, чем доказательства его подготовки. Он не придавал значения возможности наступления немцев через Фландрию, хотя сведения об этом были получены при драматических обстоятельствах от одного офицера германского генерального штаба, выдавшего в 1904 году ранний вариант плана Шлиффена. В ходе трёх встреч с офицером французской разведки в Брюсселе, Париже и Ницце этот немец

приходил с головой, обмотанной бинтами так, что из-под них торчал лишь седой ус да пара глаз, бросавших пронзительные взгляды. Документы, переданные им за значительную сумму, показывали, что немцы планировали пройти через Бельгию в направлении Льеж, Намюр, Шарлеруа и вторгнуться во Францию по долине Уазы через Гюиз, Нуайон и Компьен. В 1914 году был избран именно этот путь, что стало подтверждением подлинности полученных разведкой документов. Генерал Пандезак, тогда начальник французского генерального штаба, считал, что эта информация «полностью соответствует существующей в немецкой стратегии тенденции, которая утверждает необходимость широкого охвата», но многие его коллеги высказывали сомнения в этом. Они не верили, что немцы способны мобилизовать достаточное количество войск для осуществления столь масштабного манёвра, и подозревали, что эти сведения могли быть сфабрикованы, чтобы отвлечь внимание французов от настоящего участка наступления. Французское стратегическое планирование столкнулось с множеством неопределённостей, и одной из неизвестных величин была Бельгия. Для логичного французского ума казалось очевидным, что если немцы нарушат нейтралитет Бельгии и атакуют Антверпена, то в войну на стороне противников Германии вступит Англия. Неужели немцы по своей воле готовы так навредить себе? Напротив, что «куда более вероятно», Германия, оставив Бельгию в покое, обратится к плану старшего Мольтке и сначала нападёт на Россию, пока та не успела завершить требующую немало времени мобилизацию.

Пытаясь предусмотреть «Планом-17» ответ на одну из нескольких гипотез о немецкой стратегии, Жоффр и Кастельно пришли к выводу, что наиболее вероятным следует считать вражеское наступление через плато Лотарингии. По их расчётам, немцы займут угол Бельгии к востоку от Мааса. Силы немцев на Западном фронте – без использования частей резервистов на передовой линии – они оценивали в 26 корпусов. По убеждению Кастельно, растянуть такое количество войск до дальнего берега Мааса «невозможно». «Я придерживаюсь того же мнения», – согласился с ним Жоффр.

Жан Жорес, великий социалистический лидер, думал по-другому. Возглавив кампанию против закона о трехлетней воинской службе, он доказывал в своих речах и книге «L'Armée nouvelle» («Новая армия»),

что война будущего будет представлять борьбу массовых армий, с призывом на службу всех граждан, к чему и готовятся немцы, и что резервисты от 25 до 33 лет находятся в расцвете сил и будут более стойкими, чем молодые люди, не отягощённые какой-либо ответственностью. Если Франция, утверждал он, не использует резервистов на передовой, её ожидает жестокая участь быть «поглощённой» врагом.

И помимо сторонников «Плана-17» находились в военных кругах критики, которые выдвигали веские доводы в пользу оборонительной стратегии. Полковник Груар в книге «La Guerre éventuelle» («Будущая война»), опубликованной в 1913 году, писал: «Мы должны прежде всего сосредоточить своё внимание на угрозе наступления немцев через Бельгию. Предвидя, насколько возможно, логические последствия начального этапа нашей кампании, можно не колеблясь утверждать, что если мы сразу же начнём наступление, то потерпим поражение». Но если Франция подготовится к отражению наступления правого крыла немецких армий, «все шансы будут в нашу пользу».

В 1913 году Второе бюро собрало достаточно информации об использовании немцами резервистов в качестве солдат действующей армии, и французский генеральный штаб уже не мог игнорировать этот важнейший фактор. В руки французов попали критические заметки Мольтке о манёврах 1913 года, где говорилось о подобном использовании резервистов. Бельгийский военный атташе в Берлине майор Мелотт сообщил о своих наблюдениях, касающихся необычайно большого призыва резервистов в Германии в 1913 году, из чего он заключил, что немцы формируют по одному корпусу резервистов на каждый корпус солдат действующей армии. Однако авторы «Плана-17» не желали менять своих убеждений. Они отвергали доказательства, говорившие о необходимости перехода к оборонительной стратегии, потому что их сердца и надежды, их подготовка и стратегия были неразрывно связаны с наступательной концепцией. Они убеждали сами себя в том, что немцы намереваются использовать части резервистов только для охраны линий коммуникаций и для «пассивных фронтов», а также как осадные и оккупационные войска. Они сами отказались от обороны границы с Бельгией, утверждая, что если немцы растянут войска по всему правому флангу вплоть до Фландрии, то их центр окажется настолько

тонок, что французы, по выражению Кастельно, разрежут его пополам. Усиление правого крыла германских армий даст французам преимущество в численности войск в центре и на левом фланге. Смысл этого был заключён в классической фразе де Кастельно: «Тем лучше для нас!»

Когда генерал Леба покидал дом на улице Сен-Доминик, куда явился обсудить решение генштаба об обороне Лилля, то он сказал сопровождавшему его заместителю: «У меня две звезды на рукаве, а у него – три. Как я могу с ним спорить?»



## Глава 4

### «Один английский солдат...»

Начало разработки Англией и Францией совместных военных планов относится к 1905 году, когда Россия потерпела от японцев поражение, имевшее далеко идущие последствия: оно вскрыло её слабость в военном отношении и нарушило равновесие сил в Европе. Неожиданно и одновременно правительства всех стран поняли, что, если бы любая из них выбрала этот момент для развязывания войны, то Франции пришлось бы сражаться без союзника. Правительство Германии сразу же решило осуществить пробу сил. Спустя три недели после поражения русских под Мукденом в 1905 году Франции был брошен вызов: 31 марта кайзер сенсационно появился в Танжере. Французам стало совершенно ясно, что Германия пытается нащупать возможность осуществления того самого «Опять» и непременно воспользуется удобным случаем, если не сейчас, то в скором времени. «Как и другие, я приехал в Париж в тот день в девять утра, – писал поэт и издатель Шарль Пеги, склонный к мистицизму социалист, выступающий против своей партии, и католик, критикующий церковь. Он выражал тогда чувства, которые разделяли едва ли не все во Франции. – Как и многие, в одиннадцать тридцать я узнал, что в эти два часа начался новый период в истории моей жизни, в истории моей страны, в истории мира».

Что касается его жизни, то слова Пеги оказались пророческими. В августе 1914 года, в возрасте сорока одного года, он пошёл добровольцем на военную службу и был убит в бою под Марной 7 сентября.

В Англии так же остро реагировали на вызов в Танжере. Её военные институты в то время подвергались коренной перестройке, которой руководил комитет лорда Эшера. В комитет, помимо самого лорда Эшера, входили энергичный первый морской лорд сэр Джон Фишер, сотрясавший флот взрывами своих реформ, и армейский офицер сэр Джордж Кларк, известный своими новаторскими идеями в сфере имперской стратегии. «Триумvirат Эшера» создал Комитет имперской обороны для руководства политикой, касающейся ведения

войны, в который Эшер вошёл как постоянный член, а Кларк – как секретарь. «Комитет Эшера» даровал армии пока безгрешный генеральный штаб. Как раз в то время, когда кайзер, нервничая, разъезжал по улицам Танжера на чересчур горячем белом коне, генеральный штаб проводил теоретическую военную игру, основанную на предположении, что немцы двинутся через Бельгию широким фланговым манёвром севернее и западнее Мааса. Карта манёвров заставила начальника отдела военных операций, генерала Грайерсона, и его помощника, генерала Робертсона, прийти к выводу, что будет мало шансов остановить немецкое наступление, если «английские войска не прибудут на место боёв быстро и в достаточном количестве».

В то время англичане рассчитывали на ведение кампании в Бельгии только своими силами. Премьер-министр, консерватор Бальфур, немедленно попросил представить ему доклад о том, насколько быстро удастся отмотилизовать четыре дивизии и высадить их в Бельгии в случае вторжения Германии. В разгар кризиса, когда Грайерсон и Робертсон находились на континенте, изучая местность вдоль франко-прусской границы, правительство Бальфура пало.

Нервы у всех сторон были натянуты до предела: все ожидали, что Германия, возможно, воспользуется катастрофическим поражением России и грядущим летом начнёт войну. Никаких планов взаимодействия английских и французских армий ещё не существовало. Британия переживала муки предстоящих всеобщих выборов и все министры разъехались по стране для участия в предвыборной кампании, и французы были вынуждены пойти на неофициальные шаги. Французский военный атташе в Лондоне майор Югэ вступил в контакт с активным и деятельным посредником полковником Репингтоном, военным обозревателем газеты «Таймс», который с благословения Эшера и Кларка начал переговоры. В меморандуме, представленном французскому правительству, Репингтон спрашивал: «Можем ли мы принять в качестве основного принципа то, что Франция не пересечёт бельгийских границ, если её не вынудит к этому Германия, первой нарушив нейтралитет Бельгии?»

«Безусловно да», – ответили французы.

«Понимает ли французская сторона, – спрашивал полковник, намереваясь одновременно и предупредить, и подсказать, – что любое

нарушение бельгийского нейтралитета означает для нас автоматическое выполнение наших договорных обязательств?» За всю историю ни одно английское правительство не брало на себя обязательств «автоматически» предпринимать какие-либо действия в случае определённых обстоятельств, однако полковник, закусив удила, мчался во весь опор, опережая события.

«Франция всегда рассчитывала на это, — последовал несколько ошеломляющий ответ, — однако мы никогда не получали официальных подтверждений».

Благодаря дальнейшим наводящим вопросам полковник выяснил, что французы с заметным скептицизмом относились к независимым действиям англичан в Бельгии и полагали «совершенно необходимым» объединённое командование: на суше — во главе с Францией, а на море — под руководством Англией.

Тем временем на выборах победили либералы. Традиционно выступая против войны и авантюры за границей, они были уверены в том, что добрые намерения могут сохранить мир. Новым министром иностранных дел Великобритании стал сэр Эдвард Грей, переживший смерть своей жены, которая скончалась через месяц после его назначения на пост. Новый военный министр в кабинете, Ричард Холдейн, в прошлом — адвокат-барристер, был приверженцем немецкой философии. Когда военные спросили его на совещании, какую армию он хотел бы создать, Холдейн ответил: «Гегелевскую». «После этого разговор прекратился», — писал он.

Грей, которого французы пытались осторожно прощупать, дал понять, что у него нет намерения «отступить» от гарантий, данных Франции его предшественником. Столкнувшись с серьёзным кризисом в первую же неделю своего пребывания на посту, Грей поинтересовался у Холдейна, разработаны ли Англией какие-либо мероприятия на случай выступления вместе с Францией при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Холдейн просмотрел все папки, но ничего не обнаружил. Проведённое им расследование показало, что переброска четырёх дивизий на континент займёт два месяца.

Грей поинтересовался, нельзя ли провести в качестве «военной меры предосторожности» переговоры двух генеральных штабов, не связывая при этом Англию какими-либо обязательствами. Холдейн

проконсультировался с премьер-министром сэром Генри Кэмпбеллом-Баннерманом. Несмотря на свою партийную принадлежность, Кэмпбелл-Баннерман лично очень любил всё французское и иногда даже отправлялся на пароходе через пролив, чтобы пообедать в Кале. Он дал своё согласие на переговоры между штабами, впрочем, с оговорками и особо упирая на «совместные приготовления». Приближаясь, по мнению премьер-министра, при существующем положении дел «весьма близко к почётному взаимопониманию», страны могли нарушить привлекательную свободу Антанты. Дабы избежать подобных неприятностей, Холдейн устроил так, что для французов было составлено письмо, которое подписали генерал Грайерсон и майор Югэ и которое гласило, что эти переговоры ничем не обязывают Англию. Установив такую безопасную формулу, Холдейн дал санкцию на открытие переговоров. Таким образом, он, Грей и премьер-министр, не поставив в известность прочих членов кабинета, позволили дальнейшим событиям развиваться по воле военных, сочтя переговоры «сугубо ведомственным вопросом».

С этого момента за дело взялись генеральные штабы. Английские офицеры, среди которых был сэр Джон Френч, генерал-кавалерист, прославивший своё имя во время англо-бурской войны, посетили в то лето французские манёвры. Грайерсон и Робертсон в сопровождении майора Югэ вновь побывали в пограничных районах. После консультаций с генеральным штабом Франции они, исходя из предположения, что немцы начнут наступление через Бельгию, наметили базы высадки и районы сосредоточения на всём протяжении от Шарлеруа до Намюра и далее до Арденн.

Тем не менее «триумвират Эшера» стал принципиально возражать против использования британской армии как простого придатка французской, и после того, как напряжение Марокканского кризиса ослабло, совместное планирование, начатое в 1905 году, топталось на месте. Генерал Грайерсон был смещён. В соответствии с господствующей тогда точкой зрения, высказанной лордом Эшером, предпочтение отдавалось проведению операции в Бельгии независимо от французского командования, так как удержание Антверпена и прилегающего побережья непосредственно затрагивало интересы Британии. Согласно горячо отстаиваемому мнению лорда Фишера, Англия должна вести главным образом войну на море. Он не скрывал

сомнений относительно боевых качеств французов, считая, что немцы разобьют их на суше и что нет смысла отправлять английскую армию на континент, где она лишь разделит участь побеждённых. Единственной сухопутной операцией, которую он поддерживал, был стремительный десант в тылу немцев. Он подобрал для него точное место – «десятимильная полоса твёрдого песка» в Восточной Пруссии, на побережье Балтийского моря. Здесь, всего лишь в девяноста милях от Берлина, в ближайшем к германской столице пункте, достижимом с моря, британские войска, высадившись с кораблей, смогли бы захватить и удерживать плацдарм, то есть «занять делом миллион немцев». Боевые действия армии, помимо удержания плацдарма, должны быть «ограничены сугубо лишь... неожиданными ударами по побережью, овладением Гельгоlanda и гарнизонной службой в Антверпене». По убеждению Фишера, план кампании во Франции был «самоубийственным идиотизмом», а поскольку военное министерство отличалось некомпетентностью в военных вопросах, то армию следовало бы использовать «как придаток военно-морского флота». В 1910 году Фишер, достигший 69 лет, был освобождён от руководства адмиралтейством с одновременным присвоением ему звания пэра, однако на этом его деятельность не закончилась.

После чрезвычайных событий 1905–1906 годов в течение последующих нескольких лет дело составления совместных планов с французами почти не двигалось вперёд. За это время два человека, находившиеся на противоположных берегах пролива, подружились, что привело в дальнейшем к «наведению моста» через Ла-Манш.

В то время начальником английского штабного колледжа был бригадный генерал Генри Уилсон – высокий, костлявый и неутомимый англо-ирландец, с лошадиным, как он сам считал, лицом. Быстрого и нетерпеливого, Уилсона отличало постоянное бурление страстей, идей, юмора, воображения, а больше всего избытка энергии. Ещё во время службы в военном министерстве он имел привычку в качестве физзарядки бегать по утрам трусцой вокруг Гайд-парка, держа под мышкой утреннюю газету, которую он читал, когда переходил на шаг. Воспитанный целой плеядой французских гувернанток, он свободно говорил по-французски. Куда меньший интерес вызывал у него немецкий язык. В 1909 году Шлиффен опубликовал в «Дейче ревю» неподписанную статью, где он протестовал против изменений,

внесённых в его план Мольтке, который сменил Шлиффена на посту начальника генерального штаба. Были раскрыты основные контуры, если не детали, охвата французских и английских армий, тех «колоссальных Канн», что их ждёт; личность автора статьи сомнений не вызывала. Когда один слушатель колледжа в Кэмберли обратил внимание Уилсона на статью, тот вернул её с небрежным замечанием: «Очень интересно».

В декабре 1909 года генералу Уилсону пришло в голову посетить своего коллегу, начальника Высшей военной школы – генерала Фоша. Он побывал на четырёх лекциях и семинаре, после чего был вежливо приглашён на чай Фошем – тот хотя и был несколько раздражён посещениями высокопоставленных гостей, но не мог не быть учтивым со своим английским коллегой. Генерал Уилсон, загоревшийся энтузиазмом после всего услышанного и увиденного, беседовал с ним более трёх часов. Когда Фош смог, наконец, проводить своего посетителя к двери и, как надеялся, распрощаться, Уилсон с восторгом заявил, что придёт на другой день продолжить разговор и просмотреть учебные планы. Фош не мог не прийти в восхищение от подобного *crap* англичанина, и его подкупил неподдельный интерес Уилсона. Во время второго разговора они открыли душу друг другу. Через месяц Уилсон вновь прибыл в Париж с целью посещения военной школы. Фош принял его приглашение приехать в Лондон весной, а Уилсон согласился нанести ответный визит французскому генеральному штабу летом.

В Лондоне Уилсон представил Фоша Холдейну и другим руководителям военного министерства. Ворвавшись в комнату одного из своих коллег, Уилсон воскликнул: «Я привёл французского генерала! Знакомьтесь, генерал Фош. Запомни мои слова – этот парень будет командовать союзными армиями, когда начнётся большая война». Тем самым Уилсон уже имел в виду принцип единого командования и даже подобрал человека для руководства им, хотя для того, чтобы его предсказание сбылось, потребовалось пройти через четыре года войны и оказаться на грани военного поражения.

После 1909 года в результате непрекращающихся визитов оба стали такими закадычными друзьями, что Уилсон стал своим человеком в семье француза и был приглашён на свадьбу дочери Фоша. Вместе со своим душевным другом «Анри» Фош проводил

часы «в потрясающей болтовне», как заметил один их знакомый. Прогуливаясь вдвоём, один высокий, а другой маленького роста, они обменивались мыслями, порою ведя жаркие споры. Но Уилсона особенно впечатляла та решительность и быстрота, с которой проводились занятия во французской военной школе. Офицеры-преподаватели постоянно подгоняли офицеров-слушателей: «Vite, vite! Быстрее, быстрее!» и «Allez, allez! Живее, живее!» Введённую на занятиях штабного колледжа в Кэмберли, эту методику быстро окрестили уилсоновской операцией «Живей».

Во время своего второго визита в январе 1910 года Уилсон задал Фошу вопрос, ответ на который в одном предложении выразил взгляд французов на всю проблему союза с Англией.

Уилсон спросил:

— Какова наименьшая численность английских войск, которая могла бы оказать вам практическую помощь?

Ответ Фоша сверкнул как сталь рапиры:

— Один английский солдат, и мы позаботимся, чтобы он сразу погиб.

Уилсон, однако, хотел, чтобы Англия взяла на себя определённые обязательства. Убеждённый, что война с Германией неизбежна, он внушал своим коллегам и ученикам мысль о необходимости срочных мер и сам полностью отдался осуществлению этой идеи. Удобный случай представился в августе 1910 года. Уилсон был назначен начальником оперативного управления — пост, на котором генерал Грайерсон начал с французами переговоры на уровне штабов. Когда майор Югэ явился с визитом к Уилсону и посетовал на отсутствие с 1906 года прогресса в столь важном вопросе англо-французского сотрудничества, то услышал в ответ: «Важный вопрос! Это вопрос жизни и смерти! Важнее быть не может!»

Совместное планирование, получив новый импульс, было немедленно возобновлено. Уилсон не видел ничего, кроме Франции и Бельгии, и не бывал нигде, кроме этих двух стран. Во время своей первой поездки на континент в 1909 году, передвигаясь на поезде и на велосипеде, он в течение 10 дней осмотрел франко-бельгийскую и франко-германскую границу от Валансьенна до Бельфора. Он пришёл к выводу, что «оценка германского наступления через Бельгию, данная Фошем, совпадает с моей, и что важнейшая линия будет проходить

между Верденом и Намюром», другими словами, восточнее Мааса. В течение последующих четырёх лет Уилсон ежегодно совершал по три-четыре поездки на велосипеде или на автомобиле по местам боёв 1870 года или по предполагаемым в будущем районам сражений в Лотарингии и Арденнах. Во время каждого визита он консультировался с Фошем, а после ухода Фоша – с Жоффром, Кастельно, Дюбаем и другими представителями французского генерального штаба.

В кабинете Уилсона в военном министерстве всю стену занимала карта Бельгии. Те дороги, по которым, как он считал, двинутся немецкие войска, были обведены жирной чёрной линией. Придя в военное министерство, Уилсон обнаружил, что благодаря новым порядкам, введённым Холдейном, которого прозвали «Шопенгауэром от генералов», регулярная армия была тщательно обучена, подготовлена и реорганизована для того, чтобы в любой момент могла выполнить роль экспедиционного корпуса. Одновременно были осуществлены все мероприятия для доведения её численности в случае мобилизации до уровня военного времени. Однако в том, что касалось её транспортировки через пролив Ла-Манш, размещения, обеспечения продовольствием, выдвижения в районы сосредоточения на территории Франции, а также взаимодействия с французской армией, никаких планов не существовало.

Летаргия, существовавшая в штабе в отношении этих проблем, вызывала у Уилсона периодические приступы бешенства, о чём свидетельствует дневник: «...Зол страшно... нет планов железнодорожных перевозок... нет планов пополнения конного состава... положение дел скандальное!.., нет планов доставки войск в порты, нет планов использования портов, не спланирована переброска морем... абсолютно никаких медицинских приготовлений... затруднения с конным транспортом не преодолены... практически ничего нет, скандально!.. Ужасная неподготовленность... вопрос с лошадьми в позорнейшем состоянии!» и всё же к марту 1911 года, несмотря на отсутствие и планов, и мероприятий, и лошадей, ему удалось составить график мобилизации, по которому «все 6 пехотных дивизий грузятся на транспорты на 4-й день, кавалерия – на 7-й день, артиллерия – на 9-й день».



Всё это оказалось очень своевременным. 1 июля 1911 года «Пантера» подошла к Агадиру. Во всех правительственных кругах Европы витало одно слово: «Война». Уилсон спешно прибыл в Париж как раз тогда, когда Военный совет Франции, выведя из своего состава генерала Мишеля, полностью отказался от оборонительной стратегии. Вместе с генералом Дюбаем он составил меморандум, предусматривавший в случае вмешательства Англии высадку экспедиционного корпуса из шести пехотных и одной кавалерийской дивизии. В документе, подписанном Уилсоном и Дюбаем 20 июля, указывалась общая численность войск – 150 тысяч человек и 67 тысяч лошадей, которых надлежало доставить в Гавр, Булонь и речной порт Руан между 4-м и 12-м днём мобилизации. Из этих пунктов войска требовалось перебросить по железной дороге в район сосредоточения у Мобёжа; достижение полной боеготовности намечалось на 13-й день мобилизации.

В действительности же соглашение между Дюбаем и Уилсоном привязывало, в случае начала войны и вступления в неё Англии, британскую армию к французской, причём она должна была продолжить французскую линию обороны и прикрыть левый фланг от охвата. Оно означало, как с радостью писал майор Югэ, что французы убедили Уилсона и английский генеральный штаб не открывать «ещё одного театра военных действий» и согласиться на совместные операции «на главном, то есть французском фронте». Практически этому способствовали не только действия французов, но и позиция, занятая командованием английского флота, которое отказалось гарантировать безопасность выгрузки войск в портах, расположенных выше линии Дувр – Кале, что, в свою очередь, исключало высадку поблизости или на территории самой Бельгии.

Как писал в своём дневнике Уилсон, после возвращения в Лондон он столкнулся с главным вопросом дня – начнёт ли Германия войну «против французов и нас». После консультаций с Греем и Холдейном за завтраком он выступил с чёткой программой из трёх пунктов. «Первое: мы *должны* объединиться с французами. Второе: мы *должны* провести мобилизацию в тот же день, что и Франция. Третье: мы *должны* отправить все шесть дивизий».

Уилсон чувствовал «глубокое неудовлетворение» по поводу оценки ситуации двумя штатскими министрами, но ему сразу же

представился ещё один удобный случай дать правительству урок в военных делах. 23 августа премьер-министр Асквит (преемник Кэмпбелла-Баннермана с 1908 года) созвал особое секретное совещание Комитета имперской обороны с целью определить стратегию Британии в случае войны. На заседании, продолжавшемся весь день, с разъяснением точки зрения армии утром выступил генерал Уилсон, а днём слово взял адмирал сэр Артур Уилсон, преемник Фишера, рассказавший о стратегии флота. Помимо Асквита, Грея и Холдейна, присутствовали ещё три члена кабинета: министр финансов Ллойд Джордж, первый лорд адмиралтейства Маккена и министр внутренних дел, молодой человек тридцати семи лет, игнорировать которого не было никакой возможности и который, занимая не совсем соответствующий для этого пост, во время кризиса засыпал премьер-министра идеями по вопросам военной и военно-морской стратегии. Его здравые и полезные замечания явились необычайно точным прогнозом хода будущих боёв. Этот человек не имел также никаких сомнений относительно того, что нужно делать. Министром внутренних дел был Уинстон Черчилль.

Уилсон, которому, по его выражению, противостояла эта группа «невежд», явившийся на заседание в сопровождении своего коллеги-генерала, а в будущем – начальника, сэра Джона Френча, «ничего не знавшего по данному вопросу», прикрепил к стене свою большую карту Бельгии и выступил с лекцией, продолжавшейся около двух часов. Он развеял множество иллюзий, объяснив, что Германия, рассчитывая на медленную мобилизацию России, направит основную часть своих сил против французов, используя преимущество в живой силе. Он правильно раскрыл сущность немецкого плана охвата правым крылом, но, воспитанный на французских теориях, оценил силы противника, которые будут двинуты западнее Мааса, не более как в четыре дивизии. Он утверждал, что если все шесть английских дивизий будут отправлены на фронт сразу же с началом войны и с задачей занять позиции на самом левом участке французской линии, то шансы остановить немцев будут благоприятными.

Когда днём пришёл черёд адмирала, то штатские были поражены, узнав, что план флота не имеет ничего общего с предложениями армии. Флот намеревался высадить экспедиционные войска не во Франции, а на «десятимильной полосе твёрдого песка» у северных

берегов Восточной Пруссии, где десант оттянул бы «более чем значительное количество войск» из германских передовых эшелонов. Генералы сразу же бросились в бой против адмиральских доводов. Отсутствие лорда Фишера привело к тому, что Асквит в замешательстве отклонил этот план, и армия праздновала победу. Впоследствии презрительные замечания в её адрес ещё не раз срывались с уст Фишера. «Подавляющее превосходство британского флота... – единственное средство, чтобы удержать немцев от захвата Парижа, – писал он своему другу спустя несколько месяцев. – Наши вояки глупо смешны в своих абсурдных идеях войны, но, к счастью, они бессильны. Мы должны захватить именно Антверпен, а не валять дурака на границе в Богезах». Определённая логика в идее захвата Антверпена продолжала влиять на английское стратегическое мышление вплоть до последних минут в 1914 году и даже позднее.

Это заседание в августе 1911 года, как и состоявшееся несколькими неделями ранее совещание французского Военного совета, отказавшегося от услуг генерала Мишеля, оказало решающее воздействие на направление английской военной стратегии и имело далеко идущие побочные последствия. Специальным решением в руководстве флота была произведена перетряска, и первым лордом адмиралтейства стал, к счастью, энергичный министр внутренних дел, на новом посту оказавшийся в 1914 году незаменимым человеком.

Отзвуки секретного совещания Комитета имперской обороны вызвали гнев тех членов кабинета, которые на него не были приглашены или принадлежали к строго пацифистскому крылу партии. Генри Уилсон узнал, что его считали главным злодеем, замыслившим это совещание, и что даже раздавались голоса, «требовавшие моей головы». С того момента в кабинете начался раскол, достигший апогея в решающие дни кризиса. Правительство придерживалось лицемерной позиции, сводившейся к тому, что «беседы» военных были, по словам Холдейна, «всего лишь естественным и неофициальным результатом нашей дружбы с французами». Возможно, они были естественным результатом, но переговоры не могли быть неофициальными. Лорд Эшер с определённым реализмом указал премьер-министру, что планы, совместно разработанные генеральными штабами, «определённо связали нас обязательством сражаться, хочет того кабинет или нет».

Нигде не зафиксировано, как ответил на этот злободневный вопрос Асквит или что он вообще думал по этому поводу, тем более что о его сокровенных мыслях редко удавалось узнать даже при самых благоприятных обстоятельствах.

В следующем, 1912 году с Францией было достигнуто морское соглашение. Оно явилось результатом одной важной миссии – не в Париж, а в Берлин. Чтобы убедить немцев не принимать нового закона о военно-морском флоте, предусматривавшего его увеличение, на переговоры с кайзером, Бетман-Гольвегом, адмиралом Тирпицем и другими германскими лидерами отправили Холдейна. Это была последняя попытка добиться англо-германского взаимопонимания, но она провалилась. В качестве компенсации за сохранение своего флота на более низком уровне, чем английский, немцы требовали от Англии обещания придерживаться нейтралитета в случае войны между Германией и Францией, на что английская сторона ответила отказом. Холдейн вернулся с убеждением, что стремлению Германии к гегемонии в Европе рано или поздно придётся дать отпор: «Познакомившись с германским генеральным штабом, я понял, что, как только немецкая военная партия прочно сядет в седло, война будет вестись с целью не просто нанести поражение Франции или России, а ради достижения мирового господства». Сделанный Холдейном вывод сильно повлиял на мышление либералов и их планы. Его первым результатом стало заключение морского пакта с Францией, в соответствии с которым англичане в случае военной угрозы обязались защищать пролив Ла-Манш и побережье Франции от нападения врага, тем самым давая французскому флоту возможность сосредоточиться в Средиземноморье.

Хотя условия соглашения не были известны кабинету в целом, его члены испытывали беспокойство, опасаясь, не зашло ли всё слишком далеко. Не удовлетворяясь устной формулой «никаких обязательств», антивоенная группа настаивала, чтобы она была зафиксирована документально. Сэр Эдвард Грей был вынужден направить французскому послу Камбону письмо. Составленное и одобренное кабинетом, оно являло собой образчик изворотливости. Переговоры между военными, говорилось в нём, оставляют в будущем обе стороны свободными при решении вопроса, «оказывать или нет взаимную помощь вооружёнными силами». Морское соглашение «не было

основано на обязательстве сотрудничать в войне». При военной угрозе обе стороны «примут во внимание» планы своих генеральных штабов и «затем решат, какое значение им придать».

Этот любопытный документ удовлетворял всех: французов, потому что теперь весь английский кабинет официально признал существование совместных планов, антивоенную группу, поскольку в нём было указано, что Англия «не связана обязательствами», и самого Грея, который был доволен тем, что ему удалось разработать формулу, спасающую его планы и успокоившую его противников. Добиваться заключения определённого союза, на чём настаивали в некоторых кругах, означало бы, по его словам, «вызвать раскол в кабинете».

После Агадира, по мере того как каждый год приносил новый кризис, а тучи на горизонте сгущались, предвещая приближавшуюся бурю, совместная работа генеральных штабов стала вестись более интенсивно. Поездки сэра Генри Уилсона за границу участились. Он находил, что новый начальник французского генерального штаба генерал Жоффр был «отличным, мужественным, спокойным офицером с сильным характером и большой решимостью», а Кастельно – «очень умным и эрудированным». Он продолжал осматривать бельгийскую границу, разъезжая на велосипеде по окрестным дорогам, и постоянно возвращался к излюбленному им месту боёв 1870 года у Марсла-Тур около Меца, где всякий раз при виде скульптуры «Франция», воздвигнутой в память этих событий, его охватывало чувство боли. После одной такой поездки Уилсон записал: «Я положил к ногам статуи кусочек бывшей при мне карты, на которой были отмечены районы концентрации британских сил на территории нашего союзника».

В 1912 году он изучил вновь построенные германские железнодорожные линии, сходящиеся к бельгийской границе в Ахене. В феврале того года разработка совместных англо-французских планов достигла такой стадии, что генерал Жоффр уже смог сообщить Высшему военному совету о своих расчётах на «английские шесть пехотных и одну кавалерийскую дивизию, а также две конные бригады, общей численностью 145 000 человек». L'Armée «W», «Армия дубль вэ» – так в знак уважения к Уилсону французы обозначили английские войска – должна была высадиться в Булоне, Гавре и Руане, сконцентрироваться в районе Ирсон – Мобёж и

достигнуть полной боеготовности на 15-й день мобилизации. Позднее, в 1912 году, Уилсон присутствовал на осенних манёврах совместно с Жоффром, Кастельно и русским великим князем Николаем, после чего отправился в Россию для переговоров с российским генеральным штабом. В 1913 году он каждый месяц посещал Париж для совещаний с представителями французского генерального штаба. Он также наблюдал за манёврами XX корпуса Фоша, охранявшего границу.

Пока Уилсон укреплял и совершенствовал связи с французами, новый начальник британского имперского генерального штаба сэр Джон Френч попытался в 1912 году возродить идею о независимых военных действиях на территории Бельгии. Осторожное зондирование, проведённое английским военным атташе в Брюсселе, положило конец этим надеждам. Как выяснилось, бельгийцы упрямо придерживались принципа строгого соблюдения своего нейтралитета. Когда английский военный атташе поставил вопрос о возможности совместных мероприятий для обеспечения высадки английских войск при условии, что Германия первой нарушит нейтралитет Бельгии, ему было сказано, что Англии придётся подождать, пока к ней не обратятся с просьбой об оказании военной помощи. Британский посланник, наводивший справки по своим каналам, был проинформирован, что если английские войска высадятся до вторжения Германии или без официальной просьбы о помощи со стороны Бельгии, то бельгийские войска получают приказ открыть огонь.

Решимость бельгийцев строго соблюдать нейтралитет подтвердила ту мысль, которую Англия неустанно внушала французам: всё будет зависеть от того, нарушит ли Германия первой нейтралитет этой страны. Лорд Эшер предупреждал майора Югэ в 1911 году: «Никогда, ни под каким предлогом, не допускайте того, чтобы французскому военному руководству пришлось первым пересечь границы Бельгии!» Если они так поступят, Англия уже не сможет выступить на их стороне; если же это сделают немцы, то британские войска начнут военные действия против них. Камбон, французский посол в Лондоне, выразил это условие по-другому. В своих депешах он не раз повторял, что только в случае нападения Германии на Бельгию Франция сможет рассчитывать на поддержку Англии.

Весной 1914 года совместная работа французского и английского генеральных штабов закончилась. Были составлены настолько тщательно разработанные планы, что пункты расквартирования были намечены для каждого батальона, вплоть до указания мест, где солдаты будут пить кофе. Количество выделяемых французской стороной железнодорожных вагонов, прикомандирование переводчиков, подготовка шифров и кодов, снабжение лошадей фуражом – все эти вопросы были либо решены, либо, как полагали, должны быть урегулированы к июлю. Сам факт того, что Уилсон и его офицеры находились в тесном контакте с французами, тщательно скрывался. Вся работа по «Плану W», как называлась обоими штабами переброска британского экспедиционного корпуса, осуществлялась в строжайшей тайне и была поручена всего лишь полудюжине офицеров, которые сами печатали на пишущих машинках документы, подшивали дела и выполняли другие канцелярские обязанности. Пока военные готовили будущие сражения, английские политические деятели, натянув на голову одеяло под лозунгом «Никаких обязательств», решительно отказывались вникать в их дела.

## Глава 5

### Русский «Паровой каток»

Русский колосс оказывал на Европу колдовское воздействие. На шахматной доске военного планирования огромные размеры и людские резервы России приобретали самый большой вес. Несмотря на её неудачные действия в войне с Японией, мысли о русском «паровом катке» утешали и ободряли Францию и Англию, а маячившая за спиной у Германии славянская угроза не давала немцам покоя.

Пусть изъяны русской армии были хорошо известны, пусть не русская армия, а русская зима заставила Наполеона уйти из Москвы, пусть русские войска и испытали поражение на своей земле от французов и англичан в Крымскую войну, пусть турки в 1877 году победили под Плевной и лишь впоследствии уступили перед лицом численного превосходящего противника, хотя японцы взяли над русскими верх в Маньчжурии, миф о непобедимости русской армии по-прежнему имел широчайшее распространение. Образ несущейся с воплями и гиканьем казачьей лавы настолько глубоко запечатлелся в умах европейцев, что многие газетные художники рисовали её, причём в подробнейших деталях, находясь за тысячу миль от русского фронта. Казаки и неутомимые миллионы упорных, терпеливых и готовых сражаться насмерть русских *мужиков* формировали стереотип русской армии. А её численность внушала ужас: 1 423 000 человек в мирное время, ещё 3 115 000 готовых встать в строй при мобилизации составляли вместе с 2 000 000 территориальных войск и рекрутов цифру в 6 500 000 человек.

Русская армия представлялась гигантской массой, пребывающей в летаргическом сне, но, пробуждённая и пришедшая в движение, она грозила неудержимо покатиться вперёд, волна за волной, невзирая на потери, заполняя ряды павших новыми силами. Считалось, что усилия, предпринятые после войны с Японией, для избавления армии от некомпетентности и коррупции привели к определённом улучшении положения. Среди французских политиков «каждый находился под огромным впечатлением от растущей силы России, её огромных



ресурсов, потенциальной мощи и богатства», как писал в апреле 1914 года сэр Эдуард Грей, который вёл в Париже переговоры о заключении морского соглашения с Россией. Он и сам придерживался тех же взглядов. «Русские ресурсы настолько велики, – заметил он как-то президенту Пуанкаре, – что Германия в конечном итоге будет истощена даже без нашей помощи России».

Для французов успех «Плана-17» – неудержимый марш к Рейну – призван был стать демонстрацией силы нации и одним из величайших моментов в истории Европы. Чтобы обеспечить прорыв в центре, Франция нуждалась в помощи России, которая должна была оттянуть на себя часть противостоящих французам германских сил. Проблема состояла в том, чтобы заставить русских начать наступление на Германию с тыла одновременно с началом французами и англичанами военных действий на Западном фронте, то есть как можно ближе к 15-му дню мобилизации. Французам, как и всем прочим в Европе, было известно, что к этому сроку закончить мобилизацию и концентрацию своих войск Россия физически не в состоянии, но для них было важно, чтобы русские начали наступление теми силами, которые окажутся у них в готовности на тот момент. Западные союзники были полны решимости принудить Германию с самого начала вести войну на два фронта, стремясь сократить численное превосходство немцев по отношению к своим армиям.

В 1911 году генерал Дюбай, занимавший тогда пост начальника штаба военного министерства, был направлен в Россию с задачей внушить русскому генеральному штабу идею о необходимости захвата инициативы. Хотя большая часть русских войск должна была выступить против Австро-Венгрии и к действиям на германском фронте к 15-му дню мобилизации могла быть готова лишь половина предназначенных для этого русских частей, настроение в Петербурге было боевое и приподнятое. Озабоченные тем, чтобы вновь придать блеск славы своему потускневшему оружию и оставляя детальное планирование на своё усмотрение, русские согласились – причём больше под влиянием чувства воинской доблести, чем из благоразумия, – начать наступление одновременно с Францией. Дюбай заручился обещанием, что русские, после того, как их передовые части займут исходные рубежи, они, не дожидаясь завершения сосредоточения своих дивизий, нанесут удар через границы Восточной

Пруссии на 16-й день мобилизации. «Мы должны ударить в самое сердце Германии, – провозглашал царь в подписанном соглашении. – Целью обеих наших сторон должен быть Берлин».

Договорённость о немедленном русском наступлении была не раз подтверждена и детализирована на ежегодных штабных совещаниях, которые являлись характерной чертой франко-русского союза. В 1912 году в Париже побывал глава русского генерального штаба генерал Жилинский, а в 1913 году в Россию отправился генерал Жоффр. К тому времени русские военные круги не устояли перед манящим представлением об *élan* – наступательном «порыве». После Маньчжурии им также требовалось чем-то компенсировать унижительное военное поражение и позорные недостатки своей армии. Огромным успехом пользовались переведённые на русский язык лекции полковника Гранмезона. Ослеплённый блестящей доктриной *offensive à outrance* – «наступления до последнего», – генеральный штаб России пошёл ещё дальше. Генерал Жилинский обязался в 1912 году привести в боевую готовность все войска, предназначенные для германского фронта, общей численностью в 800 000 человек на 15-й день мобилизации, хотя для выполнения такой задачи русские железные дороги были явно не приспособлены. В 1913 году он перенёс дату наступления на два дня вперёд, несмотря на то, что военные заводы страны производили не более двух третей требуемого количества артиллерийских снарядов и менее половины винтовочных патронов.

Сами союзники не выказывали серьёзной озабоченности по отношению к порокам русской военной системы, хотя Иэн Гамильтон, английский военный наблюдатель при японской армии, нелицеприятно сообщал о них в своих докладах из Маньчжурии. Главными недостатками русской армии были плохая разведка, пренебрежение маскировкой и режимом секретности, отсутствие скрытности и быстроты действий и неповоротливость частей, безынициативность и неумелое руководство войсками. Полковник Репингтон, еженедельно комментировавший на страницах «Таймс» события русско-японской войны, пришёл к выводам, которые побудили его посвятить книгу, составленную из его избранных газетных выступлений, императору Японии. Тем не менее генеральные штабы были убеждены, что самое главное – это привести в движение русского великана, независимо от

того, какими будут его действия. Задача сама по себе была довольно трудной. В ходе мобилизации русского солдата надо было перебросить в среднем за 700 миль, что в четыре раза больше, чем в среднем для германского солдата, к тому же в России на каждый квадратный километр приходилось железных дорог в 10 раз меньше, чем в Германии. С целью воспрепятствовать вражескому вторжению ширина русской железнодорожной колеи намеренно была сделана шире, чем у немцев. Значительные французские ассигнования на железнодорожное строительство ещё не дали результатов. Было очевидно, что по темпам мобилизации Россия никак не могла сравниться с Германией; но если из 800 000 солдат, обещанных русскими для германского фронта, хотя бы половина успела занять исходные позиции для начала наступления в Восточной Пруссии к 15-му дню мобилизации, то, несмотря на все недостатки русской военной машины, их вторжение на германскую территорию произвело бы, как полагали, огромный эффект.

В современных условиях отправка войск для участия в сражениях на вражеской территории, особенно учитывая неудобства, связанные с разными системами железных дорог, является весьма рискованным и сложным предприятием, требующим колоссальных организационных усилий. Систематическое же внимание к деталям не было отличительной чертой русской армии.

Офицерский корпус страдал от переизбытка престарелых генералов, для которых верхом интеллектуальных усилий была разве что карточная игра, но которые, ради сохранения придворных привилегий и престижа, продолжали числиться на действительной службе. Назначения офицеров и их повышение происходили главным образом благодаря покровительству, связям в обществе или в деловом мире, и, несмотря на то, что среди них было немало смелых и способных воинов, сама система не давала возможности лучшим из них попасть наверх. «Леность и отсутствие интереса к физическим упражнениям» неприятно поразила английского военного атташе, который во время посещения отдалённого гарнизона на афганской границе не увидел «ни одного теннисного корта». В результате осуществлённой после японской войны чистки, связанной с мерами по укреплению руководства армией, большое число офицеров было отправлено в отставку или уволено со службы. За один год не справляющимися со своими обязанностями были признаны и

получили отставку 341 генерал – почти столько же, сколько было во всей французской армии, – и 400 полковников. Несмотря на улучшения в денежном обеспечении и системе продвижения по службе, в 1913 году армии не хватало 3000 офицеров. После русско-японской войны много было сделано для избавления от гнили в войсках, но сущность русского режима оставалась прежней.

«Этот психически ненормальный режим, – как называл его граф Витте, самый ревностный его защитник, занимавший пост премьера в период 1903–1906 годов, – есть переплетение трусости, слепоты, лукавства и глупости». Во главе его стоял монарх, руководствовавшийся одной-единственной идеей государственного правления – сохранение в неприкосновенности абсолютной монархии, завещанной ему отцом. Не обладавший для решения этой задачи ни умственными способностями, ни энергией и не подготовленный к ней, он находил утешение в личных фаворитах, предавался капризам и чудачествам – обычным развлечениям пустоголового самодержца. Отец его, Александр III, который из определённых соображений не хотел посвящать сына в премудрости правления страной до достижения тем тридцати лет, к несчастью, допустил просчёт в расчёте продолжительности своей жизни и умер, когда наследнику было двадцать шесть лет. За прошедшие годы царь Николай II, теперь достигший 46-летнего возраста, так ничему и не научился, а то впечатление спокойствия, которое он производил, в действительности было апатией – безразличием ума, ничем не выдающегося и столь неглубокого, что его можно было сравнить с ровной плоскостью. Когда ему принесли телеграмму с сообщением о разгроме русского флота под Цусимой, царь, прочитав её, положил в карман и отправился продолжать партию в теннис. Премьер Коковцев, возвратившись из Берлина в ноябре 1913 года, лично представил царю доклад о приготовлениях Германии к войне. Николай II слушал, смотря на него, как обычно, внимательно и не мигая – «прямо мне в глаза». После длительной паузы, наступившей после окончания доклада, он, «как будто пробудившись от сна», мрачно сказал: «Да будет на то воля Божья». На самом же деле, как решил Коковцев, царю было просто скучно.

Основание режима покоилось на муравьиной куче тайной полиции, проникшей в каждое министерство, управление и

провинциальный департамент в такой степени, что даже сам граф Витте, опасаясь за свои записки и заметки, которые он в дальнейшем хотел использовать для написания мемуаров, был вынужден каждый год помещать их в банковский сейф во Франции. Когда другой премьер, Столыпин, был убит в 1911 году, то преступники, как выяснилось, являлись агентами тайной полиции, *провокаторами*, пытавшимися дискредитировать революционеров.

Промежуточное положение между царём и тайной полицией занимали *чиновники* — главная опора режима. Это был класс бюрократов и официальных должностных лиц, происходивших из дворянства и выполнявших основную работу по управлению государством. Никакому конституционному органу они не подчинялись, и лишь царь мог отправить их в отставку, что он и делал, будучи всецело под влиянием дворцовых интриг и своей жены, отличавшейся крайней подозрительностью. В подобных условиях способные люди недолго задерживались на важных постах. Частые уходы в отставку «по причине слабого здоровья» породили в чиновной среде поговорку: «В наши дни у всех плохое здоровье».

Постоянно кипевшая недовольством Россия при правлении Николая II страдала от стихийных бедствий, массовых убийств, военных поражений и мятежей. Кульминационным пунктом всего этого стала революция 1905 года. Когда в то время граф Витте посоветовал царю либо даровать конституцию, которой требовал народ, либо восстановить порядок с помощью военной диктатуры, Николай II скрепя сердце вынужден был согласиться с первым предложением, потому что двоюродный дядя царя, великий князь Николай Николаевич, командовавший Петербургским военным округом, отказался взять на себя ответственность за выполнение второго. Этому бездействию великому князю Николаю Николаевичу не простили ни ярые монархисты, ни симпатизировавшие Германии прибалтийские бароны немецкого происхождения, ни черносотенцы — «эти правые анархисты», — ни другие реакционные группы, составлявшие оплот самодержавия. Они, как и многие немцы, в том числе и сам кайзер, считали, что общие интересы двух самодержцев, в прошлом входивших в *Drei-Kaiser Bund*, Союз трёх императоров, делают Германию более подходящим союзником России, чем демократические страны Запада. Реакционеры в России, считая

своими главными врагами русских либералов, предпочитали кайзера Думе, так же как спустя много лет французские правые предпочли Гитлера Леону Блюму. Лишь возросшая за минувшие двадцать лет угроза со стороны самой Германии побудила царскую Россию отказаться от естественного намерения объединиться с этой страной и вступить в союз с республиканской Францией. В довершение всего германская угроза сблизила Россию и Англию, которая в течение столетия не допускала русских к Константинополю и о которой дядя царя, великий князь Владимир Александрович, в 1899 году сказал: «Надеюсь дожить до того дня, когда раздастся предсмертный хрип Англии. Каждодневно возношу Господу свои горячие мольбы об этом!»

Приверженцы Владимира держали в своих руках двор, переживавший век Нерона, и дам из высшего общества бросали в трепет спиритические сеансы с немывым Распутиным. Но у России были и свои демократы, и либералы в Думе, были нигилисты в лице Бакунина, был и ставший анархистом князь Кропоткин. Была у России и так называемая «интеллигенция», о которой царь отозвался так: «Как мне отвратительно это слово! Мне следовало бы приказать Академии наук вычеркнуть его из русского словаря». У России были свои Лёвины, которые мучительно размышляли о душе, социализме и земле, свои дяди Вани без надежд, было то особое качество, заставившее одного английского дипломата прийти к выводу, что «в России все немного сумасшедшие» – качество, называемое «*le charme slav*», «славянское очарование»: полунебрежность, полубездеятельность, нечто вроде беспомощности «конца века», туманом повисшей над городом на Неве, известным в мире как Санкт-Петербург, но который на самом деле был «Вишнёвым садом» – чего никто не знал.

Что касается подготовки к войне, то в данном отношении режим олицетворял военный министр генерал Сухомлинов – ленивый и изворотливый толстяк шестидесяти лет, большой любитель удовольствий. Его коллега, министр иностранных дел Сазонов, сказал следующее: «Его трудно заставить работать, но узнать у него правду – совершенно непосильная задача». В 1877 году во время войны с турками Сухомлинов, бойкий кавалерийский офицер, удостоился награждения орденом Св. Георгия 4-й степени, и впоследствии он

полагал, что багажа военных знаний, приобретённого во время этой кампании, ему вполне достаточно. Как военный министр, он отчитывал преподавателей Академии Генерального штаба за проявление интереса к таким «новшествам», как фактор преимущественной огневой мощи в противовес штыковой атаке, сабле и пике. Он говорил, что не может слышать фразу «современная война» без чувства раздражения. «Какой война была, такой и осталась... всё это зловердные новшества. Взять меня, к примеру: за последние четверть века я не прочёл ни одного военного учебника». В 1913 году он уволил пять преподавателей, которые распространяли порочную ересь «огневой тактики».

Природный ум Сухомлинова сочетался со склонностью к интригам и махинациям. Низкорослый и обходительный, с лицом, как у кота, с аккуратными белыми усами и бородой, он обладал располагающей, почти кошачьей манерой завлекать таких людей, как царь, которым он стремился понравиться. Другие, как, например, французский посол Палеолог, испытывали к нему «недоверие с первого взгляда». Учитывая, что назначение или смещение тех или иных людей на важные министерские посты целиком зависело от прихоти царя, Сухомлинов завоевал благосклонность Николая II и в дальнейшем не терял её, стараясь всегда быть подобострастным и занимательным, рассказывая анекдоты и разыгрывая всяческие забавные буффонады; говорить о серьёзных и неприятных делах он избегал и старательно способствовал возвеличиванию «друга» Распутина. В результате военному министру сошли с рук обвинения в казнокрадстве и некомпетентности, ему простили шумный скандал с разводом будущей жены и даже ещё более грандиозный скандал, связанный с делом о шпионаже.

В 1906 году, влюбившись в двадцатитрёхлетнюю жену провинциального помещика, Сухомлинов ухитрился избавиться от её мужа в результате бракоразводного процесса, основанного на сфабрикованных свидетельствах, а затем женился на ней, сам вступив в брак в четвёртый раз. Ленивый по природе, военный министр всё больше и больше перекладывал работу на плечи подчинённых, сберегая, по словам французского посла, «все свои силы для супружеских утех... с довольно красивой женой, которая на тридцать два года моложе его». Молодая жена с удовольствием заказывала

наряды в Париже, обедала в дорогих ресторанах и устраивала большие приёмы. Для покрытия её непомерных расходов Сухомлинов в скором времени успешно наловчился использовать подотчётные ему суммы. Он вписывал в документы командировочные, составленные из расчёта поездок со скоростью в 24 лошадиные версты в день, а в действительности совершал инспекционные поездки по железной дороге. За шесть лет, благодаря знанию тайных пружин фондовой биржи, ему удалось положить на свой счёт в банке 702 737 рублей. За тот же период общая сумма полученного им жалованья составила 270 000 рублей. Столь счастливому для Сухомлинова состоянию личных финансов способствовали окружавшие военного министра его люди, которые ссужали ему деньги за военные пропуска, приглашения на манёвры и предоставление иной информации. Один из них, австриец по фамилии Альтшиллер, обеспечивший фиктивные свидетельства для бракоразводного процесса Сухомлиновой, принимался как близкий друг в доме министра, а также в кабинете, где повсюду лежали без присмотра различные военные документы. В 1914 году после отъезда Альтшиллера выяснилось, что он был главным резидентом австрийской разведки в России. Ещё более нашумевшим стало дело полковника Мясоедова, по мнению некоторых – любовника Сухомлиновой. Он являлся начальником железнодорожной полиции в пограничной зоне, однако был награждён кайзером пятью орденами и удостоен чести быть личным гостем германского монарха на завтраке в Роминтене, где неподалёку от границы находился охотничий домик императора. Неудивительно, что полковник Мясоедов был заподозрен в шпионаже. В 1912 году его арестовали и отдали под суд, однако после вмешательства Сухомлинова он был оправдан и смог в дальнейшем продолжать выполнять прежние обязанности в течение всего первого года войны. В 1915 году, когда его защитник лишился министерского поста в результате понесённых Россией поражений, Мясоедов был вновь арестован, осуждён и повешен как шпион.

Карьера Сухомлинова после 1914 года ознаменовалась весьма примечательными событиями. Как и Мясоедову, ему грозило судебное преследование, избежать которого удалось лишь благодаря личному вмешательству царя и царицы, но в августе 1917 года, когда после отречения царя Временное правительство уже балансировало на грани падения, он тоже был отдан под суд. В то бурное и суматошное время



его судили скорее не за измену, в которой формально обвиняли, а за все грехи прежнего режима. В заявлении обвинителя все эти прегрешения сводились к главному: русский народ, вынужденный воевать без пушек и боеприпасов, утратил веру в правительство, и это неверие распространилось, точно чума, с «чудовищными последствиями». Целый месяц свидетели давали показания, в подробностях расписывающие финансовые и амурные делишки бывшего военного министра, но в конце концов обвинения в измене с Сухомлинова были сняты, но он был признан виновным в «злоупотреблении властью и бездействии». Приговорённый к пожизненным каторжным работам, Сухомлинов через несколько месяцев был освобождён большевиками и выехал в Берлин, где и прожил до самой смерти в 1926 году. Там же, в Берлине, в 1924 году он опубликовал свои мемуары, посвятив их низложенному кайзеру. В предисловии Сухомлинов разъяснял, что русская и германская монархии уничтожали в войне друг друга как врагов и только взаимное сближение двух стран способно возродить их могущество. Эта идея произвела на изгнанника-Гогенцоллерна такое впечатление, что в собственные мемуары он вписал посвящение Сухомлинову, опущенное, однако, в печатной версии – по-видимому, автора убедили снять его при публикации.

Таков был человек, занимавший пост военного министра России с 1908 до 1914 года. Будучи проводником идей реакционеров и пользуясь их поддержкой, подготовку к войне с Германией, что было главной задачей возглавляемого им министерства, он осуществлял, образно выражаясь, спустя рукава. Дальнейшее проведение реформы армии, начатой после позора русско-японской войны, он прекратил немедленно. Генеральный штаб, получивший статус независимого учреждения с целью совершенствования современной военной науки, снова стал подчинён военному министру, который имел исключительное право доступа к царю. Лишённый инициативы и власти, Генеральный штаб не имел ни способного, ни даже посредственного руководителя, обладавшего твёрдым и последовательным характером. За шесть лет, предшествовавших 1914 году, сменилось шесть начальников Генерального штаба, что вряд ли оказало положительное влияние на разработку военных планов.

Всю работу Сухомлинов перекладывал на других, однако вместе с тем он не допускал свободомыслия. Упрямо цепляясь за устаревшие теории и былую славу, он утверждал, что поражения России в прошлом объясняются скорее ошибками командиров, а не плохой подготовкой войск, их боеготовностью или снабжением. Находясь во власти непоколебимой уверенности в превосходстве штыка над пулей, он не предпринимал никаких усилий для расширения и строительства заводов по производству снарядов, винтовок и боеприпасов. Как впоследствии выяснили военные исследователи, почти все воюющие страны не имели достаточного количества военного снаряжения и боеприпасов. В Англии недостаток снарядов вызвал скандал на всю страну, во Франции поднялась буря возмущения в связи с нехваткой почти всего – начиная от тяжёлой артиллерии и кончая солдатскими ботинками, а в России Сухомлинов не израсходовал даже те средства, которые правительство выделило для выпуска боеприпасов. Россия начала войну, имея по 850 снарядов на каждое орудие, по сравнению с резервом в 2000–3000 снарядов в западных армиях, хотя ещё в 1912 году Сухомлинов принял компромиссное решение о доведении этого количества до 1500 снарядов на орудие. В состав русской пехотной дивизии входило 7 батарей полевой артиллерии, в то время как в немецкой их было 14. Вся русская армия имела 60 батарей тяжёлой артиллерии, а в немецкой их насчитывалось 381. Все предупреждения о том, что будущая война будет дуэлью огневой мощи, Сухомлинов отвергал с презрением.

Отвращение большее, чем к «огневой тактике», Сухомлинов питал лишь к великому князю Николаю Николаевичу – тот был на восемь лет моложе и олицетворял в армии реформистские тенденции. Двухметрового роста, худой, с красивой головой и бородкой клином, щеголявший в высоких, под живот лошади, сапогах, импозантный великий князь производил впечатление доблестного воина. После русско-японской войны ему была поручена реорганизация вооружённых сил, и он возглавил Совет национальной обороны, перед которым была поставлена та же цель, что и перед «комитетом Эшера» после англо-бурской войны. Но Николай Николаевич не последовал примеру англичан, а поддался летаргии и интригам высокопоставленного чиновничества. В 1908 году реакционеры, возмущённые ролью великого князя в провозглашении

Конституционного манифеста (Манифеста 17 октября) и опасаясь его популярности, добились упразднения Совета. Николай Николаевич – как профессиональный военный, служивший во время русско-японской войны генеральным инспектором кавалерии и лично знавший почти весь офицерский корпус (поскольку каждый офицер, назначаемый на новый пост, обязательно представлялся ему как начальнику Санкт-Петербургского округа) – был предметом восхищения всей армии. Этим он был обязан не столько своим способностям, сколько главным образом своему внушительному виду, росту и манерам, вызывавшим у солдат трепет или уверенность, а у коллег – преданность либо зависть.

Бесцеремонного, подчас грубого как с офицерами, так и с нижними чинами, Николая Николаевича за пределами двора считали единственным «мужчиной» в царской семье. Солдаты-крестьяне, ни разу не видевшие великого князя, рассказывали о нём истории, в которых он представал легендарным героем Святой Руси, вступившим в противоборство с «немецкой кликой» и продажностью двора. Отзвуки подобных настроений ничуть не способствовали его популярности при дворе, вызывая особую неприязнь у царицы, и без того презиравшей «Николашу», поскольку тот ненавидел Распутина. «У меня абсолютно нет веры в Н., – писала она мужу. – Он далеко не так умен, а своим выступлением против божьего человека навлекает на свои труды проклятье, и советы его нельзя назвать хорошими». Она постоянно говорила, что великий князь готовит заговор, чтобы заставить царя отречься и, опираясь на популярность в армии, самому занять престол.

Подозрительность царя послужила причиной того, что великий князь не стал главнокомандующим русской армией во время войны с Японией, тем самым избежав позора поражения. В любой последующей войне обойтись без него было невозможно, и довоенными планами предусматривалось его назначение командующим на германский фронт. Сам же царь, как предполагалось, станет верховным главнокомандующим и совместно с начальником Генерального штаба станет руководить операциями. Во Франции, куда великий князь не раз приезжал на манёвры и где попал под влияние Фоша, оптимизм которого разделял, он встречал восторженный приём. Бурные приветствия объяснялись не только восхищением его

великолепной внешностью, которая словно бы символизировала обнадёживающее могущество России, но также и тем, что он не любил Германию и не скрывал этого. Французы с радостью повторяли высказанное великим князем и переданное его адъютантом Коцебу замечание о том, что, по его мнению, мир сможет жить без войны лишь в том случае, если Германия, поверженная раз и навсегда, будет разделена на маленькие королевства, счастливые заботами своих собственных крошечных дворов. Столь же горячими друзьями Франции были и супруга великого князя Анастасия, и её сестра Милица, вышедшая замуж за его брата Петра. Будучи дочерьми короля Черногории Никиты, они с той же силой любили Францию, с какой ненавидели Австро-Венгрию. Во время царского пикника на исходе июля 1914 года, «черногорские соловьи», как называл Палеолог этих двух принцесс, окружили его и стали щебетать о начавшемся кризисе. «Приближается война... от Австрии ничего не останется... вы получите обратно Эльзас-Лотарингию... наши армии встретятся в Берлине». Одна из сестёр показала послу украшенную драгоценными камнями шкатулку, в которой она хранила горсть земли Лотарингии, а вторая поведала о том, что в своём саду она посадила семена лотарингского чертополоха.

На случай войны русский Генеральный штаб разработал два примерных плана кампании, окончательный выбор между ними зависел от намерений Германии. Если войска Германии нанесут главный удар по Франции, тогда основные силы России выступят против Австро-Венгрии. В этом случае четыре армии должны были действовать против Австрии, а ещё две – против Германии.

План кампании на германском фронте предусматривал вторжение в Восточную Пруссию двух русских армий, наступающих в двух направлениях: 1-я армия – севернее, а 2-я армия – южнее барьера, образованного Мазурскими озёрами. Поскольку 1-я армия, получившая по месту своего сосредоточения название «Вильно», имела в своём распоряжении прямую железнодорожную линию, то она могла выступить первой. Начав наступление двумя днями раньше 2-й, или «Варшавской», армии, эта группировка должна была вступить в сражение с немцами и «оттянуть на себя как можно больше войск противника». Тем временем 2-я армия должна была обойти водную преграду с юга и, выйдя немцам в тыл, отрезать им отступление к

Висле. Успех этих «клещей» зависел от точной согласованности их действий, с тем чтобы не позволить немцам сразиться с каждым крылом по отдельности. Враг должен «быть атакован энергично и решительно, в любом месте и в любое время». Сразу после окружения и разгрома немецкой армии русские войска должны были начать марш на Берлин, находившийся всего в 150 милях за Вислой.

Сдача Восточной Пруссии в планы немцев не входила. Это был край богатых хозяйств и обширных пастбищ, где выращивали голштинских коров, где во дворах, обнесённых каменными заборами, разгуливали свиньи и курицы. Тут разводили для германской армии знаменитую тракененскую породу лошадей, и громадные поместья принадлежали юнкерам, которые, к ужасу одной английской гувернантки, работавшей у одного из них, стреляли лисиц, а не устраивали на них, как полагается, верховую охоту. Далее к востоку, ближе к России, лежала земля «тихих вод и тёмных лесов», широких озёр, поросших камышом, сосновых и берёзовых рощ, бесчисленных болот и ручьёв. Наиболее известным местом был Роминтенский лес – охотничий заповедник Гогенцоллернов площадью более 360 кв. км, на самой границе с Россией. Сюда каждый год приезжал кайзер, чтобы, облачившись в бриджи и шляпу с пером, поохотиться на кабанов и оленей, а то и подстрелить русского лося, неумышленно перешедшего границу и превратившегося в прекрасную мишень для императорского ружья. Хотя коренное население Восточной Пруссии было не тевтонским, а славянским, но с тех пор как в 1225 году здесь утвердился Тевтонский орден, этот край находился под властью Германии, не считая нескольких периодов польского правления. Несмотря на поражение, понесённое от поляков и литовцев в великой битве под деревней Танненберг (известной в истории также как битва при Грюнвальде), рыцарский орден уцелел и вырос – или переродился – в юнкеров. В Кёнигсберге, главном городе этого района, первый суверен династии Гогенцоллернов был коронован в 1701 году королём Пруссии.

Омываемая Балтийским морем, Восточная Пруссия с «городом королей», где короновались прусские суверены, была страной, которую немцы не могли с лёгкостью уступить. Вдоль реки Ангерапп, протекавшей по Инстербургской равнине, были тщательно подготовлены оборонительные рубежи; в болотистом восточном

районе дороги были проложены по гребням дамб, что ограничивало для противника возможности передвижения. Кроме того, вся Восточная Пруссия была покрыта сетью железных дорог, предоставлявших обороняющейся армии преимущества в мобильности и скорости переброски подкреплений с одного участка фронта на другой для отражения наступления каждого крыла противника.

Когда впервые был принят план Шлиффена, опасения в отношении Восточной Пруссии были невелики, поскольку Россия, как предполагалось, должна будет держать значительные силы на Дальнем Востоке против Японии. Несмотря на характерную для неё неповоротливость, германская дипломатия рассчитывала, что сумеет обойти англо-японский договор, рассматриваемый ею как неестественный альянс, и добиться от Японии нейтралитета, создав тем самым постоянную угрозу тылу русских.

Специалистом германского генерального штаба по русским делам был подполковник Макс Гофман, в задачу которого входила разработка возможного плана кампании русских в случае войны с Германией. Гофману недавно перевалило за сорок. Он был высокого роста и крепкого телосложения, с круглой головой и такой короткой прусской стрижкой, что он казался почти лысым. Лицо у Гофмана было добродушным, однако сомнений в непреклонности его характера не возникало. Он носил очки в чёрной оправе и тщательным уходом за своими тёмными бровями придавал им с внешней стороны резко идущий вверх изгиб. С не меньшим вниманием он также ухаживал и за своими маленькими тонкими руками и гордился ими в равной степени, что и безупречными «стрелками» на брюках. Несмотря на склонность к праздности, он славился изобретательностью. Будучи неважным наездником и плохим фехтовальщиком, а также имея пристрастие к хорошей еде и вину, Гофман тем не менее отличался живостью и быстротой мышления. Он был любезен, хитёр, удачлив и презирал всех. До войны в свободное от служебных обязанностей время он с вечера до семи утра пил вино и поедая сосиски в полковом офицерском клубе, затем выводил свою роту на построение, а потом вновь возвращался к поглощению сосисок, успевая ещё до завтрака выпивать по два литра мозельского вина.

После окончания военной академии в 1898 году Гофман полгода провёл в России в качестве переводчика, а потом пять лет прослужил в русском отделе немецкого генерального штаба при Шлиффене, после чего он в качестве военного наблюдателя Германии выехал на русско-японский фронт. Когда один японский генерал не разрешил ему наблюдать за ходом сражения с близлежащей сопки, этикет отступил перед тем врождённым немецким качеством, которое зачастую не даёт представителям этой нации произвести приятное впечатление на других. «Ты, дикарь желтолицый, не смеешь не пускать меня на ту сопку!» – заорал на него Гофман в присутствии прочих иностранных военных атташе и, как минимум, одного военного корреспондента. Принадлежа к расе, не уступающей немцам в чувстве собственного превосходства, японец заорал в ответ: «Мы, японцы, платим за эти сведения своей кровью и ни с кем не желаем ими делиться!» Протокол был нарушен полностью.

Вернувшись в генеральный штаб при Мольтке, Макс Гофман возобновил работу над планом русской кампании. В 1902 году некий полковник русского Генерального штаба продал ему за значительную сумму один из первых вариантов военного плана своей страны. Но с тех пор, как утверждал Гофман в своих не всегда серьёзных мемуарах, цены настолько возросли, что стали не по карману немецкой военной разведке, имевшей весьма скудные средства. Однако ландшафт Восточной Пруссии делал общий план русской кампании вполне очевидным: «клещи» с наступлением по обеим сторонам Мазурских озёр. Проведённое Гофманом изучение русской армии, факторов, определяющих её мобилизацию и средства переброски, позволили немцам судить о времени наступления. Немецкая армия, уступавшая в численности, могла избрать любое направление для отражения наступления превосходящих сил, разделённых на два крыла. Можно было либо отступить, либо атаковать одно из крыльев раньше другого – что давало наибольший выигрыш. Жёсткая формула, продиктованная Шлиффеном, гласила: «Нанести удар всеми имеющимися силами по первой же русской армии, что окажется в пределах досягаемости».

**Начало**



## Начало

Бисмарк предсказывал, что искрой новой войны станет «какая-нибудь проклятая глупость на Балканах». Убийство сербскими националистами 28 июня 1914 года наследника австрийского престола, эрцгерцога Франца-Фердинанда, подтвердило его слова. Австро-Венгрия, со свойственными престарелым империям воинственностью и легкомыслием, решила воспользоваться удобным поводом, чтобы поглотить Сербию – так же, как раньше, в 1909 году, она осуществила захват Боснии и Герцеговины. В то время Россия, ослабленная войной с Японией, вынуждена была примириться с немецким ультиматумом, подкреплённым явлением кайзера в «блистающих доспехах», какой сам выразился, выступившего на стороне своего австрийского союзника. Теперь Россия, дабы отплатить за унижение и сохранить престиж великой славянской державы, сама была готова облачиться в такие же блистающие доспехи. 5 июля Германия заверила Австрию, что та может рассчитывать на «надёжную поддержку» в случае, если принятые ею карательные меры против Сербии приведут к конфликту с Россией. Данный Германией знак открыл шлюзы потоку необратимых событий. 23 июля Австрия предъявила ультиматум Сербии, 26 июля отклонила данный на него ответ (хотя кайзер, уже начавший выказывать беспокойство, признавал, что последний документ «не даёт никаких оснований для начала войны»). 28 июля Австрия объявила войну Сербии, а 29 июля Белград подвергся обстрелу. В тот же день Россия привела в готовность свои войска на австрийской границе, а 30 июля, одновременно с Австрией, объявила всеобщую мобилизацию. 31 июля Германия направила России ультиматум, требуя отменить в ближайшие двенадцать часов мобилизацию и «дать нам чёткие объяснения по этому поводу».

Война приближалась ко всем границам. Правительства, охваченные внезапным страхом, всеми правдами и неправдами старались остановить её. Но все попытки оказались тщетными. В донесениях агентов на границах любой замеченный ими на той стороне кавалерийский патруль представлял развёртыванием войск, начатым ещё до объявления мобилизации. Генеральные штабы,

потрясая безжалостными графиками и рассчитанными таблицами, громко и настойчиво требовали сигнала к выступлению, стремясь опередить противника хотя бы на час. Придя в ужас при виде открывшейся бездны, государственные деятели, на которых лежала главная ответственность за судьбы своих стран, попытались отступить назад, но неумолимая сила военного планирования тащила их вперёд, всё дальше и дальше.

## Глава 6

### 1 августа, Берлин

В субботу 1 августа в полдень истёк срок ультиматума России, и ответа на него она так и не дала. Через час германскому послу в Петербурге была направлена телеграмма, в которой содержались инструкции об объявлении в тот же день в 5 часов вечера войны России. В 5 часов пополудни кайзер издал указ о всеобщей мобилизации, причём накануне, после объявления *Kriegsgefahr* («положения военной угрозы»), уже были проведены некоторые предварительные мероприятия. В 5:30 канцлер Бетман-Гольвег, читая на ходу какой-то документ, в сопровождении министра иностранных дел Ягова поспешно спустился по ступеням министерства иностранных дел, взял обыкновенное такси и умчался во дворец. Вскоре генерал фон Мольтке, мрачный начальник генерального штаба, уже ехал обратно в штаб с приказом о мобилизации, подписанным кайзером. Но его догнал на автомобиле курьер и передал срочную просьбу вернуться во дворец. Там Мольтке стал свидетелем последнего, отчаянного предложения кайзера, которое вызвало у Мольтке слёзы и которое могло бы изменить историю двадцатого века.

Теперь, когда наступил решающий момент, кайзера охватили опасения: несмотря на имеющийся, по мнению генерального штаба, запас времени в шесть недель до полной мобилизации русских, он боялся потерять Восточную Пруссию. «Я ненавижу славян, — признался он одному австрийскому офицеру. — Я знаю, что это грешно. Ненавидеть никого нельзя. Но я не могу не ненавидеть славян». Однако его радовали сообщения, которые напоминали 1905 год: о забастовках и беспорядках в Петербурге, о толпах, разбивавших окна домов, «об ожесточённых стычках на улицах между революционерами и полицией». Престарелый германский посол, граф Пурталес, который провёл в России семь лет, пришёл к выводу и неоднократно уверял своё правительство в том, что эта страна не вступит в войну из-за страха революции. Капитан фон Эггелинг, немецкий военный атташе, твердил о своей убеждённости относительно 1916 года, а когда же Россия всё-таки объявила мобилизацию, он сообщал, что она

планирует «отнюдь не решительное наступление, а постепенное отступление, как в 1812 году». Эти мнения явились своеобразным рекордом ошибок германской дипломатии. Они придали бодрости духа кайзеру, составившему 31 июля послание для «ориентировки» своего штаба, в котором он с радостью извещал о том, что, по свидетельствам его дипломатов, в русской армии и при дворе царило «настроение больного кота».

В Берлине 1 августа тысячи людей заполнили улицы, стекаясь на площадь перед дворцом, толпы были охвачены чувством напряжённости и беспокойства. Социализм, который исповедовало большинство берлинских рабочих, не вошёл в их души настолько глубоко, как в них укоренились бессознательный страх перед славянскими ордами и ненависть к ним. Хотя кайзер, выступая накануне вечером с дворцового балкона, в речи по поводу объявления *Kriegsgefahr* и провозгласил, «что нас заставили взять в руки меч», люди всё ещё смутно надеялись, что русские ответят. Срок ультиматума истёк. Один находившийся в толпе журналист чувствовал, «что воздух был наэлектризован слухами. Говорили, будто Россия попросила отсрочки. Биржу охватила паника. Конец дня прошёл почти в невыносимом мучительном ожидании». Бетман-Гольвег опубликовал заявление, кончавшееся словами: «Если нам выпадет жребий сражаться, да поможет нам Бог». В пять часов у ворот дворца появился полицейский и объявил народу о мобилизации. Толпа послушно запела национальный гимн «Возблагодарим все Господа нашего». По Унтер-ден-Линден мчались автомобили, офицеры стоя размахивали платками и кричали: «Мобилизация!» Едва ли не в одно мгновение обратившись от Маркса к Марсу, обуреваемые патриотическими чувствами, люди разражались громкими приветственными криками и бросались отлавливать и избивать мнимых русских шпионов, причём в последующие несколько дней некоторые из них были забиты до смерти.

Как только была нажата кнопка с надписью «Мобилизация», в действие автоматически пришёл громадный механизм призыва в армию, экипировки и транспортировки двух миллионов человек. Резервисты прибывали на заранее указанные пункты сбора, получали военную форму, снаряжение и оружие, сводились в роты и батальоны, к которым присоединились кавалерия и артиллерия, медицинские

части, подразделения самокатчиков, походные кухни, фургоны-кузницы, почтовые фургоны. Все они согласно предварительно составленному расписанию перевозились по железным дорогам в районы сосредоточения вблизи границ, где формировались дивизии, из дивизий – корпуса, из корпусов – армии, готовые двинуться в бой. Только одному армейскому корпусу – а их в германской армии насчитывалось 40, – требовалось 170 железнодорожных вагонов для офицеров, 965 – для пехоты, 2960 – для кавалерии, 1915 – для артиллерии и служб снабжения; всего 6010 вагонов, или 140 поездов. Такое же количество вагонов требовалось для снабжения корпуса. С момента отдачи приказа всё приходило в движение в соответствии с графиками, где указывались точные сведения, вплоть до количества вагонных осей, проходящих в определённое время по тому или иному мосту.

Уверенный в великолепном совершенстве своей системы, заместитель начальника генерального штаба генерал Вальдерзе даже не вернулся в Берлин, когда разразился кризис, написав Ягову: «Я остаюсь здесь. Мы в генеральном штабе уже все готовы; а пока нам нечего делать». Эта гордая традиция была унаследована от старшего – или «великого» – Мольтке, который в день мобилизации в 1870 году лежал у себя на диване и читал «Тайну леди Одли».

Его завидного спокойствия сейчас так не доставало во дворце. Перед лицом не призрачной, а реальной угрозы войны на два фронта состояние самого кайзера теперь было близко к «настроению больного кота», в котором, по его мнению, пребывали русские. Отличавшийся от типичного пруссака большим космополитизмом и трусостью, кайзер в действительности никогда не хотел всеобщей войны. Он добивался большей власти, большего престижа и прежде всего большего авторитета для Германии на международной арене, но для достижения этих целей он предпочитал запугивать другие страны, а не воевать с ними. Он хотел славы гладиатора без сражений, а когда перспектива вооружённого конфликта становилась чересчур близкой, кайзер отступал, как, например, при Альхесирасе и Агадире.

По мере нарастания кризиса пометки кайзера на полях телеграмм становились всё более и более нервными: «Ага! Обычный обман», «Вздор!», «Он лжёт», «Грей – лживая собака», «Болтовня!», «Негодяй либо идиот, либо спятил!» Когда Россия приступила к мобилизации, он

разразился пылкой тирадой со зловещими предсказаниями, обрушившись не на славян-предателей, а на того, забыть кого был не в силах, – на своего коварного дядю: «Мир захлестнёт самая ужасная из всех войн, и целью её будет разгром Германии. Англия, Франция и Россия вступили в заговор, чтобы нас уничтожить... такова горькая правда ситуации, которую медленно, но верно создавал Эдуард VII... Окружение Германии стало наконец свершившимся фактом. Мы сунули голову в петлю... Мёртвый Эдуард сильнее меня живого!»

Преследуемый тенью покойного Эдуарда, кайзер с готовностью ухватился бы за любое предложение, которое позволило бы выбраться из создавшегося положения: ему грозила перспектива войны одновременно с Россией и Францией, а за спиной Франции угрожающе вырисовывалась фигура Англии, до сих пор хранившей молчание.

В последнюю минуту такая возможность была предоставлена. К Бетману явился один из его коллег и стал упрашивать сделать всё возможное, чтобы Германия избежала войны на два фронта. Для этого он предложил следующее. На протяжении многих лет обсуждалась возможность предоставления автономии Эльзасу как федерального государства в рамках Германской империи. Если бы такое предложение было принято эльзасцами, Франция не имела бы оснований начинать военные действия для возвращения утерянной провинции. Совсем недавно – 16 июля – Французский социалистический конгресс высказался в пользу подобного решения вопроса об Эльзасе. Однако германские военные продолжали настаивать на сохранении гарнизонов в этой провинции и на ограничении её политических прав «военной необходимостью». Немцы предоставили ей конституцию лишь в 1911 году, а вопрос об автономии так и остался нерешённым. Коллега Бетмана настаивал на срочном, публичном и официальном предложении проведения конференции по Эльзасу. Конференцию удалось бы затянуть, однако даже её безрезультатность лишила бы Францию моральных предпосылок для начала военных действий, по меньшей мере на период рассмотрения такого предложения. Выиграв время, Германия все силы бросила бы против России. На Западе сохранилось бы стабильное положение, и Англия не вступила бы в борьбу.

Автор этих предложений остался неизвестен – возможно, его и вовсе не существовало. Главное не в этом. Удобный случай представился, канцлер мог бы им воспользоваться. Но чтобы осуществить этот замысел, нужна была смелость, а Бетман, несмотря на свою внушительную внешность – высокий рост, серьёзный взгляд, аккуратно подстриженные усы и бородку-эспаньолку, – был, как отозвался о Тафте Теодор Рузвельт, «слабым человеком с добрыми намерениями». Вместо того чтобы побудить Францию придерживаться нейтралитета, Германия направила ей одновременно с Россией ультиматум. Германское правительство требовало в ближайшие восемнадцать часов ответ – останется ли Франция нейтральной в случае русско-германской войны, и если да, то Германия «в качестве подтверждения этого нейтралитета настаивала на передаче ей крепостей Туль и Верден, которые будут оккупированы, а после окончания войны – возвращены». Иными словами, немцы хотели, чтобы им вручили ключи от дверей во Францию.

Барон фон Шён, германский посол в Париже, не мог заставить себя передать подобное «наглое» требование в тот самый момент, когда, по его мнению, французский нейтралитет дал бы Германии такое колоссальное преимущество, за которое германское правительство скорее само должно было предложить хорошую плату, вместо того чтобы выступать с угрозами. Он вручил французам ноту о соблюдении нейтралитета, не включив в неё требование о передаче крепостей, о котором французы, тем не менее, узнали, так как отправленные послу инструкции были ими перехвачены и расшифрованы. Когда Шён 1 августа в 11 часов утра попросил ответа, ему было заявлено, что Франция «будет действовать, исходя из своих интересов».

В министерстве иностранных дел в Берлине в пять часов раздался телефонный звонок. Заместитель министра Циммерман, взявший трубку, сказал, обращаясь к сидевшему возле его стола редактору газеты «Берлинер тагеблатт»: «Мольтке хочет знать, не пора ли начинать». И тут в распланированный ход событий вмешалась только что расшифрованная телеграмма из Лондона. Она вселяла надежду на то, что, если выступление против Франции будет немедленно отменено, Германия может рассчитывать на войну на одном фронте. Взяв её с собой, Бетман и Ягов помчались на такси во дворец.

Телеграмма, направленная из Лондона послом князем Лихновским, сообщала о предложении Англии (как его понял Лихновский): «В том случае, если мы не нападаем на Францию, Англия останется нейтральной и гарантирует нейтралитет Франции».

Посол принадлежал к тому типу немцев, которые копировали всё английское – спорт, одежду, образ жизни – и говорили по-английски, стараясь изо всех сил стать моделью английского джентльмена. Его друзья-аристократы, князья Плесе, Блюхер и Мюнстер, были женаты на англичанках. В 1911 году на одном из обедов в Берлине в честь английского генерала почтенный гость был удивлён, узнав, что все сорок приглашённых немцев, в том числе Бетман-Гольвег и адмирал Тирпиц, бегло говорили по-английски. От своих соотечественников Лихновский отличался тем, что был англофилом не только манерами, но и сердцем. Он прибыл в Лондон с намерением сделать всё, чтобы он сам и его страна понравились англичанам. Английское общество засыпало его приглашениями на уикенды за городом. Для посла не было большей трагедии, чем война между страной, где он родился, и страной, которую он любил всей душой, поэтому он хватался за любую соломинку, лишь бы предотвратить катастрофу.

Когда в то утро министр иностранных дел сэр Эдвард Грей позвонил ему в перерыве между заседаниями кабинета, Лихновский, охваченный крайней тревогой, интерпретировал слова Грея как предложение Англии о собственном нейтралитете и сохранении нейтралитета Франции в случае русско-германской войны при условии, что Германия даст обещание не нападать на Францию.

В действительности же Грей выразился иначе. С обычными для себя недомолвками он дал обещание поддерживать нейтралитет Франции лишь в том случае, если Германия останется нейтральной как по отношению к Франции, так и по отношению к России, иначе говоря, если Германия не предпримет военных действий ни против одной из этих держав, пока не станет ясно, какие результаты дадут попытки урегулирования сербской проблемы. Занимая пост министра иностранных дел в течение восьми лет, в период, по выражению Бюлова, беспрестанно возникавших «Босний», Грей достиг совершенства в искусстве говорить речи, которые не содержали почти никакого смысла. Избегая прямых и ясных высказываний, он, как утверждал один из его коллег, возвёл подобную манеру в принцип.



Поэтому не приходится удивляться, что ошеломлённый надвигавшейся трагедией Лихновский, беседуя с главой Форин оффис по телефону, неверно понял смысл его слов.

Кайзер ухватился за указанную Лихновским возможность избежать войны на два фронта. Уже пошёл отсчёт минут. Отмобилизованные части неудержимо катились к французской границе. Согласно графику, первый акт войны — захват железнодорожного узла в Люксембурге, чей нейтралитет гарантировали пять великих держав, в том числе и Германия, должен был начаться через час. Необходимо было всё остановить, остановить немедленно. Но каким образом? Где Мольтке? Мольтке уже покинул дворец. Вдогонку, на автомобиле, под завывание сирены, был послан адъютант, который и привёз его обратно.

Теперь кайзер снова был самым собой, став всемогущим главнокомандующим, сверкая новыми идеями, планируя, предлагая и направляя. Он прочёл Мольтке телеграмму и заявил с торжеством: «Теперь мы можем начать войну только с Россией. Мы просто отправим всю нашу армию на Восток!»

Придя в ужас при мысли о том, что придётся дать задний ход всей замечательной машине мобилизации, Мольтке отказался наотрез. В течение последних десяти лет вся деятельность Мольтке, сначала как заместителя Шлиффена, а затем и его преемника, сводилась к планированию того самого «Дня» — *Der Tag*, ради которого накапливалась вся энергия Германии и в который должен был начаться марш к окончательному подчинению Европы. Ответственность за этот особый день лежала на Мольтке гнетущим, почти невыносимым бременем.

У высокого, грузного, лысого Мольтке, которому исполнилось уже шестьдесят шесть лет, постоянно было такое выражение лица, как будто он переживал глубокое горе, отчего кайзер прозвал его «*der traurige Julius*» (что можно перевести как «печальный Юлиус», хотя в действительности Мольтке звали Гельмутом). Из-за слабого здоровья он ежегодно лечился в Карлсбаде, а причиной мрачности, возможно, была тень его великого дяди. Из окна краснокирпичного здания генерального штаба на Кёнигплац, где Мольтке жил и работал, он мог видеть конную статую своего тёзки, героя 1870 года, который, как и Бисмарк, был создателем Германской империи. Племянник же был

плохим наездником, имевшим привычку валиться с лошади во время выездов штаба; кроме этого, что было ещё хуже, он был последователем течения «Христианской науки», проявляя особый интерес к антропософии и прочим культам. За эту неподобающую для прусского офицера слабость его считали «мягким»; вдобавок ко всему он занимался живописью, играл на виолончели, носил в кармане «Фауста» Гёте и начал переводить «Пеллея и Мелисанду» Метерлинка.

Склонный по натуре к самоанализу и сомнениям, Мольтке заявил кайзеру во время церемонии своего назначения в 1906 году: «Я не знаю, как буду вести себя в случае военной кампании. Я очень критически отношусь к самому себе». Однако он не был робким ни в политике, ни в личном плане. В 1911 году, недовольный отступлением Германии в Агадирском кризисе, Мольтке писал Конраду фон Хётцендорфу, что если дела пойдут ещё хуже, то он подаст в отставку, предложит распустить армию и «отдать всех нас под защиту Японии, после чего мы спокойно сможем делать деньги и превращаться в идиотов». Он не побоялся возразить кайзеру, заявив «довольно грубо» в 1900 году, что пекинская экспедиция была «сумасбродной авантюрой». Когда Мольтке был предложен пост начальника генерального штаба, он поинтересовался у кайзера, не рассчитывает ли тот «выиграть главный приз дважды в одной и той же лотерее?» — мысль, которая, несомненно, повлияла на выбор кайзера. Свой пост он согласился занять лишь при условии, что кайзер откажется от своей привычки побеждать во всех военных играх, практически лишая манёвры всякого смысла. Удивительно, но кайзер покорно повиновался.

Теперь, в решающий вечер 1 августа, Мольтке был настроен не позволять больше кайзеру вмешиваться в серьёзные военные вопросы или каким-либо образом мешать заранее распланированным мероприятиям. Развернуть обратно — с запада на восток — миллионную армию в момент её выступления требовало большего присутствия духа, чем было тогда у Мольтке. Перед его мысленным взором проходили видения смешавшихся войск, уже развёртывающихся на исходных позициях: запасы здесь, солдаты там, потерянные в пути боеприпасы, роты без офицеров, дивизии без штабов; и 11 000 железнодорожных составов, имевших точное расписание прибытия на такой-то путь в такое-то время в пределах десяти минут — всё

смешалось в невообразимом хаосе, вызванном крушением самого совершенного в истории плана переброски войск.

«Ваше величество, – заявил Мольтке кайзеру, – это невозможно сделать. Нельзя импровизировать передислокациями миллионов солдат. Ваше величество настаивает на отправке всей армии на Восток, однако войска к бою не будут готовы. Это будет дезорганизованная вооружённая толпа, не имеющая системы снабжения. А для создания такой системы потребовался год кропотливого труда». Свою речь Мольтке закончил фразой, которая стала предпосылкой всех крупных ошибок Германии и которая послужила основой для вторжения в Бельгию, подводной войны против Соединённых Штатов, той неизбежной фразой, когда военные планы начинают диктовать политику – «раз планы разработаны и утверждены, изменить их нельзя».

В действительности же всё можно было изменить. Германский генеральный штаб, несмотря на то, что с 1905 года предусматривал открытие военных действий сначала против Франции, хранил в своих сейфах – и ежегодно вплоть до 1913 года его пересматривал – альтернативный план кампании против России, который намечал отправку на восток всех наличных железнодорожных составов.

«Не стройте больше крепостей, стройте железные дороги», – приказывал Мольтке-старший, основывавший свои стратегические планы на картах железнодорожной сети и оставивший в наследство догму, что железные дороги – ключ войны. В Германии система железных дорог находилась под контролем военных, и к каждой железнодорожной линии был прикомандирован офицер генерального штаба; ни один путь не мог быть проложен или изменён без согласия генштаба. Ежегодные мобилизационные военные игры нарабатывали у чиновников железнодорожного ведомства практический опыт, а телеграммы с сообщениями о перерезанных дорогах и взорванных мостах давали железнодорожникам возможность развить свои способности к импровизации и направлению поездов по окружным линиям. Говорили, что лучшие умы военной академии после выпуска направлялись в железнодорожные отделы, – и что свой путь они нередко оканчивали в сумасшедших домах.

Когда фраза Мольтке «Это невозможно сделать» появилась в его опубликованных после войны мемуарах, генерал фон Штаб,

начальник отдела железных дорог, воспринял её как укор в адрес руководимого им ведомства, что побудило его написать книгу, где он доказывал возможность осуществления подобного решения. На картах и графиках фон Штааб продемонстрировал, каким образом, получи он 1 августа соответствующее распоряжение, можно было перебросить к 15 августа четыре из семи армий на Восточный фронт, оставив три для защиты Запада. Маттиас Эрцбергер, депутат рейхстага и лидер католической партии «Центр», оставил иное свидетельство. Он утверждал, что сам Мольтке через шесть месяцев после этих событий признался ему, что нападение на Францию на начальном этапе было ошибкой и что вместо этого «большую часть армии следовало сначала направить на Восток, чтобы уничтожить русский „паровой каток“, ограничив операции на Западе ведением оборонительных боёв на границе».

Вечером 1 августа Мольтке, цеплявшийся за разработанный план, не нашёл в себе мужества на решительный шаг. «Твой дядя дал бы мне иной ответ», – с горечью сказал ему кайзер. Этот упрёк «больно ранил меня», писал Мольтке впоследствии: «Я никогда не обманывался и не считал себя равным старому фельдмаршалу». Так или иначе, Мольтке продолжал упорствовать. «Мои возражения, основанные на том, что сохранить мир между Францией и Германией в условиях мобилизации обеих стран невозможно, не были услышаны. Постепенно всех охватывала нервозность, и я остался одинок в своём мнении».

В конце концов, когда Мольтке всё же убедил кайзера в невозможности изменения мобилизационных планов, группа, куда входили Бетман и Ягов, составила проект телеграммы для Англии, в которой выражалось сожаление по поводу «невозможности остановить продвижение германских армий» в сторону французской границы, а также гарантировалось, что граница не будет нарушена ранее 7 часов вечера 3 августа. Последнее заявление вообще-то ничего не стоило немцам, поскольку их военными планами не предусматривалось переходить её ранее этого срока. Ягов поспешил отправить телеграмму германскому послу в Париж, где уже в 4 часа вышел указ о мобилизации. В ней он просил посла «на какое-то время удержать Францию от любых действий». Кроме того, кайзер направил личную телеграмму королю Георгу, сообщая, что по «техническим причинам» в этот поздний час мобилизацию нельзя остановить, но, что, «если

Франция предложит мне нейтралитет, который должен быть гарантирован мощью английского флота и армии, я, разумеется, воздержусь от военных действий против Франции и использую мои войска в другом месте. Я надеюсь, что Франция не станет нервничать».

До 7 часов – до того срока, когда 16-я дивизия по плану должна была войти в Люксембург, – оставались минуты. Бетман взволнованно убеждал, что в Люксембург, пока не получен ответ из Англии, нельзя входить ни при каких обстоятельствах. Кайзер немедленно, не известив Мольтке, приказал своему адъютанту связаться по телефону и телеграфу со штабом 16-й дивизии в Трире и отменить намеченную операцию. Мольтке вновь явились картины грозящей катастрофы. Железнодорожные линии Люксембурга имели громадное значение для наступления через Бельгию на Францию. «В этот момент, – говорится в его мемуарах, – мне казалось, что моё сердце вот-вот разорвётся».

Несмотря на все уговоры Мольтке, кайзер ни на йоту не уступил. Наоборот, он даже добавил в телеграмму королю Георгу в Лондон следующую заключительную фразу: «Моим войскам на границе направлен по телефону и телеграфу приказ, запрещающий вступать на территорию Франции». Это было незначительное, но важное отклонение от истины: кайзер не мог признаться Англии, что его замысел, от осуществления которого он воздерживался, предусматривал нападение на нейтральную страну. Нарушение же нейтралитета Бельгии могло стать для Англии *casus belli*, поводом для её вступления в войну, а ведь Англия пока ещё не приняла никакого решения.

В тот день, который должен был стать кульминацией его карьеры, Мольтке, по собственным словам, чувствовал себя «раздавленным» и, вернувшись в генеральный штаб, «заплакал горькими слезами от унижения и отчаяния». Когда адъютант принёс ему на подпись приказ об отмене люксембургской операции, «я бросил перо на стол и отказался подписывать этот документ». Этот первый после мобилизации приказ, сводивший к нулю практически все тщательные приготовления, мог быть, по его мнению, воспринят как свидетельство «колебаний и нерешительности». «Делайте что угодно с этой телеграммой, – заявил он адъютанту, – я её не подпишу».

В 11 часов, когда Мольтке всё ещё был поглощён мрачными мыслями, его вновь вызвали во дворец. Кайзер, одетый подобающим образом для данного момента – поверх ночной рубашки накинута военная шинель, – принял генерала в своей спальне. От Лихновского поступила телеграмма, в которой он сообщал, что в ходе дальнейшей беседы с Греем понял свою ошибку, о чём печально и извещал: «Позитивного предложения Англии в целом ожидать не следует».

«Теперь вы можете делать всё, что хотите», – сказал кайзер и отправился спать. Мольтке, главнокомандующий, которому предстояло теперь руководить всей военной кампанией, решавшей судьбу Германии, был потрясён до глубины души. «Это было моим первым военным испытанием, – писал он впоследствии. – Мне никогда не удалось до конца оправиться от этого удара. Что-то во мне надломилось, и уже никогда я не смог стать таким, как прежде».

Как и остальной мир, мог бы добавить Мольтке. Отданный по телефону приказ кайзера не получили в Трире вовремя. В семь часов, как и было предусмотрено планом, был перейдён первый рубеж войны, в этом отличилась пехотная рота 69-го полка под командованием некоего лейтенанта Фельдмана. На люксембургской стороне границы, на склонах Арденн, примерно в двенадцати милях от бельгийского города Бастонь, находился маленький город, который немцы называли Ульфлинген. На холмистых пастбищах вокруг него паслись коровы; на крутых, выложенных брусчаткой улицах даже в разгар августовской жатвы не увидишь и клочка сена – таковы были строгие законы поддержания чистоты в великом герцогстве. На окраине городка находились железнодорожная станция и телеграф, где сходились линии из Германии и Бельгии. Целью немцев был захват этих объектов, что и осуществила рота лейтенанта Фельдмана, прибывшая на грузовиках.

С неизменным талантом к бестактности немцы решили нарушить нейтралитет Бельгии в месте, исконным и официальным названием которого было Труа-Вьерж – Три Девственницы. Они олицетворяли веру, надежду и милосердие, но История с её склонностью к удивительным совпадениям сделала так, что в глазах всех они превратились в символы Люксембурга, Бельгии и Франции.

В 19:30 на автомобилях прибыл второй отряд (очевидно, после получения телеграммы кайзера) с приказом первой группе отойти,

поскольку была «совершена ошибка». Тем временем министр иностранных дел Люксембурга Эйшен телеграфом передал сообщение о свершившемся в Лондон, Париж и Брюссель и направил протест в Берлин. «Три Девственницы» сделали своё дело. В полночь Мольтке отменил приказ об отходе, а к концу следующего дня, 2 августа, всё Великое герцогство Люксембург было оккупировано.

С тех пор анналы истории неизменно преследует вопрос: «Что было бы, если бы немцы в 1914 году отправились на восток, ограничившись лишь обороной на границе с Францией?» Генерал фон Штааб показал, что повернуть силы против России было технически осуществимо. Однако смогли бы немцы в силу своего темперамента удержаться от нападения на Францию, когда настал Der Tag, – это уже другой вопрос.

В семь часов в Петербурге, примерно в то же время, когда немцы входили в Люксембург, посол Пурталес, с покрасневшими водянисто-голубыми глазами и трясущейся белой бородкой клинышком, вручил дрожащей рукой русскому министру иностранных дел Сазонову ноту об объявлении Германией войны России.

— На вас падёт проклятие народов! – воскликнул Сазонов.

— Мы защищаем нашу честь, – ответил германский посол.

— Ваша честь здесь ни при чём. Но есть ведь суд Всевышнего.

— Это верно, – промолвил Пурталес и, бормоча «суд Всевышнего, суд Всевышнего», спотыкаясь, отошёл к окну, опёрся на него и расплакался. – Вот как закончилась моя миссия, – произнёс он, когда немного пришёл в себя.

Сазонов похлопал посла по плечу, они обнялись, Пурталес поплёлся к двери и, с трудом открыв её трясущейся рукой, вышел, еле слышно повторяя: «До свидания, до свидания».

Эта трогательная сцена дошла до нас в том виде, как её записал Сазонов, с художественными дополнениями французского посла Палеолога, основанных, очевидно, на рассказах русского министра иностранных дел. Пурталес же лишь сообщил, что он три раза просил ответить на ультиматум, а после того, как Сазонов трижды дал отрицательный ответ, «я, руководствуясь инструкцией, вручил ему ноту».

Зачем её вообще нужно вручать? Так горестно вопрошал накануне вечером, когда составлялась декларация о войне, адмирал фон Тирпиц, морской министр. По собственному признанию, говоря «скорее инстинктивно, чем повинуюсь доводам рассудка», он требовал ответа на вопрос: зачем нужно объявлять войну и брать на себя позор стороны, совершающей нападение, если Германия не планирует вторжения в Россию? Этот вопрос был особенно уместен, если учесть, что вину за развязывание войны Германия намеревалась взвалить на Россию, чтобы убедить немецкий народ в том, что он лишь защищает родную страну, а также чтобы не позволить Италии отказаться от взятых ею обязательств в рамках Тройственного союза.

На стороне своих союзников Италия обязана была выступить лишь в случае оборонительной войны, и, тяготясь своей зависимостью, она, как было широко известно, только ждала случая вырваться из петли. Проблема Италии не давала покоя Бетману. Если Австрия продолжит отвергать одну за другой или все уступки со стороны Сербии, тогда, предупреждал он, «будет трудно возложить на Россию вину за пожар в Европе», что поставит нас «в очень невыгодное положение в глазах нашего собственного народа». Однако его никто не хотел слушать. Когда настал день мобилизации, германский дипломатический протокол потребовал, чтобы война была объявлена по всей форме.

По воспоминаниям Тирпица, юристы из министерства иностранных дел настаивали, что юридически такие действия были вполне оправданы. «Вне Германии, – сокрушался Тирпиц, – подобный ход мыслей совершенно непонятен».

Во Франции всё оказалось понято намного лучше, чем он полагал.



## Глава 7

### 1 августа, Париж и Лондон

Французская политика руководствовалась одной главной целью: вступить в войну, имея Англию в качестве союзника. Чтобы достичь этого и помочь своим друзьям в Англии преодолеть инертность и возражения против этого шага как в кабинете, так и в стране, Франция должна была чётко и однозначно доказать, кто же нападал и кто подвергался нападению. Физический акт агрессии и весь позор за его свершение должны были пасть на Германию. Она должна сыграть свою роль, но, опасаясь, как бы какой-нибудь излишне ревностный французский патруль или солдат не пересёк границу, правительство Франции пошло на смелый и экстраординарный шаг. 30 июля было отдано распоряжение отвести войска на десять километров на всём протяжении границы с Германией – от Швейцарии до Люксембурга.

Отвод войск был предложен премьером Рене Вивиани, красноречивым оратором-социалистом, ранее занимавшимся в основном проблемами рабочего движения и социального обеспечения. Он был редкостным явлением во французской политике: премьер-министр, который прежде никогда не занимал этот пост, но в то же время исполнял обязанности министра иностранных дел. Кабинет он возглавлял немногим более шести недель и только что – 29 июля – вернулся из России, где находился вместе с президентом Пуанкаре с официальным визитом. Австрия подождала, пока Вивиани и Пуанкаре не отправятся в морское путешествие, а затем опубликовала ультиматум Сербии. Получив это известие, президент и премьер отменили намеченный визит в Копенгаген и поспешили домой.

В Париже они узнали, что германские войска прикрытия заняли позиции всего лишь в нескольких сотнях метров от границы. О мобилизациях в Австрии и России они ещё ничего не знали. Ещё теплились надежды на выход из кризиса путём переговоров. Вивиани «преследовал страх, что война может вспыхнуть из-за выстрелов в лесной роще, из-за стычки двух патрулей, из-за угрожающего жеста... мрачного взгляда, грубого слова, одного-единственного выстрела!» Пока оставался хоть малейший шанс на разрешение кризиса без

войны, и чтобы не оставалось сомнений, кто агрессор, кабинет согласился на десятикилометровый отвод войск. Приказ, переданный по телеграфу командующим корпусам, предназначался, как им сказали, «для того, чтобы добиться сотрудничества наших английских соседей». В Англию была направлена телеграмма, информирующая об этом решении, и одновременно с ней начат отвод войск. Этот акт, предпринятый непосредственно накануне вторжения, был рассчитанным военным риском, намеренно предпринятым ради политического эффекта. Это был шанс, к которому, по словам Вивиани, «никто в истории до этого не прибегал» и мог бы добавить как Сирано: «О, и какой жест!»

Для французского главнокомандующего отвод войск был жестом, преисполненным горечи, — потому что он был воспитан на наступательной доктрине: наступление и ничего иного, кроме наступления. Отвод мог бы обернуться для генерала Жоффра таким же потрясением, как и первое военное испытание для Мольтке, но сердце французского командующего выдержало.

С момента возвращения премьера и президента Жоффри осаждал правительство требованиями отдать приказ о мобилизации или, по крайней мере, предпринять предварительные меры: отменить отпуска, которые были предоставлены многим солдатам на время жатвы, и провести переброску войск прикрытия к границам. Свои обращения он подкреплял донесениями разведки, сообщающей о том, что Германия уже осуществила шаги, непосредственно предшествующие мобилизации. Жоффри использовал всё своё влияние, чтобы убедить членов вновь сформированного кабинета — десятого за последние пять лет, причём предыдущий просуществовал всего три дня. Нынешнее правительство отличалось тем, что в него не вошли самые значительные политические деятели Франции. Бриан, Клемансо, Кайо — все бывшие премьеры находились в оппозиции. Вивиани, по собственному признанию, испытывал чувство «страшного нервного напряжения», которое, по свидетельству Мессими, вновь занимавшего пост военного министра, «в августовские дни превратилось в постоянное состояние». Морской министр Гутье, доктор медицины, сунутый на свой пост в кабинете после того, как его предшественник лишился этой должности после политического скандала, был настолько потрясён событиями, что даже «забыл» отдать приказ

военным кораблям войти в пролив Ла-Манш. Его пришлось тоже срочно заменить, назначив на этот пост министра общественного образования.

И только президент обладал умом, опытом, целеустремлённостью, но – не конституционными полномочиями. Пуанкаре был юристом, экономистом, членом Французской академии; занимал пост министра финансов, в 1912 году был премьером и министром иностранных дел, а после выборов в январе 1913 года стал президентом страны. Характер порождает власть, особенно во времена кризиса, и неискушённый кабинет охотно положился на способности и твёрдую волю человека, который конституционно был нулём. Уроженец Лотарингии, Пуанкаре десятилетним мальчиком видел, как по улицам его родного города Барле-Дюк маршировали солдаты в остроконечных немецких касках. Немцы приписывали ему самые воинственные намерения, это объяснялось частично тем, что во время Агадирского кризиса, будучи премьером, Пуанкаре проявил твёрдость, а возможно, ещё и тем, что на посту президента он использовал всё своё влияние, чтобы протолкнуть в 1913 году закон о трехлетней военной службе, несмотря на яростное сопротивление находившихся в оппозиции социалистов. Всё это вместе с его хладнокровием, сдержанностью, решительностью не способствовало, однако, росту его популярности в стране. Результаты выборов были не в пользу правительства, закон о трехлетней военной службе чуть было не провалился, среди рабочих и крестьян росло недовольство. Июль, жаркий и сырой, изобиловал бурями и летними грозами. Шёл суд над мадам Кайо, застрелившей редактора газеты «Фигаро». Каждый день судебного процесса вскрывал новые и неприятные упущения в системе финансов, прессе, судах и правительстве.

Но однажды французы, пробудившись утром, обнаружили, что сообщения о мадам Кайо переключались на вторую страницу, и вдруг осознали страшную, неожиданную правду о том, что Франции угрожает война. И страну, отличавшуюся бурными политическими страстями и скандалами, охватило единое чувство. Вернувшихся из России Пуанкаре и Вивиани на улицах встречал один возглас, повторявшийся до бесконечности: «Vive la France! Да здравствует Франция!»

Жоффр заявил правительству, что если он не получит приказа сосредоточить и отправить к границе войска прикрытия в составе пяти армейских корпусов, не считая кавалерии, то немцы «войдут во Францию без единого выстрела». С распоряжением о десятикилометровом отводе войск, уже занявших позиции, он согласился не из раболепства перед гражданской властью – раболепства у него было не более, чем у Юлия Цезаря, – а скорее из желания наиболее убедительно доказать необходимость в войсках прикрытия. Правительство, не желавшее принимать никаких мер, пока шёл молниеносный обмен дипломатическими предложениями по телеграфу, надеясь всё-таки на достижение соглашения, разрешило ему приступить к выполнению «сокращённого варианта», то есть без призыва резервистов.

На следующий день, 31 июля, в 4:30 друг Мессими в Амстердаме, принадлежавший к банковским кругам, сообщил по телефону о том, что в Германии введено *Kriegsgefahr*, что часом позже было официально подтверждено сообщением из Берлина. Это было не чем иным, как «*une forme hypocrite de la mobilisation*», «скрытой формой мобилизации», заявил своему кабинету разгневанный Мессими. Его друг в Амстердаме сообщил, что война неизбежна и что Германия к ней уже готова, «начиная с кайзера и кончая последним фрицем». Обстановка, вызванная этой новостью, усугубилась телеграммой от Поля Камбона, французского посла в Лондоне, в которой он сообщал, что Англия проявляет «сдержанность». Камбон посвятил каждый день своего шестнадцатилетнего пребывания в Лондоне достижению единственной цели – добиться деятельной поддержки Англии в нужное время, но сейчас он вынужден был телеграфировать, что английское правительство, как кажется, ожидает какого-то нового хода событий. Возникший конфликт пока ещё «не затрагивал интересов Англии».

Жоффр прибыл с новым докладом о передвижениях германских войск, чтобы настоять на отдаче приказа о мобилизации. Ему разрешили разослать свой «приказ о войсках прикрытия», но не более, так как только что поступили сведения об обращении русского царя к кайзеру. Кабинет продолжал заседать, а Мессими в это время сгорал от нетерпения, негодуя по поводу бюрократической процедуры, обязывавшей каждого министра выступать по очереди.

В 7 часов вечера того же дня барон фон Шён прибыл в министерство иностранных дел, в одиннадцатый раз за последние семь дней, и представил ноту, в которой Германия требовала разъяснений по поводу дальнейшего курса французской политики. Он сказал, что явится за ответом на следующий день в 13 часов. А кабинет всё заседал, обсуждая финансовые мероприятия, созыв парламента и указ о введении осадного положения, пока Париж напряжённо ожидал решения правительства. Какой-то помешавшийся выстрелом из пистолета через окно кафе убил Жана Жореса. Признанный вождь международного социализма, неутомимый борец против трехлетнего плана военной службы, он был в глазах сверхпатриотов символом пацифизма.

В 9 часов бледный адъютант сообщил кабинету ошеломляющую новость: Жорес убит! Это событие, чреватое серьёзными беспорядками, привело министров в замешательство. Уличные баррикады, стычки, даже мятеж — вот перспектива накануне войны. Министры снова начали спорить о выполнении плана «Carnet B» — автоматического ареста в день мобилизации известных агитаторов, анархистов, пацифистов и подозреваемых в шпионаже. Префект полиции и бывший премьер Клемансо советовали министру внутренних дел Мальви немедленно приступить к арестам лиц, внесённых в упомянутый список. Вивиани и его сторонники, надеясь сохранить единство нации, выступали против. Они твёрдо стояли на своём. Было арестовано несколько иностранцев, подозреваемых в шпионаже, но ни одного француза. На случай беспорядков войска в ту ночь были подняты по тревоге, но ничего не произошло, и на следующее утро преобладало настроение глубокого горя и тихого спокойствия. Из 2501 человека, числившегося в списке неблагонадёжных, 80 процентов подали заявление о добровольном зачислении на военную службу.

В 2 часа ночи президента Пуанкаре поднял с постели неугомонный русский посол Извольский, бывший министр иностранных дел, отличавшийся необычайной активностью. «Крайне удручённый и возбуждённый», он хотел знать: «Что намеревается предпринять Франция?»

Извольский не сомневался в позиции Пуанкаре, однако его, как и многих других русских государственных деятелей, преследовали

опасения, что в решающую минуту французский парламент, которому никогда не сообщали условий военного договора с Россией, откажется ратифицировать его. Эти условия особо оговаривали: «Если Россия подвергнется нападению со стороны Германии или Австрии при поддержке Германии, Франция использует все имеющиеся у неё силы для выступления против Германии». Как только Германия или Австрия объявят мобилизацию, «Франция и Россия, считая, что предварительного заключения соглашения по этому вопросу не требуется, немедленно и одновременно мобилизуют все свои вооружённые силы и перебрасывают их как можно ближе к границам... Эти силы должны со всей возможной быстротой начать полномасштабные боевые действия с тем, чтобы Германии пришлось сражаться сразу на западе и на востоке».

Условия казались совершенно определёнными. Но, обеспокоенно спрашивал Извольский, признает ли это обязательство французский парламент? В России царская власть была абсолютной, поэтому Франция «могла быть уверена в нас», однако «во Франции правительство бессильно без парламента. А парламент незнаком с текстом договора 1892 года... Какие есть гарантии, что парламент поддержит инициативу правительства?»

«Если Германия нападёт», заявил Пуанкаре ещё в 1912 году, парламент последует за правительством «без всяких сомнений».

И теперь, среди ночи, снова встретившись с Извольским, Пуанкаре заверил его, что кабинет будет созван через несколько часов, чтобы дать необходимый ответ. В тот же час русский военный атташе при всех регалиях появился в спальне Мессими, чтобы задать тот же вопрос. Мессими позвонил премьеру Вивиани, который, несмотря на изнеможение после вечерних событий, ещё не спал. «Святой Боже! – взорвался он. – Этих русских бессонница одолевает ещё похуже, чем пьянство». А потом нервно посоветовал: «Du calme, du calme et encore du calme! Спокойствие, спокойствие и ещё раз спокойствие!»

Но сохранять спокойствие оказалось не так-то просто. Испытывая, с одной стороны, нажим русских, требовавших определённости, а с другой – настаивавшего на мобилизации Жоффра, французское правительство вынуждено было не предпринимать никаких действий, стремясь показать Англии, что Франция начнёт войну лишь в целях самообороны. На следующее утро, 1 августа, в

8:00 Жоффр прибыл в военное министерство на улице Сен-Доминик и «взволнованным голосом, так контрастировавшим с его прежним спокойствием», просил Мессими добиться согласия правительства на мобилизацию. По его расчётам, приказ о ней должен не позднее 4 часов оказаться на центральном почтамте для отправки телеграфом по всей Франции – только в этом случае мобилизация могла начаться в полночь. В 9:00 Жоффр вместе с Мессими прибыл на заседание кабинета, где представил свой ультиматум: дальнейшая задержка приказа о всеобщей мобилизации на сутки приведёт к потере 15–20 километров французской территории, и в таком случае он слагает с себя обязанности главнокомандующего. С этим он покинул заседание, и перед кабинетом встала ещё одна проблема. Пуанкаре высказался за принятие решительных мер; Вивиани, выражавший антивоенные настроения, всё ещё надеялся, что время само даст ответ. В 11:00 его вызвали в министерство иностранных дел для встречи с фон Шёном, который, испытывая беспокойство, прибыл на два часа раньше срока для получения ответа на вопрос Германии, заданный днём раньше: останется ли Франция нейтральной в русско-германской войне. «Мой вопрос довольно наивен, – сказал посол с несчастным видом, – потому что нам известно о имеющемся между вашими странами договоре о союзе».

«Evidemment! Разумеется!» – отозвался Вивиани и дал ответ, который был предварительно согласован с Пуанкаре: «Франция будет действовать в соответствии со своими интересами». Как только Шён ушёл, вбежал Извольский с новостью о германском ультиматуме России. Вивиани снова отправился на заседание кабинета, который наконец-то согласился объявить мобилизацию. Приказ был подписан и отдан Мессими, однако Вивиани, по-прежнему надеясь на какой-нибудь спасительный поворот событий в ближайшие часы, настоял на том, чтобы военный министр не оглашал его до 3:30. Одновременно было подтверждено решение о десятикилометровом отводе войск. Мессими лично по телефону передал этот приказ командующим корпусов: «По приказу президента республики ни одна часть, ни один патруль, ни одно подразделение, ни один солдат не должны заходить восточнее указанной линии. Любой нарушивший этот приказ подлежит военно-полевому суду». Особое предупреждение было направлено XX корпусу, которым командовал генерал Фош. По

сообщению надёжных источников, в этом районе эскадрон кирасир «нос к носу» столкнулся с эскадроном улан.

В 3:30, как и было условлено, генерал Эбенер из штаба Жоффра, в сопровождении двух офицеров, прибыл в военное министерство за получением приказа о мобилизации. Мессими вручил его в мёртвой тишине; у него, как, наверно, и у других присутствовавших, от волнения пересохло горло. «Думая о гигантских и неисчислимых последствиях, которые породит этот клочок бумаги, мы все четверо слышали биение наших сердец». Министр пожал руки трём офицерам, которые, отдав честь, отправились с приказом на почтамт.

В четыре часа на стенах Парижа появилось первое объявление о мобилизации (один из плакатов всё ещё хранится под стеклом на углу площади Согласия и улицы Рояль). В кабаре «Арменонвиль» в Булонском лесу, где собирался высший свет, танцы и чаепитие неожиданно были прерваны управляющим. Выйдя вперёд, он дал оркестру знак замолчать: «Объявлена мобилизация. Она начинается сегодня в полночь. Играйте „Марсельезу“». В городе улицы уже опустели, так как военное министерство приступило к реквизиции транспорта. Группы резервистов с узелками и прощальными букетами цветов маршировали к Восточному вокзалу, мимо кричащих и приветственно машущих парижан. Одна группа остановилась, чтобы возложить цветы к подножию задрапированной в чёрное статуи Страсбурга на площади Согласия. Толпа плакала и кричала: «Vive l'Alsace! Да здравствует Эльзас!», затем со статуи было сорвано траурное покрывало, надетое в 1870 году. Оркестры в ресторанах играли французские, русские и английские гимны. «Подумать только, а ведь всё это играют венгры», – сказал кто-то. Находившиеся в толпе англичане, при звуках своего гимна, словно бы вселявшего надежду во французов, особой радости не испытывали, как и сэр Фрэнсис Берти, розовощёкий и упитанный английский посол, который в это время переступал порог здания на Кэ д'Орсэ. Он был одет в серый сюртук и серый цилиндр, а в руках держал зелёный зонтик от солнца. Сэр Фрэнсис чувствовал «стыд и укоры совести». Он распорядился закрыть ворота посольства, потому что толпа, как писал он в своём дневнике, может завтра закричать «Perfide Albion! Продажный Альбион!», несмотря на сегодняшнее «Vive l'Angleterre! Да здравствует Англия!».



В Лондоне эта же мысль тяжёлым грузом давила на участников беседы – Камбона, невысокого роста, с белой бородой, и сэра Эдварда Грея. Когда последний заявил, что необходимо подождать «дальнейшего развития событий», потому что конфликт между Россией, Австрией и Германией «не затрагивает интересов» Англии, безупречно выдержанный и всегда держащийся с исключительным достоинством Камбон не удержался от резкого замечания. «Не собирается ли Англия выжидать, не вмешиваясь до тех пор, пока французская территория не будет оккупирована?» – спросил он. В таком случае её помощь может оказаться «весьма запоздалой».

Лицо Грея с тонкими губами и римским носом скрывало те же душевные переживания. Он искренне верил, что оказание помощи Франции – в интересах Англии, он даже готов был подать в отставку, если его правительство откажется сделать это. По мнению Грея, события должны привести Англию именно к такому решению, но в тот момент он не мог сделать никаких официальных заявлений. У него также не хватило изворотливости высказать своё мнение неофициально. Его манеры, которые английская публика, видя в нём человека мужественного и молчаливого, считала вселяющими уверенность, иностранные коллеги Грея называли «ледяными». Он лишь высказал мысль, которую разделяли почти все, что «бельгийский нейтралитет может оказаться одним из факторов». На подобное развитие событий надеялся не только Грей.

Затруднения, испытываемые Англией, объяснялись отсутствием единства взглядов как внутри самого кабинета министров, так и среди различных политических партий. Кабинет был расколот, и разделился он ещё со времён англо-бурской войны на либеральных империалистов, представленных Асквитом, Греем, Холдейном и Черчиллем, и остальных, так называемых «литл инглэндерс», сторонников «малой Англии», выступавших против экспансионистской политики. Наследники Гладстона, они, как и их покойный лидер, с громадной подозрительностью относились к любому вмешательству за границей и считали единственной подобающей целью внешней политики помощь угнетённым народам. В остальном международные вопросы являлись, по их мнению, лишь помехой внутренним делам – парламентской реформе, свободной торговле, гомрулю (программе самоуправления Ирландии в рамках

Британской империи) и вето лордов (борьбе с правом вето палаты лордов). Они были склонны считать Францию декадентствующей и легкомысленной стрекозой и отнеслись бы к Германии как к трудолюбивому и достойному уважения муравью, если бы не угрожающие позы и воинственный рёв кайзера и пангерманских милитаристов, которые значительно сдерживали их чувства. Они никогда не поддержали бы войны на стороне Франции, но появление на сцене Бельгии, «маленькой страны», обратившейся к Англии с призывом о защите, могло резко изменить дело.

С другой стороны, группа Грея в кабинете поддерживала основополагающую предпосылку консерваторов о том, что национальные интересы Англии связаны с сохранением Франции. Этот довод был удивительно точно выражен самим Греем: «Если Германия станет господствовать на континенте, это будет неприемлемым как для нас, так и для других, потому что мы окажемся в изоляции». В этой эпической фразе отражена вся суть внешней политики Англии, которая сводилась к тому, что в том случае, если будет брошен вызов, Англии придётся взяться за оружие, чтобы избежать этих «неприемлемых» последствий. Однако Грей не мог официально заявить об этом, не вызвав глубокого раскола в правительстве и в стране, что накануне войны могло бы оказаться роковым.

Англия была единственной европейской страной, где не существовало обязательной военной службы. Во время войны ей приходилось рассчитывать на добровольцев. Несогласие по военным вопросам и выход из кабинета означал бы создание антивоенной партии с катастрофическими последствиями для комплектования армии. Если для Франции главная цель состояла в том, чтобы вступить в войну вместе с Англией, то для Англии важнейшей задачей было начать войну, имея единое правительство.

В этом заключался корень проблемы. В ходе заседаний кабинета выявились сильные позиции группы, выступавшей против вступления в войну. Её лидер, лорд Морли, старый друг Гладстона и его биограф, полагал, что вправе рассчитывать на поддержку «восьми или девяти членов кабинета, готовых согласиться с нами» в случае выступления против решения, которое Черчилль протаскивает с «демонической энергией», а Грей – с «настойчивой простотой». После дискуссий в

кабинете Морли стало ясно, что нейтралитет Бельгии «был вторичным по отношению к вопросу о нашем нейтралитете в борьбе между Францией и Германией». В свою очередь, Грей чётко сознавал, что лишь нарушение бельгийского нейтралитета убедит пацифистскую партию в существовании германской угрозы и необходимости вступления в войну в национальных интересах.

Мнения в кабинете и парламенте 1 августа значительно разошлись. В тот день двенадцать из восемнадцати членов кабинета выступили против того, чтобы дать Франции заверения о её поддержке в случае войны. В этот же день либеральная фракция в палате общин 19 голосами против 4 (со многими воздержавшимися) приняла предложение о невмешательстве Англии независимо от того, что «произойдёт в Бельгии или где-нибудь в другом месте». Журнал «Панч» опубликовал на той неделе «Строки, выражающие мнение среднего английского патриота»:

Зачем идти мне с вами в бой,  
Коль этот бой совсем не мой?..

Почистить всей Европы карту  
И воевать в чужой войне —  
Вот для чего нужна Антанта,  
И не одна, а сразу две.

Средний патриот уже исчерпал свой обычный запас беспокойства и негодования за время ирландского кризиса, который ещё не закончился. Мятеж в Куррахе был своего рода английским вариантом дела мадам Кайо. В результате билля о гомруле Ольстер угрожал вооружённым восстанием, протестуя против автономии Ирландии, а английские войска, размещённые в Куррахе, отказались применить оружие против ольстерских лоялистов. Генерал Гаф, командующий войсками в Куррахе, подал в отставку вместе со всеми своими офицерами. За ним подал в отставку начальник генерального штаба Джон Френч, после чего последовала отставка полковника Джона Сили, преемника Холдейна на посту военного министра. Армия бурлила, страна была охвачена расколом и недовольством, дворцовая

конференция партийных лидеров и короля закончилась ничем. Ллойд Джордж зловеще говорил «о самом серьёзном вопросе, поднятом в этой стране со времён Стюартов», повторялись слова «гражданская война» и «восстание»; одна немецкая оружейная фирма, испытывая большие надежды, отправила 40 000 винтовок и миллион патронов в Ольстер. Тем временем оставался свободным пост военного министра, и его обязанности пришлось исполнять премьеру Асквиту, у которого не было времени заниматься делами армии, а ещё меньше – желания для этого.

У Асквита, однако, имелся необычайно активный первый лорд адмиралтейства. Когда Уинстон Черчилль «издалека чуял битву», то уподоблялся боевому коню из Книги Иова, который не только не бежит от меча, но «идёт навстречу битве и при трубном звуке он издаёт голос: гу! гу!». Черчилль был единственным английским министром, твёрдо убеждённым в том, что именно должна делать Англия, и действовал без колебаний. 26 июля, когда Австрия отвергла ответ Сербии, и за десять дней до того, как английское правительство определило свою позицию, Черчилль издал приказ, имевший огромное значение.

Без всякой связи с разразившимся кризисом, британский флот проводил 26 июля пробную мобилизацию и манёвры, имея численность экипажей по штатам военного времени. На следующее утро в 7 часов эскадры должны были рассредоточиться: одни отправлялись на учения в открытое море, другие – в свои порты, где часть экипажей направлялась в учебные команды, третьи – в доки, на ремонт. Как вспоминал впоследствии первый лорд адмиралтейства, в воскресенье 26 июля стояла «прекрасная погода». Узнав о новостях из Австрии, он решил поступить так, «чтобы дипломатическая ситуация не опередила военно-морскую и чтобы английский флот занял исходные боевые позиции ещё до того, как Германия узнает, будем мы участвовать в войне или нет и, следовательно, по возможности ещё до того, как мы сами примем решение об этом». Курсив был сделан рукой Черчилля. После консультаций с первым морским лордом принцем Луисом Баттенбергом он направил приказ флоту не рассредоточиваться.

Затем Черчилль проинформировал о своём решении Грея и с его согласия передал приказ адмиралтейства в газеты, надеясь, что это

известие, возможно, произведёт «отрезвляющий эффект» на Берлин и Вену.

Держать все корабли флота вместе было ещё недостаточно; следовало, как подчёркивал Черчилль, вывести его на «боевые позиции». Главной задачей флота, по мнению адмирала Мэхэна, этого Клаузевица военно-морской науки, оставаться «флотом существующим». В случае войны английский флот, от которого зависела жизнь этой островной нации, должен был взять под контроль все торговые морские пути, защитить от вторжения Британские острова, охранять пролив Ла-Манш и французское побережье – согласно обязательствам по договору с Францией. Флот должен был обладать достаточной силой, чтобы выиграть любое морское сражение, навязанное германским флотом, и, кроме того, ему следовало остерегаться грозного оружия неведомой силы, которое называлось торпедой. Адмиралтейство преследовало страх внезапной и необъявленной торпедной атаки.

28 июля Черчилль отдал своему флоту приказ направиться в военно-морскую базу Скапа-Флоу, далеко на севере, на оконечности окутанных туманом Оркнейских островов в Северном море. Корабли покинули Портленд 29 июля, и к вечеру того же дня их цепочка, растянувшись на 18 миль, прошла через Па-де-Кале, направляясь на север, не столько в поисках славы, сколько из предосторожности. «Неожиданная торпедная атака, – писал первый лорд адмиралтейства, – стала, по крайней мере, исчезнувшим кошмаром».

Подготовив флот к военным действиям, Черчилль обратил свой ум и энергию, бившую ключом, на срочную подготовку страны к войне. 29 июля он убедил Асквита разрешить отправку предупредительных телеграмм, которые были условным сигналом военного министерства и адмиралтейства о введении предварительного военного положения. Англия не могла объявить *Kriegsgefahr*, как Германия, или осадного положения, как Франция, чем фактически вводились законы военного времени, но предварительное военное положение считалось «гениальным изобретением... позволявшим принять определённые меры по приказу военного министра без ссылок на кабинет... в то время, когда была дорога каждая минута».

Время подгоняло не знающего покоя Черчилля, который, предвидя развал либерального правительства, решил искать поддержки у своей старой партии консерваторов. Коалиция была не по вкусу премьер-министру, стремившемуся вступить в войну, имея единое правительство. По общему мнению, семидесятишестилетний лорд Морли не остался бы в правительстве в случае войны. Не Морли, а куда более энергичный министр финансов Ллойд Джордж был той ключевой фигурой, потерю которого правительство не могло допустить как в силу проявленных им недюжинных административных способностей, так и из-за огромного влияния на избирателей. Обладая острым умом, честолюбием и увлекающим слушателей уэльским красноречием, Ллойд Джордж больше склонялся к группе пацифистов, но мог неожиданно занять и другую позицию. Недавно он потерпел ряд неудач, подорвавших его популярность; он наблюдал за возвышением нового соперника, претендовавшего на руководство партией, которого лорд Морли называл «этот великолепный кондотьер из адмиралтейства». Ллойд Джордж мог, по мнению некоторых своих коллег, добиться политических преимуществ, «разыграв мирную карту» против Черчилля. В общем, Ллойд Джордж представлял собой неопределённую и опасную величину.

Асквит, не имевший намерения ввергать раздираемую разногласиями страну в войну, с приводящим в бешенство спокойствием продолжал ждать событий, способных изменить точку зрения пацифистов. 31 июля в своём дневнике он бесстрастно записал: «Главный вопрос заключается в том, вступать ли нам в войну или остаться в стороне? Разумеется, всем хочется остаться в стороне». В ходе заседаний кабинета 31 июля Грей, занимавший менее пассивную позицию, высказался без особых околичностей. Он заявил, что политика Германии является политикой «европейского агрессора, такого же, как Наполеон» (для Англии имя Наполеона имело лишь одно значение). Наступило время, убеждал он министров, когда откладывать дальше решение – поддержать Антанту или соблюдать нейтралитет – уже невозможно. Он сказал, что если будет избран нейтралитет, то он не будет тем человеком, которому придётся проводить эту политику. Скрытая в этих словах угроза подать в отставку прозвучала так, словно он уже произнёс её вслух.

«Казалось, будто все разом ахнули», – писал один из министров. На несколько мгновений воцарилась «мёртвая тишина», члены кабинета ошеломлённо переглядывались, неожиданно поражённые мыслью о том, что их существование как правительства поставлено под сомнение. Никакого решения принято не было, заседание отложили.

В ту пятницу, в канун августовских банковских каникул, фондовая биржа закрылась в 10:00 утра, охваченная волной финансовой паники, начавшейся в Нью-Йорке после того, как Австрия объявила войну Сербии. Следом стали закрываться и другие европейские биржи. Сити дрожал, предвещая гибель и крушение международных финансов. По свидетельству Ллойд Джорджа, банкиры и бизнесмены «приходили в ужас» при мысли о войне, которая «разрушит всю кредитную систему с центром в Лондоне». Управляющий Банка Англии посетил в субботу Ллойд Джорджа и проинформировал его о том, что Сити «самым решительным образом выступает против нашего вступления» в войну.

В ту пятницу лидеры консерваторов собрались на совещание в Лондоне, чтобы обсудить кризис. Многих пришлось вызвать из-за города, где они проводили конец недели. Душа, сердце и движущая сила англо-французских «переговоров» Генри Уилсон стремительно кидался то к одному, то к другому участнику совещания, умоляя, требуя, увещевая, доказывая необходимость немедленно принять решения. Он твердил, что если нерешительные либералы отступят в этот момент, то навлекут позор на Англию. Общепринятым эвфемизмом совместных планов генерального штаба были «переговоры». Формула «никаких обязательств», разработанная первоначально Холдейном и вызвавшая недовольство Кэмпбелла-Баннермана, отклонённая лордом Эшером и упомянутая в 1912 году Греем в письме к Камбону, по-прежнему отражала официальную позицию правительства, несмотря на всю свою бессмысленность.

И действительно, если война, как говорил Клаузевиц, является продолжением национальной политики, то это же относится и к военным планам. Англо-французские планы, разрабатываемые в мельчайших подробностях в течение девяти лет, были не игрой, не фантазией или упражнениями на бумаге с целью отвлечь и занять умы военных, чтобы они не натворили других бед. Планы были либо продолжением политики, либо ничем. Они ничем не отличались от

соглашений между Францией и Россией или между Германией и Австрией, за исключением заключительной юридической фикции, что они не «обязывают» Англию предпринимать какие-либо действия. Члены парламента или правительства, которым это не нравилось, просто закрывали глаза и, будто загипнотизированные, верили в эту выдумку.

Камбон, встречаясь с лидерами оппозиции после мучительной беседы с Греем, теперь совершенно пренебрегал дипломатическим тактом. «Все наши планы составлялись совместно. Наши генеральные штабы проводили консультации. Вы видели все наши расчёты и графики. Взгляните, где наш флот! Он весь – в Средиземном море в результате договорённости с вами, и наши берега открыты врагу. Вы сделали нас беззащитными!» Он повторял: если Англия не вступит в войну, Франция никогда ей этого не простит. Он заканчивал свои тирады, с горечью восклицая: «Et l'honneur? Est-ce-que l'Angleterre comprend ce que c'est l'honneur? А честь? Знает ли Англия, что такое честь?»

Разные люди смотрят на честь под разными углами, и Грей знал, что переубедить пацифистов удастся только при взгляде под бельгийским углом. В тот же день он отправил французскому и германскому правительствам телеграммы с просьбой дать официальные подтверждения в том, что они будут уважать нейтралитет Бельгии, «если другие державы не нарушат его». Через час после получения этой телеграммы – поздно вечером 31 июля – французы прислали положительный ответ. От Германии ответа получено не было.

На следующий день, 1 августа, этот вопрос был вынесен на обсуждение кабинета. Ллойд Джордж водил пальцем по карте, показывая путь немцев, который, как он считал, будет пролегать через ближний угол по кратчайшей линии в направлении Парижа, но, по его утверждению, это будет «незначительное нарушение». Когда Черчилль потребовал предоставления ему полномочий для мобилизации флота, то есть призыва моряков-резервистов, кабинет после «резких споров» высказался против. Когда Грей попросил санкционировать выполнение обязательств перед французским флотом, лорд Морли, Джон Бёрнс, сэр Джон Саймон и Льюис Харкорт стали угрожать отставкой. За пределами кабинета распространялись слухи о последних демаршах



кайзера и русского царя и о германских ультиматумах. Грей вышел из зала заседаний, чтобы поговорить с Лихновским по телефону, — именно тогда тот неправильно его понял, невольно вызвав, тем самым, бурю в душе генерала Мольтке. Грей также встретился с Камбоном и заявил ему: «Франция сейчас должна сама принять решение, не рассчитывая на помощь, которую мы в настоящий момент не в состоянии оказать». Он вернулся на заседание кабинета, а Камбон, бледный и растерянный, рухнул в кресло в кабинете своего старого друга сэра Артура Николсона, постоянного заместителя министра. «Ils vont nous lâcher. Они собираются бросить нас», — сказал он. Редактору газеты «Таймс», спросившему его, что он собирается делать, Камбон ответил: «Я подожду, чтобы узнать, не пора ли вычеркнуть слово „честь“ из английского словаря».

Никому из членов кабинета не хотелось сжигать за собой мостов. Отставками только угрожали, но с поста ни один не ушёл. Асквит, проявляя сдержанность, говорил мало, он ждал развития событий дня, подходившего к концу в атмосфере лихорадочного обмена депешами и нарастающего безумия. В этот день Мольтке отказался двинуть армии на восток, рота лейтенанта Фельдмана захватила Труа-Вьерж в Люксембурге. Мессими подтвердил по телефону приказ о десятикилометровом отводе войск, а первый лорд адмиралтейства принимал своих друзей из оппозиции, среди которых находились будущие лорды — Бивербрук и Биркенхед. Чтобы скоротать время, проходившее в напряжённом ожидании, гости с хозяином сели после обеда играть в бридж. Игру прервало появление курьера с красным портфелем для срочных донесений. Вынув из кармана ключ, Черчилль открыл портфель — по случайности один из самых больших по размерам — и извлёк из него единственный лист бумаги, содержащий лишь одну фразу: «Германия объявила войну России». Он сообщил об этом своим друзьям, переоделся и вышел из дому «как человек, отправляющийся заниматься привычной работой».

Черчилль пересёк Хорс-гардс-перейд и оказался на Даунинг-стрит, миновал садовую калитку и вошёл в дом, где на втором этаже обнаружил, кроме премьер-министра, Грея, Холдейна, ставшего теперь лордом-канцлером, и лорда Крю, министра по делам Индии. Черчилль сообщил им, что намеревается «немедленно мобилизовать флот, несмотря на решение кабинета». Асквит ничего не ответил, но с виду,

как показалось Черчиллю, был «совершенно согласен». Провожая Черчилля к двери, Грей сказал: «Я только что сделал очень важную вещь. Я заявил Камбону, что мы не допустим германский флот в пролив Ла-Манш». По крайней мере, именно так понял Черчилль смысл слов Грея, избегавшего чётких и ясных формулировок. Из этого следовало, что английский флот взял на себя определённые обязательства. Дал ли Грей такое обещание или же только намеревался выступить с ним на следующее утро, как утверждают некоторые историки, не суть важно, поскольку, «как бы то ни было, Черчилль лишь ещё больше уверовал в правильность принятого им решения». Он вернулся в адмиралтейство и «отдал приказ начать мобилизацию».

Как и этот приказ, так и обещание Грея выполнить условия морского соглашения с Францией шли вразрез с мнением большинства членов кабинета. На следующий день либо кабинет должен будет одобрить эти решения, либо часть его членов уйдёт в отставку, а к тому времени, по мнению Грея, уже поступят сообщения о «развитии событий» в Бельгии. Как и французы, Грей чувствовал, что в своих расчётах он может с уверенностью положиться на Германию.

## Глава 8

### Ультиматум в Брюсселе

В запертом сейфе германского посланника в Брюсселе, герра фон Белова-Залеске, хранился запечатанный конверт, доставленный из Берлина 29 июля специальным курьером с приказом «не вскрывать до получения особых инструкций по телеграфу из Германии». В воскресенье, 2 августа Белов получил телеграмму с указанием немедленно вскрыть конверт и передать содержащуюся в нём ноту в тот же день в 8 часов вечера, причём «сделать это таким образом, чтобы у бельгийского правительства сложилось впечатление, что *все* инструкции, касающиеся вручённой ему ноты, были получены вами сегодня впервые». Он должен был потребовать, чтобы ответ на ноту бельгийцы дали в ближайшие двенадцать часов. Ему предлагалось отправить ответ «как только возможно срочно» телеграфом в Берлин и одновременно «отослать его с курьером на автомобиле генералу фон Эммиху в отель „Юнион“ в Ахене». Из немецких городов Ахен, или Экс-ля-Шапель, ближе всех находился к Льежу, восточным воротам в Бельгию.

Посланник фон Белов – высокий и бодрый холостяк, с остроконечными чёрными усами и вечно зажатый в зубах нефритовым мундштуком, – получил назначение на этот пост в начале 1914 года. Когда приходившие в немецкое посольство посетители обращали внимание на большую, пробитую пулей серебряную пепельницу на письменном столе посла, тот со смехом говорил: «Я предвестник несчастий. Когда я был в Турции, там произошла революция. Когда я был в Китае, там началось боксёрское восстание, один из выстрелов в окно продырявил это блюдо». И, широким, изящным жестом поднося мундштук с сигаретой к губам, добавлял: «Но теперь я отдыхаю. В Брюсселе ничего не случается».

После прибытия запечатанного конверта покою посланника пришёл конец. В полдень 1 августа он принял прибывшего к нему с визитом заместителя министра иностранных дел Бельгии барона де Бассомпьера, и тот сообщил, что вечерние газеты собираются опубликовать ответ Франции на ноту Грея, в котором дано обещание

уважать нейтралитет Бельгии. Ввиду отсутствия аналогичного ответа Германии Бассомпьер поинтересовался, не желает ли фон Белов сделать какое-либо заявление. На это германского посланника Берлин не уполномочивал. Поэтому, прибегнув к дипломатическому манёвру, он откинулся в кресле и, уставив взор в потолок, слово в слово повторил то, что только что сказал ему бельгийский представитель, как будто проиграв граммофонную пластинку. Поднявшись, он заверил гостя, что «Бельгии нечего опасаться Германии», и на сём беседа была окончена.

На следующее утро он давал те же заверения Давиньону, министру иностранных дел, которого разбудили в 6 утра, чтобы сообщить о вторжении германских войск в Люксембург. Тот потребовал объяснений у германского посланника. Вернувшись в посольство, Белов успокоил встревоженных журналистов таким неоднократно цитируемым впоследствии афоризмом: «Может гореть крыша вашего соседа, но ваш дом будет в безопасности».

Многие в Бельгии, причём не только в официальных кругах, склонны были верить его словам, либо в силу своих прогерманских настроений, либо теша себя иллюзорными надеждами, либо просто уверовав в добрую волю стран-гарантов бельгийского нейтралитета. Эта страна, независимость которой обещали уважать, прожила без войн семьдесят пять лет – самый длительный период мира в её истории. Через территорию Бельгии военные пути пролегали ещё со времён войн Цезаря с белгами. Здесь велась долгая и ожесточённая борьба между герцогом Бургундии Карлом Смелым и королём Франции Людовиком XI. Через территорию Бельгии испанцы совершали опустошительные набеги на Голландию. Здесь произошла «страшно кровавая битва» между войсками Мальборо и французами при Мальплаке, здесь Наполеон встретился с Веллингтоном при Ватерлоо, здесь народ восставал против всех своих правителей – бургундских, французских, испанских, габсбургских, голландских, – вплоть до свержения власти Оранского дома в 1830 году. Затем, при ставшем королём Леопольде Саксен-Кобургском, дяде королевы Виктории по материнской линии, бельгийцы утвердились как нация и достигли процветания; позже они растрачивали свою энергию в братоубийственных схватках между фламандцами и валлонами, католиками и протестантами, а также в спорах о социализме или о

фламандско-французском билингвизме. И они страстно надеялись, что соседи не нарушат их беспокойного счастья.

Король, премьер-министр и начальник генерального штаба уже не разделяли общей уверенности, но они не могли, как в силу обязанностей, вытекающих из требований нейтралитета, так и собственной веры в нейтралитет, начать разработку планов для отражения нападения. До последней минуты они не решались поверить, что одна из стран-гарантов развяжет агрессию. Узнав, что 31 июля Германия объявила у себя *Kriegsgefahr* – «положение военной угрозы», они приказали начать в полночь мобилизацию бельгийской армии. Ночью и весь следующий день полицейские обходили дома и вручали повестки. Люди, поднятые с постелей или оставившие работу, собирали узелки, прощались с близкими и отправлялись к местам сбора своих полков. Бельгия, строго соблюдавшая нейтралитет, ещё не решила, какой план военных действий ей избрать, поэтому мобилизация не была направлена против определённого противника. Это была мобилизация без развёртывания войск. Бельгия, обязавшись, как и страны-гаранты, придерживаться нейтралитета, не могла проводить каких-либо явных военных мероприятий, если ей никто не угрожал.

К вечеру 1 августа, когда минуло уже более суток, а Германия по-прежнему отвечала молчанием на запрос Грея, король Альберт решился на последний шаг, направив кайзеру личное послание. Он составил его с помощью своей жены, королевы Елизаветы, урождённой немки, дочери баварского герцога. Она перевела его, одно предложение за другим, на немецкий язык, вместе с королём тщательно подбирая каждое слово и каждый смысловой нюанс. В послании признавалось, что по «политическим мотивам» выступать с открытым заявлением «не всегда удобно», но тем не менее «узы родства и дружбы», как надеялся король Альберт, могли бы побудить кайзера дать в частном и конфиденциальном порядке заверения в отношении уважения бельгийского нейтралитета. Упоминание о родстве – мать короля Альберта, принцесса Мария Гогенцоллерн-Зигмаринген, принадлежала к дальней католической ветви прусской королевской фамилии – оказалось напрасным, ответа кайзер так и не прислал.

Вместо него на свет появился ультиматум, пролежавший в сейфе фон Белова более четырёх дней. Он был предъявлен в 7 часов вечера 2 августа. Ливрейный лакей министерства иностранных дел просунул голову в кабинет заместителя министра и срывающимся от волнения голосом известил: «К господину Давиньону только что прибыл немецкий посланник!» Через пятнадцать минут уже видели, как Белов ехал по Рю-де-ля-Луа, держа шляпу в руках, на лбу у него выступили бисеринки пота, и курил он, поднося сигарету ко рту частыми, резкими движениями, напоминая этим механическую игрушку. Едва «этот надменный тип» покинул здание, оба заместителя бросились в кабинет к министру, где Давиньон, обычно невозмутимый и уравновешенный оптимист, сидел необычайно бледный и растерянный. «Плохие, очень плохие новости», – сказал он, передавая подчинённым только что полученную ноту. Барон де Гаффье, политический секретарь, медленно вслух переводил её, а Бассомпьер, сидя за столом министра, записывал каждое слово, обсуждая каждую двусмысленную фразу, чтобы убедиться в верности перевода. Пока они трудились над переводом ноты, Давиньон и постоянный заместитель министра барон ван дер Эльст напряжённо их слушали, сидя в двух креслах по обеим сторонам камина. Обсуждение любого вопроса Давиньон заканчивал фразой: «Уверен, всё окончится хорошо», поскольку ван дер Эльст своими оценками убедил в прошлом и самого министра, и правительство, что интенсивное вооружение Германии имеет целью лишь «*Drang nach Osten*» и не представляет никакой угрозы для Бельгии.

После завершения перевода в кабинет вошёл барон де Броквиль – высокий брюнет с изящными манерами, решительный вид которого подчёркивали энергично закрученные вверх усы и блестящие тёмные глаза. Он занимал пост премьера и одновременно был военным министром. Когда ему зачитывали ультиматум, все присутствовавшие ловили каждое слово с таким напряжением, какое, очевидно, и рассчитывали вызвать составители этой ноты. Документ был составлен с большой тщательностью, вероятно, даже с подсознательным чувством того, что ему предстоит стать одним из важнейших документов века.

Генерал Мольтке написал первоначальный вариант собственноручно 26 июля – за два дня до объявления Австрией войны

Сербии, за четыре дня до мобилизации в Австрии и России и в тот же день, когда Германия и Австрия отклонили предложение сэра Эдварда Грея о конференции пяти держав. Свой проект ультиматума Мольтке отослал в министерство иностранных дел, где его переработали заместитель министра Циммерман и политический секретарь Штумм, а затем в документ внесли поправки и изменения министр иностранных дел Ягов и канцлер Бетман-Гольвег. Окончательный вариант ультиматума был отослан 29 июля в запечатанном конверте в Брюссель. Необычайные усилия, приложенные немцами, отражали то огромное значение, которое они придавали этому документу.

Германия получила «надёжную информацию», начиналась нота, о предполагаемом продвижении французских войск вдоль линии Живе – Намюр, «что не оставляет сомнений в отношении намерения Франции напасть на Германию через бельгийскую территорию». (Поскольку бельгийцы не видели никаких признаков передвижения французских войск, которого в действительности и не было, это обвинение не произвело на них никакого впечатления.) Так как Германия, утверждалось далее, не может рассчитывать на то, что бельгийская армия остановит французское наступление, она вынуждена в «целях самосохранения» «предвосхитить это вражеское нападение». Германское правительство будет «крайне сожалеть», если Бельгия станет рассматривать вступление германских войск на свою территорию «как направленный против неё враждебный акт». С другой стороны, если Бельгия займёт позицию «благосклонного нейтралитета», Германия возьмёт на себя обязательство «уйти с её территории, как только будет заключён мир», возместить все потери, причинённые германской армией, и «гарантировать при заключении мира суверенные права и независимость королевства». В первоначальном варианте данное предложение заканчивалось так: «... и отнестись с самым доброжелательным пониманием к любым требованиям Бельгии о выплате компенсации за счёт Франции». В последний момент Белов получил указание вычеркнуть этот неприкрытый намёк на взятку.

Если Бельгия станет противодействовать прохождению германских войск через её территорию, говорилось в завершение ноты, то она будет считаться врагом Германии и будущие отношения с ней

будут «решаться с помощью оружия». Бельгийцы должны были дать «недвусмысленный ответ» в течение 12 часов.

После чтения ноты «на несколько минут установилась трагическая тишина, казавшаяся бесконечно долгой», вспоминает Бассомпьер. Каждый находившийся в комнате думал о выборе, перед которым стояла страна. Маленькая по размерам и недавно получившая свободу, Бельгия упрямо цеплялась за независимость. Однако никому из находившихся в кабинете не было необходимости объяснять, к каким последствиям приведёт решение об обороне. Страна подвергнется нападению, дома – разрушению, люди – репрессиям. Стоявший у порога враг обладал десятикратным перевесом в силе, поэтому окончательный исход борьбы не вызывал сомнений. С другой стороны, уступив требованиям Германии, бельгийцы стали бы соучастниками нападения на Францию и нарушителями собственного нейтралитета, не считая того, что они добровольно соглашались на оккупацию, получив взамен почти ничего не значащее обязательство, что победоносная Германия в будущем, возможно, и отведёт свои войска. В любом случае Бельгию ждала оккупация; уступить, кроме того, означало потерять ещё и честь.

«Если нам суждено быть разбитыми, – писал о своих переживаниях Бассомпьер, – то лучше быть разбитыми со славой». В 1914 году слово «слава» произносили без смущения, и честь была не пустым звуком для людей, кто верил в неё.

Первым тишину в кабинете нарушил ван дер Эльст.

— Итак, мы готовы? – спросил он у премьера.

— Да, мы готовы, – ответил де Броквиль. – Да, – повторил он, как бы убеждая самого себя, – за исключением одного – у нас ещё нет тяжёлой артиллерии.

Только в прошлом году правительство добилось от парламента одобрения увеличения военных ассигнований, который неохотно пошёл на этот шаг, придерживаясь строгого соблюдения нейтралитета. Заказ на тяжёлые орудия был дан немецкой фирме Круппа, которая, что и неудивительно, тянула с поставками.

Прошёл один час из предоставленных двенадцати. Бассомпьер и Гаффье начали составлять проект ответа, и им не было нужды спрашивать друг у друга, каким оно должно быть. Их коллеги тем временем стали созывать министров на заседание Государственного



совета, назначенное на 9 часов. Броквиль отправился во дворец, чтобы проинформировать короля.

Ощущая лежащую на нём ответственность руководителя, король Альберт необычайно чутко следил за развитием событий за границей. Он не был рождён, чтобы вступить на престол. Младший сын младшего брата короля Леопольда, он рос незамеченным в углу дворца под присмотром наставника-швейцарца, бывшего менее чем посредственностью. Семейная жизнь Кобургов была далеко не радостной. Сын Леопольда умер, а в 1891 году умер и его племянник, Бодуэн, старший брат Альберта; так Альберт в шестнадцать лет остался единственным наследником трона. Старый король, тяжело переживавший смерть сына и Бодуэна, на которого он перенёс все отеческие чувства, сначала не обращал внимания на достоинства Альберта, называя его «запечатанным конвертом».

Но внутри «конверта» скрывалась огромная физическая и интеллектуальная энергия, которая была свойственна Теодору Рузвельту и Уинстону Черчиллю, хотя во всём прочем Альберт нисколько не был похож на двух своих великих современников. Он был более склонен к самоанализу, они же почти всё своё внимание уделяли внешнему миру. И всё же он чем-то походил на Теодора Рузвельта – их вкусы, если не темперамент, во многом совпадали: любовь к природе, увлечение спортом, верховой ездой, альпинизмом, интерес к естественным наукам и проблемам охраны природы. Альберт, как и Рузвельт, буквально пожирал книги, прочитывая ежедневно не менее двух, причём это могли быть книги из какой угодно области – литература, военная наука, колониализм, медицина, иудаизм, авиация. Альберт водил мотоцикл и умел пилотировать самолёт. Больше всего ему нравилось лазать по горам, и с этой целью он инкогнито объездил всю Европу. Как прямой наследник, он совершил поездку в Африку, чтобы на месте ознакомиться с колониальными проблемами. Став королём, он с равным усердием изучал армию, угольные шахты Бороинажа или «Красную страну» валлонов. «Когда король говорит, у него такой вид, как будто он хочет что-то построить», – заметил как-то один из его министров.

В 1900 году Альберт женился на Елизавете Виттельсбах, дочери герцога, который практиковал в мюнхенских больницах как окулист. Взаимная любовь, трое детей, образцовая семейная жизнь – всё это

резко контрастировало с неподобающим поведением прежних правителей, и поэтому, когда в 1909 году он вступил на престол вместо короля Леопольда II, к всеобщей радости и облегчению, это послужило одной из причин роста его популярности. Новые король и королева, как и прежде, не заботились о пышности, принимали кого хотели, проявляли интерес и любовь к путешествиям, оставаясь равнодушными к опасностям, этикету и критике. Эта королевская чета ближе была не к буржуазии, а пожалуй, к богеме.

Альберт был кадетом военного училища в то время, когда там учился будущий начальник генерального штаба Эмиль Гале. Сын сапожника, Гале был отправлен на учёбу на деньги, собранные его деревней. Позднее он стал преподавателем военной академии и подал в отставку, когда не смог больше соглашаться с теориями неустрашимого наступления, которые бельгийский генеральный штаб перенял от своих французских коллег без учёта реальных условий. Гале также покинул католическую церковь и стал строгим евангелистом. Пессимистически настроенный, чрезвычайно придиричивый и последовательный, он необычайно серьёзно относился к своей профессии, как и ко всему остальному. Говорили, что он ежедневно читал Библию и никто не видел улыбки на его лице. Король слушал его лекции, встречался с ним на манёврах, а воззрения Гале произвели на него сильное впечатление: наступление ради наступления и при любых обстоятельствах — весьма опасно, и навязывать сражение следует «только в случае уверенности в достижении важного успеха», вдобавок «наступательные бои требуют превосходства в силах». Несмотря на то что Гале был всего лишь капитаном, сыном сапожника и в католической стране обратился в протестантство, король выбрал его своим личным военным советником, учредив для этого специальный пост.

Поскольку по бельгийской конституции король становился главнокомандующим только во время войны, в мирное время он и Гале не могли своими опасениями или идеями повлиять на генеральный штаб. Это учреждение цеплялось за пример 1870 года, когда ни один прусский или французский солдат не пересёк бельгийскую границу, хотя, если бы французы и вступили на территорию Бельгии, у них было бы достаточно места, куда отступить. Однако, по мнению короля Альберта и Гале, если война разразится, то нынешние армии,

доведённые до огромных размеров по сравнению с тем временем, всё равно двинутся по старым военным дорогам и столкнутся на аренах прошлых боёв. Их убеждённость росла с каждым годом.

Кайзер дал это понять совершенно недвусмысленно в беседе, которая тогда, в 1904 году, привела Леопольда II в замешательство. Возвратившись домой, король постепенно оправился от шока, полагая, что Вильгельм был крайне непостоянен и его вряд ли можно было принимать всерьёз. С этим суждением согласился также ван дер Эльст, которому король рассказал о своей встрече с кайзером. И в самом деле, во время ответного визита в Брюссель в 1910 году Вильгельм сделал всё, чтобы успокоить бельгийцев. Он заявил ван дер Эльсту, что Бельгии не следует опасаться Германии. «У вас не будет оснований для жалоб на Германию... Я отлично понимаю позицию вашей страны... Я никогда не поставлю её в ложное положение».

Большинство бельгийцев кайзеру верило. Они всерьёз принимали данные им гарантии независимости. Бельгия с пренебрежением относилась к своей армии, обороне границ, крепостям, всему, что ставило под сомнение защищающий её договор о нейтралитете. Куда больше тревожил социализм. Безразличие общества к событиям за пределами самой Бельгии, занятость парламента исключительно внутриэкономическими проблемами привели к тому, что армия пришла в такой упадок, что находилась примерно на уровне турецкой. Солдаты были плохо дисциплинированы, расхлябаны, неопрятны, не отдавали честь, не слушались в строю и отказывались ходить в ногу.

Офицерский корпус был немногим лучше. Поскольку армия считалась излишним и едва ли не абсурдным институтом, она не могла привлечь в свои ряды ни лучшие умы, ни способных и честлюбивых молодых людей. Тот, кто выбирал военную карьеру и проходил через обучение в *Ecole de Guerre*, оказывался инфицирован французской доктриной «порыва» и «решительного наступления». Они придерживались поразительной формулы: «Чтобы с нами считались, мы должны атаковать. Вот что главное».

Несмотря на всё величие идеи и подъём духа, эта формула плохо согласовывалась с реальным положением Бельгии, а доктрина наступления, которая так странно утвердилась в умах генерального штаба, не вязалась с обязательствами Бельгии соблюдать нейтралитет, что требовало, в свою очередь, ориентации исключительно на

оборонительную стратегию. Нейтралитет запрещал бельгийским военным разрабатывать свои планы в сотрудничестве с какой-либо страной и заставлял их считать врагом ту страну, чей солдат первым шагнёт на её территорию, будь то англичанин, француз или немец. В подобных условиях весьма непросто разработать чёткий план военной кампании.

Бельгийская армия состояла из шести пехотных и одной кавалерийской дивизии, в то время как через территорию Бельгии, согласно немецким планам, предстояло пройти 34 германским дивизиям. Обучение и вооружение бельгийской армии были крайне недостаточны, огневая подготовка – низкой: запасы боеприпасов позволяли проводить стрельбы всего два раза в неделю из расчёта по одному выстрелу на человека. Обязательная воинская повинность, введённая лишь в 1913 году, сделала армию ещё более непопулярной. В тот год, когда из-за границы доносились грозные раскаты приближающейся бури, парламент неохотно согласился увеличить численность армии с 13 до 33 000 человек, но средства на укрепление обороны Антверпена обязался выделить при условии, что расходы на это будут возмещены за счёт сокращения длительности военной службы. Генеральный штаб был создан только в 1910 году после решительного настояния короля.

Эффективность этого органа была ограничена глубокими расхождениями во взглядах входивших в его состав офицеров. Одни отстаивали наступательный план, в соответствии с которым армия при угрозе войны сосредоточивалась на границах. Другие выступали за оборонительную стратегию и предлагали сконцентрировать силы на внутренних рубежах. Немногочисленная третья группа, в которую входили король Альберт и капитан Гале, ратовала за оборону на позициях, находящихся в максимальной близости от угрожаемых границ, не подвергая при этом риску коммуникации, ведущие к укреплённой базе в Антверпене.

Пока на европейском горизонте сгущались тучи, офицеры бельгийского штаба растратили энергию на споры, так и не разработав плана концентрации войск. Их затруднения усугублялись ещё и тем, что они не могли решить, кто же будет их противником. Наконец был выработан компромиссный проект, но существовал он лишь вчерне,

без приложения железнодорожных графиков, росписей пунктов снабжения и мест сосредоточения войск.

В ноябре 1913 года короля Альберта пригласили в Берлин, так же как девять лет тому назад его дядю. Кайзер устроил в его честь королевский обед, стол был украшен фиалками и накрыт на пятьдесят пять гостей, среди которых были военный министр генерал Фалькенхайн, министр имперского флота адмирал Тирпиц, начальник генерального штаба генерал Мольтке и канцлер Бетман-Гольвег. Бельгийский посол барон Бейенс, также присутствовавший на обеде, отметил, что всё это время король имел необычно мрачный вид. После обеда он видел, что король разговаривал с Мольтке. Лицо Альберта, слушавшего генерала, с каждой минутой всё больше темнело. Покидая дворец, король сказал Бейенсу: «Приходите завтра в девять. Я должен поговорить с вами».

Утром он совершил прогулку с Бейенсом от Бранденбургских ворот мимо блестящих белым мрамором и застывших в героических позах скульптур Гогенцоллернов, укутанных, к счастью, туманом, до Тиргартена, где они смогли поговорить «без помех». Альберт признался, что уже в начале своего визита он был шокирован Вильгельмом, когда на одном из балов тот указал ему на генерала – этим генералом оказался фон Клук, – который, по словам кайзера, выбран «возглавить марш на Париж». Затем вечером накануне обеда кайзер отвёл Альберта в сторону для личной беседы и разразился истерической тирадой против Франции. По его словам, Франция не прекращает провоцировать его. Как результат подобного отношения, война с ней не только неизбежна, она вот-вот разразится. Французская пресса наводнена злобными угрозами в адрес Германии, закон об обязательной трехлетней военной службе явился явно враждебным актом, и движущая сила всей Франции кроется в ненасытной жажде реванша. Альберт попытался разубедить кайзера – он знает французов лучше, каждый год посещает эту страну и может заверить кайзера в том, что французский народ не только не агрессивен, но, напротив, искренне стремится к миру. Напрасно – кайзер продолжал твердить о неизбежности войны.

После обеда этот припев подхватил Мольтке. Война с Францией приближается. «На этот раз мы должны покончить с этим раз и навсегда, Вашему величеству трудно представить, каким

неудержимым энтузиазмом будет охвачена Германия в решающий день». Германская армия непобедима; ничто не в силах противостоять *furor Teutonicus*, натиску тевтонцев; ужасные разрушения отметят их путь; их победа не вызывает сомнений.

Обеспокоенный причиной столь поразительных откровений, а также их содержанием, Альберт мог лишь прийти к выводу, что предназначены они для того, чтобы запугать Бельгию и заставить её пойти на сговор с Германией. Очевидно, немцы приняли определённое решение. Нужно было предупредить Францию. Он дал инструкции Бейенсу проинформировать обо всём Жюля Камбона, французского посла в Берлине, и попросить передать эти сведения в самых сильных выражениях президенту Пуанкаре.

Позднее король и посол узнали, что на том же обеде майор Мелотт, бельгийский военный атташе, услышал от разоткровенничавшегося Мольтке ещё более поразительные вещи: война с Францией «неизбежна», она намного «ближе, чем вы думаете». Мольтке, обычно проявлявший большую сдержанность в разговорах с иностранными военными атташе, на этот раз «распоясался». Судя по его словам, Германия не хочет войны, однако генеральный штаб «находится в состоянии готовности натянутого лука». Он сказал, что «Франция должна решительно прекратить провоцировать и раздражать нас, ибо в противном случае нам придётся прибегнуть к действиям. Чем скорее, тем лучше. Мы сыты по горло этими постоянными тревогами». В качестве примеров подобных провокаций, не считая «крупных дел», Мольтке назвал холодный приём, оказанный германским авиаторам в Париже и бойкот парижским обществом майора Винтерфельда, германского военного атташе. На это горько жаловалась мать майора графиня д'Альвенслебен. А что касается Англии, что ж, германский флот создан не для того, чтобы прятаться в гаванях. Он атакует и, возможно, будет разбит. Пусть Германия потеряет свои корабли, но Англия утратит господство на морях, которое перейдёт к Соединённым Штатам. Только они окажутся победителями в европейской войне. Англия это понимает, сказал генерал, сделав неожиданный логический поворот, и поэтому, вероятно, останется нейтральной.

Но Мольтке ещё не договорил. Что же станет делать Бельгия, спросил он майора Мелотта, если мощная иностранная армия

вторгнется на её территорию? Атташе ответил, что Бельгия будет защищать свой нейтралитет. Пытаясь узнать, ограничится ли Бельгия протестом, как думали немцы, или будет сражаться, Мольтке попросил его быть более конкретным. Когда Мелотт сказал: «Мы выступим всеми имеющимися у нас силами против державы, посягнувшей на наши границы», – Мольтке как бы между прочим заметил, что одних благих намерений недостаточно: «Вы также должны иметь армию, способную выполнить задачи, вытекающие из обязательств по сохранению вашего нейтралитета».

Вернувшись в Брюссель, король Альберт немедленно потребовал представить ему доклад о ходе разработки мобилизационных планов, но узнал, что никакого прогресса в этом деле не достигнуто. Исходя из того, что ему стало известно в Берлине, король добился согласия де Броквиля на составление плана кампании, основанного на предположении германского вторжения. Ему также удалось назначить ответственным за эту работу своего протеже, которого поддерживал также и Гале, – энергичного полковника де Рикеля. Разработку планов намечалось закончить в апреле, но к этому сроку она не была выполнена. Тем временем де Броквиль назначил другого офицера, генерала де Селье де Моранвиля начальником генерального штаба, тем самым поставив его по должности выше де Рикеля. В июле всё ещё продолжалось рассмотрение четырёх независимых планов концентрации войск.

Неудачи не поколебали решимости короля. Его политика была отражена в меморандуме, который капитан Гале составил сразу после берлинского визита. «Мы полны решимости объявить войну любой державе, намеренно нарушившей наши границы, и воевать с использованием всех имеющихся у нас сил и ресурсов, а если потребуется, то и за пределами нашей страны. Мы не прекратим военных действий даже тогда, когда захватчик отступит с нашей территории, вплоть до заключения всеобщего мира».

Второго августа король Альберт, председательствовавший на заседании Государственного совета, начавшегося в 9 часов вечера во дворце, начал своё выступление словами: «Наш ответ должен быть „нет“, невзирая на последствия. Наш долг – защищать территориальную целостность страны, и мы должны добиться этой

цели». Тем не менее он предупредил, чтобы никто из присутствующих не питал иллюзий: последствия будут самыми серьёзными и страшными, враг беспощаден. Премьер де Броквиль призвал колеблющихся не верить обещаниям Германии освободить бельгийскую территорию после войны. «Если Германия победит, – сказал он, – Бельгия независимо от занятой ею позиции окажется присоединённой к Германской империи».

Один престарелый министр, недавно принимавший в своём доме шурина кайзера, герцога Шлезвиг-Гольштейна, не мог сдержать гнева, вызванного вероломством своего гостя, который только накануне заверял его в дружбе Германии. Он не переставал сердито ворчать и возмущаться по этому поводу в течение всего заседания. Когда встал начальник генштаба генерал де Селье и начал объяснять суть оборонительной стратегии, которую нужно было принять, его заместитель полковник де Рикель процедил сквозь зубы: «Il faut piquer dedans, il faut piquer dedans. Мы должны ударить их в самое уязвимое место». Отношения этих двух офицеров, по свидетельству одного из коллег, были «заметно лишены взаимных любезностей». Получив слово, де Рикель удивил своих слушателей тем, что предложил упредить врага, атаковав его на собственной территории до того, как он сможет пересечь бельгийскую границу.

В полночь заседание было отложено. Комитет в составе премьера, министра иностранных дел и министра юстиции, вернувшись в здание МИДа, приступил к составлению проекта ответа. Они целиком были поглощены этой работой, когда в тёмный двор, освещаемый лишь светом окон первого этажа, въехал автомобиль. Поражённым министрам сообщили о прибытии германского посланника. Было 1:30 ночи. Что ему нужно в этот час?

Ночное беспокойство герра фон Белова было вызвано растущей тревогой его правительства тем, какой эффект возымел германский ультиматум на бельгийцев, ныне изложенный на бумаге. Была задета бельгийская национальная гордость. Обратного хода не было. Долгие годы немцы твердили сами себе, что Бельгия не будет сражаться, но, когда этот час наступил, они, хотя и с опозданием, начали терзаться сомнениями. Если бы Бельгия мужественно и громко заявила «Нет!», то это произвело бы на нейтральные страны в других частях мира впечатление, крайне неблагоприятное для Германии. Однако Германия



пеклась не столько об отношении к ней нейтральных государств, как о той задержке, которая нарушила бы составленные графики. Бельгийская армия, решив сражаться, «а не выстроиться вдоль дороги», отвлекла бы на себя дивизии, необходимые для марша на Париж. Разрушение железных дорог и мостов помешало бы просчитанному движению германских войск, нарушило бы пути подвоза и вызвало бы целую цепь других неприятных явлений.

Поразмыслив, германское правительство направило герра фон Белова среди ночи во дворец, чтобы попытаться повлиять на ответ бельгийцев, выдвинув новые обвинения против Франции. Посланник информировал ван дер Эльста о том, что французские дирижабли сбрасывали бомбы и что французские патрули пересекли границу.

— Где произошли эти события? – спросил ван дер Эльст.

— В Германии, – последовал ответ.

— В таком случае я не могу считать эти сведения достоверными.

Германский посланник попытался было объяснить, что французы не уважают международное право и поэтому следует ожидать, что они нарушат нейтралитет Бельгии. Однако хитроумный логический приём не достиг своей цели. Ван дер Эльст указал своему посетителю на дверь.

В 2:30 ночи совет вновь собрался во дворце, чтобы одобрить составленный министрами ответ. Бельгийское правительство, говорилось в нём, «принесло бы в жертву честь своей страны и свои обязательства перед Европой», если бы приняло германские предложения. Оно объявляло о своей «решимости отразить всеми имеющимися в его распоряжении средствами любое посягательство на права его страны».

После принятия без каких-либо изменений предложенного ответа в совете начались споры по поводу требования короля не просить страны-гаранты о помощи до тех пор, пока немцы не вступят на бельгийскую территорию. Несмотря на яростные возражения, Альберту удалось добиться своего. В 4 часа утра совещание закончилось. Министр, последним выходявший из кабинета, видел, как король Альберт стоял лицом к окну, держа в руках копию ответа, и глядел вдаль – туда, где начинало светлеть предрассветное небо.

В ту ночь 2 августа в Берлине также шло совещание. Собравшись в доме канцлера, Бетман-Гольвег, генерал фон Мольтке и адмирал Тирпиц обсуждали вопрос об объявлении войны Франции. Такое же совещание, но в отношении России они провели прошлой ночью. Тирпиц «снова и снова» жаловался, что он не понимает, зачем вообще понадобились эти декларации о войне. В них всегда ощущается «привкус агрессии», армия может выступить «без подобных вещей». Бетман указал, что объявить войну Франции необходимо потому, что Германия хочет пройти через территорию Бельгии. Тирпиц повторил предупреждения Лихновского из Лондона, что проход через Бельгию неминуемо вовлечёт в войну Англию: он предложил отсрочить, если возможно, вступление войск в Бельгию. Мольтке, придя в ужас при мысли о новой угрозе его графикам, сразу же заявил, что это «невозможно»: ничто не должно мешать нормальной работе «транспортного механизма».

Сам Мольтке, по его словам, не придавал большого значения объявлениям войны. Враждебные действия французов уже сделали войну фактом. Он имел в виду сообщения о так называемых французских бомбардировках в районе Нюрнберга, о которых германская пресса в тот день в экстренных выпусках газет трубила с такой силой, что берлинцы стали с опасением посматривать на небо. В действительности же никакой бомбардировки не было. Теперь, исходя из германской логики, из-за этих бомбардировок необходимо было официально объявить войну.

Тирпиц продолжал выступать против. У мира, утверждал он, нет сомнений в том, что французы «по крайней мере идейно являлись агрессорами»; но из-за небрежности германских политиков, не разъяснявших этого миру достаточно ясно, проход через Бельгию, «вызванный действительной необходимостью», может быть неправильно воспринято «в роковом свете грубого акта насилия».

В Брюсселе 3 августа, после окончания заседания Государственного совета в 4 часа утра, Давиньон вернулся в министерство иностранных дел и дал указание своему политическому секретарю барону де Гаффье вручить ответ Бельгии германскому посланнику. Точно в 7 утра, когда истекли указанные в ультиматуме двенадцать часов, Гаффье позвонил у дверей германского посольства и передал герру фон Белову ответ на германский ультиматум. По пути

домой он слышал крики мальчишек-газетчиков, продававших утренние выпуски с текстом ультиматума и ответом на него бельгийцев. Раздавались громкие возгласы людей, читавших газеты и собиравшихся в возбуждённые группы. Решительное «нет» Бельгии вызвало радостное одобрение. Многие полагали, что немцы скорее обойдут Бельгию, чем рискнут подвергнуться всеобщему осуждению. «Немцы опасны, но они не маньяки», – так люди успокаивали друг друга.

Даже во дворце и в некоторых министерствах всё ещё продолжали надеяться. Трудно было поверить, что немцы намеренно начнут войну, поставив себя в положение неправого. Последняя надежда исчезла, когда 3 августа был получен запоздалый ответ кайзера на послание короля Альберта. Это была ещё одна попытка побудить бельгийцев сдаться без борьбы. «Только чувства искренней дружбы к Бельгии», телеграфировал кайзер, заставили его обратиться с таким серьёзным требованием. «Возможность поддержания прежних и настоящих отношений полностью находится в руках Вашего Величества».

— За кого он меня принимает? – воскликнул король Альберт, дав волю гневу впервые с момента начала кризиса.

Приняв на себя верховное командование, он сразу же приказал взорвать мосты через Маас у Льежа, а также железнодорожные туннели и мосты на границе с Люксембургом. Он всё ещё не решался направить Англии и Франции просьбу о помощи и предложение военного союза. Бельгийский нейтралитет был плодом коллективных усилий европейских держав. Король Альберт не мог заставить себя выписать нейтралитету сертификат о смерти раньше, чем произойдёт открытое вторжение.

## Глава 9

### «Мы вернёмся домой до начала листопада»

В Лондоне в воскресенье, 2 августа, за несколько часов до того, как Бельгии был вручён германский ультиматум, Грей попросил кабинет министров предоставить ему полномочия отдать приказ английскому флоту о защите французского побережья пролива Ла-Манш. Самый трудный и тяжёлый для английского кабинета момент наступает тогда, когда нужно принять быстрое, чёткое и твёрдое решение. В течение всего долгого дня министры спорили, уходили от решения, отказываясь или не желая связывать себя окончательными обязательствами.

Пришедшую войну Франция восприняла как своего рода «национальный рок», несмотря на то, что многие в глубине души предпочли бы избежать её. Почти с благоговейным трепетом один иностранный наблюдатель сообщал о подъёме «национального духа» и «полном отсутствии волнений» в народе, патриотизм которого, как утверждали, подорван анархическими тенденциями, способными в случае войны привести к фатальным последствиям. Бельгия, где свершилось редкое событие – появился герой, вошедший потом в историю, была вне себя от радостного сознания, что её ведёт безупречный король, смело сделавший выбор: смириться или сопротивляться. Страна приняла решение менее чем за три часа, отдавая себе отчёт в том, что оно может оказаться самоубийственным.

У Англии не было ни Альберта, ни Эльзаса. Её оружие было готово, а воля – нет. В течение последних десяти лет она училась воевать и готовилась к войне, которая теперь надвигалась на неё. С 1905 года в Англии действовала система, называвшаяся «Военная книга» и не оставлявшая место для половинчатости, традиционной для английской манеры вести дела. Все приказы военного времени были готовы для подписания, конверты имели точные адреса, объявления и прокламации были либо уже напечатаны, либо набраны. Король, покидая Лондон, всегда брал с собой документы, требовавшие немедленного подписания. Цель всех этих мероприятий была ясна –

покончить с неразберихой, прочно укрепившейся в английском характере.

Появись германский флот в проливе Ла-Манш, это стало бы для Англии вызовом не меньшим, чем испанская армада, угрожавшая стране много-много лет назад, и кабинет, заседавший в воскресенье, неохотно согласился на требования Грея. Письменное заверение, которое он вручил в тот же день Камбону, гласило: «Если германский флот войдёт в пролив Ла-Манш или приблизится к французским берегам через Северное море, дабы предпринять враждебные акции, или будет угрожать французским судам, английский флот всеми имеющимися средствами окажет помощь Франции». Грей, однако, добавил, что это обещание «не обязывает Англию вступить в войну с Германией, если германский флот не совершит действий, указанных выше». Отражая опасения кабинета, Грей сказал, что Англия, не уверенная в надёжной защите своих берегов, «не может без риска отправить военные силы за пределы страны».

Камбон спросил, не является ли данное заявление вообще отказом от военных действий. Грей ответил: его слова «относятся лишь к настоящему моменту». Камбон предложил, чтобы Англия в качестве «моральной поддержки» направила на континент две дивизии. По мнению Грея, отправка таких небольших сил или даже четырёх дивизий «чревата максимальным риском и даст лишь минимальный эффект». Он добавил, что морские обязательства Англии нельзя оглашать до тех пор, пока о них на следующий день не будет проинформирован парламент.

Наполовину в отчаянии, но всё же не теряя надежды, Камбон направил своему правительству «совершенно секретную телеграмму», в которой и сообщил о заверении Англии. Телеграмма пришла в Париж в тот же день в 8:30 вечера. Хотя это было «хромое» обязательство, намного меньше того, на что рассчитывала Франция, посол полагал, что оно способно привести к полному военному участию Англии, ибо, как он выразился впоследствии, страны «наполовину» не воюют.

Морские обязательства, однако, были вырваны у кабинета ценой раскола, который Асквит всеми силами старался предотвратить. Два министра, лорд Морли и Джон Бёрнс, подали в отставку, а грозный и таинственный Ллойд Джордж всё ещё «сомневался». По мнению

Морли, кабинет должен был «развалиться в тот же день», а Асквит нехотя признал, что «мы находимся на грани полного развала».

Черчилль, всегда готовый предвосхитить события, поставил себе цель включить в коалиционное правительство партию консерваторов, к которой прежде принадлежал и сам. Как только закончилось заседание кабинета, он отправился на встречу с Бальфуром, бывшим премьер-министром, который, как и многие руководители консервативной партии, придерживался мнения, что Англия должна довести политику, приведшую к созданию Антанты, до своего логического, хотя и печального, завершения. Черчилль сообщил, что, по его предположению, примерно половина либерального кабинета подаст в отставку, если будет объявлена война. Партия тори, ответил Бальфур, готова войти в коалицию, если возникнет необходимость, но в этом случае, по его мнению, страна будет расколота антивоенным движением, которое возглавят вышедшие из правительства либералы.

О германском ультиматуме пока ничего не было известно. Черчилль, Бальфур, Холдейн и Грей мыслили, исходя из угрозы гегемонии Германии в Европе после падения Франции. Однако политика поддержки Франции разрабатывалась за закрытыми дверями и общественность о предпринятых шагах ничего не знала. Большинство либерального правительства отвергало их. Ни правительство, ни страна не имели единых взглядов по этому вопросу. Многим англичанам, если не подавляющему большинству, разразившийся кризис представлялся продолжением давней ссоры между Германией и Францией, не имевшей никакого отношения к Англии. Чтобы превратить её в глазах общественности в дело, затрагивавшее Англию, необходимо было нарушение нейтралитета Бельгии, этого плода английской внешней политики. Каждый шаг захватчиков стал бы ударом по договору, который создала и подписала сама Англия. Грей решил завтра потребовать у кабинета рассматривать это вторжение как формальный *casus belli*.

В тот вечер, когда он обедал вместе с Холдейном, курьер министерства иностранных дел принёс портфель для донесений, в нём находилась телеграмма, сообщавшая, как писал об этом Холдейн, «что Германия намеревается вторгнуться в Бельгию». Что это была за телеграмма и от кого поступило предупреждение, было неясно, однако Грей считал её подлинной.

— Что вы думаете по этому поводу? — спросил Грей, передавая телеграмму Холдейну.

— Немедленная мобилизация, — ответил тот.

Они сразу встали из-за стола и поехали на Даунинг-стрит. Там находились премьер-министр и несколько гостей. Попросив главу кабинета пройти в отдельную комнату, они показали ему телеграмму и попросили полномочий для объявления мобилизации. Асквит согласился. Холдейн предложил, чтобы его, принимая во внимание чрезвычайные обстоятельства, временно вновь назначили главой военного министерства. Завтра премьер-министр будет слишком занят и вряд ли сможет выполнять обязанности военного министра. Асквит снова согласился и довольно охотно, потому что ему очень не нравился фельдмаршал лорд Китченер Хартумский, который был известен своими деспотическими замашками и которого Асквита убеждали назначить на этот пост.

Следующий день, понедельник, был официальным нерабочим днём, погода выдалась ясной и солнечной. Лондон был забит людскими толпами, которые ринулись не на взморье, а в столицу, узнав о надвигавшемся кризисе. В полдень перед Уайтхоллом стало так многолюдно, что прекратилось движение и гул многотысячной толпы был слышен в зале, где продолжались бесконечные заседания кабинета и где министры никак не могли решить, сражаться за Бельгию или нет.

Принявший руководство военным министерством Холдейн уже отправлял мобилизационные телеграммы о призыве резервистов и солдат территориальных частей. В 11 часов кабинет получил известие о том, что Бельгия выставила свои шесть дивизий против Германской империи. Через час министрам представили декларацию консервативной партии, составленную ещё до предъявления германского ультиматума Бельгии. В ней подчёркивалось, что колебания в отношении поддержки Франции и России окажутся «фатальными для чести и безопасности Соединённого королевства». Вопрос о союзе с Россией уже и так стоял поперёк горла либеральным министрам. Ещё двое из них — сэр Джон Саймон и лорд Бошамп — подали в отставку, однако главная фигура, Ллойд Джордж, узнав о событиях в Бельгии, решил остаться в правительстве.

В 3 часа дня 3 августа Грей должен был выступить с первым официальным и публичным заявлением правительства по поводу кризиса. От него зависела судьба всей Европы, так же как и Англии. Перед Греем стояла задача: повести страну в бой, объединив её. Он должен был убедить и увлечь за собой собственную партию, по традиции пацифистскую. Объяснить старейшему и опытнейшему парламенту в мире, как Англия взяла на себя обязательство – не давая официально подобного обязательства – поддержать Францию, и показать, что Бельгия – лишь повод, а истинная причина во Франции. Он должен был призывать к чести Англии, пояснив, что решающим фактором остаётся защита её интересов. Ему предстояло выступить в парламенте, где более трёхсот лет традиционно велись изощрённые дебаты по проблемам внешней политики. Не обладая блеском красноречия Бёрка или силой убеждения Питта, мастерством Каннинга или напористостью Пальмерстона, риторикой Гладстона или остроумием Дизраэли, он должен был отстаивать проводимый им внешнеполитический курс, который не смог предотвратить войну. Оправдать настоящее, соизмерить его с прошлым и заглянуть в будущее – такой была цель, стоявшая перед Греем.

Ему не хватило времени написать речь. В последний час, когда он попытался было набросать тезисы, объявили о прибытии германского посла. Вошедший Лихновский тревожно спросил: что решило правительство? Что собирается сказать Грей в палате общин? Не будет ли это объявлением войны? Грей ответил, что это будет не объявление войны, а «заявление об условиях». «Не является ли нейтралитет одним из этих условий?» – спросил Лихновский. Он стал «умолять» Грея не делать этого. Посол не знал планов германского генерального штаба, но не мог поверить, чтобы они включали «серьёзное» нарушение нейтралитета, хотя германские войска, «возможно, и пересекут небольшой угол Бельгии». «В таком случае, – сказал Лихновский, повторяя вечную эпитафию человеческого смирения перед судьбой, – вряд ли что-то можно изменить».

Они разговаривали в дверях, подгоняемые своими срочными делами. Грей пытался выкроить несколько минут покоя, чтобы поработать над речью, а Лихновский – оттянуть момент, когда будет брошен вызов. Они расстались и уже никогда больше не встречались официально.



В полном составе палата общин собралась впервые после 1893 года, когда Гладстон выступил с биллем о гомруле. Чтобы разместить всех её членов, в проходах установили дополнительные стулья. Галерея дипломатов была полна, пустовали лишь два кресла, отмечая отсутствие германского и австрийского послов. Члены палаты лордов заполнили галерею для публики, и в их числе был фельдмаршал лорд Робертс, давно и безуспешно добивавшийся введения обязательной воинской повинности. Напряжённая тишина, когда впервые за много лет никто не смел шевельнуться, передать записку или, наклонившись к соседу, шёпотом поболтать, вдруг была нарушена грохотом – это парламентский священник, пытаясь, отходил от спикера и споткнулся о выставленный в проходе дополнительный стул. Все взоры остановились на скамье для членов правительства, где между Асквитом, замершим с бесстрастным мягким лицом, и Ллойд Джорджем, которого сильно старили всклокоченные волосы и бесцветные щёки, сидел Грей в летнем лёгком костюме.

Он встал, и все увидели его «бледное, измождённое и усталое» лицо. Несмотря на то, что Грей был членом палаты общин в течение двадцати девяти лет и восемь лет занимал место на скамье правительства, в парламенте мало знали – а в стране и того меньше – о том, как именно проводит он внешнеполитический курс Англии. Почти никому не удавалось вопросами загнать министра иностранных дел в ловушку и выудить у него определённый и ясный ответ, и всё же его уклончивость, которая у другого, менее осторожного государственного деятеля подверглась бы резкой критике, в данном случае воспринималась без подозрений. Такой некосмополитичный, такой английский, такой типичный для этой страны политик, такой сдержанный, Грей, по общему мнению, никак не мог с безрассудной лёгкостью включаться в международные споры. Он не любил внешнюю политику и не получал удовольствия от своей работы: напротив, он относился к ней как к неприятной, но необходимой обязанности. По уикендам Грей не мчался, как многие, на континент, а уезжал в глубь Англии. Он не владел иностранными языками, если не считать французского, который знал на уровне школьника. Вдовец в пятьдесят два года, бездетный, необщительный, он, казалось, относился к земным страстям с таким же безразличием, как и к своей работе. Форель в ручьях и голоса птиц – вот, пожалуй, и все страсти,

которые владели этим человеком, отгородившимся от мира каменной стеной.

Говоря медленно, но с видимым волнением, Грей призвал палату общин подойти к кризису с точки зрения «британских интересов, британской чести и британских обязательств». Он рассказал историю о военных «беседах» с Францией. По его словам, «никакие секретные соглашения» с Францией не обязывают парламент и не ограничивают Англию в выборе собственного курса. Он сказал, что Франция вступила в войну, выполняя «долг чести» по отношению к России, но «мы не участвуем во франко-русском союзе, мы даже не знаем условий этого союза». Казалось, он слишком увлёкся аргументами о неучастии Англии в каких-либо соглашениях. Обеспокоенный консерватор, лорд Дерби, прошептал сердито на ухо своему соседу: «Боже мой, они собираются бросить Бельгию на произвол судьбы!»

Затем Грей сообщил о договорённости с Францией, касающейся взаимодействия флотов. Он рассказал, что в соответствии с заключённым соглашением «весь французский флот сосредоточен в Средиземноморье». Северное и западное побережья Франции оказались «абсолютно незащищёнными». По его «убеждению», сказал он, если бы «германский флот прошёл через пролив и обрушился на незащищённые берега Франции, мы не смогли бы стоять спокойно в стороне, наблюдая за происходящим на наших глазах, бесстрастно сложив руки и ничего не предпринимая!». Со скамей оппозиции раздались приветственные крики, в то время как либералы молча слушали, «мрачно соглашаясь».

Оправдывая уже принятые Англией обязательства защищать берега Франции вдоль пролива Ла-Манш, Грей выдвинул спорный довод о «британских интересах» и британских торговых путях в Средиземном море. Это был запутанный клубок, и министр поспешил перейти «к более серьёзным проблемам, становящимся всё более серьёзными с каждым часом», а именно, к нейтралитету Бельгии.

Чтобы подать вопрос должным образом. Грей, благоразумно не надеясь на собственное красноречие, воспользовался цитатой из громоподобной речи Гладстона, произнесённой в 1870 году: «Может ли Англия стоять в стороне и спокойно наблюдать за совершением гнуснейшего преступления, навеки запятнавшего позором страницы истории, и превратиться таким образом в соучастника в грехе?» У

Гладстона позаимствовал он и фразу, выражающую основную идею: Англия должна выступить «против чрезмерного усиления какой бы то ни было державы».

Своими словами Грей сказал следующее: «Я прошу палату общин подумать, чем, с точки зрения британских интересов, мы рискуем. Если Франция будет поставлена на колени... если под то же мощное влияние подпадёт Бельгия, а затем – Голландия и Дания... если в этот критический час мы откажемся от обязательств чести и интересов, вытекающих из договора о бельгийском нейтралитете... Я ни на минуту не могу поверить, что в конце этой войны, даже если бы мы и не приняли в ней участия, нам удалось бы исправить случившееся и предотвратить падение всей Западной Европы под давлением единственной господствующей державы... мы и тогда потеряем, как мне кажется, наше доброе имя, уважение и репутацию в глазах всего мира, кроме того, мы окажемся перед лицом серьёзнейших и тяжелейших экономических затруднений».

Грей поставил перед членами палаты «проблемы и выбор». Парламент, слушавший его с «напряжённейшим вниманием» более полутора часов, разразился бурными аплодисментами, красноречиво говорившими об одобрении. Минуты, когда отдельной личности удаётся повести за собой нацию, запоминаются навечно, и речь Грея, по-видимому, стала одним из поворотных пунктов, по которым люди впоследствии отсчитывают ход истории. Но голоса недовольных всё же раздавались – убедить в чём-либо всех до единого членов палаты общин или добиться среди них единства было невозможно. Рамсей Макдональд, выступая от имени лейбористов, заявил, что Британия должна оставаться нейтральной, Кейр Харди обещал поднять рабочий класс на борьбу против войны, затем в кулуарах парламента группа либералов приняла резолюцию, утверждавшую, что Грей не сумел представить достаточные основания для того, чтобы втянуть страну в войну. Однако Асквит был убеждён, что в целом «наши крайние любители мира утихли, хотя не исключено, что через некоторое время они вновь обретут дар речи». Двух министров, подавших утром в отставку, вечером уговорили вернуться в кабинет, и, по общему мнению, Грею удалось повести за собой страну.

«Что нам теперь делать?» – спросил Черчилль Грея, когда они вместе выходили из палаты общин. «Теперь, – ответил Грей, – мы

отправим немцам ультиматум с требованием прекратить в течение 24 часов вторжение в Бельгию». Спустя несколько часов, обращаясь к Камбону, Грей сказал: «Если они откажутся, начнётся война». Несмотря на то, что британскому министру пришлось ждать ещё сутки, прежде чем отправить ультиматум, опасения Лихновского полностью оправдались – нарушение нейтралитета Бельгии стало поводом английского участия в войне.

Немцы шли на этот риск потому, что рассчитывали на короткую войну, и потому, что, вопреки раздавшимся в последнюю минуту мольбам и увещаниям гражданских руководителей, которые опасались ответных действий Англии, германский генеральный штаб, приняв во внимание её воинственность, уже сбросил это обстоятельство со счётов как не имеющее или почти не имеющее никакого значения в войне, которая, по мнению военных, закончится через четыре месяца.

Покойный пруссак Клаузевиц и ещё здравствовавший Норман Энджелл, непонятый профессор, вместе пытались вдолбить в европейские умы концепцию молниеносной войны. Быстрая, решающая победа стала германской ортодоксальностью. Экономическая невозможность длительной войны была ортодоксальностью для всех.

«Вы вернётесь домой ещё до того, как с деревьев опадут листья», – заявил кайзер в первую неделю августа в речи, обращённой отбывающим на фронт солдатам. Один из современников, близкий к германским придворным кругам, сделал в своём дневнике 9 августа запись о том, что зашедший днём граф Опперсдорф сказал, что эти события не продлятся больше десяти недель, а граф Хохберг полагал, что не более восьми, после чего «мы с вами вновь увидимся в Лондоне».

Некий германский офицер, отправлявшийся на Западный фронт, рассчитывал позавтракать в кафе «Де ля Пэ» в Париже в день Седана (2 сентября). Русские офицеры думали прибыть в Берлин примерно в это же время, полагая, что война продлится самое большее шесть недель. Один офицер императорской гвардии спрашивал совета у личного врача царя, не стоит ли ему сразу взять с собой парадную форму для въезда в Берлин или лучше чтобы её выслали на фронт потом, с первым курьером. Английского офицера, служившего

военным атташе в Брюсселе и потому считавшегося хорошо информированным, после прибытия в полк попросили высказаться по поводу продолжительности войны. Он ответил, что это ему неизвестно, однако «имеются финансовые причины, из-за которых великие державы долго не выдержат». Он слышал это от премьер-министра, «сказавшего, что так думает лорд Холдейн».

В Петербурге обсуждали не то, смогут ли русские победить, а сколько на это потребуется времени – два или три месяца. Пессимистов, утверждавших, что война продлится шесть месяцев, обвиняли в пораженчестве. «Василий Фёдорович (Вильгельм, сын Фридриха, то есть кайзер) совершил ошибку, он не выдержит», – всерьёз предрекал русский министр юстиции. Он был недалёк от истины. Германия, не строившая своих расчётов на длительную кампанию, имела в начале войны запас нитратов для производства пороха всего на шесть месяцев. И лишь открытый несколько позднее способ получения азота из воздуха позволил ей продолжить войну. Французы, также делая ставку на стремительность кампании, решили не рисковать войсками и без боя сдали немцам железорудный район в Лотарингии, предполагая вернуть его после скорой победы. В результате они потеряли 80 процентов рудных запасов и чуть было не проиграли войну. Англичане, проявляя, как всегда, осторожность, смутно рассчитывали на победу в течение нескольких месяцев, не зная точно, где, когда и как они её одержат.

Неизвестно, благодаря чему, инстинкту или интеллекту, но три больших ума, причём все – военные, предвидели, что чёрная тень ляжет не на месяцы, а на годы. Один из них, Мольтке, предсказывал «длительную, изнуряющую борьбу». Другим был Жоффр. Отвечая в 1912 году на вопросы министров, он заявил, что если Франция выиграет первую битву, борьба Германии примет национальный характер, и наоборот. В любом случае в войну будут втянуты другие страны, и в результате война станет «бесконечной». И всё же ни он, ни Мольтке, возглавляя генеральные штабы своих стран – с 1911 и 1906 года соответственно, предвидя войну, не учли в разрабатываемых планах своих предсказаний о том, что она будет войной на истощение.

Третьим – и единственным, кто действовал на основе своих предвидений, – был лорд Китченер, хотя он и не принимал участия в подготовке первоначальных планов. 4 августа его поспешно назначили

военным министром, когда он уже собрался сесть на пароход и отплыть в Египет. Китченер, словно бы обратясь к бездонным глубинам неведомого оракула, предсказал, что война продлится три года. Своему недоверчивому коллеге он сказал: «Да, три года, для начала. Такая нация, как Германия, взявшись за это дело, бросит его лишь тогда, когда будет разбита наголову. А это потребует очень много времени. И ни одна живая душа не скажет, сколько именно».

Кроме Китченера, с первых дней пребывания на посту военного министра настаивавшего на подготовке многомиллионной армии для войны, которая будет длиться годами, никто не составлял планов, рассчитанных более чем на три-четыре месяца. В Германии идея молниеносной войны вызывала уверенность в том, что благодаря скорости кампании военное вмешательство Англии не будет иметь значения.

«Если бы кто-нибудь сказал мне заранее, что Англия поднимет оружие против нас!» – стонал кайзер однажды за обедом в ставке, когда война уже разгорелась. Прозвучал чей-то несмелый голос: «Меттерних», имея в виду германского посла в Лондоне, который в 1912 году был уволен со своего поста за надоедливую привычку твердить о том, что усиление германского флота приведёт к столкновению с Англией не позднее 1915 года. Холдейн заявил кайзеру в 1912 году, что Англия никогда не согласится с тем, что французские порты на побережье пролива Ла-Манш могут оказаться в руках Германии, и напомнил ему также о договорных обязательствах в отношении Бельгии. В 1912 году принц Генрих Прусский в упор спросил своего двоюродного брата короля Георга: «В случае войны между Германией и Австрией, с одной стороны, и Францией и Россией – с другой, выступит ли Англия в поддержку двух последних упомянутых держав?» Король Георг ответил: «Без сомнения да, но при определённых обстоятельствах».

Несмотря на все предупреждения, кайзер отказывался верить этим сведениям, хотя, как он знал, они были достоверными. По свидетельству одного из его приближённых, предоставив Австрии свободу действий 5 июля, он вернулся на яхту, «убеждённый» в нейтралитете Англии. Его два приятеля со студенческих дней в Бонне – Бетман и Ягов, которых на государственные посты кайзер назначил лишь в силу своей сентиментальной слабости к собратьям по

студенческой корпорации, носившим чёрно-белые ленты и обращавшимся друг к другу на «ты», – периодически утешали себя взаимными заверениями в нейтралитете Англии, уподобляясь перебирающим чётки набожным католикам.

Мольтке и его генеральный штаб не нуждались ни в Грее, ни в ком-нибудь ещё, кто продиктовал бы им по слогам, какие действия предпримет Англия, поскольку считали вопрос о вмешательстве Англии решённым и не вызывающим сомнений. «Чем больше англичан, тем лучше», – сказал Мольтке адмиралу Тирпицу, имея в виду, что чем больше английских солдат высадится на континенте, тем больше их будет уничтожено в решающей битве. Естественный пессимизм Мольтке лишил его иллюзий, рождённых стремлением выдавать желаемое за действительное. В меморандуме, составленном в 1913 году, он изложил обстановку так, как её не смогли описать сами англичане. Мольтке утверждал: если Германия вступит на территорию Бельгии без её согласия, «тогда Англия выступит, и притом обязательно, на стороне наших врагов», как она и объявила ещё в 1870 году. По мнению Мольтке, в Англии никто не поверит обещаниям Германии освободить бельгийскую территорию после разгрома Франции. Мольтке полагал, что в случае войны между Германией и Францией Англия вмешается независимо от того, нарушит или нет германская армия нейтралитет Бельгии, «так как англичане боятся гегемонии Германии и, придерживаясь принципов поддержания равновесия сил, сделают всё, чтобы не допустить усиления Германии как державы».

«В годы, непосредственно предшествовавшие войне, у нас не было никаких сомнений в отношении незамедлительной высадки на побережье Франции британского экспедиционного корпуса», – свидетельствовал генерал фон Кюль, представитель высших кругов германского генерального штаба. По мысли германских генералов, английский экспедиционный корпус будет отобилизован на 11-й день войны, направлен в порты погрузки на 12-й и полностью переброшен во Францию на 14-й. Эти расчёты оказались практически точными.

Штаб германских военно-морских сил также не испытывал никаких иллюзий. «В случае войны Англия займёт враждебную позицию», – гласила телеграмма из морского министерства,

переданная 11 июля адмиралу фон Шпее, находившемуся на борту «Шарнхорста» в Тихом океане.

Через два часа после окончания речи Грея в палате общин произошло самое значительное с 1870 года событие, надолго запечатлевшееся в памяти каждого человека по обеим сторонам Рейна: Германия объявила войну Франции. Для немцев, по словам кронпринца, она означала «военное решение» напряжённой ситуации, конец кошмара изоляции. «Радостно вновь сознавать себя живыми», – с восторгом писала одна немецкая газета в специальном выпуске, озаглавленном «Благословение оружия». Немцы, утверждала она, «упиваются счастьем... Мы так долго ждали этого часа... Меч, который заставили нас взять в руки, не будет вложен в ножны, пока мы не добьёмся своих целей и не расширим территорию, как этого требует необходимость». Но не все переживали состояние экстаза. Депутаты левого крыла, вызванные в рейхстаг, замечали друг в друге «депрессию» и «нервозность». Один из них, признавая готовность проголосовать за все военные кредиты, пробормотал: «Мы не можем позволить им уничтожить рейх». Другой всё время ворчал: «Эта некомпетентная дипломатия, эта некомпетентная дипломатия».

Во Францию первый сигнал поступил в 6:15, когда в кабинете Вивиани зазвонил телефон и в трубке раздался голос американского посла Майрона Геррика. Задыхаясь от слёз, он сообщил, что к нему только что обратились с просьбой взять под своё покровительство германское посольство и поднять на его флагштоке американский флаг. Как заявил Геррик, он согласился, правда, отказавшись вывесить флаг.

Сразу же поняв, что означает эта просьба, Вивиани приготовился к неизбежному визиту германского посла. О его прибытии было доложено буквально через несколько минут. Фон Шён, женатый на бельгийке, вошёл с мрачным видом. Он начал с жалобы – по дороге сюда одна дама просунула голову в окно экипажа и «оскорбила меня и моего императора». Вивиани, чьи нервы были напряжены до предела мучительными событиями последних дней, поинтересовался, не эта ли жалоба является причиной визита германского посла. Шён признал, что у него есть и другие поручения и, развернув привезённый с собой документ, огласил его содержание. По свидетельству Пуанкаре, именно это и было истинной причиной смущения посла, имевшего



«честную душу». В ноте Франция обвинялась в «организованных нападениях» и воздушных бомбардировках Нюрнберга и Карлсруэ, нарушениях бельгийского нейтралитета французскими авиаторами, совершавшими полёты над территорией Бельгии. Вследствие указанных действий «Германская империя считает себя в состоянии войны с Францией».

Вивиани официально отклонил все обвинения, включённые в ноту не для того, чтобы произвести впечатление на правительство Франции, знавшее, разумеется, об их необоснованности, а для того, чтобы внушить германской общественности мысль, что немцы стали жертвой агрессии Франции. Вивиани проводил фон Шёна к двери, а затем, словно желая оттянуть момент расставания, вышел вместе с ним из здания и спустился по ступеням подъезда, подойдя едва ли не к самой дверце ожидавшего посла экипажа. Два представителя «наследственных врагов» остановились, молча переживая несчастье, безмолвно поклонились друг другу, и через несколько мгновений фон Шён исчез в сгущавшихся сумерках.

В тот вечер в Уайтхолле сэр Эдвард Грей, стоя у окна вместе с одним из своих друзей, глядел на улицу, где зажигались фонари. Он произнёс фразу, которой с тех пор нередко характеризовали канун войны: «Во всей Европе гаснут огни. Наше поколение не увидит, как они загорятся снова».

В Брюсселе 4 августа в 6 часов утра герр фон Белов нанёс последний визит в министерство иностранных дел. Германский посланник вручил ноту: ввиду отклонения предложений германского правительства, имеющих «самые благородные намерения», Германия вынуждена предпринять меры для обеспечения своей безопасности, «если необходимо, силой оружия». Это «если необходимо» всё ещё оставляло для Бельгии возможность переменить своё решение.

В тот же день американский посланник Брэнд Уитлок, которого попросили взять под своё покровительство германскую миссию, войдя в кабинет, застал там фон Белова и его первого секретаря Штумма. Они устало и неподвижно сидели в креслах и не делали никаких попыток упаковать своё имущество, их нервы были истощены «почти до предела». Белов курил, потирая лоб рукой; два престарелых чиновника, вооружившись свечами, сургучом и полосками бумаги,

опечатывали дубовые шкафы, где хранились архивы. «О, несчастные глупцы! – вполголоса повторял фон Штумм. – Почему они не уйдут с дороги, по которой на них движется паровой каток? Мы не хотим причинять им вреда, но если они останутся на нашем пути, мы втопчем их в грязь, смешаем с землёй. О, несчастные глупцы!»

И лишь позже многие в Германии стали задаваться вопросом, кто же в тот день на самом деле оказался глупцом. Этот день, как впоследствии сделал вывод австрийский министр иностранных дел граф Чернин, «стал началом нашей величайшей катастрофы»; в этот день, по признанию кронпринца, «мы, немцы, проиграли первое сражение в глазах всего мира».

Утром 4 августа, в две минуты девятого первая серо-зелёная волна перекатилась через границы Бельгии у Геммериха, в тридцати милях от Льежа. Бельгийские жандармы, находившиеся на постах в сторожевых будках, открыли огонь. Войска под командованием генерала фон Эммиха, выделенные из основных германских армий для наступления на Льеж, включали шесть пехотных бригад, каждая с артиллерией и другой военной техникой, и трёх кавалерийских дивизий. К вечеру они вышли к городу Визе на Маасе, которому первому суждено было превратиться в руины.

Вплоть до последней минуты многие всё ещё верили, что германские армии обойдут бельгийские границы. Зачем немцам по собственной воле обзаводиться ещё двумя врагами? Так как никто не считал немцев глупцами, на ум французам мог прийти один ответ, который напрашивался сам собой: германский ультиматум Бельгии не более чем трюк и никакого вторжения на её территорию не будет. Он предназначен лишь для того, «чтобы нам первыми пришлось вступить на землю Бельгии», как утверждал Мессими в своём приказе, запрещаая французским войскам, «даже патрулям или одиночным всадникам», пересекать пограничную линию.

По этой причине или по другим соображениям, однако Грей ещё не направил немцам английского ультиматума. Король Альберт не обратился к странам-гарантам за военной помощью. Он также опасался, что ультиматум может оказаться «колоссальным обманом», а если бы он преждевременно призвал английские войска, их присутствие вовлекло бы Бельгию в войну помимо её воли. Кроме того, могло обернуться и так, что, утвердившись на бельгийской земле,

соседи не станут торопиться с уходом. И лишь тяжёлый топот германских войсковых колонн, двигавшихся к Льежу, положил конец всем сомнениям и не оставил другого выбора. В полдень 4 августа король обратился к странам-гарантам с призывом к «совместным и согласованным действиям».

В Берлине Мольтке ещё надеялся, что после первых выстрелов, произведённых для спасения чести, бельгийцы, возможно, согласятся «на достижение взаимопонимания». Поэтому последняя германская нота говорила просто «о силе оружия» и не упоминала об объявлении войны. Когда бельгийский посол барон Бейенс пришёл к Ягову утром в день вторжения, чтобы потребовать свой паспорт, германский министр поспешил к нему навстречу с вопросом: «Итак, что вы хотите мне сказать?» – словно надеясь на какой-то шаг со стороны Бельгии. Он вновь повторил германское предложение уважать нейтралитет Бельгии и возместить все убытки, если не будут уничтожены железные дороги, мосты и туннели и войска будут беспрепятственно пропущены через бельгийскую территорию, что означало отказ от обороны Льежа. Когда Бейенс уже уходил, Ягов шёл за ним и говорил с надеждой в голосе: «Может быть, у нас ещё найдётся, что обсудить».

В Брюсселе, через час после начала вторжения, король Альберт в полевой военной форме отправился на заседание парламента. Мелкой рысью маленькая процессия двигалась по улице Рояль. Во главе её в открытой коляске ехала королева и её трое детей, за ней ещё два экипажа, замыкал кавалькаду король верхом на лошади. Дома вдоль всего пути украшали флаги и цветы, по обеим сторонам улицы стояли восторженные люди. Незнакомцы обменивались рукопожатиями, смеясь и крича, каждый ощущал, по свидетельству очевидца, единение с соотечественником, «общие узы любви и ненависти». Приветственные кличи прокатывались по толпе волна за волной, бельгийцы в охватившем всех единодушном порыве стремились продемонстрировать королю, что он – символ их страны и их решимости отстоять независимость. Даже австрийский посланник, который почему-то забыл, что ему следует не появляться на публике, и вместе с остальными дипломатами наблюдал за процессией из окна парламента, утирал слёзы с глаз.

После того как королева со свитой, депутаты и публика заняли свои места, в зал заседаний вошёл король. Коротким жестом бросив на кафедру фуражку и перчатки, он заговорил, и его голос лишь иногда выдавал волнение. Напомнив о конгрессе 1830 года, который создал независимую Бельгию, король обратился с вопросом: «Господа, решили бы вы без колебаний сохранить в неприкосновенности священный дар наших предков?» И депутаты, движимые одним чувством, вскочили с мест, восклицая: «Да! Да! Да!»

Американский посланник Уитлок описал эту сцену в своём дневнике. Его внимание привлёк двенадцатилетний наследник, одетый в матросский костюмчик. С напряжённым вниманием, не отрываясь, смотрел он на отца. Посланник спрашивал себя: «О чём думает этот мальчик?.. Вспомнит ли он когда-нибудь через много лет эту сцену? И каким образом? При каких обстоятельствах?» Мальчик в матросском костюмчике, став королём Леопольдом III, капитулировал в 1940 году, когда повторилось германское вторжение.

На улицах после окончания речи короля энтузиазм переходил в лихорадку. Солдаты, которых ещё вчера презирали, превратились в героев. Люди кричали: «Долой немцев! Смерть убийцам! Vive la Belgique indépendante! Да здравствует независимая Бельгия!» После того как король ушёл, толпа принялась вызывать военного министра — обычно, кто бы ни занимал этот пост, это был самый непопулярный человек в правительстве. Когда де Броквиль появился на балконе и те пылкие чувства, которые разделяли в этот день все в Брюсселе, нахлынули на него, то прослезился даже этот сдержанный и учтивый человек.

В это же время в Париже французские солдаты в красных штанах, в длинных тёмно-синих шинелях, с полами, подвёрнутыми спереди и пристёгнутыми уголками на пуговицы, маршировали по улицам и распевали песни.

Однорукий генерал По, очень популярный из-за своего увечья, сопровождал войска верхом на коне. Будучи ветераном войны 1870 года, он приколот к мундиру чёрно-зелёную ленту. Проезжали кавалерийские полки; кирасиры в блестящих металлом нагрудниках, с длинными чёрными султанами из конского волоса на шлемах, ещё не догадывались, что уже превратились в анахронизм. За ними двигались

огромные клетки с самолётами, платформы с длинными полевыми пушками, выкрашенными в серый цвет: так называемые «семидесятипятки», *soixante-quinzes* – гордость французской армии. Весь день поток людей, лошадей, оружия и военных грузов вливался под сводчатые порталы Северного и Восточного вокзалов.

По опустевшим бульварам маршировали отряды добровольцев, они размахивали флагами и плакатами и громкими криками заявляли о своих намерениях: «Люксембург никогда не будет немецким!», «Румыния собирается под знамёна матери латинских народов», «Свобода Италии оплачена французской кровью», «Испания – любящая сестра Франции», «Скандинавы Парижа», «Греки, которые любят Францию», «Жизни латиноамериканцев ради матери латиноамериканской культуры». Восторженными кличами и приветствиями встретили транспарант, который гласил: «Эльзасцы идут домой!»

На совместном заседании сената и палаты депутатов Вивиани, бледный как смерть и будто измученный душевными и телесными страданиями, превзошёл в пламенном красноречии самого себя, произнеся величайшую, по общему мнению, речь. Это, между прочим, говорили о всех, кто выступал в тот день. В портфеле у Вивиани лежал текст договора Франции с Россией, но на эту тему никто не задавал никаких вопросов. Бурными приветствиями парламент встретил его объявление о том, что Италия, «с ясным предвидением, характерным для латинского интеллекта», заявила о своём нейтралитете. Как ожидалось, третий участник Тройственного союза, когда дело дошло до испытания на прочность, отступил в сторону на том основании, что нападение Австрии на Сербию является актом агрессии, который освобождает Италию от обязательств по договору. Благодаря итальянскому нейтралитету Франция могла высвободить дополнительно 4 дивизии, или 80 тысяч человек, занятых охраной её южных границ.

После того как Вивиани кончил говорить, была зачитана речь президента Пуанкаре, который был очень занят и не смог лично присутствовать на заседании парламента. Эту речь слушали стоя. Франция, взывал Пуанкаре, выступает в глазах всего мира защитницей Свободы, Справедливости и Разума, удачно перефразировав традиционный французский девиз. Телеграммы со словами искреннего

сочувствия поступают во Францию из всех уголков, как намеренно выразился президент, «цивилизованного» мира. После того как были прочитаны последние строки послания, на трибуну поднялся генерал Жоффр, «поразительно уверенный в себе и совершенно спокойный», и обратился к президенту с прощальным приветствием перед отъездом на фронт.

В Берлине, когда депутаты рейхстага собрались на заседание, чтобы выслушать тронную речь кайзера, лил дождь. Через окна рейхстага, где должна была состояться предварительная встреча с канцлером, доносился бесконечный цокот лошадиных подков. Это кавалерия эскадрон за эскадрон шла по мокрым и блестящим от дождя улицам. Руководители партий встретились с Бетманом в комнате, украшенной громадной картиной, которая запечатлела знаменательное зрелище: кайзер Вильгельм I победоносно топчет своим конём французский флаг. Император был изображён вместе с Бисмарком и фельдмаршалом Мольтке на поле сражения под Седаном, а немецкий солдат на переднем плане придерживает французский флаг под копытами коня кайзера. Бетман призвал депутатов сплотиться и «быть единомышленными» в своих решениях. «Мы будем единомышленны, ваше превосходительство», – покорно ответил представитель либералов. Всезнающий Эрцбергер, который был докладчиком комитета по военным делам и близким знакомым канцлера, считался своим человеком на германском Олимпе. Сейчас он носился среди депутатов, заверяя каждого, что сербы будут разбиты «теперь уже наверняка к понедельнику» и что всё идёт хорошо.

После службы в кафедральном соборе депутаты дружно промаршировали к дворцу. Все двери тщательно охранялись, каждый вход был перекрыт натянутым канатом; народным представителям пришлось четырежды предъявлять пропуски, прежде чем они достигли Weißer Saal, Белого зала. В сопровождении нескольких генералов тихо вошёл кайзер и сел на трон. Бетман, одетый в форму гвардейского драгуна, вынул из королевского портфеля текст речи и передал его кайзеру, который, поднявшись (он выглядел маленьким рядом с канцлером), начал читать написанное; на голове его красовалась каска, а вторая рука покоилась на эфесе сабли. Не упоминая Бельгии, кайзер заявил: «Мы вынули меч с чистой совестью и чистыми руками». Война

спровоцирована Сербией при поддержке России. После рассуждений о несправедливостях русских депутаты заулюлюкали и закричали: «Позор!» Покончив с подготовленной частью речи, кайзер, повысив голос, провозгласил: «С этого дня я не признаю никаких партий, для меня существуют только немцы!» – и пригласил руководителей партий, если они разделяют его чувства, выйти и обменяться с ним рукопожатием. В течение этой церемонии рейхстаг, охваченный «крайним волнением», сотрясался от приветственных криков и возгласов, выражавших бурную радость.

В три часа депутаты вновь собрались на заседание, чтобы заслушать обращение канцлера и исполнить ещё оставшиеся у них обязанности, а именно – одобрить военные кредиты и принять решение о временном прекращении работы рейхстага. Социал-демократы единодушно согласились голосовать вместе с прочими и последние часы своих депутатских обязанностей провели в оживлённых консультациях по поводу того, следует ли присоединиться к «Hoch!» в честь кайзера. К общему удовлетворению, они решили возгласить «Hoch!» «кайзеру народу, стране».

Когда Бетман вышел на трибуну, все стали мучительно ждать, что же он скажет о Бельгии. Год тому назад на тайном совещании руководящего комитета рейхстага министр иностранных дел Ягов заявил, что Германия никогда не нарушит нейтралитета Бельгии, а тогдашний военный министр, генерал фон Хееринген, дал обещание, что в случае войны верховное командование будет уважать нейтралитет Бельгии до тех пор, пока он не будет нарушен врагами Германии. 4 августа депутаты ещё не знали, что в то утро немецкие армии уже вторглись в Бельгию. Им объявили об ультиматуме, но ничего не сообщили об ответе Бельгии, потому что германское правительство, пытаясь создать впечатление о её молчаливом согласии, хотело представить сопротивление бельгийской армии как несанкционированное и никогда не опубликовывало ответной ноты короля Альберта.

«Наши войска, – сообщил Бетман напряжённо слушавшей аудитории, – оккупировали Люксембург и, возможно, – слово „возможно“ не имело смысла, так как германские войска перешли границы восемь часов тому назад, – уже находятся в Бельгии». (Всеобщее смятение.) Да, совершенно верно, Франция дала

обязательство уважать её нейтралитет, но «мы знали, что она была готова вторгнуться в Бельгию», и «мы не могли ждать». Разумеется, как отметил канцлер, это был случай военной необходимости, а «необходимость не знает законов».

До сих пор депутаты, как правые, так и левые, презиравшие или не доверявшие Бетману, слушали его, затаив дыхание. Однако следующая фраза вызвала сенсацию. «Наше вторжение в Бельгию противоречит международному праву, но зло, — я говорю откровенно, — которое мы совершаем, будет превращено в добро, как только наши военные цели будут достигнуты». Адмирал Тирпиц назвал это заявление самой большой глупостью, сказанной когда-либо германским государственным деятелем, а Конрад Гауссман, лидер либеральной партии, считал лучшей частью речи канцлера. Поскольку, как полагали он и его коллеги из левых партий, акт признания вины — *«mea culpa»* — совершен публично, то вся ответственность с них снимается, и поэтому они встретили слова канцлера приветственными возгласами: «Sehr richtig! Очень верно!» В этот день Бетман уже произнёс несколько афоризмов, но в заключение он сказал настолько поразительную вещь, что она сделала его имя бессмертным. По его словам, всякий, кому угрожали бы такие же опасности, как немцам, думал бы лишь о том, как «пробить себе путь».

Военный кредит в 5 миллиардов марок был одобрен единогласно. После этого рейхстаг постановил прервать свои заседания на четыре месяца, то есть на то время, пока будет длиться война, — так думали почти все. Бетман закрыл сессию рейхстага заверениями, в которых сквозили нотки приветствия гладиаторов: «Какова бы ни была наша участь, 4 августа 1914 года войдёт навечно в историю как один из величайших дней Германии!»

В 7 часов вечера 4 августа наконец-то стал известен ответ Англии, который многие ждали с мучительным беспокойством. Утром британское правительство набралось решимости, достаточной для того, чтобы отправить ультиматум. Однако почему-то это было сделано в два приёма. Сначала Грей запросил у Германии гарантий, что та «не станет настаивать» на своих притязаниях на Бельгию, и потребовал прислать в Лондон «немедленный ответ». Но поскольку в ноте не содержалось никаких сроков для ответа и не упоминалось ни о каких-либо санкциях, технически её нельзя было считать



ультиматумом. Грей ждал до тех пор, пока не получил известий о вторжении германской армии в Бельгию, и тогда отправил новое послание, где говорилось, что Англия считает «своим долгом сохранить нейтралитет Бельгии и выполнить условия договора, подписанного не только нами, но и Германией». В полночь должен был быть представлен «удовлетворительный ответ», а в случае его отсутствия английскому послу следовало потребовать свой паспорт.

Почему же ультиматум не был отправлен накануне вечером, сразу же после того, как парламент ясно выразил поддержку Грею? Это можно объяснить только нерешительностью правительства. Какой «удовлетворительный ответ» надеялось оно получить от Германии, если не считать покорного согласия вывести свои войска из Бельгии, границы которой были ею преднамеренно и бесповоротно нарушены в то же утро, и зачем Англии потребовалось ждать этого фантастического и несбыточного события до утра, остаётся совершенно непонятным. В Средиземноморье те часы, потерянные на ожидание полуночи, оказались критически важными.

В Берлине английский посол сэр Эдвард Гошен вручил ультиматум канцлеру, с которым у него состоялся исторический разговор. Бетмана посол нашёл «чрезвычайно взволнованным». Как пишет сам Бетман, «моя кровь закипала при мысли об этой лицемерной ссылке на Бельгию, что, разумеется, не было причиной вступления Англии в войну». Негодование вынудило Бетмана пуститься в разглагольствования. Он сказал, что Англия совершает «немыслимое», решаясь на войну с «родственной нацией». Это всё равно что «ударить сзади человека, борющегося за свою жизнь с двумя разбойниками». В результате этого «последнего, страшного шага» Англия берёт на себя ответственность за все ужасные события, которые могут последовать, и «всё это лишь за одно слово – „нейтралитет“ – всё равно что за клочок бумаги...»

Едва ли придав значение этой фразе, Гошен включил её в свой отчёт о состоявшемся разговоре. Он ответил Бетману, что если со стратегической точки зрения вступление Германии в Бельгию равносильно вопросу о жизни и смерти, тогда то же самое можно сказать и об Англии – сохранение неприкосновенности Бельгии для неё не менее важно. «Ваше превосходительство слишком взволнованы, слишком потрясены известием о нашем шаге и настолько не

расположены прислушиваться к доводам рассудка, что дальнейший спор бесполезен», – заметил посол, не став продолжать разговор.

Когда он выходил от канцлера, двое людей в служебном автомобиле газеты «Берлинер тагеблатт» уже ездили по улицам Берлина и разбрасывали листовки (несколько преждевременно, так как срок ультиматума истекал только в полночь) о том, что Англия объявила войну. Вслед за отступничеством Италии, этим последним актом «предательства», этим отказом от обязательств в последнюю минуту, появление ещё одного врага разъярило берлинцев, и уже через час многочисленная и дико орущая толпа принялась швырять камни и бить стёкла в окнах английского посольства. За одну ночь Англия превратилась в злейшего врага, и именно ей адресовалось «*Rassenverrat!*» («Расовое предательство!») – излюбленное слово для выражения ненависти. Кайзер в одном из своих наименее проницательных комментариев по поводу войны заявил: «Подумать только, Георг и Ники одурачили меня! Будь жива моя бабушка, она не допустила бы этого!»

Немцы не могли прийти в себя от такого вероломства. Невероятно, чтобы Англия, выродившаяся до такой степени, что суфражистки забрасывают вопросами премьер-министра и сопротивляются полиции, собиралась воевать. Англия, пускай и она оставалась сильной империей, над владениями которой никогда не заходит солнце, уже дряхлеет, и Германия относилась к ней, как варвары-вестготы к Римской империи времён упадка – с презрением, смешанным с чувством неполноценности новичка. Как сетовал адмирал Тирпиц, англичане думают, будто могут «обращаться с нами, как с португальцами».

Предательство Англии заставило немцев ещё более глубоко почувствовать своё одиночество. Они ощущали себя народом, которого никто не любит. Как так получилось, что Ницца, захваченная Францией в 1860 году, смирилась с этим, успокоилась и за несколько лет забыла, что когда-то была итальянской, а полмиллиона эльзасцев предпочли покинуть родные места, но не жить под германским владычеством? «Нашу страну нигде не любят, а в действительности чаще всего больше ненавидят», – отмечал в заметках о своих поездках кронпринц.

Пока толпы на Вильгельмштрассе, громко вопя, требовали отмищения, подавленные депутаты левых партий собрались в кафе и сокрушались по поводу происходящего.

— Весь мир поднимается против нас, — сказал один из них. — У германизма в мире есть три врага — романские народы, славяне и англосаксы, и сейчас они все объединились против нас.

— Благодаря нашей дипломатии у нас остался один друг — Австрия, да и ту нам приходится поддерживать, — заявил другой.

— По крайней мере, хорошо лишь то, что война быстро кончится, — утешил их третий. — Через четыре месяца наступит мир. С точки зрения экономики и финансов, мы вряд ли протянем дольше.

— Остаётся лишь надеяться на турок и японцев, — вставил ещё кто-то.

Действительно, прошлым вечером по кафе и закусочным прокатился такой слух, когда посетители кафе стали беспокойно оглядываться по сторонам — с улицы послышался отдалённый гомон приближавшейся толпы и крики «ура». Один из современников писал в своём дневнике: «Они подходили всё ближе и ближе. Люди прислушивались, затем начали вскакивать с мест. Крики „ура“ становились всё громче. Они эхом прокатывались по Потсдамской площади. Казалось, надвигался шторм. Посетители, оставив еду, выбегали из ресторанов на улицу. Меня увлёк этот людской поток. „Что случилось?“ — „Япония объявила войну России!“ — кричали из толпы. Ура! Ура! Буйное выражение радости. Люди обнимают друг друга. „Да здравствует Япония! Ура! Ура!“ Бесконечное ликование. Кто-то закричал: „К японскому посольству!“ И толпа, неудержимо увлекая всех, хлынула к посольству и окружила здание. „Да здравствует Япония! Да здравствует Япония!“ — раздавались пылкие возгласы, пока наконец не появился японский посол и, заикаясь от смущения, выразил благодарность за это неожиданное и, как казалось ему, незаслуженное проявление признательности». И хотя на другой день стало известно о ложности этих слухов, но берлинцы только лишь через две недели поняли, насколько незаслуженным было это проявление признательности.

Когда посол Лихновский и сотрудники посольства покидали Англию, один из друзей, пришедших проводить его на лондонский вокзал Виктория, был поражён «грустной и тяжёлой» атмосферой

прощания. Немецкие дипломаты ругали правительство за то, что оно втянуло страну в войну, имея в союзниках лишь Австрию.

— Какие у нас шансы, когда на нас нападают со всех сторон? Неужели у Германии нет друзей? — мрачно спросил один из дипломатов.

— Мне говорили, есть ещё Сиам, — ответил его коллега.

Не успела Англия направить ультиматум, как кабинет вновь стали раздирать споры о том, следует ли направлять во Францию экспедиционный корпус. Объявив о вступлении в войну, министры начали рассуждать, насколько деятельным будет её участие и как далеко может зайти Англия, оказывая помощь французам. В соответствии с совместными планами английские экспедиционные силы в составе шести дивизий должны были прибыть во Францию между 4-м и 12-м днём мобилизации и на 15-й день занять боевые позиции на крайнем левом фланге французской оборонительной линии. График и так уже был сорван, потому что мобилизацию в Англии намечалось объявить на два дня позже, чем во Франции. Таким образом, английский 1-й день мобилизации (5 августа) отстал от французского на трое суток, что грозило дальнейшими задержками.

Страх вторжения в Англию парализовал кабинет Асквита. В 1909 году после специального изучения вопроса Комитет имперской обороны пришёл к выводу, что вторжение в Англию можно считать «практически маловероятным». Даже если немцы, опасаясь достаточно мощных сил внутренней обороны, создадут крупную десантную группировку, английский флот сможет её перехватить и уничтожить в море. Несмотря на заверения в том, что английский флот в состоянии обеспечить надёжную оборону Британских островов, 4 августа руководители Англии никак не могли набраться мужества, чтобы направить регулярную армию на континент. Выдвигались предложения о переброске не всех шести дивизий, а лишь части, об отсрочке десанта и даже об отказе от этой идеи. Адмиралу Джеллико заявили, что в «настоящее время» нет необходимости в запланированном эскортировании экспедиционного корпуса через пролив Ла-Манш. Без распоряжения правительства никто в военном министерстве не мог привести в движение Британский экспедиционный корпус, а правительство по-прежнему не находило в

себе мужества для подобного шага. В самом военном министерстве дела также шли из рук вон плохо, по-видимому, из-за того, что в течение четырёх месяцев там не было руководителя. Асквит уже склонялся к тому, чтобы пригласить лорда Китченера в Лондон, однако ещё не решался предложить ему пост военного министра. Стремительный и неугомонный сэр Генри Уилсон, чей опубликованный после войны беспристрастный дневник вызвал такое смятение, чувствовал «отвращение при виде подобного положения дел». Бедный Камбон был не в лучшем состоянии, когда, вооружившись картой, он отправился к Грею, чтобы доказать, как важно для Франции растянуть левый фланг обороны с помощью шести английских дивизий. Грей пообещал доложить об этом кабинету министров.

Генерал Уилсон, взбешённый отсрочками, которые он относил за счёт «ужасной» нерешительности Грея, с негодованием показывал своим друзьям из оппозиции копию мобилизационного приказа, содержавшего вместо слов «мобилизовать и произвести погрузку на суда» лишь «мобилизовать». Одно только это, утверждал он, приведёт к отставанию от графика на четыре дня. Бальфур взялся подстегнуть правительство. Он адресовал Холдейну письмо, заявляя, что весь смысл Антанты и военных приготовлений заключается в сохранении Франции как государства, ибо в случае её падения «будущее Европы станет развиваться в катастрофическом для нас направлении». Главное должно заключаться в том, утверждал он, чтобы «ударить быстро и ударить всеми имеющимися силами». Когда Холдейн явился к нему, чтобы разъяснить причины нерешительности правительства, Бальфур не преминул заметить, что в политике кабинета наблюдаются «некая сумбурность идей и неопределённость целей».

Днём 4 августа, примерно в тот же час, когда Бетман зачитывал своё обращение к рейхстагу, а Вивiani выступал в палате депутатов, Асквит объявил палате общин о получении послания, «собственноручно подписанного его величеством». Спикер встал со своего места, а члены парламента обнажили головы, пока оглашалась «Прокламация о мобилизации». Затем Асквит, держа слегка дрожащей рукой копию отпечатанного на машинке ультиматума, зачитал его. Этот документ только что телеграфом был отправлен в Германию. На

скамьях парламентариев раздался одобрителный гул, когда Асквит дошёл до слов: «удовлетворительный ответ в полночь».

Оставалось лишь подождать до полуночи (11 часов по английскому времени). В девять часов из перехваченной и расшифрованной телеграммы из Берлина правительство узнало о том, что Германия будет считать себя в состоянии войны с Англией с того момента, когда посол потребует свой паспорт. Поспешно собравшись на новое заседание, министры долго спорили, объявить войну немедленно или дожидаться истечения срока ультиматума. Решили ждать. В тишине, погружившись в свои мысли, они сидели вокруг зелёного стола в плохо освещённом зале для заседаний, как будто чувствуя тени тех, кто в столь же роковые минуты истории за много лет до них собирался в этой комнате. Все глаза были устремлены на часы, стрелки которых приближались к решающему часу. «Бом!» – раздался первый из одиннадцати ударов Биг Бена, и каждый из них отдавался в сердце Ллойд Джорджа, склонного, как все кельты, к мелодраме, ударами судьбы: «Рок, рок, рок!»

Через двадцать минут была отправлена телеграмма военным: «Война, Германия, действуйте». Где и как должна была действовать армия, по-прежнему оставалось нерешённым. Этот вопрос был оставлен на усмотрение Военного совета, назначенного на следующий день. Британское правительство отправилось спать, объявив войну, но не став от этого воинственнее.

На другой день штурмом Льежа началось первое сражение войны. Как написал в этот день Мольтке Конраду фон Хётцендорфу, Европа вступала в «борьбу, которая определит ход истории на последующие сто лет».

# Битва

## Глава 10

### «Гёбен»: «...Враг бежал»

Прежде чем началось сражение на суше, из германского морского министерства командующему эскадрой в Средиземном море, адмиралу Вильгельму Сушону (Souchon), в предрассветные часы 4 августа поступила телеграмма. В ней говорилось: «Союз с Турцией заключён 3 августа. Немедленно направляйтесь в Константинополь». И пусть телеграмма опередила события и была почти сразу дезавуирована, адмирал Сушон решил выполнить первоначальный приказ. Его эскадра состояла из двух быстроходных новых кораблей, крейсера «Гёбен» (Goeben) и лёгкого крейсера «Бреслау». Никакое другое военное предприятие тех лет не отбросило на мир тени гуще, чем крейсерский рейд этих кораблей в последующие семь дней.

Накануне Сараева Турция имела множество врагов и ни одного союзника, поскольку никто не видел в ней достойного партнёра. На протяжении сотни лет Османская империя, этот «больной человек Европы», воспринималась ведущими европейскими державами как страдалец, обречённый на смерть. Но год за годом пресловутый страдалец отказывался умирать и отчаянно сжимал в дряхлеющих руках ключи к своим огромным богатствам. Мало того – в последние шесть лет перед войной, с тех самых пор, как младотурецкая революция свергла в 1908 году старого султана «Абдула Проклятого» и усадила на трон его более сговорчивого брата, за которым присматривал комитет «Единения и прогресса», Турция начала омолаживаться.

Комитет, то есть младотурки во главе со своим «маленьким Наполеоном» Энвер-пашой, был твёрдо намерен преобразовать страну, «выковать силы», необходимые, чтобы сохранить разваливающуюся империю, отогнать «кружащих стервятников» и восстановить панисламское владычество времён расцвета Османской империи. За этими усилиями Россия, Франция и Англия, чьи интересы в регионе пересекались, наблюдали без всякого воодушевления. Германия же, запоздавшая с имперскими амбициями и грезившая о «германском



мире от Берлина до Багдада», приняла решение стать покровителем младотурков. Немецкая военная миссия 1913 года, задачей которой была провозглашена реорганизация турецкой армии, вызвала такую ярость России, что лишь совместные старания союзников и их стремление «сохранить лицо» помешали разгореться конфликту «из-за этих балканских глупцов» за год до Сараева.

С тех пор турки ощущали неумолимое приближение дня, когда им придётся выбирать, с кем заключать союз. Опасаясь России, испытывая ненависть к Англии и недоверие к Германии, они никак не могли решиться. «Герой революции», красивый молодой Энвер-паша, розовощёкий и черноусый (усы он закручивал кверху, как кайзер), был единственным искренним и горячим сторонником союза с Германией. Подобно некоторым поздним мыслителям, он видел в немцах залог светлого будущего. Талаат-паша, политический «босс» организации «Единение и прогресс» и её реальный глава, дородный левантийский авантюрист, способный в один присест поглотить фунт икры, запив его двумя стопками бренди и двумя бутылками шампанского, испытывал сомнения. Он считал, что для Турции сотрудничество с Германией едва ли не обременительнее, чем сотрудничество с Антантой, и не верил в возможность Турции сохранить нейтралитет в неизбежной войне великих держав. Если победит Антанта, османскому величию придёт конец, а если победу одержат Центральные державы, Турция окажется немецким вассалом. Другие группы в турецком правительстве предпочли бы союз с Антантой под гарантии «усмирения» России, извечного врага Турции. За десять столетий вражды Россия постоянно точила зубы на Константинополь, который русские называли Царьградом, город в горловине Чёрного моря. И не удивительно: только знаменитый узкий морской пролив Дарданеллы, пятидесяти миль в длину и не более трёх миль в ширину, предоставлял России круглогодичный выход в мировой океан.

Турция обладала одним несомненным достоинством — своим географическим положением на стыке торговых путей. Именно по этой причине Англия целое столетие выступала на стороне Турции, однако беда была в том, что англичане больше не принимали Турцию всерьёз. После ста лет поддержки османских султанов против всех, кто бросал тем вызов (поддержки, вызванной стремлением иметь слабых, обескровленных и потому вполне податливых «подопечных» на дороге

в Индию), Англия наконец устала от помощи стране, которую Уинстон Черчилль любезно охарактеризовал как «скандальную, дряхлую, обветшавшую и нищую». На протяжении длительного времени Турция славилась в Европе как синоним дурного управления, коррупции и жестокости. Либералы, которые были у власти в Англии с 1906 года, вспомнили о знаменитом призыве Гладстона изгнать турок, эту «невыразимую античеловеческую отрыжку человечества», из Европы. Британскую политику в отношении Турции формировали слитые воедино видения «больного человека» и грозного янычара. Спортивная метафора лорда Солсбери, озвученная после Крымской войны: «Мы поставили деньги не на ту лошадь», – внезапно оказалась пророческой. И британскому вмешательству в дела Порты позволили ослабнуть – как раз тогда, когда оно сделалось действительно необходимым.

Пожелание Турции заключить постоянный союз с Великобританией было отвергнуто в 1911 году устами Уинстона Черчилля, который побывал в Константинополе двумя годами ранее и установил «дружеские отношения», как он их понимал, с Энвером и другими руководителями младотурков. В имперском стиле, какой использовался для общения с восточными деспотиями, Черчилль заявил, что, хотя Британия не готова на союз, Турции не следует отказываться от британской дружбы и «возвращаться к жестоким методам старого режима или пытаться нарушить статус-кво Британии, каков он есть на сегодняшний день». Величественно озирая мир со своего поста во главе адмиралтейства, Черчилль напомнил Турции, что британская дружба тем ценнее, чем дольше Великобритания «единственная из европейских стран... сохраняет господство на море». Что дружба с Турцией или хотя бы нейтралитет последней могут оказаться равно полезными для Великобритании, не приходило в голову ни Черчиллю, ни любому другому английскому министру.

В июле 1914 года, обнаружив перспективу воевать на два фронта, немцы вдруг озаботились поисками союзника, который мог бы закрыть выход в Чёрное море и отрезать Россию от поставок и других участников Антанты. Давнее турецкое предложение о союзе, на которое долго не обращали внимания, пришлось как нельзя более кстати. Встревоженный кайзер настаивал на том, что «сейчас требуется зарядить все пушки на Балканах и нацелить их на славян». Когда Турция начала выторговывать лучшие условия и притворилась,

будто склоняется в сторону Антанты, кайзер фактически запаниковал и направил распоряжение своему послу отвечать на турецкие требования «безоговорочным согласием... Ни при каких условиях мы не можем себе позволить их потерять».

Двадцать восьмого июля, в день, когда Австро-Венгрия объявила войну Сербии, Турция официально обратилась к Германии с предложением заключить тайный наступательный и оборонительный альянс, который вступал в силу, если любая из сторон начинала войну с Россией. В тот же день это предложение было в Берлине получено и принято, и телеграф доставил в Константинополь проект договора, подписанный канцлером. В последний момент турки замешкались, прикидывая, стоит ли связывать себя обязательствами, которые налагал на них союз с Германией. Если бы только они были уверены, что Германия победит...

Пока турки медлили, Англия подтолкнула их к решению, конфисковав два турецких линкора, что строились по контракту на британских верфях. Это были первоклассные боевые корабли, способные на равных сражаться с британскими, и один из них нёс 13,5-дюймовые орудия. Деловитый первый лорд адмиралтейства «реквизировал», по его собственным словам, турецкие корабли 28 июля. Один корабль, «Султан Осман», был уже спущен на воду в мае, и англичане получили за него первый платёж, но, когда турки захотели забрать линкор домой, вдруг посыпались зловещие намёки на греческих заговорщиков, якобы планирующих уничтожить корабль торпедами с подводной лодки; в итоге «Осман» остался в Англии дожидаться спуска на воду «Решадие», чтобы затем вместе отправиться к турецким берегам. «Решадие» был готов в начале июля, и тут появились новые оправдания дальнейших проволочек. Скоростные и артиллерийские испытания кораблей необъяснимо задерживались. Узнав о приказе Черчилля, турецкий капитан, который ожидал, вместе с пятьюстами моряками-соотечественниками, на борту транспорта в гавани Тайна, пригрозил силой прорваться на корабли и поднять над ними турецкий флаг. Не без удовольствия глава адмиралтейства распорядился предотвратить попытку «с помощью оружия, если это понадобится».

Строительство двух кораблей обошлось Турции в огромную сумму – около 30 миллионов долларов. Деньги были собраны по

общенародной подписке после поражения в Балканских войнах: турецкая общественность осознавала необходимость обновления вооружённых сил. Каждый анатолийский крестьянин внёс хотя бы грош на это строительство. И приказ о захвате кораблей, ещё до того как о нём стало известно широким массам в Турции, вызвал, по скромному замечанию морского министра Джемаль-паши, «глубокие страдания» в турецком правительстве.

Англия не приложила ни малейших усилий, чтобы утишить турецкие муки. Лорд Грей, официально извещая турок о пиратстве в гавани Тайна, не сомневался: Турция поймёт, почему Англия сочла необходимым конфисковать корабли для «собственных насущных потребностей». Финансовые и прочие потери Турции – о которых правительство Его Величества «искренне сожалеет», вежливо прибавил он, – будут рассмотрены с «должным вниманием». О компенсациях не было упомянуто ни словом. В целом, опираясь на представления о «больном человеке» и «не той лошади», Англия сочла, что два новых военных корабля для неё дороже Османской империи как таковой. Телеграмма с сожалениями Грея была отправлена 3 августа. В тот же день Турция подписала договор о союзе с Германией.

При этом она не стала, тем не менее, объявлять войну России, как того требовал договор, или «закрывать» Чёрное море, или предпринимать вообще какие-либо действия, публично нарушавшие строгий нейтралитет. Добившись альянса с крупной державой на собственных условиях, Турция отнюдь не спешила помочь своему новому союзнику. Её вечно сомневавшиеся министры предпочли выждать и посмотреть, как будет складываться ситуация на фронтах. Германия далеко, а вот русские и англичане представляли собой близкую и серьёзную угрозу. Вступление Англии в войну выглядело неизбежным и вызывало немалые опасения. Опасаясь именно такого развития событий, германское правительство поручило послу в Турции барону Вангенхайму принудить Турцию к объявлению войны России – «сегодня, если возможно», поскольку «чрезвычайно важно не позволить Порте переметнуться от нас под влиянием Англии». Но Турция не подчинилась. Все министры, кроме Энвер-паши, желали оттянуть открытые военные действия против России до тех пор, пока не станет ясен, хотя бы в общих чертах, вероятный исход войны.

В Средиземном море серые силуэты маневрировали в ожидании грядущей схватки. Радисты, напряжённо вслушиваясь в наушники, принимали оперативные приказы далёких адмиралтейств. Основной и важнейшей задачей британского и французского флотов считалось обеспечение безопасной переправы из Северной Африки во Францию французского колониального корпуса, в котором, с тремя дивизиями вместо обычных двух и вспомогательными подразделениями, насчитывалось более 80 тысяч человек. Наличие или отсутствие целого армейского корпуса на отведённом ему месте на поле битвы могло стать решающим фактором в сражении, в котором, как считали обе стороны, будет решаться судьба Франции, пошедшей на открытое противостояние с Германией.

Оба флота, французский и британский, видели в крейсерах «Гёбен» и «Бреслау» главную угрозу французским транспортам и потому не сводили с них глаз. Французы имели в Средиземном море самый крупный флот для защиты транспортов – 16 линкоров, 6 крейсеров и 24 эсминца. Британский Средиземноморский флот, базировавшийся на Мальте, не располагал дредноутами, зато имел три линейных крейсера – «Инфлексибл», «Индомитейбл» и «Индефатигейбл», каждый водоизмещением 18 тысяч тонн; вооружение – по восемь 12-дюймовых орудий, скорость – 27–28 узлов. Они могли нагнать и уничтожить любой корабль противника, за исключением линкоров класса дредноута. Кроме того, британский флот включал в себя четыре броненосных крейсера водоизмещением 14 000 тонн, четыре лёгких крейсера водоизмещением почти 5000 тонн и 14 эсминцев. Итальянский флот сохранял нейтралитет. Австрийский флот базировался на Пулу в северной части Адриатического моря и располагал восемью линейными кораблями, в том числе двумя новыми дредноутами с 12-дюймовыми орудиями, и соответствующим количеством других кораблей. Впрочем, реальной силой он выглядел лишь на бумаге.

Германия, обладая вторым в мире по величине флотом, имела в Средиземном море всего два военных корабля. Первым из них был линейный крейсер «Гёбен», водоизмещением 23 000 тонн и размерами с дредноут, развивавший скорость до 27,8 узлов, сопоставимую со скоростью британских «Инфлексиблов», и несший примерно то же

вооружение. Другой корабль, «Бреслау», имел водоизмещение 4500 тонн, что помещало его в разряд лёгких крейсеров по британской классификации. «Гёбен» превосходил в скорости любой французский линкор или крейсер, а потому «не затруднился бы», как цинично заметил первый лорд адмиралтейства, «избежать встречи с французским ударным флотом или крейсерскими патрулями и накинуться на незащищенные транспорты – и топить их один за другим, вместе с пехотой». Если и можно выделить некую характерную особенность британского военно-морского мышления до начала войны, это, безусловно, наделение германского флота гораздо большей отвагой и готовностью рисковать, чем было свойственно самим британцам – или чем выказали немцы в ходе реальных боевых действий.

Угроза французским транспортам и в самом деле была одной из причин, по которой «Гёбена» и «Бреслау» направили в Средиземное море сразу после спуска на воду в 1912 году. Правда, в последний момент немцы осознали, что крейсера могут выполнять и другие, более важные, задачи. В итоге 3 августа, когда стало понятно, что необходимо всеми возможными способами надавить на нерешительных турок, адмирал Тирпиц приказал адмиралу Сушону идти в Константинополь.

Сушон, темноволосый, сухощавый и острый на язык моряк пятидесяти лет, поднял свой флаг на борту «Гёбена» в 1913 году. С тех пор он обошёл весь средиземноморский бассейн, изучил проливы и очертания побережий, повидал мысы и острова, посетил порты, изучил местности и характер тех персоналий, с которыми ему предстояло бы иметь дело в случае войны. Он побывал в Константинополе и общался с турками, обменивался любезностями с итальянцами, греками, австрийцами и французами – едва ли не со всеми, кроме англичан, которые, как он сообщал кайзеру, категорически не желают бросать якоря в тех гаванях, где замечают немцев. У них в привычке было войти в порт сразу после ухода немцев, дабы подавить любое впечатление, какое могли бы произвести немцы, то есть, как изящно выразился кайзер, «плюнуть в суп».

В Хайфе, узнав о событиях в Сараеве, Сушон сразу понял, что война вот-вот разразится, и приказал скорее заканчивать с ремонтом котлов – те давно травили пар, и вообще-то планировалось, что

«Гёбен» в октябре отправится на верфь в Киль, а на замену ему прибудет «Мольтке». Рассчитывая на худшее, Сушон двинулся в Пулу, потребовав телеграммой от военно-морского министерства предоставить новые паропроводы и квалифицированных ремонтников. Весь июль велись лихорадочные работы. В ремонте участвовал каждый член экипажа, способный держать в руках молоток. За восемнадцать дней удалось заменить 4000 повреждённых труб. И всё же ремонт не успели закончить: Сушон получил предупреждение и оставил Пулу, чтобы не оказаться запертым на Адриатике.

Первого августа он достиг Бриндизи на «пятке» итальянского «сапога», и итальянцы, ссылаясь на то, что море слишком бурное для тендеров, отказались пополнить его запасы угля. По всей видимости, предательство Италией интересов Тройственного союза было не за горами и грозило лишить Сушона возможности бункеровки там углём. Адмирал собрал офицеров, чтобы обсудить, как им действовать. Шансы прорваться сквозь эскадры союзников в Атлантику, попутно причинив ущерб французским транспортам, встреченным по дороге, зависели от скорости, а та зависела от состояния и полноты котлов.

— Сколько котлов травят пар? — спросил Сушон.

— Два в последние четыре часа, — ответил адъютант.

— Чёрт! — бросил адмирал, гневаясь на судьбу, которая искалечила его великолепный корабль в такой неподходящий миг. В конце концов он решил идти в Мессину, где могли встретиться немецкие торговые суда; с них при необходимости уголь попросту реквизируют. На случай войны Германия заранее разделила Мировой океан на «округа» и в каждый назначила офицера по снабжению, который имел полномочия отправлять все суда в своём округе туда, где находились немецкие военные корабли, и использовать ресурсы немецких банков и коммерческих фирм для нужд военного флота.

Весь день, пока «Гёбен» огибал оконечность итальянского «сапога», радист крейсера выстукивал приказ коммерческим пароходам идти к Мессине. В Таранто к «Гёбену» присоединился «Бреслау».

«Срочно. Немецкий крейсер „Гёбен“ в Таранто», — телеграфировал британский консул 2 августа. Это известие всколыхнуло в адмиралтействе надежды — первая жертва британского флота: узнать местонахождение врага — наполовину выиграть схватку.

Однако, поскольку Британия формально ещё не вступила в войну, открытие охоты пришлось отложить. Пребывавший в ожидании приказа об атаке Черчилль 31 июля сообщил командующему Средиземноморским флотом адмиралу сэру Беркли Милну, что его первая задача – содействие в защите французских транспортов, «в том числе через обнаружение и, если возможно, вовлечение в бой отдельных быстроходных немецких кораблей, в особенности „Гёбена“». Милну также напомнили, что «скоростей Ваших эскадр достаточно, чтобы Вы сами выбрали момент сражения». Тем не менее, одновременно ему, в противоречие сказанному ранее, велели «собрать все силы в кулак» и «избегать столкновений с превосходящими отрядами противника». Последний приказ не раз отдавался погребальным звоном в ушах англичан в последующие несколько дней.

Под «превосходящими отрядами» Черчилль, как он позднее объяснял, имел в виду австрийский флот. Его линкоры в сравнении с британскими «Инфлексиблами» были как французские линкоры по сравнению с «Гёбеном» – надёжнее бронированные и тяжелее вооружённые, зато более медленные. Черчилль позднее прибавлял, что его приказ вовсе не представлял собой «вето британским кораблям на какое-либо противодействие превосходящим силам противника вне зависимости от ситуации». Если это и в самом деле не было вето, значит командиры могли действовать по своему усмотрению; то есть мы сталкиваемся с главной проблемой всякой войны – темпераментом отдельного командира.

Накануне фактического боестолкновения, накануне момента, ради которого он выдерживал многолетнюю профессиональную подготовку, момента, когда жизни подчинённых, исход конкретной схватки и даже судьба кампании зависят от его решения в этот миг, – что происходит в сердце и в мыслях командира? Одни командиры преисполнены смелости, другие колеблются, третьи тщательно планируют, а четвёртые бездействуют, словно парализованные страхом.

Адмирал Милн славился своей осмотрительностью. Холостяк пятидесяти девяти лет, видная фигура в обществе, бывший лорд-камергер Эдуарда VII и до сих пор в курсе всех событий при дворе, сын адмирала флота и крестник других адмиралов, заядлый рыбак, охотник на оленей и просто хороший парень, сэр Арчибальд Беркли



Милн в 1911 году казался логичным кандидатом на должность командующего Средиземноморским флотом – самую популярную должность в ВМС Великобритании, пусть и более не самую важную. Он был назначен новым первым лордом, господином Черчиллем. Это назначение вскоре, пусть и в частном порядке, объявили «предательством военно-морского флота». Такие слова обронил адмирал лорд Фишер, бывший первый морской лорд, создатель дредноутов, самый жизнелюбивый и наименее лаконичный англичанин своего времени. Он лелеял мечту назначить на эту должность в ожидании войны, которая, по его предсказанию, должна была начаться в октябре 1914 года, адмирала Джеллико, главного артиллериста флота.

Когда Черчилль отправил Милна в Средиземное море, Фишер счёл, что положение его протеже Джеллико как будущего главнокомандующего оказалось под угрозой, и не стал стесняться в выражениях. Он обрушился на Черчилля с разгромной критикой за «потакание бездарному двору», он сыпал проклятиями и выплёвывал, как вулкан плюётся лавой, обвинения в адрес Милна: «совершенно никчёмный офицеришка», «никуда не годный адмирал, из которого сделали Admiralissimo». В ходу были и выражения покрепче: «закулисный подлиза», «скользящая гадина» и «сэр Б., который покупает вчерашнюю „Таймс“ за один пенни». В письмах Фишера, которые всегда содержали настойчивое примечание «Сожгите это!» – по счастью, никто из его корреспондентов не выполнил этот наказ, – всё изрядно преувеличено, и к высказываниям достойного адмирала следует относиться с осторожностью. Ни «отребье», но и далеко не Нельсон, адмирал Милн был типичным старшим офицером английского флота. Когда Фишер узнал, что кандидатуру Милна ни в коем случае не рассматривают применительно к посту главнокомандующего, он обратил своё огненное перо против других, оставив «сэра Б.» безмятежно наслаждаться Средиземноморьем.

В июне 1914 года Милн побывал в Константинополе, отобедал с султаном и его министрами и развлекал их на борту своего флагмана, не утруждая себя, как и прочие англичане, размышлениями о роли Турции в средиземноморской стратегии.

К 1 августа, получив предупреждение от Черчилля, он собрал на Мальте собственную эскадру из трёх линейных крейсеров и эскадру из

броненосных крейсеров, лёгких крейсеров и эсминцев под командой контр-адмирала сэра Эрнеста Траубриджа.

Рано утром 2 августа он получил второе предупреждение от Черчилля, гласившее: «За „Гёбен“ должны следить два линейных крейсера», а за Адриатикой нужно «наблюдать», очевидно, высматривая австрийский флот. Недвусмысленный приказ требовал направить два крейсера сторожить «Гёбен», однако Милн ослушался. Вместо этого он отправил «Индомитейбл» и «Индефатигейбл» вместе с эскадрой Траубриджа патрулировать Адриатику. Получив сведения, что «Гёбен» видели утром того дня, идущим на юго-запад от Таранто, Милн послал лёгкий крейсер «Чатэм» в Мессинский пролив, где, по его мнению, мог скрываться «Гёбен» – и где тот на самом деле скрывался. «Чатэм» вышел с Мальты в 5 часов вечера, миновал пролив в семь утра и доложил, что «Гёбена» там нет. Разведка опоздала на шесть часов: адмирал Сушон уже ушёл.

Он достиг Мессины днём ранее, когда Италия объявила о нейтралитете. Ему снова отказали в угле, но он пополнил ямы двумя тысячами тонн угля благодаря немецкой компании торгового судоходства. Он реквизировал в качестве тендера торговый пароход «Генерал» Немецкой Восточноафриканской линии, высадил на берег всех пассажиров и оплатил каждому из них железнодорожный билет до Неаполя. Не получив до сих пор приказов от командования, Сушон решил занять благоприятную позицию на случай начала боевых действий, пока ему не помешал враг. Под покровом темноты, в 1:00 ночи 3 августа он оставил Мессину и направился на запад, к алжирскому побережью, где планировал бомбардировать французские порты Бон и Филиппвиль.

Между тем Черчилль отдал Милну новое распоряжение: «Нести дозор в устье Адриатики, но приоритетной целью объявлен „Гёбен“. Следуйте за ним, куда бы он ни пошёл, и будьте готовы действовать по известию о начале войны, каковая представляется весьма вероятной и даже неизбежной». К этому моменту адмирал Милн уже не знал, где находится «Гёбен», – «Чатэм» его потерял. Милн полагал, что крейсер идёт на запад, планируя напасть на французские транспорты, а из допроса капитана немецкого угольщика, задержанного на Майорке, следовало, что после этого «Гёбен» устремится через Гибралтар в Атлантику. В итоге «Индомитейбл» и «Индефатигейбл» освободили от

патрулирования в Адриатическом море и послали на запад с приказом найти «Гёбен». Весь день 3 августа «Гёбен» уходил на запад от Мессины, а охотники отставали от него на целые сутки.

В то же время французский флот перемещался из Тулона в Северную Африку. Выход был намечен на день раньше, но в Париже 2 августа морской министр доктор Готье «случайно забыл» направить торпедные катера и эсминцы в Ла-Манш. Разгорелся скандал, и Средиземноморский флот оказался его заложником. Военный министр Мессими был одержим идеей ускорить переправку Колониального корпуса. Доктор Готье, смущённый своим промахом в Ла-Манше, теперь проявлял неумеренное рвение и, впад в крайнюю воинственность, предложил напасть на «Гёбен» и «Бреслау» до объявления войны. «Его нервы на пределе», – заметил президент Пуанкаре. Морской министр разошёлся до такой степени, что вызвал военного министра на дуэль, но благодаря усилиям коллег, которые разняли комбатантов, он в конце концов обнял Мессими со слезами на глазах и согласился подать в отставку по состоянию здоровья.

Недоумение французов относительно позиции Великобритании, которая не спешила определять своё отношение к происходящему, лишь усугубляла ситуацию. В 4 часа вечера кабинету министров наконец удалось сформировать более или менее единодушное мнение и отправить телеграмму французскому главнокомандующему, адмиралу Буэ де Лапайеру. В телеграмме говорилось, что «Гёбен» и «Бреслау» замечены в Бриндизи, и, получив сообщение об открытии военных действий, он должен «остановить их» и защищать транспорты, а не просто те конвоировать.

Адмирал де Лапайер, человек опытный и суровый, которому французский флот в значительной степени обязан своим превращением из скопища проржавевших калош в боеспособное соединение, решил всё равно организовать конвои, так как «сомнительная», на его взгляд, позиция англичан не оставляет выбора. Он объявил тревогу и вышел в море в 4 часа утра, через несколько часов после того, как Сушон покинул Мессину. На протяжении следующих суток три французских эскадры двигались на юг, в направлении Орана, Алжира и Филиппии, а «Гёбен» и «Бреслау» шли на запад к той же цели.

В 6 часов вечера 3 августа радист Сушона доложил адмиралу, что Франция объявила войну Германии. Адмирал приказал ускорить ход; так же поступили и французы, но скорость немцев была выше. В 2 часа утра 4 августа «Гёбен» уже готовился открыть огонь по вражескому порту, когда поступил приказ адмирала Тирпица «немедленно идти в Константинополь». Не желая возвращаться без, как писал Сушон, «дегустации пламени, столь желанного для всех нас», рейдеры шли прежним курсом, пока алжирское побережье не обрисовалось в утреннем полумраке. Был поднят российский флаг, крейсера приблизились на расстояние залпа и открыли огонь, «сея смерть и панику». Как восторгался впоследствии один из членов экипажа, «трюк удался блестяще». Согласно «Kriegsbrauch», или правилам войны, составленным германским генштабом, «использование вражеской формы и флага врага или нейтрального флага и знаков отличия с целью обмана врага признаётся допустимым». Как воплощение официального немецкого военного мышления, «Kriegsbrauch» дезавуировал подпись Германии под Гаагской конвенцией, статья 23 которой запрещает пользоваться неприятельским флагом.

После обстрела Филиппвилья – и Бона орудиями «Бреслау» – адмирал Сушон вернулся к Мессине. Там он планировал запастись углём с немецких торговых пароходов и уже затем идти в Константинополь, до которого было 1200 миль.

Адмирал де Лапейер, узнав о бомбардировке по радио лишь с незначительным запозданием, предположил, что «Гёбен» продолжит движение на запад, может быть, атакует Алжир и попытается прорваться в Атлантику. Он приказал прибавить ход в надежде перехватить врага, «если тот появится». Посылать свои корабли на разведку адмирал не стал, поскольку, как он решил, если враг появится, сражение состоится, а если не появится, о нём можно временно забыть. Как и прочие офицеры союзников, адмирал де Лапейер воспринимал манёвры «Гёбена» исключительно в рамках военно-морской стратегии. Возможность того, что крейсер способен выполнять политическую миссию, оказывая непосредственное влияние и продлевая срок войны, ни он, ни кто-либо другой даже не рассматривал. И когда «Гёбен» и «Бреслау» не появились на пути французов, адмирал де Лапейер не стал их искать. Таким образом,

утром 4 августа первая возможность уничтожить рейдеры была упущена. Правда, тут же возникла другая.

В 9:30 утра «Индомитейбл» и «Индефатигейбл», которые шли на запад всю ночь, заметили «Гёбен» и «Бреслау» на траверзе Бона, когда немецкие корабли двинулись на восток, обратно к Мессине. Если бы лорд Грей предъявил ультиматум Германии накануне вечером, сразу после своего выступления в парламенте, Великобритания и Германия уже были бы в состоянии войны, и крейсера открыли бы огонь. А так — корабли прошли мимо друг друга на расстоянии 8000 ярдов, в пределах досягаемости орудий, и довольствовались тем, что, приведя артиллерию в боевую готовность, не стали обмениваться традиционным салютом.

Адмирал Сушон, стремясь насколько возможно увеличить дистанцию между собой и англичанами, прежде чем начнётся пальба, требовал от механиков максимальной скорости, на какую только способны его корабли. «Индомитейбл» и «Индефатигейбл» развернулись и двинулись за немцами, намереваясь держаться «на хвосте», пока не будет объявлена война. Радио, точно рожок охотника, обнаружившего дичь, известило адмирала Милна, который немедленно передал в адмиралтейство: «„Индомитейбл“ и „Индефатигейбл“ следят за „Гёбеном“ и „Бреслау“, 37:44 северной широты, 7:56 восточной долготы».

Адмиралтейство буквально застонало от разочарования. В тех же водах, что омывали мыс Трафальгар, британские корабли настигли противника — и не имели права открывать огонь. «Очень хорошо. Не теряйте их. Война неизбежна», — телеграфировал Черчилль и отослал «молнию» премьер-министру и лорду Грею, предлагая, если «Гёбен» нападёт на французские транспорты, разрешить крейсерам Милна «сразу же вступить в бой». К сожалению, указывая координаты, адмирал Милн забыл уточнить, в каком направлении идут «Гёбен» и «Бреслау», так что Черчилль мог лишь предполагать, что они движутся на запад, злоумышляя против французов.

«Уинстон в своей боевой раскраске, — как однажды заметил Асквит, — отчаянно желал морского боя и потопления „Гёбена“». Асквит был готов его поддержать, но кабинет, на заседании которого он неосторожно упомянул об этом, отказался санкционировать военные действия до полуночи, когда истекал срок ультиматума. Так

была упущена и вторая возможность; правда, её всё равно бы упустили, ведь приказ Черчилля увязывал атаку с нападением «Гёбена» на французские транспорты, а немцы от этого намерения уже отказались.

И началась отчаянная погоня по спокойной поверхности летнего моря. Адмирал Сушон норовил оторваться от преследователей, а британцы старались не потерять врага до полуночи. Выжав из корабля всё что можно, Сушон разогнался до 24 узлов. Кочегары, в обычных условиях не выдерживавшие в жаре и угольной пыли дольше двух часов подряд, продолжали кидать уголь в топки, а лопающиеся трубы обжигали паром. До полуночи четыре человека умерли от ожогов, но скорость удалось сохранить. Медленно и неуклонно разрыв между добычей и охотниками увеличивался. «Индомитейбл» и «Индефатигейбл», тоже испытывая проблемы с котлами и кочегарами, не поспевали за врагом. Во второй половине дня к ним в их долгой погоне присоединился лёгкий крейсер «Дублин» под командованием капитана Джона Келли. Время шло, разрыв возрастал, и в 5 часов противник вырвался за пределы досягаемости орудий «Индомитейбла» и «Индефатигейбла». Только «Дублин» продолжал преследование. В 7 часов утра упал туман. К 9 часам, у берегов Сицилии, «Гёбен» и «Бреслау» оторвались окончательно.

В адмиралтействе на протяжении всего дня Черчилль и его помощники «испытывали танталовы муки». В 5 часов вечера первый морской лорд, принц Луис Баттенберг, заметил, что ещё возможно потопить «Гёбен» до наступления темноты. Увы, Черчилль, скованный решением кабинета министров, не мог отдать соответствующий приказ. А пока британцы ждали полуночи, «Гёбен» добрался до Мессины и до угля.

Когда рассвело, англичане, теперь уже в состоянии войны и готовые открыть огонь, не нашли врага. Из последнего доклада с «Дублина» заключили, что немцы в Мессине; и тут возникло новое препятствие. Адмиралтейство информировало Милна об объявлении Италией нейтралитета и поручило адмиралу «уважать это решение и не позволять кораблям подходить к итальянскому побережью ближе, чем на 6 миль». Вето, принятое для предотвращения «мелких происшествий» во избежание неприятностей с Италией, было, пожалуй, чрезмерно суровым.

Ограниченный в своих действиях приказом адмиралтейства, Милн разместил дозоры у обоих выходов из Мессинского пролива. Он не сомневался, что «Гёбен» снова пойдёт на запад, а потому сам на флагмане «Инфлексибл», вместе с «Индефатигейблом», сторожил выход в западную часть Средиземного моря, тогда как восточный выход<sup>[1]</sup> патрулировал единственный лёгкий крейсер «Глостер», под командованием капитана Говарда Келли, брата капитана «Дублина». Кроме того, желая сосредоточить все силы на западе, адмирал Милн послал «Индомитейбл» за углём в близлежащую Бизерту вместо далёкой Мальты на востоке. Таким образом, ни одного из трёх «Инфлексиблов» не было там, где имелаась возможность перехватить «Гёбен», если тот вздумает прорываться на восток.

Двое суток, 5 и 6 августа, Милн патрулировал воды к западу от Сицилии, будучи убеждён, что «Гёбен» собирается прорываться на запад. Адмиралтейство, которое также не видело для «Гёбена» иного выхода, кроме как прорыва к Гибралтару или отступления к Пуле, не отменяло распоряжений Милна.

Всё это время, вплоть до вечера 6 августа, адмирал Сушон загружался углём в Мессине, преодолевая сопротивление итальянцев. Последние настаивали на своём нейтралитете и требовали, чтобы Сушон, как и положено, покинул порт ровно через сутки. Между тем загрузка угля с немецких торговых пароходов, чьи палубы пришлось разобрать, чтобы ускорить дело, заняла времени втрое дольше обычного. Пока адмирал спорил с портовыми властями о морском международном праве, едва ли не все члены экипажа орудовали лопатами, перекидывая уголь. Несмотря на поощрения (пиво, музыка, патриотические речи офицеров), люди падали в обморок в августовскую жару, и чёрные от угольной пыли потные тела валялись по всему кораблю, живые вперемешку с трупами. К полудню 6 августа в угольные ямы крейсера загрузили 1500 тонн угля – недостаточно, чтобы достигнуть Дарданелл, – но уже никто был не в силах продолжать работу. «С тяжёлым сердцем» адмирал Сушон приказал прекратить погрузку, отдыхать – и быть готовыми к выходу в море в 5 часов.

В Мессине он получил два сообщения, которые заставили его занервничать ещё сильнее и подтолкнули к принятию решения. Приказ Тирпица идти в Константинополь внезапно отменили; телеграмма сухо

извещала: «По политическим соображениям поход в Константинополь нецелесообразен». Сушон не знал, что виной всему разногласия среди турецкого руководства. Энвер-паша передал через немецкого посла разрешение «Гёбену» и «Бреслау» пройти через минные поля, охранявшие Дарданеллы. Но поскольку это разрешение, несомненно, нарушало нейтралитет, которого Турция до сих пор публично придерживалась, великий визирь и прочие министры настаивали на том, что его следует отменить.

Второе сообщение, тоже от Тирпица, гласило, что австрийцы не в состоянии оказать какую-либо помощь Германии в Средиземном море, поэтому Сушон в данных обстоятельствах волен действовать по собственному усмотрению.

Сушон знал, что изношенные котлы не позволят его кораблям набрать ту скорость, какая необходима для прорыва через вражеские заслоны к Гибралтару. При этом и отсиживаться в Пуле тоже не хотелось, ведь там он неминуемо попадал в зависимость от капризов австрийцев. И потому он решил всё-таки идти в Константинополь, вопреки приказам. Цель, по его собственным словам, была вполне очевидной: «заставить турок, даже против их воли, развязать войну на Чёрном море против их исконного врага, России».

Адмирал распорядился развести пары и быть готовыми к выходу в 5 часов. Все на борту и на берегу понимали, что «Гёбену» и «Бреслау» предстоит совершить почти невероятное. Возбуждённые сицилийцы на переполненных набережных продавали открытки и сувениры тем, кто «готовится умереть», а местные газеты пестрели заголовками вроде «В когти смерти», «Позор или гибель», «За смертью или славой».

Ожидая погони, адмирал Сушон сознательно назначил выход в море в сумерки, чтобы противник его заметил и увидел, что немцы идут на север, будто намереваясь ускользнуть в Адриатику. С наступлением темноты Сушон рассчитывал лечь на курс зюйд-ост и обмануть возможных преследователей. Поскольку угля в ямах было недостаточно для прямого перехода к Константинополю, планировалось после отрыва от противника встретиться с угольщиком, которому приказали ждать у мыса Малая на юго-восточной оконечности Греции.

Едва «Гёбен» и «Бреслау» вышли из восточной горловины Мессинского пролива, их немедленно заметили на «Глостере»,



который патрулировал неподалёку. Будучи по классу сопоставимым с «Бреслау», но явно не соперником «Гёбену», тяжёлые орудия которого били на 18 000 ярдов, «Глостер» не стал чрезмерно сближаться с немцами и поспешил вызвать подкрепление. Капитан Келли сообщил позицию и курс врага адмиралу Милну, который с тремя линейными крейсерами по-прежнему находился к западу от Сицилии, а сам отошёл мористее «Гёбена». Когда к 8 часам начало темнеть, Келли взял ближе к берегу, чтобы не потерять «Гёбен» из вида, и этот манёвр неожиданно привёл «Глостер» в пределы досягаемости немецких орудий; но немцы не поддались искушению. Ясной лунной ночью две тёмных тени, преследуемые третьей, упорно двигались на север, из труб вырывались чёрные клубы дыма (мессинский уголь оказался дурного качества), благодаря чему корабли были видны на большом расстоянии.

Адмирал Милн, узнав, что «Гёбен» покинул Мессину через восточный выход из пролива, остался на месте. Он предположил, что если немцы сохраняют этот курс, их перехватит эскадра адмирала Траубриджа, патрулировавшая в Адриатике. Если же, как он склонен был верить, курс рейдеров изменится и они в конце концов повернут к западу, тут-то и пригодится его собственный отряд. Других возможностей Милн попросту не рассматривал. Всего один корабль, лёгкий крейсер «Дублин», был отправлен на восток с приказом присоединиться к эскадре Траубриджа.

Между тем Сушон никак не мог отделаться от «Глостера», а время поджимало: если он надеялся достичь Эгейского моря с имевшимся у него запасом угля, то обманный курс следовало менять немедленно. Выбирать не приходилось, и в 10 часов вечера немецкие корабли повернули на восток, одновременно забивая помехами радиочастоту «Глостера» в надежде не дать тому сообщить о происходящем. Попытка оказалась безуспешной. Радиограмма капитана Келли, сообщавшая, что враг изменил курс, была получена Милном и Траубриджем около полуночи. Милн двинулся на Мальту, где он намеревался пополнить запасы угля и «продолжить погоню». А Траубриджу, в чьём направлении шёл противник, предстояло осуществить перехват.

Траубридж занимал позицию в устье Адриатики в соответствии с приказом «не допустить выхода австрийцев и подхода немцев». По

курсу «Гёбена» было ясно, что противник движется *от* Адриатики, но Траубридж подсчитал, что оперативный бросок к югу позволит ему перехватить немецкие рейдеры. Однако имелись ли у него шансы одержать победу в открытом боестолкновении? Его эскадра состояла из четырёх броненосных крейсеров – «Дифенс», «Чёрный принц», «Уорриор» и «Герцог Эдинбургский», каждый водоизмещением 14 000 тонн и вооружённый 9,2-дюймовыми орудиями, которые значительно уступали в дальности огня 11-дюймовым орудиям «Гёбена». Исходные приказы адмиралтейства, переданные Траубриджу, вероятно, «по инстанции» его непосредственным командиром, адмиралом Милном, исключали любое столкновение с «превосходящими силами». Впрочем, сейчас Милн был далеко, и Траубридж решил попробовать перехватить немцев, если получится это сделать до 6 утра – первые лучи солнца обеспечат благоприятную видимость и помогут уравнять шансы в артиллерийской дуэли. Вскоре после полуночи он полным ходом пошёл на юг – и четыре часа спустя передумал.

Будучи в годы русско-японской войны военно-морским атташе в Японии, Траубридж оценил эффективность стрельбы на дальних дистанциях. Кроме того, будучи правнуком человека, который сражался рядом с Нельсоном на Ниле, и имея в молодости репутацию «самого красивого офицера флота», он «верил в морской устав, как солдат Кромвеля верил в Библию». Черчилль ценил Траубриджа достаточно высоко для того, чтобы ввести его в состав восстановленного военно-морского штаба в 1912 году. Но знания морского устава и штабного опыта для командира всё же маловато, чтобы принимать верные решения в реальных ситуациях.

Когда к 4 часам утра Траубридж не нашёл «Гёбен», он счёл, что больше не может рассчитывать на благоприятные обстоятельства. По его мнению, при дневном свете «Гёбену», пусть того и удастся перехватить, не составит труда держаться за пределами дальности огня англичан и методично расстреливать четыре английских крейсера один за другим. Очевидно, Траубридж искренне полагал, что в артиллерийской дуэли при свете дня ни один из его четырёх крейсеров и восьми эсминцев не сумеет приблизиться к врагу на расстояние эффективного орудийного или торпедного залпа. Иными словами, немцы представлялись ему той самой «превосходящей силой», с которой адмиралтейство настоятельно рекомендовало не связываться.

Он прервал погоню и сообщил об этом по радио Милну, а затем, курсируя у острова Занте до 10 часов утра в надежде увидеть хотя бы один из милновских линейных крейсеров, бросил якорь в гавани Занте, чтобы подготовить свои корабли к возвращению в район Адриатики. Так была упущена и третья возможность перехватить «Гёбен», который по прихоти судьбы благополучно продолжил свой путь.

В 5:30 утра Милн, по-прежнему убеждённый, что «Гёбен» рано или поздно снова повернёт на запад, приказал «Глостеру» «постепенно отставать, чтобы избежать захвата». Ни сам адмирал, ни стратеги адмиралтейства ещё не воспринимали «Гёбен» как беглеца, который всячески норовит ускользнуть от схватки и прилагает все усилия, чтобы оторваться, уповая исключительно на своё превосходство в скорости. Вероятно, под впечатлением от бомбардировки Филиппия и довоенных сведений о мощи германского флота англичане воображали себе корабли последнего такими корсарами, готовыми в любой момент напасть на незащищенные торговые суда. Они хотели перехватить «Гёбен», так или иначе, но их желаниям недоставало целеустремлённости, поскольку, постоянно ожидая от немцев атаки, они отказывались понимать, что «Гёбен» на самом деле пытается уйти на восток, к Дарданеллам. Впрочем, вина лежит не столько на морских стратегах, сколько на политиках. «Не могу припомнить другой страны, о внешней политике которой британское правительство было менее информировано, нежели Турция», – признавал с сожалением Черчилль много позднее. И причиной тому была глубокая, фундаментальная неприязнь либералов к Турции.

Утро 7 августа перетекло в день. И только «Глостер», игнорируя приказ Милна, продолжал преследовать «Гёбен», который, вновь в компании «Бреслау», приближался к побережью Греции. Адмирал Сушон, который не мог допустить, чтобы враг перехватил долгожданный угольщик, отчаянно пытался избавиться от английской «тени». Он приказал «Бреслау» отстать и сделать вид, будто лёгкий крейсер ставит минное заграждение, рассчитывая хотя бы немного припугнуть «Глостер».

Капитан Келли, всё ещё ожидавший подкрепления, тоже решил, со своей стороны, поугатать и задержать «Гёбен». Когда «Бреслау» отстал от лидера, Келли приказал открыть огонь – с намерением вынудить «Гёбен» защитить лёгкий крейсер. Этого английского

капитана нисколько не беспокоило, что перед ним «превосходящие силы», и он лихо выпалил по врагу. «Бреслау», разумеется, открыл огонь в ответ, а «Гёбен», как и рассчитывал Келли, развернулся и также дал залп. Попаданий не было ни у кого. Свидетелем дуэли стал маленький итальянский пароход, шедший с пассажирами на борту из Венеции в Константинополь. Капитан Келли отвёл свой корабль, а адмирал Сушон, который не мог себе позволить тратить драгоценный уголь на погоню, лёг на прежний курс. И Келли возобновил преследование.

Ещё три часа он шёл за «Гёбеном», пока не получил приказ Милна, категорически запрещающий идти далее мыса Матапан на «острие» греческого берега. В 4:30 дня, когда «Гёбен» обогнул мыс и вышел в Эгейское море, «Глостер» наконец отказался от погони. Корабли адмирала Сушона скрылись в лабиринте греческих островов, разыскивая угольщика.

Примерно восемь часов спустя, вскоре после полуночи, загрузив ямы углём и произведя необходимый ремонт, адмирал Милн с «Инфлексиблом», «Индомитейблом», «Индефатигейблом» и лёгким крейсером «Уэймут» покинул Мальту и двинулся в восточном направлении. Идя на 12 узлах, может быть, потому, что не желал понапрасну тратить уголь, он неторопливо перемещался в сторону Греции. В два часа следующего дня, 8 августа, когда англичане находились приблизительно на полпути между Мальтой и Грецией, Милн получил телеграмму адмиралтейства, извещавшую, что Австрия объявила войну Англии. Не имело значения, что телеграмму отправили по ошибке – некий клерк случайно вставил в телеграмму заранее определённый код, обозначающий начало военных действий против Австрии. Подробности выяснились потом, а сейчас Милн просто был вынужден прервать погоню и занять такую позицию, в которой австрийский флот не мог бы отрезать его от Мальты. Вдобавок он приказал эскадре Траубриджа и «Глостеру» присоединиться к нему. Ещё одна возможность поймать «Гёбен» была упущена.

Ожидание продлилось почти сутки, лишь ближе к полудню следующего дня адмиралтейство смущённо признало свою ошибку и подтвердило, что Австрия не объявляла войну. И адмирал Милн возобновил охоту. К тому времени след «Гёбена», который в последний раз видели входящим в Эгейское море во второй половине

дня 7 августа, остывал уже сорок часов. Предприняли попытку определить, где лучше искать немецкий крейсер, и Милн, как он вспоминал позже, рассматривал четыре варианта местонахождения «Гёбена». Адмирал считал, что «Гёбен» всё ещё способен прорываться на запад, в Атлантику, или мог пойти на юг, чтобы напасть на Суэцкий канал, или укрыться в каком-нибудь греческом порту – а то и атаковать Салоники. Последние два предположения выглядели неправдоподобными: ведь Греция соблюдала нейтралитет. Почему-то Милн не верил, что адмирал Сушон способен нарушить турецкий нейтралитет; Дарданеллы в качестве укрытия для «Гёбена» не приходили в голову ни Милну, ни кабинетным стратегам адмиралтейства. И потому Милн считал, что ему надлежит запретить «Гёбен» в Эгейском море «с севера».

Именно «к северу» и уходил Сушон, но, так как турки заминировали вход в проливы, он не мог проникнуть туда без их разрешения. Ему необходимо было пополнить запасы угля и договориться с Константинополем. Угольщик «Богадир» ждал, под греческим флагом, у мыса Малей, как и было назначено. Опасаясь обнаружения, Сушон распорядился перегнать угольщик к острову Денуса, а сам затаился, не подозревая, что британцы прекратили погоню, и подкрался к пустынному побережью Денусы только утром 9 августа. Целый день «Гёбен» и «Бреслау» грузили уголь, держа котлы под парами на случай появления врага. Более того, на остров высадили дозор, поручив высматривать англичан с вершины холма, – а англичане находились за пятьсот миль от Денусы и тщетно караулили австрийцев.

Адмирал Сушон не решился использовать радио для связи с Константинополем: сигнал, достаточно сильный, чтобы преодолеть такое расстояние, наверняка выдал бы его местоположение. Он велел «Генералу», который тоже пришёл из Мессины, но избрал более южный маршрут, идти к Смирне и оттуда передать сообщение для немецкого военно-морского атташе в Константинополе: «Военная необходимость требует проникновения в Чёрное море. Любой ценой организуйте проход через проливы с разрешения турецкого правительства – или без официального разрешения, если не удастся договориться».

Весь день 9 августа Сушон прождал ответа. Один из радистов поймал какую-то искажённую передачу, но расшифровать её не получилось. Настала ночь, а ответа всё не было. К тому времени эскадра Милна, выяснив ошибочность телеграммы из адмиралтейства, снова направилась в Эгейское море. Сушон решил, что если ответа так и не будет, он пойдёт в Дарданеллы и заставит себя впустить хотя бы угрозой открытия огня. В 3 часа утра 10 августа были перехвачены радиосигналы английской эскадры, вошедшей в Эгейское море. Ждать дольше было нельзя. И тут в наушниках радистов раздалась долгожданная синкопа. «Генерал» передал загадочное сообщение в духе Дельфийского оракула: «Идите. Требуйте сдачи фортов. Захватите лоцмана».

Гадая, означает ли это, что нужно устроить демонстрацию силы, чтобы турки могли сохранить лицо, или что придётся пускать в ход орудия, Сушон оставил Денусу на рассвете. Весь день он шёл на север на скорости 18 узлов, а Милн по-прежнему курсировал у выхода в Эгейское море, чтобы не пропустить немцев. В 4 часа дня Сушон увидел Тенедос и равнины Троады; к 5 часам он добрался до входа в исторический и неприступный пролив под пушками крепости Чанак. Экипажи заняли посты по боевому расписанию, нервы у всех были на пределе, корабли медленно приближались к берегу. Наконец на мачте «Гёбена» подняли сигнал «Прошу лоцмана».

Утром того дня в Константинополь прибыл итальянский пароходик, пассажиры которого стали невольными свидетелями перестрелки между «Глостером», «Гёбеном» и «Бреслау». Среди пассажиров были дочь, зять и трое внуков американского посла Генри Моргентав. Они охотно рассказывали всем, кому это было интересно, о грохоте залпов, клубах белого дыма и манёврах боевых кораблей. Итальянский капитан назвал им двоих участников дуэли – «Гёбен» и «Бреслау» – и прибавил, что те совсем недавно покинули Мессину. Посол Моргентав, который несколько часов спустя встретился за обедом с немецким послом Вангенхаймом, упомянул о рассказе дочери, и это упоминание, как он писал, вызвало у Вангенхайма «нездоровый интерес». Сразу же после обеда, сопровождаемый австрийским коллегой, Вангенхайм поспешил в американское посольство, где оба посла «торжественно взгромоздились на стулья» перед американкой-очевидицей и «подвергли её самому подробному,

пусть и очень вежливому, перекрёстному допросу... Они цеплялись за малейшие детали, хотели точно знать, сколько было выстрелов, в каком направлении ушли немецкие корабли, что говорили люди на борту парохода, и так далее... Из посольства они удалились едва ли не в ликовании».

Послы выяснили, что «Гёбен» и «Бреслау» успешно оторвались от британского флота. Значит, нужно только получить согласие турок, чтобы крейсера прошли через Дарданеллы. Энвер-паша, в чьём ведении как военного министра находились минные поля в проливах, горел желанием помочь, однако ему приходилось считаться с мнением других министров, настроенных далеко не столь решительно. В тот день у Энвер-паши был один из членов немецкой военной миссии, и вдруг сообщили, что министра срочно хочет видеть подполковник фон Кресс. Прибывший Кресс сообщил, что командир крепости Чанак докладывает: «Гёбен» и «Бреслау» просят разрешения войти в проливы, — и ожидает распоряжений. Энвер ответил, что не может принимать такое решение самостоятельно, ему нужно переговорить с великим визирем. Кресс настаивал, что ответ необходимо дать немедленно. Энвер помолчал несколько минут, а потом вдруг сказал: «Им следует разрешить проход».

Кресс и другой немецкий офицер, которые в ожидании решения министра бессознательно затаили дыхание, вдруг обнаружили, что снова в состоянии дышать.

— А если английские военные корабли последуют за ними, их тоже пропустят? — спросил Кресс.

Энвер снова отказался отвечать, сославшись на то, что надо провести заседание кабинета министров. Но Кресс опять принялся настаивать — мол, крепости нужны чёткие указания.

— Так пропустят англичан или нет?

После долгой паузы Энвер наконец ответил:

— Да.

На входе в проливы, в 150 милях от Константинополя, турецкий эсминец приблизился к «Гёбену», под прицелом сотен глаз на палубе крейсера. На мачте эсминца появился сигнал «Следовать за мной». В 9 часов вечера 10 августа «Гёбен» и «Бреслау» вошли в Дарданеллы, следствием чего, как много позднее мрачно признался Черчилль, стали «жуткая бойня, жуткие страдания и столько смертей, сколько не

бывало когда-либо прежде в результате действий одного-единственного корабля».

Мгновенно разнесённая телеграфом по всему миру, эта новость дошла до Мальты около полуночи. Адмирал Милн, по-прежнему крейсировавший среди островов Эгейского моря, узнал обо всём на следующий день. Надо признать, его начальство настолько неверно оценило прорыв «Гёбена», что поручило адмиралу блокировать Дарданеллы «на случай, если немецкие корабли появятся вновь».

Премьер-министр Асквит записал в своём дневнике, что новость «любопытная». Но, прибавил он, «мы будем настаивать», чтобы экипаж «Гёбена» заменили турками, которые не умеют управлять таким кораблём, «поэтому случившееся не имеет большого значения». Похоже, «настаивать» – единственное действие, которое требовалось в данной ситуации, с точки зрения Асквита.

Послы стран Антанты действительно принялись настаивать, сурово и регулярно. Турки, всё ещё надеясь сохранить нейтралитет и не раздражать союзников сверх меры, попросили немцев разоружить «Гёбен» и «Бреслау» «кратковременно и для видимости», однако Вангенхайм наотрез отказался даже обсуждать это предложение. Заседание турецкого правительства было весьма бурным, и один министр вдруг спросил: «А не продадут ли немцы нам эти корабли задним числом? Тогда их прибытие можно преподнести как поставку по контракту?»

Все пришли в восторг от этой идеи, которая позволяла не только решить насущную проблему, но и отплатить британцам той же монетой за захват двух турецких линкоров. С согласия Германии известие о продаже крейсеров донесли до дипломатического корпуса, и вскоре после этого «Гёбен» и «Бреслау», переименованные в «Явуз» и «Мидилли», вошли в строй флота под турецким флагом, а их команды надели фески. Сам султан побывал на борту обоих кораблей, а простой народ встретил это событие взрывом энтузиазма. Внезапное появление двух немецких крейсеров, словно бы присланных неким джинном взамен двух украденных линкоров, привело население в экстатический восторг и немало способствовало симпатиям к Германии в обществе.



Тем не менее турки всё откладывали объявление войны, которого требовала Германия. Вместо этого они сами предъявили Антанте ряд претензий в качестве обеспечения своего нейтралитета. Россию настолько встревожило прибытие «Гёбена» в акваторию Чёрного моря, что она изъявила готовность платить. Подобно грешнику, который отказывается от пожизненных вредных привычек на смертном одре, она даже согласилась более не притязать на Константинополь. 13 августа министр иностранных дел Сазонов предложил Франции представить Турции официальные гарантии её территориальной целостности и посулить «существенные финансовые выгоды за счёт Германии» в обмен на нейтралитет. Более того, он был готов пообещать, что Россия будет соблюдать эти договорённости, «даже если мы победим».

Французы согласились и «поменяли местами небо и землю», как выразился президент Пуанкаре, чтобы принудить Турцию к соблюдению нейтралитета и убедить Великобританию присоединиться к совместным гарантиям. Но англичане не желали вести переговоры и оплачивать нейтралитет своего бывшего протектора. Черчилль, в своих «наиболее воинственных» и «яростно антитурецких» речах, предлагал кабинету министров отправить флотилию торпедных катеров в Дарданеллы и потопить «Гёбен» и «Бреслау». Это был единственный шаг, способный, вероятно, убедить колеблющихся турок, единственный шаг, который мог бы предотвратить то, что в конечном счёте произошло. Один из самых острых и смелых военных умов Франции уже предложил этот шаг – в день, когда немцы вошли в проливы. «Мы должны идти за ними, – сказал генерал Галлиени, – в противном случае Турция придёт за нами». Увы, в британском правительстве предложение Черчилля заблокировал лорд Китченер, который заявил, что Англия не может позволить себе оскорблять мусульман, напав на Турцию. Турок нужно оставить в покое, «пока они сами не нанесут удар».

Почти три месяца, пока союзники попеременно то угрожали, то торговались и пока немецкое военное влияние в Константинополе неуклонно возрастало, в турецком правительстве продолжались споры и выяснения отношений. К концу октября Германия, уставшая от бесконечных проволочек, потребовала определённости. Активное

участие Турции в войне, для блокады России с юга, стало необходимостью.

Двадцать восьмого октября бывшие «Гёбен» и «Бреслау», под командованием адмирала Сушона и в сопровождении нескольких турецких миноносцев, вошли в Чёрное море и обстреляли Одессу, Севастополь и Феодосию. Результатом атаки стали незначительные потери среди гражданского населения и гибель русской канонерки.

Ошеломлённые «предательством» немецкого адмирала, члены турецкого правительства в своём большинстве высказались за дезавуирование его действий, но дальше слов дело не пошло. Решающим доводом оказалось присутствие «Гёбена» в заливе Золотой Рог, причём на борту крейсера находились немецкие офицеры и немецкий экипаж, которым турецкое правительство было не указ. Талаат-паша убедил своих коллег, что здание правительства, дворец султана, столица империи, они сами, их дома, их родные и близкие – всё под прицелом орудий «Гёбена». В таком положении уже не до высылки немецких военной и военно-морской миссий, на чём настаивали союзники в качестве доказательства нейтралитета Турции. Признав агрессию турок состоявшейся, Россия объявила войну Турции 4 ноября, а Великобритания и Франция – на день позже.

После этого война мало-помалу распространилась на половину земного шара. В неё втянулись или оказались втянуты соседи Турции – Болгария, Румыния, Италия и Греция. Поскольку выход в Средиземное море для неё закрылся, Россия очутилась в зависимости от Архангельска, по полгода скованного льдами, и Владивостока, от которого до линии фронта было 8000 миль. Из-за блокады Чёрного моря российский экспорт упал на 98 процентов, а импорт – на 95 процентов. Отсечение России со всеми последствиями этого факта, напрасное и трагическое кровопролитие в Галлиполи, отвлечение сил союзников на операции в Месопотамии, у Суэцкого канала и в Палестине, итоговый распад Османской империи и последующая история Ближнего Востока – таковы результаты прорыва «Гёбена».

Другие последствия оказались не менее печальными, пусть и не столь значительными. Столкнувшись с осуждением коллег, адмирал Траубридж потребовал расследования, по итогам которого его отдали в ноябре 1914 года под трибунал – по обвинению в том, что он «запретил преследование немецкого корабля „Гёбен“, когда враг

бежал». Впрочем, на основании того, что он был вправе трактовать «Гёбен» как «превосходящую силу», адмирала оправдали. Траубридж продолжил морскую службу во время войны, однако, по единодушному негласному признанию трусом, ему больше не поручали командовать боевыми эскадрами. Адмирал Милн, отозванный 18 августа и оставивший Средиземное море французам, по возвращении на родину был отстранён от командования. 30 августа адмиралтейство объявило, что его поведение и приказы во время охоты на «Гёбен» и «Бреслау» стали «предметом тщательного изучения», по результатам которого «их светлости одобрили предпринятые им действия во всех отношениях». Их светлости, не осознававшие важности Константинополя, не искали козла отпущения.

## Глава 11

### Льеж и Эльзас

Сосредоточение армий продолжалось, но передовые отряды германских и французских войск, как через огромную вращающуюся дверь, уже выходили на поля сражений. Немцы шли с востока, а французы с запада. Противники стремились прежде всего оказаться на крайних правых от себя точках этой вращающейся двери, удалённых друг от друга на триста миль. Немцы намеревались идти вперёд, игнорируя действия французов, на штурм Льежа и его двенадцати фортов, которые следовало уничтожить, чтобы открыть дороги через Бельгию для армий правого крыла. Французы, также не обращая внимания на передвижение войск противника слева от себя, рвались в Верхний Эльзас, скорее по сентиментальным, чем по стратегическим соображениям, надеясь вступить в войну на волне национального энтузиазма и вызвать восстание местного населения против Германии. Стратегически этот манёвр имел целью закрепить французский правый фланг на Рейне.

Льеж, подобно воротам средневекового замка, преграждал Германии доступ в Бельгию. Построенный на крутом пятисотфутовом холме, вздымавшемся на левом берегу Мааса, окружённый вместо рва рекой, имевшей здесь ширину в 200 ярдов, этот город вместе с 30-мильной цепью фортов считался в Европе наиболее грозным оборонительным рубежом. Десять лет назад Порт-Артур, прежде чем пасть, выдержал девятимесячную осаду. Согласно мировому общественному мнению Льеж, без сомнения, мог повторить рекорд Порт-Артура или вообще оказаться неприступным.

Вдоль бельгийских и французских границ сконцентрировались семь германских армий общей численностью в 1 500 000 человек. По порядку номеров на крайнем правом фланге с немецкой стороны у Льежа находилась 2-я армия, на крайнем левом фланге, в Эльзасе, – 7-я. 6-я и 7-я образовывали германское левое крыло из 16 дивизий, 4-я и 5-я входили в центральную группировку из 20 дивизий. 1, 2 и 3-я армии составляли правое крыло, включавшее 34 дивизии, которым и предстояло пройти через Бельгию. Правому крылу придавался

отдельный кавалерийский корпус из трёх дивизий. Армиями правого крыла командовали генералы фон Клук, фон Бюлов и фон Хаузен; всем им было по 68 лет, а первые два являлись ветеранами кампании 1870 года. Кавалерийский корпус находился под командованием генерала фон Марвица.

Поскольку первой армии Клука предстояло проделать самый длинный путь, скорость, с какой она двигалась, оказывала влияние на движение остальных войск. Сосредоточиваясь к северу от Ахена, она должна была идти по дорогам, сходявшимся к пяти мостам через Маас у Льежа. Таким образом, захват города превратился в задачу первостепенной важности: успех этой операции решал всё. Пушки фортов Льежа контролировали пространство между голландской границей и поросшим летом холмистым подножием Арденн, поэтому городские мосты являлись единственной удобной переправой через Маас. Железнодорожный узел, соединявший Бельгию стальными путями с Германией и северной частью Франции, имел жизненно важное значение для снабжения наступающих германских армий. Не захватив Льежа и не нейтрализовав его форты, германское правое крыло не могло двигаться дальше.

Из 2-й армии была выделена специальная «маасская армия» в составе шести бригад под командой генерала фон Эммиха; перед ней ставилась задача открыть путь через Льеж. Эти части, как предполагалось, выполнят свою задачу ещё до того, как основные армии закончат сосредоточение. Однажды в довоенные годы кайзер, не сдержавшись, неосторожно заметил английскому офицеру во время манёвров: «Я пройду через Бельгию вот так!» – и взмахом руки резко рассёк воздух. Объявленное Бельгией во всеуслышание желание сражаться немцы считали не более чем «яростью спящей овцы»: так охарактеризовал однажды своих политических противников некий прусский государственный деятель. Когда Льеж падёт, 1-я и 2-я армии выйдут на одну линию, тогда и начнётся главное наступление немцев.

Укрепления Льежа и Намюра построил по настоянию Леопольда II в 1880-х годах Анри Бриальмон, выдающийся инженер-фортификатор своего времени. Расположенные на возвышенной местности вокруг каждого из этих городов форты, по замыслу их строителя, предназначались для отражения врага с любого направления и воспрепятствования переправы через Маас. Льежские

форты находились по обоим берегам реки, на расстоянии примерно 4–5 миль от города и 2–3 милях друг от друга. Шесть фортов на восточном берегу, защищавшие столицу от Германии, и шесть на западном опоясывали город кольцом. Они напоминали упрятанные под землю средневековые замки. На поверхности виднелась лишь треугольная насыпь с выступавшими железобетонными башнями, куда при помощи подъёмников доставлялись орудийные установки. Всё остальное находилось под землёй. Наклонные туннели вели к подземным камерам и соединяли башни со складами боеприпасов и пунктами управления огнём. Шесть крупных фортов и располагавшиеся между ними шесть более мелких укреплений имели в общей сложности 400 орудий. Самыми тяжёлыми из них были 8-дюймовые (210-миллиметровые) гаубицы. По углам треугольника бельгийцы установили башни меньшего размера для скорострельных пушек и пулемётов, державших под огнём нижние пологие скаты фортов. Их окружали сухие крепостные рвы в 30 футов глубиной. На каждой башне имелся прожектор на стальной наблюдательной вышке, которая, как и орудия, опускалась под землю. Гарнизоны больших фортов состояли из 400 человек каждый – по две артиллерийские и одной пехотной роте. Построенные скорее как передовые посты для защиты границ, эти оборонительные сооружения не предназначались для того, чтобы выдерживать длительную осаду при отступлении. Промежутки между ними должны были удерживать части полевой армии.

Возлагая чересчур большие надежды на великое творение Бриальмона, бельгийцы почти ничего не сделали для модернизации укреплений. Форты обслуживали второразрядные гарнизоны, набранные из солдат старших призывных возрастов, причём на роту приходился всего один офицер. Из опасения дать Германии даже малейший повод для обвинений в несоблюдении Бельгией нейтралитета, приказ о сооружении траншей и установке полос заграждений из колючей проволоки для защиты интервалов между фортами, а также о вырубке деревьев и сносе домов для улучшения обзора при стрельбе не поступал до 2 августа. Когда война подошла к Льежу, работы ещё только разворачивались.

Со своей стороны, немцы верили, что Бельгия примет ультиматум или, в крайнем случае, окажет незначительное сопротивление ради

сохранения престижа, а потому не доставили в район боёв своё новое секретное оружие – гигантские осадные орудия громадной величины и необычайной разрушительной силы. Перевозить эти колоссы по дорогам было почти невозможно. Одно орудие, изготовленное на заводах «Шкода», австрийской компании по производству вооружений, представляло собой 12,5-дюймовую (305-миллиметровую) мортиру; другое было создано «Круппом» в Эссене. Это чудовище калибром 16,5 дюйма (420 миллиметров), длиною более 9 метров и весом в 98 тонн, стреляло 1800-фунтовым снарядом метровой величины на расстояние в 9 миль. Для его обслуживания требовалось 200 человек. В то время самыми крупными считались 13,5-дюймовые морские английские орудия, а на суше – 11-дюймовые стационарные гаубицы береговой артиллерии. Такие пушки Япония после безуспешной шестимесячной осады Порт-Артура сняла со своих береговых укреплений и перебросила в Маньчжурию, но русская крепость, несмотря на обстрел, держалась ещё три месяца.

Немецкие планы не допускали подобной задержки при взятии бельгийских фортов. Мольтке заявил Конраду фон Хётцендорфу, что, по его оценкам, победа будет достигнута на 39-й день войны, после чего на 40-й день, пообещал он, германские войска отправятся на помощь Австрии. Бельгийцы, как считалось, не станут сопротивляться, тем не менее немецкая пунктуальность требовала предусмотреть любые неожиданности. Задача заключалась в том, чтобы создать мощнейшие осадные орудия, которые возможно перевозить по суше. Снаряды подобной пушки, мортиры или короткоствольной гаубицы с большим углом возвышения, могли бы пробить верхние перекрытия фортов; в то же время, не имея прицельности длинноствольных пушек, эти орудия обладали бы достаточной точностью для поражения отдельных целей.

Фирма «Крупп», соблюдая строжайшую секретность, изготовила в 1909 году модель 420-миллиметровой пушки. На испытательных стрельбах распухший гигант с отрезанным стволом показал себя неплохо, но оказался слишком громоздким для транспортировки. При перевозке по железной дороге орудие пришлось разделить на две секции, причём каждую тащил отдельный локомотив. Доставить такую пушку на позицию можно было, лишь проложив железнодорожную ветку. Стремясь создать транспортабельную

конструкцию из нескольких секций, «Крупп» продолжал работать над этой моделью ещё четыре года. В феврале 1914 года орудие было изготовлено и с успехом испытано в Куммерсдорфе, к большому удовлетворению кайзера, присутствовавшего при этом событии. И всё же перевозка орудия с помощью устройств, приводимых в движение паровыми и бензиновыми двигателями, а также упряжки из десятков лошадей, оказалась сопряжена со значительными трудностями. Конструкция требовала усовершенствований, и срок окончания работ перенесли на 1 октября 1914 года.

Большей мобильностью обладала австрийская 305-миллиметровая «Шкода», выпущенная в 1910 году. Три секции – сама пушка, лафет и портативное основание – могли перемещаться с помощью тягачей на 15–20 миль в день. Вместо шин на колёса надевали бесконечные ленты, которые тогда с ужасом назывались «железными ступнями». На позиции устанавливали стальное основание, к нему болтами крепили станок и уже сверху монтировали орудие. Вся процедура установки длилась не более 40 минут. Разборка происходила так же быстро, что уменьшало возможность захвата орудия противником. Эти пушки поворачивались вправо или влево на угол в 60° и имели дальность стрельбы 7 миль. И крупновское, и австрийское орудия стреляли бронебойным снарядом со взрывателем замедленного действия, поэтому взрыв происходил уже после попадания в цель.

Когда в августе началась война, несколько австрийских 305-миллиметровых пушек находилось в Германии. Их «дал займы» Конрад фон Хётцендорф, поскольку немецкие орудия ещё не были готовы. К этому времени «Крупп» уже выпустил пять 420-миллиметровых пушек для перевозки по рельсам и две – для перевозки по шоссейным дорогам, однако они требовали существенной доводки для облегчения транспортировки. 2 августа правительство потребовало срочно привести их в состояние боеготовности. Когда началось вторжение в Бельгию, работа над этими моделями велась круглосуточно; орудия, станки для них, дополнительное оборудование, моторы – всё тщательно проверялось и испытывалось; на случай чрезвычайных обстоятельств выделялись упряжки лошадей, механики, шофёры; а артиллерийская прислуга получала последние наставления от инженеров фирмы.



Мольтке всё ещё надеялся обойтись без осадных орудий. Более того, немцы верили, что им удастся взять форты простым штурмом, если бельгийцы проявят неблагоразумие и начнут сопротивляться. Ни одна из деталей операции не была оставлена без внимания. Её разработкой занялся офицер генерального штаба, один из самых преданных учеников Шлиффена.

Необыкновенное трудолюбие и гранитная твёрдость духа помогли капитану Эриху Людендорфу победить предубеждения, связанные с отсутствием приставки «фон» в его фамилии, и добиться заветных красных лампасов офицера генерального штаба, в ряды которого он вступил в 1895 году, когда ему было тридцать лет. Плотный, со светлыми усами над жёсткой, опущенной вниз линией рта, круглым двойным подбородком и выпуклостью на загривке, которую Эмерсон называл отличительным признаком зверя, он, в противоположность Шлиффену, не принадлежал к аристократическому типу. Однако за образец Людендорф взял твёрдый, замкнутый характер своего кумира. Намеренно отказываясь от друзей и знакомств, этот человек, которому суждено было через два года обрести, первому после Фридриха Великого, огромную власть над судьбой и народом Германии, оставался почти никому не известным и никем не любимым. О нём не судачили, как водится, никто не мог припомнить сделанных им метких замечаний, и, даже когда он стал возвышаться, о нём не рассказывали сопутствующих анекдотов: это был человек без тени.

Считая Шлиффена одним «из величайших солдат истории», Людендорф как сотрудник, а впоследствии и начальник мобилизационного отдела генерального штаба с 1904 по 1913 год, делал всё, чтобы претворить в жизнь план своего командира. По его словам, весь генеральный штаб был убеждён в правильности стратегического замысла, ибо «никто не верил в бельгийский нейтралитет». В случае войны Людендорф надеялся стать начальником оперативного управления, однако в 1913 году его, после ссоры с тогдашним военным министром генералом фон Хеерингом, вывели из состава генерального штаба и отправили командовать полком. В апреле 1914 года он получил чин генерала. Ему было приказано занять после начала мобилизации пост заместителя начальника штаба 2-й армии<sup>[2]</sup>. В этом качестве он и прибыл 2 августа в «маасскую армию» Эммиха, которой поручалось захватить Льеж. В задачу Людендорфа

входило поддержание связи между ударными силами и главным командованием.

Не испытывая никаких иллюзий, король Альберт 3 августа принял на себя обязанности главнокомандующего бельгийскими вооружёнными силами. План, составленный им и Гале на основе предположения о германском вторжении, не получил поддержки. Они предлагали, чтобы все шесть бельгийских дивизий заняли рубежи вдоль естественного барьера по реке Маас, где они смогли бы усилить укрепленные позиции Льежа и Намюра. Но генеральный штаб, во главе с новым начальником, генералом Селье де Моранвилем, с презрением отнёсся к попыткам короля и какого-то капитана навязать им свою волю и, колеблясь между наступательной и оборонительной стратегиями, не отдал никаких приказов о передислокации армий за Маас. В соответствии с принципами строгого нейтралитета шесть дивизий располагались таким образом, чтобы дать отпор любому врагу. 1-я дивизия стояла в Генте против англичан, 2-я – Антверпене, 3-я – в Льеже против немцев, 4-я и 5-я – в Намюре, Шарлеруа и Монсе против французов, 6-я и кавалерийская дивизии размещались в Брюсселе. План генерала Селье заключался в том, чтобы, когда враг будет определён, сконцентрировать армию в центре страны на пути захватчика, предоставив гарнизонам Антверпена, Льежа и Намюра возможность защищаться самостоятельно. Стремление придерживаться существующего плана всегда сильнее желания его изменить. Кайзер не мог изменить планов Мольтке, Китченер – планов Генри Уилсона, Ланрезак – планов Жоффра. Король Альберт, став 3 августа официально главнокомандующим и начальником генерала Селье де Моранвиля, уже не успевал организовать развёртывание войск вдоль Мааса – время было упущено. Принятая стратегия заключалась в сосредоточении бельгийской армии перед Лувеном (Лёвеном) на реке Гете в 40 милях к востоку от Брюсселя, где было решено создать оборонительные рубежи. Король смог добиться лишь того, чтобы 3-я дивизия осталась в Льеже, а 4-я – в Намюре с целью укрепления пограничных гарнизонов. Ранее предполагалось присоединить эти части к полевой армии в центре страны.

На пост командира 3-й дивизии и коменданта Льежа по настоянию короля в январе 1914 года был выдвинут его протеже, 63-летний генерал Леман, возглавлявший военную академию. Бывший офицер

инженерного корпуса, Леман провёл последние тридцать лет – не считая шестилетнего перерыва, когда служил в штабе инженерных войск, – в военной академии; в своё время у него учился король Альберт. В течение семи месяцев, не получая поддержки генерального штаба, он пытался реорганизовать оборону фортов. Когда же разразился кризис, на его голову обрушился поток противоречивых приказов. 1 августа генерал Селье приказал вывести из Льежа одну бригаду, то есть треть 3-й дивизии. По просьбе Лемана король отменил этот приказ. В свою очередь, генерал Селье 3 августа приостановил приказ короля об уничтожении мостов выше Льежа на том основании, что они необходимы для передвижений бельгийской армии. И снова после жалобы Лемана король поддержал генерала в споре с начальником генерального штаба, а в личном письме призвал Лемана «удерживать до конца позиции, которые Вам доверили оборонять».

Воля к обороне страны превышала имевшиеся для этого средства. В бельгийской армии на одного солдата приходилось в два раза меньше пулемётов, основного оружия обороны, чем в германской. У бельгийцев вообще не было тяжёлой полевой артиллерии для защиты промежутков между фортами. В соответствии с новыми оборонительными планами намечалось к 1926 году довести численность армии до 150 000 человек, резервистов – до 70 000 и крепостных войск – до 130 000 человек. Однако к осуществлению этого проекта практически не приступали. В августе 1914 года армии удалось набрать 117 000 солдат, призвав всех подготовленных резервистов, а оставшимися категориями укомплектовали крепостные войска. Гражданская гвардия – brave жандармы в цилиндрах и ярко-зелёных мундирах – была включена в состав действующей армии. Целый ряд обязанностей, которые те выполняли до сих пор, взяла на себя организация бойскаутов. Солдаты действующей армии не умели окапываться, да и не имели для этого инструментов. Не хватало транспортных средств, палаток и полевых кухонь; котлы и другую кухонную утварь пришлось собирать по фермам и деревням. Телефонная связь находилась в плачевном состоянии. В войсках, которые выдвигались на позиции, царил хаос импровизации.

Волна энтузиазма, окутанная туманом иллюзий, несла и увлекала армию за собой. Солдаты, ставшие вдруг популярными, были поражены обилием даров – еды, поцелуев и пива. Нередко походный

строй нарушался, солдаты беспорядочно брели по улицам, хвастаясь своей формой и радостно приветствуя друзей. Родители шли вместе с сыновьями, чтобы посмотреть на войну. Мимо проносились реквизированные как транспортные средства шикарные лимузины, гружённые караваями хлеба и мясными тушами. Вслед неслись приветственные крики. Столь же радостно встречали появление пулемётов, которые, как фламандские тележки с молоком, тянули собаки.

На заре 4 августа, когда начиналось тихое, прозрачное, солнечное утро, первые захватчики, кавалерийские части фон Марвица, перешли границу Бельгии в 70 милях к востоку от Брюсселя. Кавалеристы держали в руках четырехметровые пики со стальными наконечниками и были вооружены целым арсеналом сабель, пистолетов и винтовок. Крестьяне, собиравшие урожай на придорожных полях, жители деревень, смотревшие на врага из окон, замирали и в страхе шептались: «Уланы!» Чужестранное слово, напоминавшее о диких нашествиях татарских конников, будило в Европе древние воспоминания о варварских завоеваниях. Немцы, выполняя историческую миссию навязывания своей *Kultur* другим народам, предпочитали устрашающие языковые модели; у кайзера, например, излюбленным было слово «гунны».

Как авангард вторжения, этот кавалерийский отряд должен был вести разведку позиций бельгийской и французской армий, сообщать о возможной высадке англичан, а также мешать разведывательным действиям противника против германской армии, выходящей на исходные рубежи. В первый день в задачу передовых эскадронов, поддерживаемых пехотой на автомобилях, входило овладеть переправами через Маас до того, как будут разрушены мосты, а также захватить фермы и деревни, источники продовольствия и фуража. В Варсаже, деревне близ границы, бургомистр Флеше, повязав через плечо ленту – отличительный знак власти, – стоял на главной площади, а мимо него, цокая копытами по бельгийской брусчатке, проезжала немецкая кавалерия. Подъехав к семидесятидвухлетнему бургомистру, командир эскадрона с вежливой улыбкой протянул ему отпечатанную прокламацию, в которой Германия выражала «сожаление» по поводу того, что ей пришлось, «повинуясь необходимости», вторгнуться в Бельгию. Как говорилось в прокламации, Германия не хочет

кровопролития, но путь немецких войск должен быть свободным, а «попытки разрушения мостов, туннелей и железнодорожных линий будут рассматриваться как враждебные акты». В деревнях вдоль всей границы, от Голландии до Люксембурга, уланы разбрасывали эти прокламации, снимали бельгийские флаги с мэрий, поднимая вместо них германские, с чёрными орлами, и продолжали двигаться вперёд, ободрённые заверениями своих командиров о том, что бельгийцы воевать не будут.

За ними, заняв ведущие к Льежу дороги, шли бесконечными рядами пехотинцы ударной группировки Эммиха. Серо-зелёное однообразие нарушали лишь номера полков, нанесённые красной краской на остроконечные каски. Следом двигалась полевая артиллерия на конной тяге. Скрипели новые кожаные сапоги и солдатское снаряжение. Обгоняя всех, проносились самокатчики, захватывавшие перекрёстки дорог и деревенские дома и тянувшие телефонные линии. Расчищая дорогу гудками, ехали автомобили со штабными офицерами, державшими монокли в глазницах; их денщики с револьверами наготове сидели впереди, а сзади, на багажниках, пристёгнутые ремнями, лежали чемоданы. Каждый полк имел свои полевые кухни. Повара на ходу, стоя на подножках, помешивали солдатскую похлёбку. Как рассказывают, в германской армии походные кухни ввёл кайзер, после того как впервые увидел их на русских манёврах. Совершенство оборудования и точность движения войск были такими, что казалось, захватчики идут парадным маршем.

Каждый солдат нёс 65 фунтов: винтовка и боеприпасы, ранец, котелок, шанцевый инструмент, тесак и множество других предметов, пристёгнутых к портупее. В одном из мешков ранца хранился «железный паёк» – две банки мясных и две банки овощных консервов, две коробки галет, пачка молотого кофе и фляжка со шнапсом, которую разрешалось открывать только по распоряжению офицера. Чтобы владелец фляжки не поддавался искушению, проверка её содержимого производилась ежедневно. В другом мешке лежали нитки, иголки, бинты и липкий пластырь, в третьем – спички, шоколад и табак. На шеях офицеров висели бинокли и кожаные планшеты с картами, на которые был нанесён запланированный маршрут полка, – чтобы ни один немец не оказался в положении некоего английского офицера, жаловавшегося, что бой – это процесс, происходящий, как нарочно, на

стыке двух карт. Марш сопровождался песнями. Солдаты пели: «Deutschland über Alles» («Германия превыше всего»), «Die Wacht am Rhein» («Стража на Рейне»), «Heil dir im Siegeskranz» («Слава тебе в победном венце»). Пели на отдыхе, во время марша, на постоях и во время попоек. Те, кто в течение последующих тридцати дней пережил ужас и конвульсии разгоравшейся войны, непрекращающееся солдатское пение вспоминали как самую худшую и жестокую пытку.

Бригады генерала фон Эммиха, подступавшие к Льежу с севера, востока и юга, выйдя к Маасу, увидели взорванные выше и ниже города мосты. Когда они попытались переправиться на понтонах, бельгийская пехота открыла огонь, и немцы, к своему изумлению, оказались в центре настоящего боя; по ним стреляли боевыми патронами, убивали и ранили. Их было 60 000, а бельгийцев 25 000 человек. К вечеру немцам удалось форсировать реку у Визе, к северу от Льежа. Бригадам, атаковавшим с юга, продвинуться не удалось; части, наступавшие в центре, у изгиба реки, вышли на линию фортов, ещё не достигнув берегов.

В течение дня, когда сапоги, копыта и колёса германской армии двигались по дорогам и через сёла, подминая на полях зрелую пшеницу, стрельба постепенно усиливалась, а с ней – и раздражение немцев, которым раньше говорили, что бельгийцы – «бумажные солдатики». Удивлённые и взбешённые оказанным сопротивлением, немецкие солдаты, находившиеся в состоянии крайнего нервного напряжения, оказались чрезвычайно чувствительными к первым крикам «Снайперы!». В их воображении сразу же возникал образ злобных крестьян и горожан, стреляющих из-за каждого угла и изгороди. Стоило только прозвучать первому крику: «Man hat geschossen! В нас стреляли!», как сразу же появилось оправдание, ставшее сигналом для развязывания репрессий против мирного населения, от Визе до ворот Парижа. С первого дня фигура беспощадного *franc-tireur* – «франтирёра», сохранившегося в памяти со времён войны 1870 года, приобрела чёткие очертания и впоследствии благодаря фантазии, подстёгиваемой страхом, достигла гигантских размеров.

Однако дух сопротивления, нашедший вскоре отражение в знаменитой подпольной газете «Либр Бельж», в то утро ещё не пробудился в сердцах жителей приграничных городов. Бельгийское

правительство, знавшее характер врага, дало указание расклеить в населённых пунктах вдоль границы объявления с распоряжением сдать имеющееся оружие местным властям, предупреждая бельгийцев, что обнаруженное немцами ружьё может привести к смертному приговору тому, кто его хранил. Плакаты призывали жителей не сопротивляться, не оскорблять врага и не выходить на улицы, чтобы избежать «любого предлога для репрессий, которые могут вылиться в кровопролитие, грабежи и массовые убийства ни в чём не повинных людей». После таких суровых предупреждений население, охваченное ужасом при виде захватчиков, вряд ли осмелилось бы на попытки остановить вооружённые до зубов германские войска с помощью охотничьих ружей, с которыми ходили на зайцев.

И всё-таки немцы в первый же день вторжения расстреливали не только мирных граждан, но и бельгийских священников, что делалось с далеко идущими целями. 6 августа генерал-майор Карл Ульрих фон Бюлов<sup>[3]</sup>, брат экс-канцлера и командир кавалерийской дивизии, штурмовавшей Льеж, выразил своему сослуживцу неодобрение по поводу «происшедших накануне поспешных казней бельгийских священников». Слухи о планах бельгийского духовенства организовать «франтирёрскую» войну – в течение двадцати четырёх часов после вторжения и вопреки предупреждению гражданского правительства – были ни чем иным, как германской выдумкой. Что касается Бельгии, эту акцию немцы предприняли как первый опыт устрашения населения в соответствии с теорией, созданной римским императором Калигулой: «*Oderint dum metuant*» («Пусть ненавидят, лишь бы боялись»).

Кроме того, в первый же день немцы расстреляли 6 заложников в Варсаже и сожгли для устрашения деревню Баттис. «Её сожгли, буквально стёрли с лица земли, – писал немецкий офицер, проходивший через эту деревню с войсками несколько дней спустя. – Сквозь пустые окна с выбитыми рамами виднелись оплавленные железные остовы кроватей и прочей мебели. Улицу усеивали обломки кухонной утвари. Не считая собак и кошек, что шныряли среди развалин, всё живое в деревне было уничтожено огнём. На рыночной площади торчала лишившаяся крыши и шпиля церковь». В другом месте, где, как рассказали этому офицеру, застрелили трёх немецких гусар: «Деревню окутало пламя, домашний скот неистово ревел в

загонах, обгорелые цыплята, словно обезумев, носились по дворам, и двое мужчин в крестьянской одежде лежали мёртвыми у стены».

«Разумеется, наше наступление в Бельгии носит зверский характер, – писал Мольтке Конраду фон Хётцендорфу 5 августа, – но мы боремся за нашу жизнь, и тот, кто посмеет встать на нашем пути, должен подумать о последствиях». К сожалению, о последствиях для Германии он не думал. Но процесс, в результате которого Бельгия станет для Германии Немезидой, уже начался.

В наступление на четыре восточных форта, наиболее удалённых от Льежа, бригады Эммиха пошли 5 августа. После обстрела из полевых орудий в бой двинулась пехота. Лёгкие снаряды не оказали на форты никакого воздействия, а бельгийские батареи обрушили на немцев лавину огня, полностью уничтожив их передовые части. Рота за ротой немцы пытались пройти в промежутках между фортами, где бельгийцы ещё не закончили строительства оборонительных линий. На некоторых участках им удалось прорваться к склонам фортов, не простреливавшихся из орудий, но здесь немецких солдат косили пулемёты. Кое-где груды трупов достигали метровой высоты. У форта Баршон бельгийцы, увидев, что цепь немцев дрогнула, бросились в штыковую контратаку и отогнали врага. Немецкое командование вновь и вновь гнало солдат на штурм, не щадя жизней, зная о богатых резервах, которые восполнят потери. «Они даже не старались рассредоточиться, – описывал позднее эти события бельгийский офицер. – Они шли плотными рядами, почти плечом к плечу, пока мы не валили их огнём на землю. Они падали друг на друга, образуя страшную баррикаду из убитых и раненых. Мы даже стали опасаться, что она закроет нам обзор и мы не сможем вести прицельный огонь. Гора трупов уже стала огромной, и мы думали, стрелять ли прямо в неё или выходить и самим растаскивать трупы... Поверите или нет, эта настоящая стена из мёртвых и умирающих позволила немцам подползти ближе и броситься на передние скаты фортов, но им не удалось пробежать и половины пути – наши пулемёты и винтовки смели их прочь. Разумеется, мы тоже несли потери, но они были незначительными по сравнению с той бойней, которую мы учинили противнику».

Военная машина, пожиравшая с каждым новым сражением всё больше и больше жертв – сотни тысяч при Сомме, более миллиона при



Вердене, – усиленно набирала обороты уже на второй день боёв под Льежем. Придя в бессильное бешенство от первой задержки своего наступления, немецкие генералы бессмысленно гнали людей на форты, не считаясь с потерями, лишь бы уложиться в указанные графиками сроки.

Той же ночью 5 августа бригады Эммиха перегруппировались, чтобы возобновить атаки в полночь. Генерал Людендорф, сопровождавший 14-ю бригаду, находившуюся в центре наступающих частей, нашёл, что состояние войск подавленное, хотя и «возбуждённое». Впереди грозно маячили орудийные башни фортов. Многие офицеры сомневались, что пехота сумеет прорваться сквозь их огонь. Распространился слух об уничтожении целой роты самокатчиков, посланной днём на разведку. Одна из колонн вышла не на ту дорогу и столкнулась с другой колонной, всё смешалось, движение войск прекратилось. Людендорф, отправившийся выяснять причину задержки, встретил по дороге денщика генерала фон Вюссова, командовавшего 14-й бригадой. Солдат, держа под уздцы осёдланного коня, сообщил, что генерал убит пулемётным огнём. Людендорф с неожиданной смелостью решил попытать счастья. Он принял командование бригадой и дал сигнал к наступлению, чтобы прорваться через промежуток между фортами Флерон и Д'Эвенье. Когда атака началась и люди стали падать под огнём, Людендорф впервые в жизни услышал «особенный глухой стук от удара пуль в человеческие тела».

В силу какой-то особенной прихоти войны пушки форта Флерон, удалённого на два километра от места атаки, огня не открыли. В деревне, где развернулась рукопашная схватка, Людендорф приказал огнём из полевой гаубицы «по домам справа и слева» расчистить путь своей бригаде. К двум часам дня 6 августа его части прорвались через кольцо фортов и заняли высоты на правом берегу Мааса, откуда открывался вид на Льеж и Цитадель – внушительный, но не используемый для обороны форт, подступавший к реке. Здесь к ним присоединился генерал фон Эммих. Немцы с растущей тревогой наблюдали за безлюдными дорогами на севере и юге – части других бригад так и не появились. 14-я бригада оказалась изолированной внутри кольца фортов. Наведя пушки на Цитадель, немцы принялись

расстреливать её, чтобы тем самым дать сигнал другим бригадам и «запугать коменданта крепости и его людей».

Рассвирепев от потери времени и сопротивления бельгийцев, которые, как подсказывал здравый смысл, должны были сдаться и пропустить врага через свою территорию, немцы весь август упорно стремились «устрашить» их и сломить. Бывший военный атташе в Брюсселе, лично знавший генерала Лемана, отправился с белым флагом в бельгийский штаб. Ему поручили уговорить или, если это не поможет, угрозами заставить Лемана отказаться от напрасного сопротивления и сдать город. Парламентёр заявил, что в случае отказа пропустить немцев через город цеппелины разрушат Льеж. Переговоры оказались безрезультатными, и 6 августа цеппелин «L-Z» вылетел из Кёльна, чтобы ударить с воздуха по Льежу. Сбросив 13 бомб и убив при этом девять мирных граждан, он совершил первый воздушный налёт – обычное дело в более поздних войнах XX века.

После бомбардировки Людендорф отправил к бельгийцам ещё одного парламентёра с белым флагом, но и на сей раз Леман отказался сдать город. Тогда немцы прибегли к военной хитрости. Отряд из тридцати рядовых и шести офицеров, переодетых в военную форму, похожую на английскую и без знаков различия, подъехал на автомобилях к штаб-квартире Лемана на улице Сен-Фуа. Немцы потребовали срочно вызвать генерала. Адьютант командующего, полковник Маршан, подойдя к двери, крикнул: «Это не англичане, это немцы!» – и тут же упал, сражённый пулями. Товарищи немедленно отомстили за него. Как говорилось в 1914 году в одном смелом и откровенном сообщении, «обезумев от гнева при виде подлого нарушения правил цивилизованного ведения войны, они были беспощадны». Воспользовавшись сумятицей, Леман незаметно покинул здание и уехал в форт Лонсэн, к западу от города, откуда и продолжал руководить обороной.

Ему стало ясно, что теперь, когда немецкая бригада прорвалась сквозь кольцо фортов, удержать Льеж фактически невозможно. Если бы бригадам, наступающим с севера и юга, удалось смять оборону и выйти к городу, то находящаяся в нём 3-я дивизия была бы окружена и отрезана от остальной армии. Загнав бельгийскую дивизию в западню, немцы уничтожили бы её полностью. Разведка доносила, что в наступлении на Льеж участвуют четыре армейских корпуса, то есть 8

дивизий против одной. В действительности же войска Эммиха не подразделялись на корпуса, однако вместе со срочно отправленными к Льежу подкреплениями насчитывали около 5 дивизий. Так или иначе, одна 3-я бельгийская дивизия не могла защитить не только Льеж, но и себя. Утром 6 августа Леман, зная о твёрдом намерении короля сохранить армию и сосредоточить её у Антверпена независимо от хода военных действий в других частях страны, отдал 3-й дивизии приказ отступить от Льежа и присоединиться к бельгийским войскам у Лувена. Это означало, что город падёт, но форты будут продолжать сопротивление; даже за Льеж нельзя было жертвовать дивизией, так как решалась судьба всей Бельгии. Если королю не удастся закрепиться с армией хотя бы на клочке бельгийской территории, он будет зависеть не только от милости врага, но и союзников.

Шестого августа Брюссель находился в состоянии радостного возбуждения после новостей об отражении вчерашнего немецкого наступления. «Grande Victorie Belge! Великая победа Бельгии!» – гласили заголовки экстренных выпусков. Счастливые, разгорячённые граждане, собираясь в кафе, поздравляли друг друга; опьянённые успехами армии, они всю ночь праздновали победу и на следующее утро восторженно читали бельгийскую военную сводку, в которой сообщалось, что 125 000 германских солдат «не достигли никакого успеха и три армейских корпуса, атаковавшие Льеж, отрезаны и практически обезврежены». С не меньшим оптимизмом союзная пресса писала «о полном разгроме немцев», о сдаче в плен нескольких германских полков, о 20 000 убитых и раненых немцев, о повсеместных успехах защитников Льежа, о «решительном отпоре захватчикам» и об «остановке» немецкого наступления. Что означал мельком упомянутый отход 3-й дивизии, каким образом вписывался он в эту радужную картину, оставалось загадкой.

В Лувене, в штабе бельгийской армии, размещавшемся в здании городской ратуши, царил такая же атмосфера уверенности, как если бы бельгийская армия насчитывала 34 дивизии против шести германских, а не наоборот. Горячие головы в генеральном штабе «выдвигали дерзкие идеи немедленного наступления».

Король сразу же наложил вето на подобные планы. По численности атакующих Льеж сил и по новым сообщениям о приближающихся пяти германских корпусах он узнал стратегию

охвата Шлиффена. Однако оставалась ещё возможность остановить врага на реке Гете, между Антверпеном и Намюром, при условии своевременного подхода французских и английских войск. Король уже направил два срочных послания президенту Пуанкаре. На этом этапе войны он, как и все бельгийцы, ещё надеялся соединиться с союзниками на территории Бельгии. «Где французы? Где англичане?!» – спрашивали люди друг друга. В одной из деревень женщина преподнесла цветы, увязанные лентами, составлявшими цвета английского флага, солдату в незнакомой военной форме, которую она приняла за английское хаки. Несколько смутившись, солдат объяснил, что он немец.

Во Франции Пуанкаре и Мессими, который с присущим ему темпераментом предложил немедленно направить для помощи Бельгии пять корпусов, не смогли переубедить молчаливого и упрямого Жоффра, отказывавшегося выделить из своих сил хотя бы бригаду, не говоря уже об изменении составленного плана развёртывания войск. Три кавалерийские дивизии под командованием генерала Сорде должны были войти в Бельгию 6 августа для разведки германских сил восточнее Мааса, однако, как говорил Жоффр, только отказ англичан прислать войска вынудит его растянуть левый фланг. Поздно вечером 5 августа пришло сообщение из Лондона о решении Военного совета, заседавшего день напролёт, направить на континент экспедиционный корпус в составе четырёх дивизий вместо шести плюс кавалерию. Несмотря на своё разочарование, Жоффр наотрез отказался перебрасывать какие-либо части на левый фланг, чтобы усилить тот ввиду недостаточного количества английских войск. Он всё отдал центру, где готовилось французское наступление. Не считая кавалерии, в Бельгию был отправлен лишь один-единственный офицер французского генерального штаба, полковник Брекар, с письмом к королю Альберту. В этом письме бельгийской армии предлагалось, временно отказавшись от решительных действий, отойти к Намюру, где, вступив во взаимодействие с французской армией, после завершения сосредоточения всех войск принять участие в совместном генеральном наступлении. Четыре французские дивизии, сообщал Жоффр, будут посланы в Намюр, но смогут прибыть туда не ранее 15 августа.

По мысли Жоффра, бельгийская армия, забыв об интересах Бельгии ради борьбы на общем фронте, должна была действовать в качестве крыла французской армии и в соответствии со стратегией Франции. По мнению же короля Альберта, куда лучше представлявшего опасность, исходившую от правого крыла германских армий, бельгийская армия, заняв позиции у Намюра, оказалась бы отрезанной наступающими германскими войсками от своей базы в Антверпене, а затем немцы оттеснили бы бельгийцев на территорию Франции. Король Альберт в первую очередь хотел, чтобы бельгийская армия закрепилась на родной земле, поэтому интересы общей стратегии имели для него второстепенное значение. Он решил любой ценой оставить открытым путь для отступления к Антверпену. Чисто военные соображения указывали на Намюр, а исторические и национальные – на Антверпен, пусть даже армия, запертая в этом районе, и не могла бы тогда оказывать непосредственного влияния на общий ход войны в Европе.

Как заявил король полковнику Брекару, при чрезвычайных обстоятельствах бельгийская армия будет вынуждена отступить к Антверпену, а не к Намюру. Сильно разочарованный, Брекар уведомил Жоффра, что бельгийцы, по-видимому, не будут участвовать вместе с французами в общем наступлении.

Седьмого августа французское правительство, незнакомое с «Планом-17», запрещающим прийти на помощь Бельгии, наградило Большим крестом Почётного легиона Льеж, а короля Альберта – Военной медалью. Этот жест, хоть и не совсем уместный в данных обстоятельствах, выразил тем не менее удивительное восхищение всего мира стойкостью Бельгии. Она не только «сражалась за независимость Европы, но и являлась защитником чести», заявил председатель Национального собрания. Она завоевала «бессмертное признание» тем, что развеяла миф о непобедимости германских армий, писала лондонская «Таймс».

Поток восхищения нарастал, а жители Льежа провели ночь в подвалах своих домов – первую из тех бесчисленных ночей, которые выпали на долю европейцев XX века. После дневного воздушного налёта цеппелина Льеж всю ночь обстреливала полевая артиллерия Людендорфа: рвавшиеся со страшным грохотом снаряды должны были принудить город сдаться. Этот метод оказался таким же бесплодным,

как и бомбардировка Парижа из дальнобойных орудий «Большая Берта» в 1918 году или налёты люфтваффе на Лондон и его обстрелы ракетами «Фау-2» в следующую войну.

После предварительного артобстрела Льежа Эммих и Людендорф решили войти в город, не дожидаясь подхода других бригад. Не встречая сопротивления – к этому времени 3-я дивизия уже покинула Льеж, – 14-я бригада прошла два оставшихся невзорванными моста. Людендорф, полагая, что Цитадель взята передовыми частями, направился к ней по крутой извилистой дороге в штабном автомобиле, сопровождаемый одним лишь адъютантом. Въехав во двор, он не увидел ни одного германского солдата: авангард ещё не подошёл. Тем не менее он, не колеблясь, «забарабанил по воротам», которые открылись, и ему осталось лишь принять капитуляцию от бельгийских солдат, находившихся внутри крепости. Людендорфу было 49 лет, вдвое больше, чем Наполеону в 1793 году, но Льеж оказался его Тулоном.

Внизу, в городе, генерал Эммих, не найдя Лемана, арестовал мэра, которого предупредил, что Льеж будет обстрелян и сожжён дотла, если форты не прекратят сопротивление. Он предложил мэру отправиться к генералу Леману или королю, чтобы уговорить их сдаться. Несмотря на обещание обеспечить безопасный проход через немецкие позиции, мэр решительно отказался. К вечеру сквозь линию фортов пробились и вошли в Льеж ещё три немецкие бригады.

В шесть часов вечера по улицам Ахена на автомобиле промчался офицер, доставивший в штаб 2-й армии волнующую весть о том, что генерал Эммих вошёл в Льеж и ведёт переговоры с мэром. Пока раздавались крики и восклицания «Хох!», была перехвачена телеграмма от Эммиха, которую он отправил своей жене: «Ура, мы в Льеже!» В 8 часов вечера офицер связи доставил новое сообщение от Эммиха. Хотя генерала Лемана захватить не удалось, взяты в плен епископ и бургомистр; Цитадель сдалась, сам город эвакуирован бельгийскими войсками, однако никакой информации о фортах пока нет.

В Берлине, где до конца периода сосредоточения армий оставался штаб верховного командования, или Oberste Heeresleitung (OHL), кайзер пришёл в восторг. Вначале, когда оказалось, что бельгийцы всё-таки будут сражаться, Вильгельм часто с горечью упрекал Мольтке:

«Видишь, из-за тебя англичане без всяких причин кинулись на меня». Однако после известий о падении Льежа кайзер стал называть его «милейший Юлиус». Мольтке записал по этому случаю: «Он меня восторженно расцеловал». Однако мысли об англичанах не давали кайзеру покоя. 10 августа американский посол Джерард, прибыв к кайзеру, чтобы вручить ноту с предложением президента Вильсона о посредничестве, нашёл монарха в «подавленном расположении духа». Сидя в дворцовом саду за зелёным железным столом под солнечным зонтиком, с лежащей перед ним грудой бумаг и телеграмм и с двумя таксами, расположившимися у его ног, кайзер жаловался: «Англичане изменили всю ситуацию – вот упрямый народ!.. Они будут расширять войну, и скоро она не кончится».

Горькая правда открылась на следующий день после падения города: когда Людендорф выехал из Льежа для доклада, ни один из фортов ещё не был взят. Генерал настаивал на немедленной доставке к Льежу осадных орудий: бельгийцы по-прежнему не желали сдаваться. Срок выступления 1-й армии Клука, начинавшей операцию, уже пришлось перенести с 10 на 13 августа.

Тем временем в Эссене, где неподвижно застыли жуткие чёрные осадные мортиры, шла лихорадочная работа по подготовке транспорта и обучению артиллерийской прислуги. К 9 августа два орудия, способные передвигаться по обычным дорогам, были полностью собраны и в ту же ночь погружены на железнодорожные платформы. Немцы берегли их гусеницы и хотели доставить поездом как можно ближе к месту боёв. Состав отправился из Эссена 10 августа и к вечеру уже достиг Бельгии, как вдруг у города Эрсталь (Херстал), не доезжая двадцати миль до Льежа, поезд остановился – в 11 часов вечера. Впереди оказался железнодорожный туннель, взорванный бельгийцами. Были предприняты бешеные усилия расчистить завалы и освободить пути, но всё оказалось напрасным. Гигантские пушки пришлось снять с платформ и везти по дороге. И хотя до цели оставалось не более 11 миль, одна поломка за другой вызывали частые остановки. Моторы отказывали, постромки рвались, на дорогах встречались различные препятствия, и часто, чтобы сдвинуть с места этих великанов, приходилось прибегать к помощи пехоты, отвлекая её от марша. Весь день шла упорная борьба с двумя отказывавшимися двигаться дальше безмолвными монстрами.

Пока осадные орудия тащили по дорогам, германское правительство в последний раз попыталось убедить Бельгию дать согласие на проход войск через её территорию. 9 августа посла Джерарда попросили направить своему коллеге в Брюсселе ноту для представления бельгийскому правительству. «Теперь, когда бельгийская армия поддержала свою честь сопротивлением превосходящим силам», – говорилось в ноте, – германское правительство «просит» короля Бельгии и его правительство уберечь Бельгию от «дальнейших ужасов войны». Германия была готова на любую сделку с Бельгией, лишь бы добиться права свободного прохода для своих армий. Кайзер не скупился на «торжественные заверения» в том, что Германия не посягает на бельгийскую территорию. Как говорилось в ноте, немецкие войска покинут Бельгию, едва наступит перелом в ходе войны. Американские представители как в Гааге, так и Брюсселе отказались передавать подобные предложения, но благодаря услугам голландского правительства эта нота наконец попала к королю Альберту 12 августа. Он её отверг.

Проявленные им мужество и упорство перед лицом страшной угрозы, нависшей над его страной, казались почти невероятными даже союзникам. Никто не ждал героизма от Бельгии. «В действительности, – сказал король Альберт после войны, услышав из уст одного французского государственного деятеля высокую оценку своего поведения, – в то время нас заставили поступать героически». В 1914 году у французов были сомнения на этот счёт, и 8 августа они послали в Брюссель заместителя министра иностранных дел Бертело, чтобы выяснить у короля, верны ли слухи о намерениях Бельгии заключить перемирие с Германией. Бертело поручили не самую приятную миссию: он должен был сообщить королю, что Франция не изменит своих стратегических планов, но постарается сделать всё от неё возможное, чтобы помочь Бельгии. Альберт попытался вновь внушить французам мысль об угрозе, исходящей от мощного правого крыла германских армий, которое, по всей видимости, двинется в наступление через Фландрию. В таком случае, повторил своё предупреждение король, бельгийская армия вынуждена будет отступить к Антверпену. К наступательным операциям Бельгия



перейдёт лишь в том случае, когда «будет чувствоваться приближение союзных армий», тактично добавил он.

Остальной мир, судя по авторитетному мнению военного корреспондента «Таймс», думал, что германские силы, атаковавшие Льеж, «оказались прилично потрепанными». Тогда это утверждение можно было считать приблизительно верным. Хвалёная германская армия, которая, как считали, легко справится со «спящей овцой», не смогла взять штурмом бельгийские форты. После 9 августа её продвижение остановилось – понадобились подкрепления, но не в виде живой силы. Армия ждала, когда подвезут осадные орудия.

Во Франции генерал Жоффр и его штаб упорно и решительно, как и прежде, не желали обращать внимания на Фландрию и с прежней горячностью готовились к рывку на Рейн. Пять французских армий состояли из 70 дивизий, то есть имели такую же численность, как и немцы на Западном фронте. Нумерация армий зависела от их расположения – от 1-й на правом фланге до 5-й на левом. Разделённые укреплённым районом Верден – Туль, они сосредоточивались двумя группами, как и немецкие армии, по обеим сторонам участка Метц – Тионвиль. 1-я и 2-я армии, противостоящие германским 7-й и 6-й в Эльзасе и Лотарингии, составляли французское правое крыло, имевшее задачу энергичным натиском отбросить немцев за Рейн и одновременно вбить мощный клин между левым крылом и центром германских сил.

На крайнем правом фланге находилась специальная ударная группа, равная по численности армии Эммиха у Льежа. Ей поручалось первой прорваться в Эльзас. Выделенные из состава 1-й армии, эти ударные силы включали VII корпус и 8-ю кавалерийскую дивизию, которым предстояло освободить Мюлуз и Кольмар и закрепиться на Рейне в том месте, где сходятся границы Германии, Эльзаса и Швейцарии.

Рядом с этой группой располагалась 1-я армия под командованием генерала Дюбая. Он, как говорили, не признавал невозможного, сочетал упорство с неограниченной энергией и по ряду причин, скрытым в хитросплетениях французской армейской политики, находился в плохих отношениях с генералом де Кастельно, своим

непосредственным соседом слева. Кастельно покинул генеральный штаб, чтобы возглавить 2-ю армию, державшую фронт вокруг Нанси.

По другую сторону от Вердена стояли 3-я, 4-я и 5-я армии, готовясь, в соответствии с «Планом-17», к великому наступлению через германский центр. Занимаемые ими позиции растянулись от Вердена до Ирсона. 5-я армия, имевшая открытый фланг, была развёрнута на северо-восток для наступления через Арденны, а не на север, где она встретила бы наступающие силы германского правого крыла. Позиции на левом фланге этой армии, с центром у когда-то мощной, а теперь заброшенной крепости Мобёж, должны были удерживать англичане, которые, как стало известно, всех обещанных войск пока не присылали. Недостаточность сил в этом районе не очень беспокоила Жоффра и его штаб, поскольку всё внимание они сосредоточили на других направлениях. Однако это обстоятельство вызывало сильную тревогу у командующего 5-й армией генерала Ланрезака.

Ему предстояло выдержать напор правого крыла германских армий, и он слишком хорошо осознавал все опасности своего положения. Его предшественник на этом посту, генерал Галлиени, после тщательного изучения местности и провала всех попыток убедить генеральный штаб в необходимости модернизации фортификационных сооружений Мобёжа, понимал всю трудность создавшегося положения. Когда в феврале 1914 года Галлиени достиг предельного возраста для службы, на его место Жоффр назначил Ланрезака, «настоящего льва», чьи интеллектуальные способности вызывали у него восхищение. В 1911 году Жоффр включил Ланрезака в число трёх кандидатов на пост заместителя начальника генерального штаба. Благодаря своему «выдающемуся интеллекту» Ланрезак считался звездой генерального штаба, прощавшего ему язвительность, несдержанность и грубые выражения, к которым он прибегал для ясности, точности и логической выразительности своих лекций. В шестьдесят два года он, так же как Жоффр, Кастельно и По, был типичным французским генералом – с густыми усами и солидным брюшком.

В мае 1914 года, когда каждого генерала ознакомили с касающимися лично его частями «Плана-17», Ланрезак сразу же указал на опасность, грозящую открытому флангу армии, если немцы

вдруг ударят всеми силами западнее Мааса. Генеральный штаб отверг его возражения, исходя из своих теоретических построений, что чем сильнее германское правое крыло, «тем лучше для нас». За несколько дней до мобилизации Ланрезак изложил свои возражения в письме Жоффру, которое после войны вызвало целый поток критики и противоречивых суждений над могилой «Плана-17». Как вспоминал один из знавших Ланрезака офицеров, тон этого письма был не смелым вызовом плану, а скорее профессорской критикой научной работы ученика. Наступательные планы для 5-й армии, указывал Ланрезак, основаны на предположении, что немцы двинутся через Седан, хотя, вероятнее всего, они совершат обходный манёвр далее к северу, через Намюр, Динан и Живе. «Несомненно, – поучал профессор, – как только 5-я армия начнёт наступление в направлении Нёфшато (в Арденнах), она уже не сможет отразить удара немцев севернее».

Именно в этом и заключалось главное, однако Ланрезак, будто защищаясь, уменьшил силу своих аргументов, добавив: «Подчёркиваю, это всего лишь предположения». Жоффр получил письмо 1 августа, в день мобилизации, и решил, что оно «совершенно неуместно», тем более когда «весь мой день занят решением важных вопросов». Ланрезак так и не получил ответа. В то же время Жоффр развеял опасения генерала Рюффе, командующего 3-й армией, который выразил беспокойство в отношении возможного «парадного марша немцев через Бельгию». С характерной лаконичностью Жоффр сказал: «Вы ошибаетесь». Он был убеждён, что главнокомандующий должен не объяснять, а приказывать. «Простым» генералам следует не думать, а выполнять приказы. Если генерал получил от него указание, он должен действовать со спокойной совестью, как велит долг.

Третьего августа, когда Германия объявила войну, Жоффр собрал генералов на совещание. Они надеялись наконец услышать его объяснения общестратегических задач «Плана-17». Но надежды не оправдались; в ответ на их замечания Жоффр выразительно молчал. Затем слово взял Дюбай, заявив, что для ведения наступления его армии требуются подкрепления, которых ему не дают. Жоффр тогда произнёс одну из своих загадочных фраз: «Возможно, это ваш план, а не мой». Поскольку никто не знал, как толковать это изречение, Дюбай, решив, что его не поняли, вновь изложил свои доводы. Жоффр

«со своей обычной блаженной улыбкой» произнёс то же самое: «Возможно, это ваш план, а не мой». Дело в том, что, по мысли Жоффра, в безграничном хаосе войны решающую роль играл не сам план, а та энергия и воля, с какими тот проводится в жизнь. Победа, верил он, приходит не в результате блестящего плана; выигрывает тот, кто обладает огромнейшей твёрдостью духа и уверенностью. Жоффр считал, что он наделён именно такими качествами.

Четвёртого августа он разместил главный штаб, или Grand Quartier Général (GQG), в Витриле-Франсуа на Марне, примерно на полпути между Парижем и Нанси. Это место находилось приблизительно на равном расстоянии, в 80–90 милях, от каждого из пяти армейских штабов. Не в пример Мольтке, который за своё недолгое пребывание на посту главнокомандующего ни разу не выезжал на фронт и не посетил ни одного полевого штаба, Жоффр находился в постоянном и личном контакте с командующими армиями. Он объезжал войска, удобно устроившись на заднем сиденье мчавшегося с бешеной скоростью автомобиля, которым управлял его личный шофёр Жорж Буйо, трижды завоёвывавший «Гран при» в автогонках. Считалось, что немецкие генералы, получавшие для исполнения чётко составленные планы, не нуждались в постоянной опеке. Французские же генералы, по выражению Фоша, «должны мыслить», однако Жоффр всё время подозревал, что, вдобавок к прочим, свойственным человеческой натуре недостаткам, у них ослаблена и воля, поэтому он любил держать генералов под постоянным наблюдением. После манёвров 1913 года он уволил в отставку пять генералов, что вызвало сенсацию в общественных кругах и возбуждение в гарнизонах – ничего подобного ранее не случалось. В августе, когда в ход пошли не холостые, а боевые патроны, Жоффр принялся смещать генералов одного за другим при первых признаках того, что, по его мнению, было проявлением некомпетентности или недостаточного рвения.

Это рвение, своеобразный энтузиазм и порыв достигли своей наивысшей точки в штабе в Витри, расположенном на поросших лесом спокойных берегах Марны, игравшей золотисто-зелёными отблесками на августовском солнце. В школьном здании, где размещался главный штаб, между оперативным отделом, или Третьим бюро, занимавшим классные комнаты, и разведывательным отделом, или Вторым бюро,

засевшим в гимнастическом зале, где гимнастические снаряды были отодвинуты к стене, а кольца подвязаны к потолку, существовала глубокая, непреодолимая пропасть. Весь день Второе бюро собирало информацию, допрашивало пленных, расшифровывало документы, строило на основе добытых сведений хитроумные предположения и передавало сводки соседям. В сводках постоянно подчёркивалась активность германской армии к западу от Мааса. Весь день Третье бюро читало сводки, критиковало их, спорило и отказывалось им верить, если они подтверждали выводы, в соответствии с которыми французам пришлось бы менять планы наступления.

Каждое утро в 8 часов Жоффри председательствовал на совещаниях начальников отделов; величественный и неподвижный арбитр никогда не был куклой в руках своего окружения, как могли бы подумать непосвященные, обратившие внимание на его молчаливость и совершенно голый письменный стол. Он не держал на столе бумаг и не развешивал карт на стенах; Жоффри ничего не писал и мало говорил. Планы за него составляли другие, вспоминал Фош, а «он взвешивал и решал». Мало кто не дрожал в присутствии главнокомандующего. Всякий, кто появлялся за общим обеденным столом позже его на пять минут, достаивался грозного взгляда из-под нахмуренных бровей, и всё оставшееся время трапезы он держался с опоздавшим как с отверженным. Жоффри ел в молчании, с видом гурмана, всё своё внимание отдающему исключительно стоящим перед ним блюдам. Главнокомандующий всё время жаловался, что штаб плохо информирует его о событиях. Когда один из офицеров упомянул о статье в последнем выпуске «Иллюстрасьон», которую командующий ещё не видел, Жоффри сердито воскликнул: «Видите, от меня всё утаивают!» У него была привычка потирать лоб и бормотать: «Бедный Жоффри». Как в штабе вскоре догадались, этот жест означал отказ Жоффра выполнить то, о чём его просили. Он злился на всякого, кто заставлял его публично переменить решение. Подобно Талейрану, командующий не одобрял излишнего старания. Не обладая ярким интеллектом Ланрезака или творческим умом Фоша, он в силу своего характера полагался на тех, кого подобрал в свой штаб. Но он оставался хозяином, почти деспотом, ревниво оберегавшим свою власть, приходя в гнев при малейших посягательствах на неё. Когда предложили, чтобы Галлиени, назначенный президентом Пуанкаре

преемником Жоффра на случай чрезвычайных обстоятельств, разместился в главном штабе, командующий, не желая оказаться в тени своего прежнего командира, категорически высказался против этого. «Его трудно поместить здесь, – признался он Мессими. – Я всегда был под его командой. Il m'a toujours fait mousser. Он всё время бесил меня». Это откровение проливает свет на личные отношения Жоффра и Галлиени, которым было суждено сыграть определённую роль в роковые часы перед битвой на Марне. После того как Жоффр отказался пустить его в свой штаб, Галлиени остался в Париже без дела.

Наступил долгожданный час, когда французский флаг вновь должен был взвиться над Эльзасом. Войска прикрытия, находившиеся в густых сосновых рощах Вогезов, рвались в бой. Перед ними лежала запоминающаяся картина гор, с озёрами и водопадами, сырым, восхитительным запахом лесов, где густые мхи покрывали землю между соснами. Пастбища на вершинах холмов, пасущийся на лугах скот перемежались с лесистыми участками. Впереди проступали розовые очертания окутанной туманом самой высокой горы Вогезов – Баллон-д'Эльзас (le ballon d'Alsace). Патрули, которые осмеливались забираться на вершины гор, видели внизу, на «потерянной территории», красные крыши домов, серые церковные шпили и тонкую блестящую линию Мозеля. Здесь, у истоков, где река мелка, перейти её вброд не составляло труда. Белые квадраты цветущего картофеля следовали за алыми полосами посевов бобов и за серо-зелёными и фиолетовыми рядами капусты. Стога сена, подобно маленьким толстеньким пирамидкам, нанесённым на холст кистью художника, усыпали поля. Земля вошла в зенит своего плодородия, щедро согретая яркими лучами солнца. Она была удивительно хороша, и за неё стоило сражаться. Неудивительно, что «Иллюстрасьон» в первом выпуске о войне изобразила на рисунке Францию в виде бравого *poilu*, солдата-фронтовика, восторженно поднявшего на руки прекрасную девушку – Эльзас.

Военное министерство уже напечатало для расклейки на стенах освобождённых городов прокламации с обращением к местному населению. Разведка с аэропланов показала, что в этом районе можно легко прорвать оборону противника; слишком легко, думал командующий VII корпусом генерал Бонно, опасавшийся «угодить в

мышеловку». Вечером 6 августа его адъютант прибыл к генералу Дюбаю и передал тому мнение Бонно об операции в районе Мюлуза, которую тот считал «ненадёжной и опасной». Командир корпуса тревожился за свой правый фланг и тыл. Дюбай озвучил эти сомнения на совещании генералов 3 августа. Главный штаб посчитал их падением наступательного духа. Опасения командиров в начале операции, несмотря на их обоснованность, слишком часто оказывались замаскированным предложением об отступлении. Согласно французской военной доктрине, захват инициативы был более важным, чем тщательная оценка сил противника. Успех зависел от боевых качеств командиров, поэтому, по мнению Жоффра и его окружения, осторожность и колебания, проявленные в начале наступления, ведут к катастрофическим последствиям. Главный штаб требовал начать операцию в Эльзасе как можно быстрее. Подчиняясь данному приказу, Дюбай позвонил генералу Бонно по телефону и спросил, всё ли «готово». Получив утвердительный ответ, Дюбай приказал начать наступление на следующее утро.

В 5 часов утра 7 августа, за несколько часов до вступления бригады Людендорфа в Льеж, VII корпус генерала Бонно перевалил через гребень Вогезов, смёл пограничные заставы и повёл классическую штыковую атаку на Альткирк, город с четырёхтысячным населением, расположенный на пути к Мюлузу. После шестичасового боя Альткирк был взят; потери убитыми и ранеными составили 100 человек. Это была не последняя штыковая атака в войне, символом которой вскоре стали залитые грязью окопы; впрочем, эту атаку тоже вполне можно считать таковой. Осуществлённый в лучшем стиле и в духе устава 1913 года, этот штурм казался проявлением той самой «доблести», что выражалась словом *craie*, и представлял апофеозом *la gloire*, славы.

Как сообщала французская сводка, наступил час «неописуемого волнения». Вырванные из земли пограничные столбы с триумфом пронесли по улицам города. Однако генерал Бонно, мучимый тревогой, не решался двинуться на Мюлуз. Раздражённый его медлительностью, главный штаб на следующее утро издал категорический приказ о том, чтобы Мюлуз в тот же день был взят, а мосты через Рейн разрушены. 8 августа VIII корпус без единого

выстрела занял Мюлуз, примерно через час после ухода оттуда последних германских войск, отошедших дальше на север.

Французская кавалерия в сверкающих на солнце кирасах с султанами из чёрного конского волоса галопом проходила по улицам. Лишившись дара речи от её неожиданного появления, люди сначала только смотрели на эту сцену, некоторые утирали слёзы, затем всех охватила радость. На главной площади состоялся большой парад французских войск, продолжавшийся более двух часов. Оркестр играл «Марсельезу» и «Самбру и Маас». Красные, белые и синие цветы украшали пушки. Расклеенная на стенах прокламация Жоффра называла французских солдат «славным авангардом великой цели реванша... на знамёнах которого начертано „Право и свобода“». Из толпы солдатам протягивали шоколад, печенье и трубки с табаком. Из всех окон махали флажками и платками, и даже крыши были усеяны людьми.

Однако не все радостно встретили французские войска. Среди жителей города было немало немцев, поселившихся здесь после 1870 года. Один офицер, проезжавший через толпу, видел кое-где «серьёзные и бесстрастные лица с трубками в зубах. Мне показалось, что эти люди подсчитывали нас». И действительно, некоторые из них вечером поспешно ушли из города, чтобы сообщить сведения о французских дивизиях.

Немецкие подкрепления, срочно переброшенные из Страсбурга, начали сосредоточиваться вокруг занятого французами Мюлуза. Генерал Бонно, с самого начала не веривший в успех операции, сделал всё возможное, чтобы предотвратить окружение. Когда утром 9 августа начались бои, его левый фланг у Сернея держался мужественно и стойко весь день, но части справа, слишком долго занимавшие позиции в секторе, где никто им не угрожал, не успели вовремя прийти на помощь своим товарищам. Главный штаб наконец счёл необходимым отправить в район боёв подкрепления, чего ранее так добивался Дюбай, и к Мюлузу срочно выступила резервная дивизия. Однако к тому времени сложилось такое положение, когда для укрепления фронта требовалась не одна дивизия, а по меньшей мере две. Сражение длилось почти сутки, и к 7 часам утра 10 августа французы оказались отброшены назад и под угрозой окружения вынуждены были отступить.



Унижение, перенесённое армией после хвастливой риторики сводок и прокламаций, рухнувшие надежды, лелеемые военными сорок четыре года, не могли сравниться со страданиями местного населения, подвергнувшегося жестоким репрессиям. Власти, получив доносы немецких граждан, учинили расправу над теми, кто проявил слишком большой энтузиазм при встрече французов. Отступивший VII корпус находился в 10 милях от Бельфора. В главном штабе с новой силой разгорелась вражда между фронтовыми и штабными офицерами. Окончательно убедившись в отсутствии «порыва» у Бонно, Жоффри принялся «рубить головы», чем особенно славился весь период его командования. Генерал Бонно стал первым из *limogés* – отстранённых от командования офицеров стали называть «лиможами», потому что их отсылали в Лимож, где они получали направления для прохождения дальнейшей службы в тылу. Жоффри сместил также командира 8-й кавалерийской дивизии и ещё одного дивизионного генерала, обвинив их в «некомпетентности».

Упрямо придерживаясь первоначального плана освободить Эльзас и приковать силы немцев к этому фронту и не обращая никакого внимания на сообщения из Бельгии, Жоффри добавил VII корпусу одну регулярную дивизию и три дивизии резервистов, создав специальную эльзасскую армию, которая должна была возобновить наступление на правом фланге. Командовать ею назначили генерала По, вызванного из отставки. Пока эта армия сосредоточивалась, на всех других фронтах положение резко обострилось. 14 августа, когда генерал По должен был двинуть свою армию вперёд, над Бельфором заметили тридцать аистов, летящих на юг, – они покидали Эльзас на два месяца раньше обычного.

Народ Франции ещё не догадывался о случившемся. Главный штаб достиг вершин мастерства, составляя туманные и совершенно непонятные для широкой публики сводки. Жоффри придерживался твёрдого принципа – штатские ничего не должны знать. На фронт не пустили ни одного журналиста; в военных сообщениях запрещалось указывать фамилии генералов, имена погибших или раненых и номера полков. Чтобы враг не смог воспользоваться полезной информацией, главный штаб позаимствовал у японцев принцип: вести войну «молчаливо и анонимно». Франция была разделена на тыловую и военную зоны, в последней диктатором являлся Жоффри. Не только

простые граждане, но даже сам президент страны, не говоря уже о презируемых депутатах, не могли появиться в военной зоне без его специального разрешения. Именно он, а не президент Франции поставил подпись под прокламацией с обращением к народу Эльзаса.

Министры, протестуя, говорили, что знают о передвижениях германской армии больше, чем о манёврах французской. Даже Пуанкаре, которому Жоффри, считая себя независимым от военного министра, направлял доклады о положении на фронтах, жаловался, что ему ничего не сообщают о неудачах французской армии. Однажды, когда президент готовился посетить части 3-й армии, Жоффри дал «строгие указания» их командирам «не обсуждать с президентом никаких вопросов стратегии или внешней политики». «О беседах с ним следует представить доклад». Всем генералам запрещалось объяснять членам правительства суть тех или иных военных операций. «В докладах, которые я посылаю наверх, – говорил Жоффри подчинённым, – я никогда не сообщаю о целях текущих операций или моих намерениях».

Очень скоро под давлением общественного мнения эта система рухнула. Однако в августе, когда сметались границы, захватывались целые страны, армии совершали броски на огромные расстояния, а земля от Сербии до Бельгии сотрясалась от грохота орудий, плохие новости с фронтов действительно были редкостью. Несмотря на тысячу ревностных хроникёров, понять весь смысл происходящих в тот месяц исторических событий было нелегко. Генерал Галлиени, в штатском, обедал 9 августа вместе с другом в маленьком парижском кафе, и вдруг он услышал, как за соседним столиком редактор газеты «Тан» сказал своему приятелю: «Могу сообщить тебе, что генерал Галлиени с 30 000 солдат час назад вошёл в Кольмар». Наклонившись к своему собеседнику, Галлиени тихо произнёс: «Вот так пишется история».

Пока немцы под Льежем ждали осадные пушки, пока мир восхищался продолжавшимся сопротивлением фортов, а лондонская «Дейли мейл» цитировала единодушное мнение авторитетов, что форты «никогда не будут взяты», пока продолжалось наращивание армий, отдельные умы в глубокой тревоге гадали, какую именно стратегию изберут немцы. Одним из них был Галлиени. «Что же

готовится на германском фронте? – спрашивал он с беспокойством. – Что кроется за массовой концентрацией войск под Льежем? От этих немцев всегда можно ожидать чего-нибудь огромного».

Ответ на этот вопрос должна была дать посланная под Льеж французская кавалерия под командованием генерала Сорде. Натиск кирасир оказался таким стремительным, что они быстро ушли слишком далеко вперёд. Французы пересекли 6 августа границу Бельгии и двинулись вдоль Мааса, чтобы собрать сведения о численности и цели сосредоточения германских армий. Делая в день около 40 миль, они за три дня покрыли 110 миль и вскоре, миновав Нёфшато, оказались в 9 милях от Льежа. Кавалеристы во время остановок не спешили и не рассёдлывали коней, которые стали выбиваться из сил, не выдерживая бешеного темпа. После дневного отдыха кавалерия продолжила разведку в Арденнах и к западу от Мааса, почти достигнув Шарлеруа. Очень скоро французы поняли, что противник крупными силами форсировал Маас. Скопления войск на германской стороне границы активно прикрывала германская кавалерия. Французам так и не удалось провести лихую кавалерийскую атаку, которой всегда по традиции начинались войны. Хотя дальше к северу, в районе Лувена и Брюсселя, где шло немецкое наступление, германская кавалерия прибегала к стремительным сабельным ударам, здесь она избегала прямых стычек и создала мощный непробиваемый заслон, поддерживаемый батальонами самокатчиков и отрядами егерей на автомобилях. Атаки французов сдерживались пулемётным огнём.

Это обескураживало. Кавалеристы обеих сторон всё ещё верили в силу обнажённого клинка, в *arme blanche*, «белое оружие», несмотря на опыт гражданской войны в Америке, когда генерал-конфедерат Морган, используя своих спешенных конников как пехоту, часто восклицал: «Эй, ребята, опять показали эти дураки с саблями! А ну-ка задайте им жару!» Во время русско-японской войны английский военный наблюдатель, в будущем генерал сэр Иэн Гамильтон сказал: единственное, на что способна кавалерия перед лицом пулемётных гнёзд, – варить рис для пехотинцев. Это замечание заставило военное министерство недоумевать: не повредился ли умом наблюдатель после стольких месяцев пребывания на Востоке? Когда Макс Гофман, ещё один будущий генерал, который также в качестве наблюдателя

находился на русско-японском фронте, пришёл примерно к такому же выводу о траншеях и пулемётах как важнейшем оборонительном факторе, генерал Мольтке заявил: «Никогда ещё не было таких полоумных способов ведения войны!»

В 1914 году применение немцами пулемётов и отказ от кавалерийских атак оказались очень эффективным методом прикрытия войск. Донесения Сорде об отсутствии больших скоплений германских частей, готовых ринуться на левый фланг французов, ещё больше убедили главный штаб в верности предварительных расчётов. Однако король Альберт и генерал Ланрезак, войска которых стояли на пути противника, намного яснее представляли себе контуры германской стратегии охвата. Такого же мнения придерживался и генерал Фурнье, комендант французской крепости Мобёж. Он сообщил в главный штаб, что 7 августа германская кавалерия вошла в Юи (Нуу) на Маасе и что по имеющимся у него сведениям эти части прикрывают продвижение пяти или шести корпусов. По всей вероятности, немцы решили переправиться через Маас в Юи, потому что там находился единственный мост между Льежем и Намюром. Мобёж, предупреждал комендант, не сдержит продвижения такой массы войск. Главному штабу донесение о пяти-шести вражеских корпусах показалось вымыслом перепуганного пораженца. Как считал в августе Жоффр, чтобы добиться успеха, нужно прежде всего вырвать с корнем слабодушие и трусость, поэтому он немедленно отстранил Фурнье от командования. Позднее, после проведения расследования, главный штаб отменил этот приказ. Тем временем выяснилось, что для укрепления обороны Мобёжа потребуется по меньшей мере две недели.

Тревога генерала Ланресака, получившего донесение из Юи, усилилась. 8 августа он отправил своего начальника штаба генерала Эли д'Уасселя в Витри, чтобы тот доказал главному штабу существование угрозы охвата с фланга, исходящей от правого крыла германских армий. Главный штаб назвал высказанные Ланрезакom опасения «преждевременными»: такой манёвр «не соответствовал бы средствам, имеющимся в распоряжении противника». Из Бельгии поступали новые доказательства подготовки мощного наступления, однако творцы «Плана-17» всему находили объяснение: бригады, замеченные в районе Юи, выполняли «особое задание», или источники

информации считались «подозрительными», а нападение на Льеж имело целью захват плацдарма «и ничего более». 10 августа в Витри вновь выразили «убеждение в том, что главного наступления немцев через Бельгию не будет».

Озабоченный подготовкой собственного наступления, французский генеральный штаб хотел знать точно, будет ли бельгийская армия сдерживать натиск немцев до присоединения к ней 5-й армии и английских войск. Жоффр отправил к королю Альберту ещё одного эмиссара, полковника Адельберта, с личным посланием от президента Пуанкаре, в котором выражалась надежда на «согласованные действия» обеих армий. Прибыв 11 августа в Брюссель, этот офицер получил такой же ответ, что и его предшественники, а именно: если немецкое наступление будет развиваться так, как это предвидит король Альберт, то Бельгия не станет рисковать своей армией, которая окажется отрезанной от Антверпена. Полковник Адельберт, горячий сторонник идеи «порыва», не решался доложить о пессимизме короля главному штабу. Он был избавлен от этой тяжёлой обязанности, потому что на следующий день началось сражение, из которого бельгийцы вышли увенчанными славой.

Уланы, пробивавшиеся к Лувену, были встречены у моста в районе Халена мощным огнём спешенных бельгийских кавалеристов под командованием генерала де Витта. Используя своих конников и другие пехотные части, де Витт повторил успех генерала Моргана в Теннесси. С 6 утра до 8 вечера дружные винтовочные залпы его солдат сдерживали непрерывные атаки вооружённых пиками и саблями германских кавалеристов. Поле боя усеяли трупы улан из отборных эскадронов фон Марвица. В конце дня остатки кавалерийского отряда отошли. Славная победа, которую счастливые корреспонденты называли решающей битвой войны, вызвала у бельгийских генералов и их французских коллег прилив энтузиазма: они уже видели себя в Берлине. Полковник Адельберт информировал главный штаб о том, что «отступление германской кавалерии следует считать окончательным. По-видимому, немцы отложили намеченное наступление через центральную часть Бельгии или даже вовсе отказались от подобного намерения».

Оптимизм казался оправданным ввиду продолжающегося сопротивления фортов вокруг Льежа. Каждое утро заголовки бельгийских газет с триумфом возвещали: «Les forts tiennent toujours! Форты будут держаться вечно!» 12 августа, в день битвы под Халеном, германские осадные орудия, которых немцы так ждали, чтобы покончить с этим хвостовством, наконец-то прибыли.

Льеж был отрезан от окружающего мира, и, когда огромные чёрные пушки привезли на его окраины и установили неподалёку от фортов, единственными свидетелями этого зрелища были лишь местные жители. Один из них сравнил этих монстров с «обожравшимися слизнями». Словно сидящие на корточках, чудища имели бочкообразные стволы, утолщённые цилиндрами амортизаторов, что уродовали их спины, подобно опухолевым наростам. Орудия стояли, обратив свои пасти к небу. К вечеру 12 августа одно из них было приведено в боевую готовность и нацелено на форт Понтисс. Артиллеристы, закрыв глаза, уши и рты специальными набивными повязками, растянулись ничком на земле, приготовившись к выстрелу, который производился с помощью электричества с расстояния 300 ярдов. В 6:30 вечера Льеж содрогнулся от грохота. Снаряд, описав дугу, поднялся на высоту четырёх тысяч футов и через 60 секунд достиг цели. Над фортом выросло громадное коническое облако пыли, дыма и обломков. К этому времени к Льежу уже доставили 305-миллиметровые орудия «Шкода», которые начали обстрел других фортов. За стрельбой с церковных колоколен и аэростатов наблюдали корректировщики. Защитники фортов слышали душераздирающий вой снарядов, с нарастающим ужасом чувствовали, как с каждым выстрелом те ложились всё ближе и ближе. Наконец благодаря усилиям корректировщиков снаряды стали с оглушительным грохотом рваться прямо над головой, пробивая бетонные перекрытия. Снова и снова падали снаряды, разрывая людей на куски, удушая едким пороховым дымом. Рушились потолки и галереи; огонь, дым и оглушительный грохот наполнили казематы, солдаты доходили до «истерики, обезумев от ужасного чувства ожидания следующего выстрела».

До того, как в дело вступили пушки, только один форт был взят штурмом. Форт Понтисс, выдержав 45 выстрелов за сутки

бомбардировки, оказался настолько разрушенным, что его без труда захватила 13 августа пехота. В тот же день пали ещё два форта, а 14 августа – остальные, расположенные на востоке и севере от города. Немцы уничтожили их орудия; путь к северу от города стал свободен. Началось продвижение войск 1-й армии фон Клука.

Затем осадные орудия перебросили к западным фортам. Одно из 420-миллиметровых орудий немцы повезли к форту Лонсэн через весь город. Селестэн Демблон, депутат от Льежа, находился на площади Святого Петра, когда вдруг увидел «артиллерийское орудие таких колоссальных размеров, что даже не верилось глазам... Монстра, разделённого на две части, тащили 36 лошадей. Мостовая сотрясалась. Толпа безмолвно, будто оцепенев от ужаса, наблюдала за перемещением этой фантастической машины. Она медленно пересекла площадь Святого Ламбера, свернула на Театральную площадь, а затем на бульвары Совеньер и Д'Авруа, привлекая зевак своим неторопливым и тяжеловесным движением. Слоны Ганнибала наверняка удивили римлян меньше! Солдаты, сопровождавшие орудия, шагали напряжённо, почти с ритуальной торжественностью. Это был Вельзевул в образе пушки! В парке Д'Авруа орудие осторожно собрали и тщательно нацелили на форт. И вот раздался ужасающий грохот; толпу отбросило назад, земля колыхнулась, как при землетрясении, и в окнах окрестных домов вылетели стёкла...»

К 16 августа немцы захватили одиннадцать фортов из двенадцати; держался только форт Лонсэн. В перерывах между бомбардировками к генералу Леману шли парламентёры с белыми флагами, требуя капитуляции. Генерал решительно отверг эти предложения. 16 августа немецкий снаряд попал в склад боеприпасов, и форт разнесло взрывом изнутри. Немцы, проникшие в форт через дымящиеся проломы и разбитые бетонные колпаки, обнаружили под обломками стены казавшееся безжизненным тело генерала Лемана. Его адъютант с почерневшим от копоти лицом неподвижно стоял рядом. «Отдайте почести генералу, он мёртв», – сказал он. Но Леман был жив, просто потерял сознание. Его привели в чувство и отнесли на носилках к генералу Эммиху. Вручая тому свою саблю, Леман промолвил:

— Я был взят в плен в бессознательном состоянии. Отметьте этот факт в своём донесении.

— Эта сабля достойно защитила вашу военную честь, — ответил Эммих. — Возьмите её.

Позднее Леман писал королю Альберту из германского плена: «Я бы с радостью отдал свою жизнь, но смерть не приняла меня». Его противники, генералы фон Эммих и Людендорф, были удостоены высшей военной награды Германии — светло-синего с золотом креста «Pour la Mérite».

На следующий день после падения форта Лонсэнь германские 2-я и 3-я армии перешли в наступление. Начался марш всего правого крыла германских войск через Бельгию. Так как немцы не планировали наступления ранее 15 августа, то Льеж задержал продвижение германских войск всего на два дня, а не на две недели, как думали все. Но Бельгия дала союзникам не просто передышку на два дня (или две недели), а повод для войны и пример её ведения.



## **Глава 12**

### **Путь британских экспедиционных сил на континент**

Задержка с прикрытием левого, открытого, фланга генерала Ланрезака была вызвана спорами и противоречиями среди англичан, которые должны были оборонять этот участок. Вместо того чтобы 5 августа, в первый день войны, автоматически вступить в действие, как это произошло с военными планами континентальных держав, план английского генерального штаба, разработанный Генри Уилсоном до мельчайших подробностей, подлежал рассмотрению Комитета имперской обороны. Когда в 4 часа дня комитет собрался на заседание уже в качестве Военного совета, в состав которого вошли известные гражданские и военные деятели, среди них впервые оказался и колосс, одновременно являвшийся и гражданским, и военным лицом.

Сам же новый военный министр, фельдмаршал лорд Китченер, как и его коллеги, не проявлял особых восторгов по поводу своего назначения. Члены правительства нервничали из-за того, что среди них впервые со времён генерала Монка, служившего при Карле II, находится профессиональный военный. Генералы боялись, что или он использует своё положение, или правительство окажет на него нажим, чтобы вмешаться в отправку экспедиционных сил во Францию. И опасения оправдались: Китченер незамедлительно выразил глубокое недовольство стратегией, политикой и ролью, которые отводились английской армии в соответствии с англо-французским планом.

Его полномочия, учитывая двойственное положение, были, однако, не совсем ясны. Англия вступила в войну с туманными представлениями о том, что верховная власть остаётся за премьер-министром, но без конкретного определения, на основании чьих советов он должен действовать и чьё же мнение является окончательным. В армии строевые офицеры презирали штабных, считая, что у последних «ум канарейки, а манеры вельмож», но обе группы были настроены в равной мере против вмешательства в военные дела пусть и министров, но штатских, которых они именовали «фраками». Гражданские, в свою очередь, считали военных не иначе

как «твердолобыми». На заседании Военного совета 5 августа «фраков» представляли Асквит, Грей, Черчилль и Холдейн, а от армии присутствовали одиннадцать старших офицеров, включая фельдмаршала сэра Джона Френча, командующего британским экспедиционным корпусом (БЭК), двух его полевых командиров – сэра Дугласа Хейга и сэра Джеймса Грайерсона, начальника штаба БЭК сэра Арчибальда Мюррея (все трое – в чине генерал-лейтенанта) и заместителя начальника штаба генерал-майора Генри Уилсона, чье умение наживать себе политических врагов ярко проявилось в ходе «Куррахского кризиса»<sup>[4]</sup> и стоило ему прежней должности. Между этими двумя группами, неизвестно кого и что представляя, пребывал лорд Китченер, который относился к целям экспедиционных сил с большим недоверием, а к их главнокомандующему – без всякого восторга. Если и не с тем же вулканическим пылом, с каким выступал когда-то адмирал Фишер, Китченер проявлял решительное несогласие с планом генерального штаба «привязать» английскую армию к французской стратегии.

Не участвуя лично в планировании войны на континенте, Китченер видел истинные цифры численности экспедиционных сил и потому не верил, что их шесть дивизий в состоянии повлиять на исход предстоящей схватки между семьюдесятью германскими и семьюдесятью французскими дивизиями. Хотя он и был профессиональным военным – «наиболее способным из тех, с кем мне приходилось встречаться за всю жизнь», как отметил лорд Кромер, когда Китченер возглавил Хартумскую кампанию, – его карьера проходила на высотах английского политического Олимпа. Он занимался только крупными проблемами в Индии и Египте и вопросами Британской империи в целом. Никто никогда не видел, чтобы он заметил простого солдата или заговорил с ним. Подобно Клаузевицу, он считал войну продолжением политики и исходил из этой концепции. В отличие от Генри Уилсона и генерального штаба он не был поглощён планами высадки, железнодорожными расписаниями, лошадьми, нарядами на постой, накладными и тому подобным. Стоя несколько в стороне, Китченер имел возможность смотреть на проблему войны в целом, в свете отношений между державами, и он вполне осознавал, сколь огромные усилия

национальной военизации потребуются в предстоящем длительном вооружённом конфликте.

«Мы должны быть готовы, — заявлял он, — направить на поле сражения миллионные армии и обеспечить их всем необходимым в течение нескольких лет». Поражённая аудитория рвалась возражать, но он был непоколебим. Чтобы вести войну в Европе и выиграть её, Англия должна иметь армию в семьдесят дивизий, равную континентальным армиям, а, по его подсчётам, такая армия достигнет полной силы только на третий год, а отсюда следует, что война будет длиться минимум в течение этого времени. Регулярную армию с её офицерами и особенно сержантами он считал необходимой в качестве ядра для обучения большей армии, создание которой имел в виду. Расстаться с ней в ближайшем сражении при неблагоприятных условиях и там, где в конечном счёте её присутствие не будет решающим, было бы, по его мнению, преступной глупостью. По убеждению Китченера, если отправить регулярную армию на континент, то не будет никакой возможности подготовить войска ей на смену.

Важнейшая разница между английской и континентальной армиями состояла в отсутствии в Англии воинской повинности. Регулярная армия предназначалась скорее для службы в колониях, а не для защиты метрополии, что вменялось в обязанность территориальным войскам. Поскольку герцог Веллингтон в своё время завёл непреложное правило — новобранцы для колониальных войск «должны быть добровольцами», то военный потенциал Англии во многом зависел от волонтёров, в результате чего другие государства не знали толком, насколько значительным окажется участие Англии. Хотя лорд Робертс, старший из фельдмаршалов, кому было уже далеко за семьдесят, в течение многих лет при поддержке единственного члена кабинета министров, Уинстона Черчилля, боролся за воинскую повинность, лейбористы активно выступали против, и ни одно правительство не рискнуло бы согласиться на призыв в армию, ибо подобное решение немедленно привело бы к его отставке. Военные возможности Англии на Британских островах составляли шесть пехотных и одну кавалерийскую дивизии регулярной армии плюс четыре дивизии колониальных войск общей численностью 60 000 человек и четырнадцать дивизий территориальных войск.

Трехсоттысячный резерв был разделён на два класса: специальный резерв, которого едва хватало на пополнение регулярной армии до военной численности и сохранение её боеспособности в течение нескольких недель боевых действий, и национальный резерв, обеспечивающий смену в территориальных войсках. По мнению Китченера, «территориалы» были плохо обученными, бесполезными «любителями», к которым он относился с таким же откровенным презрением – и столь же несправедливо, – как и французы к своим резервистам, и не принимал их в расчёт.

В возрасте двадцати лет Китченер сражался в качестве волонтера во французской армии в войне 1870 года и прекрасно говорил по-французски. Питал он или нет после этого какие-либо особые симпатии к Франции – неизвестно, но поклонником французской стратегии точно не был. Во время событий в Агадире Китченер заявил Комитету имперской обороны, что немцы «разделяются с французами, как с куропатками», и ответил отказом на приглашение принять участие в выработке комитетом соответствующих сложившейся ситуации мер. Как свидетельствует лорд Эшер, он направил комитету послание, в котором сообщал, что «если они воображают, будто он станет командовать армией во Франции, то пусть сначала отправятся к чёрту».

То, что в 1914 году Англия поручила Китченеру военное министерство и таким образом поставила себе на службу единственного человека, который был готов настаивать на подготовке к длительной войне, случилось не из-за его убеждений, а из-за уважения, которым он пользовался. Не обладая талантом бюрократа из административного учреждения и не имея вкуса к «зелёной тоске» заседаний кабинета министров, после привычного проконсульского «Пусть будет так» Китченер приложил все усилия, чтобы избежать уготованной ему судьбы. Правительство и генералы, больше знакомые с отрицательными качествами его характера, чем с его даром предвидения, обрадовались, вернись он в Египет, но обойтись без него они не могли. Китченера назначили военным министром не потому, что его точка зрения отличалась от суждений остальных, а потому, что его присутствие было необходимо, чтобы «успокоить общественное мнение».

Со времён Хартума страна испытывала чуть ли не религиозную веру в Китченера. Между ним и публикой существовал тот же самый мистический союз, который потом возник между французским народом и «папой Жоффром» или между народом Германии и Гинденбургом. Инициалы «К.Х.» стали магической формулой, а густые военные усы Китченера сделались таким же национальным символом для Англии, как *pantalon rouge* для Франции. Властный, высокий и широкоплечий, он казался викторианским Ричардом Львиное Сердце, разве только таилось что-то невысказанное в его гордо поблёскивавших глазах. Начиная с 7 августа усы, глаза и указующий перст над призывом «Ты нужен своей стране» проникали в душу каждого англичанина, глядя с известного всем военного плаката. Вступление Англии в войну без Китченера было так же немыслимо, как воскресенье без церкви.

Военный совет, однако, не очень-то прислушивался к предсказаниям Китченера в тот момент, когда каждый размышлял над вопросом, требующим немедленного ответа, – срочная отправка шести дивизий во Францию. «Мы так и не узнали, – писал потом Грей, – как или в результате каких выводов он сделал своё предсказание о сроках войны». То ли потому, что Китченер оказался прав там, где ошибались все остальные; то ли потому, что штатские не верили недалёким военным; то ли из-за того, что Китченер никогда не утруждал себя объяснением каких бы то ни было причин своих действий, – в общем и целом все его коллеги и современники пришли к выводу, что он, как писал Грей, «опирался в своих предсказаниях на голый инстинкт, а не на голос рассудка».

А Китченер сделал ещё одно предсказание – о том, как будет развёртываться предстоящее германское наступление к западу от Мааса. Его вывод также потом считался следствием «некоего дара прозрения», а не «знанием сроков и расстояний», как заявил один из офицеров генерального штаба. На деле же, как и король Альберт, Китченер видел в немецком наступлении на Льеж тень идеи Шлиффена – охват правым флангом. Он не считал, что Германия нарушила нейтралитет Бельгии и бросила тем самым Англии вызов только для того, чтоб произвести «совсем небольшое вторжение», как высказался Ллойд Джордж, через Арденны. Избежав ответственности за предвоенное планирование, Китченер не мог возражать против

отправки шести дивизий во Францию, но и не видел причин посылать их на верную смерть на такой невыгодной и настолько далеко выдвинутой позиции, как та, которую предлагали французы под Мобёжем, – где, по его мнению, на них обрушится вся мощь наступающей германской армии. Вместо этого он предложил, чтобы экспедиционные силы сосредоточились у Амьена, на семьдесят миль ближе.

Поражённые столь решительной переменой плана при всей её кажущейся незначительности, генералы убедились в подтверждении своих самых худших ожиданий. Небольшого роста, крепко скроенный генерал сэр Джон Френч, которому предстояло командовать экспедиционными войсками, был настроен особенно агрессивно. Его обычный апоплексический вид и тесный стоячий кавалерийский воротник, который он предпочитал рубашке с галстуком, создавали впечатление, что он постоянно задыхается, что и происходило на самом деле, если не физически, то фигурально. Когда в 1912 году его назначили начальником имперского генерального штаба, он сразу же заявил Генри Уилсону, что намеревается подготовить армию для войны с Германией, считая эту войну «насушной неизбежностью». С тех пор он номинально отвечал за совместные с Францией планы, хотя французский план кампании ему практически не был знаком – как, впрочем, и германский план. Подобно Жоффру, он был назначен начальником штаба, не имея ни опыта штабной работы, ни соответствующего образования.

Выбор его кандидатуры, как и назначение Китченера военным министром, зависел не от личных качеств, а от чина и репутации. Во многих колониальных сражениях, в которых создавался военный авторитет Великобритании, сэр Джон продемонстрировал храбрость и выдержку, и, по чьему-то авторитетному мнению, «практическую хватку в малой тактике». В годы англо-бурской войны генерал Френч командовал кавалерийским соединением и прославился романтическим галопом сквозь боевые порядки буров при освобождении Кимберли, приобретя репутацию отважного рубаки, всегда готового рисковать, и популярность у широкой публики, почти сравнимую с популярностью Робертса и Китченера. А поскольку Британия не могла похвастаться особыми успехами даже в столкновениях с плохо обученным противником, лишённым

современного оружия, армия гордилась и таким героем, а правительство испытывало признательность. Доблесть Френча в сочетании с популярностью увели его далеко. Подобно адмиралу Милну, он плыл в потоке придворного окружения короля. Будучи кавалерийским офицером, он считал себя принадлежащим к армейской элите. Дружба с лордом Эшером не являлась помехой, а политически он был связан с либералами, которые в 1906 году пришли к власти. В 1907 году Френч стал генеральным инспектором армии, в 1908-м сопровождал короля Эдуарда во время государственного визита и встречи с русским царём в Ревеле. В 1912 году он был назначен начальником генерального штаба, в 1913-м получил звание фельдмаршала. В шестьдесят два года Френч занимал второй по значимости пост после Китченера, будучи на два года его моложе, хотя и выглядел старше. Никто не сомневался, что в случае войны он будет командовать экспедиционными силами.

В марте 1914 года, когда бунт в Куррахе, словно храмовый свод, потрясённый Самсоном, обрушился на головы военным, Френч вынужден был уйти в отставку, подведя, казалось, черту под своей карьерой. Вместо этого он оказался в фаворе у правительства, посчитавшего, что мнимое восстание было делом рук оппозиции. «Френч славный малый, и мне он нравится», – писал Грей. Через четыре месяца, когда разразился кризис, Френча вернули в армию и 30 июля назначили главнокомандующим на случай вступления Англии в войну.

Не привыкший к научным занятиям и отвыкший от чтения, по крайней мере, после своих боевых успехов, Френч был более известен дурным характером, чем умственными способностями. «Я не думаю, чтобы он был умён, – поделился как-то король Георг V со своим дядей, – и в добавление ко всему у него ещё и ужасный характер». Как и его французский коллега, сэр Джон Френч был необразован и отличался от Жоффра главным образом тем, что тот был крайне твёрд в своих решениях, а Френч как-то особенно поддавался влиянию настроения окружающих и предрассудкам. У него, как говорили, «был темперамент ртути, присущий ирландцам и кавалеристам». Жоффр оставался непреклонен при любых обстоятельствах, а сэр Джон легко переходил от агрессивных крайностей в хорошие времена к глубокой депрессии в плохие дни. Импульсивный и легко верящий слухам, он,

по мнению лорда Эшера, имел «сердце романтического ребёнка». Однажды он подарил своему бывшему начальнику штаба на бурской войне золотую фляжку с дарственной надписью «На память о долгой и крепкой дружбе на солнце и в тени». Этим «проверенным другом» был куда менее сентиментальный Дуглас Хейг, который в августе 1914 года записал в своём дневнике: «В глубине души я отчётливо сознаю, что Френч совершенно непригоден к командованию в период величайшего кризиса в истории нации». Это чувство в глубине души Хейга вполне сочеталось с ощущением, что наилучшей кандидатурой на пост командующего был бы он сам, и он не намеревался успокаиваться, покуда не добьётся своего.

Когда Китченер поставил под сомнение назначение, а следовательно, и цель британских экспедиционных сил, члены совета, по мнению Генри Уилсона, «в большинстве своём не представлявшие этих целей... как идиоты принялись обсуждать вопросы стратегии». Сэр Джон Френч неожиданно «вылез со смешным предложением идти на Антверпен», утверждая, что, поскольку мобилизация в Англии и так отстаёт от графика, следует принять во внимание возможность взаимодействия с бельгийской армией. Хейг, который, подобно Уилсону, вёл дневник, «задрожал от того, с какой небрежностью» его командир готов изменить планы. Новый начальник имперского генерального штаба сэр Чарльз Дуглас, огорошенный не меньше Хейга, заявил: всё готово для высадки во Франции и французский подвижной состав ждёт, чтобы доставить войска, а потому любые изменения, предпринятые в последний момент, будут иметь «серьёзные последствия».

Ни одна проблема так не беспокоила генеральный штаб, как пресловутая разница между вместимостью английских и французских железнодорожных вагонов. Математические расчёты, касавшиеся перевозки войск с одной стороны пролива на другую, были такими запутанными, что транспортных офицеров бросало в дрожь при одном упоминании о возможных изменениях планов.

К счастью для генеральских умов, предложение о высадке в Антверпене было отвергнуто Уинстоном Черчиллем, которому двумя месяцами позже пришлось отправиться туда самому, чтобы осуществить отважную, но безнадёжную попытку десанта двух бригад морской пехоты и дивизии территориальных войск в последнем и



безрезультатном усилии спасти важный для союзников бельгийский порт. Но 5 августа он заявил, что флот не сможет прикрыть транспорты с войсками, идущие по более длинному маршруту через Северное море до Шельды, в то время как переправа через Дуврский пролив абсолютно гарантирована. Флот имел достаточно времени, чтобы подготовиться к форсированию, и, считая момент благоприятным, Черчилль настаивал, чтобы все шесть дивизий были отправлены немедленно. Его поддерживали Холдейн и лорд Робертс. Разгорелся спор по поводу того, сколько посылать дивизий, оставить ли одну или больше до тех пор, пока территориальные войска не будут обучены или пока из Индии не будет доставлено пополнение.

Китченер вновь повторил свою идею относительно высадки в Амьене, найдя поддержку со стороны своего друга и будущего командующего Галлиполийской кампанией сэра Иэна Гамильтона, который, однако, полагал, что британские экспедиционные силы должны прибыть на место как можно скорее. Грайерсон рассуждал о «решающем количестве в решающем месте». Сэр Джон Френч, самый решительный из всех решительных, предлагал «начать сейчас, а пункт назначения выбрать потом». Было решено немедленно заказать транспорты для всех шести дивизий, отложив решение о месте назначения до прибытия представителя французского генерального штаба, срочно вызванного по настоятельной просьбе Китченера. Предполагалось также провести с ним консультации относительно стратегии французов.

В течение двадцати четырёх часов совет изменил своё решение и сократил число отправляемых дивизий до четырёх из-за страха германского вторжения в Англию. Сведения относительно состава британских экспедиционных сил в тайне удержать не удалось. Влиятельная «Вестминстер газетт», орган либералов, осудила «безрассудное» обнажение страны. Со стороны оппозиции выступил лорд Нортклиф с протестом против посылки на континент хотя бы одного солдата. Хотя адмиралтейство подтвердило вывод, к которому пришёл в 1909 году Комитет имперской обороны, что серьёзное вторжение в Англию невозможно, фантастические видения вражеского десанта на восточном побережье упорно возникали вновь и вновь. К огромному неудовольствию Генри Уилсона Китченер, отвечавший теперь за безопасность островов, вернул в Англию одну дивизию,

которая должна была отправиться во Францию прямо из Ирландии, и выделил две бригады из состава других дивизий для охраны восточного побережья, «безнадёжно спутав, таким образом, все наши планы». Было решено сразу же отправить на континент четыре дивизии и кавалерию – погрузка должна была начаться 9 августа, – 4-ю дивизию предполагалось отправить позднее, оставив при этом 6-ю в Англии. После заседания совета у Китченера сложилось впечатление, которого, правда, не было у генералов, что на Амьене остановились как на районе сосредоточения.

Когда прибыл полковник Югэ, спешно направленный французским генеральным штабом, Уилсон проинформировал его о сроках погрузки. Хотя вряд ли была необходимость хранить такие сведения в тайне от французской стороны, этот шаг Уилсона вызвал гнев Китченера и обвинения в нарушении секретности. Уилсон «огрызнулся», не желая, как он писал, «выслушивать выговоры» от Китченера, «особенно когда тот болтает всякую ерунду, как сегодня». Так началась, или, вернее, усилилась, взаимная антипатия, которая отнюдь не пошла на пользу будущей судьбе английского экспедиционного корпуса. Уилсона, теснее прочих английских офицеров связанного с французами и с сэром Джоном Френчем, Китченер считал самоуверенным и высокомерным и по возможности игнорировал. В свою очередь Уилсон называл Китченера «сумасшедшим» и «таким же врагом Англии, как Мольтке», передавая свою неприязнь подозрительному по природе и легко возбудимому главнокомандующему Френчу.

С 6 по 10 августа, пока немцы под Льежем ожидали прибытия осадных орудий, а французы то брали, то теряли Мюлуз, 80 000 английских солдат экспедиционных сил с 30 000 лошадей, 315 полевыми орудиями и 125 пулемётами накапливались в Саутгемптоне и Портсмуте. Офицерские сабли заново оттачивались в соответствии с приказом, предписывавшим производить наточку сабель на третий день мобилизации, хотя нужны они были разве что для парадов. Но если не обращать внимания на подобные случайные ностальгические жесты, то, говоря словами официального историка, это была «самая обученная, самая организованная и самая снаряжённая английская армия из всех, какие когда-либо отправлялись на войну».

Девятого августа началась погрузка. Транспорты отваливали с интервалами в десять минут. Каждое отошедшее от причала судно остальные пароходы в гавани провожали гудками и свистками, а с палуб раздавались восторженные крики. Шум стоял такой оглушительный, что, как показалось одному офицеру, генерал фон Клук не мог не услышать его у Льежа. Поскольку флот торжественно заявил, что Ла-Манш блокирован, о безопасности форсирования никто не беспокоился. Транспорты шли под покровом темноты и без эскорта. Некий солдат, проснувшись в 4:30 утра, с изумлением увидел, что все транспорты, заглушив котлы, дрейфуют по абсолютно гладкому морю; они ожидали подхода судов из других портов, назначив randevu посреди Ла-Манша. И ни одного эсминца поблизости!

Когда первые английские солдаты высадились в Руане, их встретили с такой помпой, вспоминает французский свидетель, будто они прибыли, чтобы совершить обряд икупления за Жанну д'Арк. В Булони высадка происходила у подножия колонны, воздвигнутой в честь Наполеона на том самом месте, откуда он собирался начать вторжение в Англию. В Гавре весь французский гарнизон забрался на крыши казарм и громкими криками приветствовал союзников, спускавшихся по сходням с пароходов под палящим полуденным солнцем. В тот вечер кроваво-красное солнце садилось под отдалённые раскаты грома надвигающейся летней грозы.

На следующий день в Брюсселе тоже видели английских союзников, правда, не все. Хью Гибсон, секретарь американской миссии, приехавший по делам к английскому военному атташе, войдя в его кабинет без доклада, увидел английского офицера в полевой форме, грязного и небритого, писавшего за столом. У выпроводившего его атташе Гибсон в шутку спросил, не прячет ли тот в доме всю английскую армию. Действительно, место высадки англичан было так хорошо засекречено, что немцы не знали, где и когда те высадились, пока не столкнулись с экспедиционным корпусом под Монсом.

А в Англии антипатии между генералами становились всё более заметными. Как-то во время инспекционного визита король спросил Хейга, который был своим человеком при дворе, каково его мнение о Джоне Френче в качестве главнокомандующего. Хейг посчитал своим долгом ответить: «Я испытываю большие сомнения по поводу того, является ли его характер достаточно ровным, а военные знания

достаточно глубокими, чтобы позволить ему быть хорошим командующим». После отъезда короля Хейг записал в дневнике, что военные идеи сэра Джона во время бурской войны «часто шокировали», и добавил своё «невысокое мнение» о сэре Арчибальде Мюррее, «старой бабе», подчиняющемся «по своей слабости» глупым приказам, чтобы только не испытывать на себе дурной нрав сэра Джона. По мнению Хейга, оба «совершенно не годятся для занимаемых должностей». Своему приятелю он как-то заметил, что сэр Джон слушать Мюррея не будет, а «положится на Уилсона, что ещё хуже», так как Уилсон не солдат, а «политикан», а это, пояснил Хейг, «синоним лицемерия и не вызывающих доверия человеческих качеств».

Изливая свои чувства подобным образом, пятидесятитрехлетний Хейг, лощёный и франтоватый, непогрешимый и светский, имевший друзей во всех нужных местах, а за плечами блестящую карьеру, готовился к будущим успехам. Он, у которого во время Суданской кампании в личном обозе был «верблюд, нагруженный кларетом», привык ни в чём себе не отказывать.

Одиннадцатого августа, то есть через три дня после отплытия во Францию, сэру Джону Френчу впервые стали известны некоторые интересные факты о германской армии. В сопровождении генерала Колуэлла, заместителя главы оперативного отдела, он посетил начальника разведки, который начал рассказывать им о германской системе использования резервов. «Он называл свежие резервные и сверхрезервные дивизии, — писал Колуэлл, — как фокусник достаёт вазы с золотыми рыбками из своего кармана. Казалось, он делает это нарочно. Невозможно было не злиться на него». Это были те же самые сведения, которые получила французская разведка весной 1914 года — слишком поздно, чтобы повлиять на генеральный штаб или заставить его изменить оценку правого крыла немцев. На английскую точку зрения они также не повлияли. Чтобы новые представления были поняты и фундаментальным образом повлияли на стратегическое мышление, не говоря уже обо всех бесконечных деталях развёртывания войск, потребовалось бы гораздо больше времени, чем оставалось.

На следующий день на заключительном заседании Военного совета развернулась борьба по вопросам стратегии между Китченером

и генералами. Помимо Китченера, присутствовали сэр Джон Френч, Мюррей, Уилсон, Югэ и два других французских офицера. Хотя Китченер не мог слышать разрывов 420-миллиметровых снарядов, открывавших немцам дорогу через Льеж, он «чутьём» угадал прорыв и предположил, что немцы прорвутся «большими силами» на краю фланга у Мааса. Взмахом руки показав обходной германский манёвр на большой настенной карте, Китченер утверждал, что, если британские экспедиционные силы будут сконцентрированы у Мобёжа, их сомнут раньше, чем они подготовятся к битве. Им придётся отступить, а это фатально скажется на моральном духе войск, впервые после Крымской кампании столкнувшихся с врагом в Европе. Он настаивал на концентрации сил ближе, у Амьена, чтобы обеспечить свободу действий.

Шесть его противников, три англичанина и три француза, горячо настаивали на необходимости придерживаться первоначального плана. Сэр Джон Френч, проинструктированный Уилсоном после своего предложения идти на Антверпен, теперь утверждал, что любые изменения «сорвут» французский план кампании, и настаивал на выдвижении к Мобёжу. Французы подчёркивали необходимость занятия англичанами левого фланга их позиций. Уилсон внутренне кипел по поводу «трусливого» предложения сосредоточиться у Амьена. Китченер заявил, что считает французский план кампании опасным и что вместо наступления, против которого «лично он возражает», союзникам следует дожидаться наступления немцев и отразить оное. Спор продолжался в течение трёх часов, пока Китченер, всё равно не убеждённый, постепенно не сдался. План существовал в течение пяти лет, и Китченер, зная о нём, с самого начала категорически его не одобрял. Теперь, когда войска уже плыли к континенту, ничего не оставалось, как согласиться, потому что не было времени составлять другой план.

В качестве последней тщетной попытки (или заранее продуманного шага, дабы снять с себя ответственность) Китченер, взяв с собою сэра Джона Френча, доложил обо всём премьер-министру. «Ничего не зная обо всём этом», писал Уилсон в своём дневнике, Асквит поступил так, как и следовало ожидать. Выслушав мнение Китченера и ознакомившись с точкой зрения, которую разделяли оба генеральных штаба, он согласился с последней.

Сокращённый с шести до четырёх дивизии, британский экспедиционный корпус начал действовать в соответствии с планом. Победу одержала инерция predetermined планов.

Однако, в отличие от французского и германского военных министров, Китченер продолжал сохранять руководство военными усилиями, и его указания Френчу в отношении действий английских экспедиционных сил во Франции отражали желание ограничить потери на первых стадиях войны. Подобно Черчиллю, который, окинув взглядом весь комплекс задач перед британским флотом, одновременно приказал адмиралам в Средиземном море вступить в бой с «Гёбенем» и избегать столкновения с «превосходящими силами», Китченер, думая о миллионной армии, которую ему ещё предстояло создать, требовал от британского экспедиционного корпуса выполнения задач, несовместимых друг с другом.

«Особой задачей войск, находящихся под Вашим командованием, является, — писал он, — поддерживать и взаимодействовать с французской армией... и помогать французам в предотвращении или отражении попыток вторжения Германии на французскую или бельгийскую территории...» С некоторым оптимизмом он добавлял: «...и в конечном счёте восстановить нейтралитет Бельгии», что было равносильно предложению вернуть утраченную девственность. Поскольку «численный состав английских войск и возможности пополнения крайне ограничены», то, имея эти соображения «постоянно в виду», необходимо проявлять «максимум осмотрительности в отношении потерь». Напоминая о неодобрительном отношении Китченера к французской наступательной стратегии, в его приказе говорилось: в случае, если к англичанам обратятся с просьбой принять участие в каких-либо «продвижениях вперёд» без участия крупных французских сил и англичане могут «подвергнуться ненужному нападению», сэр Джон должен сначала проконсультроваться с правительством, а также «хорошо понимать, что Ваше командование является абсолютно независимым и что Вы ни в коем случае и ни в каком смысле не подчиняетесь никакому союзному военачальнику».

Вряд ли можно придумать указания более конкретные. Одним росчерком Китченер отменял принцип объединённого командования. Его главный мотив — сохранение английской армии в качестве ядра на

будущее, – к тому же принимая во внимание характер сэра Джона, практически сводил к нулю приказ «поддерживать» и «взаимодействовать» с французами. Это предписание ещё долго мешало военным усилиям союзников даже после того, как сэр Джон заменил другой командующий, а сам Китченер погиб.

Четырнадцатого августа Джон Френч, Мюррей, Уилсон и офицер штаба майор со звучным именем сэр Хирвард Уэйк прибыли в Амьен, где английские войска дожидались приказа о дальнейшем выдвижении в район сосредоточения у Ле-Като и Мобёжа. В тот день, когда они начали движение, армия Клука выступила из Льежа. Британских солдат, весело маршировавших по дорогам к Ле-Като и Монсу, французы встречали с энтузиазмом и возгласами: «Vivent les Anglais! Да здравствуют англичане!» Радужный приём заставил Китченера обратиться к войскам с суровым призывом. Он предупреждал, что англичане могут «столкнуться с соблазнами – вином и женщинами», которых «должно избегать». Чем дальше на север уходили англичане, тем радостнее их встречали. Их зацеловывали и засыпали цветами. На улицах ждали столы, уставленные вином и снедью, от платы за них французы отказывались. С балконов свисали красивые скатерти с нашитыми белыми полосами, образовывавшими Андреевский крест или «Юнион Джек». Солдаты бросали эмблемы своих полков, фуражки и ремни смеющимся девушкам и тем, кто просил сувениры. Вскоре английская армия шагала в крестьянских шерстяных колпаках с верёвками вместо брючных ремней. На всём пути, как вспоминал кавалерийский офицер, «нас обнимали и приветствовали люди, которые скоро должны были увидеть спины беглецов». Вспоминая марш английского экспедиционного корпуса на Монс, он назвал его «путём, усыпанным розами».

## Глава 13

### Самбра и Маас

На Западном фронте на пятнадцатый день завершились наконец сосредоточение войск и предварительные стычки. Настала пора наступлений. Французское правое крыло, начиная наступление на оккупированную немцами Лотарингию, двинулось по старой дороге, каких много во Франции и Бельгии и по каким веками, независимо от силы, заставляющей людей сражаться друг с другом, проходили легионы. На дороге к востоку от Нанси французы миновали каменный столб с надписью: «Здесь в год 362 Йовин победил тевтонские орды».

В то время как на краю правого фланга армия генерала По возобновила наступление в Эльзасе, 1-я и 2-я армии генералов Дюбая и де Кастельно двигались по двум естественным коридорам в Лотарингии, которые и определяли направление французского наступления. Один коридор вёл к Саарбургу (Саребуру), цели армии Дюбая, а второй, минуя кольцо холмов вокруг Нанси, называемое Гран-Куронне, вёл через Шато-Сален в долину, которую замыкала природная крепость Моранж – цель армии де Кастельно. Ожидая французского наступления, немцы укрепили район огневыми точками, траншеями и заграждениями из колючей проволоки. Как в Саарбурге, так и в Моранже они имели хорошо подготовленные позиции, откуда их могли выбить только знаменитый «порыв» атакующих или бомбардировка тяжёлой артиллерии. Французы рассчитывали на первый вариант, отмахиваясь от второго как от недостойного.

«Слава Богу, у нас её нет! – воскликнул в 1909 году офицер-артиллерист из генерального штаба, когда его спросили о 105-миллиметровой тяжёлой полевой артиллерии. – Сила французской армии в лёгкости её пушек». В 1911 году Военный совет предложил взять на вооружение 105-миллиметровые орудия, но сами артиллеристы, верные знаменитым французским 75-миллиметровкам, упорно возражали. Они презрительно относились к тяжёлой полевой артиллерии, считая, что та замедлит французское наступление, и признавали её, как и пулемёты, только в качестве оружия обороны. Военный министр Мессими и генерал Дюбай, состоявший тогда в



генеральном штабе, добились-таки ассигнований для формирования нескольких батарей 105-миллиметровых орудий, но из-за изменений в правительстве (и неослабевавшего недоверия со стороны артиллерийского корпуса) к 1914 году в составе французской армии их насчитывалось всего несколько.

С германской стороны фронт в Лотарингии удерживали 6-я армия Рупрехта, кронпринца Баварии, и 7-я армия генерала фон Хеерингена, который с 9 августа подчинился Рупрехту. Задача кронпринца состояла в том, чтобы удержать на своём фронте как можно больше французских войск, не давая им передислоцироваться на главное направление против германского правого фланга. В соответствии со стратегией Шлиффена Рупрехт должен был выполнить эту задачу, отступая и заманивая французов в «мешок», где им пришлось бы вести затяжное сражение, имея растянутые коммуникации, в то время как решающие события разыгрывались бы в другом месте. Суть плана заключалась в том, чтобы заманить в этом секторе противника как можно дальше и, уступая тактическую победу, нанести ему стратегическое поражение.

Как и план для Восточной Пруссии, подобная стратегия таила в себе психологические опасности. В тот час, когда зазвучат фанфары и его коллеги увидят приближающуюся победу, Рупрехт должен будет подчиниться необходимости и отступить, что отнюдь не прельщало храброго командира, жаждавшего славы и принадлежавшего к королевской фамилии.

Осанистый, привлекательный, с ясным взглядом и маленькими усиками, Рупрехт вовсе не походил на своих капризных предков, двух Людвигов, королей Баварии, чьи многочисленные и богатые приключениями связи, в частности, с Лолой Монтес и с Рихардом Вагнером, привели одного к отречению, а другого к безумию. Кронпринц происходил от менее эксцентричной фамильной ветви, которая дала регента сумасшедшему королю. В качестве прямого потомка Генриетты, дочери Карла I Английского, он был законным наследником английского трона со стороны Стюартов. В память короля Карла белые розы каждый год украшали дворец в Баварии в годовщину его казни. Рупрехт имел и более непосредственные личные связи в стане союзников – сестра его жены, Елизавета, вышла замуж за короля Бельгии Альберта. Однако баварская армия была полностью

германской. После первых дней сражения генерал Дюбай докладывал, что эти «варвары», прежде чем оставить город, разграбили дома, где были расквартированы, вспороли кресла и матрацы, разбросали содержимое чуланов, сорвали занавески, поломали мебель и побили украшения и посуду. Но пока ещё это были выходки неохотно отступавших солдат. Лотарингии предстояло увидеть худшее.

В первые четыре дня наступления Дюбая и Кастельно немцы в соответствии с планом медленно отступали, ведя с французами арьергардные бои. Французы в своих голубых шинелях и красных штанах двигались по прямым дорогам, обсаженным деревьями. На каждом подъёме они могли видеть далеко вокруг шахматные доски полей: зелёные от клевера, золотые от созревающей пшеницы, бурые от вспаханной земли или размеченные ровными рядами стога. Над землёй, которая когда-то была французской, громко хлопали выстрелы 75-миллиметровых орудий. В первых боях с немцами, оказывавшими не очень активное сопротивление, французы одерживали победы, хотя порой германская тяжёлая артиллерия оставляла в их рядах ужасающие бреши. 15 августа генерал Дюбай видел, как мимо него в тыл ехали телеги с ранеными, бледными и искалеченными; кому-то взрывом оторвало ногу, кому-то – руку. Перед его глазами предстало поле, где вчера шёл бой, а сегодня на нём тут и там валялись мёртвые тела. 17 августа XX корпус армии Кастельно, которым командовал генерал Фош, занял Шато-Сален и вышел к Моранжу. 18 августа армия Дюбая взяла Саарбург. Все ликовали; судя по происходящему, расчёт на *offensive à outrance* триумфально оправдывался; войска уже видели себя на Рейне. И в этот момент «План-17» начал рушиться, и в действительности он продолжал рушиться ещё много дней.

На бельгийском фронте генерал Ланрезак засыпал главный штаб требованиями разрешить ему развернуться на север, навстречу приближавшемуся германскому правому флангу, а не на северо-восток, для предполагаемого наступления против немецкого центра через Арденны. Он видел, как германские войска обходят его, двигаясь на запад от Мааса, и об истинных силах противника он мог только догадываться. Ланрезак настаивал, чтобы ему разрешили перебросить часть армии на левый берег Мааса, в угол, который эта река образовывала с Самброй, где можно было бы блокировать дальнейшее продвижение противника. Здесь он мог удерживать позицию вдоль

Самбры, берущей начало в Северной Франции и текущей на северо-восток через Бельгию, огибая угольный район Боринаж и сливаясь с Маасом у Намюра. Вдоль берегов поднимались терриконы пустой породы; баржи с углём выходили в реку у Шарлеруа, города, величественное название которого для французов после 1914 года звучало так же печально, как и Седан.

Ланрезак бомбардировал главный штаб рапортами, приводя данные, полученные его собственной разведкой, о германских частях, которые осуществляли массовое маневрирование и выходили по обе стороны Льежа сотнями тысяч, вероятно, около 700 000, «может быть, даже два миллиона». Главный штаб упорно считал эти цифры ошибочными. Ланрезак утверждал, что крупные германские силы выйдут на его фланг через Намюр, Динан и Живе, как раз когда 5-я армия вступит в Арденны. Когда начальник штаба Ланрезака Эли д'Уассель, чьё обычно меланхоличное настроение с каждым днём становилось всё мрачнее, прибыл в главный штаб, чтобы лично доложить о происходящем, принявший его офицер воскликнул: «Что, опять?! Ваш Ланрезак всё ещё беспокоится, что его обходят слева? Этого не случится, а если и случится, тем лучше». Таков был основной тезис в главном штабе.

И всё же, пусть главный штаб не желал отвлекаться от главного наступления, намеченного на 15 августа, он не мог игнорировать возможность обходного манёвра со стороны германского правого фланга. 12 августа Жоффри разрешил Ланрезаку перевести его левый корпус в Динан. «Давно пора», — заметил ядовито Ланрезак, но этот манёвр уже ничего не давал. Ланрезак настаивал, чтобы всю его армию перевели на запад. Жоффри отказал, требуя от 5-й армии оставаться в прежнем положении и выполнить назначенную ей роль в Арденнах. Всегда ревниво оберегавший свой авторитет, он заявил Ланрезаку: «Ответственность за срыв охватывающего манёвра лежит не на вас». Раздражённый слепотой других, как все люди, обладающие быстрым умом, и привыкший, как знаток стратегии, к уважению, Ланрезак продолжал докучать главному штабу. Жоффри надоела постоянная критика и настойчивость Ланрезака. Он считал, что святой долг генералов — быть львами в бою, но покорными псами распоряжениям свыше, а этому идеалу Ланрезак, с его самомнением и обострённым чувством опасности, никак не соответствовал. «Моё беспокойство, —

позже писал он, – росло с каждым часом». 14 августа, в последний день перед наступлением, он лично отправился в Витри.

Ланрезак нашёл Жоффра в кабинете в присутствии генералов Белена и Бертело, начальника и помощника начальника штаба. Белен, когда-то известный своей живостью, выглядел явно утомлённым. Бертело, решительный и остроумный, как и его английский коллега Генри Уилсон, был неисправимым оптимистом, неспособным по природе своей предвидеть беду. Он весил 230 фунтов и, капитулировав перед августовской жарой, сменил военный мундир на простую рубашку и шлёпанцы. Ланрезак, чьё креольское лицо ещё более потемнело от беспокойства, настаивал, что немцы появятся на его левом фланге как раз тогда, когда он глубоко втянется в Арденны, где трудные условия местности сделают быстрый успех сомнительным, а поворот назад – невозможным.

Своим, как называл его Пуанкаре, «сладким, как крем», голосом Жоффр изрёк, обращаясь к Ланрезаку, что его страхи «преждевременны», и добавил: «У нас сложилось впечатление, что у немцев там ничего не готово», подразумевая под «там» запад от Мааса. Белен и Бертело также повторили, что «там ничего не готово», и попытались одновременно успокоить и ободрить Ланрезака. Ему внушали, чтобы он забыл об обходе и думал только о наступлении. Ланрезак покинул главный штаб, по его словам, «со смертью в душе».

Вернувшись в штаб 5-й армии, находившийся в Ретеле у подножия Арденн, он нашёл на своём столе донесение от начальника разведки главного штаба. Эта бумага только усилила в нём чувство обречённости. Донесение оценивало силы противника за Маасом в восемь армейских корпусов и четыре или шесть кавалерийских дивизий, что было явной недооценкой. Ланрезак немедленно послал адъютанта с письмом к Жоффру, обращая внимание командующего на донесение, «исходящее из Вашего собственного штаба», и настаивая, что перемещение 5-й армии в район между Самброй и Маасом следует «изучить и готовить с данной минуты».

Тем временем в Витри явился ещё один встревоженный проситель, попытавшийся убедить главный штаб в опасности, которая нависла над левым флангом. Когда Жоффр отказался включить Галлиени в состав штаба и Мессими дал тому должность в военном министерстве, к генералу стали стекаться все донесения разведки. И

хотя среди них не было разведсводок главного штаба, так как Жоффра систематически отказывался пересылать их правительству, Галлиени имел достаточно информации, чтобы определить численность огромного потока войск, которому предстояло обрушиться на Францию. Это было то самое «великое наводнение», которое предсказывал Жорес, предвидя использование резервов на передовой линии. Галлиени предложил Мессими поехать в Витри и заставить Жоффра изменить планы, но Мессими, почти на двадцать лет моложе Жоффра и откровенно того побаивавшийся, сказал, чтобы Галлиени ехал сам, – мол, именно ему Жоффр многим обязан в своей карьере и поэтому прислушается к его словам. Это было явной недооценкой Жоффра, который всегда слушал лишь того, кого хотел. Приехавшему в штаб Галлиени Жоффр уделил всего несколько минут и отослал к Белену и Бертело, которые повторили то же самое, что говорили Ланрезаку. Главный штаб упорно «закрывал глаза на явные факты» и отказывался считать германское продвижение западнее Мааса серьёзной угрозой. Галлиени, вернувшись из главного штаба, так и доложил Мессими.

И всё же в тот вечер, под давлением неопровержимых доказательств, главный штаб заколебался. Отвечая на последнее срочное донесение Ланрезака, Жоффр согласился «изучить» предлагаемое перемещение 5-й армии и разрешить «предварительные мероприятия» для манёвра, хотя всё ещё настаивал, что угроза флангу Ланрезака «далека от непосредственной и её определённости совсем не абсолютна». К следующему утру, 15 августа, эта угроза стала очевидной. Главный штаб, взвинченный до предела в ожидании наступления, озадаченно следил за левым флангом. В 9 часов утра Ланрезаку сообщили по телефону, что он может подготовиться к манёвру, но не должен осуществлять его без прямого приказа главнокомандующего. В течение дня в главный штаб поступили новые донесения: германская кавалерия, численностью до 10 000 человек, форсировала Маас у Юи; затем пришло сообщение, что противник атакует Динан и уже захватил цитадель, господствовавшую над городом и расположенную на высокой скале на правом берегу; в следующем донесении сообщалось, что противник предпринял попытку форсирования общими силами, но был встречен I корпусом Ланрезака, выдвинувшимся с левого берега, и в жестоком бою

отброшен через мост обратно (в этом бою в числе первых раненых оказался двадцатичетырехлетний лейтенант по имени Шарль де Голль). Это был тот самый корпус, которому 12 августа разрешили перейти реку.

Теперь уже угрозу слева невозможно было преуменьшить. В 7 часов вечера Ланрезаку передали по телефону прямой приказ Жоффра переместить 5-ю армию в угол между Самброй и Маасом, а через час приказ был подтверждён письменно. Главный штаб уступил – но не до конца. Приказ – специальное распоряжение № 10 – изменял планы ровно настолько, чтобы избежать угрозы охвата, но не настолько, чтобы отказаться от наступления по «Плану-17». В документе говорилось, что противник, «очевидно, предпринимает основные усилия силами своего правого фланга к северу от Живе» (как будто Ланрезак этого не знал), и предлагалось главным силам 5-й армии двинуться на северо-запад, чтобы «действовать совместно с английской и бельгийской армиями против войск противника на севере». Один корпус 5-й армии должен был остаться развёрнутым на северо-восток, чтобы поддержать 4-ю армию, на которую теперь возложили задачу наступления в Арденнах. Фактически в соответствии с этим приказом порядки 5-й армии должны были растянуться на запад на более широком фронте без получения дополнительных сил.

Приказ № 10 требовал от генерала де Лангля де Кари, командующего 4-й армией, подготовиться к наступлению «в общем направлении на Нёфшато», то есть прямо в сердце Арденн. Чтобы усилить эту армию, Жоффр предпринял сложный обмен частями между армиями де Кастельно, Ланрезака и де Лангля. В результате два корпуса, обученные Ланрезаком, у него забрали и заменили другими, совершенно новыми. Хотя в составе новых частей были две очень боеспособные дивизии из Северной Африки, которые пытался остановить «Гёбен», излишние перемещения и изменения в последнюю минуту только усилили недовольство Ланрезака, близкое к отчаянию.

В то время как вся французская армия имела целью нанесение удара в восточном направлении, ему вменялось в обязанность защищать неприкрытый фланг Франции от удара, который, по его мнению, должен был её погубить. Ланрезак считал, что на его долю

выпала самая тяжёлая задача – хотя главный штаб придерживался другого мнения – при самых малых средствах. Его настроение не улучшилось от того, что ему предстояло действовать совместно с двумя независимыми армиями – английской и бельгийской, командующие которых были выше чином и совершенно ему незнакомы. Солдаты Ланрезака должны были совершить в августовскую жару восьмидесятимильный марш за пять дней, и даже если им удастся достичь Самбры раньше немцев, он боялся, что окажется всё равно слишком поздно. Немцы выйдут к реке такими силами, что остановить их будет невозможно.

И куда же запропастились англичане, которые должны быть у него на левом фланге? До сих пор их ещё никто не видел. Хотя Ланрезак и мог узнать точное местонахождение союзников в главном штабе, он больше не верил штабистам и мрачно подозревал, что Франция оказалась жертвой какого-то хитрого английского трюка. Либо британские экспедиционные силы суть миф, либо они доигрывали последний матч в крикет перед тем, как вступить в войну, но в существование экспедиционных сил он поверит только тогда, когда их своими глазами увидит кто-нибудь из его офицеров. Ежедневно – и безрезультатно – высылались разведывательные дозоры, в состав которых почему-то входил английский офицер связи при 5-й армии лейтенант Спирс (весьма странное занятие для офицера связи, которое, кстати, Спирс так и не объяснил в своей знаменитой книге). Им не удалось обнаружить ни одного солдата в хаки. Отсутствие англичан всё больше усиливало тревогу Ланрезака, усугубляя ощущение надвигающейся опасности. «Моё беспокойство, – писал он, – достигло предела».

Одновременно с приказом № 10 Жоффри попросил Мессими перебросить с позиций на побережье три территориальные дивизии, заполнив ими промежуток между Мобёжем и Ла-Маншем. Чтобы организовать хоть какую-нибудь оборону против германского правого фланга, он готов был скрести по сусекам, но ни за что не соглашался взять хотя бы одну дивизию из числа выделенных для лелеемого им наступления. Он всё ещё не хотел признавать, что противник навязал ему свою волю. Никакие Ланрезаки, Галлиени и разведсводки в мире не могли поколебать его убеждения в том, что чем сильнее окажется

правый фланг немцев, тем более многообещающими выглядят французские перспективы на захват инициативы в центре.

Марш германских войск через Бельгию был подобен нашествию хищных муравьёв, которые время от времени неожиданно выходят из южноамериканских джунглей, на своём пути пожирая всё и сея смерть, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, будь то дорога или деревня, город или река. Армия фон Клука шла севернее Льежа, а армия фон Бюлова – к югу от города, вдоль долины Мааса, на Намюр. «Маас – драгоценное ожерелье, – как-то сказал король Альберт, – а Намюр – его жемчужина». Просторная долина Мааса, текущего среди скалистых гор, его широкие ровные берега служили излюбленным местом отдыха, куда по традиции каждый август выезжали на семейные пикники – мальчишки купались, мужчины ловили рыбу, укрываясь под солнечными зонтиками, матроны вязали, сидя на складных стульчиках, по реке скользили под парусами белые прогулочные лодки, а от Намюра до Динана ходили экскурсионные катера. Часть армии фон Бюлова форсировала реку около Юи, на полпути между Льежем и Намюром, чтобы двинуться по обоим берегам на вторую прославленную бельгийскую крепость. Кольцо фортов, окружавших Намюр и построенных так же, как у Льежа, было последним бастионом перед Францией. Надеясь на железный кулак своих осадных орудий, которые так хорошо поработали в Льеже, а теперь шли в обозе Бюлова ко второй цели, немцы рассчитывали покончить с Намюром за три дня. Слева от фон Бюлова двигалась на Динан 3-я армия, под командованием генерала фон Хаузена. Обе армии должны были сойтись у слияния Самбры и Мааса, в том самом треугольнике, куда спешила армия Ланрезака. Однако пока на фронте стратегия Шлиффена разворачивалась по плану, в штабе этот план дал трещину.

Шестнадцатого августа германский главный штаб, остававшийся в Берлине до конца концентрации войск, переехал на Рейн, в Кобленц, примерно в 80 милях позади центра германского фронта. Отсюда, мечтал Шлиффен, главнокомандующий – не Наполеон, наблюдающий за битвой с вершины холма верхом на белой лошади, а «современный Александр», – будет управлять сражением «из просторного дома с множеством кабинетов, где под рукой были бы телефон, телеграф и радио, а поблизости – армада ожидающих приказа автомобилей и



мотоциклов. Здесь, в удобном кресле, у большого стола, современный главнокомандующий наблюдал бы за ходом боя по карте. Отсюда он бы передавал по телефону вдохновляющие слова и здесь бы получал донесения от командующих армиями и корпусами, а также сведения с воздушных шаров и дирижаблей, следящих за манёврами противника».

Действительность жестоко опровергла эту счастливую картину. Современным Александром оказался Мольтке, который, по его собственному признанию, так и не оправился от бурной размолвки с кайзером в первую ночь войны. «Вдохновляющих слов», которые полагалось говорить командирам по телефону, он просто не знал, но даже если бы таковые слова у него и отыскились, они не дошли бы до адресатов из-за плохой связи. Когда немцы вступили на территорию противника, ничто не доставляло им столько хлопот, как связь. Бельгийцы перерезали телеграфные и телефонные провода, мощная радиостанция на Эйфелевой башне создавала такие помехи, что радиосообщения приходилось передавать по три или четыре раза, пока что-то удавалось разобрать. Единственная радиостанция штаба была настолько перегружена, что проходило от восьми до двенадцати часов, прежде чем сообщения отправляли. Это было одно из «препятствий», которого германский генеральный штаб не запланировал, введённый в заблуждение той лёгкостью, с какой обеспечивалась связь в ходе манёвров.

Изощёренные «фокусы» сопротивлявшихся бельгийцев и грозные видения русского «парового катка», вламывавшегося в Восточную Пруссию, весьма беспокоили генеральный штаб. Начались трения. Культ субординации, развитый прусскими офицерами, больше всего ударил по ним самим и их союзникам. Генерала фон Штейна, заместителя начальника штаба, который считался умным, обходительным и трудолюбивым, австрийский офицер связи при главном штабе охарактеризовал как бестактного и спесивого грубияна, а его высокомерно-безапелляционную манеру разговаривать назвал «тоном берлинского гвардейца». Полковник Бауэр из оперативного отдела ненавидел своего начальника, полковника Таппена, за «язвительность» и «зазнайство» перед подчинёнными. Офицеры жаловались, что Мольтке запретил подавать в столовой шампанское, а

порции за столом кайзера были такими крошечными, что после обеда приходилось наедаться бутербродами.

С началом французского наступления в Лотарингии Мольтке стал сомневаться – следовало ли полностью полагаться на правое крыло, как советовал Шлиффен? Он и его штаб полагали, что французы перебросят свои главные силы на левый фланг и окажут сопротивление правому крылу немцев. Так же упорно, как Ланрезак посылал разведчиков, стремясь обнаружить англичан, германский генеральный штаб искал свидетельства массированного перемещения французских войск к западу от Мааса и до 17 августа ничего не обнаружил. Извечная проблема войны, состоявшая в том, что противник отказывается вести себя так, как ему следовало бы в его же лучших интересах, не давала немцам покоя. Из наступления в Лотарингии и отсутствия действий на западе немцы сделали вывод, что французы концентрируют главные силы для наступления через Лотарингию между Мецем и Вогезами, и задались вопросом, не следует ли им перестроить свою стратегию. Если там – направление главного наступления французов, то не могли бы немцы, перебросив силы на свой левый фланг, провести решающее сражение в Лотарингии до того, как правый фланг добьётся успеха обходным манёвром? Может, им удастся устроить новые Канны, совершив двойной охват, который, признаться, был у Шлиффена на уме? Обсуждением этой заманчивой перспективы и даже предварительным переносом центра тяжести на левый фланг и занимался генеральный штаб с 14 по 17 августа. 17-го немцы решили, что французы всё-таки не проводят концентрации сил в Лотарингии, и вернулись к первоначальному плану Шлиффена.

Но если истинность доктрины поставлена под сомнение хоть раз, то ей нет истинной веры. С этого момента генеральный штаб не забывал о возможностях на левом фланге. Мысленно Мольтке был за альтернативную стратегию, зависящую от того, что сделает противник. Поразительная простота плана Шлиффена, заключавшаяся в сосредоточении главных усилий на одном фланге, и непоколебимая верность плану независимо от действий врага были нарушены. План, который на бумаге казался столь безукоризненным, дал трещину под давлением неопределённостей и, прежде всего, эмоций войны. Лишив себя удобств заранее сформулированной стратегии, Мольтке начал

мучиться от нерешительности, когда следовало оперативно принять решение. А 16 августа принц Рупрехт срочно потребовал такого решения.

Он требовал разрешения контратаковать. Его штаб находился в Сент-Авольде, заштатном городишке, утонувшем во впадине на краю грязного угольного района Саара. Тут не было ни единого достойного места для ставки принца, ни единого замка или хотя бы гранд-отеля. На запад перед кронпринцем под голубым небом расстилалась удобная, слегка холмистая местность, не имевшая каких-либо значительных препятствий до самого Мозеля, а на горизонте сверкал приречье – Нанси, жемчужина Лотарингии.

Рупрехт утверждал, что поставленная перед ним задача – удержать на своём участке фронта как можно больше французских войск – будет выполнена наилучшим образом, если он атакует, вопреки принятой стратегии «мешка». В течение трёх дней, с 16 по 18 августа, между штабом Рупрехта и генеральным штабом шло обсуждение этого вопроса; к счастью, вся телефонная линия проходила по германской территории. Было ли французское наступление основным? Они не предпринимали ничего «серьёзного» ни в Эльзасе, ни к западу от Мааса. Что бы это значило? Предположим, что французы откажутся двигаться дальше и не полезут в «мешок»? Если Рупрехт продолжит отступление, не образуется ли разрыв между ним и 5-й армией, его соседом справа, и не ударят ли французы туда? Не принесёт ли это поражения правому флангу? Рупрехт и его начальник штаба генерал Крафт фон Дельмензинген согласились, что так может случиться. Они докладывали, что их войска с нетерпением ждут приказа о наступлении, что их трудно сдерживать и поэтому позорно навязывать отступление солдатам, «рвущимся вперёд». Более того, неразумно сдавать территорию Лотарингии в самом начале войны, пусть даже временно, если к этому не принуждает противник.

Соблазнённый, но всё ещё опасаящийся главный штаб никак не мог принять решения. В штаб в Сент-Авольде был послан майор Цольнер, с задачей обсудить вопрос лично. Он сообщил, что главный штаб рассматривает изменения в запланированном отступлении, но не может целиком отказаться от манёвра, имеющего целью заманить французов в «мешок». В целом его приезд ничего не дал. Едва Цольнер успел уехать, как воздушная разведка донесла, что французы

в одном месте отходят назад к Гран-Куронне. Это было «незамедлительно истолковано» штабом 6-й армии как доказательство того, что противник вообще не собирается двигаться вперёд, «в мешок», и поэтому лучшее, что можно сделать, – атаковать как можно скорее.

Нужно было решать. Последовали новые телефонные переговоры между Рупрехтом и фон Крафтом на одном конце линии и фон Штейном и Таппеном на другом. Из главного штаба прибыл новый офицер, майор Доммес, – это было 17 августа – с сообщением, что контрнаступление желательно. Главный штаб уверен, что французы перебрасывают войска на свой западный фланг и не «привязаны» к Лотарингии. Майор Доммес сообщил также об успешном применении осадных орудий под Льежем, вследствие чего линии французских фортов теперь можно не особенно опасаться. Англичане, по мнению главного штаба, ещё не высадились на континенте, и если здесь, в Лотарингии, произойдёт быстрое и решительное сражение, они могут не высадиться вообще. Но конечно, заявил майор Доммес, согласно указаниям Мольтке он обязан предупредить обо всех трудностях контрнаступления. Главная из них – фронтальная атака, анафема германской военной доктрины, поскольку манёвр охвата в условиях холмистой местности и наличия французских фортов невозможен.

Рупрехт ответил, что в контратаке меньше риска, чем в дальнейшем отступлении, что он застигнет противника врасплох и, возможно, опрокинет, что он со своим штабом рассмотрел все возможные рискованные ситуации и командование армии намерено справиться с ними. После обычного красноречивого восхваления наступательного духа своих доблестных войск, от которых нельзя требовать дальнейшего отступления, Рупрехт объявил, что непременно атакует, если только не получит совершенно определённого приказа из главного штаба, запрещающего атаку. «Либо разрешите мне атаковать, – воскликнул он, – либо дайте конкретный приказ!»

Возбуждённый «решительным тоном» Рупрехта, Доммес поспешил в главный штаб за дальнейшими указаниями, а офицеры в штабе Рупрехта «ждали, не зная, будет ли получен запрещающий приказ или нет». Они прождали всё утро 18 августа, а когда так и не получили никаких известий до второй половины дня, фон Крафт позвонил фон Штейну, желая знать, ожидать ли приказа. Снова

говорили о преимуществах и возможных неблагоприятных последствиях. Выведенный из терпения, Крафт потребовал определённости: «да» или «нет».

— Нет, мы не запрещаем вам атаковать, – ответил фон Штейн, и в голосе его не прозвучало уверенности современного Александра Македонского. – Решайте, как подсказывает вам разум.

— Решение уже принято. Мы атакуем!

— Ну, тогда начинайте, – даже по телефону чувствовалось, что фон Штейн пожал плечами, – и да поможет вам Бог!

Так немцы отказались от стратегии «мешка». 6-й и 7-й армиям приказали повернуть назад и готовиться к контрнаступлению.

Тем временем англичане, которые, по мнению немцев, ещё не высадились на континенте, двигались к отведённой им позиции на левом фланге французского фронта.

Непрекращавшиеся выражения любви со стороны населения диктовались не столько приязнью французов к англичанам, бывшими врагом на протяжении столетий, сколько балансировавшей на грани истерики признательностью союзнику в войне, исход которой был для Франции вопросом жизни и смерти. Британским солдатам, которых продолжали целовать, угощать и осыпать цветами, всё казалось праздником, затянувшейся вечеринкой, где они несомненно оказались главными виновниками торжеств.

Задиристый командующий английским экспедиционным корпусом, сэр Джон Френч, высадился во Франции 14 августа вместе с Мюрреем, Уилсоном и Югэ, состоявшим теперь при английском командовании в качестве офицера связи. Они провели ночь в Амьене и на следующий день отправились в Париж на встречу с президентом, премьер-министром и военным министром. «Vive le Général French! Да здравствует генерал Френч! – кричала двадцатитысячная толпа, заполнившая площадь перед Северным вокзалом и прилегавшие улицы. – Гип-гип, ура! Vive l'Angleterre! Vive la France! Да здравствует Англия! Да здравствует Франция!» На всём пути до английского посольства толпа – по мнению некоторых, больше той, что встречала Блерио после его перелёта через Ла-Манш, – радостными криками приветствовала британцев.

Пуанкаре был удивлён, увидев своего гостя: этого человека «спокойных манер... и не очень военного по виду», с вислыми усами, скорее можно было принять за подрядчика, а не за храброго кавалерийского командира. Он казался медлительным и методичным, без особого блеска и без «порыва», и, несмотря на то, что имел зятя-француза и летний дом в Нормандии, едва мог связать несколько слов по-французски. Френч поразил Пуанкаре, заявив, что английские войска не будут готовы к занятию позиций в течение десяти дней, то есть до 24 августа. И это когда Ланрезак считал, что 20 августа может быть слишком поздно. «Как мы заблуждались! – писал Пуанкаре в своём дневнике. – Мы думали, что они готовы до последней пуговицы, а теперь они не выходят на позиции!»

На самом деле внушающая недоумение перемена произошла с человеком, чьим основным достоинством как командира, не считая старшинства по званию и наличия «правильных» друзей, было именно воинское рвение. С момента высадки во Франции сэр Джон Френч вдруг стал проявлять предпочтение к «выжидательной позиции», непонятное нежелание ввести в бой британские экспедиционные силы. Стояло ли за этим настойчивое предупреждение Китченера насчёт «ненужных потерь», или же до сознания Джона Френча дошло, что, помимо экспедиционного корпуса, у Англии нет обученного резерва, чтобы занять их место, или же, оказавшись на континенте, в считанных милях от страшного врага и в преддверии неминуемой битвы, он почувствовал всю тяжесть ответственности, или его природная храбрость с годами испарилась и остались только слова, или же ему просто не очень-то хотелось сражаться за чужую землю и чужой дом? Об этом лучше судить тому, кто оказывался в подобном положении.

Ясно одно: с самых первых встреч французов с Френчем они были разочарованы (хотя и по-разному), напуганы или взбешены. Казалось, что главная цель, ради которой БЭК прибыл во Францию, – не дать Германии её сломать – была, по-видимому, непонятна Френчу, или, по крайней мере, он не видел смысла спешить. А его военная самостоятельность, которую так подчёркивал Китченер, означала, что он мог «по собственному выбору назначать время для сражения и для отдыха», как выразился Пуанкаре, независимо от того, что Германия могла за этот срок одолеть Францию, тем самым полностью лишив

смысла дальнейшие боевые действия. Всё тот же Клаузевиц указывал, что союзная армия, действующая независимо, нежелательна, но если присутствия такого союзника нельзя избежать, то важно, по меньшей мере, чтобы её командующий «был бы не самым осторожным и осмотрительным, а, наоборот, самым *предприимчивым*». В течение следующих трёх недель, наиболее напряжённых в войне, значимость этой мысли Клаузевица стала особенно ясной.

На следующий день, 16 августа, сэр Джон посетил главный штаб в Витри, и Жоффри обнаружил, что Френч «твёрдо придерживается собственных идей» и «стремится не подвергать риску свою армию». На Джона Френча этот визит не произвёл особого впечатления, возможно, из-за привычной чувствительности английских офицеров к социальному происхождению. Борьба за «республиканизацию» французской армии привела к увеличению в ней числа, с английской точки зрения, «неджентльменов». Несколько месяцев спустя Френч писал Китченеру, что «они низкого происхождения, и всегда приходится помнить, из какого класса вышло большинство их генералов». Французский главнокомандующий не представлял исключения – он был сыном торговца.

Воспользовавшись встречей, Жоффри вежливо, но настойчиво выразил своё желание, чтобы британские экспедиционные силы вступили в действие на Самбре вместе с Ланрезаком 21 августа. В противоположность тому, что он ответил Пуанкаре, Френч обещал сделать всё возможное, чтобы успеть к этому сроку. Он попросил также, поскольку ему придётся удерживать незащищённый фланг французской линии, чтобы Жоффри передал «непосредственно под его командование» кавалерию Сорде и две резервные дивизии. Жоффри, конечно, отказался. Докладывая о своём визите Китченеру, сэр Джон сообщал, что на него «большое впечатление» произвели генерал Бертелло и его штаб, которые были «целеустремлёнными, спокойными и уверенными» и продемонстрировали «полное отсутствие суеты и паники». Своего мнения о Жоффре он не приводил, ограничившись замечанием о том, что, по-видимому, французский командующий признавал важность «выжидательной позиции»; это было ошибочное суждение, говорящее само за себя.

Следующий визит состоялся утром 17 августа к Ланрезаку. Напряжённость, царившая в штабе 5-й армии, прорвалась наружу –

начальник штаба Эли д'Уассель, обращаясь к Югэ, который приехал вместе со столь долго и безуспешно разыскиваемыми англичанами, воскликнул: «Ну наконец-то вы объявились! Я бы не сказал, что слишком скоро. Если нас разобьют, этим мы будем обязаны вам».

Генерал Ланрезак появился на ступеньках, выйдя из дома, чтобы приветствовать прибывших. Их появление всё же не рассеяло подозрений командующего армией в том, что они могут оказаться генералами без дивизий. И всё сказанное в последующие полчаса не очень-то разубедило его в обратном. Не зная толком языка друг друга, два генерала уединились, решив посоветоваться без переводчиков. Затея довольно сомнительная, и объяснение лейтенанта Спирса, что они поступили так по соображениям секретности, вряд ли проясняет ситуацию. Вскоре оба генерала присоединились к членам своих штабов, многие из которых прекрасно владели обоими языками, и перешли в помещение оперативного отдела. Сэр Джон Френч усадился на карту, надел очки, указал на какое-то место на Маасе и попытался спросить по-французски, полагает ли генерал Ланрезак, что немцы форсируют реку в месте, которое носило непроизносимое для англичан название «Юи». Поскольку мост в Юи был единственным между Льежем и Намюром, а войска фон Бюлова как раз двигались по нему на противоположный берег, то вопрос Френча был уместен разве что как риторический. Англичанин запнулся на первой же фразе, не зная, как сказать «пересечь реку». Ему помог Уилсон, подсказав по-французски – «*traverser la fleuve*», но, дойдя до слов «à Нуу», Френч снова запнулся.

— Что он говорит? Что он говорит? – торопил Ланрезак.

— ...а Юй, – наконец выговорил сэр Джон, словно ойкнув от боли.

Ланрезаку объяснили, что английский главнокомандующий хочет знать, не думает ли он, что немцы перейдут реку у Юи.

— Скажите маршалу, – ответил Ланрезак, – я думаю, что немцы пришли к Маасу ловить рыбу.

Тон, к которому он прибегал обычно, отвечая на глупый вопрос во время своих знаменитых лекций, вряд ли годился для беседы с фельдмаршалом дружественной армии.

— Что он говорит? Что? – забеспокоился Френч, уловивший интонацию, но больше ничего не понявший.



— Он говорит, что немцы собираются перейти на другую сторону реки, сэр, — без запинки «перевёл» Уилсон.

Итак, как видно из этого обмена репликами, взаимопонимания не получилось с самого начала. Наряды на постой и линии связи, всегда являвшиеся причиной трений между соседствующими армиями, вызвали первые недоразумения. Затем последовали более серьёзные, касающиеся применения кавалерии, причём каждый командующий хотел, чтобы стратегическую разведку проводил другой. Усталый и наполовину расковавшийся корпус Сорде, который Жоффр придал Ланрезаку, был вновь отправлен в дело, на сей раз, чтобы установить контакт с бельгийцами к северу от Самбры в надежде уговорить их не отступать к Антверпену. Ланрезак, как и англичане, крайне нуждался в информации о расположении частей противника и об их передвижениях. Он хотел использовать свежую кавалерийскую дивизию англичан. Френч не соглашался. Явившись во Францию всего с четырьмя дивизиями вместо шести, он хотел придержать пока кавалерию в качестве резерва. Ланрезак неверно понял его, посчитав, будто Френч намерен использовать кавалеристов в пешем строю, а такое предположение было бы смертельным оскорблением для лихого кавалериста, героя конного прорыва под Кимберли.

Наиболее серьёзным из всех разногласий был спор относительно даты, когда британский экспедиционный корпус будет готов вступить в боевые действия. Хотя накануне сэр Джон сказал Жоффру, что будет готов к 21 августа, теперь он передумал — то ли просто из-за нахлынувшего раздражения, то ли по причине нервной неопределённости. Теперь Френч назначил 24-е число — то, которое назвал Пуанкаре. Для Ланрезака это было уж чересчур. «Неужели английский генерал полагает, будто противник будет ждать его?» — мысленно недоумевал он. Очевидно, как он с самого начала и полагал, на англичан нельзя было положиться. Разошлись они с «красными лицами». Ланрезак информировал Жоффра, что англичане не будут готовы «по крайней мере до 24 августа». Их кавалерия будет использована как конная пехота, и на неё «нельзя рассчитывать ни для каких других целей». Он поставил вопрос о возможной неразберихе между французами и англичанами на дорогах «в случае отступления». Эта фраза громом среди ясного неба прозвучала в главном штабе. Ланрезак — «настоящий лев» наступления — уже готовился отступить.

Когда сэр Джон Френч прибыл в свой штаб, который временно размещался в Ле-Като, он также был потрясён, узнав, что командующий II корпусом, его старый товарищ генерал Грайерсон, скоропостижно скончался этим утром в поезде вблизи Амьена. Просьба Френча, чтобы Китченер назначил новым командующим совершенно определённого, нужного Френчу генерала – «пожалуйста, сделайте, как я прошу», – была отклонена. Китченер прислал генерала сэра Горация Смит-Дорриена, с которым Френч никогда не ладил, так как оба были чрезмерно самоуверенными. Как и Хейг, Смит-Дорриен не питал особого уважения к главнокомандующему и стремился действовать по собственной инициативе. Обида Френча на Китченера вылилась в антипатию к Смит-Дорриену и впоследствии нашла своё отражение в слабой и путаной книге, которую Френч назвал «1914», признанной известным рецензентом «одной из самых скверных из когда-либо написанных книг».

В штабе бельгийской армии в Лувене 17 августа, в тот день, когда Френч встречался с Ланрезаком, а Рупрехт требовал разрешить контратаку, премьер-министр де Броквиль и король Альберт обсуждали вопрос о переводе правительства из Брюсселя в Антверпен. Части армии фон Клука, превосходящей бельгийскую численностью в четыре или пять раз, штурмовали бельгийскую оборону в 15 милях, у реки Гете; 8000 солдат фон Бюлова форсировали реку у Юи, в 30 милях, и двигались на Намюр. Если пал Льеж, то что может сделать Намюр? Период накапливания сил миновал, основное германское наступление начало развёртываться, а армии держав-гарантов Бельгии ещё не прибыли. «Мы – одни», – сказал король де Броквилю. Немцы, предполагал он, пройдут через Центральную Бельгию и займут Брюссель, хотя «итог событий ещё не определён». Правда, в этот день французскую кавалерию ожидали у Намюра. Жоффр, информируя короля Альберта о рейде кавалерии, заверил, что по самым точным оценкам главного штаба германские части к западу от Мааса представляют собой не более чем «заслон». Он обещал, что вскоре придут французские дивизии, которые станут взаимодействовать с бельгийцами в отпоре врагу. Король Альберт был уверен, что германские войска у реки Гете и Юи отнюдь не «заслон». Печальное решение о переводе правительства из столицы было принято. 18

августа король приказал армии отступить от Гете к укрепленной позиции у Антверпена и перевести штаб из Лувена на 15 миль дальше, в Мехелен (Малин).

Этот приказ вызвал «невероятные опасения» среди приверженцев наступательной школы бельгийского генерального штаба и особенно у полковника Адельберта, личного представителя президента Пуанкаре. Энергичный и прекрасно подготовленный для наступательной войны, Адельберт «менее всего» был пригоден для дипломатических поручений, как с горечью признавал французский посланник в Бельгии.

«Вы собираетесь отступить перед каким-то кавалерийским заслоном?» – бушевал полковник. Пораженный и возмущенный, он обвинил бельгийцев в том, что они «покидают» французов без предупреждения, «как раз когда французский кавалерийский корпус появился к северу от Самбры и Мааса». Военные последствия, говорил он, будут тяжёлыми, моральный успех немцев – большим, а Брюссель окажется открыт «набегам германской кавалерии». Так он оценивал противника, который через два дня, располагая силами свыше четверти миллиона человек, взял Брюссель. Однако, несмотря на ошибочное мнение и грубый тон полковника Адельберта, его беспокойство было понятно с французской точки зрения. Отступление к Антверпену означало, что бельгийская армия уйдёт с фланга союзного фронта и потеряет соприкосновение с французами как раз накануне великого французского наступления.

В течение всего дня 18 августа решение короля несколько раз менялось – намереваясь спасти бельгийскую армию от уничтожения, он не желал оставлять выгодные позиции в тот момент, когда могла подойти французская помощь. На исходе дня дилемма, стоявшая перед королём, была разрешена Жоффром, издавшим приказ №13. Согласно ему, основные французские усилия будут предприняты в другом направлении, а Бельгия должна защищать проход к западу от Мааса при возможной поддержке 5-й армии и англичан. Король Альберт отбросил колебания. Он подтвердил свой приказ об отступлении к Антверпену, и в ту же ночь пять бельгийских дивизий снялись с позиций у реки Гете и отошли к укрепленному району у Антверпена, которого достигли 20 августа.

Отданный Жоффром приказ №13 был сигналом «приготовиться» для большого наступления на германский центр. Приказ был адресован 3-й, 4-й и 5-й армиям и доводился до сведения бельгийцев и англичан. Он предписывал 3-й и 4-й армиям генералов Рюффе и де Лангля де Кари подготовиться к атаке через Арденны, оставив 5-ю армию перед альтернативой, и дальнейший выбор зависел от окончательной оценки германских сил к западу от Мааса. В первом случае Ланрезак должен был атаковать на север «в полном взаимодействии с бельгийской и английской армиями», а в другом, если противник двинет «только часть своей правофланговой группировки» к западу от Мааса, Ланрезаку предстояло вновь пересечь реку и поддержать главное наступление через Арденны, «предоставив бельгийской и английской армиям борьбу с германскими силами к северу от Самбры и Мааса».

Это был невозможный приказ. Он требовал от армии Ланрезака – не от сплочённого соединения, а от разношёрстной массы из трёх корпусов и семи отдельных дивизий, растянувшихся по фронту более чем на тридцать миль и совершавших в этот момент движение к Самбре, – выбрать один из двух путей, причём во втором случае необходимо было вернуться на первоначальную позицию, с которой Ланрезак с таким трудом ушёл всего три дня назад. Ожидать, пока Жоффр выберет одно из направлений, означало бы для армии Ланрезака полный паралич, а фраза «только часть правого крыла противника» лишь подтвердила потерю доверия к главному штабу. Игнорируя второе направление, Ланрезак двинулся к Самбре. Он сообщил Жоффру, что достигнет позиции к 20 августа, контратакует войска противника, пытающиеся форсировать реку между Намюром и Шарлеруа, и «отбросит его обратно в Самбру».

На марше батальоны Ланрезака пели «Самбру и Маас», памятную и любимую песню французской армии 1870 года.

Полк Самбры и Мааса марширует  
Под клич свободы!  
Идёт дорогой славы, ведущей к бессмертию.  
Полк Самбры и Мааса погибает  
Под клич свободы!

Прославив себя боями, сулящими бессмертие.

Причиной появления приказа № 13 было твёрдое решение генерального штаба осуществить «План-17», носитель всех надежд на победу в результате решающего сражения. В августе, когда война только начиналась, господствовало мнение, что её можно быстро закончить одной решающей битвой. Генеральный штаб слепо верил, что, как бы силён ни был германский правый фланг, французское наступление через центр сможет изолировать его и уничтожить. В ту ночь Мессими, «обеспокоенный» слабо защищённой границей ниже Самбры, позвонил Жоффру и получил ответ, что главнокомандующий спит. Страх перед Жоффром пересилил беспокойство, и министр согласился не будить генерала. Бертело успокоил Мессими такими словами: «Если немцы сделают глупость и совершат обходный манёвр через Северную Бельгию, тем лучше. Чем больше солдат окажется у них на правом крыле, тем легче будет нам прорваться через их центр».

В тот день германское правое крыло уже шло по Бельгии. Фон Крук справа приближался к Брюсселю, фон Бюлов наступал в центре на Намюр, а фон Хаузен слева – на Динан. Намюр, удерживаемый 4-й бельгийской дивизией и своим гарнизоном, одиноко стоял перед противником. Считалось, что он, несмотря на случившееся с Льежем, является неприступной крепостью. Даже те, кто учитывал опыт Льежа, полагали, что Намюр продержится по крайней мере до тех пор, пока Ланрезак не перейдёт Самбру, а затем его войска присоединятся к защитникам Намюра, заняв оборону по линии фортов. Подполковник Дюрюи, бывший военный атташе в Брюсселе, посланный в Намюр в качестве офицера связи, мрачно доносил Ланрезаку 19 августа: по его мнению, крепость долго не продержится. У отрезанных от остальной армии защитников плохое моральное состояние и не хватает боеприпасов. Многие не соглашались с этим, но Дюрюи по-прежнему был полон пессимизма.

Восемнадцатого августа авангард фон Клука достиг реки Гете и не нашёл бельгийской армии. Уничтожение этой армии как раз и входило в задачу фон Клука. Он рассчитывал выполнить её, нанеся удар между бельгийскими войсками и Антверпеном, окружить их, не

дав дойти до укрепленного района. Но он опоздал. Манёвр короля Альберта спас армию, сохранил её и превратил в угрозу тылу фон Клука, когда позднее тот повернул на юг для марша на Париж. «Им всегда удавалось ускользать от нас, и поэтому мы не сумели нанести им решительного поражения и не дать уйти к Антверпену», – доносил генерал своему главному штабу.

Фон Клуку вскоре пришлось поворачивать на юг, не только имея у себя в тылу бельгийцев, но и столкнувшись с новым противником, англичанами, которые появились перед его фронтом. Немцы рассчитывали, что логически лучшим местом для английской высадки будут порты, ближайшие к бельгийскому фронту, поэтому конная разведка фон Клука, поддавшись удивительному человеческому качеству видеть то, что хочется, там, где этого нет, надлежащим образом донесла, что англичане высаживаются 13 августа у Остенде, Кале и Дюнкерка. Это означало, что в любой момент они могут оказаться перед фронтом фон Клука. На самом же деле англичан там, разумеется, не было. Они высаживались гораздо дальше, в Булони, Руане и Гавре. Сообщение о высадке в Остенде, однако, заставило главный штаб забеспокоиться, поскольку при повороте на юг правое крыло фон Клука могло оказаться под ударом англичан, а если бы он развернул свой левый фланг им навстречу, то между его армией и армией фон Бюлова возник бы разрыв. Чтобы предотвратить эту опасность, главный штаб 17 августа подчинил Клука, к его крайнему неудовольствию, фон Бюлову. Как мог главный штаб, имея донесение о высадке англичан в Остенде, в тот же самый день сообщить Рупрехту, что они ещё не высадились и могут вообще не сделать этого, остаётся одной из тайн войны, о разгадке которой можно строить разве что предположения. Возможно, в главном штабе левым и правым крылом занимались две различные группы офицеров, которые по какой-то причине имеющимися сведениями об оперативной обстановке друг с другом не делились.

Командующим 1-й и 2-й армиями обоим не хватало двух лет до семидесяти. Фон Клук, черноволосый, свирепый, выглядел моложе своих лет в противоположность фон Бюлову, который со своими седыми усами и припухшим лицом казался старше. Фон Клук, раненный в войне 1870 года и получивший благородную приставку «фон» в пятьдесят лет, ещё перед войной был выбран на главную роль

в будущем марше на Париж. Это его армия должна была стать головой молота на правом фланге, она должна была задавать скорость продвижения остальным войскам. Это она обладала самой большой ударной силой, имея плотность в 18 000 человек на милю по фронту (около 10 человек на метр) по сравнению с 13 000 у фон Бюлова и 3300 у Рупрехта. Но, опасаясь разрыва между армиями, главный штаб решил, что фон Бюлову, находящемуся в центре правого крыла, будет удобнее удерживать все три армии на одной линии. Фон Клук, очень недовольный своим подчинением, оспаривал все приказы фон Бюлова, касавшиеся ежедневного продвижения, чем породил сущий хаос, чему очень способствовала плохая связь. Через десять дней главный штаб был вынужден отменить приказ, причём разрыв между армиями всё-таки произошёл.

Бельгийцы действовали на нервы фон Клуку даже больше, чем фон Бюлов. Их армия, оказав серьёзное сопротивление, сломала график немецкого продвижения и, взрывая железные дороги и мосты, срывала доставку боеприпасов, продовольствия, медикаментов, почты и т.п., заставляла немцев тратить значительные усилия на обеспечение функционирования тыла. Местные жители блокировали дороги и, что хуже всего, перерезали телефонные и телеграфные провода, нарушая связь не только между германскими армиями и главным штабом, но и между корпусами. Эта «чрезвычайно агрессивная партизанская война», как называл её фон Клук, и особенно франтирёры-снайперы, стрелявшие по германским солдатам, выводили из себя генерала и командиров. С первых же шагов его армии по территории Бельгии Клуку пришлось прибегнуть, по его собственным словам, к «жестоким и непреклонным репрессалиям», таким как «расстрел отдельных лиц и сжигание домов», в ответ на «предательские» нападения местного населения. Сожжённые деревни и мёртвые заложники отмечали путь 1-й армии. 19 августа, после того как немцы форсировали Гете и не обнаружили бельгийской армии, отступившей ночью, они обрушили свой гнев на Аэршот, маленький городок между рекой Гете и Брюсселем: он первый подвергся массовым казням. В Аэршоте было расстреляно 150 жителей. Количество жертв росло, к ним добавились те, которых расстреляла армия фон Бюлова на подступах к Арденнам и в Тамине, и 664 человека, убитые солдатами Хаузена в Динане. Процедура везде была почти одинаковой. Жителей собирали на

главной площади, мужчин в одной стороне, женщин – в другой. Затем отбирался каждый десятый, каждый второй или все, в зависимости от каприза офицера, командовавшего экзекуцией. Их отводили на ближайшее поле или на пустырь за железнодорожной станцией и расстреливали. В Бельгии много городов, на кладбищах которых стоят ряды одинаковых памятников, на которых указан год «1914», а под именем выбита надпись: «Fusillé par les Allemands» («Расстрелян немцами»). Теперь к ним прибавились и новые длинные ряды похожих надгробий – с той же надписью, но другой датой – «1944».

Генерал фон Хаузен, командующий 3-й армией, подобно фон Клуку, считал, что «вероломство» бельгийцев, «умножавших препятствия» германской армии, требовало наказания «самым решительным образом и без малейших колебаний». В подобные меры входили «аресты заложников из числа известных людей, например, владельцев поместий, мэров, священников, сжигание домов и ферм и казнь лиц, пойманных во время свершения ими враждебных актов». Большинство солдат в армии Хаузена составляли саксонцы, и вскоре «саксонец» стало в Бельгии синонимом слова «варвар». Сам Хаузен не мог понять «враждебности бельгийского народа». Он каждый раз удивлялся, когда обнаруживал, «как нас ненавидят». Хаузен горько жаловался на поведение семейства д'Эггремона, в чьем роскошном замке, состоящем из 40 комнат, с садом, оранжереями и конюшнями на 50 лошадей, ему пришлось провести ночь. Старый граф ходил, «сжав кулаки в карманах»; оба сына хозяина не явились к обеду. Сам же хозяин на обед опоздал и хранил упорное молчание, не отвечая даже на вопросы. Так продолжалось до самого отъезда генерала, несмотря на то, что он отдал распоряжение военной полиции не конфисковывать коллекцию китайского и японского оружия, собранную графом д'Эггременом во время дипломатической службы на Востоке. Такое отношение к себе сильнее всего огорчало Хаузена.

Германская карательная кампания не была, за исключением отдельных случаев, спонтанным ответом на сопротивление бельгийцев. Она подготавливалась заранее, с обычной для немцев тщательностью и педантичностью и предназначалась для того, чтобы сэкономить время и сохранить людей, а во имя этого необходимо было быстро привести бельгийцев к покорности. Важнее всего была быстрота продвижения. Не менее важным представлялось довести до



Франции все наличные батальоны; бельгийское же сопротивление, вынуждавшее оставлять войска в тылу для его подавления, срывало планы. Как только немцы входили в город, на его стенах, точно нарывы библейской чумы, начинали белеть заранее отпечатанные объявления, наклеенные на каждом доме и предупреждавшие население против «враждебных» актов. Наказанием для гражданских лиц, стрелявших в солдат, была смерть, как и за различные менее тяжкие преступления: «Любой, подошедший ближе 200 метров к аэроплану или воздушному шару, будет застрелен на месте». Владельцы домов, в которых найдут спрятанное оружие, будут расстреляны. Все, кто укрывает у себя бельгийских солдат, будут отправлены на «пожизненные» каторжные работы в Германию. Деревни, в которых состоятся «враждебные» акты, «будут сожжены». Если же подобные акты произойдут «на дороге между двумя деревнями, к жителям обеих деревень будут применены те же меры».

Короче говоря, провозглашались следующие принципы: наказания за любой враждебный акт против германских солдат будут осуществляться без пощады, отвечать будет вся община, заложники будут взяты в большом количестве. Подобная практика коллективной ответственности, которую столь энергично осудила Гаагская конвенция, поразила мир 1914 года, веривший в человеческий прогресс.

Фон Клук сетовал, что применяемые методы «всё-таки медленно действуют против причиняемого зла». Бельгийское население продолжало демонстрировать непримиримую враждебность. «Эти злостные помехи со стороны населения сказывались на жизнедеятельности нашей армии». Карательные акции становились более частыми и жестокими. Мир узнавал о горящих деревнях, дорогах, забитых беженцами, расстрелянных мэрах и бургомистрах от союзных и американских журналистов и от корреспондентов из нейтральных стран. Столкнувшись с запретом Жоффра и Китченера о допуске журналистов на фронт, с первого дня войны они стекались в Бельгию. В частности, там подвизалась замечательная компания американских мастеров репортажа, включавшая Ричарда Хардинга Дэвиса, корреспондента сразу нескольких газет, Уилла Ирвайна из «Колльерс», Ирвина Кобба из «Сатердей ивнинг пост», Гарри Хэнсена из «Чикаго дейли ньюс», Джона Т. Маккатчена из «Чикаго трибьюн» и

других. Причём все они получили корреспондентские удостоверения от германского командования и следовали за немецкими войсками. Они описывали брошенные и разграбленные дома, выгоревшие деревни, в которых не осталось ни единой живой души, не считая безмолвно шныряющих кошек, улицы, усеянные пустыми бутылками и битым стеклом из окон, агонизирующее мычание давным-давно недоенных коров и бесконечные вереницы беженцев, с узлами, тележками и зонтиками – ненадёжным укрытием на ночь; ночевали прямо у дороги, или в полях, где клонились к земле тугие колосья, – некому было их жать; и повсюду звучал один и тот же вопрос: «Вы видели французов? Где же французы? И где англичане?» Тряпичная кукла на дороге, с головой, раздавленной колесом орудийного тягача, показалась одному американскому репортёру символом участи Бельгии в этой войне.

Девятнадцатого августа, когда в Аэршоте, в 25 милях от Брюсселя, прозвучали залпы, в бельгийской столице царило зловещее спокойствие. Правительство покинуло город накануне.

Флаги всё ещё украшали улицы, ярко вспыхивая на солнце красными и жёлтыми полотнищами. В свои последние мирные часы бельгийская столица, казалось, расцвела ещё больше, постепенно становясь тихой, почти дремотной. В самом конце дня увидели первых французов – эскадрон измученных людей и лошадей, медленно проехавших по авеню Де-ла-Туазон-д'Ор. Спустя несколько часов по опустевшим улицам промчались четыре автомашины, в которых сидели офицеры в незнакомой форме цвета хаки. Брюссельцы удивлённо проводили их взглядами, раздались возгласы: «Les Anglais! Англичане!» Союзники Бельгии наконец-то появились, но слишком поздно для спасения её столицы. 19 августа через город продолжал идти поток беженцев. Флаги сняли, население предупредило о возможной воздушной бомбардировке.

Двадцатого августа германские войска заняли Брюссель. Неожиданно на улицах появились эскадроны улан с пиками наготове. Они стали предвестниками мрачного парада, невероятного по своей мощи и величию. Он начался в час дня с серо-зелёных пехотных колонн, в которых, сомкнув ряды, маршировали выбритые солдаты, в начищенных сапогах и с примкнутыми штыками, сверкавшими на солнце. Затем появилась такая же серо-зелёная кавалерия с

трепетавшими на пиках чёрно-белыми флажками, будто вернувшаяся из средних веков. Подковы бесчисленных лошадиных копыт, непрестанно цокавших по мостовой, казались способными затоптать всё, что бы ни встретилось им на пути. За конницей прогромыхали тяжёлые артиллерийские орудия. Рокотали барабаны. Хриплые голоса ревели песню победы «Heil dir im Siegeskranz» на мотив «Боже, храни короля». Они всё шли, колонна за колонной, бригада за бригадой. Молчаливые толпы, наблюдавшие это бесконечное шествие, были поражены его завершённостью и единообразием. Затем, запряжённые четвёрками лошадей, появились походные кухни. Разведённый в них огонь и изрыгавшие дым трубы произвели не меньшее впечатление, чем грузовики, оборудованные под сапожные мастерские. Сапожники за своими столами заколачивали гвозди в подмётки, а солдаты, чьи сапоги находились в ремонте, стояли на подножках.

Парад проходил по одной стороне бульвара, чтобы не мешать штабным офицерам в автомобилях, а посыльным на велосипедах и мотоциклах обгонять процессию. Кавалерийские офицеры представляли собой отдельное зрелище – кто залихватски курил сигареты, кто красовался в моноклях, кто демонстрировал могучий загривок, кто поигрывал стеклом, и у всех на лицах было написано презрение к побеждённым. Шли часы, а марш победителей продолжался. Три дня и три ночи 320 000 солдат армии фон Клука грозной поступью шли через Брюссель. Был назначен германский генерал-губернатор, над ратушей подняли германский флаг, часы поставлены по германскому времени. На столицу наложили контрибуцию в 50 миллионов франков (10 миллионов долларов), которую полагалось выплатить через 10 дней, на провинцию Брабант – 450 миллионов франков (90 миллионов долларов).

В Берлине после сообщений о взятии Брюсселя зазвонили колокола, на улицах раздавались радостные возгласы, горожане пришли в приподнятое настроение, незнакомые обнимались, и царило «всеобщее ликование».

Франция же 20 августа ещё собиралась наступать. Ланрезак достиг Самбры, англичане стояли с ним вровень. Сэр Джон Френч после многих колебаний заверил Жоффра, что будет готов вступить в боевые действия на следующий день. Но из Лотарингии поступили

плохие новости. Рупрехт начал своё контрнаступление мощнейшим ударом. 2-я армия Кастельно, из состава которой Жоффр взял один корпус для бельгийского фронта, отступала; Дюбай доносил, что немцы упорно атакуют. В Эльзасе генерал По, действовавший против значительно уменьшившихся немецких сил, взял обратно Мюлуз и весь прилегающий район, но теперь, с уходом Ланрезака на Самбру, войска По были нужны, чтобы занять его место для наступления в центре. Даже Эльзас, величайшую жертву, принесли на алтарь «Плана-17». Хотя и ожидалось, что Эльзас, как и железорудные шахты в Брие, будет возвращён после победы, огорчение генерала По чувствовалось в каждой строке его воззвания к народу, который он только что освободил. «На севере начинается великая битва, которая решит судьбу Франции, а с ней и Эльзаса. Именно туда посылает главнокомандующий все силы нации, чтобы предпринять решительное наступление. С громадной печалью мы должны оставить Эльзас. Жестокая необходимость заставляет эльзасскую армию и её командующего с болью в душе подчиниться тому, что вызвано крайней необходимостью». В результате во владении французов остался лишь небольшой клочок территории вокруг Танна. Сюда в ноябре прибыл Жоффр и сказал, вызвав слёзы на глазах безмолвной толпы: «Je vous apporte le baiser de la France. Я передаю вам поцелуй Франции». Остальному Эльзасу ещё долгие годы пришлось ждать окончательного избавления.

На Самбре, где Ланрезак должен был на следующий день предпринять наступление, «двадцатое августа, – по словам лейтенанта Спирса, – было волнующим днём для войск. Напряжение ощущалось даже в воздухе. Все чувствовали, что великая битва близка. Моральный дух 5-й армии был необычайно высок... Никто не сомневался в успехе». Но их командир не был настолько в этом уверен. Генерал д'Амад, командующий группы из трёх территориальных дивизий, которые Жоффр в последнюю минуту всё-таки послал на позиции левее англичан, также испытывал беспокойство и тревогу. В ответ на его запрос в главный штаб генерал Бертело ответил: «Сведения о германских войсках в Бельгии сильно преувеличены. Причин для беспокойства нет. Диспозиции, занятые по моему приказу, в настоящее время считаются достаточными».

В 3 часа дня генерал де Лангль де Кари, командующий 4-й армией, доложил о движении противника через его фронт и запросил у Жоффра, не следует ли предпринять наступление немедленно. В главном штабе господствовало твёрдое убеждение в том, что чем больше немцы перемещаются вправо, тем слабее их центр. «Я понимаю Ваше нетерпение, – ответил Жоффр, – но, по моему мнению, время для наступления ещё не пришло... Чем более район (Арденн) будет ослаблен к моменту наступления, тем лучше будут результаты продвижения 4-й армии, поддерживаемой 3-й. Поэтому крайне важно дать противнику возможность пройти мимо нас в северо-западном направлении, не нападая на него преждевременно».

В 9 часов вечера главнокомандующий решил, что время пришло, и отдал 4-й армии приказ немедленно начать наступление. Это был великий час – час «порыва», *élan*. Ночью 20 августа Жоффр сообщал Мессими: «Есть основания ожидать успешного развития операции».

## Глава 14

### Разгром: Лотарингия, Арденны, Шарлеруа, Монс

Генри Уилсон писал в своём дневнике 21 августа: «Страшно подумать и в то же время радостно, что ещё до конца этой недели произойдёт битва, о которой ещё не слышал мир». Когда он писал эти слова, великая битва уже началась. С 20 по 24 августа весь Западный фронт гремел сражением, вернее – четырьмя сражениями, известными в истории под общим названием Пограничного. Начавшись справа, в Лотарингии, где бои шли уже с 14 августа, они прокатились вдоль всей границы. Исход в Лотарингии повлиял на сражение в Арденнах, оно сказалось на ходе битвы у Самбры и Мааса (известных как битва при Шарлеруа), а Шарлеруа отразилось на Монсе.

К утру 20 августа 1-я армия генерала Дюбая и 2-я армия генерала де Кастельно встретились в Лотарингии с подготовленной обороной германских войск у Саарбурга и Моранжа и были жестоким образом наказаны за легкомыслие. Очень быстро обнаружились пределы *offensive à outrance*: наступление быстро захлебнулось, натолкнувшись на тяжёлую артиллерию, колючую проволоку и пулемётные гнёзда. Касаясь тактики наступления, французский полевой устав предусматривал, что за 20-секундный бросок атакующая пехота успеет покрыть 50 метров, пока противник изготавится к стрельбе, прицелится и выстрелит. Как потом горько сетовал один французский солдат, вся эта «гимнастика, которой мы столько занимались на манёврах», оказалась никчёмной на поле боя. Чтобы открыть пулемётный огонь, немцам требовалось было всего 8 секунд, а не 20. Полевой устав также рассчитывал, что шрапнельные снаряды 75-миллиметровых орудий «нейтрализуют» оборону, вынудив противника «пригнуться и стрелять не глядя». Но вместо этого, как предупреждал Иэн Гамильтон, основываясь на опыте русско-японской войны, обороняющийся, заняв позицию в оборудованных брустверами траншеях, не боится шрапнели и ведёт огонь по атакующим через амбразуры.

Несмотря на все препятствия, оба французских генерала отдали приказ о наступлении 20 августа. Без поддержки артиллерийского огня их войска бросились на германские укрепленные позиции. Контратака Рупрехта, в проведении которой главный штаб ему не посмел отказать, началась в то же утро с убийственной артиллерийской подготовки, проделавшей во французских боевых порядках зияющие пустоты. XX корпус Фоша армии Кастельно был на главном направлении наступления, которое приостановилось перед укреплениями Моранжа. Баварцы, чей боевой дух так не хотелось сдерживать Рупрехту, контратаковали и вклинились во французскую территорию. Стоило только кому-то закричать: «Франтирёры!» – как они немедленно начинали грабить, расстреливать и поджигать. В старинном городке Номени, находящемся в долине Мозеля между Мецем и Нанси, 20 августа были расстреляны или заколоты штыками 50 жителей, а уцелевшие после артиллерийского обстрела дома были сожжены по приказу полковника фон Ханнапеля, командира 8-го баварского полка.

Ведя тяжёлые бои по всему фронту, армия Кастельно подверглась на левом фланге упорной атаке германского отряда из гарнизона Меца. Видя, что левый фланг отходит и все резервы уже пущены в ход, Кастельно понял, что надежды на наступление рухнули, и вышел из боя. Оставался только один выход – оборона, но это слово было под запретом, и сама идея об обороне – запретна. Но вряд ли Кастельно сознавал, как предполагал один из наиболее яростных критиков «Плана-17», что долгом французской армии было не наступление, а оборона французской земли. Приказ об общем отступлении на линию обороны у Гран-Куронне Кастельно отдал потому, что у него не оставалось иного выбора. На его правом фланге 1-я армия Дюбая ещё удерживала свои позиции и, несмотря на большие потери, даже продвинулась вперёд. Когда из-за отступления Кастельно её правый фланг оказался открытым, Жоффри приказал 1-й армии также отступить, чтобы быть на одной линии с соседом. «Нежелание» Дюбая сдавать территорию, завоёванную в результате семидневных боёв, было очень велико, и его давняя антипатия к Кастельно отнюдь не уменьшилась в результате отхода, которого «положение моей армии совсем не требовало».

Хотя французы ещё не понимали этого, бойня у Моранжа задула яркое пламя наступательной доктрины. Конец ей пришёл в

Лотарингии, где к исходу дня видны были только ряды трупов, лежавших в странных позах там, где неожиданная смерть застигла их. Там словно бы пронёсся страшный, смертоносный ураган. Это был один из тех уроков, как заметил позднее кто-то из уцелевших, «посредством которых Бог учит порядку королей». Так впервые проявила себя у Моранжа сила обороны, которая позднее превратила войну, начавшуюся как мобильная, в четырехлетнюю позиционную, поглотившую целое поколение европейского населения. Духовный отец «Плана-17» Фош, который учил, что «существует только один способ защиты – нападение, как только мы к нему будем готовы», видел и пережил всё это. В течение четырёх долгих лет бесконечного, безжалостного и бесполезного убийства воюющие стороны бились лбами о стену обороны. Фошу в конце концов удалось насладиться победой. Но потом, в следующей войне, преподанный урок оказался ложным.

Двадцать первого августа генерал де Кастельно узнал, что его сын был убит в бою. Своему штабу, который пытался выразить ему соболезнование, он после минутного молчания сказал слова, впоследствии ставшие чем-то вроде лозунга во Франции: «Будем продолжать, господа».

На следующий день грохот тяжёлой артиллерии Рупрехта, напоминающий топот чудовищного табуна, не умолкал. Четыре тысячи снарядов упали на Сент-Женевьев, вблизи Номени, в ходе семидесятипятичасовой бомбардировки. Кастельно считал положение настолько серьёзным, что подумывал об оставлении Гран-Куронне и сдаче Нанси. «Я прибыл в Нанси 21-го, – писал потом Фош, – они хотели эвакуировать его. Я сказал, что враг находился от Нанси в пяти днях пути и что на его пути стоит XX корпус. Без сопротивления XX корпус не пропустит их!» Теперь метафизика в лекционном зале превратилась в «Атакуйте!» на поле боя. Фош убеждал, что, имея за спиной укрепленную позицию, лучшей защитой будет контратака, и добился своего. 22 августа такая возможность представилась. Между французскими укрепленными районами Туля и Эпиналя был естественный просвет, называемый Труэ-де-Шарм, куда французы предполагали направить наступление немцев. Разведка показала, что Рупрехт, двигаясь на Шарм, подставит свой фланг армии в Нанси.



Решение о манёвре Рупрехта было принято в результате ещё одного долгого и фатального телефонного разговора с генеральным штабом. Успех германских армий левого крыла, отбросивших французов от Саарбурга и Моранжа, имел два результата: Рупрехт получил Железный крест сразу двух степеней, и второй, и первой, – что никому не причинило вреда, – а у главного штаба возродились надежды на проведение решающего сражения в Лотарингии. Возможно, в конечном счёте, при своей силе немцы в состоянии предпринять фронтальную атаку. Возможно также, что Туль и Эпиналь окажутся такими же уязвимыми, как и Льеж, а Мозель – не большим препятствием, чем Маас. Возможно, наконец, что двум армиям левого фланга удастся прорваться через французскую укреплённую линию и во взаимодействии с правым крылом осуществить настоящие «Канны» – двойной охват. Согласно полковнику Таппену эта перспектива очень манила генеральный штаб. Подобно улыбке ветреной соблазнительницы, она победила многолетнюю верность правому крылу.

В то время как эту захватывающую идею обсуждали Мольтке и его советники, позвонил генерал Крафт фон Дельмензинген, начальник штаба Рупрехта. Он хотел знать, продолжать ли наступление или остановиться. Первоначально предполагалось, что, как только армии Рупрехта остановят французское наступление и стабилизируют свой фронт, они организуют оборону и выделяют все возможные силы для усиления правого крыла.

Впрочем, предусматривалась и другая альтернатива, известная как «Вариант-3» – согласно этому плану намечалось наступление через Мозель, но осуществляться оно должно было только по прямому распоряжению генерального штаба.

— Мы должны точно знать, как будет продолжаться операция, – настаивал Крафт. – Я полагаю, что в действие вступает «Вариант-3».

— Нет, нет, – отвечал полковник Таппен, начальник оперативного отдела. – Мольтке ещё не решил. Если вы подождёте у телефона минут пять, я, может быть, передам вам желаемый приказ. – Менее чем через пять минут он ответил: – Действуйте в направлении на Эпиналь.

Крафт был «поражён»: «В течение этих пяти минут я почувствовал, что было принято решение, чреватое самыми неожиданными за всю войну последствиями».

«Действовать в направлении на Эпиналь» означало наступление через Труэ-де-Шарм – то есть фронтальную атаку на французские укрепленные линии, вместо того чтобы сберечь 6-ю и 7-ю армии в качестве подкрепления для правого фланга. Повинуясь приказу, Рупрехт энергично атаковал 23 августа. Фош отбил атаку и контратаковал. В последующие дни 6-я и 7-я германские армии завязали тяжёлые бои с 1-й и 2-й французскими армиями, которых поддерживала артиллерия Бельфора, Эпиналя и Туля. Они истощали силы, но сражение происходило не только между ними.

Провал наступления в Лотарингии не обескуражил Жоффра. Более того, в яростном контрнаступлении Рупрехта, в котором активно участвовало и германское левое крыло, он увидел удобный момент для начала своего наступления против германского центра. Уже зная об отступлении Кастельно от Моранжа, Жоффр ночью 20 августа дал сигнал к наступлению в Арденнах, которое было центральным и главным манёвром по «Плану-17». В то же самое время, когда 3-я и 4-я армии вступили в Арденны, он приказал 5-й армии начать наступление через Самбру против «северной группы» противника – так главный штаб называл правое крыло германской армии. Жоффр отдал свой приказ, даже получив известие от полковника Адельберта и сэра Джона Френча о том, что ни бельгийцы, ни англичане не окажут ожидаемой поддержки. Бельгийская армия, за исключением одной дивизии у Намюра, вышла из соприкосновения с противником, а английская армия, как сообщил её командующий, не будет готова ещё три или четыре дня. Помимо этих изменений, сражение в Лотарингии продемонстрировало серьёзные ошибки, допущенные при ведении боёв. Они были признаны ещё 16 августа, когда Жоффр разослал всем командующим инструкции относительно необходимости «ожидать артиллерийской подготовки» и избегать «необдуманного попадания под огонь противника».

Тем не менее Франция придерживалась «Плана-17» как единственного средства для достижения решающей победы, а он требовал наступления – сейчас или никогда. Единственной альтернативой было бы немедленно переключиться на оборону границ, но это в корне противоречило всем принципам подготовки, планирования и стратегического мышления французской армии и по

самому духу французского военного организма было просто немыслимо.

Более того, главный штаб был убеждён, что французские армии будут иметь численное превосходство в центре. Французские штабисты не могли избавиться от теоретического предубеждения, доминировавшего над всем их планированием, что немцы в центре будут обязательно ослаблены. Исходя из этой уверенности, Жоффр и отдал приказ о всеобщем наступлении в Арденнах и на Самбре 21 августа.

Местность в Арденнах не годилась для наступления. Она была лесистой и холмистой и с французской стороны постепенно поднималась. Между холмами было много оврагов, прорезанных многочисленными ручьями. Цезарь, которому потребовалось десять дней, чтобы пройти через Арденны, назвал их глухие тёмные леса «местом, полным ужасов», с грязными дорогами и вечными туманами над торфяными болотами. И хотя с тех пор произошло благодаря цивилизации немало изменений, а на смену ужасам Цезаря пришли дороги, деревни и два или три города, но оставалось много густых лесов, с редкими дорогами, но удобные для засад. До 1914 года французские штабные офицеры неоднократно изучали эту местность и знали её трудность. Несмотря на их предупреждения, именно Арденны всё же были выбраны участком для прорыва, поскольку предполагалось, что здесь, в центре, сила немцев будет наименьшей. Французы убедили себя в удобности этой местности, исходя из теории, что её трудность, как заявил Жоффр, «делает её благоприятной для стороны, которая, как наша, слабее в тяжёлой артиллерии, но сильнее в полевой». Мемуары Жоффра, несмотря на повторяющееся «я», были составлены и написаны группой авторов-военных и представляют тщательную и фактически официальную точку зрения генерального штаба, господствовавшую до и в течение 1914 года.

Двадцатого августа французский штаб, посчитав, что движение немцев через фронт является маршем к Маасу, решил, что Арденны сравнительно «свободны» от противника. Поскольку Жоффр намеревался сделать своё наступление неожиданным, он запретил проводить разведку силами пехоты, опасаясь, что те войдут в соприкосновение с противником и ввяжутся в стычке до главной схватки. Французы добились неожиданности, но и для себя тоже.

Нижний угол Арденн вклинивается во Францию в верхней части Лотарингии, там, где расположен железорудный район Брие. Область была оккупирована прусской армией в 1870 году, но залежи железной руды там ещё не были обнаружены, и район не попал в ту часть Лотарингии, которую аннексировала Германия. Центром района был город Лонгви, стоявший на берегу реки Шьер, и честь взять его была предоставлена кронпринцу, командующему германской 5-й армией.

Тридцатидвухлетний королевский отпрыск был узкогрудым, сутулым созданием с лисьим лицом и совсем не походил на своих пятерых крепышей братьев, которых императрица едва ли не раз в год дарила мужу. Кронпринц Вильгельм производил впечатление физической хрупкости и, по словам одного американского наблюдателя, «весьма заурядных умственных способностей» — в отличие от своего отца. Позёр и любитель внешних эффектов, как и сам кайзер, кронпринц страдал от неприменной неприязни к отцу, обычной у старших сыновей всех королей, и выражал своё отношение также обычным способом — политическим соперничеством и мотовством. Он выставлял себя поборником наиболее агрессивного милитаристского курса, и в берлинских магазинах продавалась его фотография с надписью: «Только полагаясь на меч, мы можем добиться места под солнцем. Места, принадлежащего нам по праву, но добровольно нам не уступаемого». Несмотря на воспитание, которое призвано было подготовить его к военному командованию, военная подготовка кронпринца оставляла желать лучшего. Он был командиром 1-го лейб-гусарского полка («Мёртвая голова»), год прослужил в генеральном штабе, но не имел опыта командования ни корпусом, ни дивизией. Тем не менее кронпринц полагал, что время, проведённое в генштабе и навыки, полученные в штабных поездках в последние несколько лет, «заложили у меня теоретические основы, необходимые при командовании войсковыми соединениями». Его уверенность в себе нисколько не разделял Шлиффен, который сокрушался о том, что на командные посты назначаются молодые и неопытные офицеры. Он опасался, что следование стратегическим планам будет интересовать их намного меньше, чем «*wilde Jagd nach dem Pour le Mérite*» — сумасбродная охота за славой и наградами.

Задача 5-й армии кронпринца вместе с 4-й армией герцога Вюртембергского заключалась в том, что они должны были играть

роль оси правого крыла, медленно двигаясь вперёд в центре, в то время как всё оно совершало свой масштабный охватывающий манёвр. 4-я армия должна была наступать через северные Арденны на Нёфшато, а 5-я – через южные Арденны на бельгийский Виртон и два французских города-крепости – Лонгви и Монмеди. Штаб кронпринца располагался в Тионвиле, называемом немцами Диденхофен, где императорский отпрыск велел подавать себе за обедом то, что едят его храбрые солдаты, – капустный суп, картофель и варёную говядину с хреном, поддерживая свои силы, в виде уступки достоинству принца, блюдами из дикой утки, салатом, фруктами, вином, кофе и сигарами. Окружённые «мрачно настроенным» населением, завидуя славе тех, кто взял Льеж, и продвижению правого крыла, кронпринц и его штаб отчаянно жаждали действий. Наконец 19 августа поступил приказ о выступлении.

Против армии принца находилась французская 3-я армия под командованием генерала Рюффе. Единственный проповедник тяжёлой артиллерии, он был известен под прозвищем «le poète du canon», «поэт пушек», за красноречивое их воспевание. Он не только ставил под сомнение всемогущество 75-миллиметровок, но даже осмелился предложить использовать аэропланы в качестве наступательного оружия и ратовал за создание военно-воздушного флота в составе 3000 самолётов. Такая его идея не понравилась. «Tout ça, c'est du sport! Что за забава!» – воскликнул генерал Фош в 1910 году, прибавив, что в военном отношении: «L'avion c'est zéro! Авиация это ничто!» Но на проходивших на следующий год манёврах генерал Галлиени при помощи авиаразведки захватил полковника из Верховного военного совета со всем его штабом. К 1914 году Франция уже имела аэропланы в армии, но генерала Рюффе по-прежнему считали человеком «слишком пылкого воображения». К тому же обычно он никогда не слушал штабных офицеров, указывавших, что ему делать, и нажил врагов в главном штабе ещё до того, как вошёл в Арденны. Штаб 3-й армии находился в Вердене, а задача, поставленная перед армией, заключалась в том, чтобы отбросить противника на линию Мец – Тионвиль и блокировать его там, возвратив в ходе наступления район Брие. Пока он теснил бы немцев справа от германского центра, его сосед, 4-я армия генерала Лангля де Кари, должна была наступать

слева. Обе французские армии должны были прорваться через центр и отсечь германское правое крыло у самого плеча.

Генерал де Лангль, ветеран войны 1870 года, был оставлен в должности, несмотря на то, что достиг предельного, шестидесятичетырехлетнего, возраста за месяц до начала войны. С виду это был энергичный, быстрый человек, похожий этим на Фоша, готовый, как и тот, если судить по фотографиям, немедленно взяться за дело. Он действительно стремился к наступлению, был готов к нему и отказывался верить тревожным известиям.

Его кавалерия в бою под Нёфшато встретила серьёзное сопротивление и была вынуждена отступить. Разведка, произведённая офицером штаба на автомобиле, дала новые поводы для беспокойства. Этот офицер имел в Арлоне беседу с чиновником правительства Люксембурга, который с большой тревогой сообщил о «крупном» сосредоточении германских войск в ближайшем лесу. На обратном пути автомобиль разведки был обстрелян, но в штабе 4-й армии это донесение сочли пессимистическим. Все были преисполнены духом героизма, а не рассудочности. Наступил момент, когда нужно действовать стремительно, без колебаний. Только после сражения генерал де Лангль вспомнил, что не одобрял приказа Жоффра наступать, «который не разрешил мне провести предварительно разведку». Впоследствии он писал: «Главный штаб хотел неожиданности, но с ней столкнулись мы сами».

Генерал Рюффе был более обеспокоен, чем его сосед. Он серьёзнее отнёсся к сообщениям бельгийских крестьян о концентрации германских войск в лесах. Когда Рюффе донёс до главного штаба собственную оценку стоящих перед его армией сил противника, там на неё не обратили никакого внимания и, как он утверждал, даже не прочли его докладной.

Утром 21 августа на Арденны опустился густой туман. В течение 19 и 20 августа 4-я и 5-я германские армии продвигались вперёд, окапываясь на достигнутых рубежах. Ожидалось французское наступление, хотя и не было известно где и когда. В густом тумане французские конные патрули, высланные в разведку, «ехали словно слепые». Армии противников, двигавшиеся через леса и холмы и видевшие только на несколько шагов вперёд, наткнулись друг на друга, не понимая, кто же перед ними. Как только первые подразделения

вошли в соприкосновение и командиры поняли, что начинается бой, немцы немедленно зарылись в землю. Французские же офицеры, избегавшие во время обучения войск практических занятий по окапыванию из опасений, что солдаты «откажутся рыть землю», и имевшие в подразделениях всего по несколько кирок и лопат, повели солдат в штыковую атаку. Их смели пулемёты. Кое-где французские 75-миллиметровки нанесли урон и немцам, которые также были застигнуты врасплох.

В первый день бои носили характер предварительных стычек, но 22 августа нижние Арденны запылали в настоящей битве. В боях под Виртоном и Тинтиньи, Россиньолем и Нёфшато пушки с грохотом изрыгали огонь, солдаты бросались друг на друга, падали раненые, росло число убитых. У Россиньоля алжирцы 3-й французской колониальной дивизии были окружены VI корпусом армии кронпринца и сражались в течение шести часов, пока от них не осталась маленькая горстка. Дивизионный командир генерал Раффанель и командир бригады генерал Рондони были убиты. В августе 1914 года среди генералов были такие же потери, как и среди солдат.

Под Виртоном французский VI корпус, которым командовал генерал Саррай, ударил во фланг германскому корпусу, открыв огонь из 75-миллиметровых орудий. «Потом поле боя представляло невероятную картину, – сообщал один французский офицер с ужасом. – Тысячи мёртвых продолжали стоять, поддерживаемые сзади рядами тел, лежащих друг на друге по нисходящей кривой от горизонтали до угла в 60 градусов». Французские офицеры из Сен-Сира шли в бой в киверах с белыми плюмажами и в белых перчатках, умереть в которых считалось шиком. Французский сержант, чьё имя осталось неизвестным, вёл дневник, в котором записал: «...отдача отбрасывает пушки при каждом выстреле. Опускается ночь, и они напоминают стариков, высунувших языки и плюющих огнём. Куда ни глянь, повсюду лежат горы мёртвых тел, немцев и французов, все сжимают в руках винтовки. Льёт дождь, воют и взрываются снаряды... Постоянно взрывы снарядов. Хуже нет артиллерийского огня. Всю ночь лежал и прислушивался к стонам раненых – некоторые из них немцы. Канонада продолжается. А когда она стихает, мы слышим, как

повсюду в лесу кричат раненые. Каждый день два-три человека сходят с ума».

Офицер возле Тинтиньи тоже вёл дневник. «Нельзя придумать ничего более ужасного, – писал он. – Мы наступаем очень быстро, даже слишком быстро... В нас стрелял какой-то штатский... его тотчас же застрелили... Нам приказали атаковать вражеский фланг в буковом лесу... Мы заблудились... Погублены люди... Противник открыл огонь... Градом посыпались снаряды».

Кронпринц не хотел отставать от Рупрехта, о чьих победах у Саарбурга и Моранжа стало известно. Он призвал солдат сравняться со своими товарищами «в славе и в самопожертвовании». Кронпринц перевёл свой штаб в Эш в Люксембурге, через реку от Лонгви, и следил за боем по огромным картам, приколотым к стене. Всякая задержка была пыткой, телефонная связь с Кобленцем – ужасной; генеральный штаб находился «слишком далеко»; битва была страшной, потери – огромными. Лонгви ещё не взят, сообщал он, но «мы думаем, что приостановили вражеское наступление»; докладывают, что французские войска в беспорядке отступают.

Так и было. Перед самым боем взбешённый генерал Рюффе обнаружил, что три резервные дивизии общей численностью в 50 000 человек больше не являются частью его армии. Жоффри забрал их из-за угрозы наступления Рупрехта, чтобы создать специальную «армию Лотарингии», составленную из трёх этих дивизий и четырёх других, взятых ещё где-то. «Армия Лотарингии» начала приобретать форму под командой генерала Монури 21 августа между Верденом и Нанси, чтобы поддержать армию Кастельно и прикрыть правый фланг наступления через Арденны. Этот предпринятый в последний момент манёвр, продемонстрировавший пример спасительной гибкости французской армии, сейчас привёл к отрицательному результату. Он уменьшил силы Рюффе и вынудил бездействовать семь дивизий в критически важный момент. Впоследствии Рюффе утверждал, что, будь у него эти 50 000 человек, которым он уже отдал приказ, битва при Виртоне была бы выиграна. Гнев командующего 3-й армии не имел границ, и ему было не до вежливости. Когда во время боя к нему прибыл офицер из главного штаба, Рюффе взорвался: «Вы там, в генеральном штабе, никогда не читаете донесений, которые мы вам посылаем. Вы знаете о враге не больше, чем устрицы у него в мешке...



Скажите главнокомандующему, что его операции спланированы хуже, чем в 1870 году, – он ничего не видит, во всём полная некомпетентность». Подобные слова на Олимпе успехом не пользуются, тем более что Жоффр и прислуживающие ему божки намеревались свалить все неудачи на некомпетентность войск и командиров, в том числе – и на Рюффе.

В тот же самый день, 22 августа, генерал де Лангль переживал самый волнующий момент. Он ждал сообщений с фронта. Привязав себя «с болью» к штабу в Стене на Маасе, в двадцати милях от Седана, он получал донесения одно хуже другого. Инстинкт, зовущий на поле боя, можно было обуздать, только постоянно напоминая себе, что генералу не место в гуще подчинённых ему частей, он должен управлять их передвижением издалека. Столь же трудно было сохранять невозмутимость на виду у своего штаба и «самообладание, которое в критические моменты обязательно для командующего».

К концу дня стали известны ужасные потери, понесённые колониальным корпусом. Ещё один корпус из-за неправильных действий своего командира, как полагал де Лангль, отступал, ставя в тяжёлое положение соседей. «Серьёзная обстановка у Тинтиньи; все силы брошены, но ощутимых результатов нет», – доносил он Жоффру, добавляя, что тяжёлые потери и дезорганизация сделали невозможным выполнение приказов на 23 августа. Жоффр же просто не верил всему этому. С откровенным самодовольством он сообщал Мессими даже после получения донесения де Лангля, что армии были нацелены туда, «где противник наиболее уязвим и где мы с уверенностью имеем численное превосходство». Главный штаб сделал свою работу. Теперь была очередь за войсками и их командирами, «которые должны были воспользоваться этим преимуществом». Те же уверения он повторил и де Ланглю, присовокупив, что перед его 4-й армией всего три корпуса противника и он обязан возобновить наступление.

На деле же французские армии в Арденнах не имели никаких преимуществ, даже наоборот. Армия кронпринца, помимо трёх корпусов, обнаруженных французами, включала два резервных корпуса с теми же номерами, что и действующие; аналогичная ситуация была и в 8-й армии герцога Вюртембергского.

Вместе они насчитывали гораздо больше солдат и орудий, чем французские 3-я и 4-я армии.

Сражение продолжалось и в течение 23 августа, но к концу дня уже стало понятно, что французская стрела сломалась, не пронзив цели. В конечном счёте противник оказался не таким уж «уязвимым» в Арденнах. Несмотря на огромную силу правого фланга, центр отнюдь не был слабым. Французы не смогли «разрезать противника пополам». С кличем «*En avant!*» («Вперёд!»), размахивая саблём, со всем пылом, которым гордилась французская армия, офицеры вели свои роты в атаку – на окопавшегося врага, ведущего обстрел из полевых орудий. Серо-зелёная немецкая форма, сливаясь с туманом и тенями, превзошла слишком заметные «красные штаны»; методичная муштра, постоянное и упорное обучение превзошли порыв. Обе французские армии в Арденнах отступали, 3-я – к Вердену, а 4-я – к Стене и Седану. Железрудный район Брие (Briey) не был возвращён и ещё четыре года поставлял немцам вооружение, а без его железа германская армия не могла бы вести столь продолжительную войну.

Однако вечером 23 августа Жоффр ещё не осознавал всего масштаба поражения в Арденнах. Наступление «временно приостановилось, – телеграфировал он Мессими, – но я предприму все усилия, чтобы возобновить его».

Армия кронпринца в тот день обошла Лонгви, оставив крепость осадным войскам, и в соответствии с приказом намеревалась сбить французскую 3-ю армию с позиций под Верденом. Принц, которого только месяц назад отец предупреждал, чтобы он во всём подчинялся начальнику штаба и «поступал так, как он тебе скажет», был «глубоко тронут» в день триумфа, когда получил телеграмму от «папы Вильгельма» с извещением о награждении. Как и Рупрехт, он удостоился Железных крестов 1-й и 2-й степени. Телеграмма была пущена по рукам, чтобы с ней ознакомились все члены штаба. Вскоре сам принц, облачённый в «белоснежный мундир», как позднее написал один из его почитателей, будет рассказывать между двумя шеренгами солдат, раздавая Железные кресты из корзинки, которую нёс адъютант. В тот день, как сообщал представитель союзного австрийского командования, избежать получения Железного креста 2-й степени было возможно, только совершив самоубийство. Сегодня «герой Лонгви», как его вскоре начали называть, завоевал славу, равную славе

Рупрехта; и если среди ликования тень Шлиффена ворчала по поводу «обычных фронтальных успехов» без применения обходов и общего уничтожения или презрительно ссылаясь на «погоню за медалями», никто её не слышал.

Тем временем на Самбре 5-я армия Ланрезака получила приказ наступать через реку, «опираясь на крепость Намюр», пройти левым флангом у Шарлеруа и сломить «северную группу» врага. Один корпус 5-й армии должен был удерживать угол, образованный слиянием рек, тем самым прикрыв линию Мааса от немецкого наступления с востока. Хотя Жоффри не имел полномочий командовать англичанами, его приказ требовал от Френча «взаимодействовать в этой операции», наступая в «общем направлении на Суаньи», то есть через канал Монса. Канал являлся продолжением Самбры, по нему через Шельду суда шли в Ла-Манш. Он входил в состав водного пути, создаваемого Самброй от Намюра до Шарлеруа, а от Шарлеруа – до Шельды, то есть поперёк направления движения германского правого крыла.

В соответствии с графиком армия фон Клука должна была достичь водного рубежа к 23 августа, тогда как армии Бюлова следовало, по пути окружив Намюр, выйти на рубеж раньше и к тому времени его форсировать.

По графику англичан, составленному в соответствии с приказами Джона Френча, британские экспедиционные силы, как и немцы, должны были выйти к каналу 23-го. Ни одна из армий ещё не знала об этом совпадении. Передовые отряды английских колонн по расписанию выходили на линию канала раньше, к ночи 22 августа. 21 августа, в тот день, когда Ланрезаку было приказано пересечь Самбру, английские войска, которые, как планировалось, «будут взаимодействовать», отставали от французов на целый день пути. Вместо совместных действий обеим армиям, из-за опоздания англичан и плохой связи, явившейся результатом взаимной антипатии командующих, пришлось вести два различных сражения, у Шарлеруа и у Монса, хотя их штабы разделяли всего тридцать пять миль.

Наступательная доктрина уже была мертва в сердце Ланрезака. Он не представлял себе полной картины, такой ясной теперь, движения трёх германских армий к его фронту, но чувствовал их присутствие. 3-я армия Хаузена шла на него с востока, 2-я армия

Бюлова – с севера, и 1-я армия Клука наступала на английскую армию слева от него. Ланрезак не знал их названий или номеров, но чувствовал, что они близко. Он догадывался или сделал вывод из донесений разведки, что на него шла сила больше той, с которой он мог справиться. Оценка сил противника никогда не бывает абсолютно точной, задача заключается в том, чтобы сложить воедино обрывочные сведения разведки, если возможно, в некую картину, такую, которая соответствует заранее разработанным теориям или такую, которая удовлетворяет требованиям определённого стратегического замысла. Что получит штаб, основываясь на имеющейся в его распоряжении информации, зависит от степени владеющего им оптимизма или пессимизма, оттого, во что штабным офицерам хочется верить или во что они страшатся поверить, а иногда – от проницательности или интуиции отдельных людей.

Ланрезак и главному штабу одни и те же сообщения о силах немцев к западу от Мааса рисовали разные картины. Главный штаб видел слабый германский центр в Арденнах, а Ланрезак – громадный вал, непосредственно на пути которого находилась 5-я армия. Численность германских войск западнее Мааса главный штаб оценивал в 17 или 18 дивизий, которым противостояли 13 дивизий Ланрезака, отдельная группа из двух резервных дивизий, 5 английских дивизий и одна бельгийская у Намюра, всего – 21 дивизия, что, по мнению штаба, давало значительное численное преимущество. По плану Жоффра эти силы должны были удерживать немцев за Самброй, пока французские 3-я и 4-я армии не прорвут германский центр в Арденнах, а затем все вместе они должны были наступать на север и выбросить немцев из Бельгии.

Штаб англичан, руководство которым фактически прибрал к рукам Уилсон, согласился с оценкой французского генерального штаба. В своём дневнике 20 августа Уилсон записал те же цифры – 17 или 18 германских дивизий к западу от Мааса – и с радостью делал вывод: «Чем больше, тем лучше, так как это ослабит их центр». А в Англии, далеко от фронта, лорда Китченера мучили беспокойство и плохие предчувствия. 19 августа он телеграфировал сэру Джону Френчу, что движение немцев к северу и западу от Мааса, о котором он его предупреждал, «развивается вполне определённым образом». Он просил держать его в курсе всех событий и на следующий день

повторил свою просьбу. На самом же деле в этот момент силы немцев равнялись целым 30 дивизиям: 7 полевых и 5 резервных корпусов, 5 кавалерийских дивизий и другие части. Армия фон Хаузена, к этому времени ещё не пересёкшая Маас, но входившая в правое крыло, имела в своём составе ещё 4 корпуса, или 8 дивизий. Во время Пограничного сражения германское численное превосходство в общем было полтора к одному, теперь же силы правого крыла превосходили союзников вдвое.

Вся эта мощь нацеливалась на армию Ланрезака, и он понимал это. После той памятной встречи с командующим БЭК французский генерал считал, что англичане не готовы и положиться на них нельзя. Он знал, что бельгийская оборона под Намюром разваливалась. Один из новых корпусов, приданных ему после недавнего обмена частями, должен был удерживать его левый фланг западнее от Шарлеруа, но 21 августа войска ещё не вышли на позиции. Если бы Ланрезак начал наступление через Самбру, как ему предписывалось, то, по его мнению, немцы обошли бы его слева, и тогда перед ними открывался свободный путь на Париж. Итак, тот главный принцип, которому он учил в Сен-Сире и в Высшей военной школе, принцип французской армии «атаковать врага, где бы его ни встретили», был мёртв.

Ланрезак колебался. Он писал Жоффру, что, если он предпримет наступление к северу от Самбры, «5-й армии придётся вести сражение в одиночку», так как англичане ещё не будут готовы действовать совместно. Если же они должны наступать одновременно, то 5-й армии придётся ждать до 23 августа, а то и до 24-го. Жоффр ответил: «Право определять сроки наступления я оставляю за Вами». Противник, однако, не был столь сговорчив.

Подразделения армии Бюлова, главные силы которой уже атаковали Намюр, 21 августа форсировали Самбру в двух местах между Намюром и Шарлеруа. Ланрезак отдал приказ: пока наступление откладывается из-за «ожидания соседних армий», войска должны препятствовать всем попыткам немцев форсировать реку. Из-за того, что французы не умели строить оборону, чему их даже не учили, X корпус, удерживавший этот сектор, не окопался, не поставил проволочных заграждений и вообще никак не организовал оборону южного берега, а намеревался просто броситься в контратаку. «Под звуки труб, с боем барабанов, с развёрнутыми знамёнами, но без

всякой артиллерийской подготовки», французы устремились теперь на врага. После ожесточённого боя французские части были отброшены, и к ночи противник занял городок Тамин и ещё одну деревню на южном берегу реки.

Сквозь трескотню винтовочных выстрелов и разрывы снарядов слышался более глубокий звук, как будто где-то далеко принялись бить в гигантский барабан: германские осадные орудия начали бомбардировку фортов Намюра. Доставленные из-под Льежа 420-миллиметровые и 305-миллиметровые орудия установили на цементных площадках, и они начали засыпать двухтонными снарядами вторую бельгийскую крепость. Снаряды летели «с протяжным воющим звуком», – писала английская очевидица, возглавлявшая английский добровольческий санитарный корпус в Намюре. Казалось, что они падали точно туда, где находился тот, кто слышал его полёт, и где бы они ни взрывались, свидетелю казалось, что взрыв раздавался в метре от него. Город изменился до неузнаваемости за два дня ужасных разрушений, страдая от смерти, сыпавшейся с неба. Повторилось то же самое, что происходило в Льеже: удушливо-горькие облака дыма от разрывов снарядов, осыпавшийся как штукатурка бетон, сходящие с ума люди в подземных казематах фортов. Отрезанные от остальной бельгийской армии, войска гарнизона и 4-я дивизия чувствовали себя покинутыми. Дюрюи, тот самый офицер связи Ланрезака в Намюре, вернулся в штаб 5-й армии в убеждении, что, если защитники крепости не получают французскую помощь, форты не продержатся и дня. «Они должны увидеть французские войска, идущие с развёрнутым знаменем и с оркестром. Обязательно должен быть оркестр», – настаивал он. Три французских батальона – целый полк, 3000 человек, – были посланы в Намюр той же ночью и присоединились к осаждённым на следующее утро. Теперь их было 37 000, а с германской стороны в осаде с 21 по 24 августа участвовало от 107 000 до 153 000 человек при 400–500 артиллерийских орудиях.

Вечером 21 августа Френч сообщал Китченеру, что, по его мнению, до 24 августа не произойдёт ничего серьёзного. «Я полагаю, что хорошо знаю ситуацию, и считаю её для нас благоприятной», – писал он. Однако он знал её не так хорошо, как ему казалось. На следующий день, когда английские войска двигались маршем по дороге на Монс «в общем направлении на Суаньи», кавалерийская

разведка сообщила о германском корпусе, также направлявшемся по дороге Монс – Брюссель на Суаньи. Похоже, противник решил не дожидаться назначенного Френчем срока – 24 августа. Ещё более тревожные сведения были доставлены английским лётчиком, который обнаружил на дороге много западнее другой германский корпус, явно обходящий англичан слева. Над англичанами нависла ясная угроза охвата, видная пока лишь только их разведке. «Обход», о котором столько твердил Китченер, перестал быть теорией, превратившись в двигавшиеся колонны живых людей. Офицеры штаба, находившиеся под влиянием Генри Уилсона, не придали этим донесениям значения. Принявшие при его посредстве французскую стратегию, они не более французского главного штаба склонны были беспокоиться из-за германского правого крыла. «Сведения, которые вы получили и передали для главнокомандующего, по-видимому, являются несколько преувеличенными», – заявили они разведчикам и оставили приказы, отданные маршевым колоннам, без изменений.

Англичане чувствовали, что идут по местам былых триумфов. В десяти милях южнее Монса они прошли через Мальплаке на границе между Францией и Бельгией и видели стоящий у дороги монумент в честь победы герцога Мальборо над армиями Людовика XIV, нашедшей бессмертие во французской народной песне. Впереди, между Монсом и Брюсселем, лежало Ватерлоо. Возвращение на это победное поле почти в день сотой годовщины знаменитой битвы вселяло в англичан уверенность.

В то время как головы их колонн приближались 22 августа к Монсу, кавалерийский патруль в составе полуэскадрона, разведывавший дорогу к северу от канала, заметил четырёх всадников. Их форма была незнакомой. В следующий момент, увидев англичан, все четверо остановились. Наступила минутная пауза, и те и другие вдруг поняли, что перед ними враги. Германские уланы повернули своих лошадей и галопом бросились обратно к своему эскадрону, англичане начали преследование и настигли их на улицах Суаньи. Вспыхнула недолгая схватка, в которой уланам «мешали их длинные пики, и они вынуждены были побросать их»; англичане убили троих или четверых и вернулись победителями. Командир эскадрона капитан Хорнби был награждён орденом «За боевые заслуги» как первый английский офицер, убивший немца кавалерийской саблей нового

образца. Война началась по всем правилам и обещала самые ободряющие результаты.

После первого столкновения с врагом на дороге в Суаньи штаб, как и ожидалось, не увидел причин изменять оценку сил противника или его положения. Вероятные силы немцев, противостоящие англичанам, Уилсон оценил в два корпуса и одну кавалерийскую дивизию, которые были слабее или, по крайней мере, равны двум корпусам и кавалерийской дивизии британского экспедиционного корпуса. Настойчивость Уилсона, его хорошее настроение, признанное знание местности и французов оказались более убедительными, чем доклады офицеров разведки – особенно если учитывать традицию оперативного отдела принижать оценки своих коллег, ибо разведка всегда предполагает худшее. Смерть сэра Джеймса Грайерсона, который среди англичан был самым лучшим знатоком германской военной теории и практики, оставила Уилсона, повторявшего идейные построения французского генерального штаба, без оппонента, что и придало его теориям гораздо больше убедительности. Сражение следующего дня ожидалось с уверенностью, разделяемой офицерами штаба и командирами корпусов, хотя и не самим сэром Джоном Френчем.

Его настроение по-прежнему было мрачным, а колебания – почти такими же, как у Ланрезака. 21 августа в штаб приехал генерал Смит-Дорриен, только что прибывший во Францию на замену Грайерсону. Ему было приказано «дать бой на линии канала Конде». Когда же он спросил, означает это наступление или оборону, то услышал: «Исполняйте приказы». Единственное, что волновало Френча, – это незнание планов Ланрезака, касающихся сражения на его правом фланге; ещё он опасался разрыва, открывавшегося между ними. 22 августа Френч на автомобиле отправился к своему неприятному соседу, решив посоветоваться с ним, но по пути узнал, что Ланрезак выехал вперёд, в штаб X корпуса в Метте, где в это время тот вёл активный бой. Английский главнокомандующий вернулся обратно, так и не встретившись с французом. Прибыв обратно в штаб, он узнал приятную новость: 4-я дивизия, оставленная поначалу в Англии, прибыла во Францию и уже находилась на марше, чтобы присоединиться к основным силам. Сгущающаяся тень германского



наступления через Бельгию и отход бельгийской армии к Антверпену заставили Китченера послать эту дивизию во Францию.

Кавалерийская стычка на дороге в Суаньи оказалась для генерала фон Клука куда большим сюрпризом, чем для англичан. До этого момента – настолько эффективными были французские и английские меры предосторожности – он не знал, что перед ним находятся англичане. О состоявшейся высадке он прочёл в бельгийской газете, опубликовавшей официальное коммюнике Китченера, извещавшее о благополучном прибытии британских экспедиционных сил «на землю Франции». Это объявление, сделанное 20 августа, было единственным, из которого сама Англия, весь мир и противник узнали о высадке войск. Крук всё ещё думал, что экспедиционные части высадились в Остенде, Дюнкерке и Кале, – главным образом потому, что ему хотелось так думать, поскольку его намерением было «атаковать и рассеять» англичан вместе с бельгийцами раньше, чем он встретит французов.

Теперь же фон Клуку приходилось беспокоиться о возможном выступлении бельгийцев из Антверпена у него в тылу и вероятном ударе по его флангу англичан, таинственным образом развёртывающихся, как он полагал, где-то справа от него в Бельгии. Он всё время пытался продвинуть свою армию на запад, чтобы найти англичан, однако фон Бюлов, опасаясь разрыва между армиями, постоянно его осаживал, чтобы удержать ровный фронт. Крук протестовал. Бюлов настаивал. «Иначе, – говорил он, – 1-я армия уйдёт слишком далеко вперёд и не сможет поддержать 2-ю армию». Обнаружив англичан прямо перед собой, Крук снова попытался двинуться на запад, чтобы нащупать фланг противника. Когда Бюлов вновь помешал ему, Крук обратился с яростным протестом в генеральный штаб. Представление генерального штаба о местонахождении британских войск было ещё более туманным, чем мнение союзников о положении германского правого крыла. «Мы полагаем, что никакой серьёзной высадки не имело места», – ответил штаб и отклонил предложение Клука. Лишённый возможности обойти противника и обречённый на фронтальную атаку, Крук в гневе устремился к Монсу. 23 августа он приказал форсировать канал, занять территорию к югу от него и оттеснить противника к Мобёжу, перерезав ему пути отступления с запада.

В тот день, 22 августа, Бюлову столько же хлопот, что и Клук справа, доставлял находившийся слева Хаузен. Если Клук рвался вперёд, то Хаузен имел обыкновение отставать. Имея на другом берегу Самбры передовые части своей армии, действовавшие против X корпуса Ланрезака, Бюлов предполагал осуществить совместное большое наступление силами своей армии и армии Хаузена и уничтожить противника. Но к 22 августа Хаузен ещё не был готов. Бюлов возмущённо жаловался на «недостаточное взаимодействие» со стороны своего соседа. Хаузен же с не меньшим возмущением жаловался на постоянные требования Бюлова о помощи. Решив больше не ждать, Бюлов бросил три корпуса в отчаянную атаку вдоль линии Самбры.

В течение этого и последующего дней армии Бюлова и Ланрезака сцепились в схватке, известной под названием «битвы у Шарлеруа». В конце первого дня в действие вступила армия Хаузена. Это были те самые два дня, когда французские 3-я и 4-я армии старались противостоять катастрофе, ведя бой в лесах и туманах Арденн. Ланрезак находился в Метте, решив оттуда руководить боем, но всё его руководство свелось главным образом к беспокойному ожиданию донесений о происходящем от командиров дивизий и корпусов. Те, в свою очередь, едва могли что-то узнать о своих частях, либо попавших под сильный огонь, либо ведущих уличный бой в какой-нибудь деревне, либо выходящих из боя измотанными, с тяжёлыми потерями. Нередко в подразделениях не оставалось офицеров, которые могли бы прислать боевое донесение. Живое свидетельство происходящего достигло Метте раньше письменного сообщения. На площадь, которую беспокойно мерил шагами Ланрезак, не усиливший со своим штабом в доме, въехал автомобиль с раненым офицером. В нём узнали генерала Боэ, командира одной из дивизий X корпуса. Смертельно бледный, с глазами, видевшими трагедию, он с трудом прошептал подбежавшему к автомобилю Эли д'Уасселю: «Скажите ему... скажите генералу... мы держались... сколько могли».

Об «ужасных потерях» сообщал III корпус, находившийся перед Шарлеруа, левее X корпуса. В течение дня немцы просачивались в этот промышленный город, расположенный по обеим сторонам реки, и теперь французы отчаянно пытались выбить их. Когда немцы пошли в атаку в плотном строю – таков был их обычай, пока французы не

отучили их, — они стали превосходной мишенью для «семидесятипяток». Но для орудий, способных производить до 15 выстрелов в минуту, не было достаточного количества снарядов, и поэтому темп стрельбы не превышал 2,25 выстрела в минуту. В Шарлеруа стрелки-«тюрокосы» из двух алжирских дивизий, добровольно записавшиеся на службу, сражались с не меньшей отвагой, что и их отцы при Седане. Один их батальон атаковал германскую батарею, заколол штыками расчёты и возвратился, имея всего лишь двух человек не ранеными из 1030. На разных участках фронта, в зависимости от обстоятельств, французы были либо деморализованы, либо взбешены огнём вражеской артиллерии, до которой не могли добраться или которой даже не видели. Они с беспомощной яростью наблюдали за немецкими аэропланами, выполнявшими роль артиллерийских корректировщиков, после полёта которых над французскими позициями обязательно следовал новый дождь снарядов.

К вечеру Ланрезаку пришлось доложить: X корпус «вынужден отойти», понеся «тяжёлые потери»; III корпус «ведёт тяжёлый бой»; «большие потери» в офицерах; XVIII корпус на левом фланге цел, но кавалерийский корпус генерала Сорде, находящийся на самом краю левого фланга, «сильно измотан» и также отошёл, оставляя разрыв между 5-й армией и англичанами. Оказалось, что разрыв имел 10 миль в ширину — вполне достаточно для прохода вражеского корпуса. Положение Ланрезака было настолько острым, что оно заставило его обратиться к Френчу с письменной просьбой, чтобы тот атаковал правый фланг фон Бюлова и тем самым ослабил давление противника на французов. Сэр Джон ответил, что не в состоянии выполнить этой просьбы, но обещал удерживать канал Монс в течение двадцати четырёх часов.

За ночь положение Ланрезака ухудшилось ещё больше: Хаузен привёл на Маас четыре свежих корпуса и 340 пушек. Ночью он атаковал и захватил плацдарм за рекой, который контратаковал I корпус Франше д'Эспере, чьей задачей было удерживать Маас вдоль правого фланга Ланрезака. Это был единственный в 5-й армии корпус, укрепивший свои позиции траншеями.

Намерение Хаузена в соответствии с приказом генерального штаба заключалось в наступлении на юго-запад, к Живе, где он

надеялся выйти в тыл армии Ланрезака, зажать её между своими войсками и армией Бюлова и уничтожить. Однако Бюлов, части которого в этом секторе понесли столь же большие потери, что и французы, собирался провести массированное и окончательное наступление. Он приказал Хаузену атаковать прямо на запад в направлении Метте, где находились главные силы 5-й армии, вместо того, чтобы ударить в юго-западном направлении, по которому эта армия отступала. Хаузен подчинился, но это было ошибкой. Весь день 23 августа он потратил на фронтальную атаку прочно удерживаемых позиций корпуса Франше д'Эспере, оставив для Ланрезака свободным путь для отступления – и потому была упущена возможность осуществить уничтожение 5-й армии.

Весь жаркий день 23 августа летнее небо было запятнано грязно-чёрными клубами разрывов снарядов. Французы немедленно окрестили их «мармитами» – так называется чугунный суповой горшок, являющийся неотъемлемой частью любой французской кухни. «Il plut des marmites. Мармиты падали дождём», – вот всё, что оставалось в памяти за целый день у усталого французского солдата. Кое-где французы ещё атаковали, пытаясь отбросить немцев за Самбру, в других местах – удерживали позиции, в третьих – в беспорядке отступали. Дороги были забиты длинными колоннами бельгийских беженцев, покрытых пылью, нагруженных детьми и узлами. Они толкали тележки, тупо, устало и бесконечно двигаясь без всякой цели, лишившись дома и не имея пристанища, и хотели только одного – уйти подальше от жуткого пушечного рёва на севере.

Колонны беженцев проходили через Филипвиль, в двадцати милях от Шарлеруа, где в тот день находился штаб Ланрезака. Стоя на площади, широко расставив ноги в красных штанах, сжав за спиной руки, мрачный Ланрезак молча следил за ними. На фоне чёрного мундира его смуглое лицо казалось почти бледным, когда-то полные щёки втянулись. «Крайнее беспокойство терзало» его. Враг давил со всех сторон. От главного штаба не поступало никаких указаний, помимо запроса о сложившейся ситуации. Ланрезак просто физически ощущал разрыв, возникший в результате отступления кавалерии Сорде. А в полдень пришло известие, предвиденное, но всё же невероятное: 4-я бельгийская дивизия эвакуирует Намюр. Город, господствовавший над слиянием Самбры и Мааса, форты на холмах за

ним – всё это скоро окажется в руках Бюлова. От генерала де Лангля де Кари, командующего 4-й армией, которому Ланрезак этим утром направил послание с просьбой усилить сектор, где смыкались их армии, ответа до сих пор не было.

Штаб Ланрезака уговаривал своего командира разрешить контратаку корпусу Франше д'Эспере – тот обнаружил блестящую возможность: преследуя отступавший X корпус, немцы подставили ему свой фланг. Другие настаивали на контратаке на оконечности левого фланга силами XVIII корпуса, с целью облегчить положение англичан, выдерживавших весь тот день у Монса натиск всей армии фон Клука. К неудовольствию сторонников наступления, Ланрезак отверг их предложения. Он продолжал молчать, не отдавал никаких распоряжений, ждал. В споре, который впоследствии его критики и сторонники вели несколько лет по поводу битвы у Шарлеруа, каждый выдвигал свои догадки о том, что же творилось в тот день в душе генерала Ланрезака. Одним он казался как бы замороженным, парализованным, другим – человеком, трезво взвешивающим шансы в неясной и опасной ситуации. Оставшись без руководства главного штаба, он должен был принимать собственное решение.

Ближе к вечеру произошёл решающий инцидент дня. Войска армии Хаузена расширили плацдарм на Маасе у Оне к югу от Динана. Франше д'Эспере немедленно направил туда бригаду под командой генерала Манжэна для ликвидации опасности, угрожавшей 5-й армии с тыла. В то же самое время наконец-то пришло известие от генерала де Лангля. Хуже быть не могло: 4-я армия не только не имела успеха в Арденнах, как гласило полученное ранее сообщение из главного штаба, но ей пришлось отступить, оставив неприкрытым участок Мааса между Седаном и правым флангом Ланрезака. Присутствие саксонцев Хаузена в Оне теперь уже выглядело серьезнее. «Я был склонен считать», полагал Ланрезак, что эти силы были авангардом армии, которому отступление де Лангля даст свободу действий, поэтому врага, пока он не успел усилиться, необходимо было немедленно отбросить обратно. Он ещё не знал, что позднее бригада генерала Манжэна в блестящей рукопашной с штыками выбьет саксонцев из Оне.

В довершение ко всему поступило известие, что III корпус, находившийся перед Шарлеруа, был атакован, сбит с позиций и теперь

откатывался назад. Прибывший подполковник Дюрюи сообщил, что немцы захватили северные форты Намюра и вошли в город. Ланрезак вернулся в штаб корпуса в Шиме и «получил подтверждение, что 4-я армия, отступавшая с самого утра, оставляет правый фланг 5-й армии совершенно неприкрытым».

Опасность, возникшая на правом фланге, казалась Ланрезаку «особенно острой». Его преследовала ужасные мысли о другой катастрофе случившейся именно там, откуда сейчас отходила армия де Лангля, где «сорок четыре года назад немцы окружили и вынудили капитулировать нашу армию... Та страшная катастрофа, которая сделала наше поражение непоправимым... Что за воспоминание!»

Чтобы спасти Францию от второго Седана, необходимо было спасти от уничтожения 5-ю армию. Теперь Ланрезаку было ясно, что французские армии отступали по всему фронту от Вогез до Самбры. Пока армии существовали, поражение не было неизбежным, как при Седане; борьбу ещё можно было продолжать. Но если 5-я армия будет уничтожена, весь фронт развалится и последует полное поражение. Контрнаступление, каким бы решительным и стремительным оно ни было, не в состоянии спасти положение в целом.

Наконец Ланрезак заговорил. Он отдал приказ общего отступления. Он знал, что его сочтут паникёром, которого следует отстранить от командования, что, кстати, и случилось потом. Он вспоминал, что сказал одному из своих офицеров: «Нас побили, но зло ещё можно исправить. Пока живёт 5-я армия, Франция не потеряна». Эта фраза напоминает строку из мемуаров, написанных уже после событий, но, возможно, он и произнёс её. Трагические моменты вызывают выпирание слова, особенно на французском языке.

Ланрезак принял решение, не посоветовавшись с главнокомандующим, и понимал, что тот не одобрит его. «Противник угрожает моему правому флангу на Маасе, – доносил он. – Оне занят, Живе – под угрозой, Намюр сдан». В силу сложившегося положения и «задержки 4-й армии» он отдал 5-й армии приказ отступить. С этим донесением умерли последние надежды Франции победить давнего врага в короткой войне. Последнее французское наступление провалилось. Жоффри действительно был недоволен, но не в ту ночь. В горькие часы туманной воскресной ночи 23 августа, когда рушился весь французский план, когда никто не знал, что же происходит в

различных секторах, когда призрак Седана маячил не только перед Ланрезаком, но и перед другими, главный штаб ничего не отменил и не задавал вопросов об отступлении 5-й армии. Своим молчанием Жоффр санкционировал это решение, чего он не забыл и не простил.

Впоследствии в официальном сообщении о сражении при Шарлеруа заявлялось, что генерал Ланрезак «полагая, что противник угрожает ему справа, приказал отступить вместо того, чтобы контратаковать». Когда главному штабу потребовался козёл отпущения, чтобы оправдаться в провале «Плана-17», всю вину возложили на командующего 5-й армии. Но в тот час, когда Ланрезак принимал своё решение, никто в главном штабе не говорил, будто тому только «казалось», что противник угрожал его правому флангу, как об этом утверждали после войны.

С самого раннего утра англичане, находившиеся на левом крае, завязали дуэль с армией фон Клука через шестидесятифутовый канал Монс. Августовское солнце, проглянувшее через туман и дождь, обещало жаркий день. Как и каждое воскресенье, звонили церковные колокола, и жители деревень шли к утренней мессе в своих воскресных одеждах. Канал, окружённый железнодорожными ветками и промышленными дворами, был грязным от копоти, распространяя запах сбрасываемых фабриками и заводами химических отходов. Среди небольших огородов, лужков и садов повсюду торчали похожие на остроконечные шапки ведём серые пики терриконов, придавая пейзажу фантастический, необычный вид. Война казалась здесь неуместной.

Англичане заняли позиции по обеим сторонам Монса. II корпус под командованием генерала Смит-Дорриена растянулся на фронте в пятнадцать миль вдоль канала между Монсом и Конде и на выступе восточнее Монса, где канал, отходя на север, образует петлю шириной примерно в две мили и в полторы мили глубиной. I корпус генерала Хейга, находящийся справа от II корпуса, держал фронт по диагонали между Монсом и левым крылом армии Ланрезака. Кавалерийская дивизия под командованием генерала Алленби, которому в будущем суждено было взять Иерусалим, находилась в резерве. Напротив Хейга проходила разграничивающая линия между армиями Клука и Бюлова. Крук всё время держался как можно западнее, и потому корпус Хейга

не подвергся удару 23 августа в сражении, которое потом вошло в историю и в легенды под названием «битвы на Монсе».

Штаб сэра Джона Френча располагался в Ле-Като, в 30 милях южнее Монса. Свои пять дивизий Френч разместил на участке шириной в 25 миль, тогда как 13 дивизий Ланрезака занимали по фронту 50 миль. Вряд ли от него требовалась подобная плотность на столь глубокой позиции. Возможно, нерешительность и состояние духа продиктовали сэру Джону Френчу подобное решение. Встревоженный донесениями своей воздушной и кавалерийской разведки, неуверенный в соседе, недовольный изломанной линией фронта своих войск, которая давала противнику разнообразные возможности, Френч так же не хотел начинать наступление, как и Ланрезак.

В ночь перед сражением он собрал в Ле-Като старших штабных офицеров обоих корпусов и кавалерийской дивизии и сообщил им, что «из-за отступления французской 5-й армии» английское наступление не состоится. За исключением X корпуса, не соприкасавшегося с англичанами, 5-я армия ещё не отступала, но Френчу нужно было свалить на кого-нибудь вину. Те же самые «товарищеские» чувства заставили генерала Ланрезака днём раньше выставить виновниками так и не начатого им наступления англичан, которые не появились на своей позиции. Поскольку тогда Ланрезак приказал своему корпусу удерживать позиции вдоль Самбры вместо наступления через реку, сэр Джон Френч отдал приказ удерживать канал. Несмотря на Генри Уилсона, всё ещё рассчитывавшего на великое наступление на север, которое вышвырнет немцев из Бельгии, командирам сообщили о возможности совершенно другого манёвра. Поэтому-то генерал Смит-Дорриен приказал в 2:30 утра приготовить мосты через канал к взрыву. Это было разумной предосторожностью, не учитывавшейся французами и явившейся причиной ужасных французских потерь в августе 1914 года. За пять минут до начала боя Смит-Дорриен отдал ещё один приказ, предписывавший дивизионным командирам уничтожить мосты по своему усмотрению «в том случае, если отступление будет необходимо».

В шесть часов утра, когда сэр Джон Френч отдал свои – или своего штаба – последние указания командирам корпусов, оценка сил противника, с которым им предстояло столкнуться, оставалась всё той



же: один или, самое большое, два корпуса и кавалерия. На самом же деле в этот момент у фон Клука было четыре корпуса и три кавалерийские дивизии, то есть 160 000 человек при 600 орудиях стояли против английских экспедиционных сил, насчитывавших 70 000 человек и 300 орудий. Из двух резервных корпусов Клука один находился на подходе, на расстоянии одного дня пути, а второй закрывал Антверпен.

В 9 часов утра первые германские пушки открыли огонь по позициям англичан. Первая атака была направлена против выступа, образуемого изгибом канала. Главной целью атаки был мост у Ними в самой северной точке выступа. Наступая в плотных боевых порядках, немцы представляли собой «наиболее удобную мишень» для английских стрелков, хорошо окопавшихся и отлично обученных. Англичане открыли такой частый и меткий огонь, что немцы приняли его за пулемёты. После того как несколько волн атакующих были отбиты, немцы подтянули подкрепления и опять предприняли новую атаку, но уже в разомкнутом строю. Получившие приказ «упорно сопротивляться» англичане продолжали вести огонь, несмотря на растущие потери. С 10:30 бой перекинулся на прямой участок канала, расположенный к западу, где немцы начали одну за другой вводить в сражение батареи сначала III, а затем и IV корпусов.

К 3 часам дня, после непрерывного шестичасового артиллерийского обстрела и атак пехоты, неся значительные потери, английские полки на выступе не могли больше противостоять нажиму противника. Взорвав мост в Ними, они отступили, рота за ротой, на подготовленную вторую линию обороны в двух-трёх милях от первой. Сдача выступа поставила в затруднительное положение войска, удерживавшие прямой участок канала, и, получив приказ об отступлении, они тоже начали отходить примерно в 5 часов вечера. В Жемаппе, где изгиб переходит в прямую часть канала, и у Мариетта, в двух милях к западу, положение неожиданно осложнилось: было обнаружено, что мосты взорвать нельзя из-за отсутствия запалов. Бросок немцев через канал в самый разгар отхода мог превратить планомерное отступление в бегство и даже иметь результатом прорыв. Никакой Гораций не сумел бы защитить мост, но капитан корпуса королевских инженеров Райт бросился под мост у Мариетта и, цепляясь руками за фермы, попытался соединить запалы. В Жемаппе

подобную попытку предприняли капрал и рядовой, работая под непрерывным огнём в течение полутора часов. Они сумели взорвать мост и были награждены крестом Виктории и медалью «За безупречную службу», однако капитану Райту, предпринявшему, несмотря на ранение, и вторую попытку, этого сделать не удалось. Он тоже получил крест Виктории, а три недели спустя был убит на Эне.

В течение всего вечера части выходили из боя под спорадическим обстрелом. Один полк прикрывал отход другого до тех пор, пока все не достигли второй линии обороны. Немцы, понёсшие в течение дня не меньшие потери, не предпринимали серьёзных попыток форсировать канал по уцелевшим мостам и не выказывали стремления преследовать отступавших. Наоборот, в сумерках отходившие англичане слышали сигналы немецких труб «Прекратить огонь!», потом донеслось традиционное вечернее пение, и над каналом воцарилась тишина.

К счастью для англичан, Клук не воспользовался своим более чем двойным превосходством в численности. Из-за приказов Бюлова, задерживавших его, Клуку не удалось обнаружить фланг противника и обойти его, поэтому он атаковал англичан в лоб своими двумя корпусами центра, III и IV, и, как следствие фронтальной атаки, понёс тяжёлые потери. Один германский капитан из III корпуса обнаружил, что остался единственным в роте офицером и единственным командиром роты во всём батальоне. «Вы – моя единственная опора, – причитал майор. – Батальон разбит, мой гордый, замечательный батальон...», полк «буквально расстрелян, сметён... уцелела только горстка». Командир полка, который, как и почти все на войне, о ходе боя мог судить только по тому, что происходило с его частью, провёл беспокойную ночь. «Если бы англичане имели хоть малейшее представление о нашем состоянии и надумали контратаковать, они бы просто задавили нас», – сказал он наутро.

Ни один из фланговых корпусов фон Клука – ни II на правом фланге, ни IX на левом – не участвовал в бою. Как и вся 1-я армия, они прошли 150 миль за 11 дней и растянулись по дорогам на несколько часов марша к тылу от обоих центральных корпусов. Если бы все корпуса атаковали 23 августа одновременно, история могла бы пойти совсем по-иному. Днём, поняв свою ошибку, фон Клук приказал двум корпусам в центре удерживать англичан до тех пор, пока не подтянутся

отставшие, чтобы осуществить обход и завершить сражение общим уничтожением противника. Но до того как это случилось, англичанам пришлось решительно изменить планы.

Генри Уилсон всё ещё мысленно наступал со средневековым блеском по «Плану-17», не зная, что в изменившейся ситуации толку от этого плана не больше, чем от английского длинного лука. Подобно Жоффру, который продолжал настаивать на наступлении даже спустя шесть часов после получения доклада де Лангля о катастрофе в Арденнах, Уилсон уже после оставления позиций у канала горел нетерпением начать наступление на следующий же день. Он сделал «тщательные подсчёты» и пришёл к выводу, что «перед нами только один корпус и одна кавалерийская дивизия, в крайнем случае, два корпуса». Он «убедил» Френча и Мюррея, что это так, «в результате чего мне разрешили составить приказ на наступление на следующий день». В 8 часов вечера, когда он только что закончил эту работу, её свела на нет поступившая от Жоффра телеграмма, в которой французский главнокомандующий сообщал, что на основании собранных данных силы противника, находящегося перед англичанами, составляют три корпуса и две кавалерийские дивизии. Телеграмма оказалась гораздо убедительнее доводов Уилсона и сразу же положила конец всяким мыслям о наступлении. Но это ещё было не всё.

В 11 часов вечера прибыл лейтенант Спирс, срочно примчавшийся из штаба 5-й армии и сообщивший горькую весть – генерал Ланрезак выходит из боя и отводит свою армию на позиции, находящиеся в тылу англичан. Реакция Спирса на решение, принятое без консультации с англичанами и не доведённое до их сведения, была подобна поведению полковника Адельберта, когда тот узнал о намерении короля Альберта отойти к Антверпену. Эти чувства оставались ещё ярки даже семнадцать лет спустя, когда Спирс писал воспоминания о событиях августа 1914 года.

Отступление Ланрезака ставило в крайне опасное положение английский экспедиционный корпус, который словно бы повисал в воздухе. На срочно созванном совещании было решено отвести войска немедленно, как только приказы на отступление будут составлены и доставлены войскам. Задержка с доставкой приказа Смит-Дорриену, выбравшему странное место для своего штаба, стоила потом многих

жизней. Штаб корпуса обосновался в скромном частном загородном доме, носившем весьма напыщенное название Шато-де-ля-Рош и расположенном возле деревушки Сарля-Брюйер, где не было ни телеграфа, ни телефона; к нему вела местная просёлочная дорога, отыскать которую и днём-то было трудно, не говоря уже о середине ночи. Даже Мальборо и Веллингтон не пренебрегали более удобными, хотя и не очень аристократическими помещениями для размещения штаба, лишь бы рядом была большая дорога; первый устроил штаб в аббатстве, а второй – в таверне. Приказ Смит-Дорриену был отправлен на автомобиле и попал к нему в руки только в 3 часа утра, а корпус Хейга, не участвовавший в бою, свой приказ получил по телеграфу часом раньше и уже до рассвета был готов к отступлению.

К этому времени подтянулись два германских фланговых корпуса, атака немцев была возобновлена, и отступление II корпуса, весь день накануне находившегося под огнём, вновь пришлось проводить в тех же условиях. В суматохе один из батальонов так и не получил приказа на отход и сражался до тех пор, пока не был окружён, а почти все солдаты не оказались убиты, ранены или взяты в плен. Уйти удалось только двум офицерам с двумястами солдат.

Так закончился первый день боя для англичан, не сражавшихся с европейским противником с Крымской войны и не ступавших на европейскую землю со времён битвы при Ватерлоо. Разочарование было горьким: для I корпуса потому, что он спешил в пыли и жаре на позиции, а теперь вынужден был повернуть и идти обратно, не сделав почти ни одного выстрела, а для II – гордого своей стойкостью перед прославленным противником и ничего не знавшего ни о его превосходящих силах, ни об отходе 5-й армии, – потому, что для них был непонятен полученный приказ на отступление.

И для Уилсона произошедшее стало «жестоким» разочарованием. Он во всём обвинял Китченера и кабинет, пославших четыре дивизии вместо шести. Будь на континент посланы все шесть дивизий, заявил он с той чудесной неспособностью признавать ошибки, которая в конце концов сделала его фельдмаршалом, то «это отступление было бы наступлением, а поражение – победой».

Самоуверенность и легкомыслие Уилсона начали увядать, а сэр Джон Френч, в лучшем случае непостоянный, вовсе впал в уныние. Он пробыл во Франции всего лишь немногим более недели, но на нём уже

сильно сказались напряжение, беспокойство и ответственность, к которым добавилось несправедливое отношение Ланрезака, а крушение планов в первый же день сражения совершенно расстроили его и разочаровали. На следующий день командующий экспедиционным корпусом закончил свой доклад Китченеру предложением: «Полагаю, следует обратить серьёзное внимание защите Гавра». Гавр находился в устье Сены, почти в 100 милях к югу от первоначального места высадки в Булони.

Так закончилось сражение за Монс. С точки зрения участия Англии в том, что впоследствии превратилось в Великую войну, этой битве ретроспективно были приданы все качества исключительности и в британском пантеоне она удостоилась места, равного сражениям при Гастингсе и Азенкуре. Создавались легенды, подобно легенде об Ангелах Монса. Все живые были храбрецами, а все мёртвые – героями. Расписывался боевой путь и составлялись хроники каждого полка, вплоть до последнего часа и последней пули, пока битва за Монс не засверкала таинственным блеском сквозь дымку такой доблести и славы, что уже казалась победой. Несомненно, под Монсом англичане сражались храбро, лучше, чем некоторые французские части, но не лучше и многих других, не лучше бельгийцев у Халена, или «тюркосов» у Шарлеруа, или бригады генерала Манжэна у Оне, или даже целого ряда вражеских частей. Сражение, до того как началось отступление, продолжалось девять часов, в нём участвовало две дивизии, или 35 000 английских солдат, было потеряно 1600 человек, а продвижение армии фон Клука было задержано на один день. Во время Пограничного сражения, частью которого являлась битва за Монс, в различных местах и в разное время в течение четырёх дней участвовали в боях 70 французских дивизий, или около 1 250 000 человек. Французские потери за эти четыре дня достигли 140 000 человек, то есть вдвое превосходили численность всех британских экспедиционных сил во Франции в то время.

После Шарлеруа и Монса Бельгия лежала покрытая белой пылью от разрушенных домов и изуродованная, изрыгая оспинами прошедших боёв. Грязная солома, которую солдаты использовали для постелей, валялась на улицах вместе с рваной бумагой и окровавленными бинтами. «И над всем этим – запах, – писал Уилл

Ирвайн, — о котором не упоминает ни одна книга о войне. Запах полумиллиона немывшихся людей... Он висел днями над каждым городом, через который прошли немцы». С ним смешивался запах крови и лекарств, лошадиного навоза и мёртвых тел. Предполагалось, что убитых будут хоронить по ночам свои же войска, но часто трупов было слишком много, а времени слишком мало, и ещё меньше времени оставалось для мёртвых лошадей, чьи трупы валялись раздутыми и зловонными. Бельгийские крестьяне, пытавшиеся расчистить свои поля от мёртвых, после того как прошли армии, были похожи на тех, с лопатами, что изображены на картинах Милле.

Среди трупов валялись и останки «Плана-17», и блестящие осколки разбитых вдребезги положений французского полевого устава: «...французская армия отныне не знает другого закона, кроме наступления... только наступление ведёт к положительным результатам».

Жоффр, стоявший посреди обломков всех французских надежд, под бременем ответственности за катастрофу, за поругание границ Франции, за отступающие или ещё сражающиеся армии, оставался сверхъестественно спокоен. Тотчас же возложив вину на исполнителей и отпустив грехи составителям планов, он сохранял полную и непоколебимую уверенность в себе и во Франции и, поступая так, выполнил важное и единственное требование, так необходимое в грядущих днях всеобщего бедствия.

Утром 24 августа, сказав, что «от фактов не уйдёшь», он сообщил Мессими: армия «обречена на оборонительные действия» и должна держаться, опираясь на свои укреплённые позиции, стремясь измотать противника и ждать удобного момента для возобновления наступления. Он немедленно взялся за устройство оборонительных рубежей и подготовку перегруппировки своей армии, чтобы сосредоточить ударный кулак, способный перейти в наступление с оборонительной линии, которую он намеревался создать на Сомме. Его ободряла телеграмма от Палеолога из Санкт-Петербурга, в которой посол высказывал надежду, что немцы в любой момент снимут войска с Западного фронта, дабы встретить угрозу со стороны России. Даже накануне собственной катастрофы он с нетерпением ждал начала движения русского «парового катка». Но вместо этого пришла загадочно-немногословная телеграмма, сообщавшая, что в Восточной

Пруссии улаживаются «серьёзные стратегические проблемы», и обещавшая «дальнейшие наступательные операции».

Вслед за переформированием самой неотложной задачей Жоффра было найти причину катастрофы. Без всяких колебаний он обнаружил её «в серьёзных недостатках у отдельных командиров». Некоторые действительно не выдержали огромной ответственности. Артиллерийскому генералу, начальнику артиллерии, пришлось взять на себя командование III корпусом под Шарлеруа, когда во время самой критической фазы боя нигде не могли отыскать командира корпуса. В сражении в Арденнах дивизионный командир из V корпуса совершил самоубийство. Люди, как и планы, не выдерживали тех составных частей боя, которые отсутствовали на манёврах, — опасности, смерти и настоящих пуль и снарядов. Но Жоффр, не признававший существования в планах недостатков, не прощал слабостей у людей. Потребовав имена всех генералов, которые показались слабыми или некомпетентными, он безжалостной рукой вносил их в увеличивающийся список «лиможей».

Не признавая, как и Генри Уилсон, ошибок в теории или стратегии, Жоффр приписывал провал наступления, «несмотря на численное превосходство, которого, как я полагал, я добился для армий», «недостатку наступательного духа». Ему бы следовало сказать «избытку», а не «недостатку». У Моранжа в Лотарингии, Россиньоля в Арденнах, Тамина на Самбре — везде было не слишком мало, а слишком много наступательного рвения, которое и явилось причиной неудачи. В «Замечаниях для всех армий», опубликованных на следующий день после поражения, главный штаб заменил слова «недостаток наступательного духа» на «неправильное понимание» наступательного духа. В них говорилось, что полевой устав был «неправильно понят или плохо выполнялся». Пехота начинала атаки со слишком большой дистанции и без артиллерийской поддержки, неся, таким образом, большие потери от пулемётного огня, которых можно было избежать. Отныне при занятии местности «её следовало немедленно подготовить. Должны быть выкопаны окопы». «Главная ошибка» состояла в отсутствии координации между артиллерией и пехотой, и это упущение «крайне необходимо» исправить. 75-миллиметровые пушки должны вести огонь с максимальной дистанции. «Наконец, нам следует перенять у противника применение

аэропланов для подготовки артиллерийского наступления». Несмотря на множество ошибок, допущенных французскими военными, в их число не входило нежелание извлекать пользу из печального опыта — по крайней мере, в области тактики.

С признанием собственных стратегических просчётов главный штаб отнюдь не спешил. Даже 24 августа, когда Второе бюро сделало поразительное открытие, обнаружив, что немецкие резервные корпуса, следовавшие за полевыми, имели те же самые номера. Таким образом, это служило первым доказательством использования частей резерва на передовой линии, и объясняло, почему немцам удавалось быть одинаково сильными одновременно и на правом фланге, и в центре. Однако эта новость не вызвала у Жоффра подозрений в том, что «План-17» был построен на ошибочном основании. Он продолжал считать его хорошим планом, не удавшимся из-за плохого исполнения. После войны Жоффру пришлось давать показания в парламенте, где инициировали расследование причин катастрофы, в результате которой Франция оказалась открытой для вторжения. Его попросили высказать своё мнение о предвоенной теории генерального штаба — чем сильнее германский правый фланг, тем лучше для Франции.

«Я и сейчас так считаю, — ответил Жоффр. — Доказательством этому является наше Пограничное сражение, спланированное как раз таким образом, и если бы оно закончилось успешно, наш путь был бы открыт... Более того, оно было бы выиграно, если бы 4-я и 5-я армии лучше сражались. Тогда наступающие германские войска были бы уничтожены».

Но в то нерадостное августовское утро 1914 года, когда началось отступление, он не обвинял 4-ю, а тем более 5-ю армии и их командующих. И хотя англичане обрушивали проклятия на голову генерала Ланрезака, оставшийся неизвестным представитель английской армии недвусмысленно заявил, что решение Ланрезака отступить вместо того, чтобы контратаковать 23 августа, спасло от «ещё одного Седана». О настойчивом предложении Ланрезака перевести 5-ю армию к Шарлеруа, на запад от Мааса, тот же представитель сказал: «Нет сомнения, что это изменение плана спасло от уничтожения британский экспедиционный корпус и, возможно, французские армии».



Только одно было ясно 24 августа: французские армии отступают, и противник неумолимо продвигается вперёд. Размеры поражения оставались неизвестны публике до 25 августа, когда немцы объявили о взятии Намюра и захвате 5000 пленных. Это известие поразило недоверчивый мир. Лондонская «Таймс» писала перед этим, что Намюр выдержит шестимесячную осаду; город же пал за четыре дня. В Англии, с явным желанием преуменьшить размах события, говорили, что «падение Намюра всеми признаётся как явная неудача... значительно сократившая шансы на быстрое окончание войны».

Насколько эти шансы уменьшились и как далеко отодвинулось окончание войны, ещё никто не знал. Никто не осознавал, что по численности вовлечённых в боевые действия войск и по уровню потерь, понесённых за сравнительно короткий период боёв, величайшая битва в войне уже совершилась. Никто ещё не мог предвидеть её последствий: как полная оккупация Бельгии и Северной Франции предоставила в распоряжение Германии промышленные мощности обеих стран – мануфактуры Льежа, уголь Боринажа, железную руду Лотарингии, фабрики Лилля, реки, железные дороги, сельское хозяйство, и как эта оккупация, питавшая германские амбиции и укреплявшая решение Франции сражаться до последнего в вопросах восстановления и репатриаций, препятствовала позднейшим попыткам пойти на компромиссный мир, или «мир без победы», затянув войну на долгие четыре года.

Всё это стало ясно позднее. 24 августа немцы почувствовали огромный прилив самоуверенности. Впереди они видели только разбитые армии, гениальность Шлиффена была доказана, казалось, что решительная победа уже находится в руках Германии. Во Франции президент Пуанкаре записал в своём дневнике: «Мы должны согласиться на отступление и оккупацию. Так закончились иллюзии последних двух недель. Теперь будущее Франции зависит от её способности сопротивляться».

Одной лишь смелости оказалось недостаточно.

## Глава 15

### «Казачи!»

Пятого августа французский посол в Санкт-Петербурге Палеолог проезжал мимо казачьего полка, отправлявшегося на фронт. Его командир, увидев на автомобиле французский флажок, наклонился с седла и обнял посла, а потом попросил разрешения провести перед ним свой полк. Посол торжественно приветствовал проезжавших мимо него казаков, а полковник, громким голосом отдавая своей части команды, успел воскликнуть, обращаясь к Палеологу: «Мы перебьём этих грязных пруссаков!.. Никакой Пруссии, никакой Германии!.. Вильгельма – на Святую Елену!» Полк двинулся дальше, его командир поскакал за солдатами, размахивая саблей и оглашая улицу своим боевым кличем: «Вильгельма – на Святую Елену!»

Русские, чья ссора с Австро-Венгрией ускорила войну, были благодарны Франции за союзническую поддержку и стремились так же преданно поддержать французский план. «Наша основная цель, – вынужден был объявить царь с напускной смелостью, куда большей, чем испытывал на самом деле, – уничтожение германской армии». Он уверял французов, что считает военные действия против Австрии «второстепенными» и что приказал великому князю «во что бы то ни стало открыть путь на Берлин и как можно скорее».

Великий князь Николай Николаевич был в самые последние дни кризиса назначен главнокомандующим, несмотря на отчаянное соперничество Сухомлинова, который сам очень хотел занять этот пост. Но русское правительство даже в последние дни царствования Романовых ещё не настолько сошло с ума, чтобы доверить прогермански настроенному Сухомлинову вести войну против Германии. Однако он по-прежнему оставался на посту военного министра.

С самого начала войны французы не были уверены, что Россия действительно выполнит свои обещания, поэтому они торопили своего союзника. «Я умоляю ваше величество, – просил Палеолог во время аудиенции 5 августа, – приказать вашим армиям начать немедленное наступление. Иначе французская армия рискует быть раздавленной».

Не довольствуясь только визитом к царю, Палеолог посетил великого князя, который заверил посла, что намеревается начать решительное наступление 14 августа, то есть, в соответствии с обещанием, на пятнадцатый день мобилизации, не ожидая завершения концентрации войск. Известный своими энергичными, порой даже непечатными выражениями, великий князь тут же составил по-средневековому изысканную телеграмму к Жоффру. «Твёрдо уверенный в победе», он выступит против врага, имея рядом со своим штандартом флаг Французской республики, подаренный ему Жоффром во время манёвров в 1912 году.

Разрыв, который существовал между данными французам обещаниями и готовностью к действиям, был слишком очевиден, и, возможно, это стало причиной слёз великого князя, которые, как говорят, он пролил, когда был назначен верховным главнокомандующим. По свидетельству одного очевидца, Николай Николаевич «был совершенно не готов к этой роли и, как он сам говорил, получив царский приказ, плакал навзрыд, потому что не знал, как приступить к своим обязанностям». Будучи, по мнению одного ведущего русского военного историка, «чрезвычайно подготовленным» к выполнению возложенной на него задачи, великий князь, вероятно, плакал не столько о себе, сколько о России и мире. Предчувствие, охватившее некоторых лиц в 1914 году, заставляло их трепетать за судьбы человечества. В то время слёзы проливали даже самые храбрые и решительные. Мессими, открывая 5 августа заседание кабинета министров речью, полной отваги и уверенности, прервался на её середине, закрыл лицо руками и зарыдал, не в силах говорить дальше. Когда Уинстон Черчилль провожал Генри Вильсона, то, желая удачи и победы британскому экспедиционному корпусу, «рыдал так, что не мог закончить фразы». В Петербурге вполне могли переживать схожие чувства.

На коллег великого князя нельзя было надёжно опереться. Начальником штаба верховного главнокомандующего в 1914 году был генерал Янушкевич, молодой человек сорока четырёх лет, с чёрными усами и вьющимися волосами, известный в основном тем, что не носил бороды. Военный министр отзывался о нём как о «всё ещё ребёнке». Больше придворный, чем солдат, Янушкевич не участвовал в русско-японской войне, хотя служил в том же гвардейском полку, что и

Николай II, – причина не хуже другой для быстрого продвижения по службе. Он окончил Академию генерального штаба, позднее был её начальником, служил в военном министерстве. Когда началась война, должность начальника генерального штаба он занимал всего лишь три месяца. Как и германский кронпринц, он полностью находился под влиянием своего заместителя, сухого и молчаливого генерала Данилова, усидчивого работника и строгого службиста, который был мозгом штаба. Предшественник Янушкевича, генерал Жилинский, предпочёл уйти с поста начальника генерального штаба и уговорил Сухомлинова, чтобы тот назначил его командующим Варшавским военным округом. Теперь он, находясь в подчинении великого князя, командовал всем Северо-западным фронтом, развёрнутым против Германии. Во время русско-японской войны Жилинский был начальником штаба у главнокомандующего генерала Куропаткина, однако ничем себя не проявил, хотя и не допустил явных промахов – там, где многие погубили свои репутации, – сумев остаться в высших сферах, не обладая, тем не менее, ни личной популярностью, ни военным талантом.

Россия не предприняла никаких подготовительных мер, которых требовали перенесённые сроки начала наступления, обещанного французам. Пришлось прибегать в самый последний момент к импровизации. Было приказано подготовить план «ускоренной мобилизации», опускавший некоторые промежуточные этапы ради выигрыша нескольких дней. Нажим на Россию поддерживал поток телеграмм из Парижа, вручавшихся красноречивым Палеологом. 6 августа в приказе русского генерального штаба говорилось, что важно подготовиться «к энергичному наступлению против Германии в возможно ближайшее время, чтобы облегчить положение французов, но, конечно, только тогда, когда будут накоплены достаточные силы». Однако к 10 августа условие «достаточных сил» было снято. В приказах от этого числа можно было прочесть: «Естественно, наш долг состоит в том, чтобы поддержать Францию ввиду готовящегося против них главного удара Германии. Поддержка эта должна выразиться в возможно скорейшем нашем выступлении против Германии, а именно – в виде удара по оставленным ею в Восточной Пруссии войскам». 1-й и 2-й армиям приказано было находиться «в готовности» начать наступление в день М-14 (13 августа), хотя им и

придётся начать без завершения подготовки тыла, которое назначено планами на день М-20 (19 августа).

Трудности организации были огромными. Как однажды признался сам великий князь, в такой огромной империи, как Россия, когда отдаётся приказ, никто не уверен в том, что он дошёл по назначению. Недостаток телефонных проводов и телеграфного оборудования, а также обученных связистов делал надёжную или быструю связь невозможной. Темпы подготовки замедлялись ещё и недостатком автомобилей. В 1914 году армия имела 418 грузовиков, 259 легковых и два санитарных автомобиля. (Однако у неё на вооружении имелось 320 самолётов.) В результате припасы доставлялись на станции погрузки на лошадях.

Хуже всего обстояло дело с поставками. После русско-японской войны в результате судебных процессов вскрылся огромный размах коррупции и воровства при снабжении армии. Взятки, словно кротовые норы, пронизывали все. Даже московский губернатор генерал Рейнбот был обвинён во взяточничестве при организации военных поставок и заключён в тюрьму, хотя у него оказалось достаточно связей для того, чтобы не только добиться помилования, но и получить назначение на другой пост. Собрав поставщиков на первое заседание, главнокомандующий, великий князь, начал со слов: «Только без воровства, господа».

Продажа водки, ещё одного традиционного спутника войны, была запрещена. При последней мобилизации в 1904 году солдаты, явившиеся на сборные пункты и полковые учебные части, представляли собой пьяную толпу, с затуманенными спиртным головами, и ещё целая неделя ушла на то, чтобы привести их в нормальное состояние. Теперь, когда французы каждый день промедления называют вопросом жизни и смерти, Россия в качестве временной меры на период мобилизации объявила «сухой закон». Ничто не могло дать более практического или более основательного подтверждения искреннего намерения откликнуться на мольбы Франции о скорейшей помощи, но, с необдуманностью, свойственной для последних лет царствования Романовых, русское правительство указом от 22 августа продлило действие запрета продажи и производства спиртных напитков до конца войны. Поскольку продажа водки являлась государственной монополией, то этот закон одним

махом сокращал доходы казны на треть. Как отметил один из поражённых депутатов Государственной думы, хорошо известно, что правительства, ведущие войну, ищут способы увеличить поступление денежных средств за счёт различных налогов и сборов, «но никогда ещё в истории не было известно страны, которая во время войны отказывается от основного источника своих доходов».

В последний час пятнадцатого дня мобилизации, в 11 часов вечера, в тёплую летнюю погоду великий князь Николай Николаевич покинул столицу и отправился в полевой штаб в Барановичах, который был крупным железнодорожным узлом на Московско-Варшавской железной дороге и находился примерно посередине между германским и австрийским фронтами. Великий князь, его штаб и провожающие собрались на платформе, ожидая царя, который должен был прибыть на вокзал, чтобы попрощаться со своим верховным главнокомандующим. Однако ревность царицы одержала верх над вежливостью, и царь так и не появился. Раздались негромкие прощания и тихие молитвы, отъезжавшие молча сели в вагоны, и поезд отправился в путь.

В ближайшем тылу фронта всё ещё шёл процесс формирования армий. С самого начала войны русская кавалерия проводила разведку германской территории. Её разъезды имели меньше успеха в проникновении за германские заслоны, чем кричащие заголовки и невероятные истории о казачьей жестокости, появлявшиеся в германских газетах. Уже 4 августа во Франкфурте на западе Германии один офицер слышал, будто в городе собираются разместить около 30 тысяч беженцев из Восточной Пруссии. Германский генеральный штаб, пытавшийся сконцентрировать все военные усилия против Франции, начали донимать требованиями спасти Восточную Пруссию от нашествия славянских орд.

На рассвете 12 августа передовой отряд 1-й армии генерала Ренненкампа, состоявший из кавалерийской дивизии генерала Гурко и поддерживаемый пехотной дивизией, начал вторжение в Восточную Пруссию и занял городок Маргграбова, стоящий в пяти милях от границы. Стреляя на скаку, русские ворвались в город и обнаружили, что он покинут германскими войсками. Рыночная площадь была пуста, магазины – закрыты, но жители выглядывали из-за ставень. В сельской местности люди уходили ещё до прихода войск, как будто их кто-то

предварительно извещал. В первое же утро русские увидели столбы чёрного дыма, поднимавшиеся там, куда они двигались, а приблизившись, обнаружили, что горели не дома или скотные дворы, подожжённые бежавшими жителями, а кучи соломы – такими сигналами показывалось направление движения вражеских эскадронов. Везде были заметны свидетельства педантичной немецкой подготовки. На вершинах холмов были возведены деревянные наблюдательные вышки. Местным мальчишкам от 12 до 14 лет выдали велосипеды, и они служили посыльными. Германские солдаты, оставленные в качестве разведчиков, были одеты в крестьянскую и даже женскую одежду. Многие были разоблачены, вероятно, уже позднее, по казённому нижнему белью. Но ещё больше так и осталось не поймано; как заметил сокрушённо генерал Гурко, нельзя же было заирать юбки каждой женщине в Восточной Пруссии.

Получив донесения генерала Гурко об эвакуированных городах и бегущем населении и сделав вывод, что немцы не планировали серьёзного сопротивления так далеко на восток от своей базы на Висле, генерал Ренненкампф решил продвинуться как можно западнее, не заботясь о налаживании снабжения. Худощавый, с хорошей выправкой, с прямым взглядом и выразительными, закрученными вверх усами, шестидесятиоднолетний Ренненкампф заслужил репутацию смелого, решительного и тактически искусного офицера во время боксёрского восстания и русско-японской войны, в которой командовал кавалерийской дивизией, и в ходе карательной экспедиции в Чите, где он безжалостно уничтожал остатки революции 1905 года. Его военная карьера несколько пострадала из-за немецкого происхождения и из-за какого-то запутанного и непонятного случая, который, по словам генерала Гурко, «значительно подорвал его репутацию». Когда в последующие недели поведение Ренненкампфа заставило вспомнить обо всём этом, его коллеги тем не менее оставались убеждёнными в его верности России.

Не обращая внимания на предостережения командующего Северо-западным фронтом генерала Жилинского, с самого начала настроенного пессимистично, Ренненкампф поспешно сосредоточил свои три армейских корпуса и пять с половиной кавалерийских дивизий и 17 августа начал наступление. Его 1-я армия, насчитывавшая около 200 000 человек, пересекла границу на 35-

мильном фронте, разделённом Роминтенским лесом. Целью наступления был Инстербургский промежуток, находящийся в 37 милях от границы, или на расстоянии трехдневного марша – для русской армии. Он представлял собой открытое пространство тридцати миль в ширину, лежащее между укреплённым кёнигсбергским районом на севере и Мазурскими озёрами на юге. Это была область маленьких деревень и больших ферм с неогороженными полями и широкими перспективами, открывавшимися с редких и невысоких холмов. Сюда должна была прийти 1-я армия и, войдя в соприкосновение с главными германскими силами, дожидаться 2-й армии Самсонова, который, обойдя озёра с юга, должен был нанести решающий удар по германскому флангу и тылу. Обе русские армии должны были соединить фронты в районе Алленштейна.

Самсонов должен был выйти на линию, проходившую на уровне Алленштейна и отстоящую от границы на 43 мили, то есть на расстоянии марша в три с половиной или четыре дня – если всё будет хорошо. Однако между его исходными рубежами и целью наступления было немало препятствий, способных вызвать неожиданные затруднения, которые Клаузевиц называл «помехами» войны. Из-за отсутствия проходящей с востока на запад железной дороги через русскую часть Польши к Восточной Пруссии армия Самсонова выходила к границе на два дня позже Ренненкампа, проделав для этого недельный марш. Её маршрут проходил по песчаным дорогам и глухотам с лесами и болотами, где практически не было населения, если не считать нескольких мелких польских деревень. Находясь на вражеской территории, армия должна была страдать от недостатка продовольствия и фуража.

В отличие от Ренненкампа генерал Самсонов района предстоящих действий не знал и не был знаком с войсками и штабом, которыми ему предстояло командовать. Восемнадцатилетним юношей он участвовал в турецкой кампании 1877 года; в сорок три года он уже был генералом, командовал кавалерийской дивизией в русско-японской войне, а с 1909 года являлся губернатором Туркестана. Когда началась война, Самсонову было пятьдесят пять лет и он находился в отпуске на лечении на Кавказе и поэтому не смог прибыть в Варшаву и в штаб 2-й армии ранее 12 августа. Связь между его армией и армией Ренненкампа, а также со штабом Жилинского, который должен был



координировать действия их обоих, оставляла желать лучшего. В любом случае приверженность к соблюдению временных графиков не принадлежит к числу достоинств русского народа. Проведя в апреле по разработанным планам кампании военно-штабные игры, где участвовало большинство тех генералов и офицеров, которые в августе встретили войну на тех же постах, русский генеральный штаб был осведомлён о предстоящих трудностях. Хотя игра, во время которой Сухомлинов выполнял роль верховного главнокомандующего, показала, что 1-я армия выступила слишком рано, с началом войны был без изменений принят прежний график. Учитывая, что Ренненкампф выступил на два дня раньше, а Самсонову на марш требовалось четыре дня, германские войска в течение шести дней должны были противостоять всего лишь одной русской армии.

Два кавалерийских корпуса Ренненкампфа, находившиеся на левом и правом флангах, получили 17 августа приказ не только прикрыть продвижение армии, но и перерезать обе железнодорожные ветки – с целью пресечь эвакуацию германского подвижного состава. Умышленно применяя колею другой ширины в качестве оборонительной меры против германского вторжения, русские не могли использовать свой железнодорожный транспорт, а не захватив германские паровозы и вагоны, они не имели возможности воспользоваться неоценимой сетью железных дорог в Восточной Пруссии. Русская армия, всё дальше углублявшаяся на вражескую территорию, почти сразу же обогнала свои ещё не укомплектованные гужевые обозы. Из-за отсутствия проводов, необходимых для прокладывания своих собственных линий связи, русские зависели от германских телеграфных линий и станций, а если те оказывались разрушенными, вынуждены были прибегать к радиосвязи, отправляя сообщения открытым текстом из-за того, что в дивизионных штабах не всегда были коды и шифровальщики.

Для проведения воздушной разведки и артиллерийского наблюдения не хватало самолётов, поскольку большая часть из них была отправлена на австрийский фронт. Заметив самолёт, вид которого им был до сих пор незнаком, русские солдаты принимались стрелять по нему из винтовок, убеждённые в том, что подобное хитрое изобретение, как летающая машина, может быть только германским. Рядовой солдат питался чёрным хлебом и чаем, как поговаривали –

хотя и трудно понять, почему, — что после этого от него исходил характерный запах, больше напоминающий запах от лошади. Пехотинцы имели на вооружении четырехгранные штыки; примкнутые к винтовкам, они удлиняли их до человеческого роста, что в рукопашном бою давало преимущество над немцами. Однако по огневой мощи и эффективности из-за большого количества артиллерии две германские дивизии были равны трём русским. Недостатки русских усугублялись той ненавистью, которую питали друг к другу военный министр Сухомлинов и верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич. А ещё была плохая связь между фронтом и тылом, хуже которой могло быть только снабжение. Уже через месяц войны нехватка патронов и снарядов была настолько велика — при полном безразличии или летаргическом бездействии военного министерства, — что 8 сентября великий князь был вынужден обратиться непосредственно к царю. На австрийском фронте, докладывая он, боевые действия придётся приостановить, пока не будет накоплен запас по 100 снарядов на орудие. «В настоящий момент мы имеем только 25 снарядов на орудие. Я обращаюсь к Вашему Величеству с просьбой ускорить отправку снарядов».

Крик «Kosaken kommen!» («Казачи идут!»), донёсшийся из Восточной Пруссии, повлиял на решение Германии оставить минимальные силы для обороны. По общей численности 8-я армия, находившаяся в Восточной Пруссии и состоявшая из четырёх с половиной корпусов, кавалерийской дивизии, гарнизона Кёнигсберга и нескольких территориальных бригад, приблизительно равнялась одной из русских армий. Приказ Мольтке гласил, что 8-я армия обязана защищать Восточную и Западную Пруссию, но не должна вступать в бой с превосходящими силами или отходить в укреплённый район Кёнигсберга. Если она обнаружит, что ей угрожают превосходящие силы противника, то ей необходимо отойти к Висле, оставив Восточную Пруссию врагу. Подобный приказ содержал «психологическую опасность для слабых волей» — таково было мнение полковника Макса Гофмана, заместителя начальника оперативного отдела 8-й армии.

Слабым волей Гофман считал командующего армией генерал-лейтенанта фон Притвица унд Гаффрона. Придворный фаворит

Притвиц сделал быструю карьеру потому, что, как свидетельствует один из его коллег, «знал, как привлечь внимание кайзера за столом, рассказывая смешные истории и пикантные слухи». Шестидесятишестилетний, очень тучный, он был германским вариантом Фальстафа, «внушительный, полный сознания своей значимости, безжалостный и самовлюблённый». Прозванный «der Dicke», «Толстяком», он не имел интеллектуальных или военных интересов и никогда не предпринимал лишних движений, если мог этого избежать. Мольтке, считавший его неподходящим для занимаемой должности, в течение нескольких лет безуспешно пытался заменить его на посту командующего 8-й армии. Надёжной защитой Притвицу служили его связи. Единственное, что сумел сделать Мольтке, это назначить своего собственного заместителя, графа фон Вальдерзе, начальником штаба Притвица. В августе Вальдерзе, не оправившийся ещё после операции, был, по мнению Гофмана, «слабым конкурентом», а поскольку Притвиц вообще им не был, Гофман считал, что действительная власть в 8-й армии находится в руках самого подготовленного офицера, то есть его самого.

Беспокойство за Восточную Пруссию ещё более возросло, когда 15 августа Япония встала на сторону союзников, что высвободило большое количество русских войск. Германская дипломатия никогда не умела сохранять или приобретать друзей, и в очередной раз она снова оказалась не на высоте. Япония имела собственное мнение о том, каковы у неё интересы в европейской войне, и её будущая жертва хорошо их понимала. «Япония намерена использовать эту войну, чтобы получить контроль над Китаем», – предсказывал президент Юань Шикай. Как и оказалось, Япония по-своему воспользовалась войной, пока европейские державы были слишком заняты и не могли помешать ей. Япония навязала Китаю известное двадцать одно требование, нарушила его суверенитет и вторглась на его территорию, что впоследствии сказалось на истории двадцатого века. Для начала немедленным результатом присоединения Японии к союзникам стало высвобождение русских войск, стоявших против Японии на Дальнем Востоке. Рисуя перед мысленным взором картины всё умножающихся «славянских орд», немцы ещё больше занервничали оттого, что возможно оставление Восточной Пруссии, которую защищала только одна 8-я армия.

С самого начала генералу фон Притвицу пришлось очень непросто с командиром I корпуса генералом фон Франсуа, пятидесятивосьмилетним светлоглазым потомком гугенотов, который был чем-то вроде германского Фоша. I корпус был набран из уроженцев Восточной Пруссии, а его командир, решительно убеждённый в том, что ни один славянин не должен ступить на прусскую землю, угрожал нарушить стратегию 8-й армии, слишком выдвигаясь вперёд.

На основании расчётов Гофмана 8-я армия полагала, что Ренненкампф начнёт наступление первым, и намеревалась встретиться с ним в бою 19 или 20 августа в районе Гумбиннена, приблизительно в 25 милях от русской границы, до того как русские выйдут к Инстербургскому промежутку. Навстречу Ренненкампфу были высланы три с половиной корпуса, включая I корпус Франсуа, и кавалерийская дивизия, а четвёртый корпус был направлен на юго-восток, чтобы встретить армию Самсонова. 16 августа штаб 8-й армии выдвинулся вперёд, в Бартенштейн, поближе к Инстербургу. Тут обнаружилось, что Франсуа уже прошёл Гумбиннен. Он решил начать наступление немедленно, в то время как план Гофмана состоял в том, чтобы позволить армии Ренненкампфа максимально углубиться на запад в ходе его двухдневного марша: теоретически, чем дальше она оторвётся от своих баз снабжения, тем будет уязвимее. Гофман не хотел, чтобы продвижение Ренненкампфа приостановилось, наоборот, ему было нужно, чтобы русские достигли Гумбиннена как можно скорее, тогда у немцев будет время справиться с одной армией до подхода Самсонова.

Продвижение Франсуа дальше Гумбиннена, в котором он разместил 16 августа свой штаб, угрожало тем, что следом за ним, чтобы прикрыть его фланги, нужно будет подтягивать и всю 8-ю армию, которая тем самым растянется более своих возможностей. И 16 августа Притвиц приказал Франсуа остановиться. Тот энергично возражал по телефону, доказывая, что чем ближе к России он встретит противника, тем меньше опасности для германской территории. Притвиц ответил, что жертва частью Восточной Пруссии неизбежна, и направил письменный приказ, напомнив Франсуа, что «единоначальником» является только он, и снова запретил дальнейшее продвижение. Франсуа игнорировал приказ. В час дня 17 августа

Притвиц «к своему огромному изумлению» получил от Франсуа донесение, что тот уже вступил в соприкосновение с противником в Шталлупёнене, в 20 милях от Гумбиннена, и только в 5 милях – от русской границы.

В то утро, когда армия Ренненкампа пересекла границу, её находящийся в центре III корпус, начал марш – отнюдь не по плану, а из-за отсутствия координации – на несколько часов раньше двух других. Русская разведка обнаружила силы Франсуа у Шталлупёнене, и русским войскам был отдан приказ атаковать. Сражение развернулось в нескольких милях к востоку от города. Генерал фон Франсуа и его штаб наблюдали за ходом боя с колокольни городской церкви, когда «в самом разгаре нервного напряжения» неожиданно зазвонил церковный колокол, стереотруба закачалась на треноге, а взбешённые офицеры, зажимая уши, обрушили град тевтонских ругательств на несчастного члена городского совета, посчитавшего своим долгом предупредить жителей о приближении русских.

Не меньший гнев бушевал в штабе 8-й армии после получения донесения от Франсуа. По телефону и телеграфу ему послали приказ приостановить боевые действия, к нему выехал генерал-майор, дабы лично подтвердить отданный приказ. Карабкаясь по лестнице на колокольню и находясь не в меньшем возмущении, которое только что царило здесь, он закричал генералу Франсуа: «Командующий приказывает вам немедленно прекратить бой и отступить к Гумбиннену!» Взбешённый тоном и манерой обращения, Франсуа напыщенно ответил: «Сообщите генералу фон Притвицу, что генерал фон Франсуа прекратит бой, когда разобьёт русских!»

Тем временем для атаки русских с тыла с правого фланга была выслана германская бригада с пятью артиллерийскими батареями. Из-за преждевременного наступления русского III корпуса, особенно его 27-й дивизии, которая вела бой у Шталлупёнене, между ней и соседним корпусом образовался разрыв слева, не защищённый от германского удара. Полк, на который обрушились немцы, дрогнул и побежал, заставив отступить и 27-ю дивизию, оставившую немцам 3000 пленных. Хотя армия Ренненкампа вышла на назначенный рубеж в тот же день, 27-ю дивизию пришлось отвести к границе на переформирование, задержав наступление на целый день. Сияя от

победы, Франсуа, эвакуировав Шталлупёнен, отступил ночью к Гумбиннену, убеждённый в преимуществах неповиновения.

Несмотря на задержку, армия Ренненкампа возобновила наступление. Но уже 19 августа она начала испытывать трудности из-за недостаточного снабжения. Находясь на расстоянии всего лишь в 15 миль от своей границы, командиры корпусов начали докладывать о том, что запасы не поступают и что они не могут связаться друг с другом и со штабом армии. А дороги перед русскими были забиты стадами коров и овец, угоняемыми уходящим населением. Бегство жителей и отступление корпуса Франсуа заставили Ренненкампа и его начальника, командующего Северо-западным фронтом генерала Жилинского, поверить, что немцы эвакуируют Восточную Пруссию. Это не устраивало русских, поскольку если германская армия так быстро отступит, она избежит уничтожения в результате планируемых русских клещей. Поэтому 20 августа Ренненкамп приказал остановиться, но не из-за собственных трудностей, а для того, чтобы вовлечь противника в сражение, тем самым давая возможность 2-й армии Самсонова подтянуться для решительного удара по германскому тылу.

Генерала Франсуа не нужно было уговаривать. Вновь чуя запах боя, он 19 августа телефонировал фон Притвицу в штаб 8-й армии и потребовал разрешить ему контратаковать вместо того, чтобы продолжать отступление. Это блестящая возможность, настаивал он, поскольку русское наступление было не равномерным и не настойчивым. Он с чувством описал бегство жителей и страстно восставал против позорного оставления прусской земли ненавистным славянам. Притвица раздирали сомнения. Намереваясь дать бой за Гумбиннен, 8-я армия хорошо подготовила позиции вдоль реки Ангерапп. Но слишком раннее выступление фон Франсуа изменило план, и теперь его корпус находился в 10 милях восточнее Гумбиннена. Позволить ему атаковать означало принять бой далеко от позиций на Ангераппе, заставить два с половиной корпуса подтянуться к нему, ещё больше оторвав их от XX корпуса, который был выслан следить за подходом с юга армии Самсонова и которому в любой момент могла потребоваться их поддержка.

С другой стороны, германская армия, отступающая без серьёзного сражения, пусть даже всего на двадцать миль и к тому же на виду у

испуганного населения... Нет такая картина просто нетерпима. Решение ещё более усложнилось, когда немцы перехватили приказ Ренненкампа остановиться. Приказ был отдан русским командирам корпусов по радио с применением простого кода, который немецкий профессор математики, прикомандированный к штабу 8-й армии в качестве криптографа, расшифровал без труда.

Возник вопрос: надолго ли остановился Ренненкампа? Сроки, в которые немцы могли свободно сражаться с одной русской армией в отсутствие другой, истекали. К этому вечеру три из шести дней, бывших в запасе, уже прошли. Если немцы будут ждать Ренненкампа на реке Ангерапп, они могут оказаться сразу между двумя армиями. Именно в это время от XX корпуса было получено сообщение, извещавшее, что утром армия Самсонова перешла границу. Вторая половина клещей приближалась. Либо немцы должны немедленно двинуться на Ренненкампа, отказавшись от подготовленных позиций на Ангераппе, либо оторваться от Ренненкампа и повернуть против Самсонова. Притвиц и его штаб остановились на первом решении и приказали Франсуа атаковать на следующее утро, 20 августа. Единственная сложность заключалась в том, что остальные два с половиной корпуса, послушно ожидавшие на реке Ангерапп, не могли действовать одновременно с ним.

Перед рассветом тяжёлая артиллерия Франсуа открыла огонь, застав русских врасплох. Обстрел продолжался полчаса. В 4 часа утра германская пехота двинулась вперёд, плохо различимая в предрассветных сумерках, пока не подошла к русским позициям на расстояние винтовочного выстрела. С наступлением утра бой разгорался по всему фронту как огонь, постепенно охватывавший хворост. Русские батареи открыли огонь по приближавшимся серым цепям, и неожиданно белая дорога, лежавшая на их пути, стала серой от покрывших её трупов. Поднялась вторая серая волна, приблизилась. Русские уже могли различить остроконечные каски. Снова ударили русские батареи, снова волна легла и снова поднялась следующая. Русские орудия, боезапас которых исчислялся по 224 выстрела на день, вели огонь, требовавший 440 снарядов в день. В небе появился самолёт с чёрными крестами и сбросил бомбы на русские батареи. Серые волны продолжали наступать. Они уже были на расстоянии 500 ярдов, когда русские пушки вдруг замолчали. Кончились снаряды. Две

дивизии Франсуа отрезали 28-ю дивизию русских, которая понесла 60 процентов потерь, что фактически означало полное уничтожение. Кавалерия Франсуа с тремя батареями конной артиллерии, далеко обойдя открытый фланг русских и не встречая сопротивления кавалерии противника, не имевшей артиллерии, атаковала русский обоз. Таковы были успехи корпуса, действовавшего против правого фланга Ренненкампа, но в центре и на левом фланге положение было совсем иным.

Здесь русские, предупреждённые на рассвете грохотом артиллерийской подготовки корпуса Франсуа, были готовы к сражению, которое развернулось на фронте длиной в 35 миль. В центре германский XVII корпус вышел на рубеж наступления только к 8 часам утра, отстав от Франсуа на четыре часа, а на правом германском фланге I резервный корпус появился только в полдень. XVII корпусом командовал генерал Август фон Макензен, ещё один из тех генералов, кто участвовал в войне 1870 года и кто теперь был в возрасте шестидесяти пяти лет и старше. I резервным корпусом командовал генерал Отто фон Белов. Вечером 19-го числа, когда был получен неожиданный приказ присоединиться к Франсуа и начать наступление за Гумбинненом на следующее утро, оба корпуса находились за Ангераппом. Поспешно собрав свои части, Макензен за ночь успел переправиться через реку и угодил на другом берегу в самую гущу заполонивших дороги беженцев, телег и скота. Когда же войска наконец построились в боевые порядки и подошли достаточно близко, чтобы начать бой, преимущества внезапности удара были утеряны, и русские открыли огонь первыми. Результат обстрела из тяжёлых орудий бывает в высшей степени ужасающим для того, кто угодил под их снаряды, а в данном случае, хотя и редком в 1914 году, под таким огнём оказались германские войска. Пехота была прижата к земле и лежала, не смея даже головы приподнять, рвались патронные и зарядные ящики, галопом носились обезумевшие, потерявшие седоков лошади. Во второй половине дня 35-я дивизия Макензена дрогнула под огнём. Одна рота побросала оружие и побежала, за ней – вторая, паника охватила целый полк, потом она перекинулась на соседние части. Вскоре по полям и дорогам в тыл бежали батальоны. Офицеры дивизии, штаба и сам Макензен кинулись к ним наперерез, носились в



автомобилях вдоль фронта, пытаясь остановить бегущих. Но напрасно. Те остановились только через 15 миль.

Находившийся справа от Макензена I резервный корпус фон Белова не мог помочь соседу, потому что выступил ещё позднее, а когда достиг назначенного рубежа у Гольдапа на краю Роминтенского леса, он сразу же подвергся мощной атаке русских. Бегство корпуса Макензена в центре открыло левый фланг Белова, что заставило отойти и его, как для того, чтобы прикрыть отступление Макензена, так и для того, чтобы защитить свои войска. Находившаяся справа от фон Белова, 3-я резервная дивизия под командованием генерала фон Моргена выступила с рубежа реки Ангерапп последней и прибыла только к вечеру, когда всё уже было кончено. И хотя немцы отступили в порядке, а русские понесли тяжёлые потери от корпуса Франсуа, сражение под Гумбинненом в целом было победой русских.

Притвиц видел, что ему грозило. Настойчивое русское преследование через взломанный германский центр могло продолжаться до самого Инстербургского промежутка, раскалывая 8-ю армию и отбрасывая корпус Франсуа на север, под прикрытие кёнигсбергского укрепленного района, против чего особенно настойчиво предостерегал генеральный штаб. Чтобы спасти 8-ю армию и не дать её разделить, Притвиц в качестве единственного выхода решил отступить за Вислу. Мольтке сказал ему напоследок такие слова: «Не позволяйте расколоть армию. Не уходите с Вислы, но в самом крайнем случае можете оставить район к востоку от неё». Притвиц решил, что тот самый крайний случай наступил, особенно после разговора по телефону с Макензеном, который живо описал панику, охватившую его войска.

В шесть часов вечера 20 августа Притвиц позвонил Франсуа и сообщил ему, что, несмотря на успех на его участке, армия должна отступить к Висле. Словно громом поражённый, Франсуа принялся протестовать, утверждая, что из-за своих собственных потерь русские не в состоянии осуществлять энергичное преследование, прося Притвица передумать. Он повесил трубку с чувством, что командующий колеблется и согласился всё же обдумать своё решение.

В штабе, когда постепенно улеглась суматоха и наконец разобрались с противоречащими одно другому донесениями, стало ясно удивительное: русские не преследовали. В русском штабе

Ренненкампф отдал приказ начать преследование между 3 и 4 часами дня, но, получив доклад о том, что отход Макензена прикрывает тяжёлая артиллерия, отменил приказ в 4:30. Он не знал точно, насколько сильно был ослаблен германский центр, и поэтому ждал. Когда совершенно измученный штабной офицер попросил разрешения пойти спать, он ответил, что тот может лечь не раздеваясь. Через час Ренненкампф разбудил его и с улыбкой сказал: «Теперь можете раздеться, немцы отступают».

Эти слова долго и много обсуждались военными историками, которые обыкновенно слетаются на поле сражения после того, как оно закончится. Причём особенно усердствовал Гофман, описывающий этот случай со злорадной усмешкой и в весьма искажённом виде. Историки достаточно справедливо указывают, что отступающего противника нужно преследовать, а не отправляться спать. Из-за памятного исхода сражения под Танненбергом, преддверием которого был Гумбиннен, остановка Ренненкампфа породила бурю жарких споров, объяснений и осуждений, не исключая и ссылок на его немецкое происхождение и прямых обвинений в предательстве. Наиболее возможное объяснение было сделано на сто лет раньше Клаузевицем. Он так писал о проблеме преследования: «...В этот момент на волю полководца тяжёлым грузом ложится физическая природа человека с её потребностями и слабостями. Все эти тысячи людей, находящихся под его начальством, нуждаются в покое и в подкреплении своих сил... Лишь немногие, на которых можно смотреть как на исключение, чувствуют и видят за пределами настоящего мгновения; лишь у этих немногих сохраняется такой простор их мужеству, что, когда самое необходимое уже выполнено, они ещё в состоянии подумать о тех достижениях, которые в такие мгновения представляются лишь украшением победы, роскошью триумфа».

Предвидел или нет Ренненкампф конечный результат, факт заключается в том, что он не мог или считал, что не мог, броситься за бегущим врагом и вырвать окончательную победу. Его тыловые коммуникации работали плохо; наступать дальше значило окончательно оторваться от тыла. Преследуя, он бы удлинял пути подвоза по вражеской территории, в то время как противник, отступая, сокращал свои. Ренненкампф не мог использовать германские

железные дороги, не захватив немецкого подвижного состава, и у него не было железнодорожных бригад для переделки колеи. После нападения германской кавалерии его обоз был в хаотичном состоянии; его собственная кавалерия правого фланга действовала плохо; он потерял почти дивизию. Поэтому он решил оставаться на месте.

Вечер был жарким. Полковник Гофман стоял у дома, где разместился штаб, обсуждая прошедший бой и перспективы на следующий день со своим непосредственным начальником, генерал-майором Грюнертом, вместе с которым он надеялся управлять более слабыми Притвицем и Вальдерзе. Как раз в этот момент им было доставлено донесение от генерала Шольца, командира XX корпуса. Он сообщал, что огромная русская армия переходит границу силами четырёх или пяти корпусов и наступает на фронте шириной от 50 до 60 миль. В обычной для себя, сбивающей с толку, манере, когда собеседник не мог понять, говорит тот серьёзно или шутит, Гофман предложил «скрыть» донесение от Притвица и Вальдерзе, которые, по его мнению, «не могли управлять своими нервами». Ни одна другая фраза в военных мемуарах не позволяет столь широкого толкования, как «Он не мог управлять своими нервами», особенно при характеристике сослуживцев, но в данном случае она была вполне оправданна. Однако замысел Гофмана потерпел неудачу, так как именно в этот момент Притвиц и Вальдерзе вышли из дома, и по их лицам было件件件件, что они также прочли донесение. Притвиц предложил всем войти в дом и провести совещание. «Господа, – сказал он, – если мы будем продолжать действовать против Виленской армии, Варшавская армия выйдет нам в тыл и отрежет от Вислы. Мы должны оторваться от Виленской армии и отступить за Вислу». Он больше не говорил об отступлении «к Висле», а уже употреблял слова «за Вислу».

Гофман и Грюнерт немедленно возразили, утверждая, что можно «закончить» бой с Виленской армией за два или три дня и всё ещё хватит времени, чтобы встретить опасность с юга, а до этого корпус Шольца «как-нибудь сам справится».

Притвиц резко оборвал их. Решения принимают он и Вальдерзе. Он настаивал на том, что угроза со стороны южной русской армии слишком велика. Гофман должен отдать необходимые распоряжения относительно отхода за Вислу. Гофман ответил, что левый фланг

южной армии уже был ближе к Висле, чем немцы, и при помощи карты и циркуля продемонстрировал, что отступление стало невозможным. Он попросил «указаний», как осуществить его. Притвиц выслал всех из комнаты и позвонил по телефону в генеральный штаб в Кобленц и сообщил о своём решении отступить к Висле, если не за неё. Он добавил, что из-за летней жары вода стоит невысоко и что он сомневается, удастся ли ему удержать реку без подкреплений.

Мольтке был ошеломлён. Вот к чему привело то, что во главе 8-й армии остался этот толстый идиот, и вот чем обернулись не до конца продуманные слова самого Мольтке, сказанные тому напоследок. Отдать Восточную Пруссию означало понести огромное моральное поражение, а также потерять самый ценный район производства зерна, мяса и молока. Хуже того, если русские форсируют Вислу, то они будут угрожать не только Берлину, но и австрийскому флангу, и даже Вене. Подкрепления! Откуда Мольтке мог взять подкрепления, кроме как с Западного фронта, где в бои брошены все войска, вплоть до последнего батальона. Снять сейчас войска с Западного фронта означало бы проигрыш кампании против Франции. Мольтке был слишком потрясён или находился слишком далеко от места действия и почему-то не подумал о том, чтобы своим распоряжением отменить приказ Притвица. На тот момент он посчитал достаточным дать указание своему штабу выяснить истинное положение дел, напрямую переговорив с Франсуа, Макензеном и другими командирами корпусов.

Тем временем в штабе 8-й армии Гофман и Грюнерт старались убедить Вальдерзе, что отступление – не выход из положения. Наоборот, Гофман предлагал теперь манёвр, посредством которого 8-я армия, воспользовавшись имеющимся у неё преимуществом – наличие внутренних коммуникаций и железных дорог, – могла бы встретить обе русские армии и, если ситуация сложится так, как он предполагает, обрушить все свои силы на одну из них.

Гофман предполагал, если армия Реннекампа не начнёт преследования на следующий день, – а он полагал, что этого не произойдёт, – вывести I корпус Франсуа и доставить его круглым путём по железной дороге на юг для усиления XX корпуса Шольца. Франсуа должен занять рубеж на его правом фланге, напротив левого

крыла Самсонова, находящегося ближе всего к Висле и поэтому представлявшего наибольшую угрозу. Дивизия генерала фон Моргена, которая не участвовала в боях под Гумбинненом, также будет отправлена в поддержку Шольцу, но по другой железной дороге. Доставка войск со всем их вооружением, запасами, лошадьми и боеприпасами, составление поездов, погрузка на станциях, заполненных беженцами, перевод поездов с одной ветки на другую – всё это будет сложным делом, но Гофман был уверен, что германская железнодорожная система, над которой трудилось столько умных голов, справится с подобной задачей.

Пока будет производиться переброска, отступление корпусов Макензена и фон Белова должно осуществляться в южном направлении в течение ещё одного двухдневного марша, чтобы, окончательно оторвавшись от противника, они находились миль на 30 ближе к южному фронту. Отсюда, если всё пойдёт хорошо, они пройдут кратчайшим маршрутом и займут позиции на левом крыле Шольца, которого они достигнут вскоре после того, как Франсуа прибудет на правое. Таким образом, вся армия в составе четырёх с половиной корпусов окажется на месте, где будет готова встретить южную армию русских. Кавалерия и резервы из Кёнигсберга будут оставлены в качестве заслона перед армией Ренненкампа.

Успех этого манёвра всецело зависел от одного условия: если армия Ренненкампа не двинется дальше. Гофман был уверен, что тот останется на месте ещё день, а то и больше, чтобы дать войскам отдых, переформироваться и наладить линии снабжения. Его уверенность базировалась не на каком-то мистическом озарении или сверхъестественном предвидении, а просто на уверенности, что Ренненкампа остановился по естественным причинам. В любом случае, корпуса Макензена и фон Белова не тронутся с места в течение ещё двух или трёх дней. К этому времени прояснятся – благодаря перехвату радиосообщений – и намерения Ренненкампа.

Таковы были доводы Гофмана, и они убедили Вальдерзе. Каким образом тем вечером Вальдерзе уговорил Притвица, или же он просто разрешил Гофману подготовить необходимые приказы без одобрения Притвица – история умалчивает. Поскольку штаб не знал, что Притвиц уже успел доложить генеральному штабу о своём намерении отступить

к Висле, никто не побеспокоился известить верховное командование о том, что от идеи отступления отказались.

На следующее утро два офицера из штаба Мольтке, с немалым трудом дозвонившись по полевым телефонам, лично побеседовали с каждым командиром корпуса на Восточном фронте. От них генштабисты узнали, что положение было серьёзным, но что решение об отступлении всё же преждевременно. Поскольку Притвиц хотел отступить, Мольтке решил заменить его. Пока он обсуждал этот вопрос со своим заместителем фон Штейном, полковник Гофман наслаждался приятным чувством своей правоты. Разведка доложила, что в армии Ренненкампа всё спокойно: «они совсем не преследуют нас». Немедленно был отдан приказ о переброске I корпуса Франсуа на юг. Франсуа, по его собственным словам, весь находился во власти эмоций и даже всплакнул, покидая Гумбиннен. Разрешивший всё-таки этот манёвр Притвиц сразу же пожалел о сделанном. В тот же вечер он позвонил в генеральный штаб и снова сообщил фон Штейну и Мольтке, что предложение его штаба выступить против Варшавской армии было «невозможным, чересчур смелым». Отвечая на заданный ему вопрос, он заявил, что не гарантирует, что сумеет удержать Вислу со своей «горсткой людей». Ему непременно нужны подкрепления. Это и решило вопрос о снятии Притвица.

Восточный фронт был готов развалиться. Был нужен кто-то смелый, сильный и решительный, способный немедленно взять командование в свои руки. Никогда заранее нельзя сказать, как тот или иной командир поведёт себя в крайних ситуациях войны, но генеральному штабу повезло: ему был известен такой штабной офицер, который только неделю назад показал себя в бою, — Людендорф, герой Льежа. Он будет хорошим начальником штаба 8-й армии. В германской системе командования, осуществляемого двумя лицами, начальник штаба был не менее важным лицом, чем командир, а порой, в зависимости от опыта и темперамента, играл ещё более значительную роль. Сам Людендорф в это время находился вместе со 2-й армией фон Бюлова на окраинах Намюра, где после успеха у Льежа он руководил штурмом второй крупной бельгийской крепости. В этот критический момент он стоял на пороге Франции, но на Восточном фронте он был нужнее. Мольтке и фон Штейн согласились с тем, что его следовало отозвать. Немедленно на автомобиле был послан

капитан штаба с письмом, которое генерал Людендорф получил в 9 часов утра 22 августа.

«Вы можете спасти положение на Востоке, – писал фон Штейн. – Я не знаю другого человека, которому бы я так абсолютно доверял». Он извинялся за то, что отзывал Людендорфа в момент решающих действий, «которые, дай Бог, будут окончательными», но жертва была «неминуемой». «Конечно, Вы не будете нести ответственность за то, что уже произошло на Востоке, но с Вашей энергией Вам по силам предотвратить худшее».

Через четверть часа Людендорф отправился в штаб – на том самом автомобиле, на котором приехал капитан с посланием фон Штейна. По пути он проехал через Вавр, который «только накануне, когда я проезжал его, был мирным городом. Теперь он горел. Здесь жители тоже стреляли в наших солдат».

В шесть часов вечера Людендорф прибыл в Кобленц. Он ознакомился с обстановкой на Востоке, был принят Мольтке, «выглядевшим очень усталым», и кайзером, который был «очень спокоен», но глубоко задет вторжением в Восточную Пруссию. На всё это ему потребовалось три часа. Отдав несколько приказов 8-й армии, Людендорф в 9 часов вечера отбыл специальным поездом на Восточный фронт. Отданные им приказы содержали, помимо распоряжения Гофману и Грюнерту встретить его в Мариенбурге, указания корпусу Франсуа отправиться по железной дороге на поддержку XX корпуса Шольца на юге, а корпусам Макензена и фон Белова – окончательно оторваться от противника и в течение 23 августа отдыхать и переформироваться. Фактически его распоряжения повторяли приказы Гофмана, что лучше всего свидетельствовало о достигнутом идеале германской военной академии, когда все слушатели, получившие задачу, давали одинаковый ответ. Возможно также, что Людендорф видел телеграфную копию приказов Гофмана.

Пока они ехали через Бельгию, капитан из штаба сообщил Людендорфу, что на пост командующего 8-й армией генеральный штаб выбрал отставного генерала, но ещё не было известно, согласится ли тот на это назначение. Звали генерала Пауль фон Бенекендорф унд Гинденбург. Людендорф не знал его. Позднее вечером, перед отъездом из Кобленца, ему сообщили, что генерал фон Гинденбург принял назначение и сядет в поезд в Ганновере в 4 часа утра.

Решив вопрос с начальником штаба, генеральный штаб стал подыскивать командующего армией. Людендорф, как все признавали, был человеком незаурядных способностей, но чтобы «комплект» был полным, нужен был настоящий «фон». Перебрали имена всех отставных командиров корпуса, и тут фон Штейн вспомнил, что накануне войны он получил письмо от бывшего товарища, сообщавшее: «Не забудь меня, если окажется, что где-то нужен командир», – и что его автор «ещё крепок». Именно тот, кто нужен. Гинденбург происходил из старой юнкерской семьи, жившей в Пруссии столетия. Служил в генеральном штабе у Шлиффена, прошёл все ступени до начальника штаба корпуса, а потом стал и его командиром; в отставку ушёл в 1911 году в возрасте шестидесяти пяти лет. Через два месяца ему исполнится шестьдесят восемь, но он был не старше Клука, Бюлова и Хаузена, трёх генералов правого крыла. Теперь на востоке, после паники Притвица, был нужен человек без нервов, а Гинденбург в течение всей своей безупречной карьеры был известен абсолютной невозмутимостью. Мольтке одобрил его кандидатуру, кайзер дал своё согласие. Отставному генералу была направлена телеграмма.

Гинденбург был у себя дома в Ганновере, когда в 3 часа дня пришла телеграмма с вопросом, примет ли он «немедленное назначение». Он ответил: «Я готов». Вторая телеграмма предписывала ему немедленно выехать на восток и принять командование 8-й армией. Генеральный штаб даже не приглашал его в Кобленц для беседы. В телеграмме указывалось, что он должен сесть на поезд в Ганновере, и сообщалось, что его начальником штаба будет генерал Людендорф, который встретится с ним в том же поезде. У Гинденбурга едва хватило времени на то, чтобы перед отъездом заказать новую полевую форму серо-стального цвета, и к месту службы он, к своему большому смущению, отправился в старом синем мундире прусского генерала.

Когда через несколько дней о снятии Притвица стало известно, княгиня Блюхер в своём бесценном для историка дневнике записала: «Его место занял некий генерал Гинденбург, человек весьма преклонного возраста». Газетчики поспешно разыскивали сведения о новом командующем, что было довольно трудно сделать, поскольку в списках военных он числился как Бенекендорф. Они с удовольствием



обнаружили, что он сражался под Седаном и заслужил Железный крест второй степени, а также был ветераном более ранней кампании 1866 года против Австрии. Его предки, Бенекендорфы, были среди тевтонских рыцарей, осевших в Восточной Пруссии, а имя Гинденбург было добавлено в восемнадцатом веке в результате женитьбы кого-то из прадедов. Он родился в городе Позен, в Восточной Пруссии, и в начале своей карьеры, будучи офицером штаба I корпуса, стоявшего под Кёнигсбергом, изучал проблему влияния Мазурских озёр на возможные военные действия. Из этого факта вскоре выросла легенда о том, будто бы Гинденбург спланировал сражение под Танненбергом ещё тридцать лет назад. Вырос он в имении своего деда в Нойдеке в Западной Пруссии, где, как он вспоминал, мальчиком любил разговаривать со старым садовником, который когда-то две недели проработал у Фридриха Великого.

Гинденбург уже ждал на перроне в Ганновере, когда в 4 часа утра подошёл поезд. Генерал Людендорф, которого он до этого никогда не видел, «энергично вышел» из вагона для доклада. Пока они ехали на восток, он подробно рассказал новому командующему о сложившейся ситуации и о тех распоряжениях, которые уже отдал. Гинденбург выслушал и одобрил. Так, по пути к сражению, сделавшему их знаменитыми, родился союз, который изображался мистической монограммой HL и которому суждено было править имперской Германией до самого её конца. Когда позднее Гинденбург стал фельдмаршалом, он получил прозвище «Маршал Что-ты-скажешь» — из-за привычки вместо ответа на заданный вопрос поворачиваться к Людендорфу со словами: «Was sagst du?» («Что ты скажешь?»)

Характерно, что первым лицом, которого генеральный штаб проинформировал об изменениях в командовании 8-й армии, был начальник железных дорог Восточного фронта генерал-майор Керстен. Днём 22 августа, ещё до того как специальный поезд отправился в путь, он вошёл к Гофману «с крайне озадаченным лицом» и показал ему телеграмму, извещавшую, что на следующий день в Мариенбург прибудет дополнительный поезд, который доставит нового командующего и нового начальника штаба. Именно так Притвиц и Вальдерзе узнали о своём смещении. Часом позднее Притвиц получил личную телеграмму, сообщавшую, что он и Вальдерзе переведены в «список откомандированных». «Он уехал от нас, — вспоминает

Гофман, — без единого слова сожаления по поводу того, как с ним поступили».

Не большую тактичность выказывал с самого начала и Людендорф. Несмотря на то что он хорошо знал Гофмана, прожив с ним в Берлине четыре года в одном доме, когда оба они служили в генеральном штабе, он тем не менее передал свои приказы не через штаб 8-й армии, а по телеграфу каждому командиру корпуса по отдельности. Чтобы быть агрессивным, обычно нет нужды предпринимать осознанное усилие; для офицера генерального штаба вполне естественно быть агрессивным. Гофман и Грюнерт почувствовали себя оскорблёнными. Приём, который они оказали новому начальству в Мариенбурге, как вспоминал Людендорф, «был далеко не радушный».

Предстояло решить основной вопрос, от которого всецело зависела судьба кампании. Должны ли корпуса Макензена и фон Белова оставаться там, где они находились, в качестве защиты от дальнейшего наступления Ренненкампа, или им следует передислоцироваться на юг в соответствии с планом Гофмана, чтобы противостоять правому крылу Самсонова? Надежд на разгром армии Самсонова иным способом, кроме как всеми силами 8-й армии, не было. В тот день, 23 августа, корпус Франсуа заканчивал сложный процесс погрузки на пяти различных железнодорожных станциях между Инстербургом и Кёнигсбергом и направлялся на южный фронт. Потребуются ещё два дня для того, чтобы после многочисленных и сложных железнодорожных манёвров прибыть на место, разгрузиться и изготавиться к бою. Дивизия фон Моргена также находилась в пути, но двигалась по другой ветке. Корпуса Макензена и фон Белова пока были остановлены на день. Конная разведка продолжала доносить о «пассивности» армии Ренненкампа. Её отделяло от армий Макензена и фон Белова всего каких-нибудь 30–40 миль, и, если их двинуть на юг против другой русской армии, при желании Ренненкампа всё ещё мог догнать их и ударить с тыла. Гофман считал, что Макензену и фон Белову следует выступить немедленно. Людендорф, покинувший Намюр всего тридцать шесть часов назад и оказавшийся в новой для себя ситуации, колебался: любое решение могло стать фатальным, а за случившееся пришлось бы отвечать ему. Гинденбург, всего сутки назад пребывавший в отставке, полагался на Людендорфа.

С русской же стороны командование испытывало трудности со сроками, в которые клещи должны были одновременно сомкнуться вокруг противника. Препятствий было такое множество, они так переплетались, что военное руководство с самого начала было настроено крайне пессимистически. Командующий Северо-западным фронтом генерал Жилинский, в чьи обязанности входило координировать движение армий Самсонова и Ренненкампа, не нашёл для этого лучшего способа, как непрестанно торопить их. Поскольку Ренненкампф начал первым и первым завязал бой, Жилинский стал засыпать Самсонова приказами поспешить. В то же время Жилинский и сам получал многочисленные телеграммы, которые присылали французы, осаждавшие российское правительство теми же просьбами. Стремясь ослабить нажим немцев на Западном фронте, французы дали указания своему послу «настаивать на необходимости решительного русского наступления во что бы то ни стало на Берлин». Требования о наступлении русских шли от Жоффра в Париж, из Парижа – в Санкт-Петербург, оттуда – в Барановичи, в ставку верховного главнокомандующего, из ставки они направлялись Жилинскому, а тот передавал их генералу Самсонову, чьи войска шаг за шагом упорно продвигались вперёд.

Командовавший в русско-японской войне кавалерийской дивизией, Самсонов, человек «простой и добрый», как охарактеризовал его английский офицер связи при 2-й армии, не имел никакого опыта, который подготовил бы его к командованию армией из тринадцати дивизий. Он работал с незнакомым ему штабом и дивизионными командирами. Из-за того, что русская армия была организована не по региональному принципу, призванные из запаса солдаты, число которых в полку достигало иногда двух третей, были незнакомы унтер-офицерам и офицерам. Недостаток офицеров и низкий уровень грамотности солдат, а порой и полное её отсутствие, нисколько не облегчали доведение приказов до подразделений. Почти такой же была и ситуация со связистами. На телеграфной станции в Варшаве один штабной офицер обнаружил, к своему ужасу, кипу телеграмм, адресованных 2-й армии и не отправленных потому, что с её штабом не было установлено никакой связи. Офицер собрал их и отправил с посыльным на автомобиле. У штабов корпусов хватило проводов только на то, чтобы установить связь с дивизионными

штабами, связь же между соседями и со штабом армии поддерживалась по радио.

Из-за спешки сроки сосредоточения войск были сокращены на четыре дня, и поэтому организация тыловых служб не была закончена. Одному корпусу пришлось поделиться снарядами с другим, чей обоз ещё не подошёл, нарушив тем самым свои расчёты боеприпасов. Полевые пекарни отсутствовали. Для того чтобы армия могла обеспечивать себя на вражеской территории, требовалось сформировать особые команды для реквизиции продовольствия у населения и высылать их вперёд под прикрытием кавалерийского конвоя, но никаких мер для этого принято не было. Одноконные упряжки были плохо пригодны для перевозки по песчаным дорогам тяжёлых повозок и орудий. В некоторых случаях требовалось выпрягать лошадей из половины повозок, подпрягая их вторыми к другой половине, а потом, преодолев какое-то расстояние, нужно было опять выпрягать лошадей, возвращаться с ними обратно к застрявшим повозкам и вывозить их. И эту процедуру приходилось повторять снова и снова.

Жилинский 19 августа телеграфировал: «Задержка в наступлении 2-й армии ставит в тяжёлое положение 1-ю армию... Поэтому ускорьте наступление 2-й армии и возможно энергичнее развейте её операции». Это было не так. 19 августа Самсонов пересёк границу в соответствии с расписанием, но Жилинский был настолько уверен в его опоздании, что не поверил.

«Армия наступает со времени Вашего приказа безостановочно, делая переходы свыше 20 вёрст по пескам, посему ускорить не могу», – прислал ответ Самсонов. Он сообщил, что солдаты находятся на марше по 12 часов в день без привалов. «... Требую немедленных и решительных действий», – через три дня приказывал Жилинский. Самсонов отвечал, что из-за «сильного утомления войск» большей скорости передвижения достичь невозможно. «Страна опустошена. Лошади давно без овса. Хлеба нет».

В тот день самсоновский XV корпус под командованием генерала Мартоса вошёл в соприкосновение с XX германским корпусом генерала Шольца. Начался бой. Немцы, не получив ещё подкреплений, отступили. Углубившись на германскую территорию на 10 миль, генерал Мартос захватил Сольдау и Нейденбург, в котором всего

несколько часов назад находился штаб генерала Шольца. Когда казачьи патрули вошли в город, жители начали стрелять по ним из окон. Тогда Мартос приказал обстрелять город из пушек, разрушив большинство зданий на главной площади. «Низкорослый и седой», тем вечером он чувствовал себя весьма неуютно, когда его разместили на постой в доме бургомистра, который был покинут бежавшими хозяевами. Оставленные ими семейные фотографии смотрели с каминной полки на незваного гостя, и обед, приготовленный для бургомистра, генералу Мартосу подавала горничная бургомистра.

Двадцать третьего августа, в тот день, когда Людендорф и Гинденбург прибыли на Восточный фронт, русские VI и XIII корпуса, находящиеся справа от Мартоса, захватили несколько деревень. Генерал Шольц, до сих пор не получивший никакой поддержки, если не считать небольших гарнизонов на Висле у себя за спиной, снова отступил. Игнорируя бездействие Ренненкампа на севере, Жилинский продолжал засыпать Самсонова приказами. Он сообщал, что немцы поспешно отступают: «Перед Вами противник оставил, по-видимому, лишь незначительные силы... Энергично наступайте... Движение ваше имеет целью наступление навстречу противнику, отступающему перед армией генерала Ренненкампа с целью пересечь немцам отход к Висле».

Таков был, конечно, первоначальный замысел, но он основывался на том, что Ренненкамф удержит немцев на севере. Фактически же в тот день Ренненкамф потерял соприкосновение с противником. 23 августа он снова начал наступать, но в неправильном направлении. Вместо того чтобы двинуться в сторону, на юг, чтобы соединиться с Самсоновым у озёр, он пошёл прямо на запад, намереваясь отрезать Кёнигсберг, опасаясь, что Франсуа атакует его фланг, если он направится на юг. Хотя этот манёвр не имел ничего общего с первоначальным планом, Жилинский не поправил его. Находясь, как и Ренненкамф, в полном неведении в отношении передвижений немецких войск, он полагал, что они поступают так, как планировали русские, то есть отступают к Висле. И поэтому Жилинский по-прежнему торопил Самсонова.

Вечером 23 августа корпус генерала Мартоса, ободрённый отступлением врага, выдвинулся из Нейденбурга и вышел на позиции, отстоявшие от немецких на 700 ярдов. Корпус Шольца окопался

между деревнями Орлау и Франкенау. Русские получили приказ во что бы то ни стало взять траншеи. Всю ночь они пролежали на исходных позициях, а к рассвету проползли ещё на сотню ярдов вперёд. После сигнала к атаке они в три броска преодолели оставшиеся 600 ярдов, залегая под огнём немецких пулемётов, а потом вскакивая и вновь устремляясь вперёд. Когда волна одетых в белые гимнастёрки фигур с примкнутыми штыками достигла окопов, немцы вылезли из траншей, бросив свои пулемёты, и бежали. По всему фронту подавляющее превосходство немцев в артиллерии губительно отражалось на наступающих. Русский XIII корпус, действовавший справа от Мартоса, то ли из-за плохой связи, то ли из-за неумелого управления войсками, то ли в силу обеих этих причин, не сумел оказать соседнему корпусу необходимую поддержку, поэтому бой не дал русским значительного преимущества. К концу дня немцы отступали, но не бежали. Русские захватили два полевых орудия и пленных, но их собственные потери были велики, составив в общем 4000 человек. Один полк потерял 9 из 16 ротных командиров. Одна рота из 190 человек потеряла 120, в том числе всех офицеров.

Несмотря на то, что германские потери были меньшими, Шольц отошёл перед превосходящими силами ещё примерно на 10 миль, остановившись на ночь со штабом в деревне Танненберг. Самсонов, всё так же подгоняемый Жилинским, который требовал выхода на установленный рубеж, где он смог бы отрезать «отступающего» врага, отдал приказы всем своим корпусам – слева XXIII корпусу, в центре XV и XIII корпусам и слева VI корпусу, – указав исходные рубежи и маршруты на следующий день. За Нейденбургом со связью стало ещё хуже. У одного корпуса закончились запасы проводов, и приказы и донесения передавались верховыми ординарцами. У VI корпуса не оказалось ключа к шифру, которым пользовались в XIII корпусе. В конце концов приказы Самсонова стали передавать открытым текстом по радио.

До этого момента – спустя примерно двадцать четыре часа после прибытия Людендорфа и Гинденбурга – командование 8-й армии ещё не решило, посылать ли корпуса Макензена и фон Белова против правого крыла Самсонова. Гинденбург и офицеры штаба прибыли в Танненберг на совещание с Шольцем, который был «мрачен, но уверен». Затем они вернулись в штаб армии. Тот вечер, писал позднее

Гофман, «был самым трудным из всего сражения». Пока штаб обсуждал обстановку на фронте, офицер-связист принёс перехваченные приказы Самсонова на следующий день, 25 августа. Хотя такая подсказка от противника и не раскрывала намерений Ренненкампа, которые и составляли основной вопрос, из перехваченных сообщений немцы узнали, где можно ожидать русские войска. Чем они и воспользовались. 8-я армия приняла решение бросить все свои силы против Самсонова. Макензену и фон Белову были отданы приказы повернуться к Ренненкампу спиной и начать марш на юг немедленно.

## Глава 16

### Танненберг

Обеспокоенный мыслью о том, что в тылу у него находится Ренненкампф, Людендорф спешил завязать сражение с Самсоновым. Согласно его приказам первая стадия боя должна была начаться 25 августа атакой I корпуса генерала фон Франсуа на Уздау с целью охвата левого фланга Самсонова. Франсуа атаковать отказался. Его тяжёлая артиллерия и некоторые пехотные части, проделав долгий кружной путь от Гумбиннена, до сих пор ещё выгружались и не успели подойти. Атаковать без поддержки всей своей артиллерии и без полного запаса снарядов, как утверждал Франсуа, означало риск неудачи. Если путь отступления для Самсонова останется открытым, он может избежать планируемого для него уничтожения. Франсуа неофициально поддерживали Гофман и генерал Шольц, который, хотя и вёл бой с русскими накануне, заверил Франсуа по телефону, что XX корпус удержит позиции без немедленной поддержки.

Столкнувшись с неподчинением уже на второй день своего командования, взбешённый Людендорф приехал в штаб Франсуа с Гинденбургом и Гофманом. В ответ на настойчивые требования Людендорфа Франсуа заявил: «Если будет отдан приказ, я, конечно, атакую, но солдатам придётся сражаться штыками». Чтобы поддержать свой авторитет, Людендорф отнёс доводы Франсуа и повторил свой приказ. Во время этого разговора Гинденбург хранил молчание и затем послушно уехал с Людендорфом. Гофман, ехавший в другой машине, остановился на железнодорожной станции Монтово, ближайшем пункте, имевшем телеграфную и телефонную связь со штабом. Здесь офицер-связист передал ему две перехваченные русские радиogramмы, обе посланные открытым текстом, одну от Ренненкампфа в 5:30 утра, а вторую от Самсонова в 6 часов утра. Приказ Ренненкампфа на марш, определявший его дальность, показывал, что рубеж 1-й армии на будущий день окажется достаточно далёк от немецких войск и она не сможет угрожать германской армии с тыла. Из приказа Самсонова, являвшегося результатом боя с Шольцем накануне, было ясно, что он неправильно истолковал отход



последнего, приняв его за полное отступление, и теперь русский генерал указывал своим войскам точные направления и сроки преследования, как он думал, пораженного врага.

Никогда ещё, если не считать случая, когда грек-предатель провёл персидские войска в обход Фермопильского ущелья, полководцу в руки не сваливалась такая удача. Излишняя подробность телеграммы заставила генерал-майора Грюнерта, непосредственного начальника Гофмана, отнестись в ней с крайней подозрительностью. Как сообщает Гофман, «он в который раз озабоченно спрашивал меня, следует ли нам верить ей? А почему бы нет?.. Лично я, в принципе, верил каждому её слову». Гофман утверждал, что знал о личной неприязни между Ренненкампом и Самсоновым, истоки которой уходили ещё в годы русско-японской войны, когда он был германским наблюдателем. Гофман утверждал, что сибирские казаки Самсонова, продемонстрировав храбрость в бою, вынуждены были сдать Ентайские угольные шахты из-за того, что кавалерийская дивизия Ренненкампа не поддержала их и оставалась на месте, несмотря на неоднократные приказы, и что в пылу ссоры, разгоревшейся из-за этого на вокзале в Мукдене, Самсонов ударил Ренненкампа. Вполне очевидно, с торжеством заключал Гофман, Ренненкампф не станет слишком торопиться на помощь Самсонову. Поскольку речь идёт скорее не о помощи Самсонову, а о выигрыше – или проигрыше – кампании, весьма сомнительно, чтобы Гофман верил своей сказке, или же он только притворялся, что верит. Впрочем, рассказывал он эту историю всегда с удовольствием.

С перехваченными сообщениями Гофман и Грюнерт бросились на автомобиле за Гинденбургом и Людендорфом. Догнав их машину через несколько миль, Гофман приказал своему шофёру поравняться с ней и прямо на ходу передал телеграммы командующему и начальнику штаба армии. Пришлось остановиться и совместно обсудить создавшееся положение. Получалось, что атаке, которую на следующий день против правого фланга Самсонова должны были начать корпуса Макензена и фон Белова, Ренненкампф ничем помешать не сможет. В соответствии с различными интерпретациями всех четверых генерал Франсуа то мог, то не мог отложить свою атаку до тех пор, пока не подтянется вся его пехота и артиллерия. Не желая

поступить хотя бы каплей авторитета, Людендорф, возвратившись в штаб, повторил данный ранее приказ.

В то же самое время были отданы распоряжения и об осуществлении генерального плана двойного охвата на следующий день, 26 августа. На германском левом фланге корпус Макензена, поддерживаемый Беловым, должен был атаковать правый край Самсонова, который вышел к Бишофсбургу, имея кавалерию у Сенсбурга, то есть находился перед озёрами, где он должен был соединиться с Ренненкампом, оказавшись тот здесь. Но отсутствие Ренненкампа оставляло открытым фланг, который германцы хотели обойти. В центре XX корпус Шольца, теперь поддерживаемый дивизией ландвера и 3-й резервной дивизией генерала фон Моргена, должен был возобновить бой, который он вёл накануне. На правом фланге, как ему и было приказано, Франсуа обязан был начать наступление для охвата левого фланга Самсонова.

Все приказы были разосланы до полуночи 25 августа. На следующее утро, в день начала главного сражения, Людендорфа чуть не хватил удар, когда авиационный разведчик донёс о движении Ренненкампа в сторону Самсонова. Хотя Гинденбург был уверен, что 8-я армия «может без малейшего колебания» оставить против Ренненкампа только заслон, Людендорфа снова охватило беспокойство. «Проклятый призрак Ренненкампа висел на северо-востоке как угрожающая грозовая туча, – писал он. – Стоит только ему достать нас, и мы будем разбиты». Он начал испытывать те же страхи, какие обуревали и Притвица, его мучили сомнения, следует ли бросить все свои силы против Самсонова или же отказаться от наступления против 2-й армии и повернуть против 1-й. Герой Льежа, «похоже, немного растерялся», как с удовольствием отмечал Гофман, который из всех военных мемуаристов наиболее склонен приписывать собственные слабости своим коллегам. Даже Гинденбург признаёт, что «серьёзные сомнения» охватили его начальника штаба и что в этот момент, как он утверждает, именно он успокоил Людендорфа. По словам Гинденбурга, «мы преодолели внутренние противоречия».

Новый кризис возник, когда штаб обнаружил, что Франсуа, всё ещё ожидавший своей артиллерии, не вступил в бой, как ему было приказано. Людендорф безапелляционно требовал начать атаку в полдень. Франсуа отвечал, что исходные позиции, которые, по мнению

штаба, уже были заняты этим утром, занять не удалось; заявление Франсуа вызвало настоящий взрыв негодования в штабе и, как называет его Гофман, «весьма недружелюбный» ответ Людендорфа. Весь день Франсуа с успехом тянул и тянул время, дожидаясь нужного ему момента.

Неожиданный срочный телефонный звонок из генерального штаба в Кобленце прервал споры с Франсуа. Людендорф, которому и без того хватало беспокойства, взял трубку и приказал Гофману по параллельному телефону тоже послушать, «чего они хотят». К своему удивлению, он услышал голос полковника Таппена из оперативного отдела генерального штаба, предлагающего выслать Людендорфу подкрепления в составе трёх корпусов и кавалерийской дивизии. Совсем недавно повоевавший на Западном фронте, а до этого работавший над мобилизационными планами, Людендорф, до последней цифры зная необходимую плотность войск на километр полосы наступления, едва верил своим ушам. Реализация плана Шлиффена зиждилась на том, чтобы использовать каждого имевшегося в распоряжении командования солдата для усиления правого фланга. Что же заставило генеральный штаб в разгар наступления ослабить фронт на целых три корпуса? Смущённый, он ответил Таппену, что подкрепления «не особенно» нужны на востоке и в любом случае придут слишком поздно для участия в сражении, которое уже начинается. Таппен повторил, что может их всё-таки выслать.

Причина этого важнейшего решения крылась в охватившей генеральный штаб панике, когда русские начали своё наступление через две недели после мобилизации вместо шести, которые предсказывали немцы. Но решающим фактором, как сообщает Таппен, была «великая победа» на французских границах, «породившая в генеральном штабе мнение, что решающая битва на Западе уже состоялась и выиграна». Исходя из этого, Мольтке решил 25 августа, «несмотря на представленные возражения», направить подкрепления, чтобы спасти Восточную Пруссию от русских. Несчастья беженцев, юнкерские поместья, оставленные мародёрствующим казакам, слёзные мольбы высокородных дам, обращённые к императрице, о спасении семейных земель и сокровищ, возымели своё действие. Чтобы возбудить чувства и настроить народ против русских, германское

правительство умышленно распределило беженцев по различным городам и в конечном итоге само себя напугало. Председатель бундесрата Восточной Пруссии прибыл в генеральный штаб просить о защите родины. Управляющий Круппа писал в своём дневнике 25 августа: «Люди повсюду говорили: „Ба, да русские никогда не закончат своей мобилизации... Мы можем ещё долго обороняться“. Но сегодня все думают по-другому, и уже слышны разговоры об оставлении Восточной Пруссии». Кайзер был глубоко озабочен. Мольтке сам всегда волновался по поводу слабости обороны на востоке, поскольку, как он писал перед войной, «все успехи на Западном фронте не будут стоить ничего, если русские придут в Берлин».

Два из тех корпусов, которые он отзывал теперь с Западного фронта, участвовали в сражении за Намюр на стыке между германскими 2-й и 3-й армиями, и теперь, после падения бельгийской крепости, генерал Бюлов заявил, что вполне способен обойтись без них. Вместе с 8-й кавалерийской дивизией они были сняты с позиций 26 августа и походным порядком – поскольку бельгийские железные дороги были разрушены, – дошли до ближайших германских железнодорожных станций, чтобы «как можно скорее» отправиться на Восточный фронт. Третий корпус уже прибыл на вокзал в Тионвиле, когда осторожные голоса в генеральном штабе убедили Мольтке отменить свой приказ.

А в восьмистах милях на восток генерал Самсонов готовился возобновить бой 26 августа. На его правом фланге находился VI корпус генерала Благовещенского, вышедший на отведённую для встречи с 1-й армией позицию у озёр, но Самсонов оставил этот корпус заметно изолированным, выдвинув основные силы своей армии значительно западнее. И хотя такое решение уводило его войска дальше от Ренненкампа или, вернее, от того места, где тот должен был находиться, направление выбрано правильно: Самсонов рассчитывал встать между Вислой и немцами, отступавшими, как предполагалось, на запад. Целью Самсонова была линия Алленштейн – Остероде, где русские могли оседлать главную германскую железную дорогу и откуда, как он информировал Жилинского 23 августа, «легче впоследствии наступать в сердце Германии».

Уже было очевидно, что его измученные и полуголодные солдаты, которые, спотыкаясь, едва добрались до границы, вряд ли годились для боя, не говоря уже о марше в сердце Германии. Продовольствие не поступало, солдаты съели неприкосновенный запас, деревни были покинуты, сено и овёс с полей не убраны, мало что можно было достать для людей и лошадей. Все командиры корпусов требовали остановки. Офицер генерального штаба доносил в штаб Жилинского о «мизерном» продовольственном обеспечении войск. «Не знаю, как ещё солдаты выдерживают. Необходимо организовать надлежащие реквизиции». А Жилинский, находившийся в Волковыске, в 180 милях по прямой от линии фронта, а по железной дороге ещё дальше, был слишком далёк, чтобы обратить внимание на эти донесения. Он по-прежнему настаивал на продолжении наступления Самсоновым, «чтобы встретить врага, отступавшего перед генералом Ренненкампом, и отрезать его от Вислы».

Это представление о действиях противника основывалось на донесениях Ренненкампа, а поскольку он не имел соприкосновения с немцами после боя под Гумбинненом, сообщения об их передвижениях были чистейшим вымыслом. Однако Самсонов теперь уже понял, исходя из данных о железнодорожных перевозках и другой разведывательной информации, что перед ним была не отступающая, а передислоцировавшаяся армия, шедшая с ним на сближение. Поступали сообщения о концентрации новой группировки противника – это был корпус Франсуа – против его левого фланга. Сознывая нависавшую слева опасность, Самсонов послал к Жилинскому офицера, чтобы объяснить необходимость повернуть армию на запад вместо продолжения движения на север. С презрением тыловика к опасениям фронтовика Жилинский воспринял предложение Самсонова за желание перейти к обороне и «грубо» ответил офицеру: «Видеть противника там, где его нет, – трусость, а праздновать труса я генералу Самсонову не позволю и требую от него продолжения наступления». Стратегия Жилинского, как заметил один из коллег, походила на игру в «поддавки», целью которой является потеря одной стороной всех своих шашек.

Ночью 25 августа, как раз тогда, когда Людендорф отдавал распоряжения, Самсонов расставил свои силы. Центр, состоявший из XV и XIII корпусов генералов Мартоса и Ключева, вместе с дивизией

генерала Кондратовича из XXIII корпуса должны были осуществлять главное наступление на линию Алленштейн – Остероде. Левый фланг армии предстояло удерживать I корпусу генерала Артамонова при поддержке ещё одной дивизии XXIII корпуса. В пятидесяти милях от них одинокий VI корпус прикрывал правый фланг. При слабой разведке, вести которую было обязанностью русской кавалерии, Самсонов не знал, что корпус Макензена, который последний раз видели бегущим в панике с полей Гумбиннена, реорганизовался и, двигаясь форсированным маршем, вместе с корпусом фон Белова миновал его фронт и приближается к его правому флангу. Сначала Самсонов распорядился, чтобы VI корпус удерживал свои позиции «с целью прикрытия правого фланга армии», а затем передумал и приказал ему «идти полной скоростью» и поддержать наступление центра на Алленштейн. Этот приказ был отменён в последнюю минуту, утром 26 августа, и в силе оставлен предыдущий – о позиционном прикрытии правого фланга. Но к тому времени VI корпус уже находился на марше, направляясь к центру.

Далеко в тылу русское верховное командование предчувствовало беду. 24 августа военный министр Сухомлинов, которого прежде не беспокоил вопрос строительства оружейных заводов, поскольку он не верил в огневую мощь, писал генералу Янушкевичу, безбородому начальнику генерального штаба: «Ради Бога, распорядитесь, чтобы собирали винтовки. Мы отправили сербам 150 тысяч, наши резервы почти исчерпаны, а производство очень незначительно». Хотя некоторые смелые военные от излишнего пыла и готовы были, как тот генерал, провозгласить «Вильгельма – на Святую Елену!», общее настроение в армейских верхах с самого начала войны было невесёлым. Они вступили в войну, не имея уверенности, и до сих пор не приобрели её. Слухи о пессимистических настроениях в генеральном штабе достигли чуткого уха французского посла в Петербурге. 26 августа он узнал от Сазонова мнение Жилинского, что «наступление в Восточной Пруссии обречено на провал». Говорили, что Янушкевич с ним согласен и решительно возражает против наступления. Генерал Данилов, заместитель начальника генерального штаба, настаивал, однако, на том, что Россия не может подвести Францию и должна наступать, несмотря на «несомненный риск».

Данилов уехал вместе с великим князем в ставку в Барановичах. Спокойное место в лесу, где ставке суждено было находиться в течение года, было выбрано потому, что Барановичи стояли на стыке северо-восточной железной дороги с главной линией Москва – Варшава. Отсюда осуществлялось руководство обоими фронтами, германским и австрийским. Великий князь Николай Николаевич со своей свитой, старшими офицерами генерального штаба и военными атташе союзников, жил и ел в вагонах, потому что оказалось, что дом, предназначенный для верховного главнокомандующего, находился слишком далеко от дома начальника станции, где разместились оперативный и разведывательный отделы. Для защиты вагонов от солнца и дождя над ними возвели навесы, между железнодорожных путей проложили также деревянные тротуары, а в пристанционном саду построили лёгкий павильон с занавесками, где летом была столовая. Всё было просто, без всякой помпы, за удобствами не гнались. Помехой оказались только низкие двери, потому что, входя в них, очень высокий великий князь нередко набивал шишки. Поэтому все притолоки белели наклеенными бумажками, чтобы обратить его внимание и напомнить вовремя нагнуться.

Данилов был обеспокоен очевидной потерей Ренненкампомф контакта с противником и плохой связью, в результате чего Жилинский, по-видимому, толком и не знал, где же находятся армии, которые также не имели сведений о местонахождении друг друга. Когда ставке стало известно, что Самсонов 24–25 августа столкнулся с противником и собирается возобновить бой, беспокойство о том, что Ренненкампомф не сможет замкнуть вторую часть клещей, значительно возросло. 26 августа великий князь посетил Жилинского в штабе фронта в Волковыске, требуя, чтобы Ренненкампомф двинулся вперёд. В своём ленивом преследовании, начатом 23 августа, Ренненкампомф прошёл через прежние германские позиции на Ангераппе, которые покинула 8-я армия, передислоцировавшись на юг. Следы поспешного отхода подтвердили его мнение о разбитом противнике. Как вспоминает один из офицеров его штаба, Ренненкампомф считал, что стремительное преследование врага ошибочно, так как он тогда слишком быстро откатится к Висле и Самсонов не сумеет его отрезать. Ренненкампомф не предпринял никаких усилий для того, чтобы следовать за противником, не теряя его из виду, но это упущение,

похоже, совсем не тревожило Жилинского, который легко согласился с версией Ренненкампа о бегстве немцев.

В приказе, направленном Жилинским Ренненкампу на следующий день после визита великого князя, 1-й армии предписывалось преследовать врага, который, как считалось, всё ещё отступает, а также принять меры против возможной вылазки немцев из крепости Кёнигсберг у неё на фланге. Для блокирования Кёнигсберга предполагалось выделить шесть резервных дивизий, но они ещё не подошли. Теперь Жилинский приказывал Ренненкампу обложить Кёнигсберг силами двух корпусов, пока не придут резервные дивизии, и организовать двумя оставшимися корпусами «преследование той части войск противника, которая, не укрывшись в Кёнигсберге, стала бы отступать к Висле». «Предполагая», что противник отступает, Жилинский и представить себе не мог, что немцы угрожают Самсонову, и не торопил Ренненкампа на соединение с правым флангом Самсонова, как изначально планировалось. Он только сообщил командующему 1-й армии, что «совокупные действия» 1-й и 2-й армий должны быть направлены на то, чтобы отжать отступающих немцев от Вислы к морю. Но поскольку обе русские армии ни находились в соприкосновении друг с другом, ни двигались друг другу навстречу, слово «совокупные» вряд ли было уместным.

Утром 26 августа VI корпус армии Самсонова начал свой марш к центру, не зная, что действует по уже отменённому приказу. Одна из дивизий находилась в движении, когда в другой получили известие, что противник обнаружен в шести милях севернее и позади неё. Предположив, что это те вражеские войска, которые отступают от Ренненкампа, командир русской дивизии решил повернуться и атаковать их. На деле же обнаруженным противником был выдвигавшийся на рубеж атаки корпус Макензена. Макензен нанёс удар, отчаянно отбивавшиеся русские обратились за помощью к дивизии, находящейся на марше и отошедшей уже на восемь миль. Она повернула назад и, пройдя в общей сложности девятнадцать миль, к исходу дня натолкнулась на второй германский корпус – корпус Белова. Обе дивизии утратили между собой связь. Командир корпуса генерал Благовещенский «потерял голову» (это выражение было использовано одним английским историком); командир дивизии,



которая весь день вела бой и потеряла 5000 человек и 16 орудий, по собственной инициативе отдал приказ отступать. В течение ночи в результате противоречивых приказов и распоряжений на их отмену суматоха только усилилась, части перепутались на дорогах, и к утру VI корпус был полностью дезорганизован и продолжал отступать. Правое крыло Самсонова повернуло.

Пока всё это происходило, два с половиной корпуса, находившиеся в центре, начали наступление. Части генерала Мартоса были в середине и вели упорный бой. Его сосед слева, дивизия XXIII корпуса, была контратакована и отброшена, оставив открытым фланг Мартоса. Находившийся от него справа XIII корпус генерала Ключева взял Алленштейн, но, узнав, что Мартосу приходится тяжело, двинулся ему на помощь, оставив Алленштейн VI корпусу, который, как думал Ключев, был на подходе. VI корпус так и не появился, и у Алленштейна остался неприкрытый промежуток.

В нескольких милях за линией фронта, в штабе 2-й армии в Нейденбурге, Самсонов обедал со своим начальником штаба, генералом Постовским и английским военным атташе майором Ноксом, когда на улицах города появилась разбитая дивизия XXIII корпуса. Среди солдат ширилась паника; любой звук они принимали за шум преследователей. Дребезжание санитарной фуры вызвало крики «Уланы!». Услышав шум, Самсонов и Постовский, нервный человек в пенсне, известный по непонятным причинам под прозвищем «Сумасшедший мулла», пристёгивая сабли, выбежали на улицу. Первое, что бросилось в глаза, это вид солдат. Люди были «ужасно измучены... три дня они не видели хлеба...» Как сообщил генералам один из полковых командиров: «В течение двух дней солдаты не получали продовольствия, ни один из обозов не подошёл».

Ещё не получив всех сведений о катастрофе, произошедшей с VI корпусом, к концу дня Самсонов понял, что теперь задача состояла не в том, чтобы обойти противника, а в том, чтобы самому избежать охвата немцев. Тем не менее он решил не выходить из боя, а возобновить его на следующий день силами центрального корпуса с целью задержать немцев до подхода Ренненкампа, который бы нанёс решительный удар. Он направил распоряжение генералу Артамонову, командиру I корпуса, держащему фронт против Франсуа на русском левом фланге, «прикрывать фланг армии... любой ценой». Он был

уверен, что «даже сильно превосходящий противник не сможет сломить сопротивление славного I корпуса», добавив, что успех боя зависел от его стойкости.

На следующее утро, 27 августа, наступил столь ожидаемый момент для наступления Франсуа. Наконец-то прибыла его артиллерия. В 4 часа утра, до наступления рассвета, ураганный обстрел обрушился на позиции I корпуса русских в Уздау. Командование германской 8-й армии, с невозмутимо спокойным Гинденбургом, с серьёзным и напряжённым Людендорфом, по пятам за которым тенью следовал Гофман, покинуло временный штаб в Лёбау, в двадцати милях от фронта, и разместилось на холме, откуда Людендорф намеревался «наблюдать на месте» за взаимодействием корпусов Франсуа и Шольца. Не успели они ещё взойти на холм, как поступило донесение о том, что Уздау взят. Почти немедленно пришло второе известие, опровергавшее первое. Продолжала грохотать ведущая обстрел германская артиллерия. В русских окопах солдаты «I славного корпуса», голодные, как и их товарищи по XXIII корпусу, утратившие желание сражаться, бежали от града снарядов. Убитых было не меньше, чем спасшихся. К 11 часам утра I корпус покинул поле битвы, которая была выиграна только одной артиллерией. Людендорф, чьи преждевременные опрометчивые приказы могли бы привести к поражению, почувствовал, что теперь оборона русской 2-й армии «прорвана».

Но 2-я армия ещё не была разбита. Людендорф обнаружил, что «в противоположность другим войнам» здесь сражение за один день не выигрывается. Продвижение Франсуа по-прежнему задерживалось к востоку от Уздау; два русских корпуса в центре продолжали атаковать; над германским тылом всё ещё нависала угроза удара Ренненкампа. Дороги были забиты беженцами и стадами; люди уходили целыми деревнями. Германские солдаты тоже были измучены, и им тоже чудилось преследование в цокоте копыт. Крики «Они идут!», прокатившись по колонне, превращались в паническое: «Казачи!..» Возвратившись в Лёбау, главное командование в ужасе узнало, что корпус Франсуа бежит и «остатки» его частей уже в Монтове. Срочный телефонный разговор подтвердил, что отступающие войска I корпуса, группы павших духом солдат, действительно обнаружены перед железнодорожной станцией. Если фланг Франсуа поддался, то

тогда всё сражение может быть проиграно. На какой-то жуткий момент перед глазами штаба возникло видение проигранной кампании, отступления за Вислу и оставления Восточной Пруссии, то самое видение, которое ужасало Притвица. Позднее было установлено, что солдаты в Монтове принадлежали к одному батальону, бежавшему из-под Уздау.

В конце дня правда о том, что немцы вовсе «не отступают за Вислу», а наступают на Самсонова, дошла всё-таки до штаба Жилинского. Он наконец телеграфировал Ренненкампу, что 2-я армия атакована и ведёт тяжёлый бой и что он должен помочь, «двинув свой левый фланг вперёд, насколько возможно», но указанные рубежи были много западнее и выдвинуты недостаточно далеко, а о безотлагательности действий или форсированных маршах указаний не поступило.

Сражение шло уже третий день. Две армии уже ввели в бой все наличные силы, они накатывались друг на друга, схватившись, расходились и снова сталкивались в боях, проходивших на фронте протяжённостью в сорок миль. Один полк продвигался вперёд, его сосед, наоборот, отступал, в образовавшийся разрыв вклинивался противник или же, непонятно почему, оставлял промежуток незанятым. Грохотали пушки, кавалерийские эскадроны, пехотные части, тяжёлые батареи на конной тяге двигались через деревни и леса, между озёрами, по полям и дорогам. Снаряды рвались на улицах деревень, сметали дома и фермы. Наступавший под прикрытием артиллерии батальон скрывался за завесой дыма и тумана, уйдя навстречу неизвестной судьбе. Колонны пленных, конвоируемых в тыл, мешали продвижению наступающих войск. Бригады брали позиции или сдавали их, подключались не к тем линиям связи, смешивались с чужими дивизиями. Командиры не знали, где их части, сновали штабные автомобили, в небе летали германские самолёты, стараясь собрать сведения об обстановке и перемещениях частей; командующие армиями пытались понять, что происходит, и отдавали приказы, которые могли быть не получены, или не выполнены, или не соответствовали реальному положению дел, когда всё же добирались до линии фронта. Триста тысяч человек выступили друг против друга, маневрировали и устало контрманеврировали, стреляли из винтовок и пушек, напивались, если им везло и они занимали деревню, или

сидели на земле в лесу с товарищами по оружию, когда наступала ночь; а на следующий день бой начинался снова. Так шло огромное сражение на Восточном фронте.

На рассвете 28 августа генерал Франсуа начал бой ещё одним шквальным артиллерийским налётом. Людендорф приказал ему повернуть левее, дабы облегчить нажим на корпус Шольца, который, как полагал начальник штаба армии, был «сильно измотан». Игнорируя приказ, Франсуа придерживался строго восточного направления, намереваясь завершить охват фланга Самсонова и отрезать ему пути отступления. Теперь, после выказанного Франсуа накануне неповиновения, которое принесло успех, Людендорф чуть ли не упраскивал его подчиняться приказам. I корпус «окажет самую большую услугу армии, выполняя эти указания», – говорил он. Не обращая на просьбы Людендорфа внимания, Франсуа двигался на восток, выставляя на дорогах заслоны, чтобы не дать противнику прорваться.

Беспокоясь за центр, Гинденбург и Людендорф ожидали исхода сражения в штабе Шольца у деревни Фрёгенау, находящейся в двух милях от ещё меньшей деревушки с названием Танненберг. Приказы помечались «Фрёгенау». Людендорфа опять мучили опасения по поводу Ренненкампа. Озабоченный положением корпуса Шольца, обозлённый на Франсуа и крайне недовольный очень «ненадёжной полевой телефонной связью», соединявшей его с этим непослушным командиром, не имея вообще никакой телефонной связи с корпусами Макензена и фон Белова на левом фланге, начальник штаба армии был «далеко не удовлетворён». Макензен и Белов, сбитые с толку противоречивыми приказами, требовавшими двигаться сначала в одном направлении, а потом в другом, отправили в штаб армии офицера на аэроплане, чтобы тот выяснил, что к чему. Посланца встретил «далеко не дружественный приём», поскольку ни один из корпусов не находился там, где должен был быть по плану. Ко второй половине дня, однако, оба продвигались уже вполне удовлетворительно: Макензен преследовал сломленное правое крыло русских, а фон Белов шёл к промежутку у Алленштейна, для удара по русскому центру. Теперь продвижение Франсуа казалось более оправданным, и Людендорф отдал ему приказ двигаться в том

направлении, в каком командир корпуса уже действовал и без этого приказа.

И в тот момент, когда германский штаб начало охватывать приятное и тёплое предчувствие грядущей победы, вдруг пришло сообщение о том, что армия Ренненкампа находится на марше, и сомневаться в этом не приходится. Но то расстояние, какое русские пока преодолели за день, внушало уверенность, что они опоздают. Действительно, когда находившийся ближе всех корпус Ренненкампа разбил на эту ночь бивак, то от Бишофсбурга, где двумя днями ранее был разбит VI корпус Самсонова, его всё ещё отделяло 20 миль. Медленно двигаясь по вражеской территории, к концу следующего дня, 29 августа, Ренненкампа прошёл всего лишь около 10 миль на запад, а не на юг, и он до сих пор не установил контакта с Самсоновым. Этого сделать ему так и не удалось.

Поражение «славного I корпуса», на чьё сопротивление так надеялся Самсонов, вдобавок к разгрому VI корпуса на правом фланге предвещало конец. Оба фланга армии Самсонова были смяты; его кавалерия, единственное, в чём он превосходил немцев, развёрнутая слишком широко по флангам, не принесла в сражении пользы и в настоящий момент была изолирована. Подвоз боеприпасов и продовольствия, а также связь были в полном хаосе; сражаться продолжали только стойкие XV и XIII корпуса. В своём штабе в Нейденбурге он уже слышал грохот приближающихся орудий Франсуа. Самсонову казалось, что ему остаётся сделать только одно. Он телеграфировал Жилинскому, что выезжает на поле боя, а потом, приказав радиопередатчик и личные вещи отправить в Россию, оборвал связь с тылом. Причины принятого решения, как потом говорили, «он унёс с собой в могилу», но их нетрудно понять. Армия, которая была ему поручена, рассыпалась у него в руках. Он снова стал кавалерийским офицером и командиром дивизии и сделал то, что хорошо знал. В сопровождении семерых членов своего штаба, на лошадях, взятых у казаков, он ускакал в бой, чтобы лично командовать под огнём, в седле, где он чувствовал себя как дома.

Двадцать восьмого августа на окраине Нейденбурга он попрощался с майором Ноксом. Самсонов сидел на земле, окружённый своим штабом, и изучал карту. Встав, генерал отвёл Нокса в сторону и сообщил, что положение «критическое». Он сказал, что должность и

долг призывают его быть с армией, но поскольку долг Нокса заключается в том, чтобы правильно информировать своё правительство о происходящем на русском фронте, то он советует ему возвратиться, «пока ещё есть время». Самсонов сел на коня и, повернувшись в седле, промолвил с задумчивой улыбкой: «Сегодня удача на стороне врага, в другой раз она будет на нашей», – и ускакал.

Позднее генерал Мартос, руководивший боем в своём секторе с вершины холма и только что приказавший отвести в тыл колонну плененных немцев, очень удивился, когда увидел командующего армией верхом в сопровождении штаба. Узнав, что уходящая колонна – пленные, Самсонов подъехал к Мартосу, нагнулся с седла, обнял его и сказал печально: «Вы один спасёте нас». Но он знал, как обстоят дела, и в ту же ночь отдал приказ об общем отступлении тому, что осталось теперь от 2-й армии.

Отступление, продолжавшееся в течение двух последующих дней, 29 и 30 августа, было мучительным и ужасным, сущей катастрофой. Два корпуса центра, которые сражались дольше и лучше всех, продвинувшись дальше всех, отступали последними, имея меньше всего шансов оторваться от противника, и почти полностью угодили в ловушку предпринятого немцами охвата. Корпус генерала Ключева всё ещё наступал, когда Белов прорвался справа от него через образовавшийся у Алленштейна разрыв и завершил обход русского центра. Корпуса Ключева и Мартоса безнадежно бились в лесах и среди болот, совершая бесплодные марши и напрасные манёвры в попытках перегруппироваться и организовать оборону, в то время как германское кольцо смыкалось всё плотнее. В болотистой местности с редкими насыпными дорогами немцы на каждом перекрёстке установили кордоны с пулемётами. Последние четыре дня солдаты корпуса Мартоса просто голодали. За последние сорок часов своего существования корпус Ключева прошёл сорок две мили вообще без всякого довольствия; лошади были непоены и некормлены.

Двадцать девятого августа генерал Мартос и несколько членов его штаба с охраной из пяти казаков пытались выбраться из леса. Повсюду стреляли. Генерал-майор Мачуговский, начальник штаба Мартоса, был убит пулемётной очередью. Постепенно погибли почти все, и кроме генерала в живых остались лишь один штабной офицер и два казака. Так как походный ранец был у адъютанта, а тот теперь пропал без

вести, то Мартос с самого утра не ел, не пил и не курил. Одна из обессиленных лошадей пала, остальных вели в поводу. Наступила ночь. Путники пытались ориентироваться по звёздам, но небо было скрыто облаками. Послышался шум приближавшихся солдат, и беглецы решили, что это свои, так как лошади тянули в том направлении. Неожиданно вспыхнул германский прожектор и стал шарить по лесу, нащупывая их. Мартос попытался ускакать, но лошадь под ним убили. Он упал, и его схватили германские солдаты.

Потом в «грязной маленькой гостинице» в Остероде, куда был доставлен пленный Мартос, появился Людендорф и, говоря на чистом русском языке, насмеялся над побеждёнными и хвалился, что теперь русская граница открыта для вторжения. Затем вошёл Гинденбург и, «увидя меня взволнованным, долго жал мне руки, прося успокоиться». На плохом русском языке с сильным акцентом он обещал вернуть Мартосу саблю и затем, поклонившись, сказал: «Я желаю вам более счастливых дней».

В лесах к северу от Нейденбурга остатки корпуса Мартоса были уничтожены или взяты в плен. Из XV корпуса только одному офицеру удалось вернуться в Россию. Милых в десяти к востоку от Нейденбурга остатки XIII корпуса генерала Ключева, которого тоже взяли в плен, заняли круговую оборону. С четырьмя орудиями, захваченными в лесу у немцев, они отбивались от врага всю ночь 30 августа, пока хватило снарядов и патронов и большинство не было убито.

Последнюю русскую атаку в тот день с большой отвагой провёл генерал Сирелиус, занявший место смещённого командира I корпуса генерала Артамонова. Собрав разрозненные полки и части артиллерии, не участвовавшие в сражении, что составило в общей сложности примерно дивизию, он, предприняв наступление, прорвал позиции Франсуа и снова взял Нейденбург. Но было слишком поздно и город удержать не удалось. Это последнее действие 2-й русской армии было осуществлено без ведома и не по приказу генерала Самсонова, так как он был мёртв.

Ночью 29 августа он, также как и Мартос, попал в окружение в другой части леса. Проехав через лес, примыкавший к железной дороге, он и его спутники достигли Вилленбурга, находившегося всего в семи милях от русской границы, но немцы прибыли туда раньше них. Генерал и его группа дождались в лесу наступления темноты и затем,

поскольку верхом по вязкому болоту было не проехать, двинулись пешком. Спички кончились, и поэтому они не могли сверить свой путь по компасу. Брели в темноте, взявшись за руки, чтобы не потеряться. Самсонов, страдавший от астмы, заметно слабел. Он всё повторял Постовскому, своему начальнику штаба: «Царь доверился мне. Как я встречусь с ним после такого разгрома?» Пройдя шесть миль, отряд остановился на отдых. В час ночи Самсонов отполз под сосны, где было темнее. В тишине ночи щёлкнул выстрел. Постовский сразу же понял, что это значило. Ещё раньше Самсонов сказал ему о своём намерении совершить самоубийство, но Постовский думал, что отговорил его. Теперь он был уверен, что генерал мёртв. Офицеры штаба пытались найти тело в темноте, но не смогли. Они решили дожидаться утра, но, когда небо стало светлеть, услышали приближавшихся немцев. Русским пришлось отказаться от поисков, они направились к границе, где встретили казачий патруль и в конце концов оказались в безопасности. Тело Самсонова было найдено немцами и похоронено в Вилленбурге, откуда в 1916 году благодаря помощи Красного Креста вдова Самсонова перевезла его для похорон в России.

Завеса безмолвия и неизвестности окутала 2-ю армию. Радио в штабе Жилинского молчало; в течение двух дней от Самсонова ничего не было слышно. Теперь, когда уже было слишком поздно, Жилинский приказал кавалерии Ренненкампа прорваться через германские позиции у Алленштейна и выяснить, что случилось со 2-й армией. Но эта задача не была выполнена, потому что 8-я армия, уничтожив одну половину клещей, которые должны были сломить её, уже разворачивалась, чтобы теперь расправиться с другой.

Едва ли не с ужасом и трепетом осознавали немцы масштабы своей победы. Количество убитых и пленных и захваченных орудий противника было огромно: в плен попало 92 000 человек, а по некоторым данным, даже больше. Потребовались шестьдесят поездов и целая неделя после сражения, чтобы перевезти их в тыл. Из шестисот орудий, которыми располагала 2-я армия, было потеряно, по разным подсчётам, от трёхсот до пятисот. Доставшихся лошадей табунами сгоняли в поспешно сооружённые загоны. Хотя и не существует какой-то твёрдо установленной цифры числа убитых и раненых, она превышает 30 000 человек. Практически перестали



существовать XV и XIII корпуса, из них гибели и плена удалось избежать всего пятидесяти офицерам и двум тысячам ста солдатам. В двух фланговых корпусах, VI и I, отступивших первыми, уцелело приблизительно по дивизии в каждом, в XXIII корпусе – около бригады.

Победители тоже понесли тяжёлые потери; усталость и шестидневное напряжение непрерывных боёв сказывались на нервах. Когда Нейденбург, переходивший из рук в руки четыре раза, был снова взят немцами 31 августа, солдат военной полиции попытался остановить автомобиль, на большой скорости пересекавший главную площадь. Когда машина, в которой находился генерал фон Морген, не остановилась на окрик «стой!», нервный полицейский завопил: «Русские!» и выстрелил. Вслед за ним по автомобилю грохнул залп, в результате был убит шофёр и ранен офицер, сидевший рядом с генералом. В ту же самую ночь, едва не расстрелянный несколько часов назад своими же солдатами, генерал был разбужен денщиком, который с воплем «Русские пришли!» выскочил из дома, схватив одежду генерала. К своему «крайнему раздражению», фон Моргену пришлось выбежать на улицу, затягивая ремень с кобурой револьвера поверх нижнего белья.

Для очень многих, за исключением нескольких офицеров, то было первое боевое крещение огнём, и возбуждённое воображение под влиянием страха, волнения, усталости и недельного кровопролитного сражения породило фантастическую, ставшую легендой выдумку о том, будто бы тысячи русских тонули в болотах и их по самые шеи затягивало в трясину и зыбучие пески, а немецким солдатам приходилось приканчивать их из пулемётов. «Их крики будут звучать у меня в ушах до самого смертного дня», – признавался один офицер своим друзьям в Германии. «Широко распространившийся рассказ о русских, загнанных в болота и погибших там, – не более чем миф, – писал Людендорф, – так как поблизости не было ни одного болота».

Когда стали известны размеры поражения русских, германское командование стало считать, что оно одержало, как писал Гофман в своём дневнике, «одну из величайших побед в истории». Было решено, если верить Гофману, то по его, а если Людендорфу, то по «моему предложению», назвать сражение «битвой под Танненбергом» в качестве запоздалой компенсации за давнее поражение, которое здесь

понесли тевтонские рыцари от поляков и литовцев. Несмотря на свой второй триумф, ещё больший, чем под Льежем, Людендорф не торопился присоединиться к всеобщему ликованию, «поскольку нервное напряжение, которое у меня вызывало неведение о намерениях армии Ренненкампа, было слишком велико». Однако теперь он мог с большей уверенностью повернуться против Ренненкампа, прибавив к своим силам два дополнительных корпуса, которые Мольтке посылал ему с Западного фронта.

Своим триумфом Людендорф во многом был обязан другим: Гофману, который, хотя и исходил из неправильных предпосылок, но был твёрдо уверен, что Ренненкампф откажется от преследования, и который разработал план и составил приказы, повернувшие 8-ю армию на Самсонова; Франсуа, который не подчинился приказам Людендорфа и осуществил охват левого фланга русской 2-й армии; Гинденбургу, который в критический момент успокоил Людендорфа; и наконец и прежде всего фактору, который не был учтён при тщательном германском планировании, – русской радиосвязи. Позднее Людендорф зависел в своих решениях от ставшего для него уже привычным перехвата русских телеграмм, которые его штаб постоянно собирал, дешифровывал или переводил на немецкий и представлял ему для ознакомления ежедневно в 11 часов вечера. Если штабные офицеры почему-то опаздывали, Людендорф начинал нервничать и лично появлялся у связистов, чтобы выяснить, в чём дело. Гофман полагает, что в победу под Танненбергом огромный вклад внесли именно перехваченные радиogramмы. «У нас был союзник – наш враг, – говорил он. – Мы знали все планы противника».

Для публики же спасителем Восточной Пруссии был номинальный командующий – Гинденбург. Престарелый генерал, вытщенный из отставки в старомодном синем мундире, благодаря победе у Танненберга превратился в титана. Триумф в Восточной Пруссии, невероятно раздутый по сравнению с его настоящим значением, создал для Германии миф Гинденбурга. Даже хитрое злоязычие Гофмана не сумело повредить ему. Позднее, уже в качестве начальника штаба Восточного фронта,водя гостей по полям Танненберга, Гофман рассказывал: «Вот здесь фельдмаршал спал перед сражением, здесь он спал после сражения, а вот здесь – во время сражения».

В России суть катастрофы не сразу дошла до общественного сознания, её остроту притупила огромная победа, одержанная в то же самое время над австрийцами на галицийском фронте. В количественном отношении она даже превосходила ту, которую одержали немцы под Танненбергом, и произвела на врага такой же эффект. В череде сражений, происходивших с 26 августа по 10 сентября и закончившихся битвой при Лемберге, русские убили и ранили 250 000 человек, захватили 100 000 пленных, заставили австрийцев за восемнадцать дней отступить на 150 миль, нанесли сокрушительное поражение австро-венгерской армии, от которого особенно сильно пострадал её офицерский корпус и от которого она так никогда уже не оправилась. Это обескровило Австро-Венгрию, но не могло компенсировать понесённые потери или исправить последствия Танненберга. Больше не существовало русской 2-й армии, генерал Самсонов был мёртв, а из пяти его командиров корпусов двое попали в плен, а остальные были смещены с постов как некомпетентные и несоответствующие должности. Во время последовавшего вскоре сражения у Мазурских озёр немцы изгнали войска генерала Ренненкампа из Восточной Пруссии; он «потерял голову» – на сей раз это привычное выражение употребил Жилинский, – бросил армию и на автомобиле умчался к границе, завершив тем самым крах своей репутации и заслужив позорное изгнание из армии, которое повлекло за собой и смещение Жилинского. В телеграмме великому князю Николаю Николаевичу Жилинский обвинял Ренненкампа в паническом бегстве. Это возмутило великого князя, считавшего, что основная вина в поражении лежит на Жилинском. Поэтому он доложил царю, что это Жилинский «сам потерял голову и не способен управлять боевыми действиями», в результате чего к жертвам сражения при Танненберге прибавилась ещё одна.

Это сражение обнажило плохую подготовку войск, недостатки снабжения, некомпетентность генералов и слабую организацию. Гучков, ставший следующим военным министром, утверждал, что после Танненберга у него «сложилось твёрдое убеждение в том, что война была проиграна». Поражение прибавило смелости прогерманским группам, которые энергично начали в открытую агитировать за выход из войны. Граф Витте был уверен, что война

погубит Россию, а Распутин – что она приведёт к краху режима. Министерства юстиции и внутренних дел представили царю меморандум, настаивая на скорейшем мире с Германией на том основании, что продолжение союзнических отношений с западными демократиями будет фатальным. Возможность не замедлила представиться. В скором времени Германия сделала России предложение о заключении сепаратного мира, и переговоры об этом продолжались в течение 1915 и 1916 годов. Либо из-за верности союзникам и Лондонскому пакту, боязни договора с Германией, нечувствительности к росту захлёстывающих страну революционных волнений или же просто из-за паралича власти русские так и не приняли предложения Германии. Война продолжалась, хаос всё нарастал, боеприпасов, снаряжения, материальных ресурсов становилось всё меньше.

После катастрофы со словами сочувствия к русскому главнокомандующему прибыл французский военный атташе, генерал маркиз де Лагиш. «Мы счастливы принести такие жертвы ради наших союзников», – галантно ответил великий князь. Самообладание перед лицом бедствий входило в кодекс поведения Николая Николаевича, и русские, зная о своих неисчислимых людских ресурсах, обычно принимали чудовищные человеческие потери с относительным спокойствием. Русский «паровой каток», на который западные союзники возлагали столько надежд и который после разгрома на Западном фронте они ждали с ещё большим волнением, развалился по дороге на части, словно бы был скреплён булавками. Своё движение он начал раньше времени и слишком быстро нашёл свой конец и поэтому, как и сказал великий князь, оказался принесён в жертву ради союзников. Однако, чего бы эта жертва ни стоила России, французам она дала то, чего они так желали: уменьшение германских сил на Западном фронте. Тех двух корпусов, которые опоздали к Танненбергу, на Марне не было.

## Глава 17

### Пожары Лувена

В 1915 году появилась написанная в эмиграции книга Эмиля Верхарна, ведущего бельгийского поэта, чья жизнь до 1914 года была блестящим служением социалистическим и гуманистическим идеалам, которые, как тогда верили, смогут стереть границы между странами. В предпосланном книге посвящении он писал: «Пишущий эту книгу был когда-то пацифистом... Для него не было большего или более неожиданного разочарования. Это настолько сильно коснулось его, что он почувствовал себя другим человеком. И всё же, как ему кажется, в этом вызванном в нём состоянии ненависти, унижающем его сознание, он посвящает эти страницы с глубоким чувством человеку, которым он был когда-то».

Из всего, что было когда-то написано об этом, строки Верхарна являются наиболее ярким примером того, что война и оккупация делают с сознанием очевидца. Когда завершилось Пограничное сражение, война продолжалась всего двадцать дней и за это время породила как среди воюющих, так и нейтральных страсти, точки зрения, идеи и вопросы, которые определили будущий ход войны и будущее самой истории. Мир, каким он был раньше, и идеи, формировавшие его, исчезли, как прошлое Верхарна, в событиях августа и последующих месяцев. Все составные – братство социалистов, переплетение финансов и торговли, другие экономические факторы, – всё то, что должно было сделать войну невозможной, ничто не сработало, когда пришло время. Национализм, как бешеный порыв ветра, налетел и вымел всё.

Люди вступали в войну с различными чувствами и идеями. Среди её участников одни пацифисты и социалисты сердцем были против войны, другие, вроде Руперта Брука, приветствовали её. «Да будь благословен Господь, сравнивший нас единым часом», – писал он в своём стихотворении «1914». Ему представлялось, что сам ход времени

...толкнул тебя в туманы  
Безжалостного скучного мирка...

Честь... ступает снова...  
И Благородство с ней шагает в ногу,  
И наш черёд наследства наступил.

Немцы испытывали те же чувства. Война должна была быть, писал Томас Манн, «очищением, освобождением, великой надеждой. Победа Германии будет победой души. Германская душа, – пояснял он, – противоположна пацифистскому идеалу цивилизации, поскольку не является ли мир элементом, разрушающим общество?» Эта концепция, зеркальное отражение основной германской милитаристской теории о том, что война облагораживает, была очень недалеко от восторженных сентенций Руперта Брука, и в то время её придерживалось немало уважаемых людей, в том числе и Теодор Рузвельт. К 1914 году, не считая окраинных войн на Балканах, Европейский континент не переживал подобных потрясений на протяжении жизни целого поколения, и, по мнению одного наблюдателя, приветственное отношение к войне проистекало в какой-то степени из «неосознанной скучности мира».

Там, где Брук видел чистоту и благородство, Манн усматривал более реальную цель. Будучи, как он утверждал, самыми образованными, дисциплинированными и миролюбивыми из всех народов, немцы заслуживают того, чтобы быть и самыми сильными, чтобы господствовать, создать «германский мир» из того, «что со всякими возможными оправданиями называется германской войной». Хотя Манн писал эти строки в 1917 году, он вспоминал 1914 год, который должен был стать германским 1789-м, установлением германской идеи в истории, воцарением *Kultur*, осуществлением германской исторической миссии. В августе, сидя в кафе в Ахене, один немецкий учёный сказал американскому журналисту Ирвину Коббу: «Мы, немцы, являемся наиболее трудолюбивой, честной и лучше всех образованной нацией в Европе. Россия защищает реакцию, Англия – эгоизм и вероломство, Франция отстаивает декадентство, Германия –

прогресс. Германская *Kultur* просветит мир и после этой войны другой не будет».

Немецкий делец, сидевший с ними, имел перед собой более конкретные цели. Россия должна быть подчинена настолько, чтобы славянская угроза никогда больше не нависала над Европой; Великобритания должна быть полностью повержена и лишена флота, Индии и Египта; Франция обязана будет заплатить такую контрибуцию, от которой она никогда бы не оправилась; Бельгия должна отдать своё побережье, поскольку Германии нужны порты в проливе; Япония будет наказана в своё время. Союз «всех тевтонских и скандинавских народов в Европе, включая Болгарию, будет пользоваться абсолютным господством от Северного до Чёрного моря. У Европы будет новая карта, в центре которой – Германия».

Подобные разговоры, звучавшие ещё за несколько лет до войны, отнюдь не способствовали распространению благоприятного отношения к Германии. «Мы часто действовали миру на нервы», признавался Бетман-Гольвег, объявляя о праве Германии вести за собой мир. Это, как пояснял он, истолковывалось как стремление к мировому господству, но на самом деле было «неуравновешенной запальчивостью мальчишества».

Но мир таковой её не считал. В германском тоне слышалась дерзость, содержащая скорее угрозу, чем мальчишество. У мира «разболелась голова, и ему надоекло...», писал Бернард Шоу в 1914 году, германское бряцание оружием. «Мы были крайне раздражены прусским милитаризмом, его презрением к нам, человеческому счастью и здравому смыслу, и мы просто поднялись и пошли против него».

Одни сделали это с ясным пониманием задач, удовлетворяющих по крайней мере их; другие – только с туманным представлением, почему и куда; третьи вообще ничего себе не представляли. Герберт Уэллс принадлежал к первой категории. Врагом, объявил он в печати 4 августа, является германский империализм и милитаризм, «чудовищное тщеславие, порождённое в 1870-м». Победа Германии, «крови и оружия, прославляющих тевтонский киплингизм», означала бы «постоянное воцарение бога войны над всеми человеческими делами». Поражение Германии «может» – Уэллс не говорил «должно» – «открыть путь к разоружению и миру во всём мире». Куда

слабее представлял себе все эти материи английский резервист, по пути на сборный пункт объяснявший одному пассажиру: «Я еду сражаться с этими чёртовыми бельгийцами, вот куда я еду». К третьей категории, сражавшейся без каких-либо целей, принадлежал майор сэр Том Бриджес, командир эскадрона, солдаты которого убили первых немцев на дороге в Суаньи. «К Германии не было ненависти, – говорил он. – Мы были готовы сражаться с любым врагом... пусть даже это были бы французы. Нашим девизом было: „Что нужно сделать? Мы сделаем это“».

Лелеявшим старые счёты французам объясняться необходимости не было. Германцы стояли у их ворот, и этого было достаточно. Однако здесь тоже ощущалась «великая надежда». Бергсон полагал, что, хотя полная победа союзников потребует «огромных жертв», их результатом вместе с «обновлением и расширением Франции будет моральная регенерация Европы. Тогда со стремлением к подлинному миру Франция и человечество смогут начать марш вперёд, и только вперёд, вперёд, к миру и справедливости».

Но это были не точки зрения государственных деятелей или целых масс, а частные мнения отдельных лиц. Ни одно из них ещё не утвердилось, как это случилось потом. Ещё не укоренилась национальная ненависть к Германии. Среди первых и наиболее запомнившихся военных карикатур в «Панче», появившихся 12 августа, была одна под названием «Прохода нет». Она изображала маленького решительного бельгийского мальчика в деревянных башмаках-кломпах, преградившего путь Германии – толстому старику-капельмейстеру, из кармана которого свисала гирлянда сосисок. Пока ещё он был смешным, не страшным. В те первые дни войны другой излюбленной темой был кронпринц, которого изображали таким хлыщом с очень тонкой талией, высоким тугим воротником, в фуражке набекрень и выражением глупого и пустого самодовольства на лице. Но таким он недолго продержался на страницах. Война становилась всё серьёзнее, и его сменил более всех известный немец, главный военный Германии, чья подпись стояла под каждым приказом генерального штаба, и поэтому он казался автором всех германских действий – кайзер. Уже больше не довоенный злой гений, потрясающий саблей, теперь он изображался мрачным и злобным, сатанинского вида тираном, жестокость и враждебность которого



сквозят в каждой линии. Эта перемена началась в августе и от спокойного заявления Бриджеса: «К Германии не было ненависти» перешла к совсем иному отношению – как писал Стефен Маккенна в 1921 году: «Среди тех, кто помнит, само имя немца отдавало вонью, а его присутствие было возмутительным». Не какой-нибудь псевдогерой и сверхпатриот, а трезвый и вдумчивый школьный учитель, мемуары которого являются общественным документом своего времени, Маккенна регистрирует изменения в чувствах, препятствовавших любому урегулированию и заставлявших сражаться до полной победы. Изменения эти были порождены тем, что случилось с Бельгией.

Поворот событий в Бельгии явился результатом германской теории устрашения. Клаузевиц предписывал террор в качестве соответствующего метода для сокращения сроков войны – вся его теория войны основывается на том, что война должна быть короткой, активной и решительной. Гражданское население не исключается из её сферы, наоборот, оно должно испытывать тяготы войны и в результате воздействия на него самыми сильными мерами должно заставить своих руководителей заключить мир. Поскольку целью войны является разоружение противника, при продолжении войны «мы должны поставить его в положение более тяжёлое, чем жертва, которую мы от него требуем». Это на первый взгляд правильное предположение годилось для научной теории войны, которая в течение девятнадцатого века была самым лучшим, что мог создать интеллект германского генерального штаба. Её уже применили на практике в 1870 году, когда после Седана вспыхнуло французское сопротивление. Жестокость репрессий, к которым тогда прибегли немцы, расстреливая пленных и гражданских лиц по обвинению во франтирёрстве, принесла им победу через шесть недель, изумив мир столь скорыми военными успехами Пруссии и заставив его ошеломлённо разинуть рот. Внезапно все поняли, что под немецкой овечьей шкурой торчат волчьи клыки. Хотя 1870 год увенчал теорию и практику устрашения выводом, что он усугубляет антагонизм, порождает сопротивление и в конечном счёте затягивает войну, германцы по-прежнему придерживались его. Как сказал Шоу, немцы – народ, презирающий здравый смысл.

В Льеже 23 августа были расклеены объявления за подписью генерала фон Бюлова, оповещавшие, что население Анденна, небольшого городка на Маасе недалеко от Намюра, нападавшее на его

войска «самым предательским образом», было наказано «с моего разрешения, как командующего этими войсками, путём полного сожжения города и расстрела 110 человек». Тем самым население Льежа извещалось, что его постигнет та же судьба, если оно последует примеру соседей.

Сожжение Анденна и кровавая расправа – бельгийцы считают, что было убито 211 человек, а не 110, – имели место 20–21 августа во время битвы под Шарлеруа. Стремившиеся следовать разработанным графикам и недовольные задержками из-за взорванных бельгийцами мостов и железнодорожных путей, командиры Бюлова без всякой жалости прибегали к карательным мерам в занятых деревнях. В Сейле, находящейся на другом берегу реки напротив Анденна, было расстреляно 50 жителей, а дома преданы разграблению и огню. Тамине, захваченный 21 августа, грабить начали в тот же вечер, сразу после боя, и продолжались бесчинства всю ночь и весь следующий день. Обычная оргия разрешённого мародёрства, сопровождавшаяся пьянством, привела распоясавшихся солдат в состояние, близкое к первобытному, что имело целью усилить эффект устрашения. На второй день в Тамине на главную площадь перед церковью согнали около 400 горожан, по которым солдаты открыли стрельбу как по мишеням. Кто не погиб от пуль, того добились штыками. На местном кладбище стоят 384 могильных камня с надписью: «1914. Fusillé par les Allemands» («1914. Расстрелян немцами»).

Когда армия Бюлова взяла Намюр, где проживало 32 000 человек, на улицах были расклеены объявления о том, что с каждой улицы взято по десять заложников, которые будут расстреляны, если хоть кто-то из жителей выстрелит в немца. Захват и расстрел заложников практиковались так же систематически, как и реквизиции продовольствия. Чем дальше продвигались немцы, тем больше захватывалось заложников. Вначале, когда армия фон Клука входила в город, немедленно появлялись извещения о том, что в качестве заложников взяты бургомистр, судья и главный в приходе священник, с обычными предупреждениями населению об их судьбе. Вскоре этих троих видных горожан уже было недостаточно; по человеку с улицы, по десяти с улицы – всё равно было мало. Вальтер Блоэм, писатель, мобилизованный в качестве офицера запаса и служивший в армии фон Клука, оставил бесценное описание наступления на Париж, и он

рассказывает, как в деревнях, в которых их рота останавливалась на ночлег, каждую ночь «майор фон Клейст приказывал, чтобы от каждого двора брали по мужчине, а если мужчин не было, то по женщине в качестве заложников». По какой-то непонятной причине система действовала наоборот – чем больше был террор, тем шире требовалось его применение.

Когда поступали доклады, что по германским солдатам стреляли, заложников казнили. Ирвин Кобб, сопровождавший армию фон Клука, однажды наблюдал из окна, как между двумя шеренгами солдат, стоявших с примкнутыми штыками, провели двух горожан. Вскоре за железнодорожной станцией грохнули выстрелы, а потом обратно пронесли двое носилок с неподвижными телами, накрытыми одеялами. На глазах Кобба эту процедуру немцы повторили ещё дважды.

Город Визе, где произошёл первый бой на пути ко Льежу в первый день вторжения, был разрушен не наступающими войсками, не в горячке боя, а теми, кто оккупировал город после того, как наступление пошло дальше. В ответ на сообщение о стрельбе снайперов-бельгийцев 23 августа из-под Льежа в Визе был прислан германский полк. В эту ночь выстрелы в городе были слышны в Эйсдене, в городке в пяти милях по ту сторону голландской границы. На следующий день Эйсден затопил поток беженцев: их было четыре тысячи человек – всё население Визе, за исключением расстрелянных и семисот мужчин и юношей, отправленных на работу в Германию. Угонять население на работы – что произвело заметный моральный эффект, особенно в Соединённых Штатах, – немцы начали в августе. Позже, когда Брэнд Уитлок, американский посланник, посетил то, что осталось от Визе, он увидел лишь пустые дома и почерневшие стены, «остатки руин, похожие на Помпеи». Не было ни единой живой души, не уцелело ни одной крыши.

В Динане, на Маасе, 23 августа саксонцы из армии генерала фон Хаузена вели с французами последний бой в битве за Шарлеруа. Фон Хаузен лично наблюдал «вероломство» бельгийских жителей, мешавших восстановлению мостов, что «совершенно противоречило международным правилам». Его войска набрали «несколько сотен» заложников – мужчин, женщин и детей. Пятьдесят человек были приведены из церкви, где шла воскресная служба. Генерал видел, как

они, «тесно сбитые в кучу, сидели, стояли, лежали под охраной гренадеров. На их лицах были написаны страх, невысказанная боль, ярость и желание отомстить за горе, которое им причинили». Фон Хаузен, человек весьма чувствительный, ощущал, как от них исходила «неукротимая враждебность». Он был тем самым генералом, которому так неуютно показалось в доме одного бельгийца-аристократа, сжимавшего в карманах кулаки и отказавшегося беседовать с ним за обедом. В этой толпе в Динане фон Хаузен видел французского солдата с кровавой раной на голове, гордо и молча умиравшего и отказывавшегося от медицинской помощи. На этом чувствительный германский генерал прерывает своё повествование, умалчивая о дальнейшей судьбе жителей Динана. Их продержали на площади весь вечер, затем построили, мужчин по одну сторону, женщин – по другую. Они стояли на коленях, лицом друг к другу. Затем к центру площади промаршировали два отделения солдат, развернулись друг к другу спиной и стреляли по заложникам до тех пор, пока никого не осталось в живых. Было опознано и погребено шестьсот двенадцать убитых, включая Феликса Фиве, трёх недель от роду.

После этого саксонцам дали волю грабить и жечь. Средневековая крепость, орлиным гнездом возвышавшаяся над городом на правом берегу реки и защищавшая его когда-то, глядела сверху на повторение средневекового варварства. Саксонцы покинули Динан, оставив его опалённым, выпотрошенным, разрушенным и пустынным. «Глубоко тронутый» этой картиной опустошения, совершённого его войсками, фон Хаузен покинул развалины Динана, твёрдо убеждённый, что ответственность за всё лежала на бельгийском правительстве, «разрешившем эту вероломную стрельбу на улицах, противоречащую международному праву».

У немцев была просто мания в отношении нарушений международного права. Однако они почему-то не замечали того, что само их присутствие в Бельгии являлось подобным нарушением, но виноватыми считали бельгийцев, протестовавших против него. Со вздохом долго испытываемого терпения аббат Веттерле, депутат рейхстага от Эльзаса, однажды признался: «Уму, сформировавшемуся в латинской школе, трудно понять германский склад ума».

Одолевавшая немцев мания складывалась из двух частей: что бельгийское сопротивление было незаконным и что оно

организовывалось «сверху», бельгийским правительством, бургомистрами, священниками и иными лицами, которых можно отнести к «верхам». Сложенные вместе, эти две части приводили к логическому выводу, что германские репрессии – справедливы и законны, независимо от степени жестокости карательных мер. Расстрел одного заложника или убийство шестисот двенадцати человек и полное уничтожение города – во всём одинаково было виновато бельгийское правительство: таков был рефрен любого немца, от Хаузена после Динана до кайзера после Лувена. Ответственность должна «пасть на тех, кто подстрекал жителей нападать на немцев», – постоянно возражал Хаузен. Нет абсолютно никакого сомнения, настаивал он, что всё население Динана и других районов было «враждебным – по чьему приказу? – только из-за желания остановить наступление немцев». А то, что народ мог быть настроен враждебно из-за желания остановить завоевателей без приказа «сверху», это в немецкой голове не укладывалось.

Призыв к сопротивлению им виделся во всём. Фон Клук утверждал, что объявления бельгийского правительства, предупреждавшие народ против враждебных действий, фактически являлись «подстрекательством гражданского населения стрелять во врага». Людендорф обвинял бельгийское правительство в том, что оно «систематически организует гражданское население для ведения войны». Кронпринц прибегал к той же теории, но в отношении сопротивления, оказанного французами. Он жаловался, что «фанатики» в районе Лонгви стреляли в нас «предательски и вероломно» через окна и двери из охотничьих ружей, «специально для этого присланных из Парижа». Если бы во время своих поездок наследный отпрыск лучше познакомился с французской деревней, где ружьё для охоты на зайцев по воскресеньям было такой же неотъемлемой частью домашних вещей, как и пара штанов, он бы сообразил, что для вооружения франтирёров незачем было высылать ружья из Парижа.

Германские сообщения о пребывании войск на вражеской территории полны истерических воплей о партизанской войне. Людендорф назвал её «отвратительной». Он, чьё имя вскоре стало синонимом обмана, насилия и хитрости, шёл на войну, как он говорил, с «благородными и гуманными концепциями её ведения», но методы

франтирёров «лично в нём вызвали горькие разочарования». Капитана Блоэма преследовала «ужасная мысль», что он может быть ранен или убит выстрелом из оружия в руках гражданского лица, хотя ещё две недели назад он сам был таким же. Во время изнурительного марша, когда за день было пройдено двадцать восемь миль, сообщает он, никто из солдат не отстал, поскольку «мысль попасть в руки валлонов была страшнее, чем стёртые ноги» – вот ещё один аспект огромных мучений марша на Париж.

Ужас немцев перед страшными франтирёрами был порождён тем, что гражданское сопротивление было по своей сути стихийным. Если есть выбор между несправедливостью и беспорядком, писал Гёте, немец выберет несправедливость. Воспитанный в государстве, где отношение подданного к правителю не имеет никакой иной основы, кроме подчинения, он не в состоянии понять государства, организованного на другой основе, а попав в такую страну, испытывает огромное неудобство. Чувствуя себя в своей тарелке только в присутствии власти, он рассматривает гражданского снайпера как нечто особенно зловещее. С точки зрения Запада, франтирёр – герой, для немца же он – еретик, угрожающий существованию государства. В Суассоне стоит памятник из бронзы и мрамора, посвящённый трём учителям, в 1870 году поднявшим на восстание против пруссаков студентов и местных жителей. Глядя на него с изумлением, германский офицер сказал американскому журналисту в 1914 году: «Уж эти французы! Ставят памятник, чтобы прославлять франтирёров. В Германии никому не разрешат сделать что-либо подобное. Да и вряд ли кому это в голову придёт».

Чтобы соответствующим образом настроить германских солдат, все немецкие газеты с первой же недели, как вспоминает капитан Блоэм, пестрели сообщениями о творящихся бельгийцами «ужасных жестокостях... о вооружённых священниках во главе банд гражданских лиц, совершавших лютые зверства... о предательских засадах, в которые попадали патрули, о часовых, найденных с выколотыми глазами и отрезанными языками». Подобные «ужасные слухи» уже 11 августа достигли Берлина и попали на страницы дневника княгини Блюхер. Германский офицер, у которого она хотела удостовериться в их правдивости, сообщил, что в ахенском госпитале

как раз находятся тридцать офицеров, которым выкололи глаза бельгийские женщины и дети.

Страхи, подогретые подобными рассказами, легко давали германскому солдату при одном только крике «Снайперы!» повод к погромам, убийствам и поджогам, тем более если их к этому поощряли офицеры. *Schrecklichkeit*, устрашение, должно было заменить оккупационные войска, которые не могло выделить верховное командование, готовившееся к маршу на Париж.

Двадцать пятого августа начался поджог Лувена. Средневековый город, лежащий на дороге из Льежа в Брюссель, был известен своим университетом и не имеющей себе равных библиотекой, основанными в 1426 году, когда Берлин был ещё горсткой деревянных домишек. Размещённая в зале XIV века, называемом «Залом швейников», библиотека насчитывала 230 тысяч томов, в её собрании хранилась уникальная коллекция из 750 средневековых манускриптов и свыше тысячи инкунабул. Фасад городской ратуши, называемый «жемчужиной готического искусства», представлял собой каменный гобелен с высеченными рыцарями, святыми и дамами, роскошный уже сам по себе. Алтарь церкви Святого Петра украшали панели работы Дирика Бута и других фламандских мастеров. Сожжение и разграбление Лувена сопровождалось неизбежным расстрелом жителей и продолжалось шесть дней, оборвавшись так же неожиданно, как и началось.

Первый день оккупации прошёл тихо. Бойко торговали магазины и лавки. Германские солдаты вели себя примерно и добропорядочно, покупали открытки и сувениры, за все покупки платили и вместе с горожанами стояли в очередях к местным парикмахерам. Второй день был напряжённее. В ногу, якобы снайпером, был ранен германский солдат. Бургомистр немедленно повторил своё обращение к жителям сдать оружие. Он и ещё два городских чиновника были арестованы как заложники. Участились казни за железнодорожным вокзалом. Нескончаемый марш колонн фон Клука продолжался день за днём.

Двадцать пятого августа у Малина, находящегося на окраине укрепленного района Антверпена, бельгийская армия произвела неожиданную вылазку против арьергарда армии фон Клука, отбросив его в беспорядке в Лувен. В суматохе отступления потерявшая седока

лошадь промчалась в темноте через городские ворота, напугала другую. Та понесла, но запуталась в упряжи и, упав, перевернула фургон. Раздались выстрелы, поднялись крики: «Die Franzosen sind da! Die Engländer sind da! Французы! Англичане!» Позднее немцы утверждали, что или по ним стреляли местные жители, или же они, стреляя с крыш, подавали сигналы бельгийской армии. Бельгийцы же заявляли, что немцы сами стреляли друг в друга в темноте. На протяжении недель, месяцев и даже лет уже после того, как эти события поразили мир, следственные комиссии и трибуналы выясняли, что же произошло в Лувене, и обвинения Германии противопоставлялись бельгийские контрдоказательства. Кто и в кого стрелял, так и не было установлено, да и вряд ли это имело значение после всего случившегося: ведь немцы сожгли Лувен не в качестве наказания за якобы совершённые бельгийцами злодеяния, а для устрашения и предупреждения всех своих врагов – демонстрации германской мощи перед всем миром.

Генерал фон Лютвиц, новый губернатор Брюсселя, на другой день сделал следующее заявление. Когда его по долгу службы посетили американский и испанский посланники, он сказал им: «В Лувене произошла страшная вещь. Нашего генерала застрелил сын местного бургомистра. Жители стреляли по войскам». Фон Лютвиц помолчал, взглянул на своих гостей и закончил: «И теперь, разумеется, нам придётся разрушить город». Посланник Уитлок так часто слышал об убийстве германского генерала сыном, а иногда и дочерью бургомистра, что создавалось впечатление, будто бельгийцы специально вывели особую породу бургомистерских детей, таких убийц наподобие сирийских ассасинов.

Сведения о сожжении Лувена уже широко распространились. Потрясённые и плачущие беженцы из города рассказывали о том, как поджигались улица за улицей, о безжалостном грабеже и непрерывных расстрелах. 27 августа Ричард Хардинг Дэвис, лучший из американских корреспондентов, находившихся в то время в Бельгии, приехал в Лувен с военным эшелоном. Немцы заперли его в вагоне, но к тому моменту пожар уже достиг бульвара Тирлемон, выходящего к вокзалу, и он мог видеть, как над улицами и домами стеной стоят «громадные языки пламени». Немецкие солдаты были пьяны и дико возбуждены. Один сунул голову в окно другого вагона,



где был заперт ещё один корреспондент, Арно Дош, и прокричал: «Три города разрушили! Три! А будет ещё больше!»

Первый секретарь американской миссии Хью Гибсон, в сопровождении шведского и мексиканского коллег, 28 августа отправился в Лувен, чтобы во всём убедиться самому. Дома с почерневшими стенами и дымищимися балками всё ещё горели. Мостовые были горячими, повсюду летала сажа. Повсюду были мёртвые люди и мёртвые лошади. Старик с белой бородой лежал на спине. Многие трупы уже распухли, очевидно, эти люди были убиты уже давно. Среди пепла и обугленного дерева валялись обломки мебели, бутылки, рваная одежда. Немецкие солдаты из IX резервного корпуса, одни пьяные, другие взвинченные и злобные, с налитыми кровью глазами, выгоняли жителей из оставшихся домов, чтобы, как пояснил кто-то из немцев Гибсону, завершить разрушение города. Они шли от дома к дому, взламывали или вышибали двери, набивали карманы сигарами, забирали всё ценное, а затем пускали в ход факелы. Поскольку большинство домов были каменными или кирпичными, пожар разгорался плохо. На одной улице за манипуляциями солдат наблюдал, с мрачным видом посасывая сигару, командовавший ими офицер. Он кипел от ярости на бельгийцев и всё повторял Гибсону: «Мы всё сотрём в порошок, камня на камне не оставим! Kein stein auf einander! Ни единого камня, говорю вам! Мы научим их уважать Германию. Из поколение в поколение люди будут приходить сюда, чтобы увидеть, что мы сделали!» Таков был германский способ оставлять о себе память.

В Брюсселе ректор Лувенского университета, монсеньор де Бекер, которого удалось спасти благодаря помощи американцев, рассказал об уничтожении библиотеки. От неё ничего не осталось, одна зола. Когда ректор дошёл до слова «библиотека», то не сумел произнести его. Запнулся, попытался сказать снова, выговорил первый слог – «биб...» – и, уронив голову на стол, зарыдал.

Пламя ещё не успело угаснуть, как об уничтожении библиотеки официально сообщила американская миссия. Сожжение уникального книжного собрания заставило бельгийское правительство выступить с публичным протестом, вызвало у мировой общественности взрыв гнева и возмущения. Свидетельские показания беженцев, записанные корреспондентами, заполнили иностранную прессу. Помимо

университета и библиотеки, «все красивые общественные здания», включая ратушу и церковь Св. Петра со всеми картинами, были уничтожены. Позднее выяснилось, что ратушу и церковь не разрушили до конца. Репортаж Дэвиса в нью-йоркской «Трибюн» был помещён под бросающимся в глаза заголовком «Немцы грабят Лувен. Расстреливают женщин и священников». За подзаголовком «Берлин подтверждает ужасы Лувена» была опубликована представленная германским посольством в Вашингтоне телеграмма из Берлина. В присланном по радио заявлении говорилось, что из-за «вероломного» нападения бельгийского населения «Лувен был наказан разрушением города». Как и заявление генерала фон Лютвица, эта телеграмма продемонстрировала, что Берлин ни в коей мере не желает, чтобы мир неверно истолковал характер случившегося в Лувене. Для мира 1914 года разрушение городов и преднамеренная, признаваемая война с некомбатантами стали потрясением. Передовицы в английских газетах называли произошедшее «походом гуннов» и «предательством по отношению к цивилизации». Сожжение библиотеки, писала «Дейли кроникл», означает войну не только с мирным населением, но и с «последующими поколениями». Даже обычно спокойные и взвешенно нейтральные голландские газеты не удержались от острых комментариев. Какова бы ни была причина происшедшего, писала роттердамская «Курант», «сам факт уничтожения существует», факт «настолько ужасный, что весь мир, узнав об этом, должен содрогнуться от ужаса».

Сообщения в иностранной прессе появились 29 августа, а 30-го уничтожение Лувена было остановлено. В тот же день в официальном коммюнике германское министерство иностранных дел заявляло, что «вся ответственность за эти события ложится на бельгийское правительство», не забыв упомянуть ставшие привычными обвинения в том, что «женщины и девушки принимали участие в стрельбе и ослепляли наших раненых, выкалывая им глаза».

Во всём мире люди спрашивали, почему немцы так поступили. «Чьи вы потомки – Гёте или гунна Атилы?» – вопрошал Ромен Роллан в открытом письме своему бывшему другу, знаменитому немецкому писателю Герхарду Гауптману. В беседе с французским посланником король Альберт высказал мысль, что основным побуждением к проявлению варварства было у немцев чувство

ревности и зависти: «Эти люди завистливы, неуравновешенны и вспыльчивы. Они сожгли библиотеку в Лувене потому, что она была уникальной и ею восторгался весь мир». Другими словами, это был характерный для варвара приступ озлобленности на цивилизацию. Объяснение справедливое, но неполное, поскольку оно забывает о намеренном, даже предписанном применении террора в качестве «обычая войны», *Kriegsbrauch*: «Войну следует вести не только против вооружённых сил вражеского государства, но также стремиться разрушить все материальные и духовные (*geistig*) ресурсы противника». Для мира это оставалось поступком варвара. С помощью подобных действий немцы намеревались запугать мир, навязать подчинение, однако вместо этого они убедили огромное количество людей в том, что были врагом, с которым не может быть ни договора, ни компромисса.

Бельгия многое прояснила, стала для большинства «главным вопросом» войны. В Америке, как отмечал, оглядываясь на прошлое, один историк, Бельгия стала «генератором» мнений и вершиной всего был Лувен. Маттиас Эрцбергер, возглавивший вскоре немецкую пропаганду, когда она стала несчастливой необходимостью для Германии, обнаружил, что Бельгия «подняла почти весь мир против Германии». Его контрпропагандистские усилия доказать, что поведение Германии оправдано военной необходимостью и самообороной, были, как пришлось ему признать с вынужденным сожалением, «неудовлетворительными».

Не помогли и попытки, предпринятые кайзером через десять дней после Лувена, когда он направил президенту Вильсону телеграмму, в которой сообщал, что «моё сердце обливается кровью» из-за страданий Бельгии, ставших «результатом преступных и варварских действий бельгийцев». Их сопротивление, как он пояснял, было «открыто инспирировано» и «тщательно организовано» бельгийским правительством, что и вынуждает его генералов предпринимать строжайшие меры против «кровожадного населения».

Не помог и манифест, опубликованный девяносто тремя профессорами и интеллектуалами Германии, обращённый «ко всему цивилизованному миру». Прославляя вклад германской культуры в цивилизацию, они заявляли: «Неправда, что мы преступно нарушили нейтралитет Бельгии... Неправда, что наши войска с жестокостью

разрушили Лувен». Несмотря на громкие имена, стоявшие под манифестом, – Харнака, Зудермана, Хампердинка, Рёнтгена, Гауптмана, – безмолвная зола Лувенской библиотеки взывала громче. К концу августа народы союзных государств были убеждены, что им противостоит враг, которого необходимо одолеть, режим, который должен быть уничтожен, и что войну нужно вести до победного конца. 4 сентября правительства Англии, Франции и России поставили подписи под Лондонским пактом, взяв на себя обязательство «не заключать во время идущей в настоящее время войны сепаратного мира».

В дальнейшем стороны лишь ужесточали свои позиции. Чем громче союзные державы провозглашали своей целью поражение германского милитаризма и Гогенцоллернов, тем чаще Германия декларировала верность данной навеки клятве не складывать оружия и сражаться до победного конца. Отвечая президенту Вильсону, предложившему своё посредничество в переговорах, Бетман-Гольвег сказал, что Лондонский пакт вынуждает Германию вести войну с напряжением всех сил, а потому у Германии нет никаких предложений, которые могли бы послужить основой для заключения мирного договора. Все союзники стояли на такой же точке зрения. И на протяжении всей войны обе стороны оставались зажатые в рамках ранее сделанных заявлений. Чем глубже воюющие страны погружались в пучину войны, чем больше человеческих жизней и материальных ресурсов она пожирала, тем более непреклонными они становились, стремясь компенсировать потери исключительно победоносным завершением войны.

О том, какие выгоды рассчитывала получить Германия в результате победы, было изложено в меморандуме Маттиаса Эрцбергера, который он представил правительству уже 2 сентября, когда едва минуло тридцать дней войны. Лидер католической партии «Центр» и докладчик комитета по военным делам, Эрцбергер был правой рукой канцлера и его ближайшим союзником в рейхстаге. Проницательный и ловкий приспособленец, готовый высказать любое мнение, лишь бы его разделяло подавляющее большинство, он сочетал ум и энергию с политической гибкостью и изворотливостью, невиданными в Европе со времён Талейрана. Это о нём говорили, что у него «нет никаких убеждений, а одни только аппетиты». Как

однажды в будущем он станет тем, кто от имени Германии обратится с просьбой о перемирии и кто войдёт в первый кабинет министров Веймарской республики, так и ныне он представил перечень того, чего необходимо добиться в результате войны, – этим бы гордился и самый радикальный сторонник пангерманизма. Бетман-Гольвег, во многом полагавшийся на Эрцбергера, не переставал удивляться, откуда тот черпает все эти блестящие идеи, в то время как у него самого, по-видимому, никогда ничего подобного не бывает.

По мнению Эрцбергера, после своей победы Германия должна «на все времена» обрести превосходство на европейском континенте. Все требования за столом мирных переговоров должны основываться на этой предпосылке, для чего необходимо выполнение трёх условий: устранение нейтральных стран у границ Германии, ликвидация «нетерпимой гегемонии» Англии при решении вопросов мировой политики и сокрушение русского колосса. Эрцбергер рисовал в своём воображении некую Конфедерацию европейских государств, аналогичную более поздней мандатной системе Лиги Наций. Ряд стран должен находиться под «главенством» Германии; другие, такие как Польша и балтийская группа, отторгнутых у России, «на все времена» перейдут под германский суверенитет, с возможным представительством в рейхстаге – но без права голоса. Эрцбергер не был уверен, в какую категорию войдёт Бельгия, но в любом случае Германия сохранит военный контроль над всей страной, как и над побережьем Франции от Дюнкерка и далее, включая Булонь и Кале. Германия также должна приобрести железорудный бассейн Брие – Лонгви и Бельфор в Верхнем Эльзасе, который ей не удалось захватить в 1870 году. Германии должны перейти и французские и бельгийские колонии в Африке. Что довольно любопытно, Марокко было исключено из этого списка, вероятно, потому, что тогда от Германии потребовалось бы слишком много усилий. Упоминаний об английских колониях нет, что наводит на предположение, что Эрцбергер, возможно, допускал мирное урегулирование отношений с Великобританией. В качестве репараций от побеждённых стран требовалось выплатить по меньшей мере 10 миллиардов марок для компенсации прямых военных затрат, плюс те суммы, которые будут достаточны для обеспечения ветеранских фондов, государственного жилищного строительства, подарков военачальникам и

государственным деятелям. Также с этих же стран предполагалось взыскать средства для погашения государственного долга Германии, тем самым избавив немецкий народ от налогового бремени на много лет вперед.

Поставленные в опьяняющие дни августовских завоеваний, эти цели, к которым направляла свои устремления Германия, были настолько грандиозны, что их невозможно было низвести на уровень какого-либо приемлемого, но реального компромисса. В стане союзников первоочередную цель войны сформулировал русский министр иностранных дел Сазонов. 20 августа в Санкт-Петербурге, во время завтрака тет-а-тет с послом Палеологом он сказал: «Моя формула проста, – сказал Сазонов, – мы должны уничтожить германский империализм». Собеседники согласились с тем, что это – война насмерть, ради национального существования, и что своих целей можно добиться только в результате полной победы. Несколько неосторожный для царского министра, Сазонов выразил согласие с тем, что должны произойти большие политические перемены для того, чтобы кайзерство не восстановилось снова из своих развалин. Польшу необходимо возродить, увеличить территорию Бельгии, Эльзас-Лотарингию передать Франции, Шлезвиг-Гольштейн отдать Дании, восстановить Ганновер, освободить Богемию из-под владычества Австро-Венгрии, а все немецкие колонии разделить между Францией, Бельгией и Англией.

Так перекраивали карту профессиональные политики. Среди простого народа, не отличавшего Шлезвиг-Гольштейн от Богемии, уже через двадцать дней войны окрепло глубокое осознание того, что мир столкнулся с «крупнейшим явлением человеческой истории после Французской революции». Хотя гигантская катастрофа в августе, когда она не изгладилась ещё из памяти, как казалось, таила в себе «громадную надежду», надежду на то, что впоследствии будет лучше, надежду на окончание войны, на возможность переделать мир. Мистер Бритлинг в романе Уэлса, герой пусть и вымышленный, но типичный, думал, что война может оказаться «огромным шагом вперед в жизни человечества. Это конец сорока лет губительного напряжения. Это кризис и его разрешение». Он видел «громадную возможность... Мы можем переделать карту мира... Мир – податливая глина для людей, которые могут делать с ней, что хотят. Это – конец и начало...»

## Глава 18

### Голубые воды, блокада и нейтралитет

В британском адмиралтействе в 1914 году менее всего приветствовался риск. Ценнее флота для Великобритании ничего не было. Он не являлся, как язвительно отозвался Черчилль в 1912 году о германских военно-морских силах, «флотом ради роскоши»; для Англии флот являлся «жизненно важной» потребностью в самом точном значении этих слов. Британская империя не могла допустить военно-морского поражения или хотя бы утрату военного превосходства на море из-за потери отдельных кораблей. Задачи, стоявшие перед флотом, были огромны. Флот должен был предотвратить вторжение на Британские острова; флот должен был обеспечить сопровождение и безопасную высадку на континент британских экспедиционных сил. Флоту нужно было доставить из Индии на родину войска, которым предстояло влиться в регулярную армию и заменить территориальные дивизии. Однако прежде всего флот должен был обеспечить безопасность морской торговли на всей акватории мирового океана.

Отнюдь не вторжение, которое Комитет имперской обороны объявил «неосуществимым», а «воспрепятствование нашей торговли и уничтожение коммерческого судоходства» было признано адмиралтейством первостепенной опасностью. Британия ввозила две трети продовольствия. Само её существование зависело от внешней торговли, осуществлявшейся английскими судами, суммарный тоннаж которых достигал 43 процентов от общемирового и на долю которых приходилось более половины всего объёма мировой морской торговли – столько же, сколько на все остальные страны мира, вместе взятые. До войны англичанам не давали покоя страхи, что быстроходные германские пароходы будут переоборудованы в рейдеры для действий на торговых путях. Предполагалось, что по меньшей мере сорок подобных кораблей – не считая немецких крейсеров – могут быть отправлены на охоту на океанские маршруты мировой торговли. От английского флота требовалось рассредоточить свои корабли и эскадры, чтобы защитить морские пути из Суэца в Персию,

Индию, на Дальний Восток и африканские маршруты вокруг мыса Доброй Надежды, чтобы прикрыть Северную Атлантику до США и Канады, акваторию Карибского моря с островами Вест-Индии, а также Южную Атлантику и южную часть Тихого океана, от Южной Америки до Австралии. Критически важными точками являлись районы Мирового океана, где пересекались маршруты торговых судов и где вероятнее всего ожидать нападений вражеских рейдеров.

«Самый принцип войны на море, – заявил Фишер, и это было военно-морским аналогом папской буллы, – заключается в том, чтобы иметь свободу идти куда угодно с любой чёртовой посудинкой, которая есть у военного флота». В переводе на более понятный язык, это означало, что военно-морской флот должен превосходить противника или быть сильнее в любом месте, где вероятно столкновение с ним. Английский флот, имевший столько задач по всему земному шару, мог сосредоточить превосходящие силы в своих водах, где любой ценой необходимо было избегать сражения на равных. Все ожидали крупного сражения между большими боевыми кораблями, в котором, возможно, и решится вопрос о господстве на море – в одном столкновении, как это произошло при Цусиме между русским и японским флотами. Великобритания не могла позволить себе пойти на риск утраты превосходства в результате такого сражения, но для германского флота это было не так, поэтому считалось, что немцы вполне способны попытаться счастья в сражении. А в Германии кайзер во всеуслышание провозгласил: «Будущее Германии спущено на воду», по всей стране возникали и множились в числе военно-морские лиги, собиравшие по подписке деньги на строительство линкоров под такими лозунгами, как «Англия – враг! Вероломный Альбион! Грядущая война! Британская опасность! Англия планирует напасть на нас в 1911 году!» Поэтому ей, будто сорвавшейся в 1914 году с узды, приписывали безграничную агрессивность и готовность смело броситься в битву даже при невыгодном раскладе, который мог подтолкнуть к любому отчаянному и дерзкому шагу.

Нервная система британского военно-морского флота оказалась чрезвычайно восприимчива к тем страхам, которые внушали неизвестные, но, вне всяких сомнений, агрессивные намерения противника; особенный страх вызывали подводные лодки, эти



невидимки, чей смертоносный потенциал, пока ещё смутный, с каждым годом становился всё явственней.

Для размещения базы флота в военное время запоздало выбрали Скапа-Флоу – естественное укрытие среди Оркнейских островов, едва ли не самую дальнюю точку, куда мог добраться Гранд-Флит, практически последний унылый клочок британской территории, отдалённый аванпост Британских островов, отстоящий на север ещё дальше, чем самая северная оконечность главного из этих островов. Расположенный на 59-й широте, Скапа-Флоу находится у входа в Северное море, на 350 миль севернее острова Гельголанд, откуда должен был появиться германский флот, если он решится на это, и к северу на 550 миль от района Портсмут – Гавр, где намечена переправа английского экспедиционного корпуса. Расстояние от базы до места вылазки немцев было больше, чем то, которое отделяло бы немцев от английских транспортов, если предположить, что они попытаются напасть на них. С этой позиции Гранд-Флит мог вести оборону и блокировать морские торговые пути, ведущие в Германию через Северное море, а своим присутствием загнать вражеские суда в порты. Если же противник выйдет в море, то, расположившись между ним и его базой, англичане могли вынудить его принять бой. Однако Скапа-Флоу не был готов принять флот.

Каждый раз, как увеличивались размеры кораблей, им требовались более широкие доки и более просторные гавани, и программа создания дредноутов пострадала от двойственной точки зрения правительства либералов. Поддавшись страстной убеждённости Фишера и воодушевлению Черчилля, либералы согласились принять программу их строительства, но рану, которую получили их антивоенные чувства, они уравнили скупостью выделения средств. И, как результат, в августе 1914 года Скапа-Флоу оказалась не оборудована сухими доками и береговыми оборонительными сооружениями.

Флот, приведённый Черчиллем в состояние боевой готовности, без всяких злоключений добрался в Скапа-Флоу 1 августа, а правительство тем временем продолжало дебатировать, стоит ли ввязываться в бой. Дни после объявления войны были, по словам первого лорда адмиралтейства, периодом «крайнего психологического напряжения». Приближался момент, когда должны были отплыть

загруженные войсками транспорты, и в любую минуту ждали от противника каких-либо действий – то ли тот осуществит рейд на побережье, чтобы отвлечь флот, или предпримет ещё какую-то тактическую провокацию. Черчилль полагал, что «в любой момент может начаться большое сражение на море».

Мнение Черчилля полностью разделял адмирал сэр Джон Желлико, который, отправившись 4 августа на поезде в Скапа-Флоу, вскрыл телеграмму с грифом «Секретно» и узнал из неё, что он отныне – главнокомандующий Гранд-Флитом.

Нельзя сказать, что он долгое время дожидался этого назначения или что его отягощали какие-то сомнения в собственной компетентности. Начав службу на военном флоте в 1872 году, когда ему было двенадцать с половиной лет, а рост он имел в четыре с половиной фута, Желлико привык к широкому признанию своих талантов. Проявленные во время службы на кораблях и на различных постах в адмиралтействе, они заслужили неизменно горячее и громогласное восхищение лорда Фишера, который решил, что одарённый Желлико и «будет Нельсоном... когда придёт Армагеддон». Час пробил, и отобранный Фишером кандидат на звание нового Нельсона с самого момента своего прибытия на базу в Скапа-Флоу испытывал «постоянно мучившее меня громадное чувство тревоги». Его крайне беспокоила уязвимость базы флота. При отсутствии береговой артиллерии, боновых и сетевых заграждений и установленных минных полей Скапа-Флоу была «совершенно незащитна перед атаками подводных лодок и эсминцев».

Ещё больше Желлико встревожился, когда на борту немецких траулеров, захваченных 5 августа, были обнаружены почтовые голуби – как подозревали, с их помощью немцы передавали информацию подводным лодкам. Его опасения усугублялись страхом перед минами – немцы заявили, что минные постановки они будут вести без всяких ограничений. Когда же 9 августа лёгкий крейсер таранил и потопил германскую подводную лодку U-15, то это больше обеспокоило Желлико, чем обрадовало, и он поспешил отослать все крупные боевые корабли из «заражённого района». Однажды на рейде в Скапа-Флоу орудийный расчёт вдруг открыл огонь по какому-то движущемуся предмету, доложив о замеченном перископе, и поднялась лихорадочная стрельба, а эсминцы бросились выискивать подводную

лодку. Тогда адмирал отдал приказ выйти в море всему флоту из трёх эскадр линкоров. Корабли провели в море всю ночь, в страхе перед тем, что, как признавал даже составитель официальной истории военно-морского флота, «могло быть тюленем». Флот дважды переводили на более защищённую базу: сначала на Лох-Ю на западном побережья Шотландии, а потом – в Лох-Суилли на северном берегу Ирландии – и дважды возвращали. Два раза Северное море оставалось в полном распоряжении немцев, знай те об этом. Если бы в это время немцы организовали наступление силами своего военно-морского флота, то его результаты могли бы быть поистине ошеломляющими.

То впадая в истеричную нервность, то вздрагивая и испуганно шарахаясь, точно лошадь, заслышавшая в траве шорох змеи, английский флот всё же занялся своим делом – приступил к установлению блокады и патрулированию Северного моря, непрерывно, вахту за вахтой, высматривая, не появится ли враг. Имея в боевом строю 24 дредноута и зная, что у Германии кораблей такого класса от 16 до 19, англичане могли уверенно полагаться на своё преимущество, а в более высоком классе линкоров считали себя «заметно превосходящими восемь германских». Но над ними довлело ощущение, что окончательно вопрос разрешится только в результате реального столкновения.

В течение недели, пока осуществляется переход транспортов, «у немцев имеются самые сильные стимулы для действий», предупреждал 8 августа Джеллико Черчилль. Но на горизонте не было замечено даже такой малости, как торпедный катер. Бездействие противника только усугубляло напряжение. Где-то на просторах океанов действовали его отдельные боевые корабли: «Гёбен» и «Бреслау» – в Средиземном море, «Дрезден» и «Карлсруэ» – в Атлантике, а «Шарнхорст», «Гнейзенау» и «Эмден» из эскадры фон Шпее совершали в Тихом океане смелые рейды – или же дерзко уходили от ответа, но флот Открытого моря, затаившийся без движения за Гельголандом, казалось, предвещал нечто куда более зловещее.

«В высшей степени необычное молчание и бездеятельность врага могут быть прелюдией к его серьёзным и смелым действиям... возможно, крупномасштабной высадке десанта на этой неделе», – предупреждал Черчилль руководство флота 12 августа. Он предложил,

чтобы Гранд-Флит выдвинулся ближе к «театру, где предстоят решительные действия». Джеллико, однако, продолжал вести патрулирование на серых водных просторах между окончечностью Шотландии и Норвегией, и только однажды, когда переброска на континент британского экспедиционного корпуса была в самом разгаре, осмелился спуститься южнее 56 параллели. В период с 14 по 18 августа транспорты 137 раз пересекали Ла-Манш, и всё это время Гранд-Флит в полном составе, вместе со своими эскадрами и флотилиями сопровождения, в напряжённом ожидании вёл патрулирование, высматривая белый след торпеды, стараясь уловить радиосигнал, который подскажет, что германский флот вышел в открытое море.

Гросс-адмирал фон Тирпиц, германский Фишер, отец, создатель и душа германского флота, «вечный Тирпиц», с белой, как у Нептуна, раздвоенной бородой, занимал пост статс-секретаря военно-морского ведомства с 1897 года, и к своим шестидесяти пяти годам на одном посту прослужил дольше, чем любой другой министр со времён Бисмарка. Но его держали в неведении о военных планах, имевших прямое отношение к тому оружию, которое он выковал. План войны «военно-морской штаб хранил в секрете даже от меня». Когда 30 июля Тирпицу показали оперативные приказы, он узнал «страшную» тайну: никакого плана не было. Наличие у Германии сильного военно-морского флота стало главным фактором вовлечения страны в войну, но когда война разразилась, оказалось, что в самой войне флоту не отводилось никакой активной роли.

Если бы кайзер ограничился чтением книги Кеннета Грэма «Век золотой» – похожим на сон рассказом о детстве английского мальчика, окружённого холодным миром взрослых, – которую он держал на прикроватном столике на своей яхте, то вполне возможно, что войны бы и не было. Но германский император отличался эклектичностью и прочитал книгу, которая увидела свет в 1890 году и в своей области произвела такое же громадное воздействие, как «Происхождение видов» в биологии и «Капитал» в экономической теории. Во «Влиянии морской силы на историю» адмирал Мэхэн продемонстрировал: кто контролирует морские коммуникации, тот управляет своей судьбой; тот, кто господствует на море, является господином положения. Перед

внутренним взором впечатлительного Вильгельма открылось потрясающее видение: Германия должна главенствовать не только на суше, она должна стать и владычицей океанов. Началась реализация программы строительства военно-морского флота, и хотя Германия не могла сразу же нагнать Англию, но при той настойчивости и энергичности, с какой шла судостроительная программа, рано или поздно это грозило произойти. Подобная перспектива бросала вызов морскому превосходству, на котором строились расчёты Великобритании, и заведомо обуславливала вероятность её враждебной позиции в войне и, следовательно, применение против Германии главного британского оружия – блокады.

Как страна сухопутная, Германия могла бы вести вооружённую борьбу с любой возможной коалицией континентальных держав, продолжая беспрепятственно ввозить товары морским путём до тех пор, пока остаётся нейтральной Великобритания, ведущий коммерческий морской перевозчик в мире. В этом отношении Германия была бы более сильной державой без флота, чем обзаведясь им. Бисмарк неодобрительно относился к подрыву мощи на суше за счёт авантур на море, которые лишь могли прибавить врагов на морском театре. Вильгельм к подобным доводам не прислушивался. Он был околдован Мэхэном и запутался в личной ревности, разрываясь между своей любовью и ненавистью к Англии как нации мореплавателей. Эти смешанные чувства ежегодно обострялись во время «Каусской недели», когда на острове Уайт проходила традиционная парусная регата. Кайзер видел в военно-морском флоте тот нож, которым он рассечёт окружение. Он то настойчиво твердил, что враждебность Англии – самое последнее, чего бы он хотел, то заявлял, что «большой флот, хорошенько напугав англичан, приведёт их в чувство». Тогда они «смирятся с неизбежным, и мы станем лучшими в мире друзьями». Тщетно германский посол в Англии предупреждал кайзера о сомнительной логике этой политики. Тщетно Холдейн приезжал в Берлин, напрасно Черчилль предостерегал, что в англо-германских отношениях флот сыграет ту же роль, что и Эльзас-Лотарингия. Предложения о фиксированном соотношении морских сил или об ограничении военно-морского строительства были отвергнуты.

Вызов был брошен, и вполне естественно было ожидать враждебности Великобритании. Была и другая цена. Построенный с огромными затратами, военный флот забирал у армии и деньги, и людей – достаточно для комплектования двух армейских корпусов. Если не брать в расчёт вариант, что создание флота не преследовало никакой цели, то он должен иметь стратегическое предназначение: либо предотвратить появление дополнительных дивизий, противостоящих армии своей страны, либо не допустить блокады. Как признавалось в преамбуле германского закона о военно-морском флоте 1900 года: «Военно-морская блокада... даже если она продлится всего лишь год, уничтожит внешнюю торговлю Германии и приведёт страну к катастрофе».

Флот рос, как по своей общей мощи, так и по своим возможностям, увеличивалась численность обученного рядового и командного состава, немецкие инженеры улучшали артиллерийские системы, повышали бронепробиваемость снарядов, усовершенствовали оптические инструменты и дальномеры, повышали сопротивляемость к разрушению броневых листов. И поэтому флот становился слишком ценным ресурсом, чтобы его можно было потерять. Хотя по соотношению «киль на киль» германский флот приближался к английскому, а по артиллерии превосходил его, кайзер, который вряд ли забывал о том, что у Германии не было собственных Дрейков или Нельсонов, никогда по-настоящему не верил, что германские корабли и матросы способны нанести поражение английскому флоту. Ему была невыносима сама мысль о том, что его «дорогуши» – так Бюлов называл кайзеровские линкоры, будут покорёжены снарядами, запачканы кровью, или, в конце концов, израненные и потерявшие управление, утонут в морской пучине. Тирпиц, кому Вильгельм некогда пожаловал дворянство, присовокупив к фамилии частицу «фон», но чьи теоретические воззрения исходили из необходимости использовать флот для боя, начал казаться кайзеру опасностью, чуть ли не такой же, как и враг. Постепенно адмирала отодвинули в сторону, перестав числить среди ближайших советников кайзера; на совещаниях больше не раздавался его высокий, писклявый, как у ребёнка или евнуха, голос, который было удивительно слышать от человека такого рослого телосложения и со столь агрессивным поведением. И хотя Тирпиц оставался главой морского министерства,

всю военно-морскую политику определяла, при общем руководстве кайзера, небольшая группа, состоящая из начальника морского генерального штаба (адмирал-штаба) адмирала фон Поля, главы морского кабинета кайзера адмирала фон Мюллера и главнокомандующего флотом адмирала фон Ингенюля. Хотя Поль и выступал в поддержку стратегии, нацеленной на сражение, он был ничтожеством, который удостоился наивысшей степени незаметности, какая только была возможна в гогенцоллерновской Германии, – его ни разу не упомянула в своей энциклопедии слухов княгиня Бюлов. Мюллер относился к тем придворным лизоблюдам и педерастам, которыми декорируют двор, выдавая их за советников суверена; Ингенюль был офицером, «имевшим оборонительную точку зрения на операции флота». «Мне не нужен человек, который будет давать указания, – заявлял кайзер. – Я и сам с этим справляюсь».

Когда наступил период «окружения», период, который не давал покоя всё его правление, период, когда мёртвый Эдуард зловеще казался «сильнее меня живого», инструкции кайзера гласили: «На настоящий момент я приказываю флоту Открытого моря занимать оборонительную позицию». Стратегия, принятая на вооружение отточенным инструментом, который Вильгельм имел в своём распоряжении, заключалась в том, чтобы оказывать влияние «самим фактом существования флота». Оставаясь на недоступных укрепленных позициях, он должен был действовать как постоянная потенциальная угроза, заставляя противника быть настороже, в ожидании возможной вылазки, и тем самым отвлекать вражеские военно-морские ресурсы и удерживать часть его сил в бездействии. Такая общепризнанная роль отводилась для слабейшего из двух флотов, и подобные действия полностью одобрял Мэхэн. Однако позднее он пришёл к выводу, что ценность «флота существующего» «во многом преувеличена», потому что влияние военно-морских сил, которые принимают решение не сражаться, со временем превращается в убывающую величину.

Даже кайзер не мог проводить подобную политику, не имея на то обоснованной причины и действенной поддержки. У него было и то, и другое. Многие немцы, особенно Бетман-Гольвег и представители наиболее космополитичных и не связанных с военными группировок не могли поначалу заставить себя поверить в то, что Англия на самом

деле станет воевать по-настоящему. Они тешили себя мыслью, что от Англии возможно будет откупиться сепаратным миром, особенно после того, как окажется повержена Франция. Отчасти этой идеей объясняется то, что в своём меморандуме Эрцбергер тщательно избегал упоминаний о захвате английских колоний. Чувство взаимного родства создавали семейные связи матери кайзера, английские жёны немецких принцев и древние узы тевтонов. Чтобы Германия и Англия дошли в своих спорах до того, чтобы устроить между собой сражение, чтобы пролилась кровь и гибли люди, – представить подобное было трудно, если вообще возможно. (При подобном взгляде на вещи по какой-то прихоти кровь, пролитая при окружении британского экспедиционного корпуса заодно с французскими войсками, всерьёз в расчёты не бралась.) Кроме того, существовала надежда сохранить германский флот невредимым – как фактор торга, чтобы вынудить Англию заключить соглашение. Эта теория пользовалась мощной поддержкой Бетман-Гольвега, и кайзер с радостью за неё ухватился. Время шло, близилось сияние победы, и желание провести флот через войну в целости и сохранности, использовав затем при ведении торга за столом переговоров, становилось всё сильнее и сильнее.

В августе главным врагом представлялась не Англия, а Россия, и первейшей обязанностью флота считался контроль над Балтикой – по крайней мере среди тех, кто желал отсрочить испытание Англией. Они утверждали, что флот должен пресечь какое бы то ни было вмешательство России в морские перевозки из скандинавских стран, а также обязан пресечь возможную высадку русскими морского десанта на побережье Германии. Боевые действия против Англии, как опасались, могли бы настолько ослабить германский флот, что он утратит контроль над Балтийским морем, окажется не в состоянии помешать высадке русскими десанта, а всё это приведёт к поражению на суше.

Всегда отыщутся доводы, чтобы превратить желание в политику. Прежде всего, к нулю действия флота в августе свела уверенность в решительной и окончательной победе армии на суше и всеобщее убеждение, что война продлится не так долго, чтобы блокада успела сыграть какую-то роль. Тирпиц с «верным предчувствием» уже 29 июля – в тот самый день, когда Черчилль отдал распоряжение о мобилизации флота, – обратился к кайзеру с просьбой поручить



командование всеми военно-морскими силами кому-то одному. А так как адмирал полагал, что «у меня в мизинце намного больше, чем у Поля во всей его анатомии» (такое своё мнение Тирпиц высказал в частном разговоре с женой, а не в беседе с кайзером), то он просто предложил, чтобы упомянутый пост «был доверен мне». На предложение Тирпица ответили отказом. Хотя гросс-адмирал и подумывал об уходе в отставку, но воздержался на том удобном основании, что кайзер «всё равно бы не принял мою отставку». Вынужденный выехать в Кобленц вместе со всеми министрами, Тирпиц испытывал душевные терзания в торжествующей атмосфере главного штаба, предвкушающего триумф: «Армия идёт от успеха к успеху, а флот вообще ничем не может похвастать. После двадцатилетних усилий моё положение ужасно. Никому не понять».

Флот Открытого моря Тирпица, имевший в своём составе 16 дредноутов, 12 линкоров более ранней постройки, 3 линейных и 17 прочих крейсеров, 140 эсминцев и 27 подводных лодок, оставался в портах или действовал на Балтике, в то время как наступательные операции против Англии ограничились одним набегом субмарин в первую неделю войны и постановками мин. Также были отозваны суда торгового флота. 31 июля германское правительство отдало распоряжение пароходным компаниям отменить все отправления торговых судов. К концу августа 670 германских торговых судов, общим водоизмещением 2 750 000 тонн, или более половины всего торгового флота Германии, отсиживались в нейтральных портах, а остальные – за исключением тех, которые курсировали на Балтийском море, – находились в портах приписки. Из тех страшных сорока германских рейдеров – вооружённых торговых пароходов – только пять объявились въяве, и британское адмиралтейство, оглядевшись в потрясении и изумлении, смогло 14 августа сообщить: «Плаванию через Атлантику ничто не угрожает. Английская морская торговля идёт как обычно». Если не считать рейдеров «Эмден» и «Кёнигсберг» в Индийском океане и эскадры адмирала фон Шпее в Тихом, то ещё до конца августа германский военно-морской флот и торговые суда Германии исчезли с океанских просторов.

Началась и другая битва – между Великобританией и Соединёнными Штатами, этой великой нейтральной страной. На свет

всплыли старые проблемы, которые вызвали войну 1812 года, старые фразы – «свобода морей», «флаг покрывает груз» – давний и неизбежный конфликт между правом на торговлю нейтральной страны и правом воюющей стороны на задержание торговых судов. В 1908 году, как прямое следствие второй Гаагской конференции, было созвано новое международное совещание, где была предпринята попытка кодифицировать эти нормы; в конференции приняли участие все те страны, которые стали в 1914 году воюющими сторонами, а также США, Голландия, Италия и Испания. Страной-организатором выступила Великобритания, как государство, обладающее самым крупным торговым флотом и наиболее заинтересованное в беспрепятственном ведении торговли нейтральной стороной. Сэр Эдвард Грей хотя и не входил в число делегатов конференции, был, однако, её вдохновителем, организатором и движущей силой. Несмотря на деятельное участие в конференции адмирала Мэхэна в качестве главы американской делегации, принятая в итоге Лондонская декларация отдала приоритет праву нейтральных стран на ведение торговли, а не праву воюющих стран осуществлять блокаду. Даже Мэхэн, этот Клаузевиц военно-морской науки, Шлиффен морей, не смог противостоять и британскому влиянию, и обходительным действиям англичан. Как обычно, все выступали в поддержку нейтральных стран и бизнеса вообще, и штатские коллеги Мэхэна отвергли возражения адмирала.

Товары подразделялись на три категории: абсолютная контрабанда, в которую попадали предметы сугубо военного назначения; условная контрабанда, то есть предметы, пригодные как для военных, так и для гражданских нужд; и неконтрабандный «свободный список». К числу товаров последней категории относилось и продовольствие. Воюющая сторона, объявившая блокаду, могла конфисковывать только абсолютную контрабанду; товары второй категории могли быть захвачены ею, только при наличии доказательств, что они предназначены для противника. Товары, относящиеся к третьей категории, конфискации не подлежали ни в коем случае. Но после того как декларация была подписана и делегаты разъехались по домам, в дело вмешался другой интерес Британии – её военно-морская мощь. На мачте вновь взвился флаг адмирала Мэхэна. Поборники его воззрений в ужасе заголосили о предательстве и отказе

от превосходства на море – самой гарантии существования Великобритании. Что толку, спрашивали они, не давать противнику использовать моря, если нейтралам позволено снабжать его всем необходимым? Они раздули из Лондонской декларации громкий скандал, развязали против неё шумную кампанию в прессе и парламенте. Декларация сводит к нулю весь британский флот; это германский заговор; против декларации выступил Бальфур. Хотя Лондонскую декларацию приняла палата общин, в верхней палате лорды, вдруг испытавшие прилив сил, не позволили ей дойти до голосования – вероятно, это было их наиболее активное действие в двадцатом столетии. К тому времени правительство, как следует поразмыслив, было только радо сунуть это дело под сукно и забыть о нём. Лондонскую декларацию Англия так и не ратифицировала.

Тем временем новые реалии войны на море сделали устаревшей традиционную для Британии политику непосредственной блокады портов противника. До сих пор адмиралтейство предполагало при войне с континентальной державой осуществлять близкую блокаду флотилиями эсминцев при поддержке крейсеров, а в конце концов и линкоров. Развитие подводных лодок, плавучих мин и усовершенствование нарезных орудий заставили отказаться от этой политики и принять метод дальней блокады. Введённая военным приказом адмиралтейства 1912 года, дальняя блокада поставила и новые проблемы. Если судно пытается прорвать блокаду, то в случае близкой блокады понятно, в какой порт оно направляется и никаких вопросов о порте назначения груза не встаёт. Но когда перехват подозрительных кораблей осуществляется за многие мили от их портов назначения, как, например, у входа в Северное море, то законность задержания и ареста груза согласно правилам блокады нужно доказать – либо местом назначения груза, либо контрабандным характером груза. Проблема напоминала плавучую мину, которая, суля неприятности, выставила во все стороны рожки-взрыватели.

Когда разразилась война, Лондонская декларация ещё находилась в состоянии утверждения заинтересованными государствами, и 6 августа, на второй день войны, Соединённые Штаты обратились с официальной просьбой к воюющим сторонам заявить о её соблюдении ими. Германия и Австрия с готовностью согласились на это, при условии, что их противники поступят также. Великобритания,

выступая как представитель союзников по вопросам военно-морской политики, составила утвердительный ответ, который оговаривал определённые права, «существенные для эффективного проведения военных действий на море», и тем самым, несмотря на формальное «да», означал «нет». Англия также ещё не выработала твёрдую политику в отношении контрабанды, но у неё было некое эмпирическое чувство, что параграфы Лондонской декларации требуют некоторого расширенного толкования. Доклад Комитета имперской обороны в 1911–1912 годах уже выдвигал предложение: не порт, куда направляется судно, а место назначения товаров следует рассматривать в качестве критерия условной контрабанды для таких грузов, как кожа для сёдел, резина для покрышек, медь, хлопок, необработанный текстиль, бумага. Эти материалы, которые возможно использовать для военных нужд, не могут свободно транспортироваться по морю только потому, что они предназначаются для получателя из нейтральной страны. Если потом эти товары будут отправлены по суше в Германию, то никакая блокада не стоит затрат на её поддержание. Комитет предлагал «неукоснительно применять» доктрину единства пути.

Одна из тех обладающих загадочной властью фраз, которые появляются в истории и пропадают, не оставляя никаких следов, «единство пути» было принципом, придуманным англичанами в ходе войны с Францией в восемнадцатом веке. Оно означало, что определяющим фактором является конечное назначение товаров. Преждевременно похороненный Лондонской декларацией, прежде чем та успела умереть, теперь этот принцип оказался эксгумирован, подобно замурованному коту Эдгара По, с той же способностью причинять несчастья. Военному министерству сообщили, что продукты питания, отправленные на нейтральных судах в Голландию, на самом деле предназначаются для снабжения германской армии в Бельгии. 20 августа кабинет издал «королевский указ в совете» – правительственный декрет, объявляющий, что отныне Великобритания будет рассматривать условную контрабанду как подлежащую конфискации, если она предназначена врагу, или «агенту противника», или если конечный пункт её назначения находится в руках врага. Подтверждением того, куда направляется груз, служил

теперь не только коносамент, как раньше, но и «любые достаточные основания» – несравненно гибкое определение.

Такова доктрина единства пути – живая, плюющаяся, с острыми когтями. По признанию английского посла в Вашингтоне сэра Сесила Спринг-Райса, её применение на практике вело к тому, что всё становилось абсолютной контрабандой.

Авторы правительственного декрета вовсе не задумывались о том, к какой громадной цепочке последствий приведёт и какие огромные трудности вызовет его практическое применение. Остановка кораблей и высадка на них досмотровых партий, просвечивание груза рентгеновскими лучами, призовые суды и сложность юридически-правовых вопросов, решение Германии обратиться к стратегии неограниченной подводной войны, как к последнему аргументу, что в конечном итоге кардинальным образом скажется на позиции США... Когда Генрих VIII вознамерился развестись с Екатериной Арагонской, он вовсе не предполагал, что в итоге всё выльется в Реформацию. Когда министры кабинета собрались 20 августа за столом заседаний, их волновала лишь продиктованная войной необходимость остановить поток припасов и снаряжения, текущий из Роттердама в Бельгию, на склады германской армии. Королевский указ в совете был представлен им на рассмотрение по предложению военных, и министры одобрили его после непродолжительного обсуждения, о котором в дневнике Асквита имеется лишь одна запись – легкомысленное упоминание о «долгом заседании кабинета... всякая чепуха об угле и контрабанде».

Премьер-министр оказался не единственным человеком, кого не взволновала подобная чепуха о контрабанде. Когда германский чиновник, предвидя, что боевые действия выльются в долгую войну на истощение, представил Мольтке меморандум о необходимости учредить экономический генеральный штаб, Мольтке ответил ему: «Не докучайте мне экономикой – я занят, я веду войну».

По удивительному совпадению, правительственный декрет, возрождая спорные вопросы войны 1812 года, был обнародован точно в столетнюю годовщину сожжения Вашингтона английскими войсками. К счастью, эта непредвиденная случайность, да и сам английский правительственный декрет остались незамеченными американской общественностью, чьё внимание было захвачено броскими газетными заголовками о падении Брюсселя, о бедствующих

в Париже американцах, о кайзере и царе, о флотах, казаках и фельдмаршалах, о цепелинах, о Западном и Восточном фронтах. Но правительство Соединённых Штатов испытало немалое потрясение. Суть сдержанной преамбулы к декрету, которая подтверждала соблюдение Лондонской декларации перед тем, как искусно упомянуть ряд исключений, не укрылась от зоркого глаза профессионального юриста Роберта Лансинга, советника государственного департамента США. Он немедленно составил решительный протест, который форсировал долгую, тянувшуюся месяцы и годы дуэль, состоящую из обмена письмами и окликами, сводками, резюме и ссылками на прецеденты, беседами между послами, томами документов.

Лондонской «Дейли кроникл» от 27 августа представлялась «очень реальной опасностью» для Англии оказаться втянутой в обсуждение с США вопросов контрабанды и права на досмотр, которому, насколько было понятно, Соединённые Штаты будут «решительным образом противиться». Возникшая проблема требовала осторожного обращения с собой и заставила задуматься сэра Эдварда Грея. Вначале, когда все полагали, что война будет недолгой, и значение имело то, какими средствами быстрее добиться победы, в то время казалось маловероятным, что возникнут серьёзные проблемы с США. После боёв у Монса и Шарлеруа с заваленных мёртвыми телами полей сражений встала и взглянула прямо в лицо союзникам неизбежность долгой войны. В затянувшейся войне союзники предполагали ввозить из США продовольствие и вооружение, занимать деньги (о людях никто ещё и не задумывался) и рассчитывали лишить Германию возможности получать такую же поддержку. Осуществлять более строгую блокаду противника и сохранять дружеские отношения с ведущими нейтральными странами становилось в одно и то же время важным — и невозможным. Поскольку каждое ограничение, налагаемое на торговые отношения нейтральных государств с Германией, вызывало новые громкие стенания и вопли государственного департамента о свободе морской торговли, то становилось очевидным, что Англии, как бы это ни было ей неудобно, возможно, придётся решать, какая из двух целей является для неё более важной. Пока же, со свойственной англичанам нелюбовью к абсолютному, сэр Эдвард Грей оказался в состоянии двигаться от одного инцидента к другому, избегая идти на принцип,

подобно опытному рулевому, лавирующему меж скал и рифов. Английский министр иностранных дел прилагал все усилия, чтобы не дать дискуссии зайти слишком далеко и коснуться какого-либо недвусмысленного вопроса, который потребовал бы от обеих сторон занять чёткую позицию, лишив себя шанса на отступление. Изюмным днём его целью было, как он говорил, «обеспечить максимально строгую блокаду, какую только возможно осуществить без разрыва отношений с Соединёнными Штатами Америки».

У Грея был грозный оппонент, человек в высшей степени принципиальный. Непреклонно, по-пуритански преданный идее нейтралитета, Вудро Вильсон был вынужден настаивать на традиционных правах нейтральной страны скорее не из принципа, а потому, что они соответствовали той роли не встающего ни на чью сторону политика, которую он с готовностью принял с самого начала. Президентский пост он занял, активно и последовательно выступая против сторонников «дипломатии доллара» и финансовых группировок, пустивших глубокие корни под оберегающей их величественной тенью президента Тафта. Вильсон успешно взял курс на «новую свободу» во внутренней политике и в отношениях со странами Латинской Америки. Понимая, что войны замедляют ход реформ, он склонялся к тому, чтобы удержать страну от внешнеполитической авантюры, которая бы помешала проведению его программы. Но помимо этого, у Вильсона была и другая причина, более возвышенная и не столь явная. В войне он увидел возможность для своей страны добиться более высокого положения на мировой арене. Когда президент впервые в своих выступлениях заговорил о войне, – это случилось на пресс-конференции 2 августа, – он сказал, что хотел бы гордиться чувством, что Америка «готова помочь остальному миру», и он верит, что она может «при этом пожать плоды славы». Таким образом, намного раньше, чем заговорили пушки, Вильсон сформулировал, какую роль он хотел бы возложить на США, с которыми он отождествлял себя. За эту роль он цеплялся с нарастающим отчаянием, как бы молот событий ни ослаблял его хватку, и от этой роли он в душе не отказывался никогда, даже когда участие Соединённых Штатов в войне стало решённым делом.

Для Вильсона нейтралитет был противоположностью изоляционизма. Он хотел не допустить участия страны в войне для того, чтобы она играла в международных делах роль не меньшую, а большую. Он хотел «огромной немеркнущей славы» как для себя, так и для своей страны, и он понимал, что может добиться цели, только если удержит Америку в стороне от полей сражений, потому что тогда у него будет возможность выступить беспристрастным арбитром в споре. В своём знаменитом заявлении от 18 августа Вильсон призвал своих соотечественников быть «нейтральными не только на словах, но и на деле, непредвзятыми и в мыслях, и в поступках», и объяснил, что конечная цель нейтралитета – обретение США возможности «давать советы миру» и «сыграть роль объективного посредника». В европейском конфликте он надеялся исполнить долг «нравственного судьи», как он высказался в более позднем выступлении. Вильсон стремился «служить всему человечеству», посредством силы – моральной силы – Нового Света спасти Старый Свет от его безумия и, основываясь «на нормах справедливости и гуманизма», принести дары мира через посредничество под флагом, который будет «флагом не только Америки, но и всего человечества».

Стоило английскому флоту к концу августа фактически установить контроль над Атлантикой, как продолжилась дуэль с США относительно контрабанды – всерьёз и нередко мучительно, но при этом оставаясь в тени. Для Вильсона свобода торговли никогда не являлась важнейшим вопросом политики, и хотя однажды, когда ситуация особенно обострилась, его обеспокоила мысль, что он может оказаться вторым после Мэдисона президентом-выпускником Принстона, кому придётся повести страну на войну, у него не было никакого желания доводить спор до опасной черты, до нового 1812 года. В любом случае, резко выросшая торговля с союзниками, которая с лихвой компенсировала дефицит, возникший из-за потери такого торгового партнёра, как Германия, притупляла остроту национального принципа. Пока за товары поступала оплата, США молчаливо соглашались с процессом, который был запущен английским правительственным декретом от 20 августа.

С того времени, благодаря господству британского флота в открытом море, американская торговля в силу сложившихся обстоятельств всё больше и больше переориентировалась на



союзников. Торговый оборот с Центральными державами упал со 169 млн долларов в 1914 году до 1 млн долларов в 1916 году, а за тот же период торговый оборот с союзниками вырос с 824 млн долларов до 3 млрд долларов. Для удовлетворения спроса американские бизнесмены и промышленность выпускали те товары, в которых нуждались союзники. Чтобы те имели возможность расплачиваться за поставки из Америки, была достигнута договорённость о предоставлении союзникам финансового кредита. Со временем США превратились для союзников в кладовую, арсенал и банк. Америка теперь была непосредственно заинтересована в победе союзников, что ещё долгое время смущало послевоенных поборников экономического детерминизма.

Развитие экономических уз происходит там, где есть основа для долгосрочных и прочных культурных связей, а экономический интерес рождается там, где для этого есть естественная заинтересованность. С Англией и Францией США всегда торговали больше, чем с Германией и Австрией, и блокада только выявила пусть в искажённом, гиперболизированном виде, уже существовавшие обстоятельства и отнюдь не создала новые. Торговля не только следует за флагом, но и несёт на себе отпечаток свойственных человеку симпатий и антипатий.

«Правительство может быть нейтральным, – заметил Уолтер Хайнс Пейдж, американский посол в Лондоне, – но люди не могут, ни один человек». Как искренний сторонник союзников, кому концепция нейтралитета представлялась жалкой, он и говорил с жаром, и в ярких убедительных посланиях Вильсону не таил своих чувств. И хотя нескрываемая симпатия Пейджа к союзникам привела к тому, что президент отдалился от него, едва не отвернувшись совершенно, – от человека, который одним из первых выступил в его поддержку, – даже Вильсон не мог заставить себя быть беспристрастным в мыслях, чего он добивался от других людей. Когда Грей отправил ему послание с соболезнованиями по поводу кончины супруги президента, Вильсон, восхищавшийся Греем и чувствовавший некую близость с ним – тот тоже потерял жену, – ответил ему: «Выражаю надежду, что вы смотрите на меня, как на своего друга. Полагаю, мы связаны вместе общностью принципов и цели». В правительстве Германии не было никого, к кому президент США мог бы обратиться с такими же словами.

Культура и политическая философия, которые формировали взгляды и убеждения Вильсона, как и большинства влиятельных представителей американского общества, своими корнями уходили в историю и культуру Англии и идеи Французской революции. Ради честолюбивой цели стать всемирным миротворцем он постарался отстраниться от своих культурных корней.

Три года он боролся, прибегая ко всем имевшимся у него средствам убеждения, чтобы склонить воюющие стороны к переговорам о мире, «мире без победы». Нейтралитету, на который опирались усилия Вильсона, способствовали многочисленный поток ирландцев и то, что можно назвать настроениями против Георга III, а также громогласные прогерманские группы, начиная от гарвардского профессора Гуго Мюнстерберга и кончая завсегдатаями пивных в Милуоки. Возможно, они и взяли бы верх, если бы не фактор, перед которым Вильсон был бессилён и который в формировании общественного мнения Америки сослужил огромную пользу союзникам – и вовсе не английский флот, а германские недомыслие и безрассудность.

В начале войны, 4 августа, президент в письме другу выразил лишь «крайнее неодобрение» по отношению к конфликту по ту сторону океана и воюющие стороны для него ничем друг от друга не отличались. А 30 августа, через месяц боёв в Бельгии, советник президента полковник Хауз отметил, что президент «глубоко переживает разрушение Лувена... В своём осуждении Германии в этой войне он идёт даже дальше меня и едва не позволяет своим чувствам возложить ответственность за случившееся на весь немецкий народ, а не только на руководителей страны... Он высказал мнение, что если Германия победит, то наша цивилизация двинется в другом направлении и превратит Соединённые Штаты в военное государство». Несколько дней спустя Спринг-Райс сообщил, что Вильсон сказал ему «с самым серьёзным видом, что если в идущей сейчас борьбе Германия преуспеет, то Соединённым Штатам придётся отказаться от исповедуемых ныне идеалов и всю свою энергию обратить на оборону, что будет означать конец действующей системы правления».

Высказывая подобное мнение, Вильсон, тем не менее, стоял до последнего – словно герой стихотворения Хеманс, этакий Касабьянка

на горящей палубе нейтралитета. Однако опорой ему служили законы, не чувства. Вильсон никогда не смотрел на перспективу победы союзников как на угрозу принципам, заложенным в основание Соединённых Штатов, в то время как победу Германии, особенно после многое прояснивших событий в Бельгии, никак иначе воспринимать уже было нельзя. Если Вильсона, сделавшего на нейтралитет ставку больше всех своих соотечественников, действия Германии заставили от неё отвернуться, то можно себе представить, какие чувства охватили среднего американца. Вызванные разрушением Лувена настроения заглушили недовольство английской блокадой. Всякий раз, как досмотр судна англичанами, конфискация груза или дополнение перечня контрабандных товаров следующим пунктом вызывали новые вспышки возмущения американцев, то оно из-за очередного акта запугивания со стороны германских войск опять обращалось на немцев. Например, когда суровое осуждение Лансингом английского правительственного декрета готово было вылиться в большой спор, германский цеппелин 25 августа сбросил бомбы на жилые кварталы Антверпена – погибли мирные жители, и бомбы едва не угодили во дворец, где только что поселилась королева Бельгии с детьми. В результате Лансинг стал составлять протест против «грубейшего нарушения законов человечества» вместо того, чтобы сочинять ноту с протестом против доктрины единства пути.

В минуту тягостного предвидения Вильсон по секрету сказал своему родственнику, доктору Аксону, по воспоминаниям которого разговор имел место вскоре после похорон жены президента, состоявшихся 12 августа: «Боюсь, в открытом море случится нечто, что сделает невозможным наше неучастие в войне». Однако решающим фактором стало не то, что случилось в открытом море, а то, что не случилось. Когда Шерлок Холмс обратил внимание инспектора Грегори «на странное поведение собаки в ночь преступления», то озадаченный инспектор ответил: «Но собака никак себя не вела!»

«Это-то и странно», – сказал Холмс.

Вот этой собакой в ночи и был германский флот. Он не сражался. Посаженному на цепь теорией «флота существующего» и уверенностью немцев в скорой победе на суше, флоту не позволили рисковать. Флоту не дали шанса выполнить его предназначение –

держат морские пути открытыми для торговых судов своей страны. Хотя промышленность Германии зависела от поставок импортного сырья, а немецкому сельскому хозяйству требовался импортный фураж, германский военно-морской флот не предпринял даже попытки защитить необходимые морские перевозки. В августе произошло единственное сражение – нечаянное и лишь укрепившее нежелание кайзера рисковать своими «дорогушами»: оно случилось в Гельголандской бухте 28 августа.

Англичане, стремясь отвлечь внимание немцев от высадки морской пехоты в Остенде, неожиданно предприняли смелый рейд. Флотилии подводных лодок и эсминцев английского флота, поддержанные линейными крейсерами, вошли в Гельголандскую бухту – место базирования германских военно-морских сил. Немцы были застигнуты врасплох. Германским лёгким крейсерам был отдан приказ выйти вперёд без поддержки более тяжёлых кораблей. «Со всем пылом первого боя», говоря словами Тирпица, они необдуманно ринулись в туман и смятение. Корабли оказались рассредоточены, весь день прошёл в случайных столкновениях и непонятных манёврах, англичане ошибочно принимали свои корабли за вражеские и по чистому везению едва убереглись от того, что Черчилль деликатно назвал «неуклюжим замешательством». Немцы не сумели ответить на брошенный вызов и не отправили в море весь флот, уступили противнику в числе и в огневой мощи. Бой закончился в пользу англичан. Три германских лёгких крейсера: «Кёльн», «Майнц» и «Ариадна», а также эсминец были полностью разбиты и затонули, ещё три корабля получили тяжёлые повреждения. Свыше 1000 человек, в том числе адмирал и капитан 1-го ранга, было убито или утонуло, а более 200 человек, в том числе Вольф Тирпиц, сын гросс-адмирала, были подняты из воды англичанами и попали в плен. Англичане не потеряли ни одного корабля, а убитых и раненых у них было 75 человек.

В ужасе от потерь, получив ещё одно подтверждение своим страхам и не желая новых испытаний британским флотом, кайзер отдал приказы, запретив отныне рисковать флотом, указав на то, что «необходимо избегать потерь в кораблях». Самостоятельность и инициатива командующего флотом Северного моря были ещё больше ограничены, а перемещения крупных сил флота в дальнейшем не

могли осуществляться без предварительного разрешения его величества.

После сражения в Гельголандской бухте германский флот лишь пассивно наблюдал за тем, как английский флот возводит и укрепляет вокруг Германии стены блокады. Борясь со своими цепями, несчастный Тирпиц записал в середине сентября: «Лучшие шансы на успешный исход сражения имелись в первые две-три недели войны». Гросс-адмирал предсказывал также: «В будущем эти шансы будут не улучшаться, а ухудшаться». Зато теперь именно английский флот «влияет всей своей мощью „флота существующего“». Он оказывает из ряда вон выходящее и всё усиливающееся давление на нейтралов, полностью уничтожил германскую морскую торговлю, довёл эффективность блокады почти до максимума».

В конце концов, Германия вынуждена была преодолевать ситуацию, возникшую из-за её собственного бездействия, и в своей военно-морской политике она ушла под воду. Запоздалую попытку прорыва блокады предприняли силами подводных лодок. Расплодившиеся из-за бессилия надводного флота, субмарины в конечном счёте создали в открытом море такое положение, о котором в августе, в первые дни войны, со страхом размышлял Вильсон.

## Глава 19

### Отступление

Подобно срезающей траву косе, пять германских армий правого крыла и центра, пройдя Бельгию после Пограничного сражения, вонзились во Францию. Вторгнувшиеся войска насчитывали миллион человек, и передовые колонны, расстреливая и сжигая, ступили на территорию Франции 24 августа. В Лотарингии прорыва не было: две армии левого крыла под командованием принца Рупрехта продолжали сражаться против отчаянно сопротивлявшихся армий Кастельно и Дюбая.

Германские войска правого крыла, прорвавшись на фронте шириной в семьдесят пять миль, двинулись по длинным белым дорогам северной Франции на Париж, имея на правом фланге армию фон Клука, пытавшуюся обойти союзников. Неотложная задача Жоффра заключалась в том, чтобы, остановив отступление своих войск, в то же самое время перенести тяжесть обороны налево, сформировав достаточно сильный заслон, способный приостановить обходный манёвр противника и «возобновить наступление». После постигшей катастрофы «возобновление наступления» было доминирующей мыслью французского главного штаба. Спустя двадцать четыре часа после разгрома, не дав времени на то, чтобы произвести «проверку», как это официально называлось, французских армий и не попытавшись переосмыслить стратегию в рамках возможного, 25 августа Жоффри издал новый Общий приказ, второй в этой войне. По нему предполагалось создать на пути германского правого крыла новую, 6-ю армию, сформированную из войск, снятых с удерживаемого в Лотарингии фронта. Переброшенная по железной дороге в Амьен, на левый фланг англичан, она вместе с британским экспедиционным корпусом, 4-й и 5-й французскими армиями должна была составить кулак, возобновивший наступление. Пока 6-я армия формировалась, трём отступавшим французским армиям предстояло создать непрерывный фронт и «остановить или задержать продвижение противника короткими и энергичными контратаками», осуществляемыми арьергардами. Как указывалось в Общем приказе

№2, Жоффр полагал, что 6-я армия прибудет на позиции и будет готова присоединиться к новому наступлению ко 2 сентября, дню Седана.

Этот же срок был назначен и наступающим немецким войскам, рассчитывавшим завершить манёвр Шлиффена: охват и уничтожение французских войск, сконцентрированных на фронте перед Парижем. В течение последующих двенадцати дней обе стороны помышляли о втором Седане. Это были двенадцать дней, когда история колебалась между двумя путями, и немцы были так близки к победе, что даже сумели коснуться её между Эной и Марной.

«Сражаться отступая, сражаться отступая», – таков был приказ, неустанно повторявшийся каждому полку. Необходимость задержать противника и выиграть время для перегруппировки и создания твёрдой обороны придавала упорство, которого так не хватало при наступлении. Она требовала арьергардных действий – почти самоубийства. Стремление же немцев не дать французам время на перегруппировку толкало их вперёд с не меньшей настойчивостью.

При отступлении французы сражались с умением и постигнутым на горьком опыте искусством, которые не всегда проявляли во время первых боёв в Бельгии. Они больше не участвовали в большом и весьма туманно понимаемом наступлении в загадочных лесах, на чужой земле, теперь они были у себя дома, защищали Францию. Местность, по которой они проходили, была знакомой, население – французским, поля, амбары, деревенские улицы – всё было теперь своим, и теперь солдаты сражались так, как дрались 1-я и 2-я армии за Мозель и Гран-Куронне. Хотя наступление и не удалось, они не были ещё разбитой армией. Слева, на пути главного наступления немцев, 5-я армия, избежав катастрофы у Шарлеруа и на Самбре, пыталась зацепиться за что-нибудь. В центре, имея за спиной Маас, 3-я и 4-я армии вели упорные сдерживающие бои от Седана до Вердена против двух германских армий центра, срывая попытки противника окружить их и, как пришлось разочарованно признаться кронпринцу, «восстанавливая свободу манёвра». Но, несмотря на действия арьергардов, германское наступление было слишком массированным, чтобы его можно было остановить. Продолжая сражаться, французы отступали; приостанавливали и задерживали врага, где могли, но всё же отступали.

В одном месте после переправы через Маас батальону егерей из 4-й армии генерала де Лангля в полночь был дан приказ удерживать мост, который не удалось взорвать зарядами динамита. Солдаты провели ночь, «полную мук и ужаса», наблюдая за тем, как на противоположном берегу саксонцы из армии фон Хаузена «у нас на глазах сжигают городок и расстреливают жителей. Утром над деревней поднялись языки пламени. Мы видели бегущих по улицам людей, их преследовали солдаты. Они стреляли... Вдали мы разглядели безостановочно двигавшуюся массу всадников, которые словно бы выискивали нашу позицию: далеко-далеко на равнине появились тёмные скопища пехоты». Враг приближался, и вот вскоре германский пехотный батальон, в колонну по пять человек, по извивающейся дороге «походным шагом двигался в нашу сторону. Дорога под нами, насколько было видно, запрудили войска – пехотные колонны во главе с офицерами верхом на лошадях, артиллерийские упряжки, подводы, фургоны, кавалерия, – почти вся дивизия, двигавшаяся в совершенном порядке».

«Целься!» Приказ, понизив голос, передали дальше по стрелковой цепи. Егеря молча занимали свои места. «Стрельба залпом! Сначала огонь по пехоте. Каждый выбирает цель сам!» Командиры рот указывали сектора и дальность стрельбы. «Открыть огонь!» Вдоль реки затрещали винтовочные выстрелы. Внизу застигнутые врасплох немцы впали в ступор. Их роты смешались, закружились, словно в водовороте; немцы побежали. Лошади шарахались, вставали на дыбы, рвались из упряжи, фургоны сталкивались друг с другом. Дорога покрылась сотнями трупов. В 8:45 у французов почти кончились патроны. Вдруг слева позади них началась винтовочная стрельба. Противник повернул свой фланг. «Кругом! В штыки!» Под напором штыкового удара немцы дрогнули и отошли; французский полк сумел прорваться.

Арьергардам пришлось вести сотни подобных боёв, пока французские армии отступали, пытаясь сохранить линию фронта и не потерять контакт с соседями. Нужно было, не пропустив врага, добраться до рубежа, откуда можно вновь начать наступление. Рядом с солдатскими колоннами на юг двигались толпы мирных жителей, пешком и на всевозможных средствах передвижения: семьи в фургонах, куда впряжено шесть лошадей, стариков везли в ручных



тележках, младенцев — в колясках. Заполнив дороги, беженцы вносили свою долю в царящую на дорогах неразбериху. В людском хаосе увязали штабные автомобили, офицеры ругались, послания и донесения не доходили до адресатов. Среди войсковых колонн медленно ехали городские автобусы и гражданские грузовики, переданные армии при мобилизации и сохранившие ещё прежнюю окраску, военные эмблемы были нарисованы поверх довоенных надписей и торговых знаков. На них везли раненых, окровавленных и неразговорчивых, с оторванными снарядами руками и ногами, чьи глаза были полны болью и страхом смерти.

Каждая миля отступления болью отзывалась в сердцах — ещё один клочок французской территории оставался врагу. Кое-где солдаты проходили мимо своих домов, зная, что на следующий день туда придут немцы. «27 августа мы оставили Бломбэ, — писал капитан-кавалерист из 5-й армии. — Десять минут спустя он был занят германскими уланами». Части, только что вышедшие из боя, шли в молчании, не в ногу, без песен. Измождённые солдаты, грязные и голодные, ругали офицеров или глухо поговаривали о предательстве. В X корпусе армии Ланрезака, потерявшей на Самбре 5000 человек, шептались, что расположение всех французских позиций было выдано немецким артиллерийским корректировщикам. «Солдаты едва брели, на их лицах было написано полное измождение, — писал один пехотный капитан. — Они только что завершили двухдневный шестидесятидвухкилометровый марш после тяжёлого арьергардного боя». Но этой ночью им удалось поспать, и «утром оставалось только поражаться, как несколько часов сна буквально оживили их. Это были совершенно другие люди». Солдаты спрашивали, почему мы отступаем, и капитан произнёс пронзительную речь «спокойным уверенным голосом». Офицер сказал им, что они снова будут сражаться и «покажут немцам, что у нас есть когти и клыки».

Кавалеристы, когда-то сверкавшие начищенными сапогами и щеголявшие яркими мундирами, а теперь забрызганные грязью, от усталости пошатывались в сёдлах. «Головы не держатся на плечах от усталости, — писал один гусарский офицер 9-й кавалерийской дивизии. — Солдаты почти не видят, куда едут, они живут в полусне. На привалах утомлённые изголодавшиеся лошади, не дожидаясь, пока их расседлают, жадно набрасываются на сено. Мы больше не спим.

Ночью мы на марше, а днём дерёмся с врагом». Они узнали, что позади них немцы переправились через Маас и двинулись дальше, по пути сжигая деревни. «Рокруа представлял собой сплошной костёр, и от горевших по соседству амбаров пламя перекинулось на деревья, что стояли на лесной опушке». На рассвете свой голос подали вражеские орудия; «немцы салютовали солнцу снарядами». Сквозь непрерывный грохот и треск французы расслышали храбрые выкрики своих семидесятипятков. Они удерживали позиции, дожидаясь, пока окончится артиллерийская дуэль. Прискакавший ординарец передал приказ командира – отступить. Солдаты двинулись дальше. «Я разглядывал зеленеющие поля и стада пасущихся овец и думал: „Какое богатство мы бросаем!“ Мои солдаты воспряли духом. Они наткнулись на систему траншей, выкопанных пехотой, и с огромным любопытством осмотрели их, словно бы те были местной достопримечательностью, которой туристам принято восхищаться».

Немецкие части, принадлежавшие армии герцога Вюртембергского, 25 августа дошли до Седана и обстреляли городок Базей, где в 1870 году состоялось известное «сражение до последнего патрона». Войска 4-й армии де Лангля контратаковали врага, чтобы не дать ему форсировать Маас. «Началась упорная артиллерийская дуэль, – записал германский офицер VIII запасного корпуса. – Грохот был такой ужасный, что дрожала земля. Плакали даже наши бородачи из территориальных частей». Позднее ему довелось участвовать в «страшном бою на лесистом склоне, крутом как крыша. Четыре штыковые атаки. Нам приходилось перепрыгивать через груды наших убитых. Мы отступили к Седану с большими потерями, недосчитавшись трёх знамён».

В ту ночь французы взорвали все железнодорожные мосты в округе. Зная, что нужно задержать врага, и мучаясь сомнениями, что, может быть, завтра им самим эти мосты понадобятся для наступления, они откладывали их уничтожение до самого последнего момента – и иногда опаздывали.

Самая большая сложность заключалась в том, чтобы выделить каждой части, от корпуса до полка, с их обозами, артиллерийским и кавалерийским сопровождением, свои пути следования и линии связи. «Вместо того чтобы уступить дорогу транспортным повозкам, пехота топчется на перекрёстках», – жаловался интендантский офицер.

Отступая, части должны были перестроиться, снова собраться под своё знамя, доложить о потерях, получить пополнения в солдатах и офицерах из тыловых резервов. Только в один IV корпус армии Рюффе из резервных сборных пунктов было направлено 8000 человек, четверть его состава, чтобы рота за ротой восстановить потери. Среди офицеров, приверженцев доктрины *élan*, начиная от генерала и ниже, потери были огромными. Одной из причин разгрома, по мнению полковника Танана, офицера штаба 3-й армии, было то, что вместо управления боем из соответствующего места в тылу генералы отправлялись на фронт и находились в передовых цепях; «они исполняли функции капралов, а не командиров».

Наученные горьким опытом, французы теперь прибегали к другой тактике. Они окапывались. Один полк под палящим солнцем, скинув мундиры, целый день рыл траншеи для ведения огня стоя. Другой, получив приказ окопаться и организовать оборону в лесу, провёл ночь спокойно и покинул позиции в четыре часа утра, «почти сожалея, что не пришлось сражаться... так как теперь мы уже злы на непрерывное отступление».

Стремясь уступить как можно меньше территории, Жоффр намеревался закрепиться как можно ближе к участку прорыва. Рубеж, который он указал в Общем приказе № 2, проходил вдоль Соммы, приблизительно в 50 милях от канала Монс и Самбры. Пуанкаре сомневался, не обманывает ли Жоффр самого себя в своём оптимизме, так как были и другие, кто предпочёл бы, чтобы этот рубеж отстоял дальше, ведь тогда будет время укрепить фронт. В Париже с самого дня разгрома считали, что фронт не минует города, но Жоффр об этом и не думал, а во Франции не было никого, кто рискнул бы потребовать ответа у Жоффра.

В правительстве царил суматоха. Министры, как говорил Пуанкаре, находились «в состоянии оцепенения»; их заместители, по словам Мессими, в «панике, налепившей на лица маску страха». Не имея прямого контакта с фронтом, без свидетельств очевидцев, ничего не зная о стратегических военных планах, завися от «лаконичных и малопонятных» коммюнике генерального штаба, от слухов, предположений и противоречивых сообщений, они несли ответственность перед страной и перед народом, не имея власти над военными, чтобы через них влиять на ход войны. За прилизанными и

отлакированными фразами доклада Жоффра Пуанкаре сумел разглядеть острые углы правды – «признание вторжения, поражения и потери Эльзаса». Президент считал своим долгом рассказать стране факты и подготовить народ к «тройному испытанию», которое ждало впереди. Но он ещё не осознавал, что более срочной была необходимость подготовить Париж к осаде.

В тот же день рано утром о беззащитности столицы узнал военный министр Мессими. Генерал инженерных войск Хиршауэр, ответственный за оборонительные работы и начальник штаба генерала Мишеля, военного губернатора Парижа, явился к Мессими в 6 часов утра. Это произошло за несколько часов до получения телеграммы Жоффра, но Хиршауэру уже было известно о поражении под Шарлеруа и он единым взглядом охватил расстояние от границ до столицы. Он напрямик сообщил Мессими, что оборона города не готова. Несмотря на тщательное изучение и учёт всех потребностей, «фортификационные сооружения существовали только на бумаге, а на местности ничего не сделано». Первоначально датой окончания оборонительных работ установили 25 августа, но так велика была вера во французское наступление, что срок перенесли на 15 сентября. Из-за нежелания приступать к сносу частных домов и рубке деревьев, что было необходимо для расчистки секторов огня и рытья траншей, никакого определённого приказа о проведении этих работ отдано не было. Устройство артиллерийских позиций, возведение огневых точек и наблюдательных постов, установка проволочных заграждений, рубка леса для завалов, подготовка укрытий для боеприпасов – ничто не было закончено и наполовину, а завоз запасов продовольствия для города только начался. В качестве военного губернатора и ответственного за оборону города генерал Мишель, окончательно обескураженный отклонением его оборонительного плана 1911 года, оказался медлителен, безынициативен и слаб. Его стилю управления в этой должности, которая была учреждена после начала войны, очень скоро стали свойственны анархия и неуверенность. Ещё более утвердившись в своём неблагоприятном мнении о Мишеле, которое сложилось у него уже в 1911 году, Мессими вызвал 13 августа генерала Хиршауэра, приказал ликвидировать все отсрочки и закончить оборонительные сооружения через три недели. Теперь Хиршауэр признался, что такая задача невыполнима.

— Кругом одна пустая болтовня, — сказал он. — Каждое утро я по три часа трачу на доклады и обсуждения, которые не дают результатов. Каждое решение требует согласования. Да, я — начальник штаба военного губернатора, но, будучи простым бригадным генералом, я не могу отдавать приказание дивизионным генералам, которые командуют секторами.

Как уже вошло у него в привычку, Мессими сразу же послал за Галлиени и совещался с ним как раз тогда, когда пришла телеграмма от Жоффра. Её первые фразы, в которых вся вина за неудачи сваливалась на «наши войска, не продемонстрировавшие на поле боя наступательных качеств, ожидаемых от них», крайне огорчили Мессими, но Галлиени интересовали факты, расстояния и названия мест.

— Говоря коротко, — заметил генерал, отбросив сантименты, — германские армии можно ожидать у стен Парижа через двенадцать дней. Готов Париж к осаде?

Вынужденный ответить «нет», Мессими попросил Галлиени зайти попозже, намереваясь тем временем получить у правительства разрешение назначить его военным губернатором вместо Мишеля. В этот момент он был «поражён», узнав от ещё одного посетителя, генерала Эбенера, представителя генерального штаба при военном министерстве, что из Парижа отзывались две резервные дивизии, 61-я и 62-я, предназначенные для обороны города. Жоффр посылал их на север для усиления группы из трёх дивизий территориальных войск, единственных французских сил, находящихся между англичанами и морем, куда стремились правофланговые корпуса фон Клука. Разъярённый Мессими ответил, что, поскольку Париж относится к внутренней зоне, а не армейской, 61-я и 62-я находятся под его командованием, а не Жоффра и не могут быть взяты из состава парижского гарнизона без разрешения военного министра, то есть его, Мессими, премьер-министра или президента республики. Эбонер ответил, что приказ уже «исполняется», и с некоторым смущением добавил, что и сам он должен отправиться на север в качестве командира этих дивизий.

Мессими бросился в Елисейский дворец к Пуанкаре, который, услышав это известие, «взорвался», но также оказался бессилён. В ответ на его вопрос, какие же войска остались в Париже, Мессими

пришлось ответить, что в их распоряжении находятся одна кавалерийская дивизия, три территориальные дивизии и какое-то количество новобранцев на городских призывных пунктах с немногочисленным кадровым командным составом. Оба поняли, что правительство и столица Франции остались без всяких средств для обороны и взять их неоткуда. У них была только одна-единственная надежда – на Галлиени.

Его снова попросили сменить Мишеля, что он сам, вместо Жоффра, мог сделать ещё в 1911 году. В двадцать один год, только что выпущенный из Сен-Сира в звании су-лейтенанта, Галлиени сражался при Седане, попал в плен и провёл некоторое время в Германии, где выучил немецкий язык. Впоследствии он решил продолжить свою военную карьеру в колониях, где Франция «выращивала солдат». Хотя армейская верхушка, выпускники Высшей военной школы, смотрел на службу в колониях как на *«le tourisme»* («туризм»), слава Галлиени, завоевателя Мадагаскара, подняла его, как и Лиоте из Марокко, до вершин французской армии. Он вёл дневник на немецком, английском и итальянском языках, называя его *«Erinnerungen of my life di ragazzo»* («Воспоминания о моей юношеской жизни»), и не переставал чему-то учиться. Галлиени изучал вопросы развития тяжёлой артиллерии и сравнительную деятельность колониальных администраций, учил он и русский язык. Он носил пенсне и густые седые усы, которые не очень-то вязались с его элегантной, аристократической фигурой. Держался он всегда как на параде. Высокий, худощавый, кажущийся строгим, Галлиени не походил ни на одного из офицеров современной ему Франции. Пуанкаре так описал его: «Прямой, суховатый и гибкий, с высоко поднятой головой и проницательными глазами, смотрящими из-за пенсне, он был для нас внушительным примером сильного человека».

Теперь Галлиени было шестьдесят пять лет, он страдал от простатита, от которого через два года и умер, перенеся две операции. Оставшись месяц назад одиноким после смерти горячо любимой жены, отказавшись тремя годами ранее от самого высокого поста в армии, он был выше личных амбиций. Человек, которому оставалось мало жить, он не терпел политики в армии, а также междоусобиц политиканов. В последние месяцы перед войной, когда накануне его отставки в апреле вокруг Галлиени развивались интриги и одни

прочили его на должность военного министра или главнокомандующего вместо Жоффра, а другие пытались урезать ему пенсию или лишить друзей, записи в его дневнике были полны отвращения к жизни, к «этой жалкой политике», к «клану проходимцев», к отсталости и необученности армии и лишены какого бы то ни было восхищения Жоффром. «Когда сегодня я был на прогулке в Булонском лесу, то проезжал мимо него – как обычно, идущего пешком... Какой же он толстый и массивный; вряд ли он проживёт ещё три года». Теперь же, в самый тяжёлый для Франции с 1870 года момент, его просили занять пост, с которого его предшественника сняли за бездеятельность, звали оборонять, не имея армии, Париж. Галлиени был убеждён, что удержать столицу необходимо из соображений боевого духа, а также ради железных дорог, материальных запасов и промышленного значения города. Он хорошо понимал, что Париж невозможно защищать как крепость, запершись изнутри; его возможно защитить только с помощью армии, дав врагу бой на подходах к городу, – армии, которую должен прислать Жоффр, – а у того имелись другие планы.

«Они не хотят защищать Париж, – сказал Галлиени Мессими в тот вечер, когда министр официально предложил ему стать военным губернатором. – В глазах наших стратегов Париж – понятие географическое, такой же город, как и любой другой. Что же вы даёте мне для защиты этой громады, где находятся мозг и сердце Франции? Несколько территориальных дивизий и одну, правда отличную, из Африки. Но ведь это капля в море. Чтобы Париж не разделил судьбу Льежа и Намюра, его нужно прикрыть вокруг на расстоянии ста километров, а для этого нужна армия. Дайте мне армию из трёх полевых корпусов, и тогда я соглашусь стать военным губернатором Парижа. Только на этом условии, окончательном и официальном, я соглашусь защищать столицу».

Мессими горячо благодарил его, «несколько раз пожав мне руки и даже поцеловав меня», и Галлиени окончательно убедился, «судя по этим тёплым проявлениям чувств, что достававшееся мне место отнюдь не было таким, которому можно было бы завидовать».

Как он добьётся от Жоффра не трёх, а хотя бы одного полевого корпуса, Мессими не знал. Единственной действительно надёжной частью была африканская дивизия, упомянутая Галлиени, – 45-я

пехотная из Алжира, сформированная по прямому указанию военного министерства, помимо общих мобилизационных планов. И теперь она выгружалась на юге. Несмотря на повторяющиеся телефонные звонки из генерального штаба, требовавшего эту дивизию, Мессими решил не отдавать её, «свежую и великолепную», чего бы это ни стоило. Но ему требовалось ещё пять дивизий. Заставить Жоффра прислать их, чтобы удовлетворить условия Галлиени, означало бы прямое столкновение между правительством и главнокомандующим. Мессими боялся. В торжественный и незабываемый день объявления мобилизации он поклялся себе «никогда не впадать в ошибку, совершённую военным министерством в 1870 году», когда его вмешательство, по приказу императрицы Евгении, послало генерала Макмагона на Седан. Вместе с Пуанкаре они тщательно изучили декреты 1913 года, определявшие полномочия министерства в военное время, и он, в порыве энтузиазма того первого дня, по собственной воле заверил тогда Жоффра, что правительство будет заниматься политической стороной войны, оставляя военную главнокомандующему в качестве «его абсолютной и исключительной сферы». Более того, эти декреты, когда Мессими в них вчитался, предоставляли главнокомандующему «расширенные полномочия» во всей стране и «абсолютную» власть, военную и гражданскую, в военной зоне. «Вы – хозяин, мы – ваши поставщики», – тогда сказал он. Неудивительно, что Жоффр «без возражений» согласился с этим. Пуанкаре и новый кабинет Вивиани послушно помалкивали.

Где теперь взять полномочия, от которых он сам отказался? Полночи прокопавшись в декретах в поисках юридического основания, Мессими ухватился за фразу, касающуюся действий правительства «в жизненных интересах страны». Не отдать столицу в руки врага было, без сомнения, именно жизненно важным интересом страны, но какую форму должен принять приказ Жоффру? Весь остаток этой тревожной и бессонной ночи военный министр пытался заставить себя составить приказ главнокомандующему. Через четыре часа мучений – с 2 часов ночи до 6 утра – он наконец написал два предложения, над которыми стояло слово «приказ». Он указывал Жоффру, что, если «победа не увенчает наши армии и они вынуждены будут отступить, Парижскому укреплённому району должны быть высланы по меньшей мере три полевых корпуса. Подтвердите получение настоящего приказа».



Помимо того, что приказ передали по телеграфу, он был доставлен посыльным на следующее утро, 25 августа, в сопровождении «личного и дружественного» письма, в котором Мессими добавлял, что «важность этого приказа будет Вам понятна».

К этому времени известие о поражении на границах и о масштабах отступления распространилось по Парижу. Министры и их заместители искали кого-нибудь, кто бы «ответил» за случившееся; они твердили, что этого требует общественное мнение. В приёмных Елисейского дворца царило недовольство Жоффром: «...идиот... неспособный... сместить его немедленно». Столь же прохладное отношение встречало и имя военного министра. Кризис требовал подтверждения «священного союза» всех партий и укрепления нового, но слабого кабинета Вивиани. Ведущим политическим фигурам Франции были сделаны предложения войти в правительство. Лучше всех для этого подходил Клемансо, который был старше остальных, но которого больше всех боялись, хотя и уважали не меньше. Однако Клемансо, «тигр Франции», был решительным противником Пуанкаре. Вивиани нашёл его в «страшном гневе» и без всякого желания войти в правительство, которое, по его мнению, должно было пасть через две недели.

«Нет, нет, на меня не рассчитывайте, – сказал он. – Через две недели от вас ничего не останется, и я не собираюсь иметь с вами ничего общего». После этого «пароксизма гнева» он разрыдался, обнял Вивиани, но продолжал отказываться. Триумвират, состоящий из Бриана, бывшего премьера, Делькассе, наиболее выдающегося и опытного министра иностранных дел довоенного периода, и Мильерана, бывшего военного министра, соглашался совместно войти в правительство, но только на условии, что Делькассе и Мильеран получают свои прежние портфели за счёт нынешних их обладателей – министра иностранных дел Домерже и военного министра Мессими. При таких обстоятельствах, известных пока только Пуанкаре, самому ещё не решившему, как быть с подобной сделкой, кабинет собрался на своё заседание в 10 часов утра. Мысленно министры уже слышали гром пушек, видели разгромленные и бегущие армии, преследуемые ордами в остроконечных касках, неотвратимо двигавшимися на юг. Но, пытаясь сохранить достоинство и спокойствие, они следовали процедуре, по очереди выступая и говоря о своих делах. Пока они

обсуждали банковские моратории, нарушение деятельности судов из-за призыва в армию судей, цели русских в Константинополе, возбуждение Мессими всё нарастало. После того, что сказали ему Хиршауэр и Галлиени, предупредивший о двенадцати днях, он считал, что «часы стоили веков, а минуты равнялись годам». Когда обсуждение коснулось дипломатии на Балканах и Пуанкаре поставил вопрос об Албании, Мессими прорвало.

«К чёрту Албанию!» – крикнул он, ударив по столу. Он обвинил присутствовавших в притворном спокойствии, как в «недостойном фарсе», а когда Пуанкаре попросил его взять себя в руки, веско заявил: «Я не знаю, как ваше, но моё время слишком дорого». Он бросил в лицо своим коллегам предсказание Галлиени, что немцы будут у Парижа 5 сентября. Все заговорили разом, раздались требования сместить Жоффра, а Мессими обвинили в переходе от «систематического оптимизма к опасному пессимизму». Единственный результат, которого удалось всё же добиться, – это договорённость о назначении Галлиени на место Мишеля.

Пока Мессими возвращался на улицу Сен-Доминик, чтобы во второй раз сместить Мишеля с должности, его собственную судьбу решили Мильеран, Делькассе и Бриан. Мессими обвинили в ничем не обоснованном оптимизме, в том, что он подавал приукрашенную информацию, «слишком возбудим и нервен». Кроме всего прочего, его должность была нужна Мильерану. Крепко сбитый, молчаливый и ироничный, ловкий и азартный политик, Мильеран был когда-то смелым социалистом. Его «неустанная энергия и хладнокровие», по мнению Пуанкаре, сейчас были очень нужны. Он видел, что Мессими становился всё «мрачнее и мрачнее», а поскольку военный министр, «предвидящий великое поражение», был не очень-то желательным коллегой, президент согласился пожертвовать им. Министерская перестановка должна была осуществиться весьма грациозно: Мессими и Домерже попросят уйти в отставку, они станут министрами без портфелей, а генералу Мишелю предложат миссию при русском царе. Но с этими предложениями их жертвы не согласились.

Мишель шумно возмутился, когда Мессими попросил его уйти с занимаемого поста, громко и сердито протестовал и упрямо отказывался. Мессими, не менее возбуждённый, орал на Мишеля, что если тот будет настаивать и не соглашаться с отставкой, то отправится

отсюда не в свой кабинет в Дом Инвалидов, а под конвоем в военную тюрьму Шерш-Миди. К счастью, в это время прибыл Вивиани, он успокоил крикунов и в конце концов уговорил Мишеля уступить.

Едва только на следующий день был подписан приказ, назначавший Галлиени «военным губернатором и командиром войск Парижа», настала очередь возмущаться Мессими, когда Пуанкаре и Вивиани попросили его подать в отставку. «Я отказываюсь уступить свой пост Мильерану. Я отказываюсь доставить вам удовольствие своей отставкой, я отказываюсь остаться министром без портфеля!» Если они хотят отделаться от него после «колоссальных усилий», предпринятых им в течение последнего месяца, то пусть подаёт в отставку всё правительство, а тогда, сказал Мессими, «у меня есть офицерский чин, и повестка о мобилизации у меня в кармане. Я отправлюсь на фронт».

Уговорить его так и не удалось. Правительству пришлось подать в отставку, и на следующий день было сформировано новое. Мильеран, Делькассе, Бриан, Александр Рибо и два новых министра-социалиста заменили пятерых бывших министров, в том числе и Мессими. В чине майора он присоединился к армии Дюбая и пробыл на фронте до 1918 года, дослужившись до звания дивизионного генерала.

Его наследие Франции – Галлиени остался «командующим армиями Парижа», но без войск. Три полевых корпуса, которые красной нитью проходили через всю мрачную и непонятную сумятицу предстоящих двенадцати дней, Жоффр выделять отказался. Главнокомандующий немедленно усмотрел в телеграмме Мессими «угрозу вмешательства правительства в проведение военных операций». В то время, когда у него на счёту была каждая бригада, чтобы возобновить сражение на Сомме, мысль о выделении трёх боевых корпусов «в хорошем состоянии» для обороны столицы нравилась ему не более идеи о подчинении министерским приказам. Не намереваясь выполнять ни то, ни другое, Жоффр проигнорировал приказ военного министра.

— Да, у меня есть этот приказ, – признался, постучав по сейфу, заместитель Жоффра генерал Белен генералу Хиршауэру, которого Галлиени послал на следующий день за ответом. – Правительство берёт на себя большую ответственность, требуя три корпуса для

защиты Парижа. Это может стать причиной поражения. Да и какое значение имеет Париж!

Прибывшему Мильерану Жоффр заявил, что Париж способна защитить лишь мобильная полевая армия, нуждавшаяся сейчас в каждом человеке для манёвра и битвы; и именно в этой битве решится судьба страны. Тревога правительства и угроза столице его совсем не волновали. Потеря Парижа, сказал Жоффр, ещё не означала конца борьбы.

Чтобы закрыть пустоту перед германским правым крылом, он намеревался вывести туда новую 6-ю армию, ядром которой было то, что осталось от «лотарингской» армии. Она была собрана всего лишь несколько дней тому назад и брошена в Пограничное сражение под командованием вызванного из отставки генерала Монури. Это был небольшой, хрупкий ветеран шестидесяти семи лет, ещё лейтенантом получивший ранение в 1870 году. Когда-то он был военным губернатором Парижа и членом Высшего военного совета. О нём Жоффр отзывался так: «Это настоящий солдат». «Лотарингская» армия состояла из VII корпуса, того самого, который под командованием невезучего генерала Бонно предпринял первую попытку наступления в Эльзасе, а также из 55-й и 56-й запасных дивизий, взятых из армии Рюффе, продемонстрировавших замечательную доблесть, как и прочие части резерва, благодаря которым удалось спасти Францию. В тот день, когда был получен приказ Жоффра о передислокации на запад, они стойко сдерживали войска кронпринца между Верденом и Тулем, что стало одним из величайших подвигов отступления. Как раз тогда, когда своей надёжной обороной они поддерживали фланг контрнаступающей армии Рюффе в важном районе Брие, их вывели из боя, чтобы укрепить разваливавшийся фронт на левом фланге.

Их доставили в Амьен по железной дороге через Париж, где эшелоны перевели на северное направление, и без того перегруженное из-за требований командования английского экспедиционного корпуса. Хотя функционирование французских железных дорог не было доведено, как у немцев, до совершенства лучшими умами генерального штаба, переброска была осуществлена быстро и даже сравнительно гладко при помощи французского эквивалента немецкой аккуратности, прозванного «*le système D*», «системой Д»: «*se débrouiller*», что в переводе означает «как-нибудь выкрутимся». Войска

Монури уже 26 августа разгружались в Амьене, но они всё равно прибыли поздно. Фронт откатывался назад быстрее, чем новая армия успевала занять позиции, и на левом фланге войска фон Клука уже настигли англичан.

Если бы наблюдатель мог подняться на воздушном шаре настолько высоко, чтобы охватить взглядом всю французскую границу от Вогез до Лилля, то он увидел бы красную линию, составленную красными штанами 70 французских дивизий, а у левого её края заметил бы небольшой кусочек цвета хаки – четыре английские дивизии. 24 августа к ним присоединились вновь прибывшие из Англии 4-я дивизия и 19-я бригада, доведя общее число английских войск до пяти с половиной дивизий. Теперь, когда наконец обходный манёвр германского правого края стал очевиден, англичане обнаружили, что удерживают участок более важный, чем им отводился по «Плану-17». Однако без поддержки они не остались. Жоффри поспешно направил измотанный кавалерийский корпус Сорде на помощь трём французским дивизиям территориальных войск, которые находились между англичанами и морем, и которыми командовал генерал д'Амад. Затем они были усилены дивизией из гарнизона Лилля, объявленного 24 августа открытым городом и эвакуированного. («Если они дойдут до Лилля, – как совсем недавно заметил генерал де Кастельно, – тем лучше для нас».) Для осуществления плана Жоффра было очень важно, чтобы английский экспедиционный корпус удерживал промежуток между Ланрезаком и вновь формирующейся 6-й армией. Общим приказом № 2 Жоффри ставил перед англичанами задачу: отступить вровень со всеми и, дойдя до Соммы у Сен-Кантена, занять прочную оборону.

Но это не входило в английские планы. Сэр Джон Френч, Мюррей и даже Уилсон, когда-то ярый сторонник французского плана, были поражены неожиданной опасностью, надвигавшейся на БЭК. На них наступал не один германский корпус и не два, а целых четыре. Отходившая полностью армия Ланрезака открывала правый фланг англичан; французское наступление провалилось. После подобных ударов судьбы, последовавших сразу после первого контакта с противником, Френч, не долго думая, решил, что кампания проиграна. Его единственной целью было спасти экспедиционные силы, в которые

входили едва ли не все английские солдаты и офицеры, прошедшие обучение. Он боялся, что его обойдут либо слева, либо справа – через разрыв, образовавшийся между ним и Ланрезаком. Следуя приказу Китченера не рисковать армией, Френч не думал ни о чём другом, кроме как о выводе своих войск из опасной зоны. Пока его войска отступали к Ле-Като, главнокомандующий и его штаб 25 августа перебрались на двадцать шесть миль дальше в тыл, к Сен-Кантену на Сомме.

Английские солдаты, гордившиеся своими действиями у Монса, с горечью воспринимали постоянное отступление. Желание их командующего избежать обходного манёвра фон Клука было настолько велико, что он не давал войскам передышки. Солдаты брели под палящим солнцем, страдая от недоедания и недосыпания, стоя засыпали на привалах. Корпус Смит-Дорриена с самого начала отступления из-под Монса вёл арьергардные бои, и, хотя Клуку удавалось обстреливать отступающих англичан из тяжёлых орудий, догнать их немцам не удавалось.

Считая англичан поднаторевшими в военном искусстве главным образом «благодаря опыту в их малых войнах», немецкие солдаты чувствовали себя обманутыми: они были всё равно что английские «красномундирники», безуспешно сражающиеся против Итана Аллена и его «парней с Зелёных гор». Немцы беспрестанно жаловались, что англичане «прекрасно знают все секреты войны» и на второй день, как и в сражении под Монсом, «опять бесследно исчезли».

Под давлением противника некоторые английские части вынуждены были отступать в непредвиденных направлениях. Пытаясь снабдить их продовольствием, генерал Робертсон, главный интендант, выслужившийся из рядовых, приказал, чтобы припасы для них складывались у перекрёстков. Некоторые так и остались там. Донесения об этих складах продовольствия утвердили германский генеральный штаб во мнении, что противник беспорядочно отступает.

Когда к вечеру 25 августа англичане достигли Ле-Като, ближайший корпус Ланрезака вышел на свой рубеж на одном уровне с ними. Сэр Джон, однако, считая, что «опрометчивое» отступление Ланрезака предало его и тот находится южнее, был настроен больше на него не полагаться. Ланрезак больше, чем враг, казался ему причиной всех неудач, и, сообщая Китченеру о нежелании своих войск

отступать, он писал: «Я объясню им, что причина этого – действия наших союзников». Он отдал приказ продолжать на следующий день отступление к Сен-Кантену и Нуайону. У Сен-Кантена, находящегося в 70 милях от Парижа, дорожные указатели уже сообщали расстояние до столицы.

Во второй половине дня 25 августа, когда Смит-Дорриен прибыл в Ле-Като несколькими часами раньше своих войск и начал разыскивать главнокомандующего, выяснилось, что Френч уже уехал и оставался пока только сэр Арчибальд Мюррей, трудолюбивый начальник его штаба. Обычно спокойный, уравновешенный и внимательный, прямая противоположность своему начальнику, он являлся хорошим дополнением Френчу, когда тот находился в агрессивно-возбуждённом состоянии, но поскольку по натуре Мюррей был человеком осторожным и пессимистичным, его настрой постоянно передавался Френчу. Усталый от перенапряжения и объёмов работы, Мюррей ничего не мог сообщить Смит-Дорриену о местонахождении корпуса Хейга, который в ту ночь должен был разместиться в Ландреси, в двенадцати милях восточнее Ле-Като.

Когда войска Хейга входили в Ландреси, они столкнулись на дороге с воинской частью, солдаты которой были одеты во французскую форму, а ответивший англичанам офицер заговорил по-французски. Неожиданно они «без всякого предупреждения бросились в штыки». Оказалось, что это были солдаты IV корпуса фон Клука, намеревавшиеся, как и англичане, провести ночь в Ландреси. В последовавшей стычке с каждой стороны участвовало по два полка и по артиллерийской батарее, но Хейг из-за постоянного напряжения и темноты решил, что отражает «мощную атаку», и телефонировал в штаб, прося «прислать помощь... Положение критическое».

Когда подобное донесение было получено от хладнокровного Хейга, Френчу и его штабу ничего другого не оставалось, как предположить, что I корпус находился в чрезвычайной опасности. Мюррей, присоединившийся к главному штабу в Сен-Кантене, потерял от шока сознание. Когда адъютант принёс телеграмму Хейга, начальник штаба, сидя за столом, изучал карту, а уже через секунду другой офицер обнаружил, что голова Мюррея лежит на столе – он был в обмороке. Сэр Джон был поражён не меньше. Его неуравновешенный темперамент, чувствительный к настроениям

других, долго находился под влиянием этого сдержанного и образцового офицера, который командовал I корпусом. В 1899 году Хейг одолжил Френчу 2000 фунтов стерлингов, чтобы тот расплатился с кредиторами, иначе ему пришлось бы распрощаться с армией. Теперь, когда Хейг просил помощи, Френч немедленно усмотрел в этом обход или ещё хуже – прорыв противника между I и II корпусами. Предполагая худшее, главный штаб отдал приказ, изменивший направление отступления корпуса Хейга на следующий день с юго-восточного на южное. В результате этого корпус двинулся по другому берегу Уазы, непосредственный контакт с корпусом Смит-Дорриена был утерян и восстановлен только лишь через семь дней.

Преувеличенная и поспешная оценка Хейгом стычки у Ландреси не только вызвала разделение английских сил, но и имела куда большие последствия. Она усугубила тревогу впечатлительного командующего до такой степени, что он ещё более укрепился в намерении вытащить английские войска из тяжёлой ситуации, сделав себя ещё уязвимее для последующего удара. В тот момент, когда суматошная ночь 25 августа уступала место бледному рассвету, командующий испытал новый шок. Смит-Дорриен прислал сообщение: противник слишком близко подошёл ко II корпусу, ему придётся остановиться и принять бой у Ле-Като. Поражённый главный штаб уже считал его погибшим.

А случилось вот что. Генерал Алленби, командир кавалерийской дивизии, находившейся на фланге Смит-Дорриена, ночью обнаружил, что холмы и высоты, которые он на следующий день должен был занять для прикрытия отступления, уже захвачены противником. Не имея возможности связаться со штабом БЭК, он в 2 часа ночи прибыл к Смит-Дорриену обсудить обстановку. Алленби доложил, что враг изготовился к нападению и наверняка атакует на рассвете. Если II корпус не уйдёт *«немедленно и под покровом темноты не оторвётся»*, то он будет вынужден вместо марша принять бой. Смит-Дорриен собрал дивизионных командиров, сообщивших, что некоторые подразделения ещё подходят, отставшие солдаты разыскивают свои части, все сильно измотаны, и до утра из-за усталости идти не в состоянии. Они добавили также, что дороги забиты обозами и беженцами, а в некоторых местах сильно размыты ливнем. В маленькой комнате воцарилось молчание. Выступить немедленно



возможности не было, а остаться на месте и ввязаться в бой означало неподчинение приказу. Поскольку телефонной связи с главным штабом не было, командиру корпуса нужно было принимать решение самому. Повернувшись к Алленби, Смит-Дорриен спросил, будет ли тот подчиняться его приказам. Алленби ответил утвердительно.

«Решено, господа, мы будем драться», – объявил Смит-Дорриен, добавив, что попросит генерала Сноу, командира только что прибывшей 4-й дивизии, поступить под его командование. Донесение с изложением принятого решения было отправлено на автомашине в главный штаб, где в 5 часов утра вызвало ужас и оцепенение.

Генри Уилсон, такой же импульсивный, как и Мессими, до того бурлившего энергией, кинулся в другую крайность – пораженчество. Когда наступательный план, составителем которого он был с английской стороны, рухнул, он рухнул вместе с ним. По крайней мере, временно, что весьма сказалось на начальнике штаба БЭК, находившемся под его значительным влиянием. Несмотря на то, что Уилсон, человек вообще-то оптимистичный и остроумный, не мог долго оставаться в угнетённом настроении и был единственным, кто поддерживал дух штаба в последующие дни, теперь он был убеждён в грядущей беде, в которой, возможно, чувствовал себя виновным.

Немедленно был отправлен посыльный на мотоцикле, чтобы вызвать Смит-Дорриена к ближайшему телефону. «Если вы останетесь на месте и будете сражаться, то повторится новый Седан», – заявил ему Уилсон. Находясь в двадцати шести милях от опасности, он пытался убедить Смит-Дорриена, что она не может быть особенно велика, поскольку «немцы, дерущиеся с Хейгом, не могут драться с вами». Смит-Дорриен ещё раз терпеливо объяснил обстановку и добавил, что в любом случае уже невозможно оторваться от противника, так как бой уже начался и он слышит орудийную стрельбу. «Желаю тогда удачи, – ответил Уилсон. – За три дня я впервые слышу жизнерадостный голос, и этот голос – ваш».

В течение одиннадцати часов 26 августа II корпус и полторы дивизии генерала Сноу вели у Ле-Като арьергардный бой, подобный тем, которые французская армия вела ежедневно. На этот день фон Клок отдал приказ продолжать «преследование разбитого врага». Будучи самым верным последователем концепции Шлиффена «коснуться рукавом пролива», он всё ещё двигался на запад и, чтобы

завершить охват англичан, приказал двум своим корпусам правого крыла совершить форсированные марши в юго-западном направлении. В результате они вообще не действовали против англичан в этот день, а «наткнулись на крупные французские силы». Это были территориальные дивизии д'Амада и кавалерия Сорде, которым Смит-Дорриен сообщил о происходящем. Своими манёврами они прикрыли английский фланг, задержали германцев. Позднее Смит-Дорриен признавал: «Храбрые действия территориальных дивизий были для нас крайне важны, иначе почти наверняка 26-го против нас действовал бы ещё один корпус».

На левом фланге фон Клука из-за плохой разведки или неумелого маневрирования бездействовал ещё один корпус, так что, хотя Крук и имел превосходство в силах, против трёх дивизий Смит-Дорриена у Ле-Като действовали только три германских. Однако Крук подтянул артиллерию пяти дивизий, и на рассвете они открыли огонь. Засев в неглубоких окопах, поспешно и неумело вырытых французскими жителями, в том числе и женщинами, англичане отражали атаки немецкой пехоты скорым и метким винтовочным огнём. Тем не менее немцы, бросая в бой всё новые силы, продвигались вперёд. В одном секторе они окружили роту Аргайльского полка, но английские солдаты продолжали вести огонь, «вслух ведя счёт своим попаданиям». Немцы «кричали по-английски „Прекратить огонь!“ и жестами уговаривали сдаться, но безуспешно». Наконец после рукопашной их одолели. В обороне начали появляться прорехи. Но ещё предстояло самое сложное – выйти из боя, и в 5 часов утра Смит-Дорриен решил, что этот момент наступил. Теперь или никогда. Из-за потерь, образовавшихся пустот между частями и прорывов врагов в отдельных местах приказ об отступлении дошёл до частей не одновременно. Некоторые продолжали удерживать свои позиции даже спустя несколько часов, ведя огонь, пока их не брали в плен или пока им не удавалось отойти под покровом темноты. Батальон Гордонского хайлендерского полка так и не получил приказа на отступление и, не считая нескольких солдат, сумевших ускользнуть от немцев, перестал существовать вообще. Только за один этот день потери в трёх с половиной дивизиях, дравшихся у Ле-Като, превосходили 8000 человек; было оставлено 38 орудий – вдвое больше, чем у Монса; общий уровень потерь достиг 20 процентов личного состава, что

равнялось тому, что потеряли французы в августе. Среди пропавших без вести были и те, кто провёл потом четыре года в германских лагерях для военнопленных.

Из-за темноты, усталости после форсированных маршей, собственных потерь и сбивающей с толку английской привычки «ускользать невидимыми» в темноте немцы преследования не организовали. Клук дал приказ остановиться до следующего дня, когда, как он ожидал, завершится обходный манёвр его правофлангового корпуса. В тот день решение Смит-Дорриена встретить численно превосходящего противника в открытом бою помешало осуществлению запланированного охвата и уничтожения английского экспедиционного корпуса.

Прибыв в Сен-Кантен, Смит-Дорриен узнал, что главный штаб отбыл отсюда в полдень, пока шла битва за жизнь или смерть экспедиционных сил, и переместился в Нуайон, на двадцать миль глубже в тыл. Расквартированные в городе солдаты без восторга смотрели на то, как армейское начальство, рассевшись по автомобилям, умчалось на юг, тогда как на севере гремели пушки. «Правда, что 26 августа лорд Френч и его штаб окончательно потеряли голову». Уже нашедший свою к тому времени, сэр Дуглас Хейг запрашивал: «От II корпуса нет никаких известий, помимо звуков артиллерийской стрельбы в направлении Ле-Като. Может ли I корпус оказать какую-либо помощь?» Главный штаб был так растерян, что ничего не мог ответить. Тогда Хейг попытался самостоятельно установить прямой контакт со Смит-Дорриеном. Он сообщил ему, что слышит грохот боя, однако в результате разъединения двух корпусов «мы не знаем, как помочь вам». Когда это донесение отправили, бой уже прекратился. Между тем английский штаб потерял надежду снова увидеть II корпус. Полковник Югэ, всё ещё исполнявший обязанности офицера связи, телеграфировал Жоффру в 8 часов вечера: «Английская армия проиграла сражение. Похоже, взаимодействие между частями потеряно».

В час ночи Смит-Дорриен, из шести суток пребывания во Франции находившийся в боях последние четверо, добрался до Нуайона и обнаружил, что все офицеры главного штаба крепко спят. Поднятый с постели сэр Джон Френч предстал перед ним в ночной рубашке и, увидев Смит-Дорриена живым и здоровым, явившимся с

докладом о том, что II корпус вовсе не потерян, а спасён, принялся ругать его за излишне оптимистичную оценку обстановки. Пережив мерзкое чувство страха, главнокомандующий бушевал, дав теперь волю гневу, тем более что он с самого начала недолго любил Смит-Дорриена, занявшего пост, на котором ему хотелось видеть своего человека. Командир корпуса не был даже кавалеристом, а при Ле-Като вздумал самовольничать, игнорируя приказы штаба. И хотя Джон Френч в своём официальном донесении<sup>[5]</sup> всё-таки вынужденно признал, что благодаря таким действиям удалось «спасти левый фланг», от своего испуга он оправился не скоро. Потери при Ле-Като представлялись главнокомандующему более серьёзными, чем они были на самом деле. Тысячи пропавших без вести солдат либо смешались с французскими беженцами и вместе с ними ушли в глубь Франции, либо пробились через линии обороны немцев и вышли к Антверпену, а оттуда добрались до Англии. В конечном итоге они вновь вернулись во Францию, в ряды экспедиционного корпуса. За первые пять дней боёв БЭК потерял убитыми и ранеными почти 15 000 человек. Потери заставили главнокомандующего ещё крепче задуматься над тем, как вывести английскую армию из Франции, подальше от войны и опасностей.

Пока под Ле-Като шли бои, Жоффр пригласил на совещание в Сен-Кантене сэра Джона Френча, Ланрезака и офицеров их штабов, чтобы подробно разъяснить им основные положения Общего приказа №2. Когда французский главнокомандующий вежливо осведомился о положении британских войск, Джон Френч разразился бурной тирадой. Экспедиционный корпус подвергся мощным атакам численно превосходящих сил противника. На левом фланге англичанам угрожало окружение, правый же фланг оказался оголённым после стремительного отступления Ланрезака. Сами англичане, по словам Френча, были слишком обессилены, чтобы возобновить наступление. На Жоффра, стремившегося всегда сохранять перед подчинёнными хотя бы внешнее спокойствие, «нервный тон» английского фельдмаршала произвёл неприятное впечатление. Ланрезак, слушая смягчённые в переводе Генри Уилсона резкие высказывания Френча, лишь пожимал плечами. Французский главнокомандующий, не имея возможности отдавать распоряжения англичанам, высказал пожелание,

чтобы командование экспедиционного корпуса действовало бы в соответствии с планом, содержащимся в новом Общем приказе, который был выпущен за день до этого совещания.

Джон Френч выразил удивление – об этом приказе ему ничего не известно. Мюррея, перенёсшего накануне вечером шок, среди собравшихся не было. Удивлённые и озадаченные французы все свои взоры обратили к Уилсону. Тот объяснил, что приказ поступил в английский штаб ночью, однако его ещё «не изучали». Тогда Жоффри сообщил о его сути, однако в его голосе уже не чувствовалось прежней уверенности. Обсуждение плана шло вяло, паузы становились всё длиннее и болезненней, и после смущённого замешательства совещание наконец прервалось. Согласия на совместные действия англичане так и не дали. С неприятными мыслями о «хрупкости» левого фланга Жоффри вернулся в свой штаб, где его ждали новые донесения о неустойчивом положении на всех фронтах, общем падении боевого духа на всех уровнях, включая и штаб, и, наконец, мрачная телеграмма Югэ о том, что «взаимодействие потеряно».

Фон Клок также считал, что взаимодействие у англичан совершенно нарушено. Его приказ от 27 августа гласил: «Перерезать пути отхода англичанам, бегущим в западном направлении». Он сообщил в главный штаб о том, что заканчивает окружение «всех шести» английских дивизий (во Франции их было всего 5) и что «если англичане сумеют удержаться до 27 августа, тогда двойной охват всё равно принесёт огромный успех». Эта блестящая перспектива, открывавшаяся на другой день после падения Намюра и совпавшая с сообщением Бюлова о «разгроме» французской 5-й армии, укрепила у германского главного штаба уверенность в неминуемой победе. «Германские армии с победными боями вступили на территорию Франции от Камбре до Вогез, – говорилось в сводке главного штаба от 27 августа. – Враг, разгромленный на всех участках фронта, отступает... и не в состоянии оказать серьёзного сопротивления наступающим германским войскам».

Среди всеобщего ликования Клок праздновал и свою личную победу. Он яростно сопротивлялся приказу Бюлова взять Мобёж, что, по его мнению, обязан был сделать сам Бюлов. Клок не желал быть подчинённым, требуя вернуть самостоятельность в действиях. 27 августа главный штаб подтвердил его право на независимость.

Попытки удержать все три армии правого крыла под единым командованием провалились – трения между командующими оказались непреодолимыми, но поскольку победа казалась близкой, в тот момент данное обстоятельство, как считали, решающего значения не имело.

Бюлов, однако, испытывал крайнее раздражение. Находясь в центре правого крыла, он постоянно сталкивался с нежеланием соседей идти в ногу с ним. Отставание Хаузена, предупреждал он, уже привело к образованию «заслуживающего сожаления» разрыва между 3-й и 2-й армиями. Сам Хаузен, глубоко почитавший титулы и почти столь же страстно заботившийся о личном комфорте при размещении на постой, также высказывал недовольство. 27 августа он впервые ночевал во Франции. Для него и сопровождавшего его кронпринца Саксонского не нашлось замка. Им пришлось спать в брошенном доме супрефекта. Там царил такой беспорядок, что «даже постели не были застланы». Следующая ночь оказалась ещё хуже: его расквартировали в доме какого-то Шопена, крестьянина! Обед подали скудный, в комнатах не ощущалось «простора»; офицерам его штаба пришлось разместиться в доме местного кюре, ушедшего воевать. Мать кюре, похожая на ведьму старуха, повсюду совала свой нос и «проклинала нас, как дьяволов». Небо осветило багровое зарево – горел Рокруа, через который недавно прошли войска Хаузена. К счастью, следующую ночь генерал провёл в прекрасно обставленном доме богатого французского фабриканта, также «отсутствовавшего». И лишь вид «ещё незрелых, к несчастью», фруктов, свисавших с ветвей грушевых деревьев, высаженных подле шпалеры у стены, доставил Хаузену некоторое неудовольствие. Тем не менее ему удалось прекрасно провести время в очаровательной беседе с графом Мюнстером, майором графом Кильманзеггом, принцем Шёнбургом-Вальденбургом из гусарского полка, а также принцем Максом, герцогом Саксонским, выполнявшим обязанности католического капеллана. Последнему Хаузен сообщил радостную весть: у него состоялся телефонный разговор с принцессой Матильдой, сестрой принца Макса, и она передавала 3-й армии пожелания успеха.

Хаузен жаловался, что его саксонцы больше десяти дней идут в жару маршем по чужой стране, зачастую с боями. Тылы не успевают за передовыми частями, не хватает мяса и хлеба, солдатам приходится

забивать отобранный у местного населения скот, у лошадей нет фуража, и тем не менее его войска преодолевают в день по 23 километра. В действительности это был низший предел требований, предъявляемых к немецкой армии. Войска Клука, находившиеся на крайнем правом фланге, покрывали в день по 30 и более километров, а иногда, во время форсированных маршей, – и по 40 километров. Крук добился этого, заставив солдат размещаться на ночлег вдоль дорог, не позволяя им отдаляться на значительное расстояние вправо или влево от дороги. Таким образом, он сэкономил в день по 6–7 километров. Поскольку германские линии снабжения сильно растянулись, а войска значительно удалились от узловых железнодорожных станций, доставка продовольствия всё чаще шла с перебоями. Лошадей пасли на полях, где ещё не был убран урожай, иногда солдаты питались лишь сырой морковью и капустой. Шагая, как и их противники, по жаре, усталые, с истёртыми в кровь ногами, немцы всё больше голодали, однако точно придерживались графика наступления.

Крук, находившийся 28 августа на полпути между Брюсселем и Парижем, пришёл в восторг, получив телеграмму кайзера, выразившего «императорскую благодарность» 1-й армии за «её решительные победы» и передавшего свои поздравления по случаю приближения к «сердцу Франции». В тот вечер полковые оркестры при свете бивачных костров исполняли «Славу тебе в победном венце», и, как писал в своём дневнике один немецкий офицер, «песню подхватили тысячи голосов. На следующее утро мы возобновили наш марш, надеясь отпраздновать годовщину Седана перед Парижем».

В тот же день Клуком овладела новая и заманчивая идея, которой ещё до исхода недели суждено было оставить свой след в истории. По данным разведки, французская 5-я армия, отступавшая под натиском Бюлова, двигаясь в юго-западном направлении, через какое-то время должна была оказаться на пути войск Клука. Он решил «нацелиться на фланг этой армии... и окружить французов, отогнав от Парижа». Подобная цель представлялась ему куда более важной, чем изоляция английской армии от баз на побережье. Крук предложил Бюлову совместно двумя армиями совершить поворот влево. Но решение ещё не было принято, когда из главного штаба прибыл офицер с новым общим приказом для всех семи армий.

Воодушевлённое «общим чувством победы», как отметил кронпринц, германское верховное командование тем не менее серьёзно восприняло переброску французских войск из Лотарингии и теперь требовало «стремительного продвижения с тем, чтобы предотвратить наращивание свежих сил противника и лишить Францию возможно больших средств к продолжению борьбы». Армии Клука ставилась задача выйти к Сене юго-западнее Парижа. Бюлов должен был наступать прямо на Париж, Хаузен, герцог Вюртембергский и кронпринц получили указание двинуть свои армии к Марне, восточнее Парижа, и захватить соответственно Шато-Тьерри, Эперне и Витриле-Франсуа. Вопрос о прорыве французской линии укреплений 6-й и 7-й армиями под командованием Рупрехта оставался окончательно не решённым, но им, по всей видимости, предстояло форсировать Мозель между Тулем и Эпиналем, «если противник отступит». Ставка делалась «предпочтительно на быстроту», чтобы лишить Францию времени для перегруппировки сил и организации сопротивления. В памяти ещё свежи были воспоминания 1870 года, поэтому верховное командование приказывало принять «суровые меры в отношении населения, чтобы как можно быстрее подавить всякое сопротивление франтирёров» и не допустить «национального восстания». Считалось, что противник сначала окажет серьёзное сопротивление на Эне, а затем, после его отступления, на Марне. В последнем случае, заявлял главный штаб, вторя новой идее Клука, «возможно, придётся развернуть армии с юго-западного направления на южное».

Не считая последнего предположения, приказ от 28 августа следовал первоначальной линии кампании. Однако германские армии, которым предстояло его выполнять, уже утратили свои прежние качества. Их численность сократилась на пять корпусов, что эквивалентно потере целой армии. Крук оставил позади два резервных корпуса для блокирования Антверпена, а также для удержания Брюсселя и других городов. Бюлов и Хаузен лишились каждый по одному корпусу, переброшенных на русский фронт. Несколько бригад и дивизий, составлявшие в общей сложности ещё один корпус, предназначались для блокирования Живе и Мобёжа. Чтобы занять те же рубежи, что были определены исходным стратегическим планом, с тем чтобы 1-я армия продвигалась к западу от Парижа, германскому правому крылу пришлось бы значительно растянуть свои силы,



истончив линию фронта, иначе неизбежно было появление разрывов между его соединениями. Впрочем, последнее уже происходило: 28 августа Хаузен вынужден был повернуть влево, в сторону армии герцога Вюртембергского, обратившегося к нему с просьбой о «срочной помощи». Герцог вёл ожесточённые бои с французами южнее Седана. Хаузен направил в этот район подкрепления, сняв их с правого фланга, оказавшегося ослабленным. Тогда он потребовал, чтобы Бюлов прикрыв его справа. А те два корпуса, которым следовало бы находиться на стыке этих двух армий, были на пути к Танненбергу.

Главный штаб 28 августа начал проявлять тревогу. Мольтке, Штейн и Таппен с беспокойством обсуждали, не воспользоваться ли резервами, взятыми у Рупрехта, для усиления правого крыла. Однако они не могли отказаться от попыток прорваться через французскую линию укреплений. «Идеальные Канны», мечта Шлиффена, от которой он в своё время отказался, то есть одновременный двойной охват левым крылом через Лотарингию, а правым – вокруг Парижа, сейчас представлялись вполне осуществимыми. Рупрехт наносил мощные удары по Эпиналю, его армия стояла у ворот Нанси и обстреливала стены Туля. После падения Льежа укреплённые пункты, по словам полковника Таппена, «утратили свой престиж», и с каждым днём, как казалось, победа Рупрехта становилась всё ближе. Разрушение бельгийцами железных дорог всё равно затруднило переброску дивизий, и главный штаб убедил себя в том, что прорыв в районе Шарма, между Тулем и Эпиналем, более чем возможен и позволил бы, как выразился Таппен, «взять вражеские армии в кольцо по всем правилам военного искусства и, в случае успеха, завершить войну». Исходя из этих соображений, левое крыло под командованием Рупрехта, состоящее из 26 дивизий, по численности примерно равнявшихся значительно ослабленному правому крылу из трёх армий, осталось нетронутым. Вовсе не о таком соотношении мечтал Шлиффен, бормотавший в свой смертный час: «Главное – усиливать правое крыло».

После драмы в Бельгии весь мир с напряжённым вниманием следил за ходом военных действий на фронте, растянувшемся от Брюсселя до Парижа. Однако общественность почти ничего не знала о

том, что в это время в Лотарингии велась жесточайшая, длительнейшая и упорнейшая борьба за восточные ворота Франции. Две германские и две французские армии – французами командовали Кастельно и Дюбай – вступили в беспощадную, почти не прекращающуюся схватку на участке между Эпиналем и Нанси, протянувшемся на восемьдесят миль.

Двадцать четвёртого августа, сосредоточив свои 400 орудий и присовокупив к ним ещё те пушки, которые доставили из арсенала Меца, Рупрехт возобновил кровопролитные атаки. Французы, направив теперь все свои умения на оборону, зарылись в землю и, выказав изобретательность, возвели надёжные укрытия для защиты от вражеских снарядов. Удары Рупрехта не привели к расчленению XX корпуса Фоша под Нанси; однако южнее немцам удалось форсировать Мортань, последнюю реку на пути к Шарму, и захватить плацдарм на берегу. Французам представилась возможность для флангового удара, который они и нанесли, на этот раз после артиллерийской подготовки. Ночью в район атаки подвезли полевые пушки. Утром 25 августа Кастельно огласил приказ: «En avant! partout! à fond!» «Вперёд! Всем! До конца!» – и войска начали наступление. XX корпус ринулся вниз с отрогов Гран-Куронне, захватил три города и углубился на 10 миль вглубь занятой врагом территории. Справа армия Дюбая за день ожесточённых боёв продвинулась вперёд примерно на такое же расстояние. Генерал Модюи, дивизионный командир *chausseurs alpins*, альпийских стрелков, производя смотр своих войск перед сражением, приказал солдатам петь проникнутый отвагой припев известного марша «Сиди-Брахим»:

В бой! В бой! В бой  
С врагами Франции!

К исходу дня многие подразделения, поредевшие, измученные в боях, так и не знали, взят ли Клезентен, цель наступления. Когда генерал Модюи, сидевший верхом на коне, увидел изнурённую, истекающую потом роту, которая искала отведённое ей для расквартирования место, простёр руку в указующем жесте и крикнул солдатам: «Стрелки! Ночуйте в деревне, которую вы захватили!»

Наибольшего напряжения трехдневные бои за Труэ-де-Шарм и Гран-Куронне достигли 27 августа. В тот день Жоффри, отовсюду получавший безрадостные вести и не находивший почти ничего достойного похвалы, приветствовал «храбрость и стойкость» 1-й и 2-й армий. В течение двух недель со времени возникновения фронта в Лотарингии они сражались без отдыха, «с твёрдой и нерушимой уверенностью в победе». Отдавая все силы до последней капли, эти две армии обороняли, сохраняя закрытыми, ворота страны, которые враг стремился разбить своим тараном. Солдаты понимали: если немцы здесь прорвутся, война будет проиграна. Они не слышали о Каннах, но помнили про Седан и окружение.

Оборона укреплённой линии на востоке имела жизненно важное значение, однако на левом фланге французских войск создалось критическое положение, что вынудило Жоффра забрать с восточного участка фронта важнейший элемент, который придавал энергию войскам в Лотарингии. Этим элементом был Фош, символ «воли к победе», который, по мысли Жоффра, должен был укрепить слабеющие армии левого крыла.

Опасный разрыв между 4-й и 5-й армиями расширялся и достиг уже 30 миль. Он образовался после того, как генерал де Лангль, командующий 4-й армией, не желая пропускать немцев через Маас без боя, оседлал высокие берега реки южнее Седана и в течение трёх дней, с 26 по 28 августа, оказывал ожесточённое сопротивление войскам герцога Вюртембергского. По мнению де Лангля, французы в сражении у Мааса отомстили немцам за своё поражение в Арденнах. Но успех был достигнут ценой потери контакта с отступающими войсками Ланрезака, правый фланг которых со стороны 4-й армии оказался оголённым. Вот в этот разрыв Жоффри отправил Фоша, дав ему под командование отдельную армию из трёх корпусов<sup>[6]</sup>, составленную из дивизий, взятых как из 3-й, так и из 4-й армий. Новый приказ Фош получил в один день с извещением о том, что его единственный сын, лейтенант Жермен Фош, и зять, капитан Бекур, погибли в боях на Маасе.

Западные районы удерживали армия Ланрезака и британский экспедиционный корпус, и здесь Жоффри предполагал организовать прочную оборону вдоль Соммы, однако все его расчёты оказались построены на песке. Надеяться на поддержку указанной линии фронта

английским главнокомандующим не приходилось; взаимодействовать с Ланрезаком он отказывался, да и на самого Ланрезака, веру в которого Жоффри почти утратил, судя по всему, полагаться было нельзя. Хотя в августе Жоффри расправлялся с генералами беспощадно, он тем не менее не решался сместить Ланрезака, пользовавшегося в армии популярностью. Главный штаб тем временем выискивал тех, на кого можно было бы спихнуть вину за провал наступления. «В моём портфеле головы трёх генералов», – заявил один штабной офицер, только что вернувшийся из поездки на фронт. От Ланрезака вряд ли удастся отделаться с подобной лёгкостью. По мнению Жоффри, 5-й армии требовался более уверенный руководитель. Однако смещение начальника во время отступления могло бы подорвать моральный дух войск. Как-то Жоффри признался одному из своих адъютантов, что эта проблема принесла ему две бессонные ночи – единственный известный случай за всю войну, когда спокойствие главнокомандующего оказалось настолько серьёзно поколеблено.

Тем временем 61-я и 62-я резервные дивизии, шедшие из Парижа к новой 6-й армии, бесследно исчезли на марше. Командир этих дивизий генерал Эбнер, разыскивал их весь день, но никто не знал, что же с ними случилось. Опасаясь, как бы немцы не ударили по району выгрузки 6-й армии, Жоффри, в отчаянной попытке выиграть время, необходимое 6-й армии для выхода на позиции, отдал приказ 5-й армии развернуться и контратаковать противника. Для этого требовалось предпринять наступление в западном направлении между Сен-Кантенем и Гюизом. Полковник Александр, офицер связи в 5-й армии, передал этот приказ в устной форме штабу Ланрезака, располагавшемуся тогда в Марле в 25 милях к востоку от Сен-Кантена.

Тогда же, чтобы польстить самолюбию сэра Джона Френча и подбодрить его дух, Жоффри направил ему телеграмму, в которой от имени французской армии выразил признательность британским друзьям за их мужественную помощь. Не успел главнокомандующий отправить это послание, как стало известно об отходе англичан из Сен-Кантена, что оставляло незащищённым левый фланг Ланрезака, собиравшегося в этот момент перейти в наступление. Как указывал в одном из своих мрачных донесений Югэ, британский экспедиционный корпус был «разбит и не мог предпринять никаких серьёзных действий»: три из пяти его дивизий оказались небоеспособными,

нуждались в основательном пополнении и отдыхе, на что ушло бы «несколько дней или даже недель». Поскольку Джон Френч сообщал примерно то же самое Китченеру, Югэ нельзя порицать за то, что он отразил настроение командования экспедиционного корпуса, а не истинное положение вещей или состояние английских войск. В довершение всего полковник Александр прислал донесение, в котором говорилось о намерении Ланрезака уклониться от выполнения приказа о наступлении.

Несмотря на проявленный его офицерами энтузиазм, сам Ланрезак считал полученный приказ «почти сумасшествием», о чём и заявлял во всеуслышание. Развернуть 5-ю армию на запад значило подставить противнику под удар открытый правый фланг. Он настаивал на выходе из зоны боёв и дальнейшем отступлении к Лану. И только после создания там прочной линии обороны можно было переходить к контратаке, имеющей хоть какие шансы на успех. Жоффр же требовал от него развернуть наполовину дезорганизованную армию почти что обратно, произведя сложный манёвр, очень опасный в данной ситуации, учитывая нависшую угрозу справа. Начальник оперативного отдела штаба армии майор Шнейдер попытался разъяснить всю трудность создавшегося положения полковнику Александру, удивлённому позицией, которую занял Ланрезак.

— Как! – воскликнул Александр. – Ну что может быть проще? Сейчас вы обращены к северу, а мы просим лишь повернуть на запад и атаковать Сен-Кантен.

Он вытянул вперёд руку, растопырив пальцы, как бы показывая движение пяти корпусов, и затем описал ею в воздухе полукруг.

— Не говорите ерунды, *mon colonel* – не сдержавшись, выпалил Шнейдер.

— Ну что ж, если вы *не желаете* чего-либо предпринимать... – произнёс полковник, с презрением пожав плечами.

Ланрезак, присутствовавший при этой сцене, вышел из себя и долго, подробно и не совсем тактично высказывал своё мнение о стратегии главного штаба. В это время он чувствовал такое же недоверие к главному штабу и Жоффру, какое и они к нему. На одном фланге армии у Ланрезака находился независимый генерал-иностранец, отказывавшийся от совместных действий, а второй флаг вообще был открыт и полностью беззащитен (соединение Фоша

начало своё формирование лишь через два дня, 29 августа), а верховное командование приказывает ему перейти в контрнаступление! Нервы Ланрезака были напряжены до предела, и ничего удивительного, что он не выдержал подобного давления обстоятельств. Ему поручали дело, которое должно было повлиять на судьбу Франции, но он уже не верил в правильность решений Жоффра, поэтому, облегчая свою душу, дал волю чувствам, прибегнув к самым язвительным и оскорбительным словесным оборотам, а подобным умением он славился ещё до войны. Ланрезак не стеснялся в выражениях, изливая своё презрение к Жоффру, которого называл «сапёром», «инженеришкой».

«Я застал генерала в окружении нескольких офицеров, – писал офицер штаба одного из корпусов, явившийся к Ланрезаку по делам службы. – Казалось, он был чем-то сильно недоволен и бросал крепкие словечки. Генерал не жалел красок, ругая главный штаб и наших союзников, которые, видно, сильно ему досаждали. Судя по всему, он хотел, чтобы его оставили в покое, говорил, что готов уйти в отставку, если это необходимо, что он сам дожждётся нужного момента, чтобы вышвырнуть немцев туда, откуда они явились». Сам Ланрезак признавался: «Я ужасно разволновался, и это видели офицеры моего штаба».

Дать волю гневу на глазах подчинённых – это, по мнению главного штаба, уже само по себе было плохо, а в довершение всего генерал допустил ещё более страшный грех – публично критиковал верховное командование. Жоффри уже подсчитывал дни Ланрезака на посту командующего армией.

Ранним утром следующего дня, 28 августа, Жоффри сам приехал в Марль. Ланрезак, усталый, с покрасневшими глазами, нервно жестикулируя, стал возражать против плана контрнаступления. Когда он повторил, что противник сразу ударит по правому флангу, как только армия начнёт разворачиваться фронтом на запад, Жоффри вдруг охватил припадок гнева и он заорал: «Вы хотите, чтобы вас отстранили от командования? Исполняйте приказ, и без рассуждений! В ваших руках судьба кампании». Об этой необыкновенной вспышке ярости главнокомандующего узнали и в Париже, слухи распространялись, обрастая новыми подробностями. Поэтому неудивительно, что на следующий день в дневнике президента Пуанкаре появилась запись,

что Жоффри угрожал расстрелять командующего 5-й армией, если тот проявит колебания или откажется перейти в наступление.

Убеждённый в ошибочности этого плана, Ланрезак отказался приступить к наступательным действиям без письменного приказа. Успокоившись, Жоффри продиктовал текст начальнику штаба 5-й армии и затем подписал его. По мнению Жоффра, хороший командир, получив приказ, должен исполнять свой долг без возражений. Возможно, он сказал Ланрезаку то, что впоследствии заявил Петену, когда потребовал от него оборонять Верден, несмотря на небывалый в истории массированный артиллерийский обстрел: «Eh bien, mon ami, maintenant vous êtes tranquille. Итак, мой друг, теперь вы будете уверены».

Ланрезак не был ни спокоен, ни уверен, но подчинился приказу, однако предупредил, что войска будут готовы не раньше следующего утра. Весь день, пока корпуса 5-й армии осуществляли сложное маневрирование, пересекая оборонительные линии друг друга, главный штаб надоедал Ланрезаку беспрестанными напоминаниями «о срочности операции». Разъярённый, командующий приказал не отвечать на телефонные звонки офицеров Жоффра.

В тот же день командование английского экспедиционного корпуса гнало своих солдат на юг, не давая им ни минуты отдыха, в котором они нуждались больше, чем в удалении от противника. 28 августа, когда колонны армии Клука уже не беспокоили англичан, Джон Френч и Уилсон так торопились отступить, что даже приказали «выбросить из транспортных фургонов все боеприпасы и прочее снаряжение, не являющееся абсолютно необходимым», а освободившееся место использовать для перевозки людей. Если выбрасываешь боеприпасы, значит не желаешь участвовать в новых боях. Поскольку война шла не на английской территории, то командующий экспедиционным корпусом решил, невзирая на тяжёлые последствия этого шага для союзника, вывести все свои части с передовой линии фронта. Французская армия проиграла сражение в начале войны и сейчас оказалась в серьёзном, почти критическом положении. Ей угрожало полное поражение, поэтому на счёт была каждая дивизия. Но немцы не сумели прорвать фронт, не сумели осуществить охват; шла упорная борьба, и Жоффри вовсе не собирался сдаваться. Тем не менее сэр Джон Френч, полагая, что рана

смертельна, решил отмежеваться от неминуемого военного разгрома Франции и сохранить английский экспедиционный корпус.

Командиры на местах не разделяли пессимизма штаба БЭК. Получив приказ, фактически означавший отказ от дальнейшего ведения боевых действий, они были обескуражены. Начальник штаба Хейга, генерал Гаф, в гневе разорвал документ в клочья. Смит-Дорриен, который считал военную обстановку «превосходной», а противника полагал идущим «мелкими группами, что держатся на почтительном расстоянии», направил своим 3-й и 4-й дивизиям контрприказ. Однако до генерала Сноу, командира 4-й дивизии, он дошёл с большим опозданием, и тот уже выполнял прямое приказание штаба БЭК, получив кодовое распоряжение «Снежку от Генри»: «Грузите „хромых уток“ и поторапливайтесь». В результате «боевой дух войск резко упал», так как солдаты сочли, что над армией нависла смертельная опасность, к тому же им пришлось выбросить всю лишнюю одежду и обувь.

В нестерпимую жару, глотая дорожную пыль, изнурённые и в подавленном настроении, англичане отступали в глубь Франции. Проходившие через Сен-Кантен остатки двух батальонов отказались идти дальше, побросали оружие в кучу у вокзала и расселись на привокзальной площади. Они заявили майору Бриджесу, чья кавалерия имела приказ отражать атаки немцев до окончания эвакуации войск из города, что их командиры якобы дали мэру письменное обещание сдаться, чтобы предотвратить обстрел города артиллерией противника. Не став выяснять причины подобного решения у командиров батальонов – так как он лично знал их, к тому же они были старше по званию, – Бриджес в отчаянии вдруг вспомнил о военной музыке, которая могла бы заставить две-три сотни этих павших духом людей вновь встать на ноги. Но где взять оркестр? «И вот удача! Рядом находился магазин игрушек, там мы с моим трубачом раздобыли барабан и оловянный свисток. Мы принялись маршировать вокруг фонтана среди солдат, лежавших как мёртвые. Мы играли „Британских гренадеров“ и „Типперэри“ и словно сумасшедшие колотили в барабан». Люди привстали, заулыбались, повеселели, потом стали подниматься на ноги и один за другим вставали в строй, и «когда стемнело, мы медленно двинулись в путь под звуки нашего



импровизированного оркестра, теперь усиленного парой губных гармошек».

Джон Френч, которого уже не развеселили бы ни барабан, ни дудка, заботился только о своём участке фронта. Он убеждённо говорил, что кайзер, «преисполненный злобой и ненавистью, пошёл на риск и ослабил другие направления», чтобы сосредоточить превосходящие силы и «уничтожить нас». Командующий экспедиционным корпусом просил Китченера прислать ему 6-ю дивизию, а когда министр ответил, что эти части могут быть переброшены во Францию только после того, как их сменят войска из Индии, Френч посчитал этот отказ «весьма разочаровывающим и несправедливым». Действительно, вскоре после поражения под Монсом у Китченера возникла мысль высадить эту дивизию на фланге немцев в Бельгии. Англичан не переставала преследовать старая идея об использовании экспедиционного корпуса в Бельгии в качестве самостоятельного соединения, а не в виде придатка французской армии. Эту концепцию уже давно отстаивали Фишер и Эшер. И Англия предприняла две попытки – незначительные и тщетные – претворить эту идею в жизнь: один раз теперь, в августе, а затем спустя два месяца в Антверпене. Вместо 6-й дивизии три батальона английской морской пехоты высадились 27 и 28 августа в Остенде, с целью отвлечь на себя часть сил Клука. К ним присоединились 6000 бельгийских солдат, после падения Намюра отступавших вместе с французами и отправленных на английских кораблях в Остенде. Между прочим, эти части оказались небоеспособными. К тому времени линия фронта после отступления французской армии отодвинулась на значительное расстояние и вся операция потеряла смысл. 31 августа морскую пехоту вновь посадили на корабли и вернули в Англию.

Незадолго до этого, 28 августа, сэр Джон Френч эвакуировал свою передовую базу из Амьена, которому теперь угрожали наступающие на запад дивизии Клука. На следующий день главная база английских войск была переведена из Гавра в Сен-Назер. По своему духу этот шаг, как и приказ избавиться от лишних боеприпасов и снаряжения, отражал единственное и главное стремление Френча – уйти из Франции. Генри Уилсон, разделявший эти настроения и в то же время стыдившийся их, «медленно расхаживал по комнате», как писал один

из его сослуживцев. «Лицо его, как обычно, сохраняло смешное и загадочное выражение, он припевал тихим голосом, прихлопывая ладонями в такт: „Мы никогда не попадём туда, мы никогда не попадём туда“. Когда он проходил мимо меня, я спросил: „Куда не попадём, Генри?“ – „К морю, к морю, к морю“, – ответил он нараспев».

## Глава 20

### Париж – фронтовой город

Большие бульвары опустели, витрины магазинов закрылись ставнями, исчезли автобусы, трамваи, такси и извозчики. Вместо них через площадь Согласия к Восточному вокзалу гнали стада овец. Освободившись от уличного движения, площади и проспекты представляли во всём своём великолепии. Большинство газет перестали выходить, те, что уцелели, сиротливо глядели одностраничными выпусками сквозь стёкла журнальных киосков. Пропали туристы, в «Рице» никто не жил, в «Морисе» разместился госпиталь. Впервые за свою историю Париж в августе стал французским – и молчаливым. Сияло солнце, в его лучах сверкали фонтаны Рон-Пуа, деревья стояли в зелени, мимо спокойно несла свои воды Сена, и лишь яркие флаги союзных держав оживляли светло-серую красоту самого прекрасного в мире города.

Галлиени, расположившийся со своим штабом в многочисленных комнатах Дома Инвалидов, боролся с обструкцией и нерешительностью чиновников, добиваясь принятия радикальных мер, чтобы превратить Париж в настоящий «военный лагерь». В его понимании этот лагерь должен был представлять базу для проведения боевых операций, а не осаждённую Трою. Опыт Льежа и Намюра говорил, что Париж не выдержит обстрела из новых тяжёлых осадных орудий врага, поэтому Галлиени предлагал не ждать пассивно приближения немцев, а самим навязать противнику сражение за внешней линией оборонительных сооружений. Впрочем, армии, которая должна была это сделать, у него ещё не было. Изучение войн на Балканах и в Маньчжурии убедило генерала в том, что система глубоких и узких траншей, защищённых земляными насыпями и брёвнами, рядами колючей проволоки и замаскированными «волчьими ямами» с торчащими на дне острыми кольями, окажется практически непреодолимой, если её будут оборонять хорошо обученные и стойкие части, вооружённые пулемётами. Именно такие участки обороны между артиллерийскими позициями и пытался построить французский

генерал, хотя у него и не было войск, которые заняли бы эти укрепления.

Каждый день, иногда по два или по три раза, Галлиени с всевозрастающим отчаянием звонил в главный штаб, требуя три боевых корпуса. Он писал Жоффру, посылал к нему эмиссаров, обивал пороги военного министра и президента, беспрестанно напоминая о том, что Париж к обороне не готов. К 29 августа в его распоряжение поступила всего лишь одна морская бригада. Она промаршировала по улицам города в белой форме под резкие свистки боцманских дудок. Её появление вызвало восторг парижан, но не Галлиени.

Он считал, что необходимо вести работу в трёх направлениях – военная оборона, моральная подготовка войск и населения и тыловое обеспечение. Чтобы добиться успеха в выполнении каждой из этих задач, необходимо было говорить с населением откровенно. Галлиени в той же степени презирал политиканов, в какой уважал народ Парижа, на который, по его убеждению, можно было положиться в час опасности. Он считал, что Пуанкаре и Вивиани не хотят говорить стране правду и замышляют какой-то «спектакль» для обмана народа. Усилия военного губернатора добиться разрешения на снос зданий, ухудшавших обзор и затруднявших ведение огня с крепостных фортов, наталкивались на сопротивление властей, не желавших встревожить городское население. Любое уничтожение собственности требовало документа, подписанного мэром округа и начальником инженерных войск, где указывалась сумма компенсации, выплачиваемой владельцу, и процесс оценки выливался в бесконечные отсрочки и задержки. Каждое решение сопровождалось «византийскими» спорами в отношении того, может ли Париж, как место пребывания правительства, служить «укреплённым лагерем», который следует удерживать военными средствами. Этот вопрос, как презрительно отметил генерал Хиршауэр, был «великолепным полем для разногласий», и он опасался, что сторонники концепции открытого города скоро докажут, что пост военного губернатора сам по себе противоречит всем законам. «Убедить юристов можно лишь с помощью документов».

И Галлиени их нашёл. 28 августа военная зона была расширена с тем, чтобы включить в неё Париж с пригородами по обеим сторонам Сены, и таким образом муниципалитет Парижа оказался подчинён

власти военного губернатора. В 10 часов утра Галлиени собрал военных и гражданских руководителей города на совет обороны. Во время заседания, продолжавшегося 15 минут, все участники стояли. Им было предложено не обсуждать вопрос о целесообразности обороны Парижа, а просто согласиться с тем, что приближение врага требовало введения «военного положения». Документы, обеспечивавшие юридическую правомочность этого решения, были уже составлены и лежали здесь же на столе. Галлиени предложил каждому подписаться и затем немедленно объявил о временном прекращении работы совета. Так состоялось первое и последнее заседание этого органа.

Не жалея сил и времени, Галлиени трудился над укреплением обороны города, беспощадно расправляясь с теми, кто проявлял колебания, слабость, нерешительность или неумение. Как и Жоффр, от неспособных он избавлялся: в первый же день Галлиени сместил генерала из командования инженерных войск, а спустя два дня – ещё одного генерала. Всех жителей пригородов, даже «самых старых и немощных», обязали работать киркой и лопатой на строительстве укреплений. Галлиени издал приказ собрать в двадцать четыре часа 10 000 лопат и кирок. Жители выполнили это распоряжение к вечеру того же дня. Когда для тех же целей понадобилось 10 000 длинных охотничьих ножей, снабженец из штаба Галлиени запротестовал, говоря, что подобная покупка является незаконной. «Тем более», – ответил Галлиени, бросив на интенданта взгляд поверх стёкол пенсне, и ножи были приобретены.

Район вокруг Парижа радиусом примерно в 20 миль, достигавший Мелена на юге и Даммартена и Понтуаза на севере, 29 августа перешёл под управление военного губернатора. Велись приготовления к подрыву мостов в окрестностях Парижа. Те из них, которые считались «произведениями искусства» или частью «национального наследия», благодаря целой системе мер предосторожности могли быть взорваны лишь в исключительных случаях. Все входы в город, даже канализационные шахты, закрыли баррикадами. Пекари, мясники, зеленщики находились на специальном учёте. В Париж завезли скот, отправив его пастись в Булонский лес. Для быстрейшего создания складов боеприпасов Галлиени реквизирует почти «весь имеющийся в наличии» транспорт, даже парижские такси, вскоре

прославившие себя навечно. В артиллерийском штабе служил уже навсегда вошедший в историю бывший капитан, а ныне майор Альфред Дрейфус, вновь зачисленный на действительную службу в возрасте пятидесяти пяти лет.

На фронте в Лотарингии 1-я и 2-я армии под ураганным огнём артиллерии Рупрехта стойко удерживали свои позиции вдоль Мозеля. Линия фронта прогибалась и дрожала, на некоторых участках немцы даже вклинились в оборонительные рубежи французской армии. Подвергаясь ожесточённым контратакам с флангов, они не могли расширить эти участки, превратив их в значительные бреши во французской обороне. Бои продолжались; армии Рупрехта пытались нащупать слабое место в оборонительной системе французов, а Дюбай и Кастельно, по требованию Жоффра отдавая ему свои части, перебрасываемые на запад, уже не знали, сколько времени они продержатся и продержатся ли вообще. В деревнях, захваченных немцами, повторились трагические события Бельгии. В Номени, расположенной в окрестностях Нанси, «граждане стреляли в наши войска», объявил в расклеенном на стенах бюллетене германский губернатор Меца. «Ввиду вышеизложенного я приказал в качестве наказания сжечь эту деревню дотла. Таким образом, Номени к настоящему времени полностью уничтожена».

Слева от Кастельно, там, где фронт поворачивал на запад, 3-я армия Рюффе, ослабленная выводом из её состава дивизий для Монури, откатывалась за Маас ниже Вердена. Рядом с ней 4-я армия, остававшаяся на позициях до 28 августа, получила 29 августа приказ возобновить отвод войск, что вызвало у генерала де Лангля приступ возмущения. Дальше слева, где нажим немцев на французский фронт был наиболее сильным, 5-я армия генерала Ланрезака завершала поворотный манёвр, готовясь к контратаке на Сен-Кантен, которую Жоффр навязал вопреки возражениям её командующего. На самом дальнем фланге фронта на позиции выходила 6-я армия Монури. Джон Френч, находившийся между Монури и Ланрезаком, отводил свой британский экспедиционный корпус, хотя и знал о бое, который должен был начаться завтра.

Отступление БЭК чуть было не прервалось благодаря неожиданному сотрудничеству английских и французских армий, которого очень не доставало. Генерал Хейг направил сообщение

Ланрезаку, заявив, что его «войска полностью готовы к наступлению и он желал бы установить непосредственный контакт с 5-й армией и принять участие в планируемой операции в районе Сен-Кантен». Ланрезак немедленно отправил к англичанам офицера штаба, и тот увидел живописную картину: на невысоком холме стоял Хейг, рядом с ним, на воткнутой в землю пике, развевался вымпел с белым крестом. Неподалёку вестовой держал под уздцы коня. По словам Хейга, его воздушная разведка сообщила о передвижении противника к юго-западу от Сен-Кантена, «подставившего под удар свой фланг».

«Отправляйтесь скорее к своему генералу и передайте ему эти сведения... Пусть он действует. Я готов сотрудничать с ним в этой операции». Ланрезак, получив это предложение, выразил «живое удовлетворение» и даже произнёс «несколько комплиментов в адрес сэра Дугласа Хейга». Были согласованы все детали предстоящей утром операции, для участия в которой требовалось разрешение английского главнокомандующего. В два часа ночи из главного штаба сообщили об отказе Джона Френча от совместной операции. Как заявил Френч, его войска «очень устали и должны иметь хотя бы один день отдыха»... Однако фактически это относилось лишь ко II корпусу, а I корпус, согласно утверждению его командира, находился в отличной форме. Ланрезака обуял гнев. «C'est une félonie! Это предательство!» – вскричал он, добавив несколько фраз, содержащих, по свидетельству одного из присутствовавших при этом, «ужасные, непростительные оскорбления в адрес сэра Джона Френча и английской армии».

Тем не менее на следующее утро, зажатый, с одной стороны, двигавшейся на него армией Бюлова, а с другой – Жоффром, приехавшим наблюдать за проведением операции, Ланрезак не имел другого выбора, кроме как отдать своим войскам приказ о наступлении. Бюлов же был начеку – из бумаг, найденных у пленного французского офицера, он знал о готовящемся наступлении. Сомневаясь в намерениях Ланрезака, Жоффр рано утром прибыл в Лан, где располагался штаб Ланрезака, чтобы оделить командующего армией хладнокровием из своих бездонных запасов. Лан построен на высоком плоском холме, перед которым на десятки миль расстилаются поля, то поднимаясь, то опускаясь, подобно волнам зелёного океана. В двадцати милях к северу огромным полукругом развернулась 5-я армия, нацелившись на северо-запад, в сторону Гюиза и Сен-Кантена.

С колокольни собора, расположенного в самой высокой точке города, на ландшафт с тупым безразличием взирали морды коров, высеченные в камне вместо химер. Внизу, под ними, Жоффри всё в том же молчаливом спокойствии наблюдал, как Ланрезак отдавал приказы и руководил сражением. В штабе Ланрезака Жоффри пробыл более трёх часов, не произнеся при этом ни единого слова, и, убедившись, что командующий действует «решительно и методично», отправился как следует закусить в привокзальный ресторан, после чего отправился на автомобиле с шофёром-гонщиком для выполнения следующей миссии.

Главкомандующий хотел отыскать Джона Френча, который, по подозрениям Жоффри, больше всего беспокоился о Ла-Манше и «в течение длительного времени избегал, как кажется, боёв на нашем фронте». Френч занимал чрезвычайно важный участок обороны между армией Ланрезака и сосредоточивавшейся 6-й армией Монури и тем не менее был вне сферы влияния Жоффри. Он не мог приказывать английскому фельдмаршалу или заставить его сражаться, сев у него за спиной в красноречивом молчании. Однако если бы ему удалось убедить англичанина прекратить отступление, то тогда Жоффри надеялся сам стабилизировать фронт вдоль реки Эны по линии Амьен – Реймс – Верден, чтобы затем перейти в наступление с этого рубежа. После очередного шага назад английский главный штаб размещался со вчерашнего дня в Компьене, в 40 милях, или на расстоянии трехдневного марша усталой армии, от Парижа. Пока соседняя, 5-я французская, армия весь день вела бои с немцами у Гюиза, изматывая врага, английская армия отдыхала. Вчера она отступила, не преследуемая врагом. Сейчас, после восьми жарких дней маршей, окапываний и стычек с противником – больших и малых, – английские войска наконец остановились. II корпус вечером совершил короткий марш и переправился через Уазу, однако I корпус весь день отдыхал в лесу Сен-Гобен, всего лишь в пяти милях километрах от того места, где левое крыло армии Ланрезака, не меньше англичан измотанное четырнадцатидневными боями и переходами, вело крупное сражение.

Когда Жоффри прибыл в Компьен, он призвал английского командующего держать фронт до тех пор, пока не наступит благоприятный момент для возобновления наступления. Его аргументы, как казалось, не возымели действия. Он «ясно видел», как



Мюррей слегка дёрнул фельдмаршала за китель, опасаясь, что тот уступит давлению француза. Это было излишне, поскольку Френч не переставая твердил Жоффру: «Нет, нет». По его словам, английская армия, понёсшая значительные потери, была сейчас небоеспособной, и ей требовалось не меньше двух дней для отдыха и восстановления сил. Жоффр не мог тут же сместить его, как французского генерала; он не позволил себе дать волю гневу, чтобы добиться своего, как в случае с Ланрезаком у Марля. Поскольку англичане отступали, обгоняя фронт между Ланрезаком и Монури, французские армии уже не могли удержать занимаемых рубежей, и поэтому все надежды на выполнение Общего приказа №2 окончательно рухнули. Жоффр, по собственному признанию, уехал в «сквернейшем настроении».

Намерения Джона Френча шли гораздо дальше того, о чём он говорил с Жоффром. Не обращая внимания на союзника, сражающегося на грани поражения, Френч попросил своего инспектора по связи генерал-майора Робба подготовить план «неминуемого и длительного отступления к югу, с обходом Парижа с запада и востока». Можно сказать, в данном случае инструкции Китченера были ни при чём. Они отражали его глубокое недоверие к обязательствам Генри Уилсона по «Плану-17» и преследовали цель сдерживать не в меру агрессивного Джона Френча и слишком большого франкофила Генри Уилсона с тем, чтобы французы не вовлекли английскую армию в какую-то авантюру в духе «наступления до победного конца», которая могла бы привести к уничтожению или пленению большей части экспедиционного корпуса. Однако эти инструкции никогда не предусматривали проявления излишней осторожности, граничившей чуть ли не с предательством союзника. Но невозможно удержать пот, выступающий со страха, а Джон Френч боялся потерять армию, а с ней своё имя и репутацию.

Английские войска не представляли, как он утверждал, разбитую армию, неспособную к дальнейшим усилиям. Её солдаты и офицеры, по их же свидетельствам, сохранили высокий боевой дух. Подполковник Фредерик Морис из штаба 3-й дивизии считал, что крайняя усталость, истёртые в кровь ноги и отсутствие горячей пищи – всё это «проходит после хорошей еды, крепкого ночного сна и бани, которые едва ли чудеса не творят. Только это и требовалось нашей армии... чтобы она смогла вновь занять боевые позиции». По словам

капитана Эрнеста Гамильтона из 11-го гусарского полка, после отдыха 29 августа английский экспедиционный корпус «находился в отличной форме и полной боеготовности». Генерал-адъютант Макрели заявил, что «английским войскам нужны были только отдых и пища для восстановления сил и боевого духа», чтобы проучить немцев.

Тем не менее Джон Френч уведомил на следующий день Жоффра, что английская армия сможет активно участвовать в боях на фронте не «раньше, чем через десять дней». Попроси он десять дней, когда враг подступал к Лондону, то немедленно лишился бы поста главнокомандующего. Однако Джон Френч оставался на этом посту ещё полтора года.

В тот день, собираясь отдать приказ об отводе войск и выходе из соприкосновения с противником, Джон Френч делал всё от него зависящее, чтобы Ланрезак прекратил сражение и возобновил отступление плечом к плечу с его армией — он не столько хотел прикрыть фланг союзника, сколько защитить собственный. Пытаясь добиться для 5-й армии приказа об отступлении, Генри Уилсон отправился в главный штаб. Жоффр отсутствовал, и Уилсон решил поговорить с генералом Бертело, который наотрез отказался взять на себя такую ответственность, но согласился устроить встречу с Жоффром в Реймсе в отеле «Лион д'Ор» в 7:30 вечера. Местопребывание главнокомандующего в часы трапезы было известно всегда. С Жоффром Уилсон встретился, но переубедить француза ему оказалось не под силу. Жоффр отвечал одно: «Ланрезак должен довести дело до конца», причём не уточнял, до какого именно конца. Когда Уилсон привёз эту новость, сэр Джон Френч решил больше не ждать и приказал британскому экспедиционному корпусу начать отступление на следующий день.

Тем временем наступление Ланрезака на Сен-Кантен столкнулось с трудностями. Один из полков XVIII корпуса, получивший приказ взять деревню у дороги, попал под шрапнельный обстрел. Шрапнель «сыпалась на дорогу и срезала густые ветви деревьев», — писал сержант, которому посчастливилось остаться в живых.

«Глухо было лежать, с тем же успехом можно было продолжать идти дальше... Тут и там солдаты лежали ничком или навзничь. Они были мертвы. У одного, под яблоней, не было лица, голова залита кровью. Справа барабаны, следом за трубой, подавали сигнал к

штыковой атаке. Наша шеренга наступала, оцетинившись на фоне голубого неба склонёнными и сверкавшими на солнце штыками. Ритм барабанов убыстрился. „Вперёд!“ Все закричали „Вперёд!“ Это был потрясающий миг. У меня по голове будто электрический ток пробежал, волосы у корней точно зашевелились. Барабаны грохотали всё яростней, в горячем воздухе разносилась мелодия трубы, кричали, не помня себя, солдаты... Вдруг мы остановились. Атаковать деревню в 900 ярдах впереди, с укрепленной обороной, было глупо и безрассудно. Пришёл приказ: „Залечь и укрыться“».

Немцы отбили атаку на Сен-Кантен, как и предвидел Ланрезак, затем противник начал оказывать сильное давление на правый фланг французов. Бюлов атаковал всеми силами, вместо того чтобы дать французам возможность продвинуться вперёд и подставить, таким образом, свой тыл армиям Клука и Хаузена. По мнению Бюлова, атака на Сен-Кантен была ни чем иным, как предсмертной агонией разбитой армии, и он чувствовал «уверенность в победе». На одном из участков французам пришлось отойти за Уазу. На мосту и узких дорогах, ведущих к нему, образовались заторы, началась паника. Проявив «величайшую сообразительность и правильно разобравшись в обстановке», говоря словами наименее симпатизирующего ему наблюдателя, Ланрезак быстро приказал прекратить боевые действия в районе Сен-Кантена и собрать силы для следующей попытки восстановить положение справа от Гюиза.

Франте д'Эспере, командир I корпуса, энергичный, крепкий мужчина небольшого роста, обожжённый солнцем Тонкина и Марокко, которого Пуанкаре называл «чуждым унынием», получил указание объединить силы III и X корпусов, находившихся слева и справа от него. С помощью офицеров, разосланных по позициям верхом, и оркестров, непрерывно игравших жизнерадостную «Самбру и Маас», генерал к половине шестого вечера восстановил боевые порядки вдоль линии фронта. После тщательно подготовленной артиллерийской подготовки французы вновь двинулись в атаку. Мост в Гюизе усеяли горы трупов вражеских солдат. На противоположном берегу сопротивление немцев оказалось почти сломленным, французы чувствовали, как враг слабеет. «Немцы бежали», – писал очевидец, и французы, «обезумев от радости, от этого нового и давно желанного чувства, неслись вперёд великолепной всепобеждающей волной».

На исходе дня один сержант, участвовавший в атаке на Сен-Кантен, возвратившись в деревню, откуда выступил поутру, встретил своего приятеля по полку, который знал все новости. «Он говорил, сегодня свершились большие события. Остановка нашего наступления ничего не значит. Враг отброшен, мы выиграли этот бой. Полковник убит осколком снаряда. Он умер, когда его несли на носилках. Майор Терон ранен в грудь. Капитан Жильберти ранен и вряд ли выживет. Много раненых и убитых. Он повторял, что день прошёл удачно, потому что полк будет ночевать две ночи подряд в одном месте».

Отступление гвардейского корпуса – отборных частей армии Бюлова – вынудило также отойти и его соседей, что принесло Ланрезаку тактическую победу – если не при Сен-Кантене, то под Гюизом. Однако сейчас лишь его войска, развёрнутые на север и с обнажившимися флангами, противостояли немцам. Английская и 4-я французская армии, которые располагались слева и справа от частей Ланрезака, продолжали отступать и уже находились на расстоянии дневного перехода от него; с каждым их шагом нарастала угроза флангам Ланрезака. Чтобы спасти 5-ю армию, надо было срочно отрываться от противника и идти на соединение со своими войсками. Но Ланрезаку не удалось получить никаких указаний от Жоффра – того не было в главном штабе, когда с ним связался по телефону командующий 5-й армией.

— Должна ли Пятая армия оставаться в районе Гюиз – Сен-Кантен, несмотря на риск окружения? – спросил Ланрезак по телефону заместителя Жоффра генерала Белена.

— Что вы имеете в виду – окружение армии! – ответил тот. – Вы не можете такого допустить! Это же абсурд!

— Вы не понимаете меня... Мне нужен чёткий и недвусмысленный приказ главнокомандующего. Я не имею права отдать войскам распоряжение отойти к Лану. Именно главнокомандующий должен дать мне приказ на отступление.

Ланрезак не собирался на этот раз оказаться в положении провинившегося, как при Шарлеруа.

Белен отказался взять на себя ответственность и отдать такой приказ и сказал, что обо всём доложит Жоффру, как только тот вернётся. Жоффр прибыл в штаб, внешне по-прежнему спокойный и невозмутимый, но его надеждам был нанесён второй удар, более

сильный, чем разгром армий на границах, – враг уже продвигался в глубь страны. Жоффри ещё не знал, что Ланрезак и его армия на время остановили части Бюлова, поскольку результаты боёв были неясны. 5-я армия, понимал он, действительно оказалась в опасном положении, английский экспедиционный корпус продолжал пятиться, и «больше не оставалось надежд на то, что союзники будут удерживать намеченные линии обороны». 6-я армия, ещё не закончившая формирования, подвергалась мощным атакам двух корпусов Клука, которые входили в правое крыло германских армий; фронт распадался, и остановить этот процесс казалось невозможным. Противник захватывал всё больше территории; французским войскам придётся отступить, вероятно, к Марне, а может быть, и к Сене.

В этот период, «самый трагичный во всей французской истории» – как назвал это время главный исследователь истории Франции, – Жоффри не поддался панике, как Джон Френч, не колебался, как Мольтке, не лишился на какое-то мгновение присутствия духа, подобно Хейгу или Людендорфу, и не впал в пессимизм, как Притвиц. Даже если его спокойствие проистекало от недостатка воображения, всё равно для Франции оно оказалось счастливым обстоятельством. На нормального человека, писал Клаузевиц, опасность или навалившаяся ответственность действуют удручающе, если же эти переживания «окрыляют и обостряют способность суждения, то, несомненно, мы имеем дело с редким величием духа». Если на ум Жоффра опасность не оказала никакого влияния, то она укрепила в нём твёрдость духа и характера. Когда вокруг всё начало рушиться, он сохранил прежний ровный уклад жизни, как и раньше, прочно держал в своих руках власть; Фош, встретившийся с ним 29 августа, отметил «удивительное спокойствие», которое удержало французскую армию от распада в час, когда ей была так необходима скрепляющая сила уверенности. В один из этих дней полковник Александр, вернувшись из поездки в 5-ю армию, решил, что мрачное настроение Жоффра объясняется «плохими новостями, которые я привёз ему».

— Как?! – воскликнул Жоффри. – Вы не верите больше во Францию? Идите и отдохните. Вот увидите – всё будет хорошо!

Вечером 29 августа, в 10 часов, он приказал Ланрезаку отступить и взорвать за собой мосты через Уазу. Генерал д'Амад получил

указание взорвать мосты через Сомму у Амьена и отходить вместе с армией Монури. 4-я армия, находившаяся справа, получила приказ направиться к Реймсу. Генерал де Лангль, требовавший отдыха для своих войск, услышал от Жоффра, что отдых зависит только от противника. И наконец, этим же горьким вечером Жоффри с тяжёлым сердцем приказал готовиться к уходу из Витриле-Франсуа, города «несбывшихся надежд и утраченных иллюзий». Главный штаб перемещался вглубь страны, в Бар-сюр-Об, на восточном притоке Сены. Эти новости распространились среди офицеров штаба и, как неодобрительно выразился Жоффри, «ещё больше усилили состояние нервозности и тревоги».

Вследствие ошибки штабных работников приказ Жоффра поступил к Ланрезаку только утром, заставив командующего провести ночь в напрасном беспокойстве. К счастью, фон Бюлов не возобновил наступления и не стал преследовать отступающие войска Ланрезака. Результаты боёв были неясны как французам, так и немцам. Любопытно, что Бюлов сам не имел чёткого представления об исходе сражения и поэтому уведомил главный штаб об успехе и одновременно отправил к фон Клуку капитана из штаба, сообщить, что его армия «измотана после боёв под Гюизом и не в состоянии преследовать противника». Не зная этого, французы – Жоффри и Ланрезак – стремились к одной-единственной цели: вывести 5-ю армию из зоны боёв и соединить её с другими французскими частями до того, как немцы обойдут её с левого фланга.

Тем временем угроза Парижу со стороны наступающего правого крыла германских армий стала очевидной. Жоффри телеграфировал Галлиени, чтобы тот приказал заложить взрывчатку под мосты, расположенные в непосредственной близости от Парижа – через Сену к западу от столицы и через Марну – к востоку. По требованию Жоффра, у каждого из мостов был выставлен дежурный взвод сапёров, готовых уничтожить их в любую минуту, как только будет получен приказ. Отступавшая армия Монури прикрывала бы Париж и, естественно, стала бы той группой из трёх корпусов, в которых так нуждался Галлиени. Но для Жоффра и его штаба Париж оставался всего лишь «географическим понятием». Оборонять Париж только ради самого города и отдать в полное распоряжение Галлиени армию Монури вовсе не входило в планы Жоффра. Париж, считал он, падёт

или выстоит, но в результате генерального сражения, которое даст вся французская армия под его личным руководством. Однако парижанам судьба столицы была далеко не безразлична.

Первые впечатления об исходе боёв под Сен-Кантенем и Гюизом усугубили мрачные настроения в городе. Утром, когда это сражение ещё только начиналось, вице-председатель сената Турон, промышленный магнат севера, «словно вихрь» ворвался в кабинет президента Пуанкаре. «Главный штаб обманул» правительство, заявил он, наш «левый фланг смят, и немцы стоят у Ла-Фера». Левый фланг, ответил Пуанкаре, повторяя твёрдые заверения Жоффра, обязательно выдержит, и, как только 6-я армия будет готова к боям, наступление сразу же возобновится, однако в глубине души он опасался, что Турон может оказаться прав. Начали поступать туманные сообщения, указывающие, что идёт крупное сражение. Каждый час президент получал противоречивые сведения. К концу дня в его кабинет вновь влетел Турон, возбуждённый ещё больше, чем прежде. Он только что разговаривал по телефону со своим коллегой Селином, сенатором от департамента Эна, имение которого находилось в окрестностях Сен-Кантена. Селин наблюдал за боем с крыши своего дома. Он видел наступающие французские войска, клубы дыма и чёрные разрывы снарядов на фоне неба. Затем, подобно полчищу серых муравьёв, подошли немецкие подкрепления и отбросили французские войска. Атака не удалась, бой был проигран, и, сообщив обо всём этом, Турон в слезах покинул кабинет президента.

Вторая стадия этого сражения, бой под Гюизом, не попала в поле зрения сидевшего на крыше сенатора, и правительство знало о ней ещё меньше, чем главный штаб. Ясно было одно – попытки Жоффра остановить продвижение правого крыла германских армий провалились, и Парижу угрожала осада, и его жителям, возможно, вновь, как и в 1870 году, придётся есть крыс. В связи с реальной угрозой падения столицы министры, которых уже со времени Пограничного сражения преследовала мысль о переезде правительства в другой город, теперь начали обсуждать этот вопрос открыто и в срочном порядке. На следующее утро в Париж прибыл полковник Пенелон, поддерживавший связь между главным штабом и президентом страны. Его обычно улыбающееся лицо было мрачным, он признал, что сложилась «чрезвычайно серьёзная» обстановка.

Военный министр Мильтеран тут же предложил перевести правительство в другой город, чтобы оно не оказалось отрезанным от всей страны. Галлиени, срочно вызванный на совещание, посоветовал позвонить Жоффру. Тот признал, что обстановка действительно оставляла желать лучшего; 5-я армия сражалась хорошо, но не оправдала его надежд, англичане «не устояли», наступление противника замедлить невозможно, и над Парижем нависла «серьёзная угроза». Он порекомендовал правительству уехать из столицы, ибо в противном случае оно станет приманкой для врага. Жоффр прекрасно знал намерения противника, стремившегося в первую очередь уничтожить французскую армию, а не правительство. Однако фронт приближался к Парижу, и пребывание правительства в военной зоне могло бы поставить вопрос о пределах его властных полномочий как главнокомандующего. Если бы министры переехали в другой город, Жоффр избавился бы от источника помех, а роль его штаба ещё больше возросла. Когда Галлиени позвонил Жоффру по телефону, попытавшись внушить мысль о необходимости обороны Парижа, как средоточия материальных и моральных усилий войны, и вновь попросил Жоффра выделить для встречи противника ещё на дальних подступах к городу армию с тем, чтобы избежать его осады, то главнокомандующий туманно пообещал направить к Парижу три корпуса, хотя и не полной численности и состоящих в основном из резервных дивизий. У Галлиени сложилось впечатление, что Жоффр считал оборону Парижа делом несостоящим и по-прежнему не желал ослаблять ради него свою армию.

Президент республики, казавшийся «чрезвычайно озабоченным и даже удручённым», всё же сохранял, как и прежде, «хладнокровие и выдержанность». «Сколько времени продержится Париж, и не следует ли правительству покинуть столицу?» – спросил он у Галлиени. «Париж удержать не получится, и вы должны как можно скорее подготовиться к отъезду», – ответил тот. И хотя военному губернатору не меньше Жоффра хотелось сбросить со своего горба такую обузу, как правительство, совет он давал с болью в душе. Пуанкаре попросил его вернуться позднее, чтобы объяснить свою точку зрения кабинету, который тем временем уже собрался и бурно обсуждал вопрос, казавшийся немыслимым ещё десять дней тому назад, когда французы начали наступление.



Пуанкаре, Рибо и двое социалистов, Гед и Семба, выступали за то, чтобы остаться в Париже или, по крайней мере, дожидаться исхода приближающегося сражения. С точки зрения воздействия на моральный дух, заявляли они, отъезд правительства способен вызвать отчаяние, даже революцию. Мильеран же настаивал на немедленном отъезде. Рота улан, доказывал он, может обойти Париж и перерезать железные дороги, ведущие на юг, поэтому правительство рискует оказаться запертым в столице, как в 1870 году. Но теперь, поскольку Франция сражается в коалиции с другими державами, правительство обязано поддерживать контакт с союзниками и внешним миром, так же как и с остальной Францией. Особенное впечатление произвели слова Думерга: «Требуется больше мужества, чтобы показаться трусом и подвергнуться всенародному осуждению, нежели просто дать убить себя». Шли бурные споры о том, следует ли в данной критической ситуации созывать парламент, на чём настаивали председатели обеих палат.

Галлиени, от нетерпения не находивший себе места – у него были срочные дела, – вынужден был ждать за дверями, пока министры спорили. Когда его пригласили, он напрямик заявил, что «оставаться дальше в городе небезопасно». Суровый, воинственный вид генерала, «ясность и сила», с которой он излагал свои мысли, произвели «глубокое впечатление». Галлиени объяснил, что, не имея войск для боёв за линией обороны, невозможно предотвратить вражескую бомбардировку города из осадных орудий. Париж, предупреждал он, к обороне не готов, и «с этим ничего не поделаешь... Было бы наивным полагать, что этот слабо укреплённый район сможет оказать серьёзное сопротивление, если завтра-послезавтра враг покажется у фортов нашего внешнего оборонительного рубежа». «Совершенно необходимо» создать боеспособную армию из четырёх или, в крайнем случае, трёх корпусов под его командованием, которая должна будет сражаться вне города на самом краю левого фланга французского фронта. Ответственность за промедление в подготовке столицы к обороне, имевшее место до его назначения на пост военного губернатора, он возложил на влиятельные группировки, желавшие объявить Париж открытым городом, чтобы спасти его от разрушения, и на главный штаб.

— Это верно, — прервал его Мильеран. — Главный штаб считает, что Париж оборонять не имеет смысла.

Социалист Гед, впервые выступавший в качестве министра после пожизненного пребывания в оппозиции, возбуждённо заговорил:

— Вы хотите открыть ворота врагу, чтобы он не разграбил город. Но в тот день, как немецкие войска двинутся маршем по нашим улицам, в рабочих кварталах из каждого окна в них полетят пули. И я вам скажу, что тогда случится: Париж будет сожжён!

После горячих дебатов было решено защищать Париж и потребовать от Жоффра повиновения, даже под угрозой отстранения. Галлиени высказался против поспешного смещения главнокомандующего на данном этапе. Относительно того, следует ли правительству покинуть город или остаться, министры так и не пришли к согласию.

Генерал ушёл с совещания кабинета, «охваченного бурными чувствами и нерешительностью», члены которого, как показалось ему, «не могли принять твёрдого решения», и направился обратно в Дом Инвалидов. Здесь он с трудом пробился сквозь осаждавшую двери его кабинета толпу встревоженных горожан. Каждый был озабочен своим делом: одному требовалось разрешение на выезд из города, второму — забрать свой автомобиль, третьему — закрыть предприятие. Люди шли к нему с тысячами просьб. В гуле голосов сильнее обычного слышалась тревога; в этот день впервые германские «Таубе» бомбили Париж. Кроме трёх бомб, которые упали на набережную Вальми, убив при этом двух человек и ранив много других, немецкие самолёты ещё сбросили листовки. Парижанам сообщалось, что германские войска стоят у ворот города, как в 1870 году. «Вам, — говорилось в прокламациях, — остаётся лишь сдаться».

После этого ежедневно в 6 вечера самолёты регулярно возвращались и сбрасывали две-три бомбы, причём обычно погибал какой-нибудь случайный прохожий. Всё это, по всей видимости, делалось для устрашения населения. Испугавшиеся покидали город и бежали на юг. Те, кто остался в Париже, не знали, что принесёт им следующий день — марширующих по улицам солдат в остроконечных касках или германские «Таубе», которые всегда появлялись в час аперитива, вызывая возбуждение, компенсировавшее некоторым образом объявленный правительством запрет на продажу абсента. В

первую же ночь после воздушного налёта в Париже ввели затемнение. Единственным «маленьким лучом света», писал Пуанкаре, оживлявшим мрачную картину, оставался Восточный фронт, где, если верить телеграмме от французского военного атташе, русские армии «развивали наступление на Берлин». А на самом деле они были отрезаны и окружены под Танненбергом, и в эту ночь в лесу генерал Самсонов покончил с собой.

Жоффри получил более точные сведения после того, как у Бельфора французы перехватили немецкое радиосообщение. В послании говорилось об уничтожении трёх русских корпусов, о захвате в плен двух корпусных командиров и 70 000 солдат и офицеров: «Русской Второй армии больше не существует». Это страшное известие могло бы подорвать уверенность и самого Жоффра, если бы затем не стали поступать другие новости, судя по которым жертвы русской армии оказались не напрасными. Разведка доносила, что немцы перебросили с Западного фронта на Восточный не меньше двух корпусов. На следующий день эти сообщения подтвердились — через Берлин в восточном направлении проследовало 32 эшелона с войсками. Для Жоффра сверкнул луч надежды, вот та помощь, ради которой Франция оказывала давление на Россию. И всё же это не могло компенсировать фактическую потерю английской армии, командующий которой дал приказ к отступлению, поставив под угрозу охвата 5-ю армию. Её правый фланг также был в опасности, прикрытый тонкой линией соединения Фоша.

Каждый раз, чтобы укрепить обескровленный сектор фронта, приходилось снимать части с других участков, опасно их ослабляя. В этот день 30 августа Жоффри направился в 3-ю и 4-ю армии в поисках войск, которые можно было бы перебросить Фошу. На дороге ему встретились отступающие колонны, сражавшиеся в Арденнах и верховьях Мааса. Красные штаны солдат выцвели и стали светло-кирпичными, шинели обтрепались и обратились в лохмотья, сапоги покрылись дорожной пылью и грязью; люди брели с безразличным видом, с почерневшими, давно не бритыми лицами и ввалившимися глазами. Казалось, двадцать дней военной кампании состарили солдат на многие годы. Они шагали тяжело, словно вот-вот свалятся с ног, стоит только сделать ещё шаг. У истощённых лошадей, с выступающими рёбрами и кровоточащими потёртостями от упряжи,

иногда подламывались ноги, и животные падали на дорогу. Тогда артиллеристы быстро выпрягали их и оттаскивали на обочину, чтобы они не перегораживали путь. Пушки казались старыми, и лишь кое-где на них из-под пыли и грязи проглядывала серая краска, которой они были некогда выкрашены.

Другие части, всё ещё полные сил и энергии, напротив, превратились за двадцать дней в закалённых ветеранов, гордившихся своими боевыми качествами и стремившихся сделать всё, чтобы остановить врага. Особенно отличилась 42-я дивизия армии Рюффе, которая успешно провела арьергардные бои и затем умело оторвалась от противника. Командующий корпусом генерал Саррай сказал о солдатах этой дивизии: «Они показали пример отваги». Когда Жоффри приказал перебросить эти войска на помощь Фошу, то генерал Рюффе яростно запротестовал, заговорив о готовящемся наступлении. В противоположность генералу де Ланглю, командующему 4-й армией, который, по мнению Жоффри, держался уверенно и спокойно, оставаясь «хозяином своих эмоций» – важнейшее качество в глазах Жоффри, – Рюффе казался взвинченным, беспокойным и «обладающим чересчур пылким воображением». Полковник Танан, начальник оперативного отдела штаба армии, говорил, что Рюффе очень умен; на тысячу его идей приходилась одна гениальная, но вопрос заключался в том, какая именно? Как и депутаты в Париже, Жоффри искал козла отпущения за провал наступления. Поведение Рюффе решило проблему. В тот же день его сместили с поста командующего 3-й армией, и на его место назначили генерала Саррая. Рюффе, приглашённый Жоффри на следующий день к обеду, объяснил своё поражение в Арденнах тем, что в последнюю минуту лишился двух резервных дивизий, которые главное командование перебросило на помощь войскам в Лотарингию. По словам Рюффе, если бы в его распоряжении были те 40 000 боеспособных солдат и 7-я кавалерийская дивизия, он смял бы левый фланг противника, и тогда «какой успех выпал бы на долю наших армий!». В ответ Жоффри произнёс одну из своих кратких и загадочных фраз: «Chut, il ne faut pas le dire. Тсс! Не будем говорить об этом». Имел ли главнокомандующий в виду «Вы не правы и поэтому молчите» или «Мы не правы, но не признаемся» – понять было невозможно; ровный, бесцветный голос делал его речь совершенно невыразительной.

В воскресенье 30 августа, когда произошло сражение под Танненбергом и французское правительство предупредило о необходимости покинуть Париж, Англия была потрясена, получив «донесение из Амьена». Страшную весть опубликовала в специальном воскресном выпуске газета «Таймс» – на первой странице, там, где обычно скромные колонки рекламы заслоняли от читателя смысл новостей. Сообщение было озаглавлено с некоторым преувеличением так: «Самая жестокая битва в истории». Подзаголовки гласили: «Тяжёлые потери английских войск», «Монс и Камбре», «Сражение с превосходящими силами», «Нужны подкрепления». Последнее выражало цель этого послания; публикация депеши вызвала бурную официальную реакцию, послужила причиной резких дебатов в парламенте и заставила премьер-министра Асквита сделать ряд язвительных замечаний в отношении «прискорбного отклонения» от «патриотической сдержанности» прессы в целом. Тем не менее донесение из Амьена было обнародовано не без благословения официальных кругов, и его публикация преследовала далеко идущие цели. Цензор Ф. Смит, впоследствии лорд Биркенхед, сразу воспользовался этим сообщением для развёртывания пропаганды призыва в армию. Депешу, сопроводив её настоятельным советом, он передал редакции «Таймс», которая сочла своим патриотическим долгом напечатать эту информацию ввиду «чрезвычайно важной задачи, стоящей перед нами». Сообщение было написано корреспондентом Артуром Муром, прибывшим на фронт в разгар отступления из Ле-Като, когда английский штаб переживал период отчаяния.

Он писал об «отступающей и разбитой армии», которая вела целую череду боёв «в ходе так называемой операции под Монсом», об отходящих на фланге французах, о «непрекращающемся, безжалостном, неотступном» преследовании немцами и о «упорстве и неутомимости» их наступления, об английских полках, «несущих серьёзные потери», сохраняющих в то же время «дисциплину, твёрдость духа и веру в окончательную победу». Вопреки всему солдаты по-прежнему «полны решимости и бодрости, неподвластны панике», но вынуждены «отступать, вечно только отступать». Мур отмечал «очень большие потери», сообщал об «остатках разбитых

полков», о том, что отдельные дивизии «потеряли почти всех своих офицеров». Очевидно, заразившись настроениями, царившими в английском штабе, корреспондент несколько нервно заявлял, что германское правое крыло «имеет, по оценкам, такое колоссальное превосходство в численности, что остановить его движение так же трудно, как бег морских волн». Англия, говорилось в заключение, должна осознать тот факт, что «первая мощная попытка немцев оказалась успешной» и что «возможную блокаду Парижа нельзя сбрасывать со счётов».

И наконец, упирая на необходимость присылки подкреплений, Мур писал о британском экспедиционном корпусе как «о принявшем на себя главный удар немецких войск», тем самым заложив фундамент, на котором вырос целый миф. Из его слов следовало, будто французская армия была каким-то несущественным придатком английской армии. В действительности же экспедиционный корпус в первый месяц войны имел боевой контакт всего лишь с тремя германскими корпусами из тридцати, однако убеждённость о том, что он «вынес на себе всю тяжесть удара», постоянно фигурировала во всех более поздних английских отчётах о сражении под Монсом и о «славном отступлении». Таким образом, в головах англичан укрепились вера, будто бы в период мужества и ужасов первого месяца войны английские войска спасли Францию, Европу и западную цивилизацию. Один английский писатель даже сказал, ничуть не краснея от стеснения: «Монс. Смысл, что заключён в этом единственном слове, – освобождение мира».

Единственная из воюющих держав, Англия начала боевые действия без заранее составленных планов мероприятий общенационального масштаба и не имея подготовленных приказов о мобилизации. За исключением действий регулярной армии, всё строилось на импровизациях, и в первые недели, до получения сообщения из Амьена, в Англии царило почти праздничное настроение. Правда о наступлении немцев скрывалась вследствие «патриотической сдержанности» прессы, как изящно выразился премьер-министр Асквит. Как английской, так и французской общественности войну преподносили в виде непрерывных побед союзников; при этом было совершенно непонятно, почему же всё-таки немцы прошли через всю территорию Бельгии и очутились во

Франции, с каждым днём продвигаясь всё дальше и дальше. Утром 30 августа, открыв за воскресным завтраком «Таймс», люди в Англии прочли новость, ошелолившую их. «Было похоже на то, – подумал Бритлинг, – как будто Давид метнул камень – и промахнулся!»

Осознав вдруг открывшуюся страшную истину, что враг выигрывает войну, люди, в поисках надежды, ухватились за вымысел, возникший несколькими днями ранее и в итоге по своему размаху принявший характер национальной галлюцинации. 27 августа семнадцатичасовая задержка с движением поездов по линии Ливерпуль – Лондон породила слухи о том, что срыв расписания объясняется срочной переброской русских войск, которые якобы высадились в Шотландии и направляются теперь на помощь союзникам на Западный фронт. Они будто бы вышли из Архангельска, затем через Северный Ледовитый океан попали в Норвегию, откуда на обычном пароходе приплыли в Абердин. Здесь их посадили в специальные железнодорожные эшелоны и отправили в порты на побережье Ла-Манша. После этого каждый пассажир, чей поезд опаздывал, уверенно заявлял, что задержка связана с «русскими». Мрачное настроение, вызванное поражением под Амьеном и разговорами о «морских волнах» и бесчисленных массах германских солдат, крики с требованиями «людей, людей и ещё раз людей» заставляли невольно обращать взоры к России и её неограниченным людским ресурсам, поэтому призраки, замеченные в Шотландии, обретали плоть, обрастая всё новыми подробностями.

Русские сбивали снег с сапог на платформах железнодорожных станций – это в августе-то! Был даже известен рабочий вокзала в Эдинбурге, который убирал потом этот снег. «Незнакомую военную форму» видели в вагонах мчавшихся мимо поездов. Они ехали то через Харидж – спасти Антверпен, то через Дувр – на помощь Парижу. Десять тысяч русских солдат видели в Лондоне после полуночи, они маршем прошли по набережной, направляясь к вокзалу Виктория. Морская битва у Гельгоlanda, объясняли мудрецы, имела целью отвлечь внимание от переброски русских в Бельгию. Их видели самые надёжные друзья или самые правдивые люди. Профессор из Оксфорда знал коллегу, которого пригласили к русским в качестве переводчика. Один армейский офицер из Шотландии видел их в Эдинбурге: в «длинных ярко расшитых шинелях и больших меховых

шапках», с луками и стрелами вместо винтовок, а их лошади походили на «шотландских пони, только костлявее». Это описание точь-в-точь соответствовало тому, как изображали казаков сто лет тому назад на гравюрах начала викторианской эпохи. Житель Абердина, некий сэр Стюарт Коутс, написал своему зятю в Америку, что мимо его поместья в Пертшире проехали 125 000 казаков. Как уверял своих друзей другой английский офицер, 70 000 русских «в полнейшей секретности» прошли через Англию, направляясь на Западный фронт. Сначала их было 500 000, затем – 250 000, потом – 125 000. Цифры медленно уменьшались, пока не достигли 70 000—80 000 – численности английского экспедиционного корпуса, отбывшего во Францию. Истории о русских распространялись исключительно устным путём. Из-за официальной цензуры в английских газетах об этом никаких сообщений не появилось. Однако в США рассказы возвращающихся из Англии американцев, многие из которых садились на пароходы в кипевшем возбуждении по поводу русских Ливерпуле, нашли отражение в прессе и поведали потомкам об этом удивительном явлении.

Новость подхватили нейтральные страны. Судя по сообщениям из Амстердама, крупные силы русских срочно перебрасываются для помощи защитникам Парижа. В Париже люди осаждали вокзалы, надеясь увидеть прибытие казаков. Перебравшись на континент, призраки превратились в военный фактор, поскольку эти слухи дошли также и до немцев. Опасение, что в тылу могут появиться 70 000 русских, должно было сыграть на Марне такую же роль, что и отсутствие 70 000 реальных солдат, переброшенных Германией на Восточный фронт. И лишь после сражения при Марне, 15 сентября, в английских газетах появилось официальное опровержение этих слухов.

В то же воскресенье, когда сообщение из Амьена вызвало ужас у публики, сэр Джон Френч составил донесение, явившееся ещё более сильным ударом для лорда Китченера. Главный штаб находился тогда в Компьене, в 40 милях к северу от Парижа. Английские войска, оторвавшиеся накануне от противника, отдыхали, в то время как французы вели ожесточённые бои с немцами. Оперативный приказ по экспедиционному корпусу, изданный в этот же день за подписью Джона Френча, гласил, что наступление врага приостановлено



«благодаря широким наступательным действиям французских войск на нашем правом фланге, с большим успехом атаковавших в районе Гюиза германские гвардейский и X корпуса, которые отступили за Уазу». Это признание действительного положения вещей находилось в полном противоречии с тем, что Джон Френч написал в своём докладе лорду Китченеру. Очевидно, главнокомандующий БЭК подписал приказ, не прочитав его.

Он информировал Китченера о том, что Жоффра просил, чтобы английские войска заняли оборонительные позиции к северу от Компьена, при этом не теряя соприкосновения с противником. Однако, утверждал далее Френч, наши войска «были абсолютно не в состоянии удерживать линию фронта», поэтому его штаб решил отвести экспедиционный корпус «за Сену» и держаться при этом «на значительном расстоянии от противника». Отход, по плану Френча, предусматривал восьмидневный марш, «неутомительный для войск», и обход Парижа с запада с тем, чтобы не удаляться слишком далеко от своей базы. «Мне не нравится план Жоффра, – продолжал Френч, – я бы предпочёл энергичное наступление», – которое, однако, сам же командующий БЭК только что отказался осуществить под Сен-Кантенем, запретив Хейгу поддержать в том сражении Ланрезака.

А уже в следующем предложении сэр Джон высказал мысли, совершенно противоположные тому, что он утверждал в донесении прежде. После десяти дней кампании он готов был бросить разбитых французов и отправить экспедиционный корпус обратно в Англию. По его словам, уверенность в том, что армия союзника «в состоянии вести и успешно завершить кампанию, быстро исчезает». Этим и объясняется его «намерение отвести наши войска так далеко вглубь страны». Французы «оказывали сильный нажим с тем, чтобы я оставил войска на передовой, несмотря на их снизившуюся боеспособность», однако он «категорически отверг это требование», в соответствии с «духом и буквой» инструкций Китченера, и настоял на сохранении независимости в действиях, вплоть до «отхода на нашу базу», если этого потребуют обстоятельства.

Китченер читал доклад, полученный 31 августа, с изумлением, граничащим с ужасом. Намерение сэра Джона Френча отвести английские войска с фронта, на котором сражались союзные армии, отделив их от французских частей, походило на дезертирство с

передовой в решающий час. Китченер считал такое решение «пагубным» как с политической, так и военной точек зрения. То было нарушением духа Антанты и превращалось, таким образом, в политическую проблему, поэтому Китченер попросил премьер-министра немедленно созвать заседание кабинета. Пока министры собирались, Китченер отправил телеграмму Джону Френчу, холодно выразив «своё удивление» решением отступить за Сену, и осторожно высказал своё неодобрение следующими вопросами: «Как повлияет этот курс на Ваши взаимоотношения с французской армией и на военную обстановку в целом?», «Не образуется ли в результате Вашего отступления брешь во французской линии обороны, не вызовет ли это падение боевого духа и не воспользуется ли этим противник?» Телеграмма заканчивалась напоминанием о том, что через Берлин прошли 32 воинских эшелона, а это означало – Германия сняла войска с Западного фронта.

Как объяснил министрам Китченер, зачитав им письмо Френча, отвод войск за Сену может означать проигрыш в войне. Кабинет, по завуалированному высказыванию Асквита, выразил «беспокойство». Китченеру поручили проинформировать Джона Френча о тревоге правительства по поводу предложенного вывода войск. Кабинет советовал командующему экспедиционным корпусом «при ведении боевых действий согласовывать, если возможно, свои действия с планами Жоффра».

Правительство, добавил от себя Китченер, щадя самолюбие Френча, «полностью доверяет Вашим войскам и Вам лично».

Когда германский главный штаб узнал о намерении Притвица отойти за Вислу, тот был немедленно смещён с поста командующего; однако, когда Джон Френч предложил бросить не провинцию, а союзника, такого решения принято не было. Очевидно, это объясняется тем, что после событий в Ольстере в рядах армии осталось не так много способных командиров, поэтому кабинет не мог прийти к согласию с военным руководством в отношении другой кандидатуры на его место. Возможно, правительство не желало сменой главнокомандующего БЭК вызывать потрясение в общественных кругах. Так или иначе, все – и французы, и англичане, – зная о крайней раздражительности Френча, продолжали обращаться с ним исключительно тактично, в то же время питая к нему очень сильное

недоверие. «Между ним и Жоффром не было ничего напоминавшего душевную близость, – писал секретарю короля годом позже сэр Уильям Робертсон, английский генерал-квартирмейстер. – Он никогда искренно и честно не сотрудничал с французами, а они, в свою очередь, не считали его сколько-нибудь способным человеком или надёжным другом и, естественно, не доверяли ему». Подобная ситуация ни в коей мере не способствовала успеху военных усилий союзников. Китченер, отношения которого с Джоном Френчем перестали быть сердечными со времён англо-бурской войны, не мог полностью верить ему после письма от 31 августа. И лишь в декабре 1915 года, когда Френч, используя средства, не отличавшиеся, по выражению лорда Биркенхеда, «пристойностью, разборчивостью или благородством», принялся плести интриги против самого Китченера, правительство, потеряв терпение, сместило его с поста командующего английскими экспедиционными силами.

Пока в Лондоне Китченер с нетерпением ждал ответа Джона Френча, в Париже Жоффр обратился за помощью к французскому правительству, чтобы оно повлияло на англичан и убедило их остаться на фронте. Теперь Жоффр знал, что Ланрезак в сражении добился успеха наполовину – благодаря операции под Гюизом. Донесения о том, что немецкие гвардейский и X корпуса «понесли значительные потери», а армия Бюлова прекратила преследование, совпавшие с сообщениями о переброске германских войск на восток, придали Жоффру новые силы. Теперь он вообще советовал Пуанкаре и правительству не покидать Париж; главнокомандующий рассчитывал остановить продвижение немецких войск с помощью 5-й и 6-й армий. Он отправил командованию английскими силами письмо о том, что 5-я и 6-я армии получили приказ держаться всеми средствами и отступать только в исключительных случаях. А поскольку французские армии не устоят, если немцы нанесут удар в образовавшуюся между ними брешь, то он «самым настоящим образом» просил фельдмаршала Френча не отводить войска или, «по крайней мере, оставить арьергарды, с тем чтобы у противника не создалось впечатления об отступлении и о существовании незащищённого участка фронта между 5-й и 6-й армиями».

Пуанкаре, которого Жоффр попросил использовать своё влияние как президента страны и добиться благоприятного ответа, обратился за

помощью к английскому послу. Тот, в свою очередь, запросил главный штаб, однако все телефонные звонки, визиты и поездки офицеров по особым поручениям не дали никаких результатов. «Я отказался», – так кратко резюмировал свою позицию сэр Джон Френч. Его ответ нанёс сильный удар по недолгим, хотя и иллюзорным, надеждам Жоффра.

В Лондоне с таким беспокойством и нетерпением ждали сообщения от Джона Френча, что Китченер поздно вечером сам пришёл к шифровальщикам и тут же слово за словом читал полученную от него телеграмму. «Разумеется, – говорилось в ней, – на французском фронте образуется брешь в результате отвода наших войск, однако если французы будут придерживаться своей прежней тактики и в дальнейшем и отступать справа и слева от меня, обычно без всякого уведомления, а также откажутся от идеи наступательных операций... за возможные последствия всю ответственность будут нести они... Я не понимаю, почему уже второй раз меня заставляют идти на риск абсолютной катастрофы ради их спасения». Это воинственное заявление, искажающее действительность и появившееся уже после того, как Жоффр нарисовал главнокомандующему БЭК совершенно обратную картину, впоследствии Френч включил в свою книгу «1914». Оно заставило его соотечественников подыскивать эквиваленты к слову «враньё» и вынудило даже Асквита прибегнуть к выражению «пародия на факты». Даже учитывая недостатки характера Френча, нельзя разгадать тайну, почему английский главнокомандующий, имевший в своём штабе Генри Уилсона, который прекрасно говорил по-французски и лично был знаком со многими офицерами вплоть до самого Жоффра, пришёл к заключению о полном поражении Франции.

Закончив в час ночи чтение этой телеграммы, Китченер уже знал, что ему надо делать, и, не дожидаясь рассвета, приступил к действиям. Он решил немедленно выехать во Францию. Как старший фельдмаршал, он возглавлял армию и поэтому считал себя вправе отдавать приказы Джону Френчу по всем военным вопросам, а будучи военным министром, он отвечал за политический курс страны, в рамках которого и обязан действовать главнокомандующий экспедиционного корпуса. Спешно отправившись на Даунинг-стрит, Китченер провёл совещание с Асквитом и несколькими министрами, в том числен с Черчиллем; последний распорядился подготовить для

него в двухчасовой срок в Дувре быстроходный крейсер. Китченер предупредил телеграфом Джона Френча о своём прибытии и, чтобы своим появлением в главном штабе не задеть чувств обидчивого главнокомандующего, предложил тому выбрать место для встречи. В 2 часа ночи Китченер разбудил Эдварда Грея, удивлённого столь неожиданным визитом, и здесь же, в спальне министра иностранных дел, сообщил о своём отъезде во Францию. В 2:30 фельдмаршал уже выехал специальным поездом с вокзала Чаринг-Кросс и утром 1 сентября прибыл в Париж.

Выглядя «раздражённым, мрачным и сердитым, с перекошенным от злости лицом», фельдмаршал Френч в сопровождении Арчибалда Мюррея прибыл в английское посольство, выбранное им для встречи. Этим он хотел подчеркнуть невоенный характер совещания, ибо считал Китченера исключительно политическим руководителем вооружённых сил, со статусом гражданского военного министра, не более. Его раздражение ничуть не улеглось, когда он увидел на Китченере военный мундир, сочтя это за намеренный жест в попытке принизить его, Френча, и продемонстрировать своё старшинство. В действительности же сюртук и цилиндр Китченер надел только раз – в первый день своего вступления в должность военного министра, а затем он сразу сменил гражданскую одежду на синюю повседневную форму фельдмаршала. Френч воспринял это как личное оскорбление. Мундир был предметом его особого внимания, и он часто использовал его для того, чтобы возвеличить своё достоинство. Его коллеги считали такое поведение не вполне соответствующим принятому в обществе. Король Георг был недоволен привычкой Френча «носить звёзды на хаки», а также его обыкновением «увешивать себя иностранными побрякушками». Генри Уилсон говаривал о Френче: «Когда он принимает ванну, он кажется приятным человеком небольшого роста, но одетый не вызывает доверия; трудно сказать, в каком мундире он появится».

Когда встреча в английском посольстве, происходившая в присутствии Фрэнсиса Берти, Вивиани, Мильерана и нескольких офицеров – представителей Жоффра, стала принимать чрезвычайно резкий характер, Китченер попросил сэра Джона пройти с ним в отдельную комнату. На версию этого разговора, опубликованную Френчем уже после гибели Китченера, полагаться едва ли стоит;

определённо известны лишь результаты этой беседы. Они отражены в телеграмме, направленной Китченером в Лондон: «Войска Френча занимают позиции на передовой линии фронта, они будут оставаться там в соответствии с планом операций французской армии». Это означало, что англичане будут отступать не на запад от Парижа, а восточнее него. В копии, направленной Джоню Френчу, военный министр предложил считать это результатом достигнутого соглашения между ними. Тем не менее далее в телеграмме говорилось: «Пожалуйста, примите это как инструкцию». Находиться «на передовой линии фронта» означало, по словам Китченера, согласовывать действия английских войск с операциями французов. И вновь с фатальной тактичностью он добавлял: «Конечно, вы будете самостоятельно принимать решения о действиях наших войск в соответствии с этими инструкциями». После этого главнокомандующий, по-прежнему жёлчный, снова впал в отвратительное расположение духа, более глубокое и угнетённое, чем прежде.

В этот день, как и накануне, армия Клука, двигаясь форсированными маршами, пыталась как можно быстрее закончить манёвр охвата французской армии, пока та не создала прочной системы обороны. Немцы захватили Компьен, форсировали Уазу и, тесня союзные силы, 1 сентября завязали бои с арьергардами французской 6-й армии и английских экспедиционных сил в 30 милях от Парижа. В тот же день документы, найденные у убитого германского офицера, дали французам информацию огромной важности.

## Глава 21

### Клук повернул

«Подъехал автомобиль, – писал Альберт Фабр, вилла которого в Лассиньи, в двенадцати милях от Компьена, была реквизирована немцами 30 августа. – Из него вышел офицер с надменной и величественной осанкой. Он прошёл вперёд один, офицеры, стоявшие группами перед входом в дом, уступали ему дорогу. Высокий, важный, с чисто выбритым лицом в шрамах, он бросал по сторонам жёсткие и пугающие взгляды. В правой руке он нёс солдатскую винтовку, а левую руку положил на кобуру револьвера. Он несколько раз повернулся кругом, ударяя прикладом о землю, и наконец застыл в театральной позе. Никто, как казалось, не осмеливался к нему приблизиться, он действительно вызывал ужас». Поражённый явлением этого вооружённого до зубов немца, Фабр вспомнил об Аттиле. Потом ему сказали, что это был «уже пресловутый фон Клук».

Генерал фон Клук, «крайний правый» в плане Шлиффена, должен был в это время принять важнейшее решение. 30 августа войска Клука, по его собственному убеждению, находились накануне решающих событий. Его части справа преследовали отступающую армию Монури, добившись, как считал генерал, окончательного успеха. Войскам в центре, преследующим англичан, настигнуть их не удалось, однако горы шинелей, ботинок и другого снаряжения, брошенного вдоль дорог англичанами ради спасения своих людей, подтверждали мысли Клука о том, что он имеет дело с разбитым и деморализованным противником. Дивизия на левом фланге, которая была придана Бюлову, чтобы поддержать его в сражении у Гюиза, сообщала, что французы бегут с поля боя. Клук был полон решимости не давать противнику ни минуты покоя.

Как следовало из донесений о направлении отхода армии Ланрезака, французская линия обороны далеко на запад не уходила. Клук считал, что эту армию можно смять севернее Парижа, избавив тем самым войска от широкого обходного манёвра к западу и югу от города. В таком случае его армия будет двигаться не на юг, а на юго-восток, что позволит одновременно закрыть промежуток между ним и

Бюловом. Как и остальные, Клук, начиная кампанию, рассчитывал на получение подкреплений с левого крыла германских армий. Он остро нуждался в них, чтобы сменить корпус, стоявший на подступах к Антверпену, бригаду в Брюсселе, а также различные части, охранявшие постоянно удлинявшиеся линии коммуникаций. Однако подкрепления не подходили. С левого фланга Мольтке до сих пор не снял ни одной дивизии.

У германского главнокомандующего было много забот. Вследствие своего темперамента «мрачный Юлиус» не столько радовался победам наступавших германских армий, сколько был озабочен трудностями, связанными с их продвижением вперёд. Шёл 30-й день войны, а по графику Франция должна быть полностью побеждена между 36-м и 40-м днями. И хотя командующие армиями правого крыла доносили о нанесённом противнику «решающем поражении», используя такие выражения, как «разгром» и «бегство», Мольтке был обеспокоен. Он замечал подозрительное отсутствие обычных признаков разгрома и беспорядочного отступления. Почему так мало пленных? «Победа на поле боя не имеет большого значения, – говорил его бывший начальник Шлиффен, – если она не приводит к прорыву или окружению. Отброшенный назад противник вновь появляется на других участках, чтобы возобновить сопротивление, от которого он временно отказался. Кампания будет продолжаться...»

Несмотря на свои сомнения, Мольтке не отправился на фронт, чтобы на месте ознакомиться с обстановкой, а остался в главном штабе, продолжая размышлять над создавшейся ситуацией, ожидая донесений. «Больно видеть, – писал он жене 29 августа, – что *der hohe Herr* (кайзер) почти не осознаёт всей серьёзности положения. Он уже торжествует и чуть ли не кричит „ура!“ от радости. Как я ненавижу такое его настроение!»

30 августа, когда германские армии полным ходом разворачивали наступление, главный штаб переехал из Кобленца в Люксембург, в 10 милях от французской границы. Теперь он находился на территории, население которой к немцам относилось враждебно, хотя официально состояния войны с Люксембургом объявлено не было. Ввиду близости к союзникам и симпатий к ним город был наводнён слухами о действиях и планах войск Антанты. Говорили о 80 000 русских,



идущих на помощь англичанам и французам. Германский штаб пытался составить из вороха сообщений картину о какой-то высадке войск в районе Ла-Манша. Действительно, англичане высадили десант из 3000 морских пехотинцев под Остенде, и эта новость, достигнув Люксембурга, приобрела серьёзные и угрожающие размеры, соответствующие представлению о безграничности людских ресурсов России. Кажущаяся реальность этих слухов усиливала беспокойство немцев.

Мольтке тревожил призрак России с тыла, а на передовой линии фронта – бреши, особенно между армиями правого крыла. Неприкрытые участки шириной до двадцати миль имелись между Клуком и Бюловом и между Бюловом и Хаузенем, а ещё один, почти такой же по ширине, – между войсками Хаузена и герцога Вюртембергского. Мольтке с болью думал о том, что для закрытия этих расширявшихся промежутков следовало бы перебросить подкрепления с левого крыла, все части которого к этому времени были полностью вовлечены в сражение за Мозель. Он чувствовал себя виноватым, вспоминая о настоятельных требованиях Шлиффена верить левому крылу только оборону, а все резервы бросить на усиление 1-й и 2-й армий. Однако главный штаб по-прежнему манил видения прорыва через линию французских крепостей. По-прежнему колеблясь, Мольтке 30 августа направил своего эксперта по вопросам артиллерии, майора Бауэра, на фронт к Рупрехту для оценки ситуации на месте.

В штабе армии Рупрехта, по словам Бауэра, имелось «всё, кроме согласованного плана действий». Командиры и офицеры на передовой, куда он выехал для уточнения создавшейся обстановки, придерживались на этот счёт противоречивых взглядов. Одни, указывая на явный отвод противником своих дивизий с их участков фронта, не сомневались в успехе. Другие утверждали, что в «сложных условиях поросших лесом гор» вдоль Мозеля, южнее Туля, наступление столкнулось с трудностями. Даже если бы оно удалось, немецким войскам грозил бы фланговый удар со стороны Туля, кроме того, усложнилось бы снабжение армии, так как все дороги и железнодорожные линии проходили через этот укреплённый город. Сначала следовало захватить Туль. В штабе 6-й армии принц Рупрехт

охладил свой некогда агрессивный пыл и признал, что перед ним сейчас стоит «трудная и неприятная задача».

Для Бауэра, как представителя верховного главнокомандования, новости об отводе французами войск с этого участка были плохим признаком – это означало, что противник перебрасывал войска для укрепления фронта, сдерживающего германское правое крыло. Бауэр вернулся в главный штаб с убеждением, что если наступление на линии Нанси – Туль и Мозель и имеет «определённые шансы на успех», то его подготовка потребует значительных – и «неоправданных» на этот момент – усилий. Мольтке согласился с ним, но ничего не предпринял. Он не находил в себе сил прекратить наступление, за которое немцы уже уплатили высокую цену. Кроме того, кайзер хотел с триумфом въехать в Нанси. Никаких приказов, которые бы как-то меняли планы, 6-я армия не получила; войска продолжали прилагать прежние огромные усилия, направленные на прорыв обороны вдоль Мозеля.

Отказ штаба укрепить в эту критическую минуту наступающее крыло Клуку не нравился. Однако он решил повернуть свою армию влево не столько из желания сузить фронт, сколько из уверенности в том, что французы уже разбиты и их осталось лишь окружить. Вместо того чтобы «коснуться рукавом» пролива, он решил преследовать армию Ланрезака, проходя мимо Парижа в непосредственной близости к городу. Этим манёвром Крук подставлял свой фланг под удар гарнизона Парижа или армии Монури, откатывающейся к столице перед фронтом немецких войск, однако подобная опасность представлялась ему незначительной. Армия Монури, как полагал немецкий генерал, имеет недостаточную численность. Возможностей для переброски ей подкреплений почти нет: французы, оказавшиеся на грани поражения и катастрофы, слишком дезорганизованы для такого манёвра. Более того, он предположил, что все наличные силы противника скованы отражением мощного наступления армии кронпринца под Верденом и обороной линии фронта вдоль Мозеля, где действовали войска Рупрехта. Одного из корпусов Клука, неповоротливого IV резервного, было бы достаточно, чтобы занять позиции на подступах к Парижу и защитить фланг армии,двигающейся на восток мимо французской столицы. Кроме того, на довоенных штабных играх немцы установили, что гарнизон,

находящийся внутри укрепленного лагеря, не рискнёт покинуть его, если ему будет угрожать атака противника. Поэтому, считал Клук, IV корпус в состоянии сдержать удар тех разношерстных частей, из которых состояла наспех сколоченная армия под командованием Монури. Узнав из перехваченного письма о намерении Джона Френча отвести войска с фронта и отойти за Сену, Клук сбросил со счетов английский экспедиционный корпус, до этого являвшийся одним из его главных противников.

В соответствии с германской системой, в противоположность французской, Клуку, как боевому командиру, были предоставлены широчайшие возможности для принятия независимого решения. Изучив множество всяких теорий и военных карт, приняв участие в бесчисленном множестве военных игр и манёвров, научившись решать различные боевые задачи, германский генерал мог, как считалось, автоматически справиться с любой проблемой. Несмотря на отклонение от первоначального стратегического замысла, план Клука оставить в покое Париж и преследовать отступающие армии был «правильным» решением, поскольку он смог бы уничтожить французские армии в полевых условиях, не осуществляя при этом обходного манёвра вокруг французской столицы. Как вытекало из германской военной теории, укрепленный лагерь следовало атаковать лишь после того, как полностью сломлено сопротивление подвижных частей. Если уничтожить эти войска, то плоды победы упадут в руки сами. Несмотря на заманчивые перспективы захвата Парижа, Клук решил не отклоняться от предписаний заслуживающей доверия военной методики.

В 6:30 вечера 30 августа он получил сообщение от Бюлова, способствовавшее принятию окончательного решения. Бюлов обращался с просьбой повернуть к востоку и помочь ему «использовать все преимущества победы» над французской 5-й армией. Просил ли действительно Бюлов оказать ему помощь, чтобы завершить победу под Сен-Кантенем или компенсировать поражение под Гюизом, остаётся неясным. Но его просьба отвечала намерениям Клука, и он решил воспользоваться этим предложением. На следующий день он приказал двигаться маршем не на юг, а на юго-восток через Нуайон и Компьен и отрезать, таким образом, французской 5-й армии путь к отступлению. Недовольные солдаты, стёршие в кровь ноги, с

самого начала наступления от Льежа шедшие без отдыха шестнадцать дней, услышали 31 августа приказ: «Таким образом, войскам вновь предстоят форсированные марши».

Главный штаб, информированный о намерении Клука развернуть на следующее утро свою армию на восток, поспешил одобрить манёвр. Мольтке, беспокоившийся о брешах между армиями, видел опасность того, что три армии правого крыла не сумеют добиться взаимодействия, когда придёт пора нанести окончательный удар. Плотность войск снизилась ниже положенной для наступления, а если бы Крук и дальше придерживался первоначального плана обхода Парижа, фронт растянулся бы ещё на миль на пятьдесят или даже более. Сочтя манёвр Клука удачным решением проблемы, Мольтке в тот же вечер по телеграфу одобрил предложение генерала.

Впереди замаячила заветная цель: поражение Франции на 39-й день войны и отправка, согласно графику, высвободившихся войск на Восточный фронт, против России; доказательство превосходства Германии в подготовке, планировании и организации деятельности армии; преодоление половины пути к победе, а значит, и к установлению своего господства в Европе. Оставалось только окружить отступающих французов, пока они не пришли в себя и не возобновили сопротивления. Ничто: ни разрывы между армиями, ни поражение Бюлова под Гюизом, ни усталость войск, ни колебания в последнюю минуту, ни ошибки – ничто не должно было помешать последнему рывку к победе. Крук беспощадно, без передышки гнал свою армию вперёд. Утром 31 августа офицеры и унтера начали резко выкрикивать команды. Солдаты, уже потрёпанные войной, устало становились в строй, и через несколько минут войсковые колонны двинулись в путь; мерный бесконечный топот сапог заглушил все прочие звуки. Рядовые не имели карт и не знали названий мест; поэтому они даже не заметили изменения направления. Их влекло магическое слово «Париж». Но им не сказали, что теперь они идут не к нему.

К несчастьям немцев прибавился голод. Они слишком удалились от своих линий снабжения, которые действовали неудовлетворительно из-за разрушения мостов и железнодорожных туннелей в Бельгии. Медлительность восстановительных работ на железных дорогах не соответствовала темпам наступления; например, мост под Намюром не

был восстановлен до 30 сентября. Часто усталые пехотинцы, вступавшие в деревни после дневного марша, узнавали, что предназначенные для них квартиры уже заняты кавалеристами. Последние должны были располагаться вне населённых пунктов, однако они проявляли нервозность в отношении своих транспортов со снабжением и фуражом для лошадей и, чтобы не упустить предназначенных им грузов, «постоянно размещались», по свидетельству кронпринца, в прошлом кавалериста, в местах, выделенных для пехоты. Он же неожиданно свидетельствует и о следующем: «Они всегда останавливались и оказывались на пути пехотинцев, когда дела на фронте шли из рук вон плохо».

Первого сентября армии Клука встретился неприятный сюрприз. Она вошла в соприкосновение с арьергардами англичан, которые непонятно каким образом – в военной сводке Клука говорилось об их «отступлении в совершенном беспорядке» – вдруг набросились на немцев и задали им хорошую взбучку. Весь день в лесах под Компьеном и Виллер-Котре шли ожесточённые бои. Английские арьергарды сдерживали врага, а в это время основная часть экспедиционного корпуса опять ушла от преследования, к величайшему гневу Клука. Отложив отдых, в котором «очень нуждалась» его армия, Крук на следующий день вновь приказал выступать на марш, на этот раз войска несколько изменили направление и взяли западнее, надеясь обойти англичан. Однако те снова ускользнули от Клука – они «еле-еле успели» переправиться через Марну. Это было 3 сентября. Теперь у немецкого командующего шансов покончить с ними не осталось. Напрасно потеряв время и людей, пройдя лишние десятки километров, Крук, настроение которого окончательно испортилось, возобновил марш на восток, преследуя французов.

«Наши люди дошли до крайности, – записал один германский офицер в своём дневнике 2 сентября. – Солдаты валятся от усталости, их лица покрыты слоем пыли, мундиры превратились в лохмотья. Одним словом, выглядят они как огородные пугала». После четырёх дней марша, проходя в среднем по 24 мили в сутки, по дорогам, испещрённым воронками от снарядов, через завалы из срубленных деревьев, «солдаты шли с закрытыми глазами и пели, чтобы не уснуть на ходу... И только уверенность в близкой победе и предстоящий

триумфальный марш в Париже поддерживали в них силы... Без этого они упали бы и здесь же моментально уснули». В дневнике говорится и о проблеме, принявшей серьёзный характер во время германского наступления, особенно в восточных районах, когда армии Бюлова и Хаузена проходили через Шампань. «Они напиваются до предела, но только пьянство поддерживает их силы. Сегодня после смотра генерал пришёл в бешенство. Он решил пресечь повальное пьянство, но мы его упростили не принимать жёстких мер. Если мы будем слишком суровы, армия откажется двигаться. Для преодоления ненормальной усталости нужны ненормальные стимулы». «Мы наведём порядок в частях, когда прибудем в Париж», – писал с надеждой этот офицер, тоже не подозревая, очевидно, о новом направлении марша.

Во Франции, как и в Бельгии, немцы осквернили пройденный ими путь и покрыли себя позором. Они сжигали деревни, расстреливали мирных жителей, грабили и разоряли дома, в жилых комнатах держали лошадей, загоняли в сады артиллерийские фургоны. На семейном кладбище семьи Пуанкаре в Нюбекуре вырыли отхожие места. Проходя через Санлис, что в 25 милях от Парижа, II корпус Клука расстрелял 2 сентября мэра города и шестерых заложников из числа мирных жителей. На камне, установленном в поле неподалёку от города, на том месте, где похоронены убитые, высечены их имена:

Эжен Оден – мэр  
Эмиль Обер – дубильщик  
Жан Барбье – возчик  
Люсьен Котгро – официант  
Пьер Девер – шофёр  
Ж.-Б. Элиз Поммье – подручный пекаря  
Артур Реган – каменотёс

Второе сентября оказалось счастливым днём для генерала Хаузена – он расположился на ночлег в замке графа Шабрийона в Тёньи на реке Эна, заняв спальню графини. Просмотрев её визитные карточки, генерал с радостью обнаружил, что и сама хозяйка замка – урождённая графиня де Леви-Мирепуа, отчего незваный гость с ещё большим удовольствием лёг спать в её постели. Поужинав фазаном, которого добыли его интенданты, устроив охоту в призамковом парке,

Хаузен пересчитал столовое серебро графини и оставил его опись у одного старика в деревне.

Этим вечером Мольтке начал испытывать смутное беспокойство в отношении фланга армии Клука, обращённого к Парижу. Он издал новый общий приказ. Как и в случае с левым крылом, главнокомандующий вновь выказал свою нерешительность. Он одобрил действия Клука, приказав 1-й и 2-й армиям «гнать французские войска в юго-восточном направлении, в сторону от Парижа». В то же время Мольтке попытался предупредить возможную опасность, дав указание армии Клука следовать «в эшелоне позади 2-й армии» и принять «все меры для защиты войск армий с фланга».

В эшелоне! Для Клука подобное было оскорблением худшим, чем оказаться под командованием Бюлова, как однажды приказал главный штаб. Этот Аттила с мрачным лицом, с винтовкой в одной руке и с револьвером в другой, задавал темп наступлению германских армий на правом фланге и отнюдь не собирался плестись у кого-то в хвосте. Крук издал свой приказ по 1-й армии: «Продолжить завтра (3 сентября) движение за Марну, чтобы заставить французов отходить в юго-восточном направлении». По его мнению, защиту флангов, открытых со стороны Парижа, могли с успехом осуществлять две его наиболее слабые части: IV резервный корпус, в котором не хватало одной бригады, оставленной в Брюсселе, и 4-я кавалерийская дивизия, понёсшая значительные потери в бою с англичанами 1 сентября.

Капитан Лепик, офицер кавалерийского корпуса Сорде, 31 августа вёл разведку к северо-западу от Компьена. В этот день армия Клука повернула влево. Неожиданно Лепик увидел невдалеке от себя колонну вражеской кавалерии, состоявшую из 9 эскадронов, вслед за которыми через четверть часа показались колонна пехотинцев, артиллерийские батареи, фургоны с боеприпасами и рота самокатчиков на велосипедах. Разведчик заметил, что войска двинулись не на юг к Парижу, а по дороге, ведущей к Компьену. Так Лепик, сам того не ведая, стал одним из первых свидетелей исторического манёвра. Однако капитан лишь стремился поскорее передать в штаб донесение об уланах, которые сменили приметные остроконечные каски на фуражки. «Дорогу у местных жителей они спрашивали на ломаном французском языке, то и дело говоря: „Инглиш, инглиш...“»

Сообщённая Лепиком информация о направлении движения немцев пока мало что значила для французского главного штаба. По мнению командования, врага привлекал Компьен и расположенный там замок. Немцы всё ещё могли выбрать дорогу, идущую от Компьена на Париж. Сведения о двух колоннах противника, сообщённые Лепиком, тоже ещё ничего не говорили о характере движения армии Клука в целом.

Французы, так же как и немцы, 31 августа поняли, что кампания вступает в критическую фазу. Второй план французского штаба от 25 августа о перемещении центра тяжести на левый фланг в попытке остановить наступление правого крыла германских армий потерпел провал. 6-я армия, которая вместе с англичанами и 5-й армией должна была держать оборону вдоль реки Соммы, не выполнила поставленной перед ней задачи. Теперь этой армии, по признанию Жоффра, предстояло «прикрывать Париж». Англичане, говорил по секрету французский главнокомандующий, *«ne veulent pas marcher»* – «не хотят идти вперёд», и поэтому 5-й армии, преследуемой по флангу Клуком, по-прежнему грозило окружение. Действительно, вскоре поступили сообщения о том, что передовые части германской кавалерии вклинились в промежуток между 5-й армией и Парижем, который образовался в результате отхода английских войск. Как заявил полковник Пон, начальник оперативного отдела штаба Жоффра, «по-видимому, мы не сможем сдержать наступление правого крыла германских армий ввиду отсутствия войск, необходимых для отражения манёвра охвата».

Возникла потребность в новом плане. Теперь главное заключалось в том, чтобы выстоять. Жоффр провёл совещание со своими двумя заместителями – Беленом и Бертело, и старшими офицерами оперативного отдела. Горячий ветер событий принёс новую идею, подхваченную приверженцами наступательной стратегии, – «выстоять», пока французские армии не стабилизируют фронт, чтобы затем перейти к активным действиям. Между тем, по общему признанию офицеров главного штаба, немцы в результате наступления растянут свои силы по огромной дуге от Вердена до Парижа. На этот раз французские генералы предлагали не противостоять надвигающемуся крылу германских войск, а ударить по немецкому центру, разрезав его пополам. Это была прежняя стратегия «Плана-17», однако на сей раз поле боя перемещалось в сердце



Франции. Неудача для французов означала бы теперь не просто отступление войск от границы, а поражение в войне.

Вопрос заключался в том, как быстро удастся осуществить этот «прорыв». И где – на уровне Парижа, в долине Марны, чтобы ударить как можно раньше? Или следует отступить ещё дальше, на рубеж, отстоящий на 40 миль позади Сены? Если продолжать отступление, то тогда немцы захватят ещё больше территории страны, однако барьер Сены дал бы армиям желанную передышку, остановил бы преследовавшего их врага и французские войска обрели бы силы. Поскольку немцы поставили себе цель уничтожить французские армии, «главной задачей, – доказывал Белен, – будет сохранение наших войск». Проявить «благоразумие», перегруппироваться за Сеной – в этом отныне заключался национальный долг и верный курс, который привёл бы к срыву замыслов врага. Приводящего различные доводы Белена поддерживал красноречивый Бертело. Жоффр слушал – и на следующий день издал Общий приказ №4.

Наступило 1 сентября, канун годовщины Седана, а перед Францией открывались такие же трагические перспективы, как и тогда. Французский военный атташе официально подтвердил сообщение о разгроме русских под Танненбергом. Тон Общего приказа № 4 по сравнению с приказом, последовавшим после поражения на границах, был не столь уверенный и отражал заметно поубавившийся оптимизм генерального штаба – прошла неделя, а немцы захватывали всё больше и больше территории Франции. Приказом предписывалось 3-й, 4-й и 5-й армиям продолжать отступление «в течение некоторого времени» и устанавливался его последний рубеж вдоль рек Сена и Об (Aube), причём отмечалось, что «нет необходимости указывать, что этот рубеж должен быть достигнут». «Как только 5-я армия избавится от угрозы окружения», остальные армии «возобновят наступление»; однако, в противоположность предыдущему приказу, в нём не назывались ни конкретные сроки, ни район проведения операции.

Однако в приказе содержались намёки на будущее сражение: из армий под Нанси и Эпиналем выделялись подкрепления для поддержки нового наступления. Этот документ говорил также о «подвижных подразделениях парижского гарнизона, которые, возможно, примут участие в общей операции».

Как этот документ, так и многие другие послужили предметом длительных ожесточённых споров между сторонниками Жоффра и Галлиени, когда выяснялись истоки битвы под Марной. Разумеется, Жоффр имел в виду генеральное сражение вообще, а не битву в известном месте и в определённое время. Планировавшаяся им операция должна была начаться после того, как пять германских армий окажутся «в вилке между Парижем и Верденом», а французские армии вытянутся в виде слегка изогнутой дуги, проходящей через центр Франции. Жоффр предполагал, что для подготовки наступления у него в запасе есть ещё неделя, так как Мессими, приехавший попрощаться с ним 1 сентября, услышал от него о возобновлении наступления, которое намечалось на 8 сентября. Жоффр предлагал назвать его «битвой под Бриеннле-Шато». Этот город, расположенный в 25 милях за Марной, на полпути от этой реки до Сены, когда-то был свидетелем победы Наполеона над Блюхером. Может быть, Жоффр считал это место хорошим предзнаменованием. В армии, вынужденной отступать перед страшной тенью приближавшегося врага, царило мрачное настроение, и на Мессими произвели глубокое впечатление спокойствие, уверенность и хладнокровие её главнокомандующего.

Однако Парижу от этого было не легче – отступающие за Сену армии делали его лёгкой добычей для врага. Прибыв к Мильерану, Жоффр нарисовал ему безрадостную картину военной обстановки. «Ускоренный» отход английских войск обнажил левый фланг армии Ланрезака, поэтому отступление придётся продолжать до тех пор, пока его части не выйдут из соприкосновения с противником. Монури приказано отступать к Парижу и там «вступить во взаимодействие» с Галлиени, однако Жоффр ни словом не обмолвился о том, собирается ли он передать 6-ю армию под командование Галлиени. Колонны противника несколько изменили направление и движутся чуть в сторону от города, что, возможно, даст небольшую «передышку». Тем не менее Жоффр «решительно и настоятельно» потребовал, чтобы правительство «без промедления» покинуло Париж в этот же вечер или в крайнем случае завтра.

Галлиени, узнав о таком повороте дел от пришедших в отчаяние министров, позвонил Жоффру, тот сумел избежать разговора с Галлиени, но военный губернатор Парижа передал главнокомандующему своё сообщение: «Мы не в состоянии оказать

должное сопротивление... Генерал Жоффр должен понять, что если Монури не выдержит, то Париж не устоит. К гарнизону столицы необходимо добавить три боевых корпуса». Позднее днём Жоффр сам позвонил Галлиени и проинформировал о своём согласии предоставить в его распоряжение армию Монури; она будет представлять собой подвижные части укреплённого района Парижа. По традиции такие войска не включались в подчинение действующей армии и по требованию командующего укреплённого района могли не участвовать в крупных операциях фронта. У Жоффра не было никакого желания отказаться от корпусов Монури, и на другой день он предпринял ловкий манёвр, потребовав от военного министра поручить ему, как главнокомандующему, общее руководство обороной Парижа, чтобы «иметь возможность, в случае необходимости, использовать подвижные части гарнизона для выполнения общих оперативных задач». Мильеран, находившийся под влиянием Жоффра не меньше своего предшественника Мессими, согласился и издал 2 сентября соответствующий приказ.

А Галлиени наконец-то получил в своё распоряжение армию. Войска Монури, перешедшие под его командование, состояли из одной регулярной дивизии, входившей в VII корпус, туземной марокканской бригады и четырёх резервных дивизий – 61-й и 62-й под командованием генерала Эбенера, первоначально находившихся в Париже, и 55-й и 56-й дивизий, столь доблестно сражавшихся в Лотарингии. К гарнизону столицы Жоффр согласился добавить – тем более, что она всё равно не находилась под его командованием – первую 45-ю дивизию зуавов из Алжира, которая в это время выгружалась из эшелонов в Париже. Ещё главнокомандующий выделил для помощи столице из действующей армии ещё один полевой корпус. Подобно Клуку, он выбрал для этого потрепанный в боях IV корпус 3-й армии, понёсший катастрофические потери в Арденнах. Его отвели для пополнения, а намеченная переброска корпуса из-под Вердена, где стояла 3-я армия, в качестве подкрепления в Париж полностью перечёркивала предположения Клука о полном отсутствии у французов резервов. Как сообщили Галлиени, части IV корпуса должны были прибыть в Париж по железной дороге между 3 и 4 сентября.

Сразу же после получения устного согласия Жоффра дать ему 6-ю армию Галлиени выехал на север, чтобы познакомиться с приданными ему войсками и их командованием. Слишком поздно, думал он, глядя на запрудивших дороги беженцев, которые шли в Париж, спасаясь от наступающих немцев. На лицах несчастных генерал читал «ужас и отчаяние». В Понтуазе, в городке к северо-западу от Парижа, куда подходили 61-я и 62-я дивизии, царил неразбериха. Солдаты, которым пришлось при отступлении участвовать в ожесточённых боях, шли усталые, многие из них были в крови и бинтах. Местное население при звуках пушечной канонады или от известий о замеченных в окрестностях уланах впадало в панику. Побеседовав с генералом Эбенером, Галлиени отправился в Крей на Уазе, в 30 милях севернее Парижа, где он встретился с Монури. Ему военный губернатор приказал при отходе к Парижу взорвать мосты через Уазу, сдерживать, насколько возможно, натиск противника и ни в коем случае не допустить, чтобы враг оказался между его войсками и столицей.

В столице, куда Галлиени поспешил вернуться, его ждало более радостное зрелище, чем беженцы, – великолепные зуавы 45-й алжирской дивизии маршировали вдоль бульваров, направляясь на отведённые им позиции в фортах. Своими яркими куртками и трепетавшими на ветру шароварами они произвели сенсацию и немного повеселили и подбодрили парижан.

Однако в министерствах ощущалась гнетущая атмосфера. Мильеран сообщил президенту о «безрадостных» фактах: «Нашим надеждам не суждено сбыться... Мы отступаем по всему фронту; армия Монури отходит к Парижу...» Как военный министр Мильеран отказался брать на себя ответственность за безопасность правительства, если оно завтра, к вечеру 2 сентября, не покинет Париж. Пуанкаре переживал «самый печальный момент в своей жизни». Было решено переехать в Бордо всем без исключения, чтобы общественность не делала выпадов в отношении личных качеств тех или других министров.

Галлиени, возвратившийся в Париж в тот же вечер, узнал от Мильерана, что вся военная и гражданская власть в жемчужине европейских городов, подвергшегося угрозе осады, переходит в его руки. «Я останусь один», если не считать префекта Сены и префекта полиции, на которого в своей деятельности должен был опираться

военный губернатор и который, как выяснил Галлиени, приступил к исполнению своих обязанностей не более часа тому назад. Прежний префект, Эннион, узнав об отъезде правительства, наотрез отказался оставаться в городе. Получив официальное распоряжение, что префекту надлежит быть в городе во время осады, он подал в отставку «по причине плохого здоровья». Для Галлиени отъезд правительства означал по меньшей мере одно преимущество – прекратили свою болтовню проповедники идеи открытого города: они лишились юридического оправдания, и военный губернатор мог теперь беспрепятственно заниматься вопросами обороны столицы. Он «предпочёл бы обойтись без министров», однако «одному или двоим из них следовало бы для приличия остаться в столице». Вряд ли это справедливо по отношению к тем, кто не хотел покидать осаждённый город, но Галлиени испытывал безграничное презрение ко всем политикам без исключения.

Полагая, что немцы подойдут к воротам города через два дня, Галлиени и его штаб всю ночь не спали, разрабатывая «диспозиции, чтобы дать бой севернее города, между Понтуазом и рекой Урк», то есть на фронте протяжённостью в 45 миль. Река Урк – небольшой приток Марны, впадающий в неё восточнее Парижа.

В тот же вечер в главный штаб поступила информация, которая могла бы избавить правительство от необходимости бежать из столицы. Днём капитану Фагальду, офицеру разведки 5-й армии, принесли портфель, принадлежавший германскому кавалерийскому офицеру из армии Клука. Автомобиль, в котором ехал этот офицер, обстрелял французский патруль. В портфеле убитого немца нашли различные документы, в том числе запачканную кровью карту, где для каждого корпуса Клука были указаны направления движения и пункты, которые должны быть достигнуты в конце каждого дневного перехода. Как следовало из обозначений на карте, вся армия двигалась в юго-восточном направлении от Уазы к Урку.

Главный штаб правильно истолковал смысл находки капитана Фагальда. Клук намеревался, пройдя неподалёку от Парижа, проскользнуть между 5-й и 6-й армиями с тем, чтобы обойти и смять левый фланг основных французских сил. Если офицеры главного штаба и пришли к заключению, что Клук временно отказался от удара по Парижу, то никто из них и пальцем не пошевелил, чтобы изложить

свои выводы правительству. На следующее утро полковник Пенелон, осуществлявший связь главного штаба с президентом, доставил Пуанкаре сообщение об изменении направления движения армии Клука, однако никаких предложений Жоффра о том, что правительству не следует покидать город, он не привёз. Напротив, главнокомандующий просил указать правительству на необходимость отъезда, поскольку намерения Клука неясны, а его части уже вышли к Санлису и Шантийи, в 20 милях от столицы, и очень скоро Париж может оказаться под прицелом германских орудий. Трудно сказать, какое значение придали Пуанкаре и Мильеран этому манёвру Клука, но во время войн и кризисных ситуаций обстановка не кажется такой определённой и ясной, как многие годы спустя. Паническая спешка охватила всех. Пройдя сквозь муки принятия решения, правительство не находило сил, чтобы изменить его. Мильеран, во всяком случае, твёрдо стоял за отъезд.

Наступило 2 сентября – день Седана. Это были «страшные минуты». «Горе и унижение» президента достигли предела, когда ему стало известно, что правительство покинет столицу в полночь, тайно, а не днём, на виду у парижан. Кабинет настаивал: присутствие президента, с юридической точки зрения, обязательно там, где пребывает правительство. Даже просьба мадам Пуанкаре оставить её в Париже, чтобы она смогла продолжать работу в госпитале, выполняя свой гражданский долг, получила решительный отказ. На морщинистом лице посла США Майрона Геррика, пришедшего попрощаться с министрами, заблестели слёзы.

Геррику, как и многим другим, кто находился тогда в Париже, «страшный натиск немцев» казался, как писал он своему сыну, «почти неотразимым». Германское правительство посоветовало ему переехать из столицы в провинцию – во время боёв могли быть «разрушены целые кварталы». Тем не менее он решил остаться и пообещал Пуанкаре взять музеи и памятники под защиту американского флага, как бы «охраняя их от имени всего человечества». В этот час отчаяния, крайнего физического и морального напряжения посол предложил свой план: «если враг подойдёт к стенам города и потребует капитуляции, выйти навстречу немцам и вступить в переговоры с германским командующим или с самим кайзером, если это окажется возможным». Как хранитель собственности германского посольства в

Париже, принявший на себя эти обязанности по просьбе Германии, он имел право требовать, чтобы его выслушали. Позднее, когда в дружеском кругу подсчитывали тех, кто оставался в Париже в начале сентября, Галлиени счёл своим долгом сказать: «Не забудьте, там был ещё и Геррик».

В 7 часов вечера Галлиени поехал попрощаться с Мильераном. Военное министерство на улице Сен-Доминик выглядело «печальным, тёмным и заброшенным». По двору двигались огромные фургоны, до отказа набитые архивами, которые отправляли в Бордо. Всё остальное сжигалось. Эвакуация проходила в «мрачной» атмосфере. Галлиени, поднявшись по неосвещённой лестнице, нашёл министра одного в пустой комнате.

Теперь, когда правительство уезжало, Мильеран, не колеблясь, ставил Париж и всех, кто в нём находился, под огонь вражеских пушек. Галлиени, отлично понимавший свою задачу, выслушал практически бесполезный для себя приказ защищать Париж «*à outrance*» – «до самого конца».

— Понимает ли господин министр значение слов «до самого конца»? – спросил Галлиени. – Это значит развалины, руины, взорванные динамитом мосты в центре города.

— До самого конца, – повторил министр.

Прощавшись, он посмотрел на Галлиени так, как смотрят на человека, которого, вероятно, видят в последний раз. Сам Галлиени был «полностью уверен в том, что погибнет, оставаясь в этом городе».

Несколькими часами позже министры и члены парламента в темноте, в полной секретности, которой многие из них стыдились, несмотря на то, что сами приняли подобное решение, сели в поезд, направившийся в Бордо, сопроводив свой бесславный поступок благородным обращением к гражданам Парижа. «Сражаться и выстоять, – говорилось в опубликованном наутро обращении. – Такова главная задача сегодняшнего дня». Франция будет стойко сражаться, Англия в это время блокирует Германию с моря, перерезав её океанские коммуникации, а Россия «продолжит своё наступление и нанесёт решающий удар в самое сердце Германской империи!» (Сообщать сейчас о поражении русских было сочтено совершенно неуместным.) Чтобы французское сопротивление стало бы ещё более эффективным, а французы дрались с ещё большим «порывом»,

правительство «временно», подчиняясь требованиям военных, переезжало туда, где оно сможет уверенно поддерживать постоянный контакт со всей страной. «Французы, достойно выполним свой долг в эти трагические дни. Мы добьёмся окончательной победы — несгибаемой волей, стойкостью, мужеством и презрением к смерти!»

Галлиени обнародовал лишь короткое, по-военному чёткое сообщение, имевшее целью пресечь распространение слухов о том, будто Париж объявляется открытым городом, и сказать людям правду о действительном положении дел. Он приказал расклеить утром на улицах города прокламации:

Армии Парижа. Гражданам Парижа

Члены правительства Республики покинули Париж, чтобы дать новый стимул обороне страны. Мне поручено оборонять Париж от захватчиков. Я исполню свой долг до конца.

Париж, 3 сентября 1914 года  
Военный губернатор Парижа,  
командующий армией Парижа

*Галлиени*

Потрясение жителей столицы было велико, и ещё большее им было оттого, что главный штаб выпускал невразумительные сводки, ничего не сообщавшие о резком ухудшении военной обстановки. Правительство, как могло показаться, вдруг решило без веских причин переехать в другой город. Его ночное бегство произвело болезненное впечатление, которое не сгладило и то, что французы с давних пор с огромной симпатией относились к городу Бордо. Над правительством стали насмехаться, министров называли «*tournedos à la Bordelaise*» — «говяжьим филе по-бордоски». Следуя примеру своего правительства, толпы людей начали штурмовать вокзалы; это обстоятельство послужило причиной появления пародии на «Марсельезу»:

Aux gares, citoyens!  
Montez dans les wagons!



К вокзалам, граждане!  
Садитесь скорее в вагоны!

Военное управление Парижа переживало «чёрные дни». Войска отступали от города на севере и на востоке, поэтому вопросы о том, сколько времени удастся продержаться и когда следует взрывать 80 мостов, расположенных в Париже и его ближайших окрестностях, вызывали мучительное беспокойство.

Командующие каждого сектора обороны, пропустив предварительно свои войска, предлагали немедленно уничтожить мосты, чтобы избавиться от преследования противника. Главный штаб приказывал «не оставлять в руках врага ни одного целого моста» и в то же время хотел сохранить их для будущего наступления своих армий. В этом районе действовали три командования – Галлиени, Жоффра и Джона Френча. Географически английские войска занимали район, расположенный между двумя французскими армиями. После визита Китченера Френч делал всё возможное, чтобы доказать свою полную независимость от кого угодно. Дежурившие у мостов сапёры приходили в замешательство от противоречивых приказов. «Это кончится катастрофой», – доносил один офицер-сапёр генералу Хиршауэру.

К вечеру 2 сентября англичане вышли к Марне и переправились через неё на следующий день. За Компьеном солдаты догадались, что они идут не по заранее намеченным на картах маршрутам и что движение армии совсем не похоже «на отход из стратегических соображений», как им говорили офицеры. Их базы в Булони и Гавре к этому времени уже были эвакуированы, и все запасы и личный состав находились сейчас в Сен-Назере в устье Луары.

Находившаяся позади англичан на расстоянии дневного марша, 5-я армия до сих пор не избавилась от угрозы окружения. Стояла сильная жара, и во время погони как преследователи, так и их добыча начали выбиваться из сил. После битвы под Гюизом 5-я армия проходила маршем по 18–20 миль в день. По пути её следования шайки дезертиров грабили фермы и деревенские дома, распространяли панические слухи о германском терроре. Дезертиров ловили и

казнили. Ланрезак считал, что ни одна армия ещё не испытывала таких мук. В то же время один английский офицер сказал об экспедиционном корпусе: «Я бы никогда не поверил, что люди могут так уставать, так голодать и всё же оставаться живыми». Пытаясь найти хоть какую-то надежду, Генри Уилсон в те дни говорил полковнику Югэ: «Немцы слишком торопятся. Они ведут преследование в спешке. Всё натянуто до предела. Они обязательно сделают большую ошибку, и тогда мы возьмём своё».

Вплоть до этой минуты ни Жоффри, ни его советники из главного штаба, знавшие о повороте Клука к востоку, не считали важным или своевременным нанести удар по флангу германской армии. После того как 2 сентября Крук, преследуя англичан, изменил направление движения своих войск, у французского главного штаба возникли сомнения: не собирается ли германская армия всё же возобновить наступление на Париж? Во всяком случае все помыслы французского главнокомандования были устремлены не на Париж, а к Сене, где предполагалось дать генеральное сражение, которое, однако, могло бы состояться лишь после стабилизации линии фронта. После очередного нервного обсуждения в главном штабе Жоффри решил продолжить отступление «в тыл ещё в течение нескольких дней марша», а потом остановить войска. Это позволит выиграть время для переброски подкреплений с правого фланга французских армий. Несмотря на риск, связанный с дальнейшим ослаблением и без того непрочного фронта вдоль Мозеля, главнокомандующий всё же взял по корпусу от 1-й и 2-й армий.

Своё решение Жоффри отразил в секретных инструкциях от 2 сентября, предназначенных для командующих армиями; в них в качестве исходных рубежей указывались Сена и Об. Целью отступления, объяснял Жоффри, «является вывод армий из соприкосновения с противником и последующая перегруппировка сил». После выполнения этих задач и подхода подкреплений с востока войска должны будут «перейти в наступление». Английским войскам будет «предложено участвовать в названной операции». Гарнизон Парижа, по планам главного штаба, «станет действовать в направлении города Мо», то есть против фланга Клука. Не указывая пока даты, Жоффри упомянул лишь, что отдаст распоряжение «через несколько дней». Командиры получили приказ принять «самые

драконовские меры» против дезертирства и обеспечить организованное отступление войск. Жоффр призвал своих подчинённых проявить понимание обстановки и мобилизовать все свои силы. От этой битвы, разъяснял главнокомандующий, «зависит безопасность всей страны».

Галлиени, получив в Париже приказ Жоффра, осудил его план за то, что он был «отклонением от реальности» и потому что в жертву приносился Париж. Как считал губернатор столицы, темп немецкого наступления не позволил бы французским армиям закрепиться на Сене или перегруппироваться там. В штаб Галлиени поступали лишь отрывочные сведения о марше Клука в юго-восточном направлении, но ему пока ещё не было известно о чрезвычайно важной находке капитана Фагальда. Ночь 2 сентября Галлиени, ожидавший назавтра вражеского штурма, провёл в своём штабе, расположившемся теперь в лицее Виктора Дюрюи – школе для девочек, находившейся напротив Дома Инвалидов. Большое здание, скрытое за деревьями и изолированное от улицы, имело меньше входов и выходов, чем Дом Инвалидов, и поэтому его было легче охранять. У дверей стояли часовые, телефонные провода связывали штаб с командирами всех дивизий в укреплённом районе Парижа. Оперативный и разведывательный отделы имели свои помещения, здесь же находилась столовая, некоторые классы превратили в спальни. Галлиени, испытывая огромное облегчение, смог, наконец, переехать в «настоящий армейский штаб, совсем как на фронте».

На следующее утро, 3 сентября, ему уже точно стало известно о движении армии Клука к Марне, мимо Парижа. Лейтенант Ватто, лётчик парижского гарнизона, совершая разведывательный полёт, видел, как колонны противника «скользили с запада на восток» в направлении долины Урка. Позднее эти сведения подтвердил другой лётчик парижского гарнизона.

В комнате Второго бюро штаба Галлиени среди офицеров чувствовалось какое-то особенное возбуждение. Полковник Жиродон, получивший ранение на фронте, но «считавший себя годным к штабной работе», полулёжа на кушетке, глядел на большую настенную карту, на которой цветными флажками на булавках отслеживали передвижения вражеских войск. Генерал Клержери, начальник штаба Галлиени, вошёл в комнату как раз в ту минуту, когда от английских

лётчиков поступили новые данные воздушной разведки. Флажки вновь передвинули, и путь армии Клука теперь прослеживался по карте совершенно чётко. Клержери и Жиродон воскликнули в один голос: «Они подставляют нам свой фланг!»

## Глава 22

### «Господа, мы будем сражаться на Марне»

Галлиени сразу увидел благоприятную возможность, открывавшуюся перед армией Парижа. Не колеблясь, он решил нанести удар по флангу германских армий правого крыла как можно раньше и убедить Жоффра поддержать этот манёвр, возобновив наступление, без промедления и по всему фронту, вместо того, чтобы продолжать отходить к Сене. Хотя в распоряжении Галлиени и имелась армия Парижа с её ядром – 6-й армией Монури, весь укреплённый район Парижа и находившиеся в нём части со вчерашнего дня поступили под командование Жоффра. Переход 6-й армии в наступление зависел от двух условий: от согласия Жоффра и от поддержки её ближайшего соседа – английского экспедиционного корпуса. Войска союзников оказались между Парижем и флангом Клука – Монури к северу, а Френч к югу от Марны.

Галлиени вызвал к себе своего начальника штаба генерала Клержери и провёл с ним, по словам последнего, «одно из тех длинных совещаний, которые он обычно созывает для обсуждения чрезвычайно важных вопросов – длятся они, как правило, от двух до пяти минут». Это было в 8:30 вечера 3 сентября. Если армия Клука на следующее утро не изменит направления своего движения, то, решили Галлиени с Клержери, необходимо оказать на Жоффра максимальное давление и заставить его начать наступление общими силами. Лётчики парижского гарнизона получили приказ с самого утра произвести воздушную разведку и полученные данные, «от которых будут зависеть важнейшие решения», представить командованию не позднее 10:00 утра.

Успех фланговой атаки, предупреждал генерал Хиршауэр, «зависит от успешного вклинивания передовых частей», а для осуществления такой операции 6-я армия не была тем острым и мощным инструментом, какого хотелось Галлиени. Намеченные рубежи занимали войска, измотанные до предела. Некоторые части прошли за день и ночь 2 сентября более 37 миль. Усталость подавила моральный дух солдат. Галлиени, как и его коллеги, считали дивизии

резервистов «второсортными» войсками, а из них-то в основном и состояла армия Монури. 62-я резервная дивизия во время отступления не имела ни одного дня отдыха, непрерывно вела бои и потеряла две трети офицерского состава. Эти потери восполнялись лишь лейтенантами-резервистами. IV корпус ещё не подошёл. Только «спокойствие и решительность» парижан, тех, кто не бежал на юг, вселяли надежду на успех.

Фон Клук вышел к Марне вечером 3 сентября, преследуя армию Ланрезака и тесня экспедиционный корпус войсками своего внутреннего фланга. Англичане переправились через реку ещё днём, и вследствие спешки, усталости и неразберихи, характерных для отступления, большую часть мостов они оставили невзорванными. Поток противоречивых телеграмм, касающихся уничтожения переправ, пользы делу не принёс, а скорее навредил. Клук захватил и удержал плацдармы у мостов. Вопреки приказу не отрываться от Бюлова, он решил утром переправиться через реку и продолжить движение на восток в погоне за 5-й армией. Он отправил три донесения в главный штаб, сообщая о своём намерении форсировать Марну, но, поскольку беспроволочная связь с Люксембургом действовала ещё хуже, чем с Кобленцем, их удалось переслать только на следующий день. Не имея контакта с 1-й армией почти два дня, германский главный штаб ничего не знал о том, что Клук нарушил приказ от 2 сентября. Когда же о решении Клука стало известно, то передовые колонны германских войск уже перешли через Марну.

Немцы прошли 3 сентября примерно 25–28 миль. По свидетельству очевидца-француза, солдаты, приходившие на отведённые квартиры, «падали от изнеможения, бормоча, как пьяные „Сорок километров! Сорок километров!“». Больше они не могли произнести ни слова». В ходе начавшегося вскоре сражения многие немецкие солдаты, взятые в плен, сразу же засыпали, не в состоянии сделать больше и шага. Это были дни страшного напряжения сил. И лишь желание войти «завтра или послезавтра» в Париж гнало их вперёд, а офицеры не решались сказать своим солдатам правду. В своём стремлении уничтожить французские армии Клук не только довёл свои войска до крайнего изнеможения, оторвался от своих линий снабжения, но оставил позади себя тяжёлую артиллерию. Его соотечественник в Восточной Пруссии, генерал фон Франсуа, не

сдвинулся с места до тех пор, пока не подошла тяжёлая артиллерия и обозы с боеприпасами. Однако Франсуа готовился к сражению, а Клук, считавший, что ему предстоит лишь погоня за врагом да операция по прочёсыванию, не принял никаких мер предосторожности. У французов, думал он, после десяти дней отступления совершенно подорван моральный дух, и у них нет сил, чтобы, услышав призывный клич горна, повернуться ему навстречу и сразаться вновь. О фланге Клука тоже не беспокоился. «Генерал считает, что ему нечего опасаться действий парижской армии, – писал один немецкий офицер 4 сентября. – После того как мы уничтожим остатки англо-французской армии, он вернётся к стенам Парижа и предоставит IV резервному корпусу честь первым вступить во французскую столицу».

Приказ остаться позади для прикрытия с фланга общего наступления германских армий выполнить невозможно, прямо заявил Клук главному штабу 4 сентября, продолжая между тем продвигаться вперёд. Остановка на два дня, необходимая для того, чтобы Бюлов смог подтянуть свои войска, ослабит общее германское наступление, а противник за это время оторвётся, получив свободу действий. Лишь благодаря «смелой операции», проведённой его армией, удалось захватить переправы через Марну и открыть этим путь другим войскам. Как далее отметил германский командующий, «следует надеяться, что будут использованы все преимущества достигнутого успеха». В безапелляционном тоне Клука проскользнули гневные нотки, когда он спросил, почему за «решающими победами других армий» – он имел в виду Бюлова – всегда следуют «просьбы о помощи».

Бюлов пришёл в бешенство, узнав о том, что «эшелон в тылу 2-й армии превратился, вопреки предписаниям главного штаба, в наступающий эшелон». Его войска, как и другие германские части, к Марне вышли физически обессиленными. «Мы совершенно выбились из сил, – писал один офицер из X резервного корпуса. – Люди падают в канавы и лежат там, едва дыша... Затем вновь команда – по коням. Я еду, уронив голову на гриву лошади. Всех мучают жажда и голод. На нас нападает апатия. Такая жизнь мало чего стоит. Потерять её, значит потерять немного». Солдаты Хаузена жаловались на отсутствие «горячей пищи в течение пяти дней подряд». В соседней 4-й армии один офицер писал: «Мы целый день идём и идём по удушающей

жаре. На заросших щетиной лицах лежит слой пыли, и люди похожи на шагающие мешки с мукой». То, что германское наступление приводило к физическому изнурению и падению морального состояния войск, не тревожило командующих армиями. Все они, как и Клук, были убеждены в полном поражении французов. 3 сентября Бюлов писал в донесении, что французская 5-я армия потерпела «сокрушительное поражение» – в третий или четвёртый раз, – «совершенно дезорганизована» и бежит на юг к Марне.

Хотя и не «дезорганизованная совершенно», 5-я армия, замыкавшая отступление французских войск, явно была не в хорошей форме. Ланрезак, не стесняясь, в открытую выражал недоверие Жоффру, оспаривал приказы командования, ссорился с офицерами связи из главного штаба. Это отрицательно влияло на его подчинённых, расколовшихся на две враждующие группы. Постоянная угроза арьергардам армии со стороны противника измучила офицеров штаба, все испытывали раздражение и тревогу, нервы каждого были крайне напряжены. Командир XVIII корпуса генерал Ма де Латри, войска которого находились ближе всего к противнику, думая о состоянии солдат, испытывал «душевную боль». Потрёпанная в боях, 5-я армия тем не менее пересекла Марну, находясь на значительном расстоянии от противника, практически выйдя из зоны боёв. Таким образом она выполнила условие Жоффра, касавшееся возобновления наступления.

О своём намерении приступить к операции «через несколько дней» Жоффр проинформировал правительство, однако не указав точной даты, и настроение в главном штабе царило мрачное. Каждый день из поездок по армиям возвращались офицеры связи, подавленные и унылые. Как заметил один из них, в войсках «повсюду веял ветер поражения». Главный штаб решил перебраться ещё на 30 миль в тыл, в Шатийон-сюр-Сен, что и было сделано через два дня – 5 сентября. За десять дней Франция потеряла города Лилль, Валансьенн, Камбре, Аррас, Амьен, Мобёж, Мезьер, Сен-Кантен, Лан и Суассон, а также угольные шахты и железорудные копи, районы, где выращивали пшеницу и сахарную свёклу, и одну шестую часть населения. Как личное горе каждый француз воспринял весть о том, что Реймс, в кафедральном соборе которого короновались все французские короли, начиная от Хлодвиг и кончая Людовиком XVI, был объявлен 3



сентября открытым городом и отдан на милость армии Бюлова. Не пройдет и двух недель, как немцы, озлобленные поражением под Марной, подвергнут город артиллерийскому обстрелу, в результате чего Реймский собор приобрёл для мира то же символическое значение, что и библиотека Лувена.

Жоффр, ещё сохранявший внешнее спокойствие, регулярно, как и прежде, три раза в день принимал пищу и ложился спать неизменно в 10 часов вечера. Но с 3 сентября главнокомандующий начал испытывать заметный душевный дискомфорт: он решил для себя, что ему необходимо избавиться от Ланрезака. Официальным поводом для отстранения его от командования были объявлены «физическая и моральная депрессия» Ланрезака и его «личные неприязненные взаимоотношения» с сэром Джоном Френчем, уже получившие широкую огласку. Это нужно было сделать в интересах будущего наступления, в котором 5-й армии отводилась главная роль; существенное значение имело и участие в нём англичан. Несмотря на твёрдость и умелое руководство, проявленные им во время боёв под Гюизом, Ланрезак, как убедил себя Жоффр, после этого «окончательно утратил боевой дух». Вдобавок Ланрезак постоянно критиковал приказы главного штаба, зачастую возражая против них. Вообще говоря, это не могло служить доказательством «упадка его моральных сил», однако главнокомандующий весьма болезненно реагировал на подобные выходы.

У Жоффра редко рождались собственные идеи, но он очень искусно пользовался советами других и более или менее осознанно поддался влиянию верховодивших в оперативном отделе доктринёров, которые, как сказал один из критиков французской военной системы, создали своего рода «церковь, вне которой нет спасения и которая никогда не прощает тех, кто обнажил фальшь её доктрины». Грех Ланрезака заключался в том, что он был слишком прав и слишком громко заявлял о своей правоте. Он с самого начала был прав, когда говорил о фатальной недооценке правого крыла германских армий, в результате чего значительная часть Франции оказалась под кайзеровским сапогом. Решив прекратить сражение под Шарлеруа, так как армии Бюлова и Хаузена грозили ему двойным окружением, Ланрезак спас левое крыло французских войск. Как признал после войны фон Хаузен, этот шаг опрокинул все расчёты немцев,

стремившихся уничтожить левый фланг французов, и в конечном итоге Клук вынужден был развернуться влево, стремясь ликвидировать 5-ю армию. Почему Ланрезака отступил, из страха или мудрости, не суть важно, ибо страх иногда и есть мудрость. В данном случае отступление подготовило почву для новой операции, которую задумал Жоффри. Всё это получило признание лишь после войны, когда французское правительство сделало запоздалый жест и наградило Ланрезака Большим крестом ордена Почётного легиона. Однако в первые месяцы горечи поражения *lèse majesté*, «оскорбление величества», верховного командования со стороны Ланрезака стало невыносимым для главного штаба. В тот день, когда генерал переправил армию через Марну, его уже готовились отправить на Тарпейскую скалу.

На самом деле на Ланрезака после всего случившегося полностью полагаться было бы неблагоразумным. Несомненно существовавшее взаимное недоверие Ланрезака и главного штаба, кто бы ни был в этом виноват, а также открытая неприязнь между ним и Джоном Френчем могли повлиять на те решения, который он, как командующий армией, примет в час кризиса. Идти на такой риск Жоффри не мог. Он готов был на любые меры, чтобы устранить всё, что могло помешать успеху предстоящего наступления. Если учесть события двух следующих дней, то за первые пять недель кампании Жоффри сместил со своих постов двух командующих армиями, десять командиров корпусов и тридцать восемь — то есть почти половину от их общего числа — дивизионных генералов. На их место пришли новые и в основном более способные военачальники, включая трёх будущих маршалов — Фоша, Петена и Франше д'Эспере. Боеспособность армии повысилась, хотя и за счёт некоторой несправедливости.

На своём автомобиле Жоффри отправился в Сезан, где в тот день располагалась штаб-квартира 5-й армии. В заранее условленном месте он встретился с командиром I корпуса Франше д'Эспере, который появился с головой, обмотанной полотенцем, — стояла ужасная жара.

— Вы смогли бы командовать армией? — спросил Жоффри.

— Как любой другой, — ответил Франше д'Эспере. Когда Жоффри с недоумением посмотрел на него, он, пожав плечами, пояснил: — Чем выше пост, тем легче. Больше подчинённых и больше помощников.

Решив этот вопрос, Жоффри отправился дальше.

В Сезане, оставшись наедине с Ланрезак, Жоффр заявил:

— Друг мой, вы выдохлись и стали нерешительным. Вам придётся отказаться от командования 5-й армией. Мне не хотелось бы вам такое говорить, но я должен это сделать.

Как вспоминает сам Жоффр, Ланрезак, подумав немного, ответил: «Вы правы, генерал», – и выглядел он как человек, избавившийся от непосильной ноши. По свидетельству же Ланрезака, он, напротив, резко протестовал и потребовал обосновать это решение. Жоффр лишь твердил: «Колебания, нерешительность», а потом выразил недовольство «замечаниями» Ланрезака относительно отданных ему приказов. Последний возражал, говоря, что это не может служить причиной отстранения от командования, поскольку все его замечания оказались верными, что в общем-то и было главным. Но Жоффр явно не желал ничего слушать. Он «делал гримасы, показывая, что я истощил его терпение; он боялся смотреть мне в глаза». Ланрезак отказался от борьбы. После этого разговора Жоффр, по словам его адъютанта, выглядел «очень нервным» – уникальный случай.

Затем послали за Франше д'Эспере, который в это время обедал. Не доев суп, он встал, выпил бокал вина, надел шинель и отправился в Сезан. На перекрёстке, запруженном медленно двигавшимися военными повозками, его автомобиль остановился, и генерал выскочил из машины. В армии так хорошо знали его коренастую фигуру с головой, напоминавшей снаряд гаубицы, пронзительные чёрные глаза, короткую стрижку-«ёжик», резкий властный голос, что люди, лошади и экипажи как по мановению волшебной палочки сразу расступились перед ним. В последующие дни, когда он метался из корпуса в корпус, когда обстановка на фронте, а вместе с ней и его характер стали ухудшаться, он, чтобы пробиться сквозь заторы на дорогах, принимался стрелять из револьвера из окна своего автомобиля. Английские солдаты прозвали его «отчаянный Фрэнки». Сослуживцы Франше д'Эспере считали, что он превратился из знакомого им живого, общительного и дружелюбного, хотя и строгого, командира в сущего тирана. Он стал свирепым, властным и холодным человеком и терроризировал свой штаб не меньше, чем армию. Не успел Ланрезак передать ему секретные дела и выехать из Сезана, как вдруг в штабе зазвонил телефон. Трубку взял Эли д'Уассель. Было слышно, как он с

раздражением говорил: «Так точно, господин генерал. Нет, господин генерал».

— Кто это? – рявкнул Франше д'Эспере. Ему сказали, что звонит генерал Ма де Латри, командир XVIII корпуса. Он не в состоянии выполнить приказ на завтрашний день, так как его солдаты совершенно выбились из сил.

— Дайте-ка трубку, – сказал новый командующий. – Говорит генерал Франше д'Эспере. Я принял командование 5-й армией. Никаких рассуждений. Выполняйте приказ. Выступайте или умрите. – И он бросил трубку.

Четвёртого сентября в разных местах вдруг почувствовалось приближение чего-то важного – так иногда появляется подсознательная уверенность в неизбежности великих событий. В Париже Галлиени ощущал наступление «решающего» дня. В Берлине княгиня Блюхер написала в дневнике: «Все только и говорят, что о предстоящем вступлении в Париж». В Брюсселе опадали листья, неожиданно поднявшийся порывистый ветер гнал их по улицам. Осень уже давала о себе знать холодком в воздухе, и многих мучил вопрос: что же произойдёт, если война затянется до зимы? Американский посол Хью Гибсон отметил «возрастающую нервозность» германского штаба верховного командования, уже четвёртый день не сообщавшего о победах на фронтах. «Уверен, сегодня случится что-то значительное».

В германском штабе в Люксембурге напряжение достигло своей высшей точки – приближался триумфальный, исторический момент. Армия, дошедшая до предела человеческих возможностей, была готова завершить на Марне труд, начатый под Садовой и Седаном. «Наступил 35-й день, – с торжеством произнёс кайзер, когда встретился с одним из своих министров, приехавшим из Берлина. – Мы заняли Реймс и находимся в 50 километрах от Парижа...»

На фронте немцы рассматривали завершающий этап кампании как операцию по окружению французских войск, а не как сражение. «Важная новость, – писал офицер германской 5-й армии в своём дневнике, – французы предложили нам перемирие и готовы уплатить контрибуцию в 17 миллиардов франков. Пока мы, – отметил он сдержанно, – отвергаем предложение о перемирии».

Считалось, что враг разбит и все свидетельства, указывающие на обратное, отбрасывались в сторону. Ужасное сомнение закралось в сердце генерала фон Кюля, начальника штаба Клука, когда ему сообщили об одной колонне французских войск, отступавшей в районе Шато-Тьерри. Маршировавшие солдаты пели! Но он отогнал от себя сомнения, поскольку «все приказы о начале новой операции были уже отданы». Не считая нескольких подобных случаев, никто из высшего командования и не подозревал о возможности французского контрнаступления. И хотя признаки его подготовки были заметны, германская разведка, действовавшая на неприятельской территории, ничего о них не сообщала. Офицер разведки главного штаба, прибывший в штаб кронпринца 4 сентября, заявил, что на всём фронте сложилась благоприятная обстановка: «Мы с триумфом наступаем повсюду».

Лишь один человек в Германии думал иначе. Мольтке, в противоположность Жоффру, не был уверен в своей звезде, пелена самоуверенности не застилала ему глаз, и на мир он смотрел без иллюзий. Этим он походил на Ланрезака. 4 сентября Мольтке выглядел «серьёзным и мрачным» и в беседе с Хельфферихом, министром, с которым только что разговаривал кайзер, он заметил: «Вряд ли в нашей армии найдётся лошадь, способная сделать хотя бы ещё один шаг». Подумав немного, Мольтке добавил: «Мы не должны обманывать сами себя. Мы достигли успеха, но не победы. Победа – это уничтожение способности противника к сопротивлению. Когда в сражениях участвуют миллионные армии, победитель должен захватить множество пленных. А где они? Тысяч двадцать в Лотарингии, ну ещё десять-двадцать тысяч пленных на других участках. Судя по сравнительно небольшому количеству брошенных пушек, французы, по моему мнению, осуществляют планомерное и организованное отступление». Мысль, считавшаяся запретной, была высказана вслух.

В тот же день главный штаб наконец-то получил донесение Клука о намерении перейти Марну – слишком поздно, чтобы воспрепятствовать этому манёвру. Мольтке беспокоил фланг Клука, обращённый к французской столице. Поступали сообщения об существенном оживлении железнодорожного движения в сторону Парижа – «по-видимому, связанному с передвижением войск». В тот

же день, как сообщил Рупрехт, французы сняли с его фронта два корпуса. Дальше закрывать глаза на данные, свидетельствовавшие о том, что сопротивление противника далеко не сломлено, уже было нельзя.

Переброска французских войск, утверждал полковник Таппен, указывает на подготовку «удара со стороны Парижа по нашему правому флангу, где мы не имеем резервов». Неприятные мысли не давали покоя не только Мольтке, но и командирам на местах. Потери, понесённые во время боёв с арьергардами отступавших французов, нельзя было возместить за счёт резервов, подобно тому, как это делал противник. На стыке германских армий оставались бреши. Не хватало двух корпусов, переброшенных ранее на русский фронт. Теперь Мольтке ради подкреплений уже готов был забрать войска у левого фланга, хотя Рупрехт только что – 3 сентября – возобновил наступление у Мозеля. Так случилось, что кайзер находился в штабе Рупрехта именно тогда, когда туда поступило это предложение Мольтке. Кайзер, уверенный в успехе долгожданного прорыва линии обороны под Нанси, решительно поддержал Рупрехта и фон Краффта, выступивших против какого-либо сокращения сил его армии. Возможно, кто-то другой на месте главнокомандующего и начал бы настаивать на своём, но Мольтке не стал этого делать. После тяжёлых переживаний в ночь на 1 августа неопределённость и напряжённость кампании скорее ослабили, а не укрепили его волю. Не получив подкреплений для армий правого крыла, он решил приостановить их наступление.

Направленный командующим армиям новый приказ, составленный вечером и изданный утром, открыто признавал провал наступления, предпринятого правым крылом, провал стратегии, ради победоносного успеха которой немцы принесли в жертву нейтралитет Бельгии. Датированный 4 сентября, когда после вторжения в Бельгию миновал месяц, этот документ давал точную оценку положению на фронтах. «Противник, – говорилось в нём, – сумел избежать окружения 1-й и 2-й армиями. Часть его войск присоединилась к парижской армии». Вражеские части перебрасывались из района Мозеля на запад, «вероятно, с целью сосредоточить в районе Парижа превосходящую по силам группировку, которая будет угрожать правому флангу германских армий». Ввиду создавшегося положения

«1-й и 2-й армиям предлагается развернуть свои силы фронтом на восток, в сторону Парижа... с тем, чтобы отразить любую наступательную операцию противника, предпринятую с этого направления». 3-я армия должна была продолжать вести наступление на юг, к Сене, а другим армиям следовало действовать в соответствии с предыдущим приказом от 2 сентября.

Остановить армии на пороге победы – так мог поступить только сумасшедший, как считал военный министр генерал фон Фалькенхайн, которому через две недели суждено было сменить Мольтке на посту главнокомандующего. «Лишь одно ясно, – писал военный министр 5 сентября, – наш генеральный штаб совсем потерял голову. Записки Шлиффена помочь больше не в состоянии, и Мольтке совсем перестал соображать». Виноват был не Мольтке – Германия теряла инициативу в войне. По переброске войск противника Мольтке безошибочно увидел опасность, нависшую над внешним правым флангом его армии, и принял разумные и совершенно адекватные меры для отражения угрозы. Приказ имел лишь один недостаток – был отдан слишком поздно. Он бы ещё мог оказаться своевременным, если бы не один беспокойный француз – Галлиени.

Донесения парижских лётчиков утром 4 сентября убедили Галлиени в «необходимости быстрых действий». Тыл выгнувшейся дугой на юго-восток армии Клука представлял прекрасную мишень для Монури и английского экспедиционного корпуса. Следовало лишь, не мешкая, нанести совместный удар. В 9 часов утра, ещё не имея согласия Жоффра, Галлиени направил Монури предварительный приказ: «Я намереваюсь бросить вашу армию при поддержке англичан на германский фланг. Немедленно отдайте все необходимые распоряжения с тем, чтобы ваши войска смогли выступить днём в ходе проведения общего наступления войск парижского укрепленного района в восточном направлении». Монури также следовало как можно скорее лично прибыть в Париж на совещание.

Затем Галлиени решил добиться «окончательного и быстрого» согласия Жоффра. В какой-то степени этому препятствовали остатки их прежних взаимоотношений начальника и подчинённого. Оба знали: случись что-нибудь с Жоффром, и Галлиени станет главнокомандующим. Жоффр восставал против его влияния в армии, боролся с его популярностью, и поэтому Галлиени не столько

рассчитывал убедить, сколько заставить главнокомандующего пойти на этот шаг. Чтобы добиться своей цели, Галлиени переговорил по телефону с президентом Пуанкаре, находившимся в Бордо, сообщив ему о «благоприятной возможности» немедленно возобновить наступление на фронте.

В 9:45 Галлиени позвонил в главный штаб и затем уже не отходил от аппарата. Позднее он скажет: «Настоящая битва за Марну велась по телефону». Генерал Клержери вёл переговоры с полковником Поном, начальником оперативного отдела главного штаба, потому что Галлиени не стал бы разговаривать ни с кем, кроме Жоффра, а Жоффр не желал подходить к телефонному аппарату. Жоффр терпеть не мог телефонов и обычно делал вид, что «не понимает, как тот работает» и что не разбирает слов собеседников. А вообще он, как и многие люди, занимающие высокие посты, уже обращал взор на будущее и опасался: вдруг кто-нибудь запишет что-то сказанное им по телефону и сделает без его ведома достоянием истории.

Клержери сообщил о плане наступления силами 6-й армии и парижского укрепленного района на фланг Клука, предпочтительнее севернее Марны; в этом случае бои начались бы 6 сентября. Если удар по немцам предполагается наносить на южном берегу Марны, то нужна отсрочка на один день, чтобы Монури смог форсировать реку. В любом случае Клержери просил главный штаб отдать приказ о выступлении 6-й армии сегодня вечером. Он передал мнение Галлиени, что пришло время прекратить отвод войск и всей армией перейти к наступательным операциям, задействовав в них и силы парижского укрепленного района. Теперь слово оставалось за главным штабом.

В противоположность главному штабу, согласному пожертвовать Парижем, Галлиени с самого начала основывался на убежденности, что столицу нужно оборонять и удерживать всеми средствами. Об общей обстановке на фронтах он мог судить лишь с точки зрения военного губернатора Парижа, не имея точных сведений о положении полевых армий, и решил использовать те преимущества, которые давал французам манёвр Клука. Он считал, что операция, начатая парижской армией, должна перерасти и перерастёт в общее наступление, поддержанное всеми войсками. Это был смелый, даже безрассудный план, потому что, не зная обстановки на других участках, Галлиени не



мог с уверенностью предсказать исход сражения и даже сам несколько сомневался в успехе. Но другого варианта он не видел. Возможно, свойственный выдающемуся командиру инстинкт подсказывал ему, что близок благоприятный момент; вероятнее всего, он решил, что для Франции другого момента может и не представиться, и этот шанс — единственный.

В 11 утра на совещание прибыл Монури, но Жоффр пока молчал. В полдень Клержери вновь позвонил в штаб.

Тем временем в школе в городке Бар-сюр-Об, где разместился главный штаб, офицеры оперативного отдела, сгрудившись у большой настенной карты, горячо обсуждали предложение Галлиени о совместном наступлении. Крушение французской стратегии в августе побудило некоторых проявлять особую осторожность, другие же по-прежнему оставались горячими сторонниками наступательной теории и отвергали все призывы к сдержанности. Жоффр находился здесь же, вслушиваясь в аргументы спорящих, а его адъютант, капитан Мюллер, делал пометки в блокноте. «Войска измотаны? Не имеет значения, это французы, и они устали отступать. Как только они услышат о наступлении, усталость как рукой снимет. Брешь между армиями Фоша и де Лангля? Туда можно направить XXI корпус из армии Дюбая. Части не готовы к наступлению? Спросите лучше командиров на местах, и вы убедитесь в обратном. Взаимодействие с англичанами? Да, это уже серьезнее. Их командующему приказ не отдашь, придётся уговаривать, а времени мало. Но главное — не упустить случай, обстановка быстро меняется. Крук ещё может исправить свою ошибку, так как передвижения частей 6-й армии определённо привлекут его внимание и он поймёт, что его войскам угрожает опасность».

Не сказав ни слова, Жоффр ушёл советоваться с Бертело, который был против этого плана. Войска не могут без подготовки, будто по команде «Кругом!», развернуться и перейти в наступление, убеждал он. Необходимо завершить отход на подготовленные оборонительные позиции и затянуть немцев подальше в сети. Кроме того, необходимого численного превосходства не удастся достигнуть до тех пор, пока из Лотарингии не придут и не займут свои рубежи два корпуса.

Сидя верхом на стуле напротив настенной карты в кабинете Бертело, Жоффр молча размышлял. Его план перехода в решительное наступление и раньше предусматривал использование 6-й армии для

атаки правого фланга немцев. Галлиени, однако, предвосхищал события. Жоффру был нужен ещё один лишний день, чтобы дожидаться подхода подкреплений, подготовить 5-ю армию и заручиться поддержкой англичан. Когда Клержери позвонил снова, ему ответили, что главнокомандующий высказывается за наступление на южном берегу Марны. Клержери начал было протестовать против отсрочки операции, но ему объяснили, что «задержка на один день даст возможность подтянуть больше войск».

Теперь Жоффр стоял на пороге ещё более важного решения: продолжить ли запланированное отступление к Сене или пойти на риск и воспользоваться возможностью дать отпор врагу сейчас. Стояла невыносимая жара. Генерал вышел во двор школы и сел в тени раскидистого ясеня. Судья по натуре, он собирал мнения других, сортировал их, делал поправку на личные способности говорившего, тщательно взвешивал все «за» и «против» и потом объявлял приговор. Последнее слово оставалось всегда за ним. В случае успеха его ждала слава, в случае неудачи он нёс всю тяжесть ответственности. Сейчас от его решений зависела судьба Франции. За последние тридцать дней французская армия не смогла выполнить ту великую миссию, к которой готовилась тридцать лет. Сейчас ей был дан последний шанс спасти Францию, вернуть стране дух и границы Франции 1792 года. Захватчики находились всего в 40 милях от главного штаба и менее чем в 20 милях от ближайших к ним французских частей. Санлис и Крей, после того как через них прошла армия фон Клука, объаты пламенем, а мэр Санлиса мёртв. А если французы всё же решатся на наступление, несмотря на то, что армии не готовы к нему, и потерпят поражение?

Теперь требовалось срочно выяснить, способны ли вообще французские войска предпринять наступление. Поскольку 5-я армия занимала важнейшую позицию, Жоффр отправил Франте д'Эспере телеграмму: «Создалась благоприятная обстановка для нанесения завтра или послезавтра удара по германским 1-й и 2-й армиям всеми силами 5-й армии совместно с подвижными частями парижского гарнизона и английской армии. Пожалуйста, сообщите, в состоянии ли ваша армия предпринять успешные наступательные операции. Ответ дайте немедленно». Такой же запрос был отправлен соседу Франше

д'Эспере, генералу Фошу, войска которого противостояли армии Бюлова.

Жоффр сидел под деревом и размышлял. В чёрном кителе и красных мешковатых штанах, в армейских сапогах, с которых он, к ужасу своих адъютантов, снял шпоры, главнокомандующий молча и неподвижно провёл в раздумьях почти весь день.

Тем временем Галлиени, прихватив с собой Монури, выехал в час дня из Парижа в английский штаб, расположенный возле Мелёна на Сене, в 25 милях южнее столицы. В ответ на свою просьбу о поддержке англичанами предстоящей операции он получил отказ, переданный через Югэ. Последний также сообщил, что Джон Френч «прислушивается к осторожным советам своего начальника штаба» Арчибальда Мюррея и не примет участия в совместных действиях, если французы не дадут гарантий в отношении обороны низовьев Сены, то есть пространства между экспедиционным корпусом и морем. Обгоняя вереницы автомобилей, владельцы которых бежали из Парижа на юг, два французских генерала прибыли в английский штаб в 3 часа дня. Часовые-шотландцы в юбках чётко взяли «на караул», писари деловито печатали на пишущих машинках какие-то бумаги, однако ни фельдмаршала, ни его заместителей на месте не оказалось, а штабные офицеры выглядели «смущёнными» сложившейся ситуацией. После долгих поисков нашёлся Мюррей. Сэр Джон Френч, по его словам, уехал для инспекции войск, и когда вернётся командующий, никто не знал.

Галлиени попытался объяснить начальнику штаба план операции и то, почему участие в ней английских войск было «совершенно необходимо». Однако англичанин «совершенно не желал разделить нашу точку зрения». Мюррей твердил одно и то же: экспедиционный корпус в соответствии с приказом главнокомандующего отдыхает, переформируется и ждёт подкреплений. До возвращения Френча предпринять что-либо Мюррей отказывался. Два часа прошли в спорах, а главнокомандующий так и не появился. Галлиени уговорил Мюррея записать вкратце основные положения французского плана и конкретные предложения, касающиеся участия англичан в операции. Французу показалось, что Мюррей «недостаточно хорошо его понял». Перед отъездом Галлиени добился от начальника английского штаба

обещания немедленно уведомить его о прибытии главнокомандующего.

В это же время в другом месте – в Бре, в 35 милях выше по течению Сены, – проходили другие англо-французские переговоры, на которых Джон Френч также отсутствовал. Стремясь улучшить испорченные отношения с англичанами, Франше д'Эспере, сменив Ланрезака, договорился встретиться с Френчем в Бре в 3 часа дня. По такому случаю генерал надел ленту рыцаря-командора Викторианского ордена. Когда он прибыл в Бре, его автомобиль остановил караульный-француз и доложил, что на телеграфе для генерала получена срочная депеша. Это был запрос Жоффра о возможности сражения. Изучая послание, Франше д'Эспере ходил взад-вперёд по улице, с нараставшим нетерпением ожидая прибытия англичан. Через пятнадцать минут подъехал «роллс-ройс», в котором рядом с шофёром сидел «огромный шотландец». Однако вместо маленького, румяного фельдмаршала на заднем сиденье обнаружился «высокий, дьявольски безобразный тип с умным, выразительным лицом». Это был Уилсон, прибывший на встречу в сопровождении начальника разведки полковника Макдонога. Они задержались, потому что Уилсон, встретив по дороге одну парижанку, попавшую в затруднительное положение, проявил к даме галантность и приказал не только заправить горючим её автомобиль, но и снабдил её шофёра необходимыми картами.

Военные поднялись на второй этаж мэрии. В дверях поставили часового-шотландца. Макдоног приподнял тяжёлую скатерть и заглянул под стол, открыл дверь в примыкающую спальню, посмотрел под кроватью, прощупал стёганое одеяло, открыл стенной шкаф и простучал его стенки кулаком. Затем, после вопроса Франте д'Эспере о положении английской армии, он развернул карту, на которой синими стрелами точно была указана дислокация войск противника на английском участке фронта. После этого полковник дал блестящий анализ продвижения частей 1-й и 2-й германских армий, что произвело на Франте д'Эспере довольно сильное впечатление.

— Вы – наши союзники, у меня от вас нет секретов, – сказал Франте д'Эспере и прочёл телеграмму Жоффра. – Я намерен ответить, что моя армия готова к наступлению. – А затем, бросив на собеседников пристальный взгляд, командующий продолжал: –

Надеюсь, вы не заставите нас действовать в одиночку. Важно, чтобы ваши части прикрыли брешь между 5-й и 6-й армиями.

Затем Франте д'Эспере изложил точный план действий, придуманный им за те пятнадцать минут, когда он ждал прибытия союзников. Замысел основывался на том предположении, что армия Монури начнёт наступление севернее Марны 6 сентября, и он пришёл к этому выводу самостоятельно, ещё ничего не зная о предложениях Галлиени. Уилсон, нашедший общий язык с этим энергичным французским генералом, как когда-то с Фошем, согласился поддержать предлагаемую операцию. Размещение двух армий, исходные рубежи, на которые они должны были выйти 6 сентября, направление ударов – решение этих вопросов не вызвало затруднений. Уилсон предупредил, что добиться согласия сэра Джона Френча и особенно Мюррея будет нелегко, однако пообещал сделать для этого всё от него зависящее. Уилсон поехал в Мелён, а Франше д'Эспере отправил сообщение о достигнутом соглашении с англичанами Жоффру.

В Бар-на-Обе Жоффр наконец покинул прохладную тень ясеня. Не дожидаясь ответов от Франше д'Эспере и Фоша, он решил действовать. Командующий прошёл в оперативный отдел и распорядился составить проект приказа «о превращении операции местного значения, предложенной парижским гарнизоном, в наступление на левом фланге с участием всех союзных сил». Сражение должно начаться 7 сентября. Бурные дискуссии сразу прекратились, все почувствовали спокойную уверенность – с отступлением покончено. Приближался переломный момент. Закипела работа – штаб стал готовить подробные приказы. Чтобы свести к минимуму риск утечки сведений, решили не рассылать никаких инструкций или распоряжений до последней минуты.

Это произошло в 6 часов, а в 6:30 Жоффр появился на обеде, на который пригласил двух японских офицеров-наблюдателей. За столом ему на ухо прошептали о том, что Франше д'Эспере убедил англичан присоединиться к наступлению, и что из 5-й армии присланы важные документы. Трапеза для Жоффра была священным делом, кроме того, следовало соблюдать дипломатический этикет, особенно теперь, когда союзники с большой надеждой на успех вели переговоры об оказании Японией военной помощи странам Антанты в Европе. Жоффр не мог прервать обед, однако он несколько бестактно «ускорил его». Прочитав

краткое сообщение Франше д'Эспере, Жоффр почувствовал себя так, будто его, чтобы научить плавать, столкнули в воду. В свойственной ему безапелляционной манере, Франше д'Эспере указывал точные даты и часы, населённые пункты и условия боевого взаимодействия трёх армий – 5-й, 6-й и английской. Сражение можно начать 6 сентября; англичане «изменяют направление движения», если их левый фланг поддержит 6-я армия; последней, в свою очередь, следует занять позиции по реке Урк в указанное время, «если же она не успеет, то англичане не станут развёртывать свои части»; 5-я армия завтра продолжает отступать до выхода к реке Гран-Морен, через день она должна будет занять рубеж для фронтального удара по армии Клука. Одновременно англичане и Монури атакуют его фланг. «Энергичное участие» армии Фоша в действиях против 2-й армии является одним из необходимых условий успеха операции.

«Моя армия сможет выступить 6 сентября, – писал в заключение Франше д'Эспере, – однако её состояние далеко не блестящее». Это была неопровержимая правда. Когда спустя какое-то время он заявил командиру III корпуса генералу Ашу, что наступление начнётся на следующее утро, тот «оторопело уставился на командующего, словно получил дубиной по голове».

— Вы сошли с ума, – запротестовал Аш. – Солдаты измотаны. Без сна и пищи... почти две недели они отступали с тяжёлыми боями! Нам требуются оружие, боеприпасы, снаряжение. Всё пришло в жуткое состояние. Моральный дух низок. Я вынужден был отстранить от командования двух дивизионных генералов. Штаб ничего не стоит и ни на что не годен. Если бы мы смогли перегруппироваться за Сеной...

Как и Галлиени, д'Эспере считал, что выбора нет. Твёрдая и решительная позиция обоих сыграла решающую роль. Предшественник Франше д'Эспере, вероятно, не стал бы действовать так смело и быстро. В этот период со своих постов полетели многие нерешительные командиры. Генерала Ма де Латри в тот же день сменил стремительный Модюи, служивший ранее в армии Кастельно. Не только командующий 5-й армией потерял своё место, но также и трое из пяти командиров корпусов, семь из тринадцати дивизионных генералов и немалое число бригадных.

«Разумная смелость» ответа д'Эспере понравилась Жоффру, и он приказал оперативному отделу приступить к разработке операции в

соответствии с предложениями командующего армией, однако определить сроком для её начала 7 сентября. Главнокомандующий получил также утвердительный ответ и от Фоша, который просто заявил, что он «готов к атаке».

К известиям Генри Уилсона в английском главном штабе отнеслись весьма неодобрительно. Ранее Мюррей, даже не дожидаясь возвращения Джона Френча, издал приказ о дальнейшем отступлении в юго-западном направлении на десять-пятнадцать миль, причём движение части должны были начать этой ночью. «Как ножом в сердце», – заметил Уилсон, узнав об этом. Ознакомившись с составленным Мюрреем кратким изложением плана Галлиени, он немедленно отправил в Париж телеграмму: «Маршал ещё не вернулся», оповестив также о предполагаемом отходе. По-видимому, Уилсон ничего не сообщил Франше д'Эспере, вероятно, всё же надеясь убедить Джона Френча отменить приказ об отступлении.

Вернувшись, Френч сразу же окунулся в беспокойную атмосферу противоречивых планов и предложений. На своём столе он нашёл письмо Жоффра, написанное ещё до свершившихся событий. В нём французский главнокомандующий предлагал совместную операцию в районе Сены. Затем Френч прочитал послание Галлиени, записанное Мюрреем. Потом на стол легла договорённость Уилсона с Франше д'Эспере. Сам же Мюррей настойчиво советовал продолжать отступление. Сбитый с толку противоречивыми предложениями, не зная, какому отдать предпочтение, Джон Френч счёл, что самое разумное в данной обстановке – бездействие. Он оставил в силе приказы Мюррея и поручил Югэ передать всем французским просителям, что «в силу постоянно происходящих изменений» фельдмаршал намерен, «перед тем как действовать, ещё раз изучить всю обстановку в целом».

Примерно в этот час Галлиени вернулся из Мелёна в Париж и прочёл телеграммы от Уилсона и от Жоффра. Вторая была отправлена в 0:20, и в ней главнокомандующий подтверждал предложение о наступлении Монури южнее Марны 7 сентября. Новостью это не было, тем не менее полученные телеграммы подтолкнули Галлиени к решительным действиям. Времени оставалось всё меньше, а армия Клука по-прежнему развивала наступление. Видя, что шансов почти не остаётся, Галлиени попытался ускорить ход событий и сам позвонил в

главный штаб. Жоффр попробовал было уклониться от разговора и посадить к телефону вместо себя Белена, однако военный губернатор Парижа требовал к телефону только главнокомандующего. По свидетельству адъютанта Жоффра, записавшего состоявшийся разговор, Галлиени сказал: «Шестая армия уже подготовилась к атаке севернее Марны. Поэтому изменить направление, назначенное для развёртывания этой армии, сейчас невозможно. Я настаиваю на том, что наступление необходимо начинать, не изменяя ни места, ни времени, указанных ранее».

Услышав голос своего бывшего начальника, Жоффр, возможно, невольно подчинился властному темпераменту Галлиени. Или, как признавался он позднее, вынужден был «неохотно» согласиться на перенос срока общего наступления на один день вперёд из-за опасений, что переброска частей Монури, ускоренная распоряжениями Галлиени, раскрыла бы противнику весь замысел операции. Как Фош, так и Франше д'Эспере, оба заявили Жоффру о готовности к наступлению. Франше д'Эспере, думал главнокомандующий, благодаря какой-то магической силе сумел добиться согласия англичан на поддержку. Жоффр ещё не знал, что это согласие ещё не было подтверждено английским главнокомандующим. И всё же, охотно или неохотно, но Жоффр всё-таки согласился, чтобы 6-я армия перешла в наступление севернее Марны при поддержке всех французских сил 6 сентября, как «того желал Галлиени». Последний немедленно в 8:30 вечера отправил Монури телеграмму, которой подтвердил ранее изданные приказы о передислокации войск. Главный штаб пересмотрел сроки выхода частей на рубежи атаки с учётом переноса начала общего наступления на день раньше. В 10 часов вечера, через два часа после того как Мольтке подписал приказ о прекращении наступления правого крыла германских армий, Жоффр поставил подпись под Общим приказом №6.

«Пришло время, – говорилось в нём с чувством важности исторического момента, – воспользоваться благоприятной возможностью, появившейся в результате манёвра германской 1-й армии, и нанести по ней сосредоточенный удар всеми союзными силами левого крыла». 6-я, 5-я и английская армии получили боевую задачу в точном соответствии с предложениями Франше д'Эспере.



Согласно отдельным приказам, поддержку генеральному наступлению должны были оказать также 3-я и 4-я армии.

Однако на этом события дня не закончились. Едва Жоффри подписал приказ, как от Югэ стало известно об отказе Джона Френча утвердить план совместных действий. Ему требовалось время, чтобы «ещё раз изучить обстановку». Жоффри был поражён. Принято важнейшее решение, изданы и разосланы приказы, через 36 часов начнётся сражение ради спасения Франции... А союзник, участие которого планировалось, как когда-то выразился Фош, ради одного-единственного убитого английского солдата, но который по какой-то прихоти судьбы занимает теперь жизненно важный участок фронта, вновь отказывается воевать. С учётом времени на рассылку и дешифровку приказы придут в армейские штабы только на следующее утро. Для убеждения англичан Жоффри сумел придумать только одно средство: он отправил в штаб союзников отдельную копию Общего приказа № 6, снарядив для этой миссии специального курьера. Когда офицер прибыл в Мелён в 3 часа утра, то три корпуса английского экспедиционного корпуса в соответствии с отданным днём распоряжением Мюррея уже начали ночное отступление.

На рассвете 5 сентября войска противника также находились на марше. Клок безостановочно гнал армию вперёд, торопясь закончить окружение французов. Армия Клука уже двигалась по дорогам, когда в 7 часов утра по радио был принят приказ Мольтке об изменении направления движения и принятии мер для ликвидации угрозы с фланга. Четыре корпуса, растянувшись более чем на 30 миль, шли в направлении реки Гран-Морен. Клок не остановил их. Не обратил он внимания – возможно, не поверив этому, – и на предупреждение о концентрации французских войск на своём фланге. Полагая, что «германские армии победоносно наступают по всему фронту», Клок, как истинный немец, верил в собственные военные сводки и даже не думал, что французы сумеют собрать достаточно сил, чтобы угрожать флангу его армии. Отступление противника не было совершенно беспорядочным – Клок в последнее время тоже стал замечать это, поэтому и требовал не ослаблять натиска и не давать врагу передышки, иначе противник «вновь обретёт свободу маневрирования, а также и наступательный дух». Вопреки директиве Мольтке, Клок продолжал наступление и приказал передислоцировать штаб армии

вперёд на 25 миль в Ребэ, между реками Гран-Морен и Пти-Морен. К вечеру части германской 1-й армии находились на расстоянии 10–15 миль от английских войск и армии Франше д'Эспере; аванпосты отделяло от них менее пяти миль. Это был последний день немецкого наступления.

Вечером в штаб Клука прибыл полномочный представитель верховного командования. Памятуя о скверной радиосвязи и бурном темпераменте Клука, Мольтке отправил к нему своего начальника разведки полковника Хентша. Тот, проделав из Люксембурга путь длиной в 175 миль, лично разъяснил Клуку суть приказа Мольтке и потребовал его выполнения. К своему «изумлению», Клук и его штаб узнали, что армии Рупрехта ведут тяжёлые позиционные бои, безуспешно пытаясь прорвать оборону французов, а армия кронпринца увязла под Верденом. Полковник Хентш представил офицерам штаба 1-й армии доказательства передислокации французских войск, основываясь на которых главный штаб пришёл к выводу об «очень сильной группировке противника», перемещающейся в западном направлении и создающей серьёзную угрозу флангу немцев. Только грозная необходимость заставила главный штаб отдать приказ на отход. 1-й армии приказывалось повернуть обратно и выйти в район севернее Марны. Малоутешительными были и слова Хентша о том, что «этот манёвр может быть проведён не спеша; торопиться нет необходимости».

Ещё большее беспокойство вызвало донесение IV резервного корпуса, прикрывавшего правый фланг армии севернее Марны. Германские части столкнулись и завязали бои с войсками противника, и силы противника, поддерживаемого тяжёлой артиллерией, составляют не менее двух с половиной дивизий. Конечно же, это были передовые части армии Монури, выходившей к Урку. Хотя атака французов была «успешно отражена», командир IV резервного корпуса всё же приказал отступить под покровом темноты.

Клук подчинился приказу Мольтке. Теперь армия, вырвавшаяся за два дня после форсирования Марны слишком далеко вперёд, должна была отойти назад. Клук отдал распоряжение приступить к отводу первых двух корпусов со следующего утра, то есть с 6 сентября. Совершив победный марш от Льежа почти до Парижа, генерал тяжело переживал эти минуты. Если бы он шёл в эшелоне за армией Бюлова,

как ему приказали, если бы даже сегодня в 7 утра он остановил армию, то смог бы встретить нависшую над его флангом угрозу силами всей армии. По свидетельству начальника штаба генерала Кюля, «ни верховное командование, ни штаб 1-й армии не имели ни малейшего представления о том, что вся французская армия готова была перейти в наступление... Не было никаких признаков – ни показаний пленных, ни предупреждений комментаторов в газетах». Если Клок не предполагал, что ждало его в будущем, то, во всяком случае, он не мог не понимать: прекращение преследования противника и отвод войск сейчас, когда до выполнения графика главного штаба осталось всего четыре дня, отнюдь не являются прелюдией к окончательной победе.

Для союзников 5 сентября был, казалось, ещё более мрачным днём. Их представители, собравшиеся в Лондоне в то время, когда с фронта сообщали лишь о поражениях, подписали утром договор, который обязывал страны Антанты «не заключать сепаратного мира в ходе настоящей войны».

В Париже Монури спросил Галлиени: «Если операция провалится, куда мы отведём...» Глаза Галлиени затуманились. Он ответил: «Никуда». Готовясь к возможной катастрофе, он отдал секретный приказ командирам парижского укрепленного района сообщить обо всех объектах, которые следует уничтожить, чтобы ими не воспользовались немцы. Даже такие мосты в сердце Парижа, как Новый мост и мост Александра III, подлежали уничтожению. Если враг прорвётся через линию обороны, то ему должна достаться «пустота», так Галлиени сказал генералу Хиршауэру.

Главный штаб получил от Кастельно донесение, из которого следовало, что катастрофа грозит разразиться раньше, чем начнётся генеральное наступление. Если противник ещё больше усилит натиск, то командующий, возможно, будет вынужден эвакуировать Нанси. Жоффр приказал ему держаться ещё сутки и только потом принимать решение, однако на случай неудачи он одобрил представленный Кастельно план отхода на вторую линию обороны.

Взяв у 3-й армии один корпус и сняв два корпуса с фронта под Мозелем, Жоффр пошёл на большой риск, стремясь на этот раз достичь над противником численного перевеса, которого у французов не было в ходе наступления в начале войны. Подкрепления ещё не заняли боевые позиции. Жоффр, информируя правительство о

принятом решении дать сражение, постарался предусмотрительно создать для себя алиби на случай провала наступления. В телеграмме, отправленной им президенту и премьер-министру, говорилось: «Галлиени преждевременно атаковал противника, поэтому я приказал приостановить отвод войск и, в свою очередь, возобновить наступление». Впоследствии, когда Жоффри систематически пытался умалить роль Галлиени в операции на Марне и даже уничтожить ряд материалов, относящихся к этому периоду, эту телеграмму откуда-то выкопал Бриан и показал Галлиени. «Это „преждевременно“ дороже золота», – сказал он.

Утром 5 сентября Жоффри, ничего не зная о намерениях англичан, переживал «буквально агонию». Он отправил Мильтерану телеграмму с просьбой использовать влияние правительства, чтобы добиться согласия англичан. Предстоящее сражение «может оказать решающее влияние на ход войны, в случае неудачи оно будет иметь серьёзные последствия для страны... Я полагаю, что вы без всякой подоплёки привлечёте внимание фельдмаршала к огромному значению намеченного наступления. Если бы я мог приказывать английской армии, так же как и французской, то незамедлительно отдал бы приказ о переходе в наступление».

В 3 часа утра Генри Уилсон получил от Югэ копию Общего приказа № 6. Однако Югэ не разрешил капитану де Гальберу, доставившему приказ, встретиться с кем-либо из английских командующих. Примечательно то зловещее постоянство, с каким всегда в центре разногласий того периода почему-то появлялась фигура Югэ. Решив, что обстановка требует присутствия представителя в более высоком воинском звании, капитан де Гальбер отправился обратно во французский штаб. В 7 часов утра Уилсон передал приказ французского командования Джонатану Френчу и затем, в течение нескольких часов, убеждал его поддержать операцию союзника. Тем временем в 9:30 утра капитан де Гальбер прибыл в свой штаб, так и не привезя определённого ответа. По его словам, англичане «уклончиво» отнеслись к предложению об участии в наступлении, а мэр Мелёна рассказал де Гальберу, что багаж Джона Френча уже отправлен назад в Фонтенбло.

Жоффри решил добиться участия английской армии в предстоящем сражении «любой ценой», пусть даже ценой поездки на автомобиле в

Мелён, за 115 миль от своего штаба. Предупредив англичан о своём приезде, Жоффр отправился в путь в сопровождении адъютанта и двух штабных офицеров. Несмотря на заторы на дорогах и неизбежную остановку на священный для Жоффра обед, шофёр-гонщик доставил французов в замок, где разместился Джон Френч, в 2 часа дня.

В ожидании французского главнокомандующего фельдмаршал стоял возле стола, рядом с ним, помимо нескольких офицеров штаба, находились Мюррей, Уилсон и Югэ. Последний «выглядел как обычно, то есть так, словно только что похоронил своего последнего друга». Жоффр шагнул вперёд и впервые заговорил первым. Вместо обычных для него кратких и лаконичных предложений, окружающие слышали страстную и сильную речь, сопровождаемую стремительными жестами; казалось, «что он хотел вырвать сердце из груди и бросить его на стол». Наступил «величайший момент», говорил он, приказы отданы, и, что бы ни случилось, французская армия до последнего солдата пойдёт в бой ради спасения Франции. От исхода наступления зависели «существование французской нации, свобода Франции и будущее Европы». «Я не могу поверить, что английская армия откажется выполнить свой долг в этот критический час... история сурово покарала бы вас».

Кулак Жоффра с силой опустил на стол:

— Господин маршал, честь Англии поставлена на карту!

После этих слов Джон Френч, «жадно слушавший каждое слово», вдруг покраснел. В комнате воцарилась тишина. На глазах английского главнокомандующего медленно навернулись слёзы и покатались по щекам. Он попытался было что-то сказать по-французски, но не сумел.

— Проклятье! Не могу объясниться! Скажите ему, что мы сделаем всё, что в наших силах.

Жоффр вопросительно взглянул на Уилсона. Тот перевёл:

— Фельдмаршал говорит «да».

Едва ли в переводе была необходимость — слёзы и срывающийся голос фельдмаршала говорили сами за себя. Мюррей поспешил тут же сообщить, что английские войска отошли на 10 миль от исходных рубежей, указанных в Общем приказе о наступлении, поэтому сражение они смогут начать только в 9:00, а не в 6:00, как того требует Жоффр. Это был голос осторожности, который и впоследствии часто давал о себе знать. Жоффр пожал плечами.

— Ничего не поделаешь. У меня есть слово фельдмаршала, и этого достаточно.

Затем подали чай.

Пока Жоффр отсутствовал, главный штаб переместился в Шатийон-сюр-Сен, как и было запланировано ещё до наступления. Главнокомандующий прибыл туда вечером, примерно в тот же час, когда Хентш беседовал с Клуком. Войдя в оперативный отдел, чтобы подтвердить уже отданные приказы, Жоффр сказал собравшимся офицерам:

— Господа, мы будем сражаться на Марне.

Главнокомандующий подписал приказ, который на следующее утро после призыва горна будет зачитан солдатам. Обычно французский язык звучит прекрасно во всякого рода прокламациях и обращениях к народу, и нужно приложить усилия, чтобы добиться обратного, однако на сей раз слова подобрались плоские, почти банальные. Обращение было сухим и бескомпромиссным:

«Теперь, когда началась битва, от которой зависит безопасность страны, каждый должен помнить, что сейчас не время оглядываться. Все усилия надо направить на то, чтобы атаковать и отбросить врага. Если случится, что какая-то войсковая часть не будет в состоянии продолжать наступление, она должна любой ценой удерживать занятые ею позиции и погибнуть на месте, но не отступать. В данной ситуации командование не потерпит невыполнения приказа».

На этом обращение заканчивалось; время величественной риторики прошло. Не было возгласов «Вперёд!» и никто не призывал солдат к славе. После первых тридцати дней войны 1914 года появилось предчувствие – впереди славы немного.

## Послесловие

Как известно миру, битва на Марне закончилась отступлением немцев. Между реками Урк и Гран-Морен, за четыре дня, оставшиеся до завершения стратегического плана, Германия не смогла добиться «решающей победы» и таким образом упустила возможность выиграть войну. Для Франции, её союзников и в конечном счёте для остального мира трагедия Марны заключалась в том, что победа, которая была близка, осталась нереализованной.

Фланговый удар Монури и манёвр Клука для его отражения привели к образованию бреши между германскими 1-й и 2-й армиями. Исход битвы зависел оттого, удастся ли немцам сокрушить два крыла – Монури и Фоша – до того, как Франше д’Эспере и англичане, воспользовавшись этой брешью, предпримут наступление на центр германских армий. Монури, которого Крук почти разбил, получил в качестве подкрепления IV корпус, в эшелонах прибывший в Париж. По приказу Галлиени прямо с вокзала 6000 солдат этого корпуса были перевезены на фронт на парижских такси, и благодаря их помощи Монури смог удержать свои позиции. Фош, зажатый в болотах Сен-Гон армией Хаузена и войсками Бюлова, в критическую минуту, когда его правый фланг отступал, а левый заколебался, отдал свой знаменитый приказ: «Атаковать во что бы то ни стало! Силы немцев истощены до предела... Победа достанется тому, кто продержится дольше». Франше д’Эспере оттеснил правый фланг Бюлова, но англичане вошли в образовавшийся прорыв слишком медленно и неуверенно; затем последовало повторное историческое появление на сцене полковника Хентша, посоветовавшего немцам отступить. Германские армии сумели вовремя отойти, тем самым не позволив французам вклиниться в их линию обороны.

Так близко подошли немцы к победе, а французы – к катастрофе, так велико было горестное изумление мира, с затаённым дыханием следившего за триумфальным маршем германских армий и отступлением союзников к Парижу, что битву, повернувшую прилив вспять, стали называть «чудом на Марне». Анри Бергсон, сформулировавший в своё время для Франции таинство «воли»,

рассматривал битву на Марне как чудо, уже однажды имевшее место в истории. «Сражение на Марне выиграла Жанна д'Арк» – таков был его вердикт. Противник, наступление которого разбилось о стену, словно выросшую за одну ночь, придерживался того же мнения. «Французский *élan*, почти погашенный нами, вдруг снова вспыхнул ярким пламенем», – писал с горечью Мольтке своей жене в дни сражения. Главная и основная причина неудачи на Марне, «причина, которая превосходит все прочие», утверждал впоследствии Крук, заключается в «необыкновенной и удивительной способности французского солдата быстро восстанавливать свои силы. То, что эти люди сражаются насмерть, хорошо известно и учитывалось при составлении военных планов. Но то, что французские солдаты, непрерывно отступавшие в течение десяти дней, спавшие на голой земле, полумёртвые от усталости, смогли снова взять в руки винтовки и ринуться в атаку под звуки горна – этого мы не смогли предугадать. Академия генерального штаба не изучала возможность подобного».

Что бы ни говорил Бергсон, не чудо, а взаимосвязанные события первого месяца войны – со всеми присущими им предположениями, ошибками, обязательствами – решили исход боёв на Марне. Что бы ни говорил фон Крук, просчёты германского командования и стойкость французского солдата в равной степени привели к поражению. Если бы немцы не перебросили два корпуса на русский фронт, один из них защитил бы правый фланг Бюлова и прикрыл брешь между ним и Клуком; другой корпус поддержал бы Хаузена, и тогда Фоша, возможно, удалось бы разбить. Россия, верная союзническому долгу, начала наступление без соответствующей подготовки и оттянула на себя эти части. Глава французской разведки полковник Дюпон, высоко оценивая действия русских, говорил: «Воздадим должное нашим союзникам – наша победа достигнута за счёт их поражения».

Сыграли свою роль многие «если бы». Если бы немцы не сосредоточили слишком больших сил на левом фланге, пытаясь реализовать стратегию двойного охвата, если бы правое крыло не оторвалось от линий снабжения и если бы его солдаты не были так измотаны, если бы Крук действовал наравне с Бюловым и не обгонял его, если бы, даже в последний день, армия Клука вернулась обратно за Марну, а не направилась к Гран-Морену, тогда результат сражения мог быть другим и шестинедельный график завоевания Франции



оказался бы выполненным; возможно, так бы и произошло, если бы не главное и решающее «если бы», а именно – если бы сам победный шестинедельный график не основывался на марше через территорию Бельгии. Вслед за этим Англия, вступив в войну, оказала определённое влияние на ход вооружённой борьбы в Европе, мировое общественное мнение осудило захватчика, Германия, нажив в Бельгии врага, вынуждена была оставлять на её территории дивизии, очень пригодившиеся бы ей на Марне. В то же время силы союзников пополнились пятью английскими дивизиями.

На Марне союзники добились численного превосходства, которого им не удалось достичь во время Пограничного сражения. Отчасти сыграло роль то, что немцы сняли с этого фронта несколько дивизий, а французы склонили чашу весов в свою пользу, перебросив подкрепления, взятые у стойко сражавшихся армий, а также у 3-й армии. Когда другие отступали, эти две армии, Кастельно и Дюбая, сумели защитить свои рубежи и не пропустить врага через восточные ворота Франции. Почти восемнадцать дней они сдерживали неослабевавший натиск немцев до тех пор, пока Мольтке, слишком поздно убедившийся в провале этой операции, не приказал 8 сентября прекратить атаки на укреплённую оборонительную линию французов. Если бы французские 1-я и 2-я армии дрогнули, не выдержали, если бы они отступили 3 сентября после последнего штурма армий Рупрехта, немцы выиграли бы свои Канны, и тогда французы не смогли бы предпринять контрнаступление ни на Марне, ни на Сене, ни в любом другом месте. Если на Марне и случилось чудо, то оно стало возможным благодаря боям на Мозеле.

Без Жоффра союзные силы не смогли бы противостоять удару германских армий. В трагические и страшные двенадцать дней отступления именно его несокрушимая уверенность предотвратила превращение французской армии в бесформенную, деморализованную массу. Более блестящий, более инициативный и оригинально мыслящий командующий, возможно, не совершил бы крупных ошибок на начальном этапе войны, однако после понесённого поражения Жоффра дал Франции то, в чём она так остро нуждалась. Трудно представить на его месте другого человека, который смог бы остановить отступление французских армий и снова вдохнуть в них надежду на победу. Однако, когда наступил критический момент, один

Жоффр ничего бы не сумел сделать. Операция, которую он планировал начать с рубежей на Сене, возможно, опоздала. И лишь благодаря Галлиени, увидевшему удобную возможность и решившему немедленно её использовать, французская армия предприняла контрнаступление в сжатые сроки. Галлиени, в свою очередь, опирался на мощную поддержку Франше д'Эспере. Успеху на Марне способствовал и Ланрезак, которому не позволили вкушать его плодов, отстранив от командования, но который не только избавил Францию от просчётов «Плана-17», но и способствовал её быстрейшему возрождению. По иронии судьбы, его действия под Шарлеруа и последующее смещение с поста командующего армией – вместо него был назначен Франше д'Эспере – оказались необходимы для того, чтобы контрнаступление состоялось. Но только Жоффр, никогда не поддающийся панике, смог направить армию в бой. «Если бы у нас его не было в 1914 году, – сказал преемник Жоффра Фош, – я не знаю, что бы с нами случилось».

Для всего мира эта битва с тех пор неразрывно связана с парижскими такси. Сто такси уже находились на службе военного губернатора Парижа. Если иметь ещё 500 автомобилей и если каждый из них, посадив по пять солдат, совершит по две шестидесятикилометровых поездки до реки Урк, то, как высчитал генерал Клержери, на фронт, где положение теперь резко обострилось, можно будет быстро перебросить около 6000 солдат. В 1 час дня был отдан приказ, и в 6 часов вечера началась переброска войск. Полицейские сообщали о приказе шофёрам такси прямо на улицах. Водители с энтузиазмом подчинялись и, предлагая своим пассажирам освободить машины, гордо заявляли, что им «нужно ехать на фронт». Заправившись в гаражах бензином, они прибывали на место сбора, где через некоторое время выстроились в идеальном порядке все 600 автомобилей. Приехавший туда Галлиени был восхищён и воскликнул: «Eh bien, voilà au moins qui n'est pas banal!» («Ну, наконец-то хоть что-то необычное!») Заполненные солдатами такси, грузовики, автобусы и остальные разномастные экипажи с наступлением темноты вереницей двинулись к фронту. Это был последний благородный жест 1914 года, последний крестовый поход старого мира, которым закончилась романтика войны.

Союзники не одержали на Марне полной победы, но германские армии отступили к реке Эна. Потом началась борьба за овладение портами на побережье Ла-Манша, затем пал Антверпен и развернулись бои под Ипром, где офицеры и солдаты британского экспедиционного корпуса дали решительный отпор противнику, сражаясь буквально насмерть, и остановили немцев во Фландрии. Не Монс и не Марна, а Ипр стал подлинным памятником доблести англичан – и могилой для четырёх пятых всего экспедиционного корпуса. А потом, с приходом зимы, войска медленно затянуло в окопный тупик долгого и страшного позиционного противостояния. Война застыла в патовой ситуации. Как гангренозная рана, Западный фронт протянулся по Франции и Бельгии, от Ла-Манша до Швейцарии, своими залитыми грязью траншеями, миллионами убитых, войной на истощение – безумием, длившимся четыре года.

План Шлиффена провалился, однако немцы оккупировали всю Бельгию и Северную Францию вплоть до Эны. Газета Клемансо из месяца в месяц, из года в год непрестанно твердила читателям: «Messieurs les Allemands sont toujours à Noyon. Господа, немцы всё ещё в Нуайоне». Немецкие войска оказались там из-за ошибки «Плана-17». Она позволила немцам вклиниться слишком глубоко на французскую территорию, и, даже перегруппировав силы на Марне, французы не смогли вытеснить врага оттуда. Она дала возможность немцам осуществить прорыв, который французам удалось лишь замедлить и только позднее они сумели остановить врага.

Чтобы не пустить его дальше, Франции пришлось заплатить страшную цену жизнями мужского населения страны, и потому война 1914–1918 годов повлияла на зарождение и возникновение войны 1940 года<sup>[7]</sup>. Ошибку «Плана-17» исправить уже никогда не удалось. Провал этого плана, как и замысла Шлиффена, оказался роковым и привёл к тупику на Западном фронте. Каждый день уносил по 5000, а иногда и по 50 000 человеческих жизней, поглощал материальные запасы, технику, деньги. В его жерновах перемалывались обученные профессионалы, погибал интеллект.

Западный фронт буквально пожирал военные ресурсы союзников, это и предрешило исход военных операций на дальних рубежах, как, например, в Дарданеллах, что в ином случае могло бы привести к скорейшему окончанию войны. После неудач первого месяца

воюющие стороны очутились в тупике, определившем будущий ход войны и, как результат, и условия мира – а значит, и суть послевоенного периода, и характер второго раунда, Второй мировой войны.

Люди не в состоянии вести такую колоссальную и мучительную войну без веры и без надежды – без веры в её окончание, в то, что сама чудовищность войны не допустит её повторения, без надежды на лучшее будущее, на то, что будут заложены основы нового мира. Как мираж Парижа поддерживал силы солдат Клука на марше, так и видение этого лучшего мира озаряло голые, изрытые воронками от снарядов и когда-то зелёные поля и безобразные обрубки тополей, украшенных ещё недавно густой и красивой кроной.

Наступления, похожие на бойню, когда тысячи и сотни тысяч людей гибли, чтобы завладеть десятком метров неприятельской территории, сменив одну траншею с болотной грязью на другую, оскорбляли здравый смысл и достоинство человека. Каждую осень говорили, что этот ужас кончится к зиме, но наступала весна, а войне по-прежнему не было видно конца; армии и народы сражались лишь с одной надеждой – человечество извлечёт из всего этого хороший урок.

Война наконец кончилась, последствия её были многообразны и бесчисленны, но над всем преобладало одно: разочарование. «Наше поколение просто отказалось от великих слов», – подводил итог Д.Г. Лоуренс, говоря о современниках. Эмиль Верхарн, как немногие сохранившие воспоминания о них, с болью говорил о «человеке, которым я был...» А он прекрасно знал смысл великих слов и светлых идеалов, ушедших навсегда вместе с 1914 годом.

После Марны война разрасталась вглубь и вширь, втягивая в катастрофу народы всего земного шара, сталкивая их в мировом конфликте, который не в силах был разрешить никакой мирный договор. Сражение под Марной явилось одной из решающих битв в истории человечества не потому, что оно явилось предвестником поражения Германии или победы союзников в войне. Марна показала, что война кончится не сразу, а будет продолжаться ещё очень долго. «Назад дороги нет», – заявил Жоффр солдатам накануне боя. Но и после него не было пути назад. Страны оказались в западне, созданной ими самими в течение первых ничего не решивших тридцати дней военных действий, в западне, откуда не было и не могло быть выхода.

## Необходимое примечание

При подготовке настоящего издания был использован перевод О. Касимова по первой публикации книги Барбары Такман на русском языке (*Такман Б. Августовские пушки. Молодая гвардия. М., 1972*). Данный перевод, при всех своих достоинствах, был опубликован в сокращённом виде и имел ряд недостатков. Помимо купюр, обусловленных цензурными соображениями, в нём полностью отсутствовали две главы оригинального издания. В настоящем издании все цензурные купюры восстановлены, ошибки перевода исправлены, проведена тщательная научная и стилистическая редакция, русский текст заново сверен с первоисточником. Обзор литературы и источников к книге Б. Такман в русский перевод не помещён.

Необходимо отметить, что по объективным причинам Б. Такман не смогла использовать в своей книге опубликованные на русском языке и вошедшие в научный оборот мемуарные источники и многочисленные исследовательские работы, посвящённые различным страницам Первой мировой войны. В особенности замечание об ограниченности документальной базы «Августовских пушек» справедливо в том, что касается событий в Восточной Пруссии. Действиям русских войск в Восточной Пруссии посвящён целый ряд значительных военно-исторических трудов, вышедших на русском языке ещё в 1920–1940-х гг. Более подробную картину сражений на полях Первой мировой войны, в частности Восточно-Прусской операции, читатель может составить по приведённым ниже работам:

*Бержховский Д. В., Ляхов В. Ф.* Первая мировая война 1914–1918 гг. Военно-исторический очерк. М., 1964.

*Вацетис И.* Боевые действия в Восточной Пруссии в июле, августе и начале сентября 1914 г. Стратегический очерк. Высший Военный Редакционный Совет. М., 1923.

Восточно-Прусская операция. Сборник документов. М., 1939.

*Головин Н. Н.* Из истории кампании 1914 года на русском фронте. Прага, 1925.

*Зайончковский А. М.* Первая мировая война 1914–1918 гг. Т. 1–3. М., 1938–1939.

*Иссерсон Г.* Канны мировой войны. (Гибель армии Самсонова). М., 1926.

*Коленковский А.* Манёвренный период войны 1914 г. М., 1940.

*Меликов В. А.* Стратегическое развёртывание. Т. 1. М., 1939.

*Новицкий В.* Мировая война 1914–1918 гг. Кампания 1914 г. в Бельгии и Франции. Т. 1–2. М., 1938.

*Полетика Н. П.* Возникновение первой мировой войны (июльский кризис 1914 г.). М., 1964.

*Радус-Зенкович Л. А.* Некоторые выводы из сражения при Гумбинене в августе 1914 г. (Военно-исторический сборник. М., 1920. №3).

*Храмов Ф.* Восточно-Прусская операция, 1914 г. М., 1940.

Для более глубокого ознакомления с общими военно-политическими аспектами Первой мировой войны, её предпосылками и общим ходом военных действий рекомендуем обратиться к следующим книгам:

*История первой мировой войны. 1914–1918: В 2 т.* М., 1975.

*Киган Дж.* Первая мировая война. М., 2004.

*Лиддел Гарт Б. Г.* Правда о Первой мировой. М., 2010 (первое издание на русском языке – 1935 г.).

*Людendorф Э.* Мои воспоминания о войне. Первая мировая война в записках германского полководца. 1914–1918. М., 2007 (первое издание на русском языке – 1923 г.).

*Первая мировая война. Пролог XX века.* М., 1999.

*Террейн Дж.* Великая война. Первая мировая – предпосылки и развитие. М., 2004.

*Уткин А. И.* Первая мировая война. М., 2001.

*Уткин А. И.* Забытая трагедия: Россия в первой мировой войне. Смоленск, 2000.

## Примечания

Мессинский пролив тянется с юга на север, северный выход ведёт в Западное Средиземноморье, а южный – в Восточное. Чтобы не возникло путаницы, мы называем эти выходы соответственно западным и восточным.



[2]

Фактически это должность генерал-квартирмейстера, со штабными и боевыми функциями.

[3]

Не следует путать его с генерал-полковником Карлом фон Бюловым, командиром 2-й армии.

[4]

Имеется в виду поход англичан на Ольстер в марте 1914 года для подавления мнимого мятежа. – *Примеч. ред.*

Донесение гласит: «Своим спасением утром 26 августа левое крыло армии, находящейся под моим командованием, вероятно, всецело обязано действиям командира редкого хладнокровия, необычайной отваги и решительности, который лично руководил проведением операции». Очевидно, сэр Джон составил или подписал этот доклад, будучи в одном из крайних состояний своего весьма ненадёжного темперамента, поскольку в дальнейшем вновь вернулся к прежней антипатии и не успокоился до тех пор, пока не добился в 1915 году отзыва Смита-Дорриена. Свою вендетту неприязни по отношению к генералу Френч продолжил публично и в опубликованной им после войны книге.

[6]

Известная как «соединение Фоша», которое 5 сентября было преобразовано в 9-ю армию.

В часовне Сен-Сира (до того, как она была разрушена во Вторую мировую войну) на мемориальной доске, посвящённой погибшим в Великую войну, была выбита одна-единственная надпись: «Выпуск 1914 года». Коэффициент смертности можно проиллюстрировать на примере Андре Вараньяка, племянника члена кабинета министров Марселя Самба: он достиг призывного возраста в 1914 году, но из-за болезни не был мобилизован в августе. Оказалось, что из 27 юношей выпускного класса лица он один остался в живых к Рождеству. Согласно данным справочника «Armées Françaises» («Вооружённые силы Франции»), французские потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести в одном только августе достигли 206 515 человек при общей численности действующей армии в 1 600 000 человек. Поскольку в эти данные не включены офицеры, гарнизонные, крепостные и территориальные войска, то считается, что общая численность потерь приближается к 300 000 человек. Большая часть из них относится к четырехдневному Пограничному сражению. Отдельные цифры, касающиеся сражения на Марне, никогда не публиковались, но если предполагаемые потери вплоть до 11 сентября прибавить к потерям в августе, то суммарные потери в первые тридцать дней эквивалентны ежедневной утрате всего населения такого небольшого города, как Суассон или Компьен. Указать точные данные не представляется возможным, потому что в соответствии с проводимой французским главным штабом жёсткой политики по недопущению обнародования любой информации, которая могла бы быть полезна для противника, списки погибших и раненых публикации не подлежали. Невозможно также дать сопоставимые цифры для других воюющих сторон, потому что они приводятся для разных временных интервалов и учитываются по-разному. После окончания войны считалось, что во Франции один погибший приходился на 28 человек, в Германии – на 32, в Англии – на 57 и в России – на 107 человек от общего числа населения.